



ПАВЕЛ
БИРЮКОВ

ТОЛСТОЙ

I

ГЕНИЙ
В
ИСКУССТВЕ



ПАВЕЛ БИРЮКОВ

БИОГРАФИЯ
Л. Н. ТОЛСТОГО

Книга I



ПАВЕЛ БИРЮКОВ

БИОГРАФИЯ
Л. Н. ТОЛСТОГО

В ДВУХ КНИГАХ



Москва
Алгоритм
2000

Биография великого русского писателя и христианского мыслителя, написанная Павлом Ивановичем Бирюковым, до сих пор является лучшей биографией Льва Николаевича – к стыду отечественных горе-толстоведов и несчастью большинства читающей России, от которой данная *добрая, любящая* к Толстому и одновременно *искренняя, честая* биография много лет была надёженько припрятана в хранилищах **хороших** (не общедоступных) библиотек.

Павел Иванович (кличка “Поша”) Бирюков долгое время жил в семье Толстых, был приближённым, интимным другом дочери Льва Николаевича и его самого. В процессе написания им биографии, Толстой знакомился с материалом и выражал удовлетворение по поводу той части написанного, которая оного действительно стоила.

Нет сомнений, что это произведение должно бы стать (хотя никогда не станет...) настольной книгой для всех почитателей таланта гениального художника и просветлённого исповедника Христа.

В первую книгу Биографии входят только 1 и 2 тома.

(А второй книжки у меня и нету – так что не оцыфрую и не выложу. Кому надо, ищите, бл..., сами, где хотите!!!)

Подготовка файла: Y.P. Leonet (Роман Антухов)

Уаэрау Ролуа - Julia, Август 2016 г.



Павел Бирюков
**БИОГРАФИЯ
ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА
ТОЛСТОГО**

Книга 1

ТОМ ПЕРВЫЙ

7

Предисловие к первому изданию

С робостью и благоговением, с сознанием своей слабости приступил я к священному для меня делу, изображению жизни моего учителя, великого старца Льва Николаевича Толстого.

Несколько лет тому назад я был настолько далёк от этого дела, что, живя большую часть времени в самом близком соседстве со Львом Николаевичем, проводя в его доме часы и даже целые дни, никогда не делал никаких заметок, никаких записей того, что мне приходилось слышать как от самого Льва Николаевича, так и от окружавших его лиц. Теперь, уже живя в ссылке (1) за

свои религиозные убеждения вне России и потому вдали от Льва Николаевича Толстого, я взялся за это важное дело.

(1) См. P. S. к этому предисловию.

Поводом к этому было предпринятое парижским издателем Стоком издание полного собрания сочинений Льва Николаевича на французском языке, для которого я получил предложение доставить проредактированный мною русский оригинал и написать к нему биографию.

Я знал хорошо, что писать биографию живого человека нельзя без согласия его самого и его семьи, и прежде, чем принять это предложение, я обратился к графине Софье Андреевне Толстой с просьбой сообщить мне, не будет ли она против того, чтобы я занялся составлением биографии Льва Николаевича, на что получил ободривший меня, добрый ответ её; я выписываю здесь из её письма то, что относится к делу.

«...Конечно, хорошо бы *вам* заняться биографией; и сам бы Лев Николаевич мог бы ещё ответить вам на многое, что вы запросите мне; только надо спешить. Чуть-чуть не угасла всем нам дорогая жизнь. Но теперь, слава Богу, Лев Николаевич хорошо поправляется и опять работает».

Письмо это помечено 19 июля 1901 года и написано тотчас после перенесённой Львом Николаевичем тяжкой болезни.

Не желая беспокоить самого Льва Николаевича и будучи вперёд уверен в том, что он не окажет никакого препятствия моей работе, я после вышеприведённого письма дал согласие на сделанное мне предложение и принялся за работу.

Начав знакомиться с материалом и вдумываться в сущность и программу предстоящей работы, я, с одной стороны, не раз ужасался громадности её, а с другой стороны — всё более и более увлекался ею, поглощался её интересом и уже так сроднился с нею, что считаю её теперь делом своей жизни, независимо от каких бы то ни было издательских соображений.

Предварительная работа моя состояла в собирании материала для биографии. Такие материалы, или источники для составления биографии Л. Н. Толстого я разделяю на четыре разряда по их важности или достоинству.

К первому разряду я причисляю, во-первых, личные автобиографические заметки самого Льва Николаевича, его письма к разным лицам и выписки из его дневников. Автобиографический материал представляет особенную важность при жизни автора его, так как всякое противоречие, встречающееся в нём, по сравнению со свидетельствами из других источников, может быть разъяснено самим автором и факт восстановлен во всей его полноте.

Ко второму разряду я причисляю различные воспоминания и биографические очерки лиц, близко знавших Льва Николаевича: его родственников, знакомых, бывших в непосредственном сношении с ним. К этому второму разряду я отношу также различные официальные данные и архивные материалы, как например: послужные списки, метрические свидетельства, различные документы

учебного начальства, копии с различных судебных и административных дел и т. д.

К третьему разряду я причисляю сочинения о Льве Николаевиче, составленные по другим источникам, а также те сочинения самого Льва Николаевича, к которым надо относиться весьма осторожно в смысле биографическом, так как реальные факты переплетаются в них с работой художественной фантазии.

Наконец, *к четвёртому разряду* я причисляю различные мелкие статьи, а также и целые книги или плохо, бестолково составленные, или такие, авторы которых не заслуживают доверия, но которые всё-таки могут иметь некоторую относительную ценность, заполняя иногда пробелы других источников. Перечислять их я не считаю нужным.

Иностранная литература крайне бедна биографическими сведениями о Льве Николаевиче, особенно по отношению к первому периоду его жизни. Поэтому я не выделяю список иностранных источников в особый отдел, а включаю их в общий алфавит.

В конце этого введения приложен список по разрядам всех использованных мною источников на русском и иностранных языках первых трёх разрядов.

Сделав первые шаги при разборке полученного мною материала, я почувствовал потребность войти по этому делу в непосредственное сношение с самим Львом Николаевичем, так как много неясных сторон, открывшихся мне, мог разъяснить только он сам. Я долго колебался, стоит ли из-за этого тревожить его, но наконец решил написать ему, сказав, что решаюсь беспокоить его расспросами, зная, что он не отказывает художникам лепить и писать с него и фотографам-любителям делать с

него снимки, хотя это и не может доставить ему удовольствия, а потому и я прошу его попозировать для меня, для моего словесного изображения его личности, которое я начал писать, и я получил на это его доброе согласие, которое он выразил в следующих словах в письме ко мне от 2 декабря 1901 г.:

«...Очень рад позировать вам и буду категорически отвечать на ваши вопросы».

Другую важную поддержку оказал мне друг мой В. Г. Чертков, охотно согласившийся открыть мне для работы свой богатый архив частной корреспонденции Льва Николаевича и выписок из его дневников.

Неблагоприятные условия моей работы состояли в том, что я, отрезанный от России каким-то нелепым административным распоряжением, лишён был возможности личного непосредственного общения с тем, жизнь кого я описываю, и лишён возможности работать в русских публичных библиотеках и архивах; это обстоятельство значительно затрудняло мою работу по выборкам из старых журналов, и только благодаря любезности некоторых частных владельцев русских библиотек за границей и благодаря богатству русского отдела в Британском музее, это препятствие было обойдено мною отчасти, но далеко не вполне. Я сделал всё, что мог, по совести и разуму, чтобы превозмочь эти препятствия, даже подавал прошение министру внутренних дел о дозволении приехать мне на два месяца в Россию — и получил категорический отказ. Поэтому,

конечно, я не могу считать свою задачу исчерпанной до конца.

Что касается до выпускаемого мною теперь первого тома, я должен сказать, что читатели найдут в нём нечто безусловно новое — это воспоминания Льва Николаевича о своём детстве и о своих родных, а также большое количество его частных писем.

Чтобы показать читателю, как трудно было Льву Николаевичу взяться за писание своих воспоминаний, и чтобы показать, как следует относиться к ним, я приведу несколько выдержек из моей переписки с ним по этому предмету.

Я несколько раз писал Льву Николаевичу и близко стоящим к нему людям с просьбой записать хотя словесные рассказы Льва Николаевича о своём детстве, что можно было бы сделать в простой вечерней беседе. Наконец я получил от Льва Николаевича следующее сообщение:

«...Сначала я думал, что не буду в состоянии помочь вам в моей биографии, несмотря на всё моё желание сделать это. Боялся неискренности, свойственной всякой автобиографии, но теперь я как будто нашёл форму, в которой могу исполнить ваше желание, указав на главный характер следовавших один за другим периодов моей жизни в детстве, юности и возмужалости. Как только оправляюсь настолько, что буду в состоянии писать, непременно посвящу на это несколько часов и постараюсь сделать это».

В одном из следующих писем он пишет мне следующее:

«...Боюсь, что я напрасно обнадёжил вас обещанием писать свои воспоминания. Я пробовал думать об этом и

увидел, какая страшная трудность избежать Харибды — самовосхваления (посредством умалчивания всего дурного) и Сциллы — цинической откровенности о всей мерзости своей жизни. Написать всю свою гадость, глупость, порочность, подлость — совсем правдиво, правдивее даже, чем Руссо, — это будет соблазнительная книга или статья. Люди скажут: вот человек, которого многие высоко ставят, а он вон какой был негодяй, так уж нам-то, простым людям, и Бог велел.

Серьёзно, когда я стал хорошенько вспоминать всю свою жизнь и увидел всю глупость (именно глупость) и мерзость её, я подумал: что же другие люди, если я, хваленый многими, такая глупая гадина? А между тем ведь это ещё

объясняется тем, что я хитрее других. Это всё я вам говорю не для красоты слога, а совсем искренно. Я всё это пережил».

Видя колебания Льва Николаевича и чувствуя всю важность этого дела, я продолжал настаивать и, чтобы дать, так сказать, канву, по которой он мог бы начать вышивать, я послал ему набросанную мною программу его биографии.

В этой программе я принял условную систему деления жизни человеческой на семилетние периоды. Это деление я слышал от самого Льва Николаевича, который когда-то в разговоре при мне высказал мысль, что ему кажется, что, соответственно семилетним периодам физической жизни человека, признаваемым некоторыми физиологами, можно

установить и семилетние периоды в развитии духовной жизни человека, так что выйдет, что каждому семилетнему периоду соответствует особый духовный облик.

Резюмируя, таким образом, в кратких словах перечень фактов из жизни Льва Николаевича и расположив его по этим периодам, мы получаем следующую схему:

Года	Возраст	Содержание периодов
1) 1828–35 гг.	До 7 л.	Младенчество.
2) 1835–42 гг.	7--14	Отрочество.
3) 1842–49 гг.	14--21	Юность, ученье, университет, начало хозяйства в деревне.
4) 1849–56 гг.	21--28	Начало писательства, военная служба: Кавказ, Севастополь, Петербург.
5) 1856–63 гг.	28--35	Отставка, путешествия, смерть брата, педагогическая деятельность, посредничество, женитьба.
6) 1863–70 гг.	35--42	Семейная жизнь. «Война и мир». Хозяйство.
7) 1870–77 гг.	42--49	Самарский голод. «Анна Каренина». Апогей литературной славы, семейного счастья и богатства.
8) 1877–84 гг.	49--56	Кризис. «Исповедь». «Евангелие». «В чём моя вера?»
9) 1884–91 гг.	56--63	Москва. «Так что же нам делать?» Народная литература. «Посредник». Распространение идеи в обществе и народе. Критики.

- 10) 1891–96 гг. 63--70 Голод. «Царство Божие внутри Вас». Духоборы. Гонение на последователей этих идей.
- 11) 1898–905 гг. 70--77 «Воскресение». Отлучение. Болезнь. Последний период. Обращение к военным, народу, духовенству и политическим деятелям. Война. Революционное и реформаторское движение в России.

При самом беглом обзоре этой схемы читатель невольно заметит духовную особенность каждого периода. И схема эта, или канва не осталась без результата. Я получил вскоре от Льва Николаевича письмо, в котором он пишет следующее:

«...Про свою биографию скажу, что очень хочется помочь вам и написать хоть самое главное. Решил я, что могу написать, потому что понял, что интересно бы было и полезно, может быть, людям показать всю мерзость моей жизни до моего пробуждения и, без ложной скромности говоря, всю доброту

(хотя бы в намерениях, не всегда по слабости выполненных) после пробуждения. В этом смысле мне и хотелось бы написать вам. Ваша программа семилетняя мне полезна и, действительно, наводит на мысли. Постараюсь заняться этим при первом окончании начатой работы".

Наконец, ещё через несколько месяцев я получил драгоценные листки с воспоминаниями, набросанными

начерно самим Львом Николаевичем. Я поспешил воспользоваться ими, заменив этими яркими красками бледные места уже начатой мною биографии и, при первом удобном случае, переслал Льву Николаевичу начало моей работы с просьбой высказать своё суждение о ней.

На это я получил письмо, в котором Лев Николаевич, между прочим, писал следующее:

«...Общее моё впечатление то, что вы очень хорошо пользуетесь моими записками, но я избегаю вникать в подробности, так как такое вникание может завлечь меня в работу исправления, которой я не хочу. Так что предоставляю всё вам, присовокупляя только то, что в своей биографии, цитируя места из моих записок, прибавьте: *из доставленных мне и отданных в моё распоряжение черновых неисправленных записок*».

Я рассказал всю эту историю, чтобы оградить Льва Николаевича от всякой литературной ответственности, и, исполняя его просьбу, привожу эту подчёркнутую фразу как в введении, так и при каждой цитате. Вот при таких-то ободряющих обстоятельствах я продолжал свою работу. Выпускаемый мною 1 том содержит в себе описание происхождения Льва Николаевича, первые периоды его жизни: детской, юношеской и возмужалой холостой жизни, и заключается его женитьбой.

Остановка на этом времени удобна в смысле содержания, так как сам Лев Николаевич считал этот момент началом новой для него жизни. Остановка на этом месте имеет и практическое значение в издательском смысле, так как содержание написанного по размеру составляет обыкновенный том французского издания.

Во втором периоде я надеюсь рассказать о периоде наибольшей литературной славы, семейного счастья и

богатства Льва Николаевича, о пережитом им после этого кризисе и рождении его к новой духовной жизни, т. е. годы 1863–1884, соответствующие в жизни Льва Николаевича его летам 35–56.

И, наконец, в третьем томе — ту часть жизни, которой живёт теперь Лев Николаевич и которая, надеюсь, на радость нам, не скоро ещё кончится.

По справедливому замечанию одного биографа, жизнь Льва Николаевича подобна пирамиде, стоящей вершиной вниз и основанием кверху, продолжающей всё расти и расширяться. Пропорционально этому располагается и биографический материал; ничтожное количество при его рождении, доходя до настоящего времени, оно возрастает до необъятности.

Имя Льва Николаевича Толстого избавляет меня от трудной и ответственной обязанности делать его общую характеристику, представлять его публике. Близость к натуре — вот моя единственная художественно-историческая задача.

П. И. Бирюков

Villa Russe. Onex pres Geneve. Suisse.

15 октября 1904 г.

Р. С. Я уже закончил составление первого тома, когда, вследствие временного ослабления русских репрессий, я получил разрешение вернуться в Россию. Я воспользовался этим разрешением, съездил туда и пополнил значительно

биографический материал первого тома как посредством личного общения с Львом Николаевичем, так и чтением его дневников и переписки, за что приношу мою глубокую благодарность графине Софье Андреевне Толстой, открывшей мне доступ к ценным коллекциям биографического материала, собранного ею и сданного на хранение в московский Исторический музей, в комнату имени Льва Николаевича Толстого.

Весьма вероятно, что работа моя, начатая при более благоприятных обстоятельствах, приняла бы иные, более совершенные формы. Но я не имею возможности вернуться назад и начать сначала и потому оставляю её такой, какой она есть, сделав только те перемены, которые требовал вновь собранный мною материал после моей поездки в Россию.

Оставляю также и моё введение в прежнем виде, так как оно верно изображает обстоятельства моей работы.

Ещё два слова. Надеюсь, читатели поймут те особенные условия, в которых мне приходилось и приходится работать. Я пишу биографию не только живого, но ещё бодро и энергично живущего человека, и потому я как биограф не могу сказать последнего слова, дать окончательной оценки этому столь сильно бьющему жизненному потоку.

И потому я должен бы был скромно (и я делаю это вполне искренно) назвать свой труд лишь *сборником доступных мне материалов для биографии Льва Николаевича Толстого*.

Мне не хотелось задерживать выхода этого первого, более или менее законченного тома, так как я полагаю, что выпуск его в свет может указать обществу на тот центр,

куда могли бы стекаться сведения, воспоминания и другие документы о жизни Льва Николаевича. Я буду искренно благодарен за всякую помощь и указания.

П. Б.

23 августа 1905 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ Л.Н. ТОЛСТОГО К СВОИМ ВОСПОМИНАНИЯМ

Друг мой П. Б., взявшийся писать мою биографию для французского издания полного сочинения, просил меня сообщить ему некоторые биографические сведения.

Мне очень хотелось исполнить его желание, и я стал в воображении составлять свою биографию. Сначала я незаметно для себя самым естественным образом стал вспоминать только одно хорошее моей жизни, только, как тени на картине, присоединяя к этому хорошему мрачные, дурные стороны, поступки моей жизни. Но, вдумываясь более серьезно в события моей жизни, я увидал, что такая биография была бы хотя и не прямая ложь, но ложь вследствие неверного освещения и выставления хорошего и умолчания или сглаживания всего дурного. Когда же я подумал о том, чтобы написать всю истинную правду, не скрывая ничего дурного моей жизни, я ужаснулся перед тем впечатлением, которое должна бы была произвести такая биография. В это время я заболел. И во время невольной праздности — болезни — мысль моя всё время

обращалась к воспоминаниям, и эти воспоминания были ужасны.

Я с величайшей силой испытал то, что говорит Пушкин в своем стихотворении «Воспоминание»:

Когда для смертного умолкнет шумный день,
И на немые стогна града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда, —
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья.
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечные грызенья
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток.
И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуюсь, и горько слёзы лью,
Но строк печальных не смываю.

В последней строке я только изменил бы так, — вместо "строк печальных..." поставил бы "строк постыдных не смываю". Под этим впечатлением я написал у себя в дневнике следующее:

6 января 1903 г.

«Я теперь испытываю муки ада: вспоминаю всю мерзость своей прежней жизни, и воспоминания эти не

оставляют меня и отравляют жизнь. Обыкновенно жалеют о том, что личность не удерживает воспоминания после смерти. Какое счастье, что этого нет! Какое бы было мученье, если бы я в этой жизни помнил всё дурное, мучительное для совести, что я совершил в предшествующей жизни! А если помнить хорошее, то надо помнить и всё дурное. Какое счастье, что воспоминание исчезает со смертью и остаётся одно сознание, — сознание, которое представляет как бы общий вывод из хорошего и дурного, как бы сложное уравнение, сведённое к самому простому его выражению: $x =$ положительной или отрицательной, большой или малой величине!

Да, великое счастье — уничтожение воспоминания; с ним нельзя бы жить радостно. Теперь же, с уничтожением воспоминаний, мы вступаем в жизнь с чистой, белой страницей, на которой можно писать вновь хорошее и дурное».

Правда, что не вся моя жизнь была так ужасно дурна, — таким был только 20-летний период её; правда и то, что и в этот период жизнь моя не была сплошным злом, каким она представлялась мне во время болезни, и что и в этот период во мне пробуждались порывы к добру, хотя и недолго продолжавшиеся и скоро заглушаемые ничем не сдерживаемыми страстями. Но всё-таки эта моя работа мысли, особенно во время болезни, ясно показала мне, что моя биография, как пишут обыкновенно биографии, с умолчанием о всей гадости и преступности моей жизни, была бы ложь, и что если писать биографию, то надо писать всю настоящую правду. Только такая биография, как ни стыдно мне будет писать её, может иметь настоящий и плодотворный интерес для читателей.

Вспоминая так свою жизнь, т. е. рассматривая её с точки зрения добра и зла, которые я делал, я увидал, что вся моя длинная жизнь распадается на четыре периода: тот чудный, в особенности в сравнении с последующим, невинный, радостный, поэтический период детства до 14 лет, потом второй — ужасные 20 лет, или период грубой распущенности, служение честолюбию, тщеславию и, главное, похоти, потом третий, 18-летний период от женитьбы и моего духовного рождения, который с мирской точки зрения можно бы назвать нравственным, т. е. в эти 18 лет я жил правильной, честной, семейной жизнью, не предаваясь никаким осуждаемым общественным мнением порокам, но интересы которого ограничивались эгоистическими заботами о семье, об увеличении состояния, о приобретении литературного успеха и всякого рода удовольствиями.

И, наконец, четвёртый, 20-летний период, в котором я живу теперь и в котором надеюсь умереть, и с точки зрения которого я вижу всё значение прошедшей жизни, и которого я ни в чём не желал бы изменить, кроме как в тех привычках зла, которые усвоены мной в прошедшие периоды.

Такую историю жизни всех этих четырёх периодов, совсем правдивую, я хотел бы написать, если Бог даст мне силы и жизни. Я думаю, что такая написанная мною биография, хотя бы и с большими недостатками, будет полезнее

для людей, чем вся та художественная болтовня, которой наполнены мои 12 томов сочинений и которым люди нашего времени приписывают не заслуженное ими значение.

Теперь я и хочу сделать это. Расскажу сначала первый, радостный период детства, который особенно сильно манит меня; потом, как мне ни стыдно это будет, расскажу, не утаив ничего, и ужасные 20 лет последующего периода. Потом и третий период, который менее всех может быть интересен, и, наконец, последний период — моего пробуждения к истине, давшего мне высшее благо жизни и радостное спокойствие в виду приближающейся смерти.

Для того, чтобы не повторяться в описании детства, я перечёл моё писание под этим заглавием и пожалел о том, что написал это: так нехорошо, литературно, неискренно написано. Оно и не могло быть иначе, во-первых, потому что замысел мой был описать историю не свою, а моих приятелей детства, и оттого вышло нескладное смешение событий их и моего детства, а во-вторых, потому что во время описания этого я был далеко не самостоятелен в формах выражения, а находился под влиянием сильно подействовавших на меня тогда двух писателей: Stern'a (его *Sentimental journey*) и Töpfer'a (*Biblioteque de mon oncle*).

В особенности же не понравились мне теперь последние две части, "Отрочество" и "Юность", в которых, кроме нескладного смешения правды с выдумкой, есть и неискренность, желание выставить как хорошее и важное то, что я не считал тогда хорошим и важным, — моё демократическое направление. Надеюсь, что то, что я

напишу теперь, будет лучше — главное, полезнее другим людям.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

I разряд

1) Краткая биография, составленная самим Львом Николаевичем Толстым по просьбе Н. Страхова для издания Стасюлевича «Русская библиотека», в. IX. Гр. Л. Н. Толстой. Спб. 1879.

2) «Исповедь» Л. Н. Толстого. Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого, запрещённых в России. Т. 1. Издание «Свободного слова». Christchurch. Hunts. England.

3) Первые воспоминания. Отрывок. Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого., изд. 10-е. М., 1897, т. XIII. Впервые появились в сборнике И. Горбунова-Посадова «Русским матерям». М., 1892.

4) Доставленные мне и отданные в моё распоряжение черновые неисправленные записки Л. Н. Толстого.

5) Частные письма Л. Н. Толстого к его родственникам и знакомым.

6) Дневник Л. Н. Толстого.

7) Материалы к биографии Л. Н. Толстого, записанные с его слов С. А. Толстой.

8) Автобиографические рассказы, помещённые в IV томе полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. (Педагогические статьи).

9) «Мои воспоминания 1848–1889» А. А. Фета. М., 1890 (большое количество писем Л. Н. Толстого).

10) Несколько слов по поводу книги «Война и мир». Статья Л. Н. Толстого. «Русский архив», 1868, вып. 3.

II разряд

11) С. А. Берс. Воспоминания о гр. Л. Н. Толстом. Смоленск. 1894 г.

12) Paul Boyer. Chez Tolstoi. Trois jours a lasnaia Poliana. «Le Temps» 27–29 Aout 1901.

13) А. Е. Головачёва-Панаева. Русские писатели и артисты. Воспоминания 1824–1870 гг. Изд. Губинского. Спб, 1890.

14) Д. В. Григорович. Литературные воспоминания. Полное собрание сочинений. Т. XII, с. 326.

15) Г. П. Данилевский. Поездка в Ясную Поляну. «Исторический вестник». Март 1886 г.

16) Из бумаг А. В. Дружинина. «XXV лет». Сборник, изданный обществом пособия нуждающимся литераторам и учёным. Спб, 1884.

17) Н. П. Загоскин. Гр. Л. Н. Толстой и его студенческие годы. «Исторический вестник». Январь 1894 г.

18) Захарьин (Якунин) Ив. Графиня А. А. Толстая. Личные впечатления и воспоминания. «Вестник Европы». Июнь 1904 г.

19) Р. Лёвенфельд. Гр. Л. Н. Толстой, его жизнь и сочинения. Перевод с немецкого А. В. Перельгиной (с примечаниями гр. С. А. Толстой). М., 1897.

20) R. Lewenfeld. Gespräche mit und über Tolstoi. Leipzig.

21) Е. Марков. Живая душа в школе. Мысли и воспоминания старого педагога. «Вестник Европы». Февраль 1900 г.

22) М. О. Меньшиков. Первое произведение Л. Н. Толстого. Книжки «Недели». Октябрь 1892 г.

23) Н. К. Михайловский. Литературные воспоминания и современная смута. Т. 1. Изд. «Русского богатства». Спб., 1900 г.

24) Мнение 105 тульских дворян о наделе крестьян землёю. «Современник» 1858 г. Т. 72.

25) Н. Г. Молоствов. Лев Толстой. Критико-биографическое исследование. Под редакцией А. Волинского. Изд. Сойкина.

26) Н. А. Некрасов. Четыре письма к гр. Л. Н. Толстому. «Нива», No 2, 1898.

27) А. П. Никифоров. Биографический очерк. «Курьер». Сентябрь 1902 г.

28) Кн. Д. Д. Оболенский. Наброски и воспоминания. «Русский архив», 1891.

29) И. И. Панаев. Литературные воспоминания, с приложением писем. Изд. Мартынова. Спб., 1888 г.

30) С. Плаксин. Граф Л. Н. Толстой среди детей. М., 1903 г.

31) В. А. Полторацкий. Воспоминания. «Исторический вестник». Июнь 1893 г.

32) А. Румянцев. Письмо к Д. И. Титову. Изд. Герцена. Лондон, 1857, «Полярная звезда», IV.

33) «Севастопольская песня». Сообщил один из участников в составлении «Севастопольской песни». «Русская старина». Февраль 1884 г.

34) П. А. Сергеев. Как живёт и работает Л. Н. Толстой. М., 1898 г.

35) Евг. Скайлер. Воспоминания о гр. Л. Н. Толстом. «Русская старина». Октябрь 1890 г. Пер. с английского. (Scribner Magazine, 1889).

36) Тенеромо. Живые речи. Спб.

37) И. С. Тургенев. Первое собрание писем. 1840–1883 гг. Изд. Литературного фонда. Спб., 1885.

38) Д. Успенский. Архивные материалы для биографии Л. Н. Толстого. «Русская мысль». Сентябрь 1903 г.

39) Частные письма родственников и знакомых Л. Н. Толстого о нем.

40) Н. К. Шильдер. Эпизод из Аустерлицкого боя. «Русская старина», 1890, Т. LXVIII.

III разряд

41) Евг. Богословский. Тургенев о Льве Толстом. 75 отзывов. Тифлис. 1894 г.

42) Wilth Bode. Tolstoi in Weimar. Der Saemann. Monatsschrift. Leipzig, Sept. 1905.

43) М. И. Венюков. Песня о Севастополе. «Русская старина». Февраль 1875 г.

44) Кн. Е. Г. Волконская. Род князей Волконских. Материалы, собранные и обработанные княгиней Е. Г. Волконской. Спб., 1900.

45) Кн. С. Гр. Волконский (декабрист). Записки.

46) Е. Гаршин. Воспоминания о И. С. Тургеневе. «Исторический вестник». Ноябрь 1883 г.

47) П. Д. Драганов. Гр. А. Н. Толстой как писатель всемирный и распространение его произведений в России и за границей

48) А. Ф. Кони. Биографический очерк «И. Ф. Горбунов» (Предисловие к собранию сочинении).

49) В. Н. Лясковский. Ал. Степ. Хомяков. Его биография и учение, «Русский архив», 1896, 11.

50) В. Н. Назарьев. Жизнь и люди былого времени. «Исторический вестник». Ноябрь 1900 г.

51) Е. Соловьев. А. Н. Толстой, его жизнь и литературная деятельность. Изд. Павленкова.

52) М. А. Янжул. К биографии А. Н. Толстого. "Русская старина". Февраль 1900 г.

А также многие газетные заметки и статьи.

Справочные книги

53) Брокгауз и Ефрон. Энциклопедический словарь.

54) Юрий Битовт. Гр. Толстой в литературе и искусстве. Библиографический указатель. Изд. Сытина. М., 1903 г.

55) Русская словесность с XI по XIX столетие включительно.

56) В. Зелинский. Русская критическая литература о произведениях А. Н. Толстого. М., 1896 г.

Часть I.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ
ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО

ГЛАВА 1.

Предки Л. Н. Толстого со стороны его отца (1)

(1) Везде, где в изложении я буду дословно приводить слова Льва Николаевича из его воспоминаний и писем, я буду оговаривать это и ставить кавычки.

Графы Толстые — старинный дворянский род, происходящий, по сказаниям родословцев, от мужа честна Индриса, выехавшего "из немец, из Цесарские земли" в Чернигов в 1353 году, с двумя сыновьями и с дружиной из трёх тысяч человек; он крестился, получил имя Леонтия и был родоначальником нескольких дворянских фамилий. Его правнук, Андрей Харитонович, переселившийся из Чернигова в Москву и получивший от вел. кн. Василия Тёмного прозвище Толстого, был родоначальником Толстых (в графской отрасли рода Толстых граф Лев Николаевич числится от родоначальника Индриса в 20 колене).

Один из потомков Индриса, Пётр Андреевич Толстой, служил в 1683 году при дворе стольником и был одним из главных зачинщиков стрелецкого бунта. Падение царевны Софии заставило П. А. Толстого резко переменить фронт и перейти на сторону царя Петра, но последний долго относился к Толстому очень сдержанно, и вообще Пётр

Андреевич долго не пользовался доверием царя: рассказывают, что на весёлых пирах Петр любил сдёргивать большой парик с головы Петра Толстого и, ударяя по плечи, приговаривать: «Головушка, головушка, если бы ты не была так умна, то давно бы с телом разлучена была».

Недоверчивость царя не была поколеблена и военными заслугами П. А. Толстого во втором Азовском походе (1696 г.).

В 1697 году царь посылал "волонтёров" в заграничное ученье, и Толстой, будучи уже в зрелых летах, сам вызвался ехать туда для изучения морского дела. Два года, проведённые в Италии, сблизили Толстого с западноевропейской культурой. В конце 1701 года Толстой назначен был посланником в Константинополь — на пост важный, но трудный; во время осложнений 1710 – 1713 гг. Толстой дважды сидел в Семибашенном замке, — поэтому в гербе графов Толстых изображён этот замок.

В 1717 году П. А. Толстой оказал царю важную услугу, навсегда упрочившую его положение: посланный в Неаполь, близ которого в Кастель Сент-Эльмо в то время скрывался царевич Алексей со своей подругой Евфросинь-

ей, Толстой, при содействии Евфросиньи, ловко обошёл царевича и путём застрачивания и ложных обещаний склонил его к возвращению в Россию. За деятельное участие в следствии, суде и тайной казни царевича, совершённой им по приказанию Петра в соучастии с Румянцевым, Ушаковым и Бутурлиным (1), Толстой был

награждён поместьями и поставлен во главе Тайной канцелярии, у которой в это время было особенно много работы вследствие толков и волнений, вызванных в народе судьбою царевича Алексея. С этих пор Толстой становится одним из самых близких и доверенных лиц государя. Дело царевича Алексея сблизило его с императрицей Екатериной, в день коронавания которой — 7-го мая 1724 года — он получил титул графа. После смерти Петра I П. А. Толстой вместе с Меншиковым энергично содействовал воцарению Екатерины, а потому и пользовался у ней большими милостями. Но с воцарением Петра II, сына казнённого царевича Алексея, падение его было неминуемо. Несмотря на свой преклонный возраст — 82 года, Пётр Толстой был сослан в Соловецкий монастырь, где прожил недолго и умер в 1729 году.

(1) А. Румянцев. Письмо к Д. И. Титову. «Полярная звезда», IV, изд. Герцена. Лондон, 1857.

Сохранился дневник заграничного путешествия Толстого в 1697 – 1699 годах, — характерный образчик тех впечатлений, какие выносили русские люди петровского времени из своего знакомства с Западной Европой. Кроме того, Толстой составил в 1705 году обстоятельное описание Чёрного моря. Известны в своё время были также его два перевода: «Метаморфозы» Овидия и «Управление турецким государством».

У него был сын Иван Петрович, который в одно время с отцом был лишён занимаемой им должности (председателя суда) и также сослан в Соловецкий монастырь, где умер незадолго до отца.

Только 26 мая 1760 года, уже при императрице Елизавете Петровне, потомству Петра Андреевича было возвращено графское достоинство в лице внука его Андрея Ивановича, прадеда Льва Николаевича.

«Про Андрея Ивановича, женившегося очень молодым на княжне Щетининой, я слышал от тетушки такой рассказ. Жена его по какому-то случаю без мужа должна была ехать на какой-то бал. Отъехав от дома, вероятно, в возке, из которого вынуто было сиденье, для того, чтобы крышка возка не повредила высокой прически, молодая графиня, вероятно, лет семнадцати, вспомнила дорогой, что она, уезжая, не простилась с мужем и вернулась домой.

Когда она вошла в дом, она застала его в слезах. Он плакал о том, что жена перед отъездом не зашла к нему проститься» (1).

(1) Вставка, сделанная Л. Н. при просмотре рукописи. (Примеч. П. Б.)

О деде и бабушке своей со стороны отца Лев Николаевич так рассказывает в своих воспоминаниях:

«Бабушка, Пелагея Николаевна, была дочь скопившего себе большое состояние слепого князя Николая Ивановича Горчакова. Сколько я могу составить себе понятие о её характере, она была недалёкая, малообразованная, — она, как все тогда, знала по-французски лучше, чем по-русски (и этим ограничивалось её образование), и очень избалованная — сначала отцом, потом мужем, а потом, при мне уже, сыном — женщиной. Кроме того, как дочь старшего в роде она пользовалась большим уважением

всех Горчаковых: бывшего военного министра Алексея Ивановича, Андрея Ивановича и сыновей вольнодумца Димитрия Петровича: Петра, Сергея и Михаила Севастопольского.

Дед мой, Илья Андреевич, её муж, был тоже, как я его понимал, человек ограниченный, очень мягкий, весёлый и не только щедрый, но бестолково-мотоватый, а главное — доверчивый. В имении его, Белёвского уезда, Полянах, — не Ясной Поляне, но Полянах, — шло долго не перестающее пиршество, театры, балы, обеды, катания, которые, в особенности при склонности деда играть по большой в ломбер и вист, не умея играть и при готовности давать всем, кто просил, займы и без отдачи, а главное, затеваемыми афёрами, откупам, кончились тем, что большое имение его жены всё было так запутано в долгах, что жить было нечем, и дед должен был выхлопотать и взять, что ему было легко при его связях, место губернатора в Казани.

Дед, как мне рассказывали, не брал взяток, кроме как с откупщика, что было тогда общепринятым обычаем, и сердился, когда их предлагали ему. Но бабушка, как мне рассказывали, тайно от мужа брала приношения.

В Казани бабушка выдала меньшую дочь, Пелагею, за Юшкова. Старшая же, Александра, ещё в Петербурге была выдана за графа Остен-Сакен.

После смерти мужа в Казани и женитьбы отца моя бабушка поселилась с моим отцом в Ясной Поляне, и тут я застал её уже старухой и хорошо помню её.

Отца бабушка страстно любила и нас — внуков, забавляясь нами. Любила тётушек, но, мне кажется, не совсем любила мою мать, считая её недостойной моего отца и ревнуя его к ней. С людьми, прислугой она не могла быть требовательна, потому что все знали, что она первое лицо в доме, и старались угождать ей, но со своей горничной Гашей она отдавалась своим капризам и мучила её, называя: "вы, моя милая", — и требуя от неё того, чего она не спрашивала, и всячески мучая её. И странное дело, Гаша, Агафья Михайловна (1), которую я знал хорошо, заразилась манерой бабушки капризничать: и со своей девочкой, и со своей кошкой, и вообще с существами, с которыми могла быть требовательна, была так же капризна, как бабушка с ней.

(1) Старушка Агафья Михайловна несколько лет тому назад умерла в Ясной Поляне, где она жила на покое уже много лет. (Примеч. П. Б.)

Самые ранние воспоминания мои о бабушке, до нашей поездки в Москву и жизни там, сводятся к трём сильным связанным с ней впечатлениям. Первое — это то, как бабушка умывалась и каким-то особенным мылом пускала на руках удивительные пузыри, которые, мне казалось, только она одна могла делать. Нас нарочно приводили к ней, — вероятно, наше восхищение и удивление перед её мыльными пузырями забавляло её, — чтобы видеть, как она умывалась. Помню, белая кофточка, юбка, белые старческие руки и огромные поднимающиеся на них пузыри, и её довольное, улыбающееся белое лицо.

Второе воспоминание — это было то, как её без лошади, на руках вывезли камердинеры отца в желтом кабриолете с рессорами, в котором мы ездили кататься с гувернёром Фёдором Ивановичем, в мелкий Заказ для сбора орехов, которых в этом году было особенно много. Помню чащу частого и густого орешника, в глубь которого, раздвигая и ломая ветки, Петруша и Матюша (дворовые камердинеры) ввезли желтый кабриолет с бабушкой, и как нагибали ей ветки с гроздьями спелых, иногда высыпавшихся орехов, и как бабушка сама рвала их и клала в мешок, и как мы где сами гнули ветки, где Фёдор Иванович, и удивлял нас своей силой, нагибая нам толстые орешники, а мы обирали со всех сторон и всё-таки видели, что ещё оставались незамеченные нами орехи, когда Фёдор Иванович пускал их, и кусты, медленно цепляясь,

расправлялись. Помню, как жарко было на полянах, как приятно прохладно в тени, как дышалось терпким запахом ореховой листвы, как щёлкали со всех сторон, разгрызаемые девушками, которые были с нами, орехи, и как мы, не переставая, жевали свежие, полные белые ядра.

Мы собирали в карманы, подолы и наш кабриолет, и бабушка принимала и хвалила нас. Как мы пришли домой, что было после, я ничего не помню; помню, что бабушка, орешник, терпкий запах ореховой листвы, камердинеры, жёлтый кабриолет, солнце — соединились в одно радостное впечатление. Мне казалось, что как мыльные пузыри могли быть только у бабушки, так и лес, и орехи, и

солнце, и те могли быть только при бабушке в жёлтом кабриолете, который везут Петруша и Матюша.

Самое же сильное, связанное с бабушкой, воспоминание, — это ночь, проведённая в спальне бабушки, и Лев Степаныч. Лев Степаныч был слепой сказочник (он был уже стариком, когда я узнал его), — остаток старинного барства, барства деда. Он был куплен только для того, чтобы рассказывать сказки, которые он, вследствие свойственной слепым необыкновенной памяти, мог слово в слово рассказывать после того, как их раза два прочитывали ему.

Он жил где-то в доме, и целый день его было не видно. Но по вечерам он приходил наверх, в спальню бабушки (спальня эта была в низенькой комнатке, в которую входить надо было по двум ступеням), и садился на низенький подоконник, куда ему приносили ужин с господского стола. Тут он дожидался бабушку, которая без стыда могла делать свой ночной туалет при слепом человеке. В тот день, когда был мой черёд ночевать у бабушки, Лев Степаныч со своими белыми глазами, в синем длинном сюртуке с буфами на плечах сидел уже на подоконнике и ужинал. Не помню, как раздевалась бабушка, в этой ли комнате или в другой, и как меня уложили в постель, помню только ту минуту, когда свечу потушили, осталась одна лампадка перед золочёными иконами, бабушка, та самая удивительная бабушка, которая пускала эти необычайные мыльные пузыри, вся белая, в белом, на белом и покрытая белым, в своём белом чепце, высоко лежала на подушках, и с подоконника слышался ровный, спокойный голос Льва Степановича: «Продолжать прикажете?» — «Да, продолжайте». — «Любимая сестрица», сказала она, — заговорил Лев

Степаныч тихим, ровным старческим голосом, — «расскажите нам одну из тех прелюбопытнейших сказок, которые вы так хорошо умеете рассказывать». «Охотно, — отвечала Шехеразада, — рассказала бы я замечательную историю принца Камаральзамана, если повелитель наш выразит на то своё согласие». Получив согласие султана, Шехеразада начала так: «У одного владетельного царя был единственный сын...» — очевидно, слово в слово по книге начал Лев Степаныч историю Камаральзамана. Я не слушал, не понимал того, что он говорил, настолько был поглощён таинственным видом белой бабушки, её колеблющейся тенью на стене и видом старика с белыми глазами, которого я не видал теперь, но которого помнил неподвижно сидевшего на подоконнике и медленным голосом говорившего какие-то странные, мне казавшиеся торжественными слова, одиноко звучащие среди темноты комнатки, освещённой дрожащим светом лампадки. Должно быть, я тотчас же заснул, потому что дальше ничего не помню, и только утром опять удивлялся и восхищался мыльными пузырями, которые, умываясь, делала на своих руках бабушка» (1).

(1) Из доставленных мне и отданных в моё распоряжение черновых неисправленных записок Л. Н Толстого.

По воспоминаниям сестры Льва Николаевича, Марьи Николаевны, у слепого Льва Степановича был такой тонкий слух, что он ясно слышал, как бегают мыши, и

знал, куда они бегут. Одним из лакомств для мышей в комнате бабушки было лампадное масло, которое они лизали. И вот ночью, во время равномерного рассказывания сказки, Лев Степанович вдруг останавливался и таким же спокойным голосом заявлял: «А вот, ваше сиятельство, мышка побежала к лампадке масло лизать». И потом с той же равномерностью продолжал свой рассказ.

Графы Толстые известны на многих отраслях общественной деятельности; мы полагаем, что читателям интересно знать, в какой степени родства находятся некоторые из них по отношению к Льву Николаевичу. Мы упомянем здесь о Фёдоре Петровиче Толстом, известном художнике, медальере и вице-президенте императорской Академии Художеств, приходившемся родным братом Константину Петровичу Толстому, отцу поэта Алексея Константиновича Толстого, который, в свою очередь, приходился троюродным братом Льву Николаевичу. Бывший министр, Дмитрий Андреевич Толстой, известный своими ретроградными реформами, принадлежал к более дальней родне Льва Николаевича и происходил от их общего предка Ивана Петровича Толстого, сына первого графа Толстого, Петра Андреевича, умершего с ним вместе в ссылке, в Соловецком монастыре (1).

(1) Сведения, доставленные А. Н. Толстым. (См. также Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. XXXIII, с. 462).

Надо упомянуть также об интересном человеке Фёдоре Толстом, прозванном "американцем" и известном своими эксцентрическими авантюрами. В комедии Грибоедова

«Горе от ума» есть намёк на него в словах: «в Камчатку сослан был, вернулся алеутом». О нём говорит и Лев Николаевич в воспоминаниях о своём детстве. Личность его послужила Льву Николаевичу отчасти материалом для создания в «Войне и мире» типа Долохова. Он приходился двоюродным дядей Льву Николаевичу.

ГЛАВА 2.

Предки Л. Н. Толстого со стороны его матери

Князья Волконские ведут свой род от Рюрика.

От времен деда, князя Волконского, в Ясной Поляне долго еще сохранялось генеалогическое дерево князей Волконских, написанное на полотне масляными красками. Родоначальник князей Волконских, святой Михаил, князь Черниговский, держит в руке дерево, разветвления которого содержат перечень его потомства (2).

(2) К сожалению, по справкам, картина эта оказалась уничтоженной.

Князь Иван Юрьевич, в 13-м колене от Рюрика, в начале XIV столетия получил Волконский удел (по реке Волконе, протекающей в теперешней Калужской и отчасти Тульской губ.), и оттого пошёл род князей Волконских (3).

(3) Род князей Волконских. С. 7.

Сын его, Фёдор Иванович, был убит в Мамаевом побоище в 1380 году. Из дальнейших предков Льва Николаевича назовём его прадеда, князя Сергея Фёдоровича Волконского, личность которого окружена следующей легендой.

Князь Сергей Фёдорович Волконский участвовал в Семилетней войне в чине ген.-майора. Во время похода жене его приснилось, что какой-то голос повелевает ей, написав небольшую икону: с одной стороны Живоносного Источника, а с другой Николая Чудотворца, послать её мужу. Она для того избрала дощечку, приказала написать на ней икону и через фельдмаршала Апраксина доставила князю Сергею. В тот же день курьер привёз ему повеление — идти для поиска неприятеля. Сергей Фёдорович, призвав Бога на помощь, возложил на себя полученный образ. В кавалерийском деле неприятельская пуля попала ему в грудь, но ударила в самую икону и не причинила ему вреда; таким образом икона эта спасла ему жизнь; образ этот хранился после у младшего сына его, князя Николая Сергеевича. Князь Сергей Фёдорович умер 10 марта 1784 г. (1)

(1) Род князей Волконских. С. 697.

Лев Николаевич, конечно, знал это предание и воспользовался им в «Войне и мире» для изображения религиозного настроения княжны Марии Болконской

перед отправлением князя Андрея на войну. Читатели помнят, что княжна Мария упросила брата надеть образок; подавая его князю Андрею, она проговорила: «Что хочешь — думай, но для меня это сделай. Сделай, пожалуйста! Его еще отец моего отца, наш дедушка, носил во всех войнах...»

Мы видим, как художественная правда переплетается здесь с исторической, и если вторая даёт первой характер достоверности, то первая влагает во вторую тот дух жизни, которым так живы все действующие лица «Войны и мира» и который так неотразимо заражает и нас своей жизненностью.

Младший сын Сергея Федоровича, Николай Сергеевич, был дедом Льва Николаевича со стороны матери. Вот что известно о нём из родословной:

Николай Сергеевич, генерал от инфантерии, младший сын князя Сергея Фёдоровича и княгини Марии Дмитриевны, урождённой Чаадаевой, родился в 1753 г., марта 30. В 1780 г. он находился в свите императрицы Екатерины II в Могилеве, где присутствовал при первом свидании её с императором Иосифом II. В 1786 г. Николай Сергеевич провожал императрицу в Тавриду. В 1793 г. он назначен был чрезвычайным послом в Берлин по случаю бракосочетания наследного принца, впоследствии короля Фридриха-Вильгельма III. Он умер в 1821 г., февраля 3, в имении Ясная Поляна, где безвыездно прожил последние годы жизни, и которое внук его обессмертил в романе «Война и мир» под названием «Лысых гор». Тело его лежит в Троицко-Сергиевской лавре (2).

(2) Род князей Волконских. С. 707.

В своих воспоминаниях Лев Николаевич рассказывает нам о своём деде со стороны матери следующее:

«Про деда я знаю то, что, достигнув высоких чинов генерал-аншефа при Екатерине, он вдруг потерял своё положение вследствие отказа жениться на племяннице и любовнице Потёмкина Вареньке Энгельгардт. На предложение Потёмкина он отвечал: “С чего он взял, чтобы я женился на его бляди».

За этот ответ он не только остановился в своей служебной карьере, но был назначен воеводой в Архангельск, (3) где пробыл, кажется, до воцарения

(3) О воеводстве князя Николая Сергеевича Волконского в Архангельске свидетельствует интересный документ, хранящийся в Московском Историческом музее и заключающийся в приказе о принятии мер против ожидавшегося нападения французов на г. Архангельск в 1799 году. (Об этом ожидавшемся нападении, по-видимому, секретно доносил сам князь Волконский.) Приказ подписан собственноручно императором Павлом I. (*Примеч. П. Б.*)

императора Павла, когда вышел в отставку и, женившись на княжне Екатерине Дмитриевне Трубецкой, поселился в полученном от своего отца Сергея Федоровича имении Ясной Поляне.

Княгиня Екатерина Дмитриевна рано умерла, оставив моему деду единственную дочь Марию. С этой-то сильно любимой дочерью и её компаньонкой-француженкой и прожил мой дед до своей смерти, около 1821 года. Дед мой

считался очень строгим хозяином, но я никогда не слышал рассказов об его жестокостях и наказаниях, столь обычных в то время. Я думаю, что они были, но восторженное уважение к его важности и разумности было так велико в дворовых и крестьянах его времени, которых я часто расспрашивал про него, что, хотя я и слышал осуждения моего отца, я слышал только похвалы уму, хозяйственности и заботе о крестьянах и в особенности об огромной дворне моего деда. Он построил прекрасные помещения для дворовых и заботился о том, чтобы они были всегда не только сыты, но и хорошо одеты и веселились бы. По праздникам он устраивал для них увеселения, качели, хороводы.

Ещё более он заботился, как всякий умный помещик того времени, о благосостоянии крестьян, и они благоденствовали, тем более, что высокое положение деда, внушая уважение становым, исправникам и заседателю, избавляло их от притеснения начальства.

Вероятно, у него было очень тонкое эстетическое чувство. Все его постройки не только прочны и удобны, но чрезвычайно изящны. Таков же разбитый им парк перед домом. Вероятно, он также очень любил музыку, потому что только для себя и для матери держал свой хороший небольшой оркестр. Я еще застал огромный, в три обхвата вяз, росший в клину липовой аллеи, и вокруг которого были сделаны скамьи и пюпитры для музыкантов. По утрам он гулял по аллее, слушая музыку. Охоты он терпеть не мог, а любил цветы и оранжерейные растения.

Странная судьба и самым странным образом свела его с той самой Варенькой Энгельгардт, за отказ от которой он пострадал во время своей службы. Варенька эта вышла за князя Сергея Фёдоровича Голицына, получившего

вследствие этого всякого рода чины, ордена и награды. С этим-то Сергеем Федоровичем и его семьёй, следовательно и с Варварой Васильевной, сблизился мой дед до такой степени, что мать моя была с детства обручена одному из десяти сыновей Голицына, и оба старые князя разменялись портретными галереями (разумеется, копиями, написанными крепостными живописцами). Все эти портреты Голицыных и теперь в нашем доме, с князем Сергеем Федоровичем в Андреевской ленте и рыжей, толстой Варварой Васильевной — кавалерственной дамой. Однако сближению этому не суждено было совершиться: жених моей матери, Лев Голицын (1), умер от горячки перед свадьбой»(2).

(1) Тётушка рассказывала мне, что Голицына этого звали Львом, но это, очевидно, ошибка, так как у Серг. Фёд. Голицына не было сына Льва. И потому я думаю, что предание о том, что мать моя была обручена одному из Голицыных, справедливо, так же, как и то, что жених этот умер. То же, что мне дано имя Лев, потому что так звали жениха, — неверно. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

(2) Из доставленных мне и отданных в мое распоряжение черновых, неисправленных записок Л. Н. Толстого.

Просматривая родословную князей Волконских, я наткнулся ещё на одну интересную личность, именно на двоюродную сестру матери Льва Николаевича, княжну Варвару Александровну Волконскую, свидетельницу многих

событий, происходивших в доме деда Льва Николаевича. Вот что говорится о ней в родословной:

«Княжна Варвара Александровна Волконская (дочь князя Александра Сергеевича, т. е. племянница деда Льва Николаевича) со смерти матери часто жила подолгу с отцом своим в доме родного брата его Николая Сергеевича. Тут она встречалась с лицами, о коих повествует граф Лев Толстой в своём романе «Война и мир». Подробности о них и о современных событиях живо сохранились в её памяти до глубокой старости... Под конец жизни она переселилась в село Согалево, Клинского уезда, тоже бывшее вотчиной родителей её, и тут построила себе домик около самой церкви, в котором жила с несколькими дворовыми старушками, которые не хотели расстаться с ней и с которыми она жила воспоминаниями о прошлом, читая и перечитывая «Войну и мир». Давно забытая всеми, старая княжна осталась предметом уважения и привязанности местных крестьян. Одному случайному заезжему к ней в 1876 году она с любовью рассказывала, как крестьяне деревень, давно проданных и уже перешедших в третьи руки, поднесли ей в день, когда ей стало 90 лет, куль муки и рубль серебром, как бабы поднесли рубль, куриц и холста. Она это рассказывала не только с чувством благодарности, но и гордости, как свидетельство о памяти, оставленной её родителями среди населения» (1).

(1) Род князей Волконских. С. 720.

«Милую старушку, двоюродную сестру моей матери, я знал. Познакомился я с ней, когда в пятидесятых годах

жил в Москве. Устав от рассеянной светской жизни, которую я вел тогда в Москве, я поехал к ней, в её маленькое имение в Клинского уезда, и провел у неё несколько недель. Она шила в пальцах, хозяйничала в своём маленьком хозяйстве, угощала меня кислой капустой, творогом, пастилой, какие только бывают у таких хозяек маленьких имений, и рассказывала мне про старину, мою мать, деда, про четыре коронации, на которых она присутствовала. Я же писал у неё «Три смерти».

И это пребывание у неё осталось для меня одним из чистых и светлых воспоминаний моей жизни" (2).

(2) Вставка, сделанная Львом Николаевичем при просмотре рукописи.

Наконец, назовём ещё одно лицо из рода князей Волконских, хотя и не предка Льва Николаевича по прямой линии, но родственника его, князя Сергея Григорьевича Волконского, декабриста. Князь Сергей Григорьевич приходился троюродным братом матери Льва Николаевича и внуком Семёну Фёдоровичу Волконскому, родному брату князя Сергея Фёдоровича, о котором упоминали выше.

Князь Сергей Григорьевич Волконский родился в 1788 году, участвовал в кампании 1812 года и затем принадлежал к южному тайному обществу; за участие в заговоре декабристов был сослан в Восточную Сибирь, где и оставался 30 лет, пробив первые годы в каторжных работах, в кандалах, а остальное время на поселении (3).

(3) Записки С. Гр. Волконского (декабриста).

Путешествие и прибытие жены его, княгини Марии Николаевны, описано в известной поэме Некрасова.

Брат его, Николай Григорьевич Волконский, по указу императора Александра I в 1801 году принял фамилию Репнина, своего деда со стороны матери, род которого прекратился. «Да род князей Репниных, — как сказано в указе, — столь славно отечеству послуживших, с кончиною последнего в оном не

угаснет, но, обновясь, пребудет с именем и примером его в незабвенной памяти российского дворянства».

Князь Николай Григорьевич участвовал во всех походах против Бонапарта и в Отечественной войне. За битву под Аустерлицем награждён орденом св. Георгия четвёртого класса. В этом сражении, командуя эскадроном, он участвовал в известной атаке кавалергардского полка, описанной в «Войне и мире», причем был ранен пулей в голову и контужен. Французы подняли его с поля сражения и понесли на перевязочный пункт; узнав об этом, Бонапарт на другой день велел привести его в свою ставку и тут же предложил ему из уважения к его храбрости освободить не только его, но и всех офицеров, бывших под его командой, с условием не воевать в течение двух лет. Николай Григорьевич, поблагодарив за внимание, ответил, что «он присягнул служить своему государю до последней капли крови и потому предложения принять не может» (1).

(1) Род князей Волконских. С. 704, 714 и 715.

Вскоре затем, по возвращении из плена, вследствие ран князь был уволен в отставку.

В "Русской старине" 1890 года, т. 68, стр. 209, помещено письмо самого князя Репнина к Михайловскому-Данилевскому (историку Отечественной войны); в этом письме князь Репнин подробно рассказывает эпизод, описанный в «Войне и мире», и приводит подлинные слова своего разговора с Наполеоном. Первая часть этого разговора с точностью воспроизведена в романе "Война и мир".

ГЛАВА 3.

Родители Льва Николаевича

В своих воспоминаниях Лев Николаевич, описывая своих родителей, следует хронологическому порядку в том смысле, что сначала описывает смутные черты своей матери, дополняя рассказами о ней других, переживших её членов семьи, а затем уже приводит более точные позднейшие воспоминания об отце и тётках. Мы оставляем этот порядок, чтобы возможно менее менять порядок изложения Льва Николаевича. Из всего рассказа его о матери и отце исключен нами только рассказ о деде Волконском, который и вставлен в своё место, в главе о предках.

«Матери своей я совершенно не помню. Мне было полтора года, когда она скончалась. По странной случайности не осталось ни одного её портрета; так что,

как реальное физическое существо, — я не могу себе представить её. Я отчасти рад этому, потому что в представлении моём о ней есть только её духовный облик, и всё, что я знал о ней, — всё прекрасно, и я думаю не оттого только, что все говорившие мне про мою мать старались говорить о ней только хорошее, но потому что действительно в ней было очень много этого хорошего.

Впрочем, не только моя мать, но и все окружавшие мое детство лица, от отца до кучеров, представляются мне исключительно хорошими людьми. Вероятно, моё чистое, любовное чувство, как яркий луч, открывало мне в людях (они всегда есть) лучшие их свойства, и то, что все люди эти казались

мне исключительно хорошими, было гораздо ближе к правде, чем то, когда я видел одни их недостатки.

Мать моя была нехороша собою, но очень хорошо образованна для своего времени. Она знала, кроме русского, на котором она, противно принятой тогда русской безграмотности, писала правильно, — четыре языка: французский, немецкий, английский и итальянский, — и должна была быть чутка к художеству; она хорошо играла на фортепиано, и сверстницы ее рассказывали мне, что она была большая мастерица рассказывать завлекательные сказки, выдумывая их по мере рассказа. Самое же дорогое качество было то, что она, по рассказам прислуги, была хотя и вспыльчива, но сдержанна. "Вся покраснеет, даже заплачет, —

рассказывала мне ее горничная, — но никогда не скажет грубого слова". Она и не знала их.

У меня осталось несколько писем её к отцу и другим тёткам и дневник поведения Николеньки (старшего брата), которому было 6 лет, когда она умерла, и который, я думаю, был более других похож на неё. У них обоих было очень мне милое свойство характера, которое я предполагаю по письмам матери, но которое я знал у брата; их равнодушие к суждениям людей и скромность, доходящая до того, что они старались скрыть те умственные, образовательные и нравственные преимущества, которые они имели перед другими людьми. Они как будто стыдились этих преимуществ.

В брате, — про которого Тургенев очень верно сказал, что у него не было тех недостатков, которые нужны для того, чтобы быть большим писателем, — я хорошо знал это. Помню раз, как очень глупый и нехороший человек, адъютант губернатора, охотившийся вместе с братом, при мне подсмеивался над ним, и как брат, глядя на меня, добродушно улыбался, очевидно, находя в этом большое удовольствие.

Ту же черту я замечал в письмах матери. Она, очевидно, духовно была выше отца и его семьи, за исключением разве Татьяны Александровны Ёргольской, с которой я прожил половину своей жизни и которая была замечательная по нравственным качествам женщина.

Кроме того, у обоих была ещё другая черта, обуславливающая, я думаю, их равнодушие к суждению людей, — это то, что они никогда никого, это я уже верно знаю про брата, с которым прожил половину жизни, никогда никого не осуждали. Наиболее резкое отрицательное отношение к человеку выражалось у брата

тонким, добродушным юмором и такою же улыбкой. То же самое я вижу по письмам моей матери и слышал от тех, которые знали её.

В житиях Дмитрия Ростовского есть одно, которое меня всегда очень трогало, — это коротенькое житие одного монаха, имевшего заведомо всей братии много недостатков и, несмотря на то, явившегося в сновидении старцу среди святых в самом лучшем месте рая. Удивлённый старец спросил: чем заслужил этот невоздержанный во многом монах такую награду? Ему отвечали: он никогда не осудил никого.

Если бы были такие награды, я думаю, что мой брат и моя мать получили бы их.

Ещё третья черта, выделявшая мать из её среды, была правдивость и простота её тона в письмах. В то время особенно были распространены в письмах выражения преувеличенных чувств: «несравненная, обожаемая, радость всей моей жизни, неоценённая» и т. д. — были самые распространённые эпитеты между близкими, и чем напыщеннее, тем были неискреннее.

Эта черта, хотя и не в сильной степени, видна в письмах отца. Он пишет: «*ma bien douce amie, je ne pense qu'au bonheur d'etre aupres de toi*» [фр. - «когда есть моя милая подруга, быть даже подле государя – не большее счастье»].

Едва ли это было вполне искренно. Она же пишет в обращении всегда одинаково: «*mon bon ami*» [фр. – «мой добрый дружок»], и в одном из писем прямо говорит: «*le*

temps me paraît long sans toi quoiqu'a dire vrai, nous ne jouissons pas beaucoup de ta société quand tu es ici» [*фр.* – «время тянется без тебя, хотя, сказать по правде, мы не злоупотребили временем твоего пребывания с нами»], и всегда подписывается одинаково: «ta dévouée Marie» [*фр.* – «твоя преданная Мари»].

Детство своё мать прожила частью в Москве, частью в деревне с умным, гордым и даровитым человеком, моим дедом Волконским. Мне говорили, что маменька очень любила меня и называла: «mon petit Benjamin» [*фр.* – «мой малыш Бенжамен»].

Думаю, что любовь к умершему жениху, именно вследствие того, что она кончилась смертью, была той поэтической любовью, которую девушки испытывают только один раз. Брак её с моим отцом был устроен родными её и моего отца. Она была богатая, уже не первой молодости, сирота, отец же был веселый, блестящий молодой человек, с именем и связями, но с очень расстроенным (до такой степени расстроенным, что отец даже отказался от наследства) моим дедом Толстым состоянием. Думаю, что мать любила моего отца больше как мужа и, главное, отца своих детей, но не была влюблена в него. Настоящей же её любви, как я понимаю, было три или четыре: любовь к умершему жениху, потом страстная дружба с француженкой m-lle Henissienne, про которую я слышал от тётушек и которая кончилась, как кажется, разочарованием. M-lle Henissienne эта вышла замуж за двоюродного брата матери, князя Михаила Александровича Волконского, деда теперешнего писателя Волконского. Вот что пишет моя мать про свою дружбу с этой m-lle Henissienne.

Пишет она про свою дружбу по случаю двух девиц, живших у нее в доме: "Je m'arrange tres bien avec toutes les deux, je fais de la musique, je ris et je folatre avec l'une et je parle sentiment, je medis du monde frivole, avec l'autre, je sois aimee a la folie par toutes les deux, je suis la confidente de chacune, je les concilie, quand elles sont brouillees, car il n'y eut jamais d'amitie plus querelleuse et plus drole a voir que la leur: ce sont des bouderies, des pleurs, des reconciliations, des injures et puis des transports d'amitie exaltee et romanesque. Enfm j'y vois comme dans un miroir l'amitie qui a anime et trouble ma vie pendant quelques anneess. Je les regarde avec un sentiment, indefinissable, quelquefois j'envie leurs illusions, que je n'ai plus, mais dont je connais la douceur; disons le franchement, le bonheur solide et reel de l'age mur vaut-il les charmantes illusions de la jeunesse, ou tout est embelli par la toute-puissance de l'imagination? Et quelquefois je souris de leur enfantillage" (1).

(1) «Я отлично лажу с обеими, я занимаюсь музыкой, смеюсь и дурачусь с одной, говорю о чувствах, пересуживаю пустоту света с другой, любима до безумия обеими, каждая делает мне свои признания, и я их мирю, когда они ссорятся; так как трудно себе представить дружбу более бурную и более странную, чем ихняя. Постоянные неудовольствия, слёзы, угощения, брань и вдруг порывы восторженной и романтической дружбы. Словом, вижу, как в зеркале, дружбу, которая оживляла меня и смущала мою жизнь в течение нескольких лет. Я смотрю на них с невыразимым чувством, иногда завидую их иллюзиям, которых у меня уже нет, но сладость которых я знаю. Говоря откровенно, счастье прочное и действительное зрелого возраста, стоит ли оно очаровательных иллюзий юности, когда всё бывает украшено всеильным воображением? Иногда я улыбаюсь их ребячеству».

Третье сильное, едва ли не самое страстное чувство, была её любовь к старшему моему брату Коко, журнал поведения которого она вела по-русски,

в котором она записывала его проступки и читала ему. Из этого журнала видно страстное желание сделать всё возможное для наилучшего воспитания Коко и вместе с тем очень неясное представление о том, что нужно для этого. Так, например, она выговаривает ему за то, что он слишком чувствителен и плачет при виде страданий животных. Мужчине, по ее понятиям, надо быть твёрдым. Другой недостаток, который она старается исправлять в нем, это то, что он задумывается и вместо «bonsoir» или «bonjour» [«здравствуй» или «привет»] говорит бабушке: «je vous remercie» [«спасибо»].

Четвёртое сильное чувство, которое, может быть, было, как мне говорили тётушки, и которое я так желал, чтобы было, была любовь ко мне, заменившая любовь ей к Коко, во время моего рожденья уже отлепившегося от матери и поступившего в мужские руки. Ей необходимо было любить не себя, и одна любовь сменялась другой.

Таков был духовный облик матери в моём представлении.

Она представлялась мне таким высоким, чистым, духовным существом, что часто в средний период моей жизни, во время борьбы с одолевавшими меня искушениями, я молился её душе, прося её помочь мне, и эта молитва всегда помогала много.

Жизнь моей матери в семье отца, как я могу заключить по письмам и рассказам, была очень счастливая и хорошая.

Семья отца состояла из бабушки-старушки — его матери, её дочери — моей тётки, графини Александры Ильиничны Остен-Сакен, и её воспитанницы Пашеньки; другой тетушки, как мы называли её, хотя она была нам очень дальней родственницей, Татьяны Александровны Ергольской, воспитавшейся в доме дедушки и прожившей всю жизнь в нашем доме, моего отца, учителя Фёдора Ивановича Рёсселя, описанного мною довольно верно в «Детстве». Детей нас было пятеро: Николай, Сергей, Дмитрий, я, меньшой, и меньшая сестра Машенька, вследствие родов которой и умерла моя мать. Замужняя очень короткая жизнь моей матери — кажется, не больше 9-ти лет — была счастливая и хорошая. Жизнь эта была очень полна и украшена любовью всех к ней и её ко всем, жившим с ней. Судя по письмам, я вижу, что жила она тогда очень уединённо. Никто почти, кроме близких знакомых Огарёвых и родственников, случайно проезжавших по большой дороге и заезжавших к нам, не посещали Ясной Поляны.

Жизнь моей матери проходила вся за занятиями с детьми, в вечерних чтениях вслух романов для бабушки и серьёзных чтениях, как Эмиль Руссо, и рассуждениях о читанном, в игре на фортепиано, в преподавании итальянского языка одной из тёток, в прогулках и домашнем хозяйстве.

Во всех семьях бывают периоды, когда болезни и смерти ещё отсутствуют и члены семьи живут спокойно. Такой период, как мне думается, переживала мать в семье мужа до своей смерти. Никто не умирал, никто серьезно не

болел, расстроенные дела отца поправлялись. Все были здоровы, веселы и дружны. Отец веселил всех своими рассказами и шутками. Я не застал этого времени. Когда я стал помнить себя, уже смерть матери положила свою печать на жизнь нашей семьи».

К этой яркой и вместе с тем нежной характеристике своей матери Львом Николаевичем мы должны еще прибавить несколько ценных черт, на которые дают указания некоторые оставшиеся после Марии Николаевны её писания. Из них, кроме упоминаемых Л. Н-чем, мы укажем на дневник Марии Николаевны от 1810 г. о её поездке с отцом из Москвы в Петербург.

Дневник этот является также чрезвычайно важным источником для понимания личности самой Марии Николаевны. Озаглавлен он: "Дневная запись для собственной памяти". Начинается же он так:

"1810 г. июня 18 дня выехала я с батюшкой из Москвы с сердцем, исполненным радости, но с тощим кошельком, в котором было только четыре рубли; и эта сумма должна была довести меня до Петербурга".

Уже в этих немногих строках заключаются ценные штрихи для понимания молодой шестнадцатилетней княжны: она и до ребячливости наивна, и в то же время не по летам рассудительна и самостоятельна. Она наивна, когда думает о своём "тощем кошельке", который должен "довести" её до Петербурга, потому что ведь едет она с богатым отцом, но она рассудительна и самостоятельна, потому что, даже "с сердцем, исполненным радости",

способна не забывать житейскую прозу. Те же черты выступают перед нами и в дальнейших строках дневника. Так, приехав в деревню Давыдовку к брату Ник. Сергеевича, кн. Александру Сергеевичу, она записывает: «Сестра княжна Варвара показывала мне свои занятия: у неё восемь девок, которые прекрасно плетут кружева». Но эта бросающаяся в глаза склонность молодой девушки обращать внимание на практическую сторону жизни, развитая в ней, очевидно, отцом, далеко не преобладающая в ней черта. Когда Марья Николаевна соприкасается с природой или с искусством, окружающая проза жизни всегда отступает для неё на задний план. В той же самой Давыдовке, осмотрев тамошние места, она делает в своём дневнике такую заметку: «со всех сторон открываются прелестные виды: в лесу есть натуральные гулянья, которые, кажется, будто сделаны искусством». Вообще, всё красивое неизменно привлекает её внимание. Некрасивая сама, она душой живёт всегда в красоте, в каких-то мечтах о ней, никогда не забывая при этом полезной стороны наблюдаемых ею явлений. И в этой черте её явно сказывается влияние отца, эстетическая натура которого не мешала ему быть очень практичным и дельным хозяином. В Твери Марья Николаевна записывает: «Сей город очень регулярно построен и имеет очень хорошие дома». А уезжая из Твери, она делает такое замечание: «Величественная Волга чрезвычайно украшает её, и я долго любовалась на сию мать Российских рек, которая орошает столько Губерний». Про Новгород она говорит: «Я с удовольствием увидела сей древний город, который был некогда столицей России, часто противился Великим Князьям и участвовал в Ганзеатическом союзе, который играл тогда столь знатную роль». Наконец,

приехав уже в Петербург, она так отзывается о Царском Селе, через который лежал ее маршрут: «сие место привело меня в восхищенье, хотя я только поверхностно могла рассмотреть оное. Сей дворец, огромное и великолепное здание, которое я видела только с одной стороны; сии сады и рощи, в которых гуляла Екатерина, сии беседки, фонтаны наподобие развалин, и обложенные камнем горы, всё сие прельщало меня» (1).

(1) Н. Г. Молоствов. «Лев Толстой. Критико-биограф. исследование». Вып. 1.

Из этого дневника наглядно вырисовывается та серьёзность и основательность, с какой воспитывал и развивал свою дочь князь Николай Сергеевич Волконский.

Продолжая свои воспоминания, Лев Николаевич переходит уже к другой эпохе и говорит:

«Всё это я описываю по рассказам и письмам. Теперь же начинаю о том, что я пережил и помню. Не буду говорить о смутных, младенческих неясных воспоминаниях, в которых не можешь ещё отличить действительности от сновидений. Начну с того, что я ясно помню: с того места и с тех лиц, которые окружали меня с первых лет. Первое место среди этих лиц занимает, хотя и не по влиянию на меня, но по моему чувству к нему, разумеется, мой отец.

Отец мой с молодых лет оставался единственным сыном своих родителей. Младший брат его Иленька был ушиблен, стал горбатый и умер в детстве. В 12-м году отцу было 17 лет, и он, несмотря на ужас и страх и отговоры родителей, поступил в военную службу. В то время князь Алексей Иванович Горчаков, близкий родственник моей бабушки, княгини Горчаковой, был военным министром, а другой брат, Андрей Иванович, был генералом, командующий чем-то в действующей армии, и отца зачислили к нему в адъютанты. Он проделал походы 13–14 годов и в 14 году где-то во Франции, будучи послан курьером, был французами взят в плен, от которого освободился только в 15 году, когда наши войска вошли в Париж.

Отец в 20 лет уже был не невинным юношей, а ещё до поступления на военную службу, стало быть лет 16-ти, был соединён родителями, как думали тогда, для его здоровья, с дворовой девушкой. От этой связи был сын Мишенька, которого определили в почтальоны и который при жизни отца жил хорошо, но потом сбился с пути и часто уже к нам, взрослым братьям, обращался за помощью. Помню то странное чувство недоумения, которое я испытывал, когда этот впавший в нищенство брат мой, очень похожий (более всех нас) на отца, просил нас о помощи и был благодарен за 10, 15 рублей, которые давали ему.

После кампании отец, разочаровавшись в военной службе, — это видно по письмам, — вышел в отставку и приехал в Казань; где, совсем уже разорившись, мой дед был губернатором, и в Казани же была сестра отца, Пелагея Ильинична, за Юшковым. Дед скоро умер в Казани же, и отец остался с наследством, которое не стоило и всех долгов, и со старой, привыкшей к роскоши

матерью, сестрой и кузиной на руках. В это время ему устроили женитьбу на моей матери, и он переехал в Ясную Поляну, где, прожив 9 лет с матерью, овдовел и где уже на моей памяти жил с нами.

Отец был среднего роста, хорошо сложен, живой сангвиник с приятным лицом и с всегда грустными глазами. Жизнь его проходила в занятиях хозяйством, в котором он, кажется, не был большой знаток, но в котором он имел для того времени большое качество: он был не только не жесток, но скорее даже слаб. Так что и за его время я никогда не слышал о телесных наказаниях. Вероятно, эти наказания производились. В то время трудно было себе представить управление без употребления этих наказаний; но они, вероятно, были так редки, и отец так мало принимал в них участия, что нам, детям, никогда не удавалось слышать про это. Уже только после смерти отца я в первый раз узнал, что такие наказания совершались у нас.

Мы, дети, с учителем возвращались с прогулки и подле гумна встретили толстого управляющего Андрея Ильина и шедшего за ним, с поразившим нас печальным видом, помощника кучера, Кривого Кузьму, человека женатого и уже немолодого. Кто-то из нас спросил Андрея Ильина, куда он идёт, а он спокойно отвечал, что идёт на гумно, где надо Кузьму наказать. Не могу описать ужасного чувства, которое произвели на меня эти слова и вид доброго и

унылого Кузьмы. Вечером я рассказал это тётушке Татьяне Александровне, воспитавшей нас и ненавидевшей

телесные наказания, никогда не допускавшей их для нас, а также для крепостных, там, где она могла иметь влияние. Она очень возмущилась тем, что я рассказал ей, и с упрёком сказала: «Как же вы не остановили его?» Её слова ещё больше огорчили меня... Я никак не думал, чтобы мы могли вмешиваться в такое дело, а между тем, оказывалось, что мы могли. Но уже было поздно, и ужасное дело было совершено.

Возвращаясь к тому, что я знал про отца и как представляю себе его жизнь. Занятие его составляло хозяйство и, главное, процессы, которых тогда было очень много у всех и, кажется, особенно много у отца, которому надо было распутывать дела деда. Процессы эти заставляли отца часто уезжать из дома; кроме того, уезжал он часто и для охоты — и для ружейной, и для псовой. Главным товарищем его по охоте был его приятель, старый холостяк и богач Киреевский, и Языков, Глебов, Исленев. Отец разделял общее тогда свойство помещиков — пристрастие к некоторым любимцам из дворовых. Такими любимцами его были два брата: Петруша и Матюша, оба красивые, ловкие ребята, и они же — охотники. Дома отец, кроме занятий хозяйством и нами — детьми, ещё много читал. Он собирал библиотеку, состоявшую по тому времени из французских классиков, исторических сочинений и естественноисторических — Бюффон, Кювье. Тётушка говорила мне, что отец поставил себе за правило не покупать новых книг, пока не прочтёт прежних. Но хотя он и много читал, трудно верить, чтобы он одолел все эти «Histoires des Croisades» и «Des Papes» [«Рассказы о крестовых походах» и «История пап»], которые он время от времени приобретал в библиотеку.

Сколько я могу судить, он не имел склонности к наукам, но был на уровне образованных людей своего времени. Как большая часть людей первого Александровского времени и походов 13–15 годов, он был не то, что теперь называется либералом, а просто, по чувству собственного своего достоинства, не считал для себя возможным служить ни при конце царствования Александра I, ни при Николае. Он не только не служил никогда, но даже все друзья его были такие же люди свободные, не служащие и немного фрондирующие правительство государя Николая Павловича.

За всё моё детство и даже юность наше семейство не имело близких сношений ни с одним чиновником. Разумеется, я ничего не понимал этого в детстве, но я понимал то, что отец никогда ни перед кем не унижался, не изменял своего бойкого, весёлого и часто насмешливого тона. И это чувство собственного достоинства, которое я видел в нём, увеличивало мою любовь, моё восхищение перед ним.

Помню его в его кабинете, куда мы приходили к нему прощаться, а иногда просто поиграть, где он с трубкой сидел на кожаном диване и ласкал нас, а иногда, к величайшей радости нашей, пускал к себе за спину на кожаный диван и продолжал читать или разговаривать со стоящим у притолоки двери приказчиком или с С. И. Языковым, моим крёстным отцом, часто гостившим у нас. Помню, как он приходил к нам вниз и рисовал нам картинки, которые казались нам верхом совершенства. Помню, как он раз заставил меня прочесть ему полюбившиеся мне и выученные мною наизусть стихи Пушкина «К морю»: «Прощай, свободная стихия!» и Наполеону: «Чудесный жребий совершился, угас великий

человек», и т. д. Его поразил, очевидно, тот пафос, с которым я произносил эти стихи, и он, прослушав меня, как-то значительно переглянул-

ся с бывшим тут Языковым. Я понял, что он что-то хорошее видит в этом моем чтении, и был очень счастлив этим.

Помню его весёлые шутки и рассказы за обедом и ужином, как и бабушка, и тетушка, и мы, дети, смеялись, слушая его. Помню ещё его поездки в город и тот удивительно красивый вид, который он имел, когда надевал сюртук и узкие панталоны. Но более всего я помню его в связи с псовой охотой. Помню его выезды на охоту. Мне всегда потом казалось, что Пушкин списал с него свой выезд на охоту мужа в «Графе Нулине». Помню, как мы с ним ходили гулять, и как, увязавшись за ним, молодые борзые, разрезвившись по нескошенному лугу, на котором высокая трава подстегивала их и щекотала под брюхом, летали кругом с загнутыми набок хвостами, и как он любовался ими. Помню, как в день охотничьего праздника 1-го сентября мы все выехали в линейке к отъёмному лесу, в который была посажена лисица, и как гоняли гончие её, и где-то — мы не видели — борзые поймали её. Помню особенно ясно садку волка. Это было около самого дома. Мы все пешком вышли смотреть. На телеге вывезли большого соструненного, со связанными ногами серого волка. Он лежал смирно и только косился на подходивших к нему. Приехав на место за садом, волка вынули, прижали вилами к земле и развязали ноги. Он

стал рваться и дёргаться, злобно грызя струнку. Наконец развязали на затылке и струнку, и кто-то крикнул: "пущай!" Вилы подняли, волк поднялся, постоял секунд десять, но на него крикнули и пустили собак. Волк, собаки, конные, верховые полетели вниз по полю. И волк ушёл. Помню, отец что-то выговаривал и, сердито махая руками, возвращался домой.

Самые же приятные мои воспоминания о нём — это его сиденье с бабушкой на диване и помогание ей раскладывания пасьянса. Отец со всеми бывал учтив и ласков, но с бабушкой он был всегда как-то особенно ласково подобострастен. Сидит, бывало, бабушка со своим длинным подбородком в чепце с рюшем и бантом на диване и раскладывает карты, понюхивая изредка из золотой табакерки. Рядом с диваном сидит на кресле тульская оружейница Петровна в своей куртушке с патронами, прядёт и стучает клубком изредка по стене, в которой она клубками этими выбила уже ямку. Петровна эта — торговка, почему-то полюбилась бабушке, и она гостит часто у нас и всегда сидит рядом с бабушкой в гостиной около дивана. На креслах сидят тетушки, и одна из них читает вслух. На одном из кресел, продавив в нём себе ямку, лежит черно-пегая Милка, любимая резвая собака отца, с прекрасными чёрными глазами. Мы приходим прощаться, а иногда сидим тут же. Прощаемся, всегда целуясь с бабушками и тетушками, целуясь рука в руку. Помню раз, в середине пасьянса и чтения отец останавливает читающую тётушку, указывает в зеркало и шепчет что-то. Мы все смотрим туда же. Это официант Тихон, зная, что отец в гостиной, идёт к нему в кабинет брать его табак из большой, складывающейся розанчиком кожаной табачницы. Отец видит его в зеркало и смотрит

на его, на цыпочках, осторожно шагающую фигуру. Тётушки смеются. Бабушка долго не понимает, а когда понимает, радостно улыбается. Я восхищаюсь добротой отца и, прощаясь с ним, с особенной нежностью целую его белую, жилистую руку. Я очень любил отца, но не знал ещё, как сильна была эта моя любовь к нему до тех пор, пока он не умер" (1).

(1) Из доставленных мне и отданных в моё распоряжение черновых неисправленных записок Л. Н. Толстого.

Эти сведения о родителях, сообщённые самим Львом Николаевичем, мы дополним только некоторыми внешними фактами и историческими документами, которые нам удалось собрать.

Граф Николай Ильич Толстой, отец Льва Николаевича, родился в 1797 году. В хранящемся в архиве Казанского университета деле о принятии в студенты Льва Толстого находится любопытный документ: аттестат о службе его отца, Николая Ильича Толстого.

Мы приведем здесь существенную часть этого акта, датированного 29-го января 1825 года (1).

(1) «Гр. Л. Н. Толстой и его студенческие годы». Н. П. Загоскин. «Исторический вестник», январь 1894 г.

«Предъявитель сего подполковник граф Николай Ильич, сын Толстой 3-й, который, как значится из формулярного его списка, 28 лет, имеет орден св. Владимира 4-й степени, из дворян; крестьян не имеет, в службу Его Императорского Величества вступил из губернских секретарей корнетом, 1812 года июня 11-го в 3-й Иркутский казачий регулярный полк, из коего переведен в Иркутский гусарский полк 1812 года августа 18-го; произведен за отличие в поручики 1813 года апреля 27-го; в том же полку штаб-ротмистром 1813 года октября 7-го. Переведён за отличие в кавалергардский полк тем же чином 1814 года августа 8-го, из оного в гусарский принца Оранского полк, майором, 1817 года декабря 11-ого. Уволен по болезни в отставку с награждением подполковника 1819 года марта 14-го. Определен в Московское военно-сиротское отделение смотрительским помощником 1821 года декабря 15-го. Во время которой службы был в разных походах 1813 г. апреля 2-го и в действительных сражениях неоднократно находился, был в полону до взятия Парижа и за отличие в тех сражениях награжден чином вышеописанным поручиком, штаб-ротмистром и орденом св. Владимира 4-й степени с бантом».

Из того же документа узнаем, что граф Н. И. Толстой оставил службу в военно-сиротском отделении и вышел в окончательную отставку «по домашним обстоятельствам» 8-го января 1824 года.

Выйдя в отставку, граф Николай Ильич Толстой поселился в Ясной Поляне. В ту пору у них был лишь один ребёнок, годовалый сын Николай, родившийся в 1823 году. В 1826 году (17-го февраля) родился у них сын

Сергей, в 1827 году (23-го апреля) — Дмитрий, а 28 августа 1828 года родился сын Лев.

Непродолжительна была мирная и тихая сельская жизнь Толстых. В 1830 г., произведя на свет дочь Марию (родилась 7-го марта), графиня Толстая вскоре скончалась, оставив мужа с пятью детьми.

По смерти матери воспитанием детей занялась дальняя родственница, вышеупомянутая девица Татьяна Александровна Ёргольская, выросшая и воспитанная в доме деда А. Н-ча, графа Ильи Андреевича Толстого.

В семье Толстых сохранился интересный рассказ из жизни отца Льва Николаевича.

В 1813 году, после блокады города Эрфурта, отец Льва Николаевича был послан с депешами в Петербург; на возвратном пути, при местечке Сент-Оби, он был взят в плен вместе со своим крепостным денщиком, незаметно спрятавшим в сапог всё золото своего барина. В течение нескольких месяцев, пока они были в плену, он ни разу не разувался, чтобы не выдать тайны. Он натер себе ногу до раны, но все время и вида не показывал, что ему больно. Зато по

приезде в Париж Николай Ильич мог жить, ни в чём не нуждаясь. Он сохранил надолго добрую память о своём преданном денщике (1).

(1) Сергеенко. «Как живёт и работает Л. Н. Толстой». Москва, 1898, с. 40.

Прочитав личные воспоминания Льва Николаевича, читатели поймут, что в повести «Детство» изображены родители не Льва Николаевича.

Действительно, насколько нам известно, в отце он изобразил Александра Михайловича Исленева, соседа по имению и приятеля своего действительного отца; мать — лицо вымышленное.

Зато в «Войне и мире» нетрудно угадать полное художественное изображение его родителей в лице графа Николая Ильича Ростова и княжны Марии Волконской.

Начиная со старого графа Ильи Андреевича и кончая воспитанницей Соней, у многих членов семьи Ростовых есть соответствующие действительности типы в семейной хронике Толстых. Точно также ясны и обитатели Лысых Гор. И потому чтение этого романа может дополнить сведения о быте и характере предков и родителей Льва Николаевича.

Часть II.

ЮНЫЕ ГОДЫ (1828–1850)

ГЛАВА 4.

Детство

«Родился я и провёл первое детство в деревне Ясной Поляне».

Этими словами начинает Лев Николаевич свои воспоминания, и мы считаем должным, приступая к описанию детства, сказать несколько слов об этом замечательном уголке земного шара, которому суждено было приобрести всемирную известность. Каких только гостей не видала у себя Ясная Поляна! Жители Малайского архипелага, австралийцы, японцы и американцы, сибирские бегуны и представители всех европейских наций посещали её и разносили по всему свету описание её, слова и мысли великого старца, её обитателя.

Ясная Поляна, родовое имение князей Волконских, находится в Крапивенском уезде Тульской губ. почти на границе Тульского уезда, в 15 верстах к югу от Тулы. Близ неё переплетаются между собой три большие дороги трёх разных эпох: заросшая травой старая Киевская дорога, новое Киевское шоссе и Московско-Курская железная дорога, ближайшая станция которой, Козлова Засека (или просто Засека), находится от дома Льва Николаевича в трех с половиной верстах.

Красивая холмистая местность, окружающая Ясную Поляну, перерезана с востока на запад длинной лентой казенного леса, носящего название "Засеки"; название это указывает на отдельные времена, когда в этом месте славянским племенам приходилось отражать нападения крымских татар и других монгольских племён и «засекать», т. е. рубить лес и делать лесные завалы, естественное и непроходимое препятствие для вражеских орд.

Дома, в котором родился Лев Николаевич, в Ясной Поляне уже нет. Начатый ещё дедом, князем Волконским, и достроенный отцом Льва Николаевича, он был продан на своз соседнему помещику Горохову и находился в селе Долгом, верстах в 30-ти от Ясной Поляны. В начале

пятидесятих годов Лев Николаевич сильно нуждался в деньгах и поручил одному из своих родственников продать этот дом. Огромный барский дом с колоннами и балконами был продан за сравнительно ничтожную сумму, около 5000 рублей ассигнациями. По письму Льва Николаевича к его брату видно, что ему было очень трудно решиться на это, и он сделал это скрепя сердце по необходимости. В настоящее время в доме этом никто не живёт. Он стоит запущенный, с заколоченными окнами(1).

(1) В последнее время дом этот, пришедший в ветхость, разобран крестьянами на дрова.

Теперешние два яснополянские дома преобразованы из двух преж-

них флигелей, стоявших по обе стороны проданного большого дома. Место, где стоял большой старый дом, частью засажено деревьями, частью расчищено под крокет-граунд и площадку, заменяющую в хорошую погоду столовую.

Перед домами теперь цветник, и за ним раскинулся старинный сад с прудом и вековыми липовыми аллеями. Весь сад окружен канавой и валом. При въезде в этот сад стоят две круглые выбеленные кирпичные башни. Около них, по рассказам стариков, во времена деда, князя Волконского, стоял часовой.

От этих башен к дому ведёт берёзовая аллея, так называемый проспект.

К старинному саду примыкают более молодые фруктовые сады, посаженные уже под руководством самого Льва Николаевича. И вся усадьба, расположенная на холме, тонет в густой роскошной зелени.

О рождении Льва Николаевича, к сожалению, неизвестно никаких интересных подробностей, кроме следующей выписки из метрических книг, приводимой в воспоминаниях Загоскина:

«1828 года, августа 28 дня, сельца "Ясной Поляны", у графа Николая Ильича Толстого родился сын Лев, крещён двадцать девятого числа священником Василием Можайским с дьяконом Архипом Ивановым, дьячком Александром Фёдоровым и пономарём Фёдором Григорьевым. При крещении восприемниками были: Белёвского уезда помещик Семён Иванов Языков и графиня Пелагея Толстова» (1).

(1) Н. П. Загоскин «Гр. А. Н. Толстой и его студенческие годы». «Исторический вестник», январь 1894, с. 87.

Эта графиня "Пелагея Толстова" была бабушка Льва Николаевича по отцу, Пелагея Николаевна Толстая.

Таковы скудные сведения, дошедшие до нас, о рождении Льва Николаевича Толстого. О первом же детстве его мы знаем уже много интересного.

Редко приходится биографу пользоваться столь ранними автобиографическими сведениями, как пишущему эти строки. В своих "Первых воспоминаниях"

Лев Николаевич приводит смутные ощущения пеленания, т. е. ощущения первого года жизни.

Мы приводим здесь эти воспоминания целиком:

«Вот первые мои воспоминания (которые я не умею поставить по порядку, не зная, что было прежде, что после; о некоторых даже не знаю, было ли то во сне или наяву). Вот они: я связан; мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать, и я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик; но я не могу остановиться. Надо мной стоит, нагнувшись, кто-то, я не помню кто. И всё это в полутьме. Но я помню, что двое. Крик мой действует на них; они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, чего я хочу, и я кричу ещё громче. — Им кажется, что это нужно (т. е. чтоб я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно, и хочу доказать им это, и я заливаюсь криком, противным для самого себя, но неудержимым. Я чувствую несправедливость и жестокость не людей, потому что они жалеют меня, но судьбы, и жалость над самим собой. Я не знаю, и никогда не узнаю, что это такое было: пеленали ли меня, когда я был грудной, и я выдираю руку, или это пеленали меня уже, когда мне было больше года, чтобы я не расчесывал лишаи; собрал ли я в одно это воспоминание, как то бывает во сне, много впечатлений, но верно то, что это было первое и самое сильное моё впечатление жизни. И памятны мне не крик мой, не страдания, но сложность, противоречивость впечатле-

ния. Мне хочется свободы, она никому не мешает, и я, кому сила нужна, я слаб, а они сильны.

Другое впечатление — радостное. Я сижу в корыте, и меня окружает новый не неприятный запах какого-то вещества, которым трут моё маленькое тельце. Вероятно, это были отруби, и вероятно, в воде и корыте, но новизна впечатлений отрубей разбудила меня, и я в первый раз заметил и полюбил своё тельце, с видными мне рёбрами на груди, и гладкое тёмное корыто, засученные руки няни, и тёплую, парную, страшенную воду, и звук её, и в особенности ощущение гладкости мокрых краёв корыта, когда я водил по ним ручонками.

Странно и страшно подумать, что от рождения моего и до трёх лет, в то время, когда я кормился грудью, когда меня отняли от груди, когда я стал ползать, ходить, говорить, сколько бы я ни искал в своей памяти, я не могу найти ни одного впечатления, кроме этих двух. Когда же я начался? Когда начал жить? И почему мне радостно представлять себя тогда, а бывало страшно, как и теперь страшно многим, представлять себя тогда, когда я опять вступаю в то состояние смерти, от которого не будет воспоминаний, выразимых словами? Разве я не жил тогда, когда учился смотреть, слушать, понимать, говорить, когда спал, сосал грудь и целовал грудь, и смеялся, и радовал мою мать? Я жил и блаженно жил! Разве не тогда я приобретал всё то, чем я теперь живу, и приобретал так много, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрёл и одной сотой того? От пятилетнего ребёнка до меня — только шаг. От новорождённого до пятилетнего — страшное расстояние. От зародыша до новорождённого — пучина. А от несуществования до зародыша отделяет уже не пучина, а непостижимость. Мало того, что пространство, и время, и причина суть формы мышления, и что сущность жизни вне этих форм, но вся жизнь наша

есть большее и большее подчинение себя этим формам и потом опять освобождение от них.

Следующие воспоминания мои относятся уже к четырём-пяти годам, но и тех очень немного, и ни одно из них не относится к жизни вне стен дома, Природа до пяти лет не существует для меня. Всё, что я помню, всё происходит в постельке, горнице. Ни травы, ни листьев, ни неба, ни солнца не существует для меня. Не может быть, чтобы не давали мне играть цветами, листьями, чтоб я не видал травы, чтоб не защищали меня от солнца, но лет до пяти, до шести нет ни одного воспоминания из того, что мы называем природой. Вероятно, надо уйти от неё, чтобы видеть её, а я был природа.

Следующее за корытцем воспоминание есть воспоминание «Еремеевны». «Еремеевна» было слово, которым нас, детей, пугали, но моё воспоминание о ней такое: я — в постельке, и мне весело и хорошо, как и всегда, и я бы не помнил этого, но вдруг няня или кто-то из того, что составляет мою жизнь, что-то говорит новым для меня голосом и уходит, и мне делается, кроме того, что весело, ещё и страшно. И я вспоминаю, что я не один, а кто-то ещё такой же, как я. (Это вероятно, моя годом младшая сестра Машенька, с которой наши кровати стояли в одной комнате). И я вспоминаю, что есть положек у моей кровати, и мы вместе с сестрой радуемся и пугаемся тому необыкновенному, что случилось с нами, и я прячусь в подушку, и прячусь и выглядываю в дверь, из которой жду чего-то нового и весёлого. И мы смеёмся, и прячемся, и ждём. И вот является кто-то в платье и чепце, всё так, как я никогда не видал, но я узнаю, что это та самая, кто всегда со мной (няня или тетка — я не знаю), и эта кто-то говорит грубым голосом, который я знаю, что-то страшное про дурных детей и про Еремеевну. Я визжу от страха и радости и точно ужасаюсь

и вместе радуюсь, что мне страшно, и хочу, чтобы тот, кто меня пугает, не знал, что я узнал её.

Мы затихаем, но потом опять нарочно начинаем перешептываться, чтобы вызвать опять Еремеевну.

Подобное воспоминанию Еремеевны есть у меня другое, вероятно, позднейшее по времени, потому что более ясное, но всегда оставшееся для меня непонятным. В воспоминании этом играет главную роль немец Фёдор Иванович, наш учитель, но я знаю наверное, что ещё я не нахожусь под его надзором, следовательно, это происходит до пяти лет. И это первое моё впечатление Фёдора Ивановича. И происходит это так рано, что я ещё никого, — ни братьев, ни отца, — никого не помню. Если и есть у меня представление о каком-нибудь отдельном лице, то только о сестре, и то только потому, что она одинаково со мною боялась Еремеевны. С этим воспоминанием соединяется у меня тоже первое представление о том, что в доме у нас есть верхний этаж. Как я забрался туда, — сам ли зашёл или кто меня занёс, — я ничего не помню, но помню то, что нас много, мы все хороводим, держимся рука за руку, в числе держащихся есть чужие женщины (почему-то мне памятно, что это прачки), и мы все начинаем вертеться и прыгать, и Фёдор Иванович прыгает, слишком высоко поднимая ноги, и слишком шумно и громко, и я в одно и то же мгновение чувствую, что это нехорошо, развратно, и замечаю его, и, кажется, начинаю плакать, и всё кончается».

К этому времени следует ещё отнести рассказ сестры Льва Николаевича, Марьи Николаевны, об их детских играх, переданный ею лично автору этой книги:

«Мы спали втроём, в одной комнате: я, Лёвочка и Дунечка (1), и часто играли между собой, составляя особую, меньшую партию, отдельную от старших братьев, живших внизу с гувернером.

(1) Воспитанница, см. о ней дальше.

Одной из любимейших игр наших была игра в «Милашки». Один или одна из нас изображала Милашку, т. е. ребёнка, которого другие особенно ласкали, укладывали спать, кормили, лечили и вообще всячески возились с ним. И этот Милашка должен был по условиям игры подчиняться охотно всем проделкам над ним и беспрекословно исполнять свою роль.

Помню раз во время игры наше огорчение и досаду, когда наш Милашка, которым был большей частью Лев Николаевич, после усиленных баюканий его, действительно заснул. А по расписанию игры он должен был плакать и затем нужно было лечить его, давать лекарства, растирать и т. д., а между тем сон его прекратил нашу игру, вызвав нас от иллюзии к действительности».

«Вот всё, — продолжает Лев Николаевич, — что я помню до пятилетнего возраста. Ни своих нянь, теток, братьев, сестер, ни отца, ни комнат, ни игрушек, — я ничего не помню. Воспоминания более определённые

начинаются у меня с того времени, как меня перевели вниз к Фёдору Ивановичу и к старшим мальчикам.

При переводе меня вниз к Фёдору Ивановичу и мальчикам я испытывал в первый раз и потому сильнее, чем когда-либо после, то чувство, которое называют чувством долга, называют чувством креста, который призван нести каждый человек. Мне было жалко покидать привычное (привычное от вечности), грустно было, поэтически грустно расставаться не столько с людьми, с сестрой, с няней, с теткой, сколько с кроваткой, с положком, с подушкой, и

страшна была та новая жизнь, в которую я вступал. Я старался находить весёлое в той новой жизни, которая предстояла мне; я старался верить ласковым речам, которыми заманивал меня к себе Фёдор Иванович; старался не видеть того презрения, с которым мальчики принимали меня, меньшого, к себе; старался думать, что стыдно было жить большому мальчику с девочками, и что ничего хорошего не было в этой жизни наверху с няней; но на душе было страшно грустно, и я знал, что я безвозвратно терял невинность и счастье, и только чувство собственного достоинства, сознание того, что я исполняю свой долг, поддерживало меня. Много раз потом в жизни мне приходилось переживать такие минуты на распутьях жизни, вступая на новые дороги. Я испытывал тихое горе о безвозвратности утраченного. Я всё не верил, что это будет. Хотя мне и говорили про то, что меня переведут к мальчикам, но, помню, халат с подтяжкой, пришитой к

спине, который на меня надели, как будто отрезал меня навсегда от верха, и я тут в первый раз заметил не всех тех, с кем я жил наверху, но главное лицо, с которым я жил и которое я не понимал прежде. Это была тётушка Татьяна Александровна. Помню невысокую, плотную, черноволосую, добрую, нежную, жалостливую. Она надевала на меня халат, обнимая, подпоясывала и целовала, и я видел, что она чувствовала то самое, что и я, что жалко, ужасно жалко, но должно. В первый раз я почувствовал, что жизнь не игрушка, а трудное дело. Не то ли я почувствую, когда буду умирать: я пойму, что смерть или будущая жизнь не игрушка, а трудное дело?»

Об этой тётушке, Татьяне Александровне, Лев Николаевич даёт следующие интересные сведения в своих воспоминаниях (1).

(1) "Первые воспоминания". (Из неизданных автобиографических записок). Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого, изд. 10-е, т. XIII, с. 515.

«Третье, после отца и матери, самое важное [лицо] в смысле влияния на мою жизнь, была тётенька, как мы называли её, Татьяна Александровна Ёргольская. Она была очень дальняя по Горчаковым родственница бабушки. Она и сестра её Лиза, вышедшая потом за графа Петра Ивановича Толстого, остались маленькими девочками, бедными сиротками от умерших родителей. Было ещё несколько братьев, которых родные кое-как пристроили. Девочек же порешили взять на воспитание знаменитая в своём кругу в Чернском уезде и в своё время властная и важная Тат. Сем. Скуратова и моя бабушка; свернули

билетики и положили под образа; помолившись, вынули, и Лизанька досталась Тат. Сем., а чёрненькая — бабушке. Таничка, как её звали у нас, была одних лет с отцом, родилась в 1795 году и воспитывалась совершенно наравне с моими тётками и была всеми нежно любима, как и нельзя было не любить её за её твёрдый, решительный, энергичный и, вместе с тем, самоотверженный характер. Очень рисует её характер событие с линейкой, про которую она рассказывала нам, показывая большой, чуть не в ладонь, след обжога на руке между локтём и кистью. Они детьми читали историю Муция Сцеволы и заспорили о том, что никто из них не решился бы сделать то же. «Я сделаю», — сказала она. — «Не сделаешь», — сказал Языков, мой крёстный отец, и, тоже характерно для него, разжёг на свечке линейку так, что она обуглилась и вся дымилась. «Вот приложи это к руке», — сказал он. Она вытянула голую руку, — тогда девочки ходили всегда декольте, — и Языков приложил обугленную линейку. Она нахмурилась, но не отдёрнула руки, застонала она только тогда, когда линейка с кожей отодралась от руки. Когда же большие увидели её

рану и стали спрашивать, как это сделалось, она сказала, что сама сделала это, хотела испытать то, что испытал Муций Сцевола.

Такая она была во всём решительная и самоотверженная.

Должно быть, она была очень привлекательная со своей жёсткой чёрной, курчавой, огромной косой, агатово-

чёрными глазами и оживлённым, энергическим выражением. В. И. Юшков, муж тётки Пелагеи Ильиничны, большой волокита, часто уже стариком, с тем чувством, с которым говорят влюблённые про прежний предмет любви, вспоминал про неё: «*Toinetle, oh, elle etait charmant!*» (1)

(1) Туанет, о, она была очаровательна!

Когда я стал помнить её, ей было уже за сорок, и я никогда не думал о том, красива или некрасива она. Я просто любил её, любил её глаза, улыбку, смуглую, широкую, маленькую руку с энергической поперечной жилкой.

Должно быть, она любила отца, и отец любил её, но она не пошла за него в молодости для того, чтобы он мог жениться на богатой моей матери; впоследствии же она не пошла за него потому, что не хотела портить своих чистых, поэтических отношений с ним и с нами. В её бумагах, в бисерном портфельчике, лежит следующая, написанная в 1836 году, 6 лет после смерти моей матери, записка:

«16 aout 1836. Nicolas m'a lait aujourd'hui une etrange proposition, — celle de l'epouser, de servir de mere a ses enfants et de ne jamais les quitter. J'ai refuse la premiere proposition, j'ai promis de remplir l'auire tant que jevivrai» (2).

(2) 16 августа 1836. Николай сделал мне сегодня странное предложение — выйти за него замуж, заменить мать его детям и никогда их более не оставлять. В первом предложении отказала, второе я обещалась исполнять, пока я буду жива.

Так она записала; но никогда ни нам, никому не говорила об этом. После смерти отца она исполнила второе его желание: у нас были две родные тётки и бабушка, все они имели на нас больше прав, чем Татьяна Александровна, которую мы называли тётушкой только по привычке, так как родство наше было так далеко, что я никогда не мог запомнить его, но она, по праву любви к нам, как Будда с раненым лебедем, заняла в нашем воспитании первое место. И мы чувствовали это.

У меня были вспышки восторженно-умилённой любви к ней. Помню, как раз на диване в гостиной, мне было лет пять, я завалился за неё; она, лаская, тронула меня рукой. Я ухватил эту руку и стал целовать её и плакать от умилённой любви к ней.

Она была воспитана барышней богатого дома, говорила и писала по-французски лучше, чем по-русски, прекрасно играла на фортепьяно, но лет 30 не дотрагивалась до него. Она стала играть только уже тогда, когда я взрослым учился играть, и иногда, играя в четыре руки, удивляла меня правильностью и изяществом своей игры. К прислуге она была добра, никогда сердито не говорила с нею, не могла переносить мысли о побоях или розгах, но считала, что крепостные — крепостные, и обращалась с ними как барыня. Но, несмотря на то, её отличали от других, любили все люди. Когда она скончалась и её несли по деревне, из всех домов выходили крестьяне и заказывали панихиду. Главная черта её была любовь, но как бы я не хотел, чтобы это так было — любовь к одному человеку — к моему отцу! Только уже исходя из этого центра, любовь её разливалась на всех людей. Чувствовалось, что она и нас любила за него, через него и всех любила, потому что вся жизнь её была любовь.

Она имела по своей любви к нам наибольшее право на нас, но родные тётушки, особенно Пелагея Ильинична, когда она нас увезла в Казань, имела внешние права, и она покорялась им, но любовь от этого не ослабевала. Она жила у сестры, гр. Е. А. Толстой, но жила душою с нами, и, как только можно было, возвращалась к нам. То, что она последние годы своей жизни, около 20 лет, прожила со мной в Ясной Поляне, было для меня большим счастьем. Но как мы не умели ценить нашего счастья, тем более, что истинное счастье всегда негромко и незаметно! Я ценил, но далеко не достаточно. Она любила у себя в комнате в разных посудилах держать сладенькое: винные ягоды, пряники, финики и любила покупать и угощать этим первого меня. Не могу забыть и без жестокого укора совести вспомнить, как я несколько раз отказывал ей в деньгах на эти сласти, и как она, грустно вздыхая, умолкала. Правда, я был стеснён в деньгах, но теперь не могу вспомнить без ужаса, как я отказывал ей.

Уже когда я был женат, и она начала слабеть, она раз, выждав время, когда я был в её комнате, отвернувшись (я видел, что она готова заплакать), сказала мне: «Вот что, *mes chers amis*, комната моя очень хорошая и вам понадобится. А если я умру в ней, — сказала она дрожащим голосом, — вам будет неприятно воспоминание, так вы меня переведите, чтобы я умерла не здесь». Такая она была вся с первых времён моего детства, когда я ещё не мог понимать...

Комната её была такая: в левом углу стояла шифоньерка с бесчисленными вещами, ценными только для неё, в правом — киот с иконами и большим, в серебряной ризе, Спасителем, посредине диван, на котором она спала, перед ним стол. Направо дверь к её горничной.

Я сказал, что тётя Татьяна Александровна имела самое большое влияние на мою жизнь. Влияние это было, во-первых, в том, что ещё в детстве она научила меня духовному наслаждению любви. Она не словами учила меня этому, а всем своим существом заражала меня любовью.

Я видел, чувствовал, как хорошо ей было любить, и понял счастье любви. Это первое. Второе то, что она научила меня прелести неторопливой, одинокой жизни» (1).

(1) Из доставленных мне и отданных в моё распоряжение черновых неисправленных записок Л. Н. Толстого.

Об этом мы будем говорить в своём месте.

Мы уже упоминали в главе о родителях, что повести Льва Николаевича «Детство», «Отрочество» и «Юность» нельзя считать автобиографическими. Но это замечание касается больше внешних фактов и образов, созданных автором для полноты написанной им картины.

Что же касается до изображения внутреннего состояния души ребёнка — героя повести, то мы смело можем сказать, что в той или иной форме эти состояния души были пережиты самим автором, и потому мы считаем себя вправе пополнить ими нашу биографию.

Кроме того, мы знаем, что некоторые типы, выведенные в этом произведении, списаны с натуры, и мы упоминаем здесь о них, чтобы пополнить группу лиц, окружавших Льва Николаевича в его раннем детстве.

Так, немец Карл Иванович Мауэр не кто иной, как Фёдор Иванович Россель, действительный учитель-немец, живший в доме Толстых. О нём же говорит сам Лев Николаевич в своих «Первых воспоминаниях». Эта личность должна была, несомненно, влиять на развитие души ребёнка, и надо думать,

что влияние это было хорошее, так как автор «Детства» с особенной любовью говорит о нём, изображая его честную, прямую, добродушную и любящую натуру.

Недаром Лев Николаевич начинает историю своего детства с изображения именно этого лица. Фёдор Иванович и умер в Ясной Поляне, и похоронен на кладбище приходской церкви.

Другое лицо, описанное в «Детстве», — юродивый Гриша, хотя и не действительное лицо, но несомненно, что многие черты его взяты из жизни; по-видимому, он оставил глубокий след в детской душе. Ему Лев Николаевич посвящает следующие трогательные слова, рассказывая о подслушанной вечерней молитве юродивого:

«Слова его были нескладны, но трогательны. Он молился о всех благодетелях своих (так он называл тех, которые принимали его), в том числе о матушке, о нас, молился о

себе; просил, чтобы Бог простил ему его тяжкие грехи, и твердил: «Боже, прости врагам моим!»

Кряхтя, поднимался и, повторяя ещё и ещё те же слова, припадал к земле и опять поднимался, несмотря на тяжесть вериг, которые издавали сухой, резкий звук, ударяясь о землю...

...Долго ещё находился Гриша в этом положении религиозного восторга и импровизировал молитвы. То твердил он несколько раз сряду: «Господи, помилуй», но каждый раз с новой силой и выражением; то говорил он: «прости мя, Господи, научи мя, что творить... научи мя, что творить, Господи», с таким выражением, как будто ожидал сейчас же ответа на свои слова; то слышны были одни жалобные рыдания... Он приподнялся на колени, сложил руки на груди и замолк.

— Да будет воля Твоя! — вскричал он вдруг с неподражаемым выражением, упал лбом на землю и зарыдал, как ребёнок.

Много воды утекло с тех пор, много воспоминаний о былом потеряли для меня значение и стали смутными мечтами, даже и странник Гриша давно окончил своё последнее странствование, но впечатление, которое он произвёл на меня, и чувство, которое возбудил, никогда не умрут в моей памяти.

О великий христианин Гриша! Твоя вера была так сильна, что ты чувствовал близость Бога; твоя любовь так велика, что слова сами собой лились с уст твоих, — ты их не поверял рассудком... И какую высокую хвалу ты принёс Его величию, когда, не находя слов, в слезах повалился на землю!» (1)

(1) Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. Москва, 1897, т. I, с. 50.

Не имеем ли мы права назвать этого человека первым учителем народной веры, которая овладела душой Толстого после бесплодных скитаний её по дебрям теологии, философии и положительной науки, и которую он, в свою очередь, просветил светом своего разума, очищенного и закалённого в борьбе и страданиях, неизбежно сопровождающих всякое искание истины? Некоторые указания на это мы находим в его воспоминаниях.

«Юродивый Гриша, — говорит Лев Николаевич, — лицо вымышленное. Юродивых много разных бывало в нашем доме, и я — за что глубоко благодарен моим воспитателям — привык с великим уважением смотреть на них. Если и были среди них неискренние, были в их жизни времена слабости, неискренности, самая задача их жизни была, хотя и практически нелепая, такая высокая, что я рад, что с детства бессознательно научился понимать высоту их подвига. Они делали то, про что говорит Марк Аврелий: "Нет ничего выше

того, как то, чтобы сносить презрение за свою добрую жизнь". Так вреден, так неустраним соблазн славы людской, примешивающийся всегда к добрым делам, что нельзя не сочувствовать попыткам не только избавиться от похвалы, но вызвать презрение людей. Такой юродивой была и крёстная мать сестры, Марья Герасимовна, и

полудурачок Евдокимушка, и ещё некоторые, бывшие в нашем доме.

Подслушивали же мы, дети, молитву не юродивого, а дурачка, помощника садовника, Акима, действительно молившегося в большой зале летнего дома между двух оранжерей и действительно поразившего и глубоко тронувшего меня своей молитвой, в которой он говорил с Богом, как с живым лицом.

«Ты мой лекарь, Ты мой аптекарь», — говорил он с внушительной доверчивостью. И потом пел стих о страшном суде, как Бог отделил праведников от грешников и грешникам засыпал глаза жёлтым песком...»

Из других второстепенных лиц повести упомянем Мими и дочь её, Катеньку, «что-то вроде первой любви». Под именем Мими описана гувернантка соседей; а под именем Катеньки — воспитанница, жившая в семье Льва Николаевича, Дунечка Темяшёва. Об этой Дунечке Лев Николаевич так рассказывает в своих воспоминаниях:

«Кроме братьев и сестры, с пятилетнего возраста с нами росла ровесница мне Дунечка Темяшёва, и мне надо рассказать, кто она была и как попала к нам. В числе наших посетителей, памятных мне в детстве, мужа тётки Юшкова, странного для детей вида, с чёрными усами, бакенбардами и в очках (о нём придётся много говорить), и моего крёстного отца, С. И. Языкова, замечательно безобразного, пропахшего курительным табаком, с лишней кожей на большом лице, которую он передёргивал в самые странные, беспрестанные гримасы, кроме этих и двух соседей, Огарёва и Исленева, посещал нас ещё дальний родственник по Горчаковым, богач-холостяк Темяшёв, называвший отца братом и питавший к нему какую-то восторженную любовь. Он жил в сорока верстах от Ясной

Поляны, в селе Пирогове, и привёз раз оттуда поросят с закорюченными колечками хвостами, которых на большом подносе раскладывали на столе в официантской. Темяшёв, Пирогово и поросята соединялись у меня в воображении в одно.

Кроме того, Темяшёв был нам, детям, памятен ещё тем, что играл в зале на фортепьяно какой-то плясовой мотив (он только это и умел играть) и заставлял нас плясать под эту музыку; когда же мы спрашивали его, какой танец надо танцевать, он говорил, что можно все танцы танцевать под эту музыку. И мы любили пользоваться этим.

Был зимний вечер, чай отпили, нас скоро должны были вести спать, и у меня уже глаза слипались, когда вдруг из официантской в гостиную, где все сидели и горели только две свечи и было полутемно, в открытую большую дверь скорым шагом мягких сапог вошёл человек и, выйдя на середину гостиной, хлопнулся на колени. Зажжённая трубка на длинном чубуке, которую он держал в руке, ударилась об пол, и искры рассыпались, освещая лицо стоявшего на коленях, — это был Темяшёв. Что сказал Темяшёв отцу, упав перед ним на колени, я не помню, да и не слышал, а только потом узнал, что это он упал на колени перед отцом потому, что привёз с собой свою незаконную дочь Дунечку, про которую уже прежде говорил с отцом, с тем чтобы отец принял её на воспитание со своими детьми. С тех пор у нас появилась широколицая девочка, моя ровесница, Дунечка, со своей няней Евпраксеей, ВЫСО-

кой, сморщенной старухой, с висячим у подбородка, как у индюка, кадыком, в котором был шарик, который она нам давала ощупывать.

Появление в нашем доме Дунечки связывалось со сложной имущественной сделкой между отцом и Темяшёвым. Сделка эта была вот такая:

Темяшёв был очень богат. Законных детей у него не было, а было только две девочки: Дунечка и Верочка, горбатая девочка, от бывшей крепостной, отпущенной на волю девушки Марфуши. Наследницы Темяшёва были его сёстры. Он предоставлял им все остальные свои имения, а Пирогово, в котором он жил, желал передать отцу, с тем чтобы ценность имения — 300.000 (про Пирогово всегда говорили, что это было золотое дно, и оно стоило гораздо больше) — отец передал двум девочкам. Для того, чтобы устроить это дело, было придумано следующее: Темяшёв делал запродажную запись, по которой он продавал отцу Пирогово за 300.000. Отец же давал вексель трём посторонним лицам: Исленеву, Языкову и Глебову по 100 тысяч каждый. В случае смерти Темяшёва, отец получал имение и, объяснив Глебову, Исленеву и Языкову, с какой целью были даны на их имя векселя, выплачивал 300.000, которые должны были идти двум девочкам.

Может быть, я ошибаюсь в описании всего плана, но знаю я несомненно то, что имение Пирогово перешло к нам после смерти отца, и что были три векселя на имена Исленева, Глебова и Языкова, и опека выплатила эти векселя и первые два передали по 100 тысяч девочкам. Языков же присвоил себе эти, не принадлежащие ему деньги, но об этом после.

Дунечка жила у нас и была милая, простая, спокойная, но не умная девочка и большая плакса. Помню, как меня, обученного уже французской грамоте, заставили учить её буквы. Сначала у нас дело шло хорошо (мне и ей было по пяти лет), но потом, вероятно, она устала и перестала называть правильно ту букву, которую я ей показывал. Я настаивал. Она заплакала. Я тоже. И когда к нам пришли, мы ничего не могли выговорить от отчаянных слёз. Другое помню о ней, что когда оказалась похищенной одна слива с тарелки и не могли найти виновного, Фёдор Иванович с серьёзным видом, не глядя на нас, сказал, что съел — это ничего, а если косточку проглотил, то может умереть. Дунечка не вытерпела этого страха и сказала, что косточку она выплюнула. Ещё помню её отчаянные слёзы, когда они с братом Митенькой затеяли игру, состоящую в том, чтобы плевать друг другу в рот маленькую медную цепочку, и она так сильно плюнула, и Митенька так широко открыл рот, что проглотил цепочку. Она плакала безутешно, пока не приехал доктор и не успокоил всех.

Она была не умная, но хорошая, простая девочка, а главное, до такой степени целомудренная, что между нами, мальчиками, и ею никогда не было никаких, кроме братских отношений».

Чрезвычайно интересны те сведения, которые даёт Лев Николаевич о прислуге, окружавшей его во время детства. Эти сведения служат дополнением того, что описано в повести «Детство». Мы заимствуем эти сведения также из его воспоминаний:

«Прасковью Исаевну я довольно верно описал в «Детстве» (под именем Наташи Саввишны). Всё, что я о ней писал, было действительно. Прасковья Исаевна была почтенная особа — экономка, а между тем у неё, в её

маленькой комнатке, стояло наше детское суднышко. Помню, одно из самых приятных впечатлений было после урока или в середине урока сесть в её комнатке и разговаривать с ней и слушать. Вероятно, она любила видеть нас в эти времена особенно счастливой и умилённой откровенности. «Прасковья Исаевна,

дедушка как воевал? Верхом?» — кряхтя спросишь её, чтобы только поговорить и послушать.

— Он всячески воевал, и на коне, и пеший. Зато генерал-аншеф был, — ответит она и, открывая шкаф, достаёт смолку, которую она называла «очаковским куреньем». По её словам выходило, что эту смолку дедушка привёз из-под Очакова. Зажжёт бумажку из лампадки у иконы, а потом зажжёт смолку, и она дымит приятным запахом.

Кроме той обиды, которую она мне нанесла, побив меня мокрой скатертью, как я описал это в «Детстве», она ещё другой раз обидела меня: в числе её обязанностей было ещё и то, чтобы, когда это нужно было, ставить нам клистиры. Раз утром, уже не в женской половине, а внизу, на половине Фёдора Ивановича, мы только что встали, и старшие братья уже оделись, а я замешкался и только что собирался снимать свой халатик и одеваться, как быстрыми старушечьими шагами вошла Прасковья Исаевна со своими инструментами. Инструменты состояли из трубки, завёрнутой почему-то в салфетку так, что только желтоватая костяная трубочка виднелась из неё, и ещё блюдечка с деревянным маслом, в которое

обмакивалась костяная трубочка. Увидя меня, Прасковья Исаевна решила, что тот, над кем тётенька велела сделать операцию, был я. В сущности, это был Митенька, но случайно или из хитрости, зная, что ему угрожает операция, которую мы все очень не любили, он поспешно оделся и ушёл из спальни. И, несмотря на мои клятвенные уверения, что не мне назначена операция, она исполнила её надо мной.

Кроме той преданности и честности её, я особенно любил её, потому что она со старушкой Анной Ивановной казалась мне представительницей таинственной стороны жизни дедушки с «очаковским куреньем».

Анна Ивановна жила на покое, и раза два она была в доме, и я видел её. Ей, говорили, что было 100 лет, и она помнила Пугачёва. У ней были очень чёрные глаза и один зуб. Она была той старости, которая страшна детям.

Няня Татьяна Филипповна, маленькая, смуглая, с пухлыми маленькими руками, была молодая няня, помощница старой няни Аннушки, которую я почти не помню, именно потому, что я признавал себя не иначе, как с Аннушкой, и как я на себя не смотрел и не помнил себя, какой я был, так не помню и Аннушку.

Так, вновь прибывшую няню Дунечки, Евпраксею, с её шариком на шее, я помню прекрасно. Помню, как мы чередовались щупать её шарик; как я, как нечто новое, понял то, что няня Аннушка не есть всеобщая принадлежность людей. А что вот у Дунечки совсем особенная своя няня из Пирогова.

Няню Татьяну Филипповну я помню, потому что она потом была няней моих племянниц и моего старшего сына. Это было одно из тех трогательных существ из народа, которые так сживаются с семьями своих питомцев, что

все свои интересы переносят в них и для своих семейных представляют только возможность выпрашивания и наследования нажитых денег. Всегда у них моты братья, мужья, сыновья. И такие же были, сколько помню, муж и сын Татьяны Филипповны. Помню, она тяжело, тихо и кротко умирала в нашем доме на том самом месте, на котором я теперь сижу и пишу эти воспоминания.

Брат её, Николай Филиппович, был кучер, которого мы не только любили, но к которому, как большей частью господские дети, питали великое уважение. У него были особенно толстые сапоги, пахло от него всегда приятно навозом, и голос у него был ласковый и звучный.

Надо упомянуть и о буфетчике Василье Трубецком. Это был милый, ласковый человек, очевидно любивший детей и потому любивший нас, особенно

Серёжу, того самого, у которого он потом служил и помер. Помню добрую кривую улыбку его бритого лица, которое с морщинами и шеей было близко видно, и тоже особенный запах, когда он брал нас на руки, сажал на поднос (это было одним из больших удовольствий: "и меня! теперь меня!") и носил по буфету, таинственному для нас месту с каким-то подземным ходом. Одно из сильных воспоминаний, связанных с ним, был его отъезд в Щербачёвку, курское имение, полученное отцом в наследство от Перовской. Это было (отъезд Василья Трубецкого) на святках, в то время как мы, дети, и несколько дворовых в зале играли в "пошёл рублик".

Про эти святочные увеселения надо тоже рассказать. Святочные увеселения происходили так: дворовые все, очень много, человек 30, наряжались, приходили в дом и играли в разные игры и плясали под игру старика Григорья, который только в эти времена и появлялся в доме. Это было очень весело. Ряженые были, как всегда, медведь с поводырём и козой, турки и турчанки, разбойники, крестьянки-мужчины и мужики-бабы. Помню, как казались мне красивы некоторые ряженые, и как хороша была особенно Маша-турчанка. Иногда тётенька наряжала и нас. Был особенно желателен какой-то пояс с камнями и кисейное полотенце, вышитое серебром и золотом, и очень я себе казался хорош с усами, наведёнными жжёной пробкой. Помню, как, глядя в зеркало на своё с чёрными усами и бровями лицо, я не мог удержать улыбки удовольствия, а надо было делать величественное лицо турка. Ходили по всем комнатам и угощались разными лакомствами.

В одни из святок, в моём первом детстве, приехали к нам все Исленевы ряженые: отец, дед моей жены, три его сына и три дочери. На всех были удивительные для нас костюмы: был туалет, был сапог, картонный паяц и ещё что-то. Исленевы, приехав за 40 вёрст, переоделись на деревне, и, войдя в залу, Исленев сел за фортепьяно и пропел сочинённые им стихи на голос, который я и теперь помню. Стихи были такие:

С новым годом вас поздравить
Мы приехали сюда;
Коль удастся позабавить,
Будем счастливы тогда!

Это было всё очень удивительно и, вероятно, хорошо для больших, но для нас, детей, самое лучшее были дворовые.

Такие увеселения происходили первые дни Рождества и под Новый год, иногда и после, до Крещенья. Но после Нового года уже приходило мало народу, и увеселения шли вяло. Так это было в тот день, когда Василий уезжал в Щербачёвку. Помню, в углу почти не освещённой залы мы сидели кружком на домодельных, под красное дерево, с кожаными подушками деревянных стульях и играли в рублик. Один ходил и должен был найти рубль, а мы перепускали его из рук в руки, напевая: «пошёл рублик, пошёл рублик!» Помню, одна дворовая особенно приятным и верным голосом выводила всё те же слова. Вдруг дверь буфета отворилась, и Василий, как-то особенно застёгнутый, без подноса и посуды прошёл через край залы в кабинет. Тут только я узнал, что Василий уезжает приказчиком в Щербачёвку. Я помню, что это было повышением, и рад был за Василия, и вместе с тем мне не только жаль было расстаться с ним, зная, что его не будет в буфете, не будет уж он нас носить на подносе, но я даже не понимал, не верил, чтобы могло со-

вершиться такое изменение. Мне стало ужасно таинственно-грустно, и напевы «пошёл рублик» сделались умильно-трогательны. Когда же Василий вернулся от тётеньки и со своей милой кривой улыбкой подошёл к нам, целуя нас в плечи, я испытал в первый раз ужас и страх

перед непостоянством жизни и жалость и любовь к милому Василию.

Когда я после встречал Василия, я видел в нём уже хорошего или дурного, приказчика брата, человека, которого я подозревал, и следа уже не было прежнего, святого, братского, особенно человеческого чувства» (1).

(1) Из доставленных мне и отданных в мое распоряжение черновых неисправленных записок Л. Н. Толстого.

Какими-то таинственными, непостижимыми для человеческого разума путями сохраняются впечатления раннего детства, и не только сохраняются, но, подобно семени, брошенному на благодатную почву, растут где-то там, в таинственной глубине душевных недр, и вдруг через много лет выбрасывают на свет Божий ярко зелёный росток.

Таким посевом в раннем детстве были игры с младшими братьями старшего брата Николеньки, о сильном влиянии которого на свою жизнь не раз вспоминает Лев Николаевич. Мы знаем об этих играх из его воспоминаний о Фанфароновой горе, о муравейных братях и о зелёной палочке.

«Да, Фанфаронова гора, — говорит Лев Николаевич, — это одно из самых далеких, милых и важных воспоминаний. Старший брат Николенька был на 6 лет старше меня. Ему было, стало быть, 10–11, когда мне было 4 или 5, именно когда он водил нас на Фанфаронову гору. Мы в первой молодости, не знаю, как это случилось, говорили ему "вы". Он был удивительный мальчик и потом удивительный человек. Тургенев говорил про него очень

верно, что он не имел только тех недостатков, которые нужны для того, чтобы быть писателем. Он не имел главного, нужного для этого недостатка: у него не было тщеславия, ему совершенно неинтересно было, что о нём думают люди. Качества же писателя, которые у него были, были прежде всего тонкое, художественное чутьё, крайнее чувство меры, добродушный, весёлый юмор, необыкновенное, неистощимое воображение и правдивое, высоконравственное мировоззрение, и всё это без малейшего самодовольства. Воображение у него было такое, что он мог рассказывать сказки или истории с привидениями или юмористические истории в духе мадам Рэдклиф без остановки целыми часами и с такой полной уверенностью в действительность рассказываемого, что забывалось, что это выдумка.

Когда он не рассказывал и не читал (он читал очень много), он рисовал. Рисовал он почти всегда чертей с рогами, закрученными усами, сцепляющихся в самых разнообразных позах между собой и занятых самыми разнообразными делами. Рисунки эти тоже были полны воображения и юмора.

Так вот он-то, когда нам с братьями было мне 5, Митеньке 6, Серёже 7 лет, объявил нам, что у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми; не будет ни болезни, никаких неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться, и все будут любить друг друга, все сделаются муравейными братьями (вероятно, это были моравские братья, о которых он слышал или читал, но на нашем языке это были муравейные братья). Я помню, что слово «муравейные» особенно нравилось, напоминая муравьёв в кочке. Мы даже устроили игру в муравейные братья,

которая состояла в том, что садились под стулья, загораживая их ящиками, завешивали

платками и сидели там в темноте, прижимаясь друг к другу. Я, помню, испытывал особенное чувство любви и умиления и очень любил эту игру.

«Муравейные братья» были открыты нам, но главная тайна о том, как сделать, чтобы все люди не знали никаких несчастий, никогда не ссорились и не сердились, а были бы постоянно счастливы, эта тайна была, как он нам говорил, написана им на зелёной палочке, и палочка эта зарыта у дороги, на краю оврага старого Заказа, в том месте, в котором я, так как надо же где-нибудь зарыть мой труп, просил в память Николеньки закопать меня.

Кроме этой палочки, была ещё какая-то Фанфаронова гора, на которую, он говорил, может ввести нас, если только мы исполним все положенные для того условия. Условия были: во-первых, стать в угол и не думать о белом медведе. Помню, как я становился в угол и старался, но никак не мог не думать о белом медведе. Второе условие: пройти, не оступившись, по щёлке между половицами, и третье, лёгкое: в продолжение года не видеть зайца, — всё равно, живого, или мёртвого, или жареного. Потом надо поклясться никому не открывать этих тайн.

Тот, кто исполнит эти условия и ещё другие, более трудные, которые он откроет после, того одно желание, какое бы то ни было, будет исполнено. Мы должны были сказать наше желание. Серёжа пожелал уметь лепить лошадей и кур из воска; Митенька пожелал уметь рисовать

всякие вещи, как живописец, в большом виде. Я же ничего не мог придумать, кроме того, чтоб уметь рисовать в малом виде. Всё это, как это бывает у детей, очень скоро забылось, и никто не вошёл на Фанфаронову гору, но помню ту таинственную важность, с которой Николенька посвящал нас в эти тайны, и наше уважение и трепет перед теми удивительными вещами, которые нам открывались.

В особенности же оставило во мне сильное впечатление муравейное братство и таинственная зелёная палочка, связывавшаяся с ним и долженствующая осчастливить всех людей.

Как теперь я думаю, Николенька, вероятно, прочёл или наслушался о масонах, об их стремлении к осчастливлению человечества, о таинственных обрядах приёма в их орден, верно, слышал о моравских братьях и соединил всё это в одно в своём живом воображении и любви к людям, к доброте, придумал все эти истории и сам радовался им и морочил ими нас.

Идеал муравейных братьев, льнущих любовно друг к другу, только не под двумя креслами, завешенными платками, а под всем небесным сводом всех людей мира, остался для меня тот же. И как я тогда верил, что есть та зелёная палочка, на которой написано то, что должно уничтожить всё зло в людях и дать им великое благо, так я верю и теперь, что есть эта истина и что будет она открыта людям и даст им то, что она обещает».

Воспоминание о брате Дмитриии мы относим к юности, а здесь приведём ещё отрывок неоконченных воспоминаний о брате Сергее, относящихся также к раннему детству.

«С Митенькой я был товарищем, Николеньку я уважал, но Серёжей я восхищался и подражал ему, любил его, хотел быть им. Я восхищался его красивой наружностью, его пением, — он всегда пел, — его рисованием, его веселием и, в особенности, как ни странно это сказать, непосредственностью его эгоизма. Я всегда себя помнил, себя сознавал, всегда чуял, ошибочно или нет, то, что думают обо мне и чувствуют ко мне другие, и это портило мне радости жизни. От этого, вероятно, я особенно любил в других противоположное этому, непосредственность эгоизма. И за это любил особенно Серёжу — сло-

во любил неверно: Николеньку я любил, а Сёрежей восхищался, как чем-то совсем мне чуждым, непонятным. Это была жизнь человеческая, очень красивая, но совершенно непонятная для меня, таинственная и потому особенно привлекательная.

На днях он умер; и в предсмертной болезни, и умирая он был так же непостижим мне и так же дорог, как и в давнишние времена детства. В старости, в последнее время, он больше любил меня, дорожил моей привязанностью, гордился мной, желал быть со мной согласен, но не мог, и оставался таким, каким был: совсем особенным, самым собою, красивым, породистым, гордым и, главное, до такой степени правдивым и искренним человеком, какого я никогда не встречал. Он был, что был, ничего не скрывал и ничем не хотел казаться.

С Николенькой мне хотелось быть, говорить, думать; с Серёжей мне хотелось только подражать ему. С первого

детства началось это подражание. Он завёл кур, цыплят своих, и я завёл таких же. Едва ли это было не первое моё вникновение в жизнь животных. Помню разной породы цыплят: серенькие, крапчатые с хохолками, как они бегали на наш зов, как мы кормили их и ненавидели большого голландского петуха, который обижал их. Серёжа и завёл этих цыплят, выпросив их себе; то же сделал и я, подражая ему. Серёжа на длинной бумажке рисовал и красками расписывал (мне казалось, удивительно хорошо) подряд разных цветов кур и петушков, и я делал то же, но хуже. (В этом-то я надеялся усовершенствоваться посредством Фанфароновой горы.) Серёжа выдумал, когда вставлены были окна, кормить кур через ключевую дыру в двери посредством длинных сосисок из черного и белого хлеба — и я делал то же».

Прибавим ещё сюда несколько отрывочных воспоминаний, переданных нам Львом Николаевичем, которые, как и большую часть рассказов из его раннего детства, нет возможности поставить в хронологический порядок. Тем не менее было бы жаль упустить их, так как они дают ещё несколько драгоценных бытовых черт для характеристики его детской жизни.

«Одно детское воспоминание о ничтожном событии оставило во мне сильное впечатление, это, — как теперь помню, на нашем детском верху сидел Темяшёв и разговаривал с Фёдором Ивановичем. Не помню, почему разговор зашёл о соблюдении постов, и Темяшёв, добродушный Темяшёв, очень просто сказал: «у меня повар (или лакей, не помню) вздумал есть скоромное постом. Я отдал его в солдаты». Потому и помню это теперь, что это тогда показалось мне чем-то странным для меня, непонятным.

Ещё событие было — перовское наследство (1). Памятен обоз с лошадьми и высоко наложенными возами, который приехал из Неруча (2), когда процесс о наследстве, благодаря Илье Митрофанычу, был выигран. Илья Митрофаныч был пьющий запоем, высокий с белыми волосами старик, бывший крепостной Перовской, великий знаток, какие бывали в старину, всяких кляуз. Он руководил делом этого наследства, и за это он до смерти жил и содержался в Ясной Поляне.

(1) Перовское наследство состояло из двух имений: Щербачёвка и Неруч, Курской губ.

(2) Имение это в 300 десятин, доставшееся нам по наследству от Перовской, было продано для прокормления голодающих мужиков во время большого голода 1840-го года.

Ещё памятные впечатления: приезд Петра Ивановича Толстого, отца Валериана, мужа моей сестры, который входил в гостиную в халате, — мы не

понимали, почему это, но потом узнали, что это было потому, что он был в последней степени чахотки. Другое — приезд его брата — знаменитого американца Фёдора Толстого. Помню, он подъехал на почтовых в коляске, вошел к отцу в кабинет и потребовал, чтобы ему принесли его особенный сухой французский хлеб. Он другого не ел. В это время у брата Сергея сильно болели зубы. Он спросил, что у него, и, узнав, сказал, что он может прекратить боль магнетизмом. Он вошёл в кабинет и запер

за собою дверь. Через несколько минут он вышел оттуда с двумя батистовыми платками. Помню, на них была лиловая кайма узоров; дал тётушке платки и сказал: «Этот, когда он наденет, пройдёт боль, а этот, чтобы он спал». Платки взяли, надели Серёже, и у нас осталось впечатление, что всё совершилось, как он сказал.

Помню его прекрасное лицо: бронзовое, бритое, с густыми белыми бакенбардами до углов рта и такие же белые курчавые волосы. Много бы хотелось рассказать про этого необыкновенного, преступного и привлекательного человека.

Третье впечатление — это было посещение какого-то, не знаю, двоюродного брата матери, гусара князя Волконского. Он хотел приласкать меня и посадил на колени, и, как часто это бывает, продолжая разговаривать со старшими, держал меня. Я рвался, но он только крепче придерживал меня. Это продолжалось минуты две. Но это чувство пленения, несвободы, насилия до такой степени возмутило меня, что я вдруг начал рваться, плакать и биться».

Далее мы приводим ещё одну главу воспоминаний детства, написанную Л. Н-чем и переданную нам уже после отпечатания первого тома:

«В трёх верстах от Ясной Поляны есть деревушка Грумонд (так названо это место дедом, бывшим воеводой в Архангельске, где есть остров Грумонд). Там был скотный двор и домик, построенный дедом для приезда летом. Как все, что строил дед, было изящно, и не пошло, и твердо, прочно, капитально. Такой же был и домик с погребом для молочного скопа. Деревянный со светлыми окнами и ставнями, большой прочной дверью, домик с диванчиком и столом, с большими ящиками, складывавшимся, как

пакет, четырьмя сторонами внутрь и так же раскладывавшимся, поворачиваясь на среднем шкворне, так что отвороты эти ложились на углы и составляли большой, аршина в два квадратных, стол. Домик стоял за деревушкой в четыре или пять дворов, в месте, называемом садом, очень красивом, с видом на вьющуюся по долине в лугах Воронку (речку) с лесами по ту и другую сторону. В саду этом был лесок над оврагом, в котором был холодный и обильный ключ прекрасной воды. Оттуда возили каждый день воду в барский дом. Перед оврагом, как продолжение его, большой, глубокий, холодный проточный пруд с карпами, линями, лещами, окунями и даже стерлядями. Место было прелестное — и не столько пить там молоко и сливки с чёрным хлебом, холодные и густые, как сметана, и присутствовать при ловле рыбы, но просто побывать там и побегать на гору и под гору, к пруду и от пруда было великое наслаждение. Изредка летом, когда была хорошая погода, мы все ездили туда кататься. Тётушка, папенька и девочки в линейке, а мы четверо с Фёд. Ив. в жёлтом дедушкином кабриолете с высокими крутыми рессорами и с жёлтыми подлокотниками (других и не было тогда).

За обедом идёт разговор о погоде и составляется план, как ехать. В два часа мы должны ехать, в четыре вернуться к чаю. Всё готово, но лошадей медлят посылать закладывать: с запада из-за деревни и Заказа заходит туча. Мы все в волнении. Фёд. Ив. старается делать строгий, спокойный вид, но мы

возбуждаем и его, и он выходит на балкон, на ветер. Седые волосы его на затылке развеваются, в ту же сторону и фалды его фрака, и он значительно вглядывается через перила. И мы ждём его решения. «Это на Сатинка», — говорит он, указывая на самую большую лиловую тучу. «А это пустой, — говорит он, указывая на другую, идущую с востока. — Ну, что? *Wie glauben Sie? Muss warten* [*нем.* - Как вы полагаете? Нужно переждать.]».

Но туча застилает всё небо. Мы в горести. Послали было запрягать, теперь посылают Мишу остановить. Накрапывает дождик. Мы в унынии и горести. Но вот Серёжа выбежал на балкон и кричит: «Расчищается, Фёд. Ив.! *Kommen Sie Blauer Himmel! Wo? Kommen Sie!* [*нем.* - Смотрите, голубое небо! Где? Да вот, смотрите!]

Действительно, между расплывающейся тучей голубой кусочек то затягивается, то растягивается, вот ещё, ещё, но вот блеснуло солнце.

— Тётенька! разгулялось! Правда, ей-Богу, посмотрите! Фёдор Иванович сказал.

Зовут Фёд. Ив.; он нерешительно, но подтверждает. Колебание на небе и у тётеньки. Тетенька Т. А. улыбается и говорит: "*Je crois, Alexandrine, en effet, qu'il ne pleuvra plus!* [*франц.* - «Полагаю, Александрин, что дождя, действительно, больше не будет»] Смотрите!"

— Тётенька, голубушка, велите запрягать! Пожалуйста, тётенька, голубушка! — кричим больше всех Сережа и я, и помогают нам девочки.

И вот решено опять закладывать. Сам Тихон делает антраша и бежит. И вот мы топчем ножонками на крыльце, ожидая сначала лошадей, потом тётушек. Подъезжает линейка с балдахином и фартуком. Николай Филиппыч правит. Запряжены неручинская гнедая, левая

светло-гнедая широкая и правая тёмная, костлявая, «с крепотцей», как говорит Николай Филиппыч. За линейкой большая гнедая в жёлтом кабриолете.

Тётенька и девочки усаживаются по-своему. Наши же распределены места раз навсегда определённо. Фёдор Иванович садится с правой стороны и правит, рядом с ним Серёжа и Николенька; кабриолет так глубок, что за ними садимся мы, я и Митенька, спинами врозь, к бокам ногами вместе. Вся дорога мимо гумна по Заказу: справа старый, слева молодой Заказ, — одно наслаждение. Но вот подъезжаем к горе, круто спускающейся к реке и мосту. «Halten Sie sich, Kinder» [нем. - «Держись, мелкота»], — говорит Ф. И., торжественно нахмуриваясь, перехватывает вожжи, и вот мы спускаемся, спускаемся, но в последний момент, шагов 30, Фед. Ив. пускает лошадь, и мы летим, как нам кажется, с ужасной быстротой. Мы ждём этого момента, и вперёд уже замирает сердце. Переезжая мост, едем вдоль реки и поднимаемся в гору, на деревню, и въезжаем в ворота, в сад и к домику. Лошадей привязывают. Они топчут траву и пахнут потом так, как никогда уже после не пахли лошади. Кучера стоят в тени деревьев. Свет и тени бегают по их лицам, добрым, весёлым, счастливым лицам. Прибегает Матрёна-скотница, в затрапезном платье, говорит, что она давно ждала нас, и радуется, что мы приехали, и я не только верю, но не могу не верить, что все на свете только и делают, что радуются. Радует Матрёне тётенька, расспрашивая её с участием о её дочерях, радуются собаки, окружившие Ф. И. (Берфа, лягавая Шарло), прибежавшие за нами, радуются куры, петухи, крестьянские дети, радуются лошади, телята, рыбы в пруду, птицы в лесу. Матрёна и её дочь приносят большой, толстый кусок чёрного хлеба, раскрывают

удивительный, необыкновенный стол и ставят мягкий сочный творог с отпечатками салфетки, сливки, как сметана, и кринки со свежим цельным молоком. Мы пьём, едим, бегаем к ключу, пьём там воду, бегаем вокруг пруда, где Ф. И. пускает удочки, и, побыв полчаса-часок на Грумонде, возвращаемся таким же путём, такие же счастливые. Помню, один раз только наша радость

была нарушена случаем, от которого мы, — по крайней мере, я и Митенька, — горько плакали. Берфа, милая, коричневая, с прекрасными глазами и мягкой курчавой шерстью собака Фёд. Ив. бежала, как всегда, то сзади, то впереди кабриолета. Один раз при выезде из Грумондского сада крестьянские собаки бросились за ней. Она бросилась к кабриолету. Фёд. Ив. не сдержал лошади, переехал ей лапу. Когда мы вернулись домой, и несчастная Берфа добежала на трёх ногах, Фёд. Ив. с Ник. Дм., нашим дядькой, тоже охотником, осмотрели её и решили, что нога переломлена, собака испорчена, никогда не будет годиться для охоты. Я слушал, что говорил Фёд. Ив. с Ник. Дм. в маленькой комнате наверху и не верил своим ушам, когда услышал слова Фёд. Ив., который каким-то молодецким решительным тоном сказал: «Не годится. Повесить его. Один конец».

Собака страдает, больна, и её повесить за это. Я чувствовал, что это дурно, что этого не надо было делать, но тон и Фёд. Ив., и Ник. Дм., одоббившего это решение, был таким решительным, что я так же, как и тогда, когда Кузьму вели сечь, когда Темяшев рассказывал, что он

отдал в солдаты человека за то, что он в посту ел скоромное, почувствовал что-то дурное, но в виду несомненных решений людей старших и уважаемых не смел верить своему чувству.

Перебирать все мои радостные детские воспоминания не стану, потому что этому не будет конца и потому что мне они дороги и важны, а передать их так, чтобы они показались важны посторонним, я не сумею.

Расскажу только про одно душевное состояние, которое я испытал несколько раз в первом детстве и которое, я думаю, было важно, важнее многих и многих чувств, испытанных после. Важно оно было потому, что это состояние было первым опытом любви, не любви к кому-нибудь, а любви к любви, любви к Богу, чувство, которое я впоследствии только редко испытывал, редко, но всё-таки испытывал, благодаря тому, я думаю, что след этот был проложен в первом детстве. Выражалось это чувство вот как: мы, в особенности я с Митенькой и девочками, садились под стулья, как можно теснее друг к другу. Стулья эти завешивали платками, загораживали подушками и говорили, что мы «муравейные братья», и при этом испытывали особенную нежность друг к другу. Иногда эта нежность переходила в ласку, гладить друг друга, прижиматься друг к другу, но это было редко, и мы сами чувствовали, что это не то, и тотчас же останавливались. Быть муравейными братьями, как мы называли это (вероятно, это какие-нибудь рассказы о моравских братьях, дошедшие до нас через Николенькину Фанфаронову гору), значило только завеситься от всех, отделиться от всех и всего и любить друг друга.

Иногда мы под стульями разговаривали о том, что и кого кто любит, что нужно для счастья, как мы будем жить и всех любить.

Началось это, как помнится, от игры в дорогу. Садились на стулья, запрягали стулья, устраивали карету или кабриолет, и вот сидевшие-то в карете переходили из путешественников в муравейные братья. К ним присоединялись и остальные. Очень, очень хорошо это было, и я благодарю Бога за то, что мог играть в это. Мы называли это игрой, а между тем всё на свете игра, кроме этого» (1).

(1) Из доставленных мне и отданных в моё распоряжение черновых, неисправленных записок Л. Н. Толстого.

Это новое упоминание Львом Николаевичем о муравейных братьях показывает нам, какое большое значение он придавал этой игре, полной глубокого общечеловеческого смысла.

Заклучим эту главу «Детства» поэтическим воспоминанием Льва Николаевича из его повести:

«Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений...

...После молитвы завернёшься, бывало, в одеяльце, на душе легко, светло и отрадно; одни мечты гонят другие —

но о чем они? Они неуловимы, но исполнены чистой любви и надежд на чистое счастье. Вспомнишь, бывало, о Карле Ивановиче и его горькой участи — единственном человеке, которого я знал несчастным, и так жалко станет, так полюбишь его, что слёзы потекут из глаз, и думаешь: дай Бог ему счастья; дай мне возможность помочь ему, облегчить его горе; я всем готов для него пожертвовать. Потом любимую фарфоровую игрушку — зайчика или собачку — уткнёшь в угол пуховой подушки и любишь, как хорошо, тёпло и уютно ей там лежать. Ещё помолишься о том, чтобы Бог дал счастья всем, чтобы все были довольны, и чтобы завтра была хорошая погода для гулянья, повернёшься на другой бок, мысли и мечты перепутаются, смешаются, и уснёшь тихо, спокойно, ещё с мокрым от слёз лицом.

Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели — невинная весёлость и беспредельная потребность любви — были единственными побуждениями к жизни?

Где те горячие молитвы? Где лучший дар — те чистые слёзы умиления? Прилетал ангел-утешитель, с улыбкой утирал слезы эти и навевал сладкие грёзы неиспорченному детскому воображению.

Неужели жизнь оставила такие тяжёлые следы в моём сердце, что навеки отошли от меня слёзы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминания?» (1)

(1) Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. Т. I, с. 62.

ГЛАВА 5.

Отрочество

К началу отрочества Льва Николаевича пришло время более серьёзного учения старших братьев его, Николая и Сергея, и с этой целью семья Толстых осенью 1836 года переехала в Москву и поселилась на Плющихе, в доме Щербачёва. Этот дом ещё существует и теперь и находится против церкви Смоленской божьей матери; он стоит во дворе, и фасад его составляет острый угол с направлением улицы.

В этом доме они прожили зиму 36 и 37 годов и остались там жить и летом, после смерти отца.

Как-то раз летом 1837 года отец Льва Николаевича уехал по делам в Тулу, и, идя по улице к приятелю своему Темяшёву, он вдруг зашатался, упал и умер ударом; другие предполагают, что его отравил камердинер, так как деньги у него пропали, а именные билеты принесла уже в Москве к Толстым какая-то таинственная нищая.

Когда умер Николай Ильич, тело его из Тулы привезли в Ясную Поляну, и хоронили его сестра Александра Ильинична и старший сын его Николай.

Смерть отца была одним из самых сильных впечатлений детства Льва Николаевича. Лев Николаевич говорил, что смерть эта в первый раз вызвала в нём чувство религиозного ужаса перед вопросами жизни и смерти. Так как отец умер не при нём, он долго не мог верить тому, что его уже нет. Долго после этого, глядя на

незнакомых людей на улицах Москвы, ему не только казалось, но он почти был уверен, что вот-вот он встретит живого отца. И это чувство надежды и неверия в смерть вызывало в нём особенное чувство умиления. После смерти отца Толстые оставались лето в Москве, и здесь Лев Николаевич в первый раз, да едва ли и не в последний, жил лето в городе. Сильное впечатление оставили в нём их поездки за город на четвёрке гнедых, запрягавшихся для этих поездок в ряд без форейтора, красота окрестностей Кунцева, Нескучного и вместе с этим отвратительные запахи от фабричных производств, которые ещё тогда портили окрестности Москвы.

Смерть сына совсем убила бабушку, Пелагею Николаевну; она всё плакала, всегда по вечерам велела отворять дверь в соседнюю комнату и говорила, что видит там сына и разговаривает с ним. А иногда спрашивала с ужасом дочерей: «неужели, неужели это правда, и его нет?» Она умерла через 9 месяцев от тоски и горя.

Смерть бабушки была для Льва Николаевича новым напоминанием о религиозном значении жизни и смерти. Разумеется, бессознательно, но влияние это было, и очень сильное. Бабушка страдала, под конец у неё сделалась водяная, и Лев Николаевич помнит тот ужас, который он испытал, когда его ввели к ней, чтобы попрощаться, и она, лёжа на высокой белой постели, вся в белом, с трудом оглянулась на вошедших внуков и неподвижно предоставила им целовать свою белую, как подушку, распухшую руку. Но как всегда у детей, чувство страха и жалости перед смертью сменялось детскими резвостью, глупостью и шалостями.

«В один праздник, — вспоминает Л. Н-ч, — пришёл, как всегда, к нам приятель и сверстник, маленький Милютин

Владимир, тот самый, который открыл нам, будучи в гимназии, ту необыкновенную новость, что Бога нет (новость, не произведшую большого впечатления). Перед обедом в детской шло веселье, самое дикое и странное, в котором принимали участие Сергей, Дмитрий и я. Милютин и Николай, как более разумные, не участвовали. Веселье состояло в том, чтобы за перегородкой, где стояла ночная посуда, зажигать бумагу в горшках. Трудно себе представить, почему это было весело, но несомненно было чрезвычайно весело. И вдруг среди этого веселья быстрыми шагами входит энергичный и белокурый, мускулистый, маленький гувернер St.-Thomas (описанный в "Отрочестве" под именем St. Jerom'a) и, не обращая внимания на наше занятие, не браня нас за него, с дрожащей нижней челюстью бледного лица говорит нам: «Votre grandmere est morte!» (1)

(1) Ваша бабушка умерла!

Помню потом, — рассказывал Лев Николаевич, — как всем нам сшили новые курточки чёрного казинета, обшитые белыми тесёмками плерез. Страшно было видеть и гробовщиков, сновавших около дома, и потом принесённый гроб с глазетовой крышкой, и строгое лицо бабушки с горбатым носом в белом чепце и белой косынкой на шее, высоко лежащей в гробу на столе, и жалко было видеть слезы тётушек и Пашеньки, но вместе с этим и радовали новые казинетовые курточки с плерезами

и соболезнующее отношение к нам окружающих. Не помню почему, нас перевели во флигель во время похорон, и помню, как мне приятно было подслушать разговоры каких-то чужих кумушек о нас, говоривших: «Круглые сироты, — только отец умер, а теперь и бабушка».

О гувернёре французе Prosper St.-Thomas, о котором мы только что упомянули, у Льва Николаевича сохранилось какое-то смешанное воспоминание доброго и дурного.

«Не помню уже за что, — говорит Лев Николаевич в своих воспоминаниях, — но за что-то самое не заслуживающее наказания St.-Thomas, во-первых, запер меня в комнате, а потом угрожал розгой. И я испытал ужасное чувство негодования, возмущения и отвращения не только к Thomas, но и к тому насилию, которое он хотел употребить надо мной. Едва ли этот случай не был причиною того ужаса и отвращения перед всякого рода насилием, которое испытываю всю свою жизнь» (1).

(1) Вставка, сделанная Львом Николаевичем при просмотре рукописи.

Тем не менее гувернёр St.-Thomas относился внимательно к проявлению способностей своего маленького питомца. Он, вероятно, замечал в нём что-нибудь особенное, потому что он говорил про него: "Ce petit a une tete, c'est un petit Moliere!"(2)

(2) «У этого мальчика голова! Это маленький Мольер!» Из записок графини С. А. Толстой.

После смерти бабушки, вследствие запутанности дел по опеке и потому необходимости уменьшить расходы, часть семейства опять переехала в деревню, а именно меньшие: Дмитрий, Лев и Мария с тёткой Татьяной Александровной Ёргольской, где учителями детей были переменявшиеся немцы-гувернёры и русские семинаристы. Опекуншей же над детьми была графиня Александра Ильинична Остен-Сакен.

Об этой замечательной личности Лев Николаевич так рассказывает в своих воспоминаниях:

«Тётушка Александра Ильинична очень рано в Петербурге была выдана за остзейского богатого графа Остен-Сакен. Партия казалась очень блестящая, но кончившаяся в смысле супружества очень печально для тетушки, хотя, может быть, последствия этого брака были благотворны для её души. Тётушка Aline, как её звали в семье, была, должно быть, очень привлекательна со своими большими голубыми глазами и кротким выражением белого лица, какою она 16-летней девушкой изображена на очень хорошем портрете. Вскоре после свадьбы Остен-Сакен уехал с молодой женой в своё большое остзейское имение, и там всё больше и больше стала проявляться его душевная болезнь, выражавшаяся сначала только очень заметной беспричинной ревностью. На первом же году своей женитьбы, когда тётушка была уже на сносях беременна, болезнь эта так усилилась, что на него стали находить ми-

нуты полного сумасшествия, во время которого ему казалось, что враги его, желающие отнять у него его жену, окружили его, и единственное спасение для него состоит в том, чтобы бежать от них. Это было летом. Вставши рано утром, он объявил жене, что единственное средство спасения состоит в том, чтобы бежать, что он велел закладывать коляску и они сейчас едут, чтобы она готовилась. Действительно, подали коляску, он посадил в неё тётушку и велел ехать как можно скорее. На пути он достал из ящика два пистолета, взвёл курок и, дав один тётушке, сказал ей, что если только враги узнают про его побег, они догонят его, и тогда они погибнут, и единственное, что им остаётся сделать, это убить друг друга. Испуганная, ошеломлённая тётушка взяла пистолет и хотела уговорить мужа, но он не слушал её и только поворачивался назад, ожидая погоню, и гнал кучера. На беду, по просёлочной дороге, выходявшей на большую, показался экипаж; он вскрикнул, что всё погибло, и велел ей стрелять в себя, а сам выстрелил в упор в грудь тётушки. Должно быть, увидав, что он сделал, и то, что напугавший его экипаж проехал в другую сторону, он остановился, вынес раненую, окровавленную тётушку из экипажа, положил на дорогу и ускакал. На счастье тётушки, скоро на неё наехали крестьяне, подняли её и свезли к пастору, который, как умел, перевязал ей рану и послал за доктором. Рана была в правой стороне груди навывлет (тётушка показывала мне оставшийся след) и была нетяжёлая (1).

(1) Покушение на жизнь Александры Ильиничны, произведённое её мужем, произошло, по словам сестры Льва

Николаевича, Марии Николаевны, слышавшей рассказ от самой тётушки, несколько иначе, чем рассказывает об этом Лев Николаевич в своих воспоминаниях.

Раз вечером, когда взошла луна (они жили в своём замке в Прибалтийском крае), граф предложил Александре Ильиничне сделать ночную прогулку по лесу в экипаже. Александра Ильинична сперва отказалась от такого странного предложения, но муж в своей болезненной нервности был так настойчив, прельщая её красотой ночи и наконец тем, что он уже распорядился и лошади поданы, что она должна была согласиться.

Ночь была, действительно, чудная. Они въехали в лес; граф велел остановиться и предложил Александре Ильиничне пройтись с ним по лесу пешком. Она повиновалась, не видя возможности сопротивляться, и они пошли в глубь леса. Когда не стало видно экипажа и кучера, граф вынул револьвер и выстрелил в упор в жену. Совершив это преступление, граф побежал за кучером и вместе с ним перенёс раненую в экипаж. Они доехали до дома ближайшего пастора и там положили её и подали первую помощь.

Остальной рассказ тот же, как и у Льва Николаевича.

В то время, как она выздоравливала, всё ещё беременная, лёжа у пастора, муж её, опомнившийся, прибежал к ней и, рассказав пастору историю о том, как она несчастно была ранена, попросил свидания с ней. Свидание это было ужасно: он — хитрый, как все душевнобольные, притворился раскаивающимся в своём поступке и только озабоченным её здоровьем. Посидев с ней довольно долго, совершенно разумно обо всём разговаривая, он воспользовался той минутой, когда они остались одни, чтобы попытаться исполнить своё намерение. Как бы заботясь о её здоровье, он попросил её показать ему язык и, когда она высунула его, схватился одной рукой за язык, а другой выхватил приготовленную бритву с намерением отрезать его. Произошла борьба; она

вырвалась у него, закричала; вбежали люди, остановили и увели его.

С тех пор сумасшествие его совершенно определилось, и он долго жил в каком-то заведении для душевнобольных, не имея никаких сношений с тётушкой. Вскоре после этого тётушку перевезли в родительский дом в Петер-

бург, и там она родила уже мёртвого ребёнка. Боясь последствий огорчений от смерти ребёнка, ей сказали, что ребёнок её жив, и взяли родившуюся в то время у знакомой прислуги, жены придворного повара, девочку. Эта девочка Пашенька, которая жила у нас, была уже взрослой девушкой, когда я стал помнить себя. Не знаю, когда была открыта Пашеньке история её рождения, но когда я знал её, она уже знала, что она не была дочь тётушки. Тётушка Александра Ильинична, после случившегося с нею, жила у своих родителей, потом у моего отца и потом, после смерти отца, была нашей опекуной, а когда мне было 12 лет, умерла в Оптиной пустыне.

Тётушка эта была истинно религиозная женщина. Любимые её занятия были чтения жития святых, беседа со странниками, юродивыми, монахами, монашенками, из которых некоторые всегда жили в нашем доме, а некоторые только посещали тётушку. В числе почти постоянно живших у нас была монахиня Мария Герасимовна, крёстная мать моей сестры, ходившая в молодости странствовать под видом юродивого Иванушки. Крестною матерью сестры Мария Герасимовна была

потому, что мать обещала взять её кумою, если она вымолит у Бога дочь, которую матери очень хотелось иметь после четырех сыновей. Дочь родилась, и Мария Герасимовна была её крестною матерью и жила частью в Тульском женском монастыре, частью у нас в доме.

Тётушка Александра Ильинична не только была внешне религиозна, соблюдала посты, много молилась, общалась с людьми святой жизни, каков был в её время старец Леонид в Оптиной пустыне, но сама жила истинно христианской жизнью, стараясь не только избегать всякой роскоши и услуг, но стараясь, сколько возможно, служить другим. Денег у неё никогда не было, потому что она раздавала просящим всё, что у неё было.

Горничная Гаша, после смерти бабушки перешедшая к тётушке Александре Ильиничне, рассказывала мне, как она во время московской жизни, шедши к заутрене, старательно на цыпочках проходила мимо спящей горничной и сама делала всё то, что по принятому обычаю делалось горничной. В пище, в одежде она была так проста и нетребовательна, как только можно себе представить. Как мне ни неприятно это сказать, я с детства помню особенно кислый запах тётушки Александры Ильиничны, вероятно, происходивший от неряшества в её туалете. И это была та грациозная, с прекрасными голубыми глазами поэтическая Aline, любившая читать и списывать французские стихи, игравшая на арфе и всегда имевшая большой успех на самых больших балах! Помню, как она была всегда одинаково ласкова и добра точно так же со всеми важными мужчинами и дамами, как и с монахинями, странниками и странницами. Помню, как зять её Юшков любил шутить над ней и как раз из Казани прислал

большой ящик, посылку на её имя. В ящике оказался другой ящик, в том ещё третий и т. д. до маленькой коробочки, в которой в вате лежал фарфоровый монах. Помню, как отец добродушно смеялся, показывая тётушке эту посылку. Помню ещё, как за обедом отец рассказывал, как она будто вместе с своей кузиной Молчановой ловила в церкви уважаемого ими священника, чтобы получить от него благословение.

Отец рассказывал это в виде травли, как будто бы Молчанова отхватила священника от царских дверей, он бросился в северные. Молчанова дала угонку, пронеслась, и тут-то Aline захватила его. Помню её милый, добродушный смех и сияющее удовольствием лицо. То религиозное чувство, которое наполняло её душу, очевидно, было так важно для неё, было до такой степе-

ни выше всего остального, что она не могла сердиться, огорчаться чём-нибудь, не могла приписывать мирским делам ту важность, которая им обыкновенно приписывается. Она заботилась о нас, когда была нашей опекуной, но всё, что она делала, не поглощало её душу, всё было подчинено служению Богу, как она понимала это служение" (1).

(1) Из доставленных мне и отданных в мое распоряжение черновых неисправленных записок Л. Н. Толстого.

Как сказано было выше, меньшие, т. е. Дмитрий, Мария и Лев, с тетушкой Татьяной Александровной жили после смерти бабушки в деревне, а старшие, Николай и Сергей, с опекуной Александрой Ильиничной оставались в Москве. На лето вся семья соединялась в Ясной. Так прошли 38 и 39 годы и наступил 40-й голодный год; урожай был так плох, что Толстым пришлось покупать хлеб для прокормления своих крепостных крестьян, и средства на это были взяты от продажи имения Неруч, доставшегося им по наследству.

Лошадям был уменьшен корм и прекращена выдача овса. Лев Николаевич помнит, как им, детям, было жалко своих любимых лошадок, и как они бегали потихоньку в крестьянское овсяное поле и, совершенно не сознавая совершаемого ими преступления, обшмыгивали стебли овса, набирали полные подолы зерен и скармливали их своим лошадам.

Осенью 40-го года вся семья перебралась в Москву, где и провела зиму 40–41 года, на лето же снова вернулась в Ясную. Осенью 41-го года скончалась и их опекуна, гр. А. И. Остен-Сакен.

Александра Ильинична умерла в Оптиной пустыне. В то время, как она была там, дети оставались в Ясной с Т. А. Ёргольской. Но когда пришло известие, что Александра Ильинична умирает, Татьяна Александровна уехала туда же. Это время особенно памятно было почти всем детям. Они остались с учителем Фёдором Ивановичем и со странницей Марьей Герасимовной, полуюродивой. Была у них тогда собака, черная моська, с которой они играли. Сделали ей трон и сажали её на этот высокий трон, с которого она всё прыгала. Но раз прыгнула и вдруг завизжала и поползла под стул. Её осмотрели, и оказалось,

что у ней сломана лапа. Отчаяние было ужасно, всё плакали навзрыд. Впоследствии это впечатление слилось с воспоминанием об уединении, с монотонным чтением каких-то псалмов Марьи Герасимовны и с известием о смерти любимой тётеньки Александры Ильиничны.

По смерти Александры Ильиничны её сестра Пелагея Ильинична, бывшая замужем за казанским помещиком В. И. Юшковым, приехала из Казани в Москву. Туда же осенью переехали и все дети с тётушкой Татьяной Александровной. Старший брат Льва Николаевича, Николай Николаевич, который уже был в это время студентом 1-го курса, обратился к тётеньке со словами: «ne nous abandonne pas, cher tante, il ne nous reste que vous au monde» [*франц.* - «не покиньте нас, милая тётинька, кроме вас у нас никого не осталось на свете»]. Она прослезилась и задалась мыслью «se sacrifier» [*франц.* - «принести себя в жертву»]. Что она под этим подразумевала — неизвестно, только она сейчас же стала собираться в Казань и для этого вперед заказала барки, которые нагрузили всё, что только можно было вывезти из Ясной Поляны. Дворню тоже всю повезли: столяров, портных, слесарей, поваров, обойщиков и проч. Кроме того, к каждому из братьев Толстых был приставлен крепостной человек в виде слуги, почти одного возраста с ними. Один из этих был Ванюша, сопровождавший потом Льва Николаевича на Кавказ и теперь ещё доживающий свой век на покое у своей дочери в Туле.

Льву Николаевичу в это время было 13 лет. Господа с прислугой двинулись в многочисленных каретах и других экипажах и потянулись осенью из Тулы в Казань. Дорогой шла целая жизнь. Останавливались иногда в поле, в лесу, собирали грибы, купались, гуляли. Большое горе было при расставании с тётенькой Татьяной Александровной, которая была в недружелюбных отношениях с тётушкой Пелагеей Ильиничной и уехала после смерти Александры Ильиничны к своей сестре Елизавете Александровне Толстой, в село Покровское. Неприятности между Татьяной Александровной и Пелагеей Ильиничной происходили оттого, что муж Пелагеи Ильиничны в молодости был влюблён в Татьяну Александровну и делал ей предложение, но она ему откатом. Пелагея Ильинична никогда не простила любовь её мужа к Т. А-не и за это её ненавидела, хотя на вид у них были самые внешне дружественные отношения.

Отставной гусарский полковник В. И. Юшков оставил по себе в Казани память образованного, остроумного и добродушного человека, но вместе с тем большой руки шутника и балагура, каким он и остался до самой своей смерти. С женой он не ладил, и они не раз жилали врозь.

Пелагея Ильинична также оставила по себе в Казани память крайне доброй, хотя и не большого ума женщины. Она была очень набожна и после кончины в 1869 году своего мужа удалилась в монастырь, Оптину пустынь. Затем она жила в Тульском женском монастыре, потом совсем переехала в Ясную Поляну, где уже в глубокой старости заболела и умерла.

В продолжение всей своей долгой жизни она строго соблюдала обряды православной церкви; но на восьмидесятом году, перед смертью, боясь её, она не

хотела причаститься и сердилась на всех за свои страдания, доставляемые ей предчувствием кончины.

Американский писатель Евгений Скайлер, путешествовавший по России в 1868 году и посетивший Льва Николаевича, так рассказывает в своих воспоминаниях о своём знакомстве с семьёю Юшковых. Мы приводим эти воспоминания здесь, чтобы потом уже не возвращаться более к этим лицам. С самим Юшковым он познакомился в Казани.

«Я был принят, — говорит Скайлер, — в весьма хорошем и зажиточном доме и подал мою визитную карточку и рекомендательное письмо слуге, который, возвратившись, просил меня немного подождать. Пока я ждал, я заметил, что письмо, ещё не распечатанное, положено на стул. Наконец вошёл генерал, старый, но крепкого сложения и с выражением большой доброты и симпатии. Он просил меня сесть, сам сел, и после нескольких слов сказал:

— Вы привезли мне, я полагаю, письмо от моего племянника Льва? Где оно?

— Я думаю, что вы на нём сидите.

Он встал, нашёл письмо и, протягивая его мне, сказал:

— Будьте так добры прочесть мне его. Я совершенно слеп.

Положение было неловкое, но этому нельзя было помочь; хотя письмо было весьма лестно и благосклонно ко мне, я счёл долгом пропустить целый параграф. Теперь я сожалею, что, вместо того, чтобы отдать его старику, я не положил в карман и не сохранил на память. В другой комнате было два фортепиано, и, в ответ на некоторые вопросы, генерал сказал мне, что он всегда был страстный любитель музыки, но что теперь он стар и слеп. Я уговорил

его сыграть что-нибудь на память из Бетховена и Моцарта; потом мы пошли в

сад и сидели на солнце, и в течение двух часов, проведённых мною у него, он рассказал мне много интересного, но не то, что мне было нужно».

Возвратившись из своей поездки по России, Скайлер в Ясной Поляне познакомился и с самой Пелагеей Ильиничной Юшковой. Вот как он рассказывает об этом:

«На следующее утро, в 4 часа, после передачи мною Толстому рассказа о знакомстве с Юшковым, я был разбужен каким-то шумом в коридоре, когда внезапно дверь моей спальни отворилась, и, полагая, что по какой-то необъяснимой причине слуга вошёл, чтобы разбудить меня, я крикнул: «Что такое?» Дверь заперлась, и я услышал голос по-французски: «В кровати моей человек». Дверь вновь отворилась, и какой-то господин появился со свечой в руке и спросил: «Серёжа, это ты?» — «Нет, — отвечал я, — я — гость в этом доме». Он засмеялся, извинился и ушёл; чуткость моя тогда была так сильна, что я слышал распоряжение, что «она не пойдёт в гостиную и будет спать на диване, покуда семейство наверху; она пока может лечь на диване в кабинете графа». Я немедленно сообразил, в чём вся сущность. Я занимал комнату г-жи Юшковой, тётки графа, и был приглашен оставаться там около недели, до её возвращения. Она вернулась нечаянно, не предупредив о том, и привезла с собою подругу. Так как двери в русских деревенских

домах редко запираются на ночь, они приехали, не подозревая, что разбудят кого-либо другого.

Я узнал истину, когда Иван принёс мне утренний чай, и я тотчас же уложил свои вещи, чтобы быть готовым уехать в тот же день. Когда я сошёл вниз в 11 часов к утреннему кофе, я нашёл в гостиной г-жу Юшкову одну и должен был представиться сам. Очевидно, ей рассказали, — может быть, для объяснения случившегося, — мою историю прошедшей ночи, потому что она улыбнулась и сказала:

— Так вы были в Казани прошедшей весной и видели моего мужа, который вам говорил, что он совсем слеп. Уверяю вас, что в этом нет ни слова правды. Он видит так же хорошо, как вы и я. Это только одна из его привычек казаться интересным.

Я утверждал, что, по моему мнению, он действительно слеп, но не мог убедить её. Гр. Толстой впоследствии говорил мне, что хотя она давно уже в разлуке с мужем и не видала его несколько лет, но находится с ним в самых дружеских отношениях" (1).

(1) Евгений Скайлер. «Воспоминания о гр. Льве Николаевиче Толстом». «Русская старина», октябрь 1890. Пер. с англ.

Укажем теперь на некоторые моменты душевного развития ребёнка, изображение которых мы находим в повестях Льва Николаевича, посвящённых этому периоду, и которые, по нашему мнению, носят несомненный автобиографический характер.

Одно из свойств ребёнка, так часто встречающееся, а может быть особенно развитое в Льве Николаевиче, была самолюбивая застенчивость.

Часто люди разделяют эти два свойства: самолюбие и застенчивость, порицают одно и хвалят другое и наоборот, а между тем это лишь оборотные стороны одной и той же медали; эти два свойства взаимно поддерживают друг друга и относятся друг к другу, как причина к следствию. Человек бывает застенчив оттого, что он самолюбив, и застенчивость увеличивает и укрепляет в нём самолюбие. И это проявляется сначала по самому ничтожному поводу, например, при воспоминании о недостатках своей наружности.

Вот как говорит об этом Лев Николаевич про себя — «Николеньку»:

"Я имел странные понятия о красоте, — даже Карла Ивановича считал первым красавцем в мире; но очень хорошо знал, что я нехорош собою, и в этом нисколько не ошибался; поэтому каждый намёк на мою наружность больно оскорблял меня.

...На меня часто находили минуты отчаяния, я воображал, что нет счастья на земле для человека с таким широким носом, толстыми губами и маленькими серыми глазами, как я; я просил Бога сделать чудо — превратить меня в красавца, и всё, что имел в настоящем, всё, что мог иметь в будущем, я всё отдал бы за красивое лицо» (1).

(1) Полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого. М., 1897, т. I, с. 76.

Как только человек обратит взоры на самого себя, в нём поднимается борьба самых разнородных чувств. Если он человек разумный и нравственный, он должен почувствовать неудовлетворение, это чувство должно вызвать стремление к совершенствованию как с внешней, так и с внутренней стороны. Так как первое не в нашей власти (например, сделать нос тоньше), то, обращая на это свое внимание, человек чувствует невыразимые страдания. Но если его разум силен, он выведет его на путь совершенствования внутреннего и откроет ему путь бесконечного блага.

Вот именно эту борьбу чувств и мыслей мы и можем проследить в ребёнке, отроке и юноше, которых изображает Лев Николаевич под видом Николеньки Иртенева, в которого он вкладывает свои богатый и глубокий внутренний мир, рисуя нам его развитие.

Первые годы юности Льва Николаевича проходили под влиянием и в попытках подражать брату Сереже, которого он особенно любил и которым восхищался. Следующая же, более зрелая часть юности прошла под влиянием брата Николая, которого он очень любил, хотя и не так страстно, как брата Сергея, но более уважал.

Просматривая повесть «Детство», мы находим изображение подобного чувства в описании любви Николеньки Иртенева к Серёже Ивину. Вот в каких ярких красках Лев Николаевич изображает эту любовь:

«Я почувствовал к нему непреодолимое влечение. Видеть его было достаточно для моего счастья; и одно время все силы души моей были сосредоточены в этом желании: когда мне случалось провести дня три или четыре, не видав его, я начинал скучать, и мне становилось грустно до слёз. Все мечты мои во сне и наяву были о нём; ложась

спать, я желал, чтобы он мне приснился; закрывая глаза, я видел его пред собою и лелеял этот призрак, как лучшее наслаждение. Никому в мире я не решился бы поверить этого чувства, так много я дорожил им. Может быть, потому что ему надоело чувствовать беспрестанно устремлённые на него мои беспокойные глаза, или, просто, не чувствуя ко мне никакой симпатии, он заметно больше любил играть и говорить с Володиёй, чем со мною; но я всё-таки был доволен, ничего не желал, ничего не требовал и всем готов был для него пожертвовать» (2).

(2) Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого. М., 1897, т. I. с. 83.

Под фамилией Ивиных, по утверждению Льва Николаевича, он описывал мальчиков графов Пушкиных, из которых на днях умер Александр, тот самый, который так нравился ему мальчиком в детстве. Любимая игра у них была игра в солдаты.

Вот как изображает Лев Николаевич поворотный пункт в своём развитии, переход от детства к отрочеству.

«Случалось ли вам, читатель, в известную пору жизни вдруг замечать, что ваш взгляд на вещи совершенно изменяется, как будто все предметы, которые вы видели до тех пор, вдруг повернулись к вам другою, неизвестною ещё стороною? Такого рода моральная перемена произошла во мне в первый раз во время нашего

путешествия, с которого я считаю начало моего отрочества.

Мне в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что не мы одни, т. е. наше семейство, живём на свете, что не все интересы вертятся около нас, а что существует другая жизнь людей, ничего не имеющая общего с нами, не заботящихся о нас и даже не имеющих понятия о нашем существовании. Без сомнения, я и прежде знал всё это, но знал не так, как я это узнал теперь, не сознавал, не чувствовал...

Рано являются в ребёнке философские рассуждения, уже в отрочестве намечающие путь, по которому впоследствии разовьётся этот огромный ум и увлечёт за собой многих людей:

«Едва ли мне поверят, — говорит Лев Николаевич от имени Николеньки, — какие были любимейшие и постояннейшие предметы моих размышлений во время моего отрочества, — так они были несообразны с моим возрастом и положением. Но, по моему мнению, несообразность между положением человека и его моральной деятельностью есть вернейший признак истины.

Раз мне пришла мысль, что счастье не зависит от внешних причин, а от нашего отношения к ним, что человек, привыкший переносить страдания, не может быть несчастлив, и, чтобы приучить себя к труду, я, несмотря на страшную боль, держал по пяти минут в вытянутых руках лексиконы Татищева или уходил в чулан и верёвкой стегал себя по голой спине так больно, что слёзы невольно выступали на глазах.

Другой раз, вспомнив вдруг, что смерть ожидает меня каждый час, каждую минуту, я решил, не понимая, как не поняли того до сих пор люди, что человек не может быть

иначе счастлив, как пользуясь настоящим и не помышляя о будущем, — и я три дня, под влиянием этой мысли, бросил уроки и занимался только тем, что, лёжа в постели, наслаждался чтением какого-нибудь романа и едою пряников с кроновским мёдом, которые я покупал на последние деньги.

То раз, стоя перед чёрной доской и рисуя на ней мелом разные фигуры, я вдруг был поражён мыслью: почему симметрия приятна для глаз? Что такое симметрия? Это врождённое чувство, — отвечал я сам себе. На чём же оно основано? Разве во всём в жизни симметрия? Напротив, вот жизнь, — и я нарисовал на доске овальную фигуру. После жизни душа переходит в вечность; вот вечность — и я провёл с одной стороны овальной фигуры черту до самого края доски. Отчего же с другой стороны нет такой же черты? Да и в самом деле, какая же может быть вечность с одной стороны? Мы, верно, существовали прежде этой жизни, хотя и потеряли о том воспоминание.

Но ни одним из всех философских направлений, — продолжает свой рассказ Лев Николаевич, — я не увлекался так, как скептицизмом, который одно время довёл меня до состояния, близкого к сумасшествию. Я воображал, что кроме меня, никого и ничего не существует во всём мире, что предметы — не предметы, а образы, являющиеся тогда, когда я на них обращаю внимание, и что, как скоро я перестану думать о них, образы эти тотчас же исчезают. Одним словом, я сошёлся с Шеллингом в убеждении, что существуют не пред-

меты, а моё отношение к ним. Были минуты, что я под влиянием этой постоянной идеи доходил до такой степени сумасбродства, что иногда быстро оглядывался в противоположную сторону, надеясь врасплох застать пустоту (neant) там, где меня не было» (1).

(1) Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого. Т. I, с. 216.

«Отрочество» кончается изображением дружбы Николеньки Иртенева с Нехлюдовым (2).

(2) «Материал для этого описания дружбы дала мне позднейшая дружба с Дьяковым в первый год моего студенчества в Казани». (Примеч. Л. Н. Толстого.)

И самое заключение этой повести в нескольких словах выражает тот идеал человека, которому Лев Николаевич, не переставая, служил в течение всей своей жизни и служит теперь, на закате дней своих:

«Само собой разумеется, что под влиянием Нехлюдова я невольно усвоил и его направление, сущность которого составляло восторженное обожание идеала добродетели и убеждение в назначении человека постоянно совершенствоваться. Тогда исправить всё человечество, уничтожить все пороки и несчастья людские казалось удобоисполнимою вещью, — очень легко и просто казалось исправить самого себя, усвоить все добродетели и быть вполне счастливым...» (3)

(3) Полное собр. соч. Л. Н. Толстого. Изд. 10-е, т. I, с. 244.

Несомненно, что эта склонность к отвлечённым суждениям, эта робость и застенчивость, это стремление к идеалу, — все эти качества, проявлявшиеся в ребёнке, были только простыми элементами, из которых постепенно слагалась гармоническая душа художника-мыслителя. И мы видим теперь лишь полный расцвет этих духовных ростков, заложенных в Льве Николаевиче ещё во времена его отрочества.

Воспитанный в патриархально-аристократической и по-своему религиозной среде, Лев Николаевич в детстве своём воспринял своей отзывчивой душой всё, что мог, лучшего из окружающей его среды и был искренно религиозен. Намёки на это мы видим в «Детстве». Но эта «привычная» религиозность слетела с него при первом дуновении рационализма.

В своей «Исповеди» он так рассказывает о своём религиозном воспитании, соответствующем этому времени:

«Я был крещён и воспитан в православной христианской вере. Меня учили ей с самого детства и во всё время моего отрочества и юности.

Но когда в 18 лет я вышел со второго курса университета, я не верил уже ни во что из того, чему меня учили.

Судя по некоторым воспоминаниям, я никогда не верил серьёзно, а имел только доверие к тому, что исповедывали передо мной большие, но доверие это было очень шатко.

Помню, что когда мне было лет одиннадцать, один мальчик, давно умерший, Володенька М., учившийся в гимназии, придя к нам на воскресенье, как последнюю новинку объявил нам открытие, сделанное в гимназии.

Открытие состояло в том, что Бога нет и что всё, чему нас учат, одни выдумки (это было в 1838 году). Помню, как старшие братья заинтересовались новостью, позвали и меня на совет, и мы все, помню, очень оживились и приняли это известие как что-то очень занимательное и весьма возможное» (4).

(4) «Исповедь» Л. Н. Толстого. Изд. «Своб. Слово», с. 1.

Но, конечно, эта рационалистическая критика не могла тронуть основ души его. Эти основы выдержали страшные житейские бури и вывели его на истинный путь.

Интересно свидетельство самого Льва Николаевича о тех литературных произведениях, которые, насколько он помнит, оказали большое влияние на его духовное развитие в период его детства и отрочества, т. е. до 14 лет приблизительно. Вот список этих произведений:

<i>Название литературного произведения:</i>	<i>Степень влияния:</i>
История Иосифа из Библии.	Огромное.
Сказки 1001 ночи: 40 разбойников, принц Камаральзаман.	Большое.
«Чёрная курица» Погорельского.	Очень большое.
Русские былины: Добрыня Никитич, Илья Муромец, Алёша Попович.	Огромное.
Народные сказки.	Огромное.
Стихи Пушкина: Наполеон.	Большое.

Приведём теперь несколько эпизодов из отроческой жизни Льва Николаевича, частью записанных нами с его слов, частью слышанных от его родственников и, наконец, заимствованных из других источников, уже появлявшихся в печати, к которым мы отнеслись критически, сделав выбор, соответствующий имевшимся в наших руках достоверным указаниям. Рассказы эти нет возможности поставить в хронологический порядок.

«Ещё в начале московской жизни при отце, — вспоминал раз Лев Николаевич — у нас была пара своего завода вороных очень горячих лошадей. Кучером у отца был Митька Копылов. Он же был стремянным отца, ловкий ездок, охотник и прекрасный кучер и, главное, неоценимый фореитор. Неоценимый фореитор, потому что, при горячих лошадях, мальчик не мог управляться с ними, старый же человек был тяжёл и неприличен для фореитора, так что Митька соединял редкие качества, нужные для фореитора. Качества эти были: малый рост, лёгкость, сила и ловкость. Помню, раз отцу подали фазтон, и лошади подхватили, пронесясь из ворот. Кто-то крикнул: «понесли графские лошади!» С Пашенькой сделалась дурнота, тётушки бросились к бабушке успокаивать её, но оказалось, что отец ещё не садился, и Митька ловко удержал лошадей и вернулся во двор.

Вот этот самый Митька, после уменьшения расходов, был отпущен на оброк. Богатые купцы наперебой приглашали его к себе и взяли бы на большое жалованье, так как Дмитрий уже щеголял в шёлковых рубашках и бархатных поддёвках. Случилось, что брат его по очереди должен был быть отдан в солдаты, а отец его, уже старый, вызвал его к себе на барщинскую работу. И этот маленький ростом щёголь Дмитрий через месяц

преобразился в серого мужика в лаптях, правящего барщину и обрабатывающего свои два надела, косящего, пашущего и вообще несущего всё тяжёлое тягло тогдашнего времени. И всё это без малейшего ропота, с сознанием, что это так должно быть и не может быть иначе».

Это было одно из событий, которое много способствовало тому уважению и любви к народу, которое смолоду начал испытывать Лев Николаевич.

Вот два эпизода, рассказанные мне Львом Николаевичем, которые, по его словам, бросили в его молодую душу семена сомнения, неудовлетворённости,

недоумения перед несправедливостью и жестокостью людей, тогда ещё для него бывших «старшими», «большими», и потому неизбежно служившими известного рода авторитетами. И эти авторитеты уже тогда были поколеблены.

Ещё будучи ребёнком, он испытал на себе то неравенство, поклонение внешности и презрение ко всему скромному и невидному, которое бывает так чувствительно в детстве и особенно тогда наводит на серьёзные мысли и даёт толчок душевному развитию.

Одним из таких случаев была ёлка у Шиповых, куда дети Толстые были приглашены по каким-то отдалённым родственным связям. Они только что лишились отца и бабушки и были сиротами на попечении тётки в довольно трудном материальном положении, и потому представляли

мало привлекательного и значительного для светского общества.

На ту же ёлку были приглашены племянники кн. Горчакова, бывшего военного министра, и Толстые с горечью должны были заметить ту разницу, которая была сделана в выборе подарков для них и для тех, более почётных гостей. Толстым были подарены дрянные дешёвые вещички, а тем — роскошные дорогие игрушки.

Другой случай произошёл также в Москве.

Раз они пошли гулять по Москве с гувернёром-немцем. Из детей были он, Лев Николаевич (9–10 лет), его братья и девочка Юзенька, дочь гувернантки-француженки, жившей у их соседей Исленевых. Девочка эта была очень красивой, привлекательной наружности. Идя по Большой Бронной, они подошли к калитке сада, прилегающего к дому Полякова. Калитка не была заперта, и они вошли, сами робея и не зная, что из этого выйдет. Сад показался им необыкновенной красоты. Там был пруд с лодками, флагами, цветы, мостики, дорожки, беседки и т. д.; они шли, как очарованные, по этому саду. Их встретил какой-то господин, оказавшийся владельцем этого сада, Асташёвым. Он любезно поздоровался с ними и пригласил их гулять, катал их на лодке и был так любезен, что им показалось, что они доставляют хозяину сада большое удовольствие своим присутствием. Ободрённые этим успехом, они решились через несколько дней опять посетить этот сад. Когда они вошли в калитку, их остановил старик и спросил, кого им угодно. Они назвали свою фамилию и просили доложить хозяину. Юзеньки с ними не было. Старик принёс ответ, что этот сад частного лица и посторонней публике вход запрещён. Они удалились с грустью и зародившимся в их душах

недоумением, почему хорошенькое личико их подруги может иметь такое сильное влияние на отношение к ним посторонних людей.

А вот несколько рассказов, указывающих на оригинальность, даже эксцентричность его отроческого характера:

«Мы собрались раз к обеду, — рассказывала мне сестра Льва Николаевича, Мария Николаевна, — это было в Москве, ещё при жизни бабушки, когда соблюдался этикет, и все должны были являться вовремя, ещё до прихода бабушки, и дожидаться её. И потому все были удивлены, что Лёвочки не было. Когда сели за стол, бабушка, заметившая отсутствие его, спросила гувернёра St.-Thomas, что это значит, не наказан ли Léon; но тот смущенно заявил, что он не знает, но что уверен, что Léon сию минуту явится, что он, вероятно, задержался в своей комнате, приготавливаясь к обеду. Бабушка успокоилась, но во время обеда подошёл наш дядька, шепнул что-то St.-Thomas, и тот сейчас же вскочил и выбежал из-за стола. Это было столь необычно при соблюдаемом этикете обеда, что все поняли, что случилось какое-нибудь большое

несчастье, и так как Лёвочка отсутствовал, то все были уверены, что несчастье случилось с ним, и с замиранием сердца ждали развязки.

Вскоре дело разъяснилось, и мы узнали следующее: «Лёвочка, неизвестно по какой причине (как он сам теперь говорит, только для того, чтоб сделать что-нибудь необыкновенное и удивить других), задумал выпрыгнуть в

окошко из второго этажа, с высоты нескольких сажен. И нарочно для этого, чтобы никто не помешал, остался один в комнате, когда все пошли обедать. Влез на отворённое окно мезонина и выпрыгнул на двор. В нижнем подвальном этаже была кухня, и кухарка как раз стояла у окна, когда Левочка шлепнулся на землю. Не поняв сразу, в чём дело, она сообщила дворецкому, и когда вышли на двор, то нашли Лёвочку лежащим на дворе и потерявшим сознание. К счастью, он ничего себе не сломал, и всё ограничилось только лёгким сотрясением мозга; бессознательное состояние перешло в сон, он проспал подряд 18 часов и проснулся совсем здоровым. Можно себе представить беспокойство и страх, в которое поверг всех домашних этот необдуманный поступок маленького чудака.

Раз ему пришла фантазия остричь себе брови, что он и исполнил, обезобразив этим своё лицо, никогда не отличавшееся особой красотой, что немало сокрушало самого юношу.

Другой раз, — рассказывала Мария Николаевна, — ехали мы на тройке из Пирогова в Ясную. Во время одной из остановок экипажа Лёвочка слез и пошёл пешком. Когда экипаж тронулся, его хватились, но его нигде не было. Кучер с козел увидал впереди на дороге его удаляющуюся фигуру; поехали, полагая, что он пошёл вперёд, чтобы сесть, когда тропка его догонит, но не тут-то было. С приближением тройки он ускорил шаг, и когда тройка пошла рысью, он пустился бегом, видимо, не желая садиться. Тройка поехала очень быстро, и он побежал во всю мочь, пробежав так около трёх верст, пока, наконец, не обессилел и не сдался. Его посадили в карету; он задыхался, был весь в поту и изнемогал от усталости».

Супруга Льва Николаевича, графиня Софья Андреевна, не раз принималась записывать материалы о жизни Льва Николаевича, расспрашивая его о его детстве и слушая рассказы его родственников, которых она застала ещё в живых. К сожалению, записки эти неполны и не окончены, но, тем не менее, чрезвычайно ценны. Мы делаем из них несколько выписок, пользуясь любезным разрешением их автора:

«Судя по рассказам старых тётушек, которые мне рассказывали кое-что о детстве моего мужа, и также по словам моего деда Исленева, который был очень дружен с Николаем Ильичом, отцом Льва Николаевича, маленький Лёвочка был очень оригинальный ребёнок и чудак. Он, например, входил в залу и кланялся всем задом, откидывая голову назад и шаркая.

Когда я спрашивала других и самого Льва Николаевича, хорошо ли он учился, то всегда получала ответ, что «нет».

Шурин Льва Николаевича, С. А. Берс, рассказывает в своих воспоминаниях следующее:

«По свидетельству покойной тетушки Льва Николаевича, Пелагеи Ильиничны Юшковой, в детстве он был очень шаловлив, а отроком отличался странностью, а иногда и неожиданностью поступков, живостью характера и прекрасным сердцем.

Моя покойная матушка рассказывала мне, что, описывая свою первую любовь в произведении «Детство», он умолчал о том, как из ревности столкнул с

балкона предмет своей любви, которая и была моя матушка девяти лет от роду, которая после этого долго хромала. Он сделал это за то, что она разговаривала не с ним, а с другим. Впоследствии она, смеясь, говорила ему: «Видно, ты меня для того в детстве столкнул с террасы, чтобы потом жениться на моей дочери» (1).

(1) С. А. Берс. «Воспоминания о гр. Льве Николаевиче Толстом».

Сам Лев Николаевич рассказывал при мне в семейном кругу, что в детстве, лет 7 или 8, он имел страшное желание полетать в воздухе. Он вообразил, что это вполне возможно, если сесть на корточки и обнять свои колени, при этом чем сильнее сжимать колени, тем выше можно полететь.

Несколько автобиографических рассказов Льва Николаевича можно найти в его «книжках для чтения». Мы заимствуем из них некоторые характерные черты.

В рассказе «Старая лошадь» Лев Николаевич говорит о том, как раз им, четырём братьям, позволили покататься верхом. Им давали кататься только на одной смирной старой лошади, которую звали Воронком. Трое старших братьев, вдоволь натешившись ездой, измучили лошадь, и в таком виде она досталась ему.

«Когда пришёл мой черед, — рассказывает Лев Николаевич, — я хотел удивить братьев и показать им, как я хорошо езжу, — стал погонять Воронка изо всех сил, но Воронок не хотел идти от конюшни. И сколько я ни колотил его, он не хотел скакать, а только трусил и заворачивал всё назад. Я злился на лошадь, из всех сил бил её хлыстом и ногами. Я старался бить её в те места, где ей

больнее, сломал хлыст и остатком хлыста стал бить по голове. Но Воронок всё не хотел скакать.

Тогда я поворотил назад, подъехал к дядьке и попросил хлыстика покрепче. Но дядька сказал мне:

— Будет вам ездить, сударь, слезайте. Что лошадь мучить!

Я обиделся и сказал:

— Как же, я совсем не ездил. Посмотри, как я сейчас прокачу. Дай, пожалуйста, мне хлыст покрепче. Я его разожгу.

Тогда дядька покачал головой и сказал:

— Ах, сударь, жалости в вас нет: что его разжигать? Ведь ему 20 лет. Лошадь измучена, насилу дышит, да и стара. Ведь она такая старая, всё равно, как Пимен Тимофеич (2). Вы бы сели на Тимофеича, да так-то через силу погоняли его хлыстом, — что же, вам не жалко бы было?

(2) 90-летний, сторбленный старец, живший на дворне.

Я вспомнил про Пимена и послушал дядьки. Я слез с лошади, и когда я посмотрел, как она носила потными боками, тяжело дышала ноздрями и помахивала облезшим хвостиком, я понял, что лошади было трудно. Мне так стало жалко Воронка, что я стал целовать его в потную шею и просить у него прощенья за то, что я его бил».

В рассказе «Как я выучился ездить верхом» Лев Николаевич вспоминает, как он отправился с братьями учиться верховой езде в Москве.

Берейтор был очень удивлён его малым ростом, но, видя его решимость, согласился его учить.

«Привели маленькую лошадку. Она была рыжая, и хвост у неё был обрезан. Её звали Червончик. Берейтор засмеялся и сказал мне: "Ну, кавалер, садитесь". Я и радовался, и боялся, старался так сделать, чтобы никто этого не

заметил. Я долго старался попасть ногою в стремя, но никак не мог, потому что я был слишком мал. Тогда берейтор поднял меня на руки и посадил. Он сказал: «Не тяжёл барин — фунта два, больше не будет».

Он сначала держал меня за руку, но я видел, что братьев не держали, и просил, чтобы меня пустили. Он сказал: «А не боитесь?» Я очень боялся, но сказал, что не боюсь. Боялся я больше того, что Червончик всё поджимал уши. Я думал, что он на меня сердится. Берейтор сказал: «Ну, смотрите ж, не падайте», и пустил меня. Сначала Червончик ходил шагом, и я держался прямо. Но седло было скользкое, и я боялся свернуться. Берейтор меня спросил: «Ну что, утвердились?» Я ему сказал: «Утвердился». — «Ну, теперь рысцой», — и берейтор защёлкал языком.

Червончик побежал маленькой рысью, и меня стало подкидывать. Но я всё молчал и старался не свернуться набок. Берейтор меня похвалил: «Ай да кавалер, хорошо!» Я был очень этому рад.

В это время к берейтору подошёл его товарищ и стал с ним разговаривать, и берейтор перестал смотреть на меня.

Только вдруг я почувствовал, что я свернулся немножко на бок седла. Я хотел поправиться, но никак не мог. Я

хотел закричать берейтору, чтобы он остановил, но думал, что будет стыдно, если я это сделаю, и молчал. Берейтор не смотрел на меня. Червончик всё бежал рысью, и я ещё больше сбилсЯ набок. Я посмотрел на берейтора и думал, что он поможет мне; а он всё разговаривал со своим товарищем и, не глядя на меня, приговаривал: «Молодец, кавалер». Я уже совсем был на боку и очень испугался. Я думал, что я пропал. Но кричать мне было стыдно. Червончик тряхнул меня ещё раз, — я совсем соскользнул и упал на землю. Тогда Червончик остановился; берейтор оглянулся и увидал, что на Червончике меня нет. Он сказал: «Вот те на, свалился кавалер мой!» и подошёл ко мне. Когда я ему сказал, что не ушибся, он засмеялся и сказал: «Детское тело мягкое». А мне хотелось плакать. Я попросил, чтобы меня опять посадили, и меня посадили. И я уже больше не падал». (1)

(1) Полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого. М., 1897, т. IV, с. 498.

Таким-то образом рос этот замечательный ребёнок, вдумчивый, впечатлительный, застенчивый, детски влюбчивый и, в сущности, одинокий по той огромной силе внутреннего анализа, которая таилась в нём и не находила отклика в окружавшей его среде.

ГЛАВА 6.

Юность

Пять лет прожили Толстые в Казани. Каждое лето всё семейство, сопровождаемое Пелагеей Ильиничной, отправлялось в Ясную Поляну, каждую осень возвращалось в Казань.

В доме Юшковой протекла большая половина юности Льва Николаевича Толстого.

Братья Толстые переехали в Казань в 1841 году. Старший брат Николай, перешедший из Московского университета в Казанский, уже в 1841–42 учебном году слушал курс в Казанском университете и был уже на втором курсе

второго отделения философского факультета; по этому факультету он благополучно и окончил курс в 1844 году со званием действительного студента. Двое следующих братьев, Сергей и Дмитрий, избрали тот же факультет и то же его отделение, соответствующее современному нам математическому факультету.

Оба брата были приняты в студенты в 1843 году и весной 1847 года одновременно окончили действительными студентами.

Лев Николаевич избрал факультет восточных языков, имея, как кажется, в виду дипломатическую карьеру, и к поступлению на этот факультет усиленно готовился в течение 1842–44 гг. Занятия были нелёгкие, так как для вступительного экзамена нужно было иметь подготовку в арабском и турецко–татарском языках, преподававшимся в то время в Первой казанской гимназии. Трудности эти были Львом Николаевичем благополучно превзойдены.

В архивах Казанского университета сохранились все документы, свидетельствующие о поступлении, пребывании и выходе Льва Николаевича из Казанского университета.

Все эти документы тщательно собраны и напечатаны в воспоминаниях Загоскина (1). Мы приводим наиболее интересные из них.

(1) «Граф Лев Николаевич Толстой и его студенческие годы». Н. П. Загоскина. «Исторический вестник», январь 1894 г.

Лев Николаевич подал прошение о поступлении в университет. Вследствие этого прошения он был допущен к приёмному экзамену, который прошёл для него не совсем благополучно, как это видно из приводимой ниже экзаменационной ведомости. Вот отметки, полученные графом Львом Толстым на вступительном экзамене:

Закон божий	4	
История общая и русская	1	«Ничего не знал». <i>Примеч. Л. Н. Толстого.</i>
Статистика и география	1	«Ещё меньше. Помню, вопрос был: Франция. Присутствовал Пушкин, попечитель, и опрашивал меня. Он был знакомый нашего дома и, очевидно, хотел выручить: "Ну, скажите, какие приморские города во Франции?" Я ни одного не мог назвать». <i>Примеч. Л. Н. Толстого.</i>
Математика	4	
Русская словесность	4	
Логика	4	

Латинский язык	2
Французский язык	5+
Немецкий язык	5
Арабский	5
Турецко–татарский	5
Английский язык	4

А в деле о приёме Льва Николаевича в студенты сделана заключительная резолюция в виде журнального постановления о том, что граф Лев Толстой «экзаменован по отделению восточной словесности, но принятия в университет не удостоен». Тут же приписано определение: «Акты возвратить».

Это происходило весной 1844 года. Лев Николаевич решил просить осенью переэкзаменовки по предметам, отметки за которые были неудовлетворительны.

И вот, в начале августа того же года снова поступает на имя ректора университета следующее прошение, писанное Львом Николаевичем собственноручно:

«Его Превосходительству господину ректору
Императорского Казанского университета,
заслуженному профессору, действительному статскому
советнику Николаю Ивановичу Лобачевскому
от Льва Николаевича графа Толстого

ПРОШЕНИЕ.

В мае месяце текущего года я вместе с учениками первой и второй казанской гимназии подвергался испытанию с целью

поступить в число студентов Казанского университета, разряда арабско–турецкой словесности. Но как на этом испытании не оказал надлежащих сведений в истории, статистике, то и прошу покорнейше, Ваше Превосходительство, дозволить мне ныне снова экзаменоваться в этих предметах. При сем имею честь представить следующие документы:

- 1) метрическое свидетельство из тульской консистории;
- 2) копия с постановления тульского дворянского депутатского собрания.

К сему прошению означенный выше проситель
граф Лев Николаевич руку приложил».

Августа 3–го дня 1844 года.

На прошении отметка:

«Под 4 авг. 1844 г. Допустить к дополнительному испытанию.
4 августа 1844 года. Ректор Лобачевский».

Когда именно и с каким успехом держал Лев Николаевич этот дополнительный экзамен, — неизвестно. Во всяком случае на этот раз дело обошлось благополучно, так как внизу прошения Льва Николаевича подписано определение:

"Толстого принять в университет студентом своекоштного содержания, по разряду арабско–турецкой словесности".

Итак, Лев Николаевич в университете. Но там проводит он лишь учебное время, живёт же он в доме своей тётки Юшковой и вращается в кругу её знакомых. Что же это была за среда, и как могла она влиять на юношу?

В воспоминаниях Загоскина о студенческой жизни Льва Николаевича Толстого говорится, что среда, в

которой вращался в Казани Лев Николаевич, была средой развращающей, и что Лев Николаевич должен был инстинктивно чувствовать протест, но по замечанию, сделанному Львом Николаевичем при просмотре этой рукописи, дело было не так:

«Никакого протеста, — говорит он, — я не чувствовал, а очень любил веселиться в казанском, тогда очень хорошем, обществе» (1).

(1) Замечание Льва Николаевича, сделанное им при просмотре рукописи.

Перечисляя далее в своей статье различные неблагоприятные обстоятельства жизни Льва Николаевича, Загоскин выражает удивление нравственной силе Льва Николаевича, сумевшей устоять против всех этих соблазнов. На это Лев Николаевич делает следующее замечание:

«Напротив, очень благодарен судьбе за то, что первую молодость провёл в среде, где можно было смолоду быть молодым, не затрагивая непосильных вопросов и живя хоть и праздной, роскошной, но не злой жизнью» (2).

(2) То же.

«Зимний сезон 1844–45 гг., когда Лев Николаевич Толстой в качестве "молодого человека" стал уже выезжать

в свет, был ещё более шумен. Балы то у губернатора, то у предводителя, то в женском Родионовском институте, где с особенной любовью культивировала их начальница, Е. Д. Загоскина, частные танцевальные вечера, маскарады в дворянском собрании, спектакли, живые картины, концерты непрерывною цепью следовали одни за другими. В качестве родовитого, титулованного молодого человека с хорошими местными связями, внука бывшего губернатора и выгодного жениха в ближайшем будущем Лев Николаевич был везде желанным гостем. Казанские старожилы помнят его на всех балах, вечерах и великосветских собраниях, всюду приглашаемым, всегда танцующим, но далеко не светским дамским угодником, какими были другие его сверстники "студенты-аристократы"; в нём всегда наблюдали какую-то странную угловатость, застенчивость; он, видимо, стеснялся той ролью, которую его поневоле заставляли играть и к которой *volens-nolens* обязывала его пошлая обстановка его казанской жизни» (3).

(3) «Граф Л. Н. Толстой в его студенческие годы» Н. П. Загоскина. «Истор. Вестник», январь 1894 г.

Всё это, конечно, весьма дурно влияло на учебные занятия, и первые полугодичные испытания оказались не вполне удачными, как о том свидетельствует экзаменационная ведомость, приводимая Загоскиным:

	<i>Успехи</i>	<i>Прилежание</i>
Церковная библ. история	3	2
История общ. литературы	не явился	
Арабский язык	2	2

Эта неудача нисколько не изменила образа жизни Льва Николаевича, и он, продолжая весёлую светскую жизнь, участвует на масленице вместе с братом своим Сергеем в двух любительских спектаклях с благотворительной целью и исполняет свою роль с большим успехом.

В «Казанских губернских ведомостях» 1845 года есть заметка о том, что упомянутый спектакль «прошёл так отчётливо, так прелестно, что во многих местах зрители забывали, что перед ними искусство сценическое, а не сама жизнь».

Казанская газетная хроника увековечила и другое выступление Л. Н-ча в 1846 году. Он принимал участие в живых картинах, поставленных в актовом зале Казанского университета в пользу двух бедных воспитанниц местного

Родионовского института. В № 18 «Казанских губернских ведомостей» за 1846 г. мы читаем: «...Стечение публики было самое многочисленное, невиданное доселе; ни один концерт, даже волшебный смычок Серве, не привлекал столько посетителей, и обширная университетская зала не могла вместить в себе всех зрителей». Л. Н. Толстой фигурировал в одной из 19 живых картин. Картина называлась «Предложение жениха». Вот как передает её содержание газетный хроникер:

«Оркестр играет: "Ну, Карлуша, не робей!.." Старик-рыбак поймал в свои сети молодца и представляет его своей дочери. Простак-детина (граф Л. Н. Толстой)

почтительно вытянулся, закинув руки за спину: он рисуется... Отец взял его за подбородок и с простодушно-хитрою улыбкой посматривает на дочку, которая в смущении потупила свои взоры». «Эффект этой картины был необычайный», — добавляет описание. — Раза три требовали её повторения, и долго не умолкал гром рукоплесканий. Лучше всех был в этой картине А. А. де Планьи (лектор французского языка); чрезвычайно наивен был также и жених, граф Л. Н. Толстой».

Результатом всего этого было то, что Лев Николаевич не выдержал переходного экзамена, и ему бы пришлось остаться на второй год на том же курсе. Сам он так рассказывает об этом несчастном экзамене:

«Первый год я был не перепущен из первого на второй курс профессором русской истории Ивановым, поссорившимся перед тем с моими домашними, несмотря на то, что я не пропустил ни одной лекции и знал русскую историю; кроме того за единицу в немецком языке, поставленную тем же профессором, несмотря на то, что я знал немецкий язык несравненно лучше всех студентов нашего курса» (1).

(1) Полн. собр. сочинении Л. Н. Толстого. М., 1897. т. IV, с. 14.

Но Лев Николаевич не захотел остаться на второй год на том же курсе, а подал прошение о переводе его на другой факультет, а именно на юридический, что и было исполнено.

Зимний сезон 1845–46 годов открылся празднеством по случаю двухдневного (14–16 октября) пребывания в

Казани герцога Максимилиана Лейхтенбергского, которому здесь устроен был восторженный прием.

Львом Николаевичем сделана здесь такая заметка:

«В конце этого года я в первый раз стал серьезно заниматься и нашёл в этом даже некоторое удовольствие. Сверх факультетских предметов, из которых энциклопедия права и уголовное право заинтересовали меня (немец профессор Фогель на лекциях устраивал собеседования, и помню очень заинтересовавшее меня, о смертной казни); сверх факультетских предметов Меер, профессор гражданского права, задал мне работу: сравнить "Espris des lois" Montesquieu (2) с "Наказом" Екатерины, и эта работа очень заняла меня» (3).

(2) «Дух законов» Монтескье.

(3) Вставка, сделанная Львом Николаевичем при просмотре рукописи.

Переходные майские экзамены 1846 г. сданы были Львом Николаевичем удовлетворительно. Он получил на этих экзаменах одну пятёрку из логики и психологии, три четвёрки: из энциклопедии права, истории римского права и латинского языка, и четыре тройки: из всеобщей и русской истории, теории красноречия и немецкого языка, три пятерки за поведение. Средний вывод получился три, и Лев Николаевич был удостоен перевода на второй курс.

В этом же году Льва Николаевича постигла административная кара. Он был посажен в карцер за непосещение лекций истории. Эпизод этот описан в воспоминаниях Назарьева, его товарища по университету, но весьма неточно, хотя разговор, описанный Назарьевым, и соответствует действительности. Пользуясь замечаниями Льва Николаевича, восстанавливаем этот эпизод в более правдивом виде.

Лев Николаевич был посажен в карцер и сидел не в аудитории, как пишет Назарьев, а в карцере со сводами и железными решётками. Вместе со Львом Николаевичем сидел его товарищ. Лев Николаевич принёс с собою в карцер спрятанную в голенище сапога свечку и подсвечник, и они провели очень приятно день или два.

Кучер, рысак, лакей и т. д. — всё это надо отнести к воображению Назарьева. Разговор же, переданный им, правдоподобен, и мы приводим его из статьи Назарьева:

«Помню, — говорит Назарьев, — заметив, что я читаю "Демона" Лермонтова, Толстой иронически отнёсся к стихам вообще, а потом, обратившись к лежащей возле меня истории Карамзина, напустился на историю, как на самый скучный и чуть ли не бесполезный предмет.

— История, — рубил он плеча, — это не что иное, как собрание басен и бесполезных мелочей, пересыпанных массой ненужных цифр и собственных имён. Смерть Игоря, змея, ужалившая Олега, — что же это, как не сказки, и кому нужно знать, что второй брак Иоанна на дочери Темрюка совершился 21 августа 1563 года, а четвертый, на Анне Алексеевне Колтовской, в 1572 году, а ведь от меня требуют, чтобы я задолбил всё это, а не знаю, так ставят единицу. А как пишется история? Всё пригоняется к известной мерке, измышленной историком.

Грозный царь, о котором в настоящее время читает профессор Иванов, вдруг с 1560 года из добродетельного и мудрого превращается в бессмысленного, свирепого тирана. Как и почему, об этом уже не спрашивайте... — приблизительно в таком роде рассуждал мой собеседник.

Меня сильно озадачила такая резкость суждений, тем более, что я считал историю своим любимым предметом.

Затем вся неотразимая для меня сила сомнений Толстого обрушилась на университет и университетскую науку вообще. «Храм наук» уже не сходил с его языка. Оставаясь неизменно серьёзным, он в таком смешном виде рисовал портреты наших профессоров, что при всем моём желании остаться равнодушным я хохотал, как помешанный.

— А между тем, — заключил Толстой, — мы с вами вправе ожидать, что выйдем из этого храма полезными, знающими людьми. А что вынесем мы из университета? Подумайте и отвечайте по совести. Что вынесем мы из этого святилища, возвратившись восвояси, в деревню? На что будем пригодны, кому нужны? — настойчиво допрашивал Толстой.

В этих разговорах провели всю ночь.

Едва забрезжилось утро, как дверь отворилась, — вошёл вахмистр и, раскланявшись, объявил, что мы свободны и можем расходиться по домам.

Толстой нахлобучил фуражку на глаза, завернулся в шинель с бобрами, слегка кивнул мне головой, ещё раз ругнул "храм" и скрылся в сопровождении своего слуги и вахмистра. Я тоже поспешил выбраться и вздохнул во всю грудь, отделавшись от своего собеседника и очутившись на морозе, среди безлюдной, только что просыпавшейся улицы.

Отяжелевшая, точно после утара, голова была переполнена никогда ещё не забиравшимися в неё сомнениями и вопросами, навеянными странным, решительно непонятным для меня товарищем по заключению» (1).

(1) В. Н. Назарьев. «Жизнь и люди былого времени». "Историч. вестник", ноябрь 1890 г.

Начало 1846–47 учебного года внесло изменения в условия внешней жизни братьев Сергея, Дмитрия и Льва Толстых. Оставив дом своей тётушки Пелагеи Ильиничны Юшковой, они стали жить на частной квартире, в доме, бывшем тогда Петонди, а ныне принадлежащем Ложкинской городской общественной богадельне. Здесь они занимали пять комнат в верхнем этаже каменного флигеля, до сих пор находящегося во дворе этого дома и в настоящее время занимаемого одним из отделений богадельни.

В январе 1847 года Лев Николаевич ещё раз явился на полугодичные экзамены, но не держал всех и, видимо, относился к ним как к пустой формальности. Вероятно, в голове его уже создался план оставления университета. И вскоре, тотчас после пасхальных каникул, он подал прошение об увольнении его из университета.

Вот содержание этого прошения, приводимого в воспоминаниях Загоскина:

"Его Превосходительству
г. ректору Императорского Казанского университета,
действительному статскому советнику и кавалеру
Ивану Михайловичу Симонову
своекоштного студента 2-го курса юридического факультета,
от графа Льва Николаевича Толстого

ПРОШЕНИЕ.

По расстроенному здоровью и домашним обстоятельствам, не желая более продолжать курса наук в университете, покорнейше прошу Ваше Превосходительство сделать зависящее от вас распоряжение об исключении меня из числа студентов и о выдаче мне всех моих документов.

К сему прошению руку приложил студент граф *Лев Толстой*.
Апреля 12-го дня 1847 года".

Вслед за этим состоялось определение правления:

«Толстого из списков студентов исключить и составить о бытности в университете свидетельство».

В делах университетского архива сохранился и дубликат самого свидетельства, выданного графу Льву Николаевичу Толстому. Это свидетельство любопытно в том отношении, что в нём тонко обойдены университетские неудачи Льва Николаевича и совершенно замолчены причины, вследствие которых он был оставлен на первом курсе восточного отделения. Вот что гласит это свидетельство:

"Объявитель сего, граф Лев Николаевич сын Толстой, получив первоначально домашнее образование и выдержав в предметах полного гимназического курса подлежащий экзамен, принят был в студенты Казанского универ-

ситета по разряду арабско-турецкой словесности, в первый курс, но с какими успехами в оном курсе обучался — неизвестно, потому что на годовичные испытания не явился, почему и оставлен был в том же курсе, и на основании разрешения г. управляющего казанским учебным округом от 13-го сентября 1845 года, № 3919, из разряда арабско-турецкой словесности перемещён в первый курс юридического факультета, в коем обучался с успехами: по логике и психологии — отличными; энциклопедии права, истории римского права и латинскому языку — хорошими; всеобщей и русской истории, теории красноречия и немецкому языку — достаточными; переведён был во второй курс, но с какими успехами обучался в новом курсе — неизвестно, потому что годовичных испытаний ещё не было. Поведения он, Толстой, во время бытности в университете был отличного. Ныне же, согласно прошению, поданному 12-го текущего апреля, по расстроенному здоровью и текущим обстоятельствам, из университета уволен, почему он, г. Толстой, как не окончивший полного курса университетских наук, не может пользоваться правами, присвоенными действительным студентам, а на основании 590 ст. III тома Свода Законов (изд. 1842 года) при поступлении в гражданскую службу сравнивается в преимущества по чинопроизводству с лицами, получившими образование в средних учебных заведениях, и принадлежит ко второму разряду гражданских чиновников. В удостоверение чего и дано ему, графу Льву Толстому, сие свидетельство из правления Казанского университета, за надлежащим подписанием и приложением казённой печати, на основании высочайше дарованной Казанскому университету грамоты на простой бумаге».

«Лев Николаевич спешил выездом из Казани, — пишет в своих воспоминаниях Загоскин, — и не стал даже дожидаться окончания его братьями Сергеем и Дмитрием выпускных университетских экзаменов. Наступил день

отъезда Льва Николаевича в Москву, через которую он должен был ехать в свою Ясную Поляну. В квартиру графов Толстых, во флигеле дома Петонди, собралась небольшая кучка студентов, желавших проводить Льва Николаевича в далёкий и трудный, по условиям сообщения того времени, путь; один из провожавших, рассказывавший мне об этом, до сих пор здравствует в Казани. Как водится, за отъезжающего выпили, насклавав ему всякого рода пожеланий. Товарищи проводили Льва Николаевича до перевоза через Казанку, которая находилась в полном разливе, и здесь в последний раз отдали ему прощальное целование» (1).

(1) Н. П. Загоскин. «Гр. Л. Н. Толстой и его студенческие годы». «Историч. вестник», январь 1894, с. 123.

Мало осталось следа в Казанском университете о пребывании там Льва Николаевича Толстого.

Недавно посетивший этот университет князь Дм. Дм. Оболенский сообщил мне, что в аудитории, где Лев Николаевич слушал лекции, на железной доске осталась надпись «Граф Лев Николаевич Толстой», несомненно, нацарапанная самим Львом Николаевичем во время слушания лекций на месте, где он сидел всегда. Нацарапана или гвоздём, или ножом. Кажется, это единственный памятник о Льве Николаевиче в Казанском университете.

Немецкий биограф Льва Николаевича, Лёвенфельд, спросил у него, будучи в Ясной Поляне, почему он, при его всегда присущей ему неутомимой жажде знания, оставил университет.

— Да в этом-то, — отвечал граф, — может быть, и заключается самая главная причина моего выхода из университета. Меня мало интересовало, что читали наши учителя в Казани. Сначала я с год занимался восточными языками, но очень мало успел. Я горячо отдавался всему, читал бесконечное количество книг, но всё в одном и том же направлении. Когда меня интересовывал какой-нибудь вопрос, то я не уклонялся от него ни вправо, ни влево и старался познакомиться со всем, что могло бросить свет именно на этот один вопрос. Так было со мной и в Казани» (1).

(1) R. Levenfeld. «Gespache mit und uber Toltoj». Leipzig.

То же высказал Лев Николаевич и в следующем замечании:

«Причин выхода моего из университета было две: 1) что брат кончил курс и уезжал; 2) как это ни странно сказать, работа с "Наказом" и "Espris des lois" (она и теперь есть у меня) открыла мне новую область умственного самостоятельного труда, а университет со своими требованиями не только не содействовал такой работе, но мешал ей» (2).

(2) Вставка, сделанная Л. Н. Толстым при просмотре рукописи.

Как выше было сказано, одновременно со Львом Николаевичем слушали университетский курс и старшие его братья: Николай, Сергей и Дмитрий. О первых двух Лев Николаевич вспоминает, рассказывая события из своей детской жизни, помещённые нами в своём месте. Воспоминания же о брате Дмитрие, характер которого более резко проявился в пору его студенчества, мы помещаем здесь, так как в них Лев Николаевич даёт нам несколько драгоценных черт того времени:

«Митенька — годом старше меня. Большие чёрные, строгие глаза. Почти не помню его маленьким. Знаю только по рассказам, что он в детстве был очень капризен; рассказывали, что на него находили такие капризы, что он сердился и плакал за то, что няня не смотрит на него; потом также злился и кричал, что няня смотрит на него. Знаю по рассказам, что маменька очень мучилась с ним. Он был ближе мне по возрасту, и мы больше играли с ним, но я не так любил его, как любил Серёжу и как любил и уважал Николеньку. Мы жили с ним дружно, не помню, чтобы ссорились. Вероятно, ссорились и даже дрались, но, как это бывает у детей, эти драки не оставили ни малейшего следа, и я любил его простой, ровной, естественной любовью и потому не замечал её и не помню её. Я думаю, даже знаю, потому что испытал это, особенно в детстве, что любовь к людям есть естественное состояние души или, скорее, естественное отношение ко всем людям, и когда оно такое, его не замечаешь. Оно замечается только тогда, когда не любишь (не не любишь, а боишься кого-нибудь. Так я боялся нищих, боялся одного Волконского, который щипал меня; больше, кажется, никого), и тогда, когда особенно любишь, как я любил тетеньку Татьяну Александровну, брата Сережу,

Николеньку, Василия, няню Исаевну, Пашеньку. Ребёнком я ничего особенного, кроме детского веселья, не помню о нём. Особенности его проявились и памятливы мне уже в Казани, куда мы переехали в 40-м году, и ему было 13 лет. До этого в Москве, я помню, что он не влюблялся, как я и Серёжа, не любил особенно ни танцев, ни военных зрелищ, о которых расскажу я после, и учился хорошо, даже весьма усердно. Помню, учитель, студент Поплонский, дававший нам уроки, определял по отношению к учению нас трех братьев так: Сергей — и хочет, и может; Дмитрий — хочет, но не может (это была неправда); и Лев — не хочет и не может. Я думаю, что это была совершенная правда.

Так что настоящие воспоминания мои о Митеньке начинаются с Казани. В Казани я, подражавший всегда Серёже, начал развращаться (тоже после расскажу). Не только с Казани, но и ещё прежде я занимался своей наружностью: старался быть светским, *comme il faut*. Ничего этого не было и следа в Митеньке; кажется, он никогда не страдал обычными отроческими пороками. Он всегда был серьёзен, вдумчив, чист, решителен, вспыльчив, и то, что делал, доводил до пределов своих сил. Когда с ним случилось, что он проглотил цепочку, он, сколько помню, не особенно беспокоился о последствиях этого, тогда как про себя помню, какой я испытал ужас, когда проглотил косточку французского чернослива, который дала мне тётенька, и как я торжественно, как бы перед смертью, объявил ей об этом несчастье. Помню ещё,

как мы катались маленькими на салазках с крутой горы мимо закут (как весело было!), и какой-то проезжий, вместо того, чтобы ехать по дороге, поехал на своей тройке на эту гору. Кажется, Серёжа с деревенским мальчиком раскатился и, не удержав салазки, попал под лошадей. Ребята выкарабкались без ушибов. Тройка въехала на гору. Мы все были заняты происшествием: как вылез из-под пристяжной, как коренная испугалась и т. п. Митенька же (мальчик лет 9), подошёл к проезжему и начал бранить его. Я помню, как меня удивило и не понравилось то, что он сказал, что за это, чтобы не смели ездить, где нет дороги, стоит на конюшню отправить; на языке того времени значило — высечь.

В Казани начались его особенности. Учился он хорошо, ровно, писал стихи очень легко; помню, прекрасно перевёл Шиллера «Der Jungling am Bache» (1), но не предавался этому занятию. Мало общался с нами, всегда был спокоен, серьёзен и задумчив. Помню, как он раз расшалился, и как девочки пришли в восторг от этого, и мне стало завидно, и я подумал, что это оттого, что он всегда серьёзен. И я тоже хотел в этом подражать ему. Очень глупая была мысль у опекуни-тётушки дать нам каждому по мальчику с тем, чтобы потом это был наш преданный слуга. Митеньке дан был Ванюша (Ванюша этот и теперь жив). Митенька часто дурно обращался с ним, кажется, даже бил. Я говорю: кажется, потому что не помню этого, а помню только его покаяния за что-то перед Ванюшей и униженные просьбы о прощении.

(1) «Юноша у ручья».

Так он рос незаметно, мало общаясь с людьми, всегда, кроме как в минуты гнева, тихий, серьёзный, с задумчивыми, строгими, большими карими глазами. Он был велик ростом, худ довольно, силён не очень, с длинными большими руками и сутуловатой спиной. Особенности его начались со времени вступления в университет. Он был годом моложе Сергея, но поступил в университет с ним вместе на математический факультет только потому, что старший брат был математиком. Не знаю, как и что навело его так рано на религиозную жизнь, но с первого же года университетской жизни это началось. Религиозные стремления, естественно, направили его на церковную жизнь, и он предался ей, как он все делал, до конца. Он стал есть постное, ходить на все церковные службы и ещё строже стал к себе в жизни.

В Митеньке, должно быть, была та драгоценная черта характера, которую я предполагал в матери, которую знал в Николеньке и которой я был совершенно лишён, — черта совершенного равнодушия к мнению о себе людей. Я всегда до самого последнего времени не мог отделаться от заботы о мнении людском, у Митеньки же этого совершенно не было. Никогда не помню на

его лице той сдерживаемой улыбки, которая невольно выступает, когда вас хвалят. Всегда помню его серьёзные, спокойные, грустные, иногда недобрые миндалеобразные, большие карие глаза. С Казани только мы стали обращать на него внимание и то только потому, что тогда как мы с

Серёжей приписывали большое значение *comme il faut*, внешности, он же был неряшлив и грязен, и мы осуждали его за это. Он не танцевал и не хотел этому учиться, студентом не ездил в свет, носил один студенческий сюртук с узким галстуком, и смолоду уже у него появился тик: он подёргивал головой, как бы освобождаясь от узости галстука.

Особенность его первая проявилась во время первого говения. Он говел не в модной университетской церкви, а в казематской церкви. Мы жили в доме Горталова, против острога. В остроге тогда был особенно набожный и строгий священник, который, как нечто непривычное, делал то, что на Страстной неделе вычитывал все евангелия, как это полагалось, и службы от этого продолжались особенно долго. Митенька выстаивал их и свёл знакомство со священником. Церковь острожная была так устроена, что отделялась только стеклянной перегородкой с дверью от места, где стояли колодники. Один раз один из колодников что-то хотел передать причётникам: свечу или деньги на свечи; никто из бывших в церкви не захотел взять на себя это поручение, но Митенька тотчас со своим серьёзным лицом взял и передал.

Оказалось, что это было запрещено, и ему сделали выговор; но он, считая, что так надобно, продолжал делать то же самое.

Мы, главное Серёжа, водили знакомство с аристократическими товарищами и молодыми людьми; Митенька, напротив, из всех товарищей выбрал жалкого, бедного, оборванного студента Полубояринова (которого наш приятель-шутник называл Полубезобедовым, и мы, жалкие ребята, находили это забавным и смеялись над

Митенькой). Он только с Палубояриновым дружил и с ним готовился к экзаменам.

Помню один такой случай. Жили мы тогда уже на другой квартире, на углу Арского поля, в доме Киселёвского, наверху. Верх разделялся хорами над залом. В первой части верха, до хор, жил Митенька, в комнате за хорами жили Серёжа и я. Мы, я и Сережа, любили вещицы, убирали свои столики, как у больших, и нам давали и дарили для этого вещицы. Митенька никаких вещей не имел. Одну он взял из отцовских вещей, — это минералы. Он распределил их, надписал и разложил их под стёклами в ящик. Так как мы, братья, да и тётушка с некоторым презрением смотрели на Митеньку за его низкие вкусы и знакомства, то этот взгляд усвоили себе и наши легкомысленные приятели. Один из таких, очень недалёкий человек (инженер Ес., не столько по нашему выбору наш приятель, но потому, что он лип к нам), раз, проходя через комнату Митеньки, обратил внимание на минералы и спросил Митеньку. Ес. был несимпатичен, ненатурален. Митенька ответил неохотно. Ес. двинул ящик и потряс их; Митенька сказал: «Оставьте!» Ес. не послушался и что-то подшутил; кажется, назвал его Ноем. Митенька взбесился и своей огромной рукой ударил по лицу Ес. Ес. бросился бежать, Митенька, за ним; когда они прибежали в наши владения, мы заперли двери. Но Митенька объявил нам, что он исколотит его, когда он пойдёт назад. Серёжа и, кажется, Шувалов пошли усовещивать Митеньку, чтобы пропустил Ес. Но он взял половую щётку и объявил, что непременно исколотит его. Не знаю, что бы было, если бы Ес. пошёл через его комнату, но он сам просил как-нибудь провести его, и мы провели его кое-где почти ползком, через пыльный чердак.

Таков был Митенька в свои минуты злобы. Но вот каким он был, когда ничто не выводило его из себя. К нашему семейству как-то пристроилась, взята была из жалости, самое странное и жалкое существо, некто Любовь Сергеевна, девушка; не знаю, какую ей дали фамилию. Любовь Сергеевна была плод кровосмешения Протасова (из тех Протасовых, от которых Жуковский). Как она попала к нам, не знаю. Слышал, что её жалели, ласкали, хотели пристроить даже, выдать замуж за Фёдора Ивановича, но всё это не удалось. Она жила сначала у нас, — я этого не помню; а потом её взяла тётенька Пелагея Ильинична в Казань, и она жила у неё. Так что узнал я её в Казани. Это было жалкое, кроткое, забитое существо. У неё была комнатка, и девочка ей прислуживала. Когда я узнал её, она была не только жалка, но отвратительна. Не знаю, какая была у неё болезнь, но лицо её было всё распухлое так, как бывают запухлые лица, искусанные пчёлами. Глаза виднелись в узеньких щёлках между двумя запухшими, глянцевитыми, без бровей подушками. Также распухшие, глянцевитые, жёлтые были щёки, нос, губы, рот. И говорила она с трудом, так как и во рту, вероятно, была та же опухоль. Летом на лицо её садились мухи, и она не чувствовала их, и это было особенно неприятно видеть. Волосы у ней были ещё чёрные, но редкие, не скрывавшие голый череп. Василий Иванович Юшков, муж тётеньки, недобрый шутник, не скрывал своего отвращения к ней. От неё всегда дурно пахло. А в комнате её, где никогда не открывались окна и форточки, был удушливый запах. Вот эта-то Любовь Сергеевна сделалась другом Митеньки. Он

стал ходить к ней, слушать её, говорить с ней, читать ей. И, удивительное дело, мы так были нравственно тупы, что только смеялись над этим; Митенька же был так нравственно высок, так независим от заботы о людском мнении, что никогда ни словом, ни намёком не показал, что он считает хорошим то, что делает. Он только делал. И это был не порыв, а это продолжалось всё время, пока мы жили в Казани.

Как мне ясно теперь, что смерть Митеньки не уничтожила его, что он был прежде, чем я узнал его, прежде, чем родился, и есть теперь, после того, как умер!»
(1)

(1) Из доставленных мне и отданных в моё распоряжение черновых, неисправленных записок Л. Н. Толстого.

Взглянем теперь на внутренний мир Льва Николаевича того времени, насколько он нам доступен.

Критический возраст человека — юность — вводит его в пучину страстей. Для обыкновенного человека это период увлечения всевозможными чувствами и страстями, искания идеала, период мечтаний и ожиданий и большею частью несбыточных надежд. Можно себе представить те внутренние волнения, которые переживала такая сильная во всех отношениях натура, каким и был, и есть Толстой. В каких противоречиях металась его душа! К каким недостижимым высотам мысли возносила его крылатая мечта и с какой стремительностью мог он падать, срываясь с этой высоты, увлечённый страстями своей сильной, животной природы!

Указания на эту бурную внутреннюю жизнь юношеского периода мы встречаем в двух сочинениях Льва Николаевича: в «Юности» и в «Исповеди». В первом произведении среди размышлений Николеньки Иртенева мы несомненно встречаем автобиографические черты. Мысли, заимствуемые нами из «Юности», большею частью идеального характера и выражены в прекрасной поэтической форме. Мы приводим здесь только важнейшие:

«Я сказал, что дружба моя с Дмитрием открыла мне новый взгляд на жизнь, её цель и отношения. Сущность этого взгляда состояла в убеждении, что назначение человека есть стремление к нравственному совершенствованию, и что усовершенствование это легко, возможно и вечно...

Пришло время, когда эти мысли с такой свежей силой морального открытия пришли мне в голову, что я испугался, подумав о том, сколько времени я потерял даром, и тотчас же, ту же секунду, захотел прилагать эти мысли к жизни с твёрдым намерением никогда уже не изменять им. И с этого времени я считаю начало юности.

Мне было в то время шестнадцатый год в исходе. Учителя всё ещё продолжали ходить ко мне, и я поневоле и неохотно готовился к университету.

В этот период времени, который я считаю пределом отрочества и началом юности, основой моих мечтаний были четыре чувства. Любовь к "ней", к воображаемой женщине, о которой я всегда мечтал в одном и том же

смысле и которую всякую минуту ожидал где-нибудь встретить. Второе чувство было любовь любви. Мне хотелось, чтобы меня всё знали и любили. Мне хотелось сказать свое имя... и чтобы все были поражены этим известием, обступили меня и благодарили бы за что-нибудь. Третье чувство была надежда на необыкновенное тщеславное счастье, — такая сильная и твёрдая, что она переходила в сумасшествие. Четвёртое и главное чувство было отвращение к самому себе и раскаяние, но раскаяние до такой степени слитое с надеждой на счастье, что оно не имело в себе ничего печального. Я даже наслаждался в отвращении к прошедшему и старался видеть его мрачнее, чем оно было. Чем чернее был круг воспоминаний прошедшего, тем чище и светлее выдавалась из него светлая, чистая точка настоящего, и разливались радужные цвета будущего. Этот-то голос раскаяния и страстного желания совершенства и был главным новым душевным ощущением в ту эпоху моего развития, и он-то положил новые начала моему взгляду на себя, на людей и на мир Божий. Благой, отрадный голос, сколько раз с тех пор, в те грустные времена, когда душа молча покорялась власти жизненной лжи и разврата, вдруг смело восстававший против всякой неправды, злобно обличавший прошедшее, указывавший, заставляя любить её, ясную точку настоящего, и обещавший добро и счастье в будущем, — благой отрадный голос! Неужели ты перестанешь звучать когда-нибудь?» (1)

(1) Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. Т. I, с. 247.

Мы знаем, что, к счастью для самого Льва Николаевича и для всех нас, голос этот в нём не замолкал ни на минуту, и до сих пор этот благой голос зовёт его и нас и движет нами, направляя нас к светлому, бесконечному идеалу.

Временами мечты эти ярко выражали начала того идеалистического натурализма, который лег едва ли не в основу большей части произведений Толстого.

«Но луна всё выше и выше, светлее и светлее стояла на небе, пышный блеск пруда, равномерно усиливающийся, как звук, становился яснее и яснее, тени становились чернее и чернее, свет прозрачнее и прозрачнее, и, вглядываясь и вслушиваясь во всё это, что-то говорило мне, что "она", с обнажёнными руками и пылкими объятиями, ещё далеко-далеко не всё счастье, что и любовь к ней далеко-далеко ещё не всё благо, и чем больше я смотрел на высокий, полный месяц, тем истинная красота и благо казались выше и выше, чище и чище, ближе и ближе к Нему, к источнику всего прекрасного и благо-

го, и слёзы какой-то неудовлетворенной, но волнующей радости навёртывались мне на глаза.

И всё я был один, и всё казалось, что таинственно-величавая природа, притягивавший к себе светлый круг месяца, остановившийся зачем-то на одном высоком неопределённом месте бледно-голубого неба и вместе стоящий везде и как будто наполняющий собой всё необъятное пространство, и я, ничтожный червяк, уже оскверненный всеми мелкими бедными людскими

страстями, но со всей необъятной могучей силой любви, мне все казалось в эти минуты, что как будто природа, и луна, и я — мы были одно и то же» (1).

(1) Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. Т. I, с. 391.

Интересно взглянуть на список литературных произведений, имевших влияние на Льва Николаевича за период его юности, т. е. приблизительно от 14 до 21 года, и способствовавших выработке подобного мирозерцания.

Вот этот список, служащий продолжением уже приведённого в главе «Отрочество»:

<i>Название произведений.</i>	<i>Степень влияния.</i>
Евангелие Матфея. Нагорная проповедь	Огромное.
Стерн. "Sentimental Journey" ("Сентиментальное путешествие")	Очень большое.
Руссо. "Confession" ("Исповедь"), "Emile" ("Эмиль").	Огромное.
"Nouvelle Heloise" ("Новая Элоиза")	Очень большое.
Пушкин. "Евгений Онегин"	Очень большое.
Шиллер. "Разбойники"	Очень большое.
Гоголь. "Шинель", "Ив. Ив. и Ив. Ник.", "Невский проспект", "Вий"	Большое.
"Мертвые души"	Очень большое.
Тургенев. "Записки охотника"	Очень большое.
Дружинин. "Полинька Сакс"	Очень большое.
Григорович. "Антон-Горемыка"	Очень большое.
Диккенс. "Давид Копперфильд"	Огромное.
Лермонтов. "Герой нашего времени", "Тамань".	Очень большое.
Прескотт. "Завоевание Мексики"	Большое.

Рядом с этим Лев Николаевич испытывал на себе и тяжёлое влияние тех условностей, которым подчинена была его барская жизнь. Одним из таких влияний было так называемое «*comme il faut*» (2). Он посвящает описанию этого влияния целую главу своей «Юности». Мы берём из неё только самое существенное.

(2) «Как должно».

«Чувствую необходимость, — говорит Лев Николаевич, — посвятить целую главу этому понятию, которое в моей жизни было одним из самых пагубных, ложных понятий, привитых мне воспитанием и обществом.

Моё любимое и главное подразделение людей в то время, о котором я пишу, было на людей *comme il faut* и на *comme il ne faut pas* [*франц.* - «как не должно»]. Второй род подразделяется ещё на людей собственно не *comme il faut* и простой народ. Людей *comme il faut* я уважал и считал достойными иметь со мной равные отно-

шения; вторых — притворялся, что презираю, но, в сущности, ненавидел их, питая к ним какое-то оскорблённое чувство личности; третьи для меня не существовали — я их презирал совершенно. Мое *comme il faut* состояло, первое и главное, в отличном французском языке и особенно в выговоре. Человек, дурно выговаривавший по-французски, тотчас же возбуждал во мне чувство ненависти. "Для чего же ты хочешь говорить

как мы, когда не умеешь?" — с ядовитой насмешкой спрашивал я его мысленно.

Второе условие *comme il faut* были ногти длинные, отчищенные и чистые; третье было умение кланяться, танцевать и разговаривать; четвёртое, и очень важное, было равнодушие ко всему и постоянное выражение некоторой изящной, презрительной скуки.

Страшно вспомнить, сколько бесценного, лучшего в жизни шестнадцатилетнего времени я потратил на приобретение этого качества. Но ни потеря золотого времени, употреблённого на постоянную заботу о соблюдении всех трудных для меня условий *comme il faut*, исключающих всякое серьёзное увлечение, ни ненависть и презрение к девяти десятым рода человеческого, ни отсутствие внимания ко всему прекрасному, совершающемуся вне круга *comme il faut*, — всё это ещё было не главное зло, которое мне причиняло это понятие. Главное зло состояло в том убеждении, что *comme il faut* есть самостоятельное положение в обществе, что человеку не нужно стараться быть ни чиновником, ни каретником, ни солдатом, ни учёным, когда он *comme il faut*; что, достигнув этого положения, он уже исполняет своё назначение и даже становится выше большей части людей.

В известную пору молодости, после многих ошибок и увлечений, каждый человек обыкновенно становится в необходимость деятельного участия в общественной жизни, избирает какую-нибудь отрасль труда и посвящает себя ей; но с человеком *comme il faut* это редко случается. Я знал и знаю очень, очень много людей старых, гордых, самоуверенных, резких в суждениях, которые на вопрос, если такой задастся им на том свете: кто ты такой? и что

ты там делал? — не будут в состоянии ответить иначе, как: «je fus un homme tres comme il faut» (1).

(1) «Я был человеком очень комильфотным».

Эта участь ожидала меня» (2).

(2) Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. Т. I, с. 381.

Как сказал Лев Николаевич в разговоре с немецким биографом Лёвенфельдом, рядом с учебными университетскими занятиями, вообще мало интересовавшими его, в нём развился интерес к самостоятельной умственной работе, вызванный данной ему темой сравнения «Esprit des lois» Montesquieu с «Наказом» Екатерины.

Дневники Льва Николаевича того времени полны мыслями, заметками и комментариями к этой работе, и рядом с этой работой толпится целый рой мыслей, как будто рассудок, прежде спавший и вдруг пробуждённый, принялся за деятельную работу во всех областях своих.

В марте 1847 года Лев Николаевич лежал в казанской клинике по какому-то нездоровью. Досуг болезни, больничное одиночество наводили его на размышления о значении разума.

«Общество есть часть мира. Надо Разум согласовать с миром, с целым, познавая законы его, и тогда можно стать независимым от части, от общества».

Мы видим из этой заметки, что 18-летний юноша уже носил в себе зачатки будущего анархизма.

Замечая в себе проявление страсти к знанию, Лев Николаевич сейчас же спохватывается и, опасаясь уйти в теорию, задаёт себе вопросы о приложении знания к практике, а главное, к выработке в себе нравственного идеала и нравственного поведения.

Так, он записывает между прочим в своём дневнике того времени (март 1847 г.):

«Я много переменялся, но всё ещё не достиг той степени совершенства (в занятиях), которого бы мне хотелось достигнуть. Я не исполняю того, что себе предписываю; что исполняю, то исполняю не хорошо, не изоцряю памяти. Для этого пишу здесь некоторые правила, которые, как мне кажется, много мне помогут, ежели я буду им следовать:

1) Что назначено непременно исполнить, то исполняй, несмотря ни на что.

2) Что исполняешь, исполняй хорошо.

3) Никогда не справляйся в книге, что забыл, а постарайся сам припомнить.

4) Заставляй постоянно ум твой действовать со всею ему возможною силою.

5) Читай и думай всегда громко.

6) Не стыдись говорить людям, которые тебе мешают, что они мешают; сначала дай почувствовать, а ежели они не понимают (что они мешают), то извинись и скажи им это».

По поводу своей университетской работы он приходит к тому заключению, что в «Наказе» Екатерины проявляются два начала: революционные идеи

современной Европы и деспотизм самой Екатерины и тщеславие её; последнее начало преобладает. Республиканские идеи заимствованы ею из Монтескье. В заключение Лев Николаевич приходит к тому выводу, что «Наказ» принёс больше славы Екатерине, чем пользы России.

Решившись оставить университет и переехать в деревню, Лев Николаевич даёт себе обещание заниматься английским и латинским языком и римским правом, вероятно, чувствуя по этим предметам пробелы в своём знании.

Но по мере того, как приближалось время отъезда, планы и мечты о новой жизни расширялись, и, наконец, 17-го апреля 1847 года он записывает в своём дневнике:

«Перемена в образе жизни должна произойти; но нужно, чтобы эта перемена не была произведением внешних обстоятельств, но произведением души», и далее:

«Цель жизни есть сознательное стремление к всестороннему развитию всего существующего.

Цель жизни в деревне в продолжение двух лет:

- 1) Изучить весь курс юридических наук, нужных для окончательного экзамена в университет,
- 2) Изучить практическую медицину и часть теоретической.
- 3) Изучить языки: французский, русский, немецкий, английский, итальянский и латинский.
- 4) Изучить сельское хозяйство как теоретически, так и практически.
- 5) Изучить историю, географию и статистику.
- 6) Изучить математику — гимназический курс.
- 7) Написать диссертацию.

8) Достигнуть высшей степени совершенства в музыке и живописи.

9) Написать правила.

10) Получить некоторые познания в естественных науках.

11) Составить сочинения из всех тех предметов, которые буду изучать».

Вся последующая жизнь Льва Николаевича в деревне исполнена таких мечтаний, благих начинаний и серьёзной искренней борьбы над самим собой в стремлении к совершенствованию.

С неподражаемою искренностью записывает он всякое уклонение от постановленного правила, всякое падение и снова собирается с силами на новую борьбу.

Отношение к женщинам уже тогда беспокоит его, и вот какой интересный совет даёт он себе:

«Смотри на общество женщин как на необходимую неприятность жизни общественной и, сколько можно, удаляйся от них.

В самом деле: от кого получаем мы сластолюбие, изнеженность, легкомыслие во всём и множество других пороков, как не от женщин? Кто виноват в том, что мы лишаемся врождённых в нас чувств: смелости, твёрдости, рассудительности, справедливости и других — как не женщины? Женщина восприимчивее мужчины, поэтому в века добродетели женщины были лучше нас; в теперешний же развратный, порочный век — они хуже нас».

Опять мы видим зачатки позднейших взглядов на жизнь.

К этому же периоду относятся также и первые философские опыты Льва Николаевича.

Читая Руссо, Лев Николаевич пишет комментарии к его «Discours» [«Рассуждениям»]. Затем сохранилась его самостоятельная философская статья, написанная в 1846–47 году, т. е. когда ему было 18 лет. Статья эта носит название: «О цели философии». Причём философии даётся такое определение:

«Человек стремится, т. е. человек деятелен. Куда направлена его деятельность? Каким образом сделать эту деятельность свободной? В этом заключается цель философии в её истинном значении. Другими словами: *"философия есть наука жизни"*».

Кроме того, есть наброски на разные темы, как, например: «О рассуждении касательно будущей жизни», «Определение времени, пространства и числа», «Методы», «Разделение философии» и т. д.

К этому времени относится также следующий эпизод, записанный графиней С. А. Толстой:

«Во время студенчества Лев Николаевич раз задумался о том, что такое симметрия, и написал сам на это философскую статью в виде рассуждения. Статья эта лежала на столе в его комнате, когда в комнату вошёл товарищ братьев Толстых Шувалов с бутылками во всех карманах, собираясь пить. Он случайно увидал на столе эту статью и прочёл её. Его заинтересовала эта статья, и он спросил, откуда Лев Николаевич списал её. Лев Николаевич робко ответил, что он её сам сочинил. Шувалов засмеялся и сказал, что это он врёт, что не может

этого быть: слишком показалось глубоко и умно для такого юноши. Так и не поверил, с тем и ушёл» (1).

(1) Записки графини С. А. Толстой.

Уже этот небольшой рассказ показывает нам, насколько уровень развития Льва Николаевича не соответствовал окружающей его среде и превышал её.

«Исповедь» Льва Николаевича раскрывает нам его внутренний мир того времени ещё с другой стороны — религиозной.

«Помню, — говорит Лев Николаевич, — что, когда старший брат мой Дмитрий, будучи в университете, вдруг со свойственной его натуре страстностью предался вере и стал ходить ко всем службам, поститься, вести чистую, нравственную жизнь, то мы все и даже старшие, не переставая, поднимали его на смех и прозвали почему-то Ноем. Помню, Мусин-Пушкин, бывший тогда попечителем Казанского университета, звавший нас к себе танцевать, насмешливо уговаривал отказывающегося брата тем, что и Давид плясал перед ковчегом. Я сочувствовал тогда этим шуткам старших и выводил из них заключение о том, что учить катехизис надо, ходить в церковь надо, но слишком серьёзно всего этого не надо принимать. Помню ещё, что я очень молодым читал Вольтера, и насмешки его не только не возмущали, но очень веселили меня.

Отпадение моё от веры произошло во мне так же, как оно происходило и происходит теперь в людях нашего склада образования. Оно, как мне кажется, происходит в большинстве случаев так: люди живут так, как все живут, а все живут на основании начал, не только не имеющих ничего общего с вероучением, но большею частью противоположных ему; вероучение не участвует в жизни, а в сношениях с другими людьми никогда не приходится сталкиваться с ним и самому в собственной жизни никогда не приходится справляться с ним; вероучение это исповедуется где-то там вдали от жизни и независимо от неё; если сталкиваешься с ним, то только как с внешним, не связанным с жизнью явлением.

Сообщённое мне с детства вероучение исчезло во мне так же, как и в других, с той только разницей, что так как я с 15-ти лет стал читать философские сочинения, то моё отречение от вероучения очень рано стало сознательным. Я с 16-ти лет перестал становиться на молитву и перестал по собственному побуждению ходить в церковь и говеть. Я не верил в то, что мне было сообщено с детства, но я верил во что-то. Во что я верил, я никак бы не мог сказать. Верил я и в Бога, или, скорее, я не отрицал Бога, но какого Бога, я бы не мог сказать. Не отрицал я и Христа и его учение, но в чём было его учение, я тоже не мог бы сказать.

Теперь, вспоминая то время, я вижу ясно, что вера моя — то, что, кроме животных инстинктов, двигало моею жизнью, — единственная истинная вера моя в то время была вера в совершенствование. Но в чём было совершенствование и какая была цель его, я бы не мог сказать. Я старался совершенствовать свою волю, — составлял себе правила, которым старался следовать; совершенствовал себя физически, всякими упражнениями

изоцряя силу и ловкость и всякими лишениями приучая себя к выносливости и терпению. И всё это я считал совершенствованием. Началом всего было, разумеется, нравственное совершенствование, но скоро оно подменялось совершенствованием вообще, т. е. желанием быть лучше не перед самим собой или перед Богом, а желанием быть лучше перед другими людьми. И очень скоро это стремление быть лучше пред людьми подменялось желанием быть сильнее других людей, т. е. славнее, важнее, богаче других».

И далее начинается то страшное покаяние, которое, обличая грехи Льва Николаевича, в то же время обличает и нашу душу, в большинстве случаев прошедшую через эти дебри разврата, быть может, совершавшегося нами не с такими исполинскими размахами и не со столь искренним сознанием своей неправоты.

«Когда-нибудь я расскажу историю моей жизни — и трогательную, и поучительную в эти десять лет моей молодости. Думаю, что многие и многие

испытали то же. Я всей душой желал быть хорошим; но я был молод, у меня были страсти, я был один, совершенно один, когда искал хорошего. Всякий раз, когда я пытался высказывать то, что составляло самые задушевные мои желания, то, что я хочу быть нравственно хорошим, я встречал презрение и насмешки; а как только я предавался гадким страстям, меня хвалили и поощряли.

Честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, любострастие, гордость, гнев, месть — всё это уважалось. Отдаваясь этим

страстям, я становился похож на большого, и я чувствовал, что мною довольны. Добрая тётушка моя, чистейшее существо, с которой я жил, всегда говорила мне, что она ничего не желала бы так для меня, как того, чтобы я имел связь с замужнею женщиной: *rien ne forme un jeune homme, comme une liason avec line femme comme il faut* (1); ещё другого счастья она желала мне, того, чтобы я был адъютантом, и лучше всего у государя; и самого большого счастья — того, чтоб я женился на очень богатой девушке и чтоб у меня, вследствие этой женитьбы, было как можно больше рабов.

(1) «Ничто так не образовывает мужчину, как связь с порядочной женщиной».

Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспомнить об этих годах. Я убивал людей на войне, вызывал на дуэли, чтобы убить, проигрывал в карты, проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любодеяние всех родов, пьянство, насилие, убийство... Не было преступления, которого бы я не совершал, и за всё это меня хвалили, считали и считают мои сверстники сравнительно нравственным человеком.

Так я жил десять лет» (2).

(2) «Исповедь». Изд. «Своб. слова», с. 2 и след.

Начало этого бурного десятилетнего периода застаёт Льва Николаевича в деревне.

К этому времени следует отнести попытки Льва Николаевича хозяйствовать на новых началах, а главное — попытки установления правильных разумно-дружелюбных отношений с крестьянами, которые окончились так неудачно, и неудача которых так ярко изображена в рассказе «Утро помещика». В этом рассказе так много если не фактически, то психологически автобиографического материала, что его можно поставить нам как главу биографии.

Заимствуем отсюда письмо кн. Нехлюдова к своей тётушке:

«Милая тётушка!

Я принял решение, от которого должна зависеть участь всей моей жизни. Я выхожу из университета, чтобы посвятить себя жизни в деревне, потому что чувствую, что рождён для неё. Ради Бога, милая тётушка, не смейтесь надо мной. Вы скажете, что я молод; может быть, точно, я ещё ребёнок, но это не мешает мне чувствовать моё призвание, желать делать добро и любить его.

Как я вам писал уже, я нашёл дела в неопisanном расстройстве. Желая их привести в порядок и вникнув в них, я открыл, что главное зло заключается в самом жалком, бедственном положении мужиков, и зло такое, которое можно исправить только трудом и терпением. Если бы вы только могли видеть двух моих мужиков, Давыда и Ивана, и жизнь, которую они ведут со своими семьями, я уверен, что один вид этих двух несчастных убедил бы вас больше, чем всё то, что я могу сказать вам, чтобы объяснить моё намерение.

Не моя ли священная и прямая обязанность заботиться о счастье этих семисот человек, за которых я должен буду отвечать Богу? Не грех ли покидать их на произвол грубых старост и управляющих из-за планов наслаждения или честолюбия? И зачем искать в другой сфере случаев быть полезным и делать добро, когда мне открывается такая благородная, блестящая и ближайшая обязанность? Я чувствую себя способным быть хорошим хозяином; а для того, чтобы быть им, как я разумею это слово, не нужно ни кандидатского диплома, ни чинов, которых вы так желаете для меня. Милая тётушка, не делайте за меня честолюбивых планов, привыкните к мысли, что я пошёл по совершенно особенной дороге, но которая хороша и, я чувствую, приведёт меня к счастью. Я много и много передумал о своей будущей обязанности, написал себе правила действий, и если только Бог даст мне жизни и сил, я успею в своём предприятии...» (1)

(1) Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. М., 1897. т. II, с. 5–6.

Если Лев Николаевич и не писал в действительности этого письма, то, несомненно, подобные мысли и желания обуревали его молодую душу и давали направление его жизни.

Как мы знаем из этого рассказа, попытка Льва Николаевича кончилась неудачей. И оно не могло быть иначе. Искренность Льва Николаевича не могла вынести положения благотворителя своих рабов, т. е. людей,

уязвлённых в самом ценном для этих людей — их духовном достоинстве.

Лев Николаевич не вынес этого противоречия (а быть "холодным и строгим человеком", как советовала тётушка в своём ответном письме, он не мог), и, воспользовавшись первым удобным случаем, он круто изменил свою жизнь.

Прожив лето в Ясной Поляне, Лев Николаевич осенью того же 47-го года отправился в Петербург, где в начале 48-го года начал держать кандидатский экзамен.

«В 48-м году, — говорит он в своей статье о воспитании и образовании, — я держал экзамен на кандидата в Петербургском университете и буквально ничего не знал и буквально начал готовиться за неделю до экзамена. Я не спал ночи и получил кандидатские баллы из гражданского и уголовного права готовясь из каждого предмета не более недели». (1)

(1) Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. М., 1897, т. IV. с. 143.

Лёвенфельду сам Лев Николаевич так рассказывает об этом времени:

«Мне очень было приятно жить в деревне с тётушкой Ёргольской, но неопределённая жажда знания снова увлекла меня вдаль. Это было в 1848 году, я всё ещё не знал, что мне предпринять. В Петербурге мне открывались две дороги. Я мог вступить в армию, чтобы принять участие в венгерском походе, и мог закончить мои университетские занятия, чтобы получить себе потом место чиновника. Но моя жажда знания победила моё честолюбие, и я снова принялся за занятия. Я выдержал даже два экзамена по уголовному праву, но затем все мои

благие намерения совершенно рухнули. Наступила весна, и прелесть деревенской жизни снова потянула меня в имение» (1).

(1) R. Levenfeld. «Gcsprache mit und uber Tolsioj». S. 87.

Этот период петербургской жизни мы можем более подробно проследить по письмам Льва Николаевича к своему брату Сергею, из которых мы приводим выдержки, имеющие общий интерес.

13 февраля 1848 года он писал брату:

«Я пишу тебе это письмо из Петербурга, где я и намерен остаться навеки... Я решился здесь остаться держать экзамен и потом служить; ежели же не выдержу (всё может случиться), то и с 14-го класса начну служить; я много знаю чиновников 2-го разряда, которые не хуже и вас, перворазрядных, служат. Короче тебе скажу, что петербургская жизнь на меня имеет большое и доброе влияние: она меня приучает к деятельности и заменяет для меня невольное расписание; как-то нельзя ничего не делать, все заняты, все хлопочут, да и не найдёшь человека, с которым бы можно было вести беспутную жизнь, — одному нельзя же.

Я знаю, что ты никак не согласишься, чтобы я переменился, скажешь: «это уж в 20-й раз, и всё из тебя пути нет», «самый пустяшный малый», — нет, я теперь совсем иначе переменился, чем прежде менялся; прежде я

скажу себе: «дай-ка я переменюсь», а теперь а вижу, что я переменился, и говорю: «я переменился».

Главное то, что я вполне убеждён теперь, что умозрением и философией жить нельзя, а надо жить положительно, т. е. быть практическим человеком. Это большой шаг и большая перемена; ещё этого со мной ни разу не было. Ежели же кто хочет жить и молод, то в России нет другого места, как Петербург; какое бы направление кто ни имел, всему можно удовлетворить, всё можно развить, и легко, без всякого труда. Что же касается до средств к жизни, то для холостого жизнь здесь вовсе не дорогая и, напротив, дешевле и лучше московской, исключая квартир.

Всем нашим передай, что я всех целую и кланяюсь, и что летом в деревне, может, буду, может, нет: мне хочется летом взять отпуск и поездить по окрестностям Петербурга, в Гельсингфорс и в Ревель тоже хочу съездить. Напиши мне, ради Бога, хоть раз в жизни; мне хочется знать, как ты и все наши эту новость примут; проси и их от меня писать, я же писать к ним боюсь, — так давно не писал я к ним, что они, верно, сердятся, особенно перед тётенькой Татьяной Александровной мне совестно; попроси у неё от меня прощения».

Увы! этим благим намерениям не сразу суждено было осуществиться. Как ни странно писать это теперь про Льва Николаевича, но тогда брат его с некоторым правом называл его «пустяшный малый», в чём Лев Николаевич и сам ему признавался.

Так, в письме от 1-го мая 1848 года он пишет брату:

«Серёжа! Ты, я думаю, уже говоришь, что я «самый пустяшный малый», и говоришь правду. Бог знает, что я наделал. Поехал без всякой причины в Петербург, ничего

там нужного не сделал, только прожил пропасть денег и задолжал. Глупо! Невыносимо глупо! Ты не согласишься, как это меня мучает. Главное, долги, которые мне нужно заплатить и как можно скорее: потому что, ежели я их заплачу не скоро, то я сверх денег потеряю и репутацию, Мне до нового дохода необходимо 3500 руб. сер.: 1200 в Опекунский Совет, 1600 заплатить долги, 700 руб. на прожиток. Я знаю, ты будешь ахать, но что же делать? Глупость делают раз в жизни. Надо мне было поплатиться за свою свободу (некому было сечь, это главное несчастье) и философию, вот я и поплатился. Сделай милость, похлопочи, чтобы вывести меня из фальшивого и гадкого положения, в котором я теперь, — без гроша денег и кругом должен.

Ты знаешь, верно, что наши войска все идут в поход и что часть (2 корпуса) перешли границу и, говорят, уже в Вене.

Я начал было держать экзамен на кандидата и выдержал два хорошо, но теперь переменяю намерение и хочу вступить юнкером в конногвардейский

полк. Мне совестно писать это тебе, потому что я знаю, что ты меня любишь, и тебя огорчат все мои глупости и безосновательность. Я даже несколько раз вставал и краснел от этого письма, что и ты будешь делать, читая его; но что делать, прошедшего не переменишь, а будущее зависит от меня.

Бог даст, и я исправлюсь и сделаюсь когда-нибудь порядочным человеком; больше всего я надеюсь на

юнкерскую службу: она меня приучит к практической жизни, и *volens-nolens* мне надо будет служить до офицерского чина. Со счастьем, т. е. ежели гвардия будет в деле, я могу быть произведён и прежде 2-летнего срока. Гвардия идёт в поход в конце мая. Я теперь ничего не могу делать, потому что, во-первых, нет денег, которых мне нужно немного (все, кажется), а во-вторых, два метрические свидетельства в Ясной; вели их прислать как можно скорее. Не сердись на меня, пожалуйста, а то я теперь слишком чувствую своё ничтожество, и исполни поскорей мои поручения, Прощай, не показывай письма этого тётеньке, — я не хочу её огорчать».

Вскоре и эти планы были оставлены. В одном из следующих писем к брату Лев Николаевич пишет:

«В последнем письме моём писал тебе разные глупости, из которых главная та, что я был намерен вступить в конногвардию; теперь же я этот план оставляю только в том случае, ежели экзамена не выдержу и война будет серьёзная».

Вероятно, он не нашёл войну достаточно «серьёзною», потому что в военную службу не поступил.

Весною он возвращается в Ясную Поляну и везёт с собою из Петербурга пьющего талантливом немца-музыканта, с которым он познакомился у друзей своих Перфильевых, и страстно отдаётся музыке. Этого немца звали Рудольфом.

Затем, до своего отъезда на Кавказ в 1851 году, Лев Николаевич проводит время частью в Москве, частью в Ясной Поляне. Вот тут-то период аскетизма, а потом кутежей, охоты, карт, цыган.

За три года жизни Лев Николаевич действительно перепробовал всё, что может быть доступно сильной, страстной, даровитой молодой натуре.

За это время он не писал дневника. Ему было некогда. Только с половины 1850 г. он снова берётся за него, и начинает он его, конечно, покаянием и самообличением и выражает желание откровенно записать свои воспоминания об этих «беспутно проведённых 3-х годах своей жизни».

Желая начать правильную жизнь, он составляет себе распределение дня с утра до вечера; хозяйство, купанье, дневник, музыка, еда, отдых, чтение, купанье, хозяйство.

Но, разумеется, эти расписания и правила не выполняются, и в дневнике снова отмечается недовольство собой.

Этот период борьбы с самим собой продолжается целые месяцы, и вдруг прорывается волна бурной страсти, сламывающей все внешние преграды.

Как утопающий хватается за соломинку, так и он, увлекаемый страстями, хватался за разные чувства, которые могли бы его удержать от гибели. Одним из таких чувств было самолюбие.

«Люди, которых я считаю нравственно ниже себя, делают дурные дела лучше меня», — писал он в своём дневнике, и потому эти дурные дела становились ему противны, и он бросал их.

Спокойная жизнь в деревне часто помогала ему, утишая его страсти.

Замечательно, что нравственная, благородная струнка звучала в нём даже в таких пошлых занятиях, как в картёжной игре. Это была едва ли не одна из

самых сильных страстей его. Но и тут он сдерживает себя правилом чести: «играть только с богатыми», т. е. чтобы выигрыш не мог нанести материального ущерба, унижить, разорить игрока.

Часто не в силах будучи совладать с собой, он приходил в отчаяние, но потом снова ободрялся и записывал в дневнике:

«Живу совершенно скотски, хотя и не совсем беспутно; занятия свои почти все оставил и духом очень упал».

Будучи стеснённым в деньгах, он замышлял даже торговое предприятие: хотел снять почтовую станцию в Туле. Это было в конце 1850 года. К счастью, дело это не состоялось, и он избежал, таким образом, многих бедствий, которые причинило бы ему столь несвойственное ему занятие. Размышляя о своих неудачах, он раз записал в своём дневнике:

«Вот причины многих ошибок:

1) Нерешительность, т. е. недостаток энергии, 2) обманывание самого себя, 3) торопливость, 4) *fausse honte* [ложный стыд], 5) дурное расположение духа, 6) сбивчивость, 7) подражание, 8) непостоянство, 9) необдуманность».

Зиму 1850–51 года он проводит большую часть в Москве, откуда часто пишет своей тётке в Ясную, рассказывая различные подробности своей жизни. В одном письме он так описывает свою квартиру и вообще внешнюю обстановку жизни.

«Il se compose de 4 chambres — une salle a manger, ou j'ai deja un royalino, que j'ai loue, un salon meuble de divans,

chaises et tables en bois de noyer et couvene de drap rouge et orne de trois grandes glaces, un cabinet, ou j'ai ma table a ecrire, mon bureau et un divan qui me rappelle toujours nos disputes au sujet de ce meuble et une chambre assez grande pour etre chambre a coucher et cabinet de toilette et par dessus tout cela une petite anti-chambre.

Je dine a la maison avec des щи et du каша, dont je me contence parfaitement. Je n'attends que les confitures et la наливка pour avoir tout selon mes habitudes de la campagne.

J'ai un traineau pour 40 r. arg., c'est un пошевни, une espee de traineau tres a la mode. Serge doit savoir ce que c'est; j'ai achete tout l'attirail pour l'attelage que j'ai pour ce moment tres elegant" (1).

(1) Она состоит из 4-х комнат — столовой, где у меня уже есть роялино, которое я взял напрокат; гостиная с диванами, стульями и столами, орехового дерева, покрытыми красным сукном, и украшенная тремя большими зеркалами; кабинет, где стоит мой письменный стол, бюро и диван, который напоминает мне все ваши споры об этой мебели, и ещё комната, довольно большая, чтобы служить спальней и уборной, и, сверх того, маленькая передняя.

Я обедаю дома щами и кашей, чем я вполне довольствуюсь. Жду только варенье и наливку, чтобы иметь всё, к чему я привык в деревне.

У меня есть сани, за сорок рублей, — это пошевни, род саней, теперь очень модных. Серёжа должен знать, что это такое. Я купил всю упряжь, и она у меня теперь очень изящна.

По-видимому, тётушка его очень опасается за его поведение в Москве, даёт ему советы и старается оградить

от дурного знакомства, так как в следующем письме он ей пишет:

«Pourquoi etes-vous tellement monte contre Islenieff — si c'est pour m'en detourner — c'est inutile puisqu'il n'est pas a Moscou. Tout ce que vous dites au sujet de la perversite du jeu est tres vrai et me revient souvent a l'esprit, c'est pourquoi je crois que je ne jouerai plus. "Je crois", mais j'espere bientot vous dire pour sur.

Tout ce que vous dites de la societe est vrai, aussi comme tout ce que vous dites sunout dans vos lettres — primo parce que vous ecrivez comme m-me de Sevigne et secundo — parce que je ne puis, selon mes habitudes, disputer. Vous dites aussi beaucoup de bon sur ma personne. Je suis convaincu que les louages font autant de bien que de mal. Elles font du bien parce qu'elles maintiennent dans les bonnes qualites, qu'on loue, et du mal parce qu'elles augmentent l'amour propre. Je suis sur que les votres ne peuvent que me faire du bien pour la raison qu'elles sont dictees par une amitie sincere — cela va sans dire, autant que je le meriterai.

Je crois les avoir meritees, pendant tout le temps de mon sejour a Moscou, je suis content de moi» (1).

(1) Почему вы так возмущены Исленевым? Если это с целью меня от него отвратить, то это бесполезно, потому что его нет в Москве. Всё, что вы говорите о развращающем влиянии игры, верно и часто мне приходит на ум, вот почему я думаю, что я больше играть не буду. Я думаю, но надеюсь скоро сказать — "наверно".

Всё, что вы говорите об обществе, верно так же, как и всё, что вы говорите, особенно в письмах: во-первых, потому что вы пишете, как м-м де Севинье, и, во-вторых, потому что я не могу, по моим привычкам, спорить. Вы также говорите много хорошего обо мне. Я убеждён, что похвалы приносят столько же пользы, сколько и вреда. Они полезны, потому что удерживают человека в тех хороших качествах, которые хвалят, и вредны, потому что увеличивают самолюбие. Я уверен, что ваши похвалы мне будут только полезны, потому что они продиктованы искренним, дружеским чувством, но, конечно, настолько, насколько я их заслуживаю.

Мне кажется, что я их заслужил; во всё время моего пребывания в Москве я доволен собой.

Он наезжает и в Ясную, откуда снова в марте 1851 года он едет в Москву; вернувшись из этой поездки; он писал в дневнике, что цель приезда в Москву была тройкая: игра, женитьба и получение места. И ни одна из этих целей не была достигнута. К игре он тогда почувствовал отвращение, сознавая всю низость этого занятия; женитьбу отложил, потому что налицо не было ни одного из трёх известных ему оснований женитьбы: любви, рассудка, судьбы. Места он не мог получить за неимением каких-то нужных для этого бумаг.

В это своё пребывание в Москве он пишет своей тётке Татьяне Александровне, от 8-го марта:

«Dernierement dans un ouvrage que je lisais, l'auteur disait que les premiers indices du printemps agissent ordinairement sur le morale des hommes. Avec la nature qui renaît on voudrait se sentir renaître aussi, on regrette le passé, le temps mal employé, on se repent de sa faiblesse, et l'avenir nous paraît comme un point lumineux devant nous, on devient meilleur, moralement meilleur. Ceci quant à moi

est parfaitement vrai, depuis que j'ai commence a vivre independamment, le printemps me mettait toujours dans les bonnes dispositions, dans lesquelles je perseverai plus ou moins longtemps, mais c'est toujours l'hiver qui est une pierre d'achoppement pour moi — всегда собьюсь.

Au reste en recapitulant les hivers passes, celui-la est sans doute le plus agreable et le plus raisonnable que j'ai passe. Je me suis amuse, je suis alle dans le monde, j'ai garde des souvenirs agreables et avec cela je n'ai pas derange mes finances, ni arrange — c'est vrai» (2).

(2) В одном сочинении, которое я читал на днях, автор говорит, что первые признаки весны действуют обыкновенно на нравственную природу человека. С возрождающейся природой хочется чувствовать и себя возрождающимся, жалеешь о прошлом, дурно потраченном времени, каешься в слабости, и будущее представляется как светлая точка впереди нас, и становится лучше, нравственно лучше. Относительно меня это совершенно верно: с тех пор, как я начал жить самостоятельно, весна всегда приводила меня в хорошее настроение, в котором я держался более или менее долго, но вот зима всегда была для меня пробным камнем — всегда собьюсь.

Впрочем, сопоставляя с прошлыми зимами, эта, несомненно, самая приятная и самая разумная из всех проведённых мною. Я веселился, я ездил в свет, остались приятные воспоминания, и при всём том я не расстроил свои финансы — и не устроил, правда.

Следующее его письмо написано уже по приезде с Кавказа брата Николая. Он пишет между прочим:

«L'arrivee de Nicolas a ete pour moi une surprise agreable, puisque j'avais presque perdu l'espoir de le voir arriver chez moi. J'ai ete si content de le voir, que meme j'ai neglige un peu mes devoirs ou plutot mes habitudes. A present je suis de nouveau seui et seui au pied de la lettre: je ne vai nulle part, ni ne recois personne. Je fais des plans pour le printemps et l'ete, les approuvez-vous? Vers la fin du mois de mai je viendrai a Ясная, j'y passerai un mois on deux et tacherai d'y retenir Nicolas aussi longtemps, que possible et puis d'aller avec lui faire une tournee au Caucase» (1).

(1) Приезд Николеньки был для меня приятным сюрпризом, потому что я уже почти потерял надежду увидеть его у себя. Я был так рад увидеть его, что я даже немного пренебрёг своими обязанностями или, вернее, привычками.

Теперь я снова один, и буквально один: я никуда не хожу, никого не принимаю. Делаю планы на весну и лето. Одобрите ли вы их? В конце мая я приеду в Ясную, проведу там месяц или два и постараюсь там удержать Николеньку как можно дольше, а потом поеду с ним совершить прогулку по Кавказу.

И вот среди всей этой бурной смены светских удовольствий, игры, припадков чувственности, увлечений цыганами, охотой, вдруг наступали периоды религиозности и смирения. Так, с усердием исполняя обряд говения, он сочиняет даже проповедь, конечно, оставшуюся не прочитанной.

И тут же замечаются порывы серьёзного, художественного писательства. Он замышлял ещё в 50 году написать повесть из цыганского быта. Другой замысел того же времени был вызван подражанием Стерну, его «Sentimental journey».

«Сидел он раз у окна задумавшись и смотрел на всё происходившее на улице: вот ходит будочник, кто он такой, какая его жизнь? А вот карета проехала, кто там и куда едет, и о чём думает, и кто живёт в этом доме, какая внутренняя жизнь их?.. Как интересно бы было всё это описать, какую можно бы было из этого сочинить интересную книгу!» (2)

(2) Из записок гр. С. А. Толстой.

Весь этот переменчивый, опасный период жизни был оборван внезапным отъездом на Кавказ.

Часть III.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА (1851–1856)

ГЛАВА 7.

Кавказ

Неудачная попытка хозяйничать, невозможность установить желательные отношения с крестьянами и та страстная, опасная жизнь, полная всякого рода излишеств, о которой упоминалось в конце предыдущей главы, побудили Льва Николаевича искать случая изменить свой образ жизни.

Жизнь его была такая безалаберная, распущенная, по его собственному свидетельству, что он был готов на всякое изменение её. Так, когда будущий зять его (муж сестры) Валерьян Петрович Толстой, будучи женихом, ехал назад в Сибирь окончить там свои дела перед женитьбой и отъезжал от дому, Лев Николаевич вскочил к нему в тарантас без шапки, в блузе, и не уехал в Сибирь, кажется, только оттого, что у него не было на голове шапки.

Серьёзный случай к перемене жизни, наконец, представился. В апреле 1851 года с Кавказа приехал старший брат Льва Николаевича, Николай; он служил офицером в кавказской армии, приехал в отпуск и должен был вскоре возвратиться назад. Лев Николаевич ухватился за этот случай и весной 1851 года отправился вместе с ним на Кавказ.

Они выехали из Ясной Поляны 20-го апреля и пробыли недели две в Москве, откуда Лев Николаевич писал своей тетке Татьяне Александровне в Ясную:

«J'ai ete a la promenade de Sokolniki par un temps detestable, c'est pourquoi je n'ai rencontre personne des dames de la societe, que j'avais envie de voir. Comme vous pretendez que je suis un homme a epreuves, je suis alle parmi les plebs, dans les rentes bohemiennes. Vous pouvez aisement vous figurer le combat interieur qui s'engagea la-bas pour et centre. Au reste j'en sortis victorieux, c. a. d. n'ayant rien donne que ma benediction aux joyeux descendants des illustres Pharaons. Nicolas trouve que je suis un compagnon de voyage tres agreable, si ce n'etait ma proprete. Il se fache de ce que, comme il le dit, je change de linge 12 fois par jour. Moi je le trouve aussi compagnon tres agreable, si ce n'etait sa salete. Je ne sais lequel de nousaraison». (1)

(1) Я был на гулянье в Сокольниках в отвратительную погоду и потому не встретил ни одну из дам, которых я хотел видеть. Так как, по-вашему, я человек, испытующий себя, я пошёл в народ, в цыганский табор. Вы легко можете себе представить, какая поднялась там во мне внутренняя борьба за и против. Впрочем, я вышел победителем, то есть ничего не дал этим весёлым потомкам знаменитых фараонов, кроме моего благословения. Николай находит, что я очень приятный спутник, если бы не моя опрятность. Он сердится на то, что я, как он говорит, 12 раз в день меняю бельё. Я нахожу, что он тоже очень приятный спутник, если бы не его неопрятность. Не знаю, кто из нас прав.

Из Москвы они поехали через Казань, где посетили В. И. Юшкова, мужа их тётки-опекунши, с которой они жили в Казани, а также друга этой тётки, оригинальную, шумную женщину, директрису казанского института, г-жу Загоскину.

Там, у Загоскиной, Лев Николаевич встретил Зинаиду Модестовну Молоствову, бывшую воспитанницу института, и Лев Николаевич испытал к ней поэтическое чувство влюблённости, которое он, как всегда, по своей застенчивости, не решился выразить и которое он увёз с собой на Кавказ.

Там же, у Загоскиной, всегда привлекавшей к себе наиболее комильфотных молодых людей, он встретил и почти подружился с молодым правоведом, прокурором Оголиным, и с ним ездил в деревню к В. И. Юшкову. Оголин был тип нового тогдашнего чиновника.

Лев Николаевич рассказывал, как был поражён В. И. Юшков, привыкший видеть прокурора важным,

почтенным, седым, в мундире, с крестом на шее и звездой, когда он увидал Оголина и познакомился с ним в самых странных условиях.

«Когда мы приехали с Оголиным и подошли к дому, против которого была группа молодых берёз, я предложил Оголину, пока слуга докладывал о приезде, поспорить, кто лучше и выше влезет на эти берёзы. Когда В. И. вышел и увидал прокурора, лезущего на дерево, он долго не мог опомниться».

Нежные чувства к Зинаиде Модестовне, увезённые Л. Н-чем на Кавказ, вызвали с его стороны, по приезде его туда, эстафету на имя Оголина такого содержания:

Господин
Оголин,
Поспешите,
Напишите
Про всех вас
На Кавказ,
Здорова ль
Молоствова,
Одолжите
Льва Толстова. (1)

(1) Текст это письма сообщён нам бароном Мейендорфом, получившим его от самого Оголина, проживавшего последнее время в Женеве. (П. Б.)

Настроение Льва Николаевича во время этой поездки, как он рассказывал мне, продолжало быть самое глупое, светское. Он рассказывал, как именно в Казани брат заставил его почувствовать его глупость. Они шли по городу, когда мимо них проехал какой-то господин на

долгуше, опершись руками без перчаток на палку, упёртую в подножку.

— Как видно, что этот господин какая-то дрянь, — сказал Лев Николаевич, обращаясь к брату.

— Отчего? — спросил Николай Николаевич.

— А без перчаток.

— Так отчего же дрянь, если без перчаток? — со своей чуть заметной, ласковой, умной, насмешливой улыбкой спросил Николай Николаевич.

Николай Николаевич всегда думал и делал всё не потому, что так думают другие, а всегда сам думал и делал то, что считал хорошим. Так, он выдумал поехать на Кавказ не как обыкновенно, через Воронеж и землю Войска Донского, а на лошадях до Саратова, а от Саратова по Волге до Астрахани и от Астрахани на почтовых в станицу. Так он и сделал.

В Саратове взяли косовушку, уставили в неё тарантас и с помощью лоцмана и двух гребцов поплыли, где парусом, где на вёслах, где по течению реки. Путешествие длилось около трёх недель, пока приехали в Астрахань. Оттуда Лев Николаевич писал своей тётке:

«Nous sommes a Ascracan et sur noire depart, pour ce qui fait. que nous avons encore un voyage de 400 k. a faire. J'ai passe a Kasan une semaine des plus agreables. Mon voyage jusqu'a Saratoff a ere desagreable, mais en revanche, de la le trajet en petit bateau jusqu'a Astracan — tres poetique et plein de charmes par la nouveaute des lieux et par la maniere meme de voyager pour moi. J'ai ecrit hier une longue lettre a

Marie ou je lui pane de mon sejour a Kasan. Je ne vous en dis rien de crainte de me repeter, quoique ja suis sur que vous ne confondrez pas les deux lettres. Je me trouve tres content jusqu'a present de mon voyage. J'ai beaucoup de Lchoses qui me font penser et puis le changement meme des lieux est agreable. En passant par Moscou je me suis abonne, de sone que J'ai beaucoup de lectures que je fais meme en тарантас. Puis comme vous le pensez bien la societe de Nicolas contribue beaucoup a mon contentement. Je ne cesse de penser a vous et a tons les miens; je me reproche meme quelquefois d'avoir quitte cene vie que me rendait si douce votre affection, mais ce n'est qu'un retard et je n'aurai que pins de plaisir a vous revoir. Si je n'etais presse, j'aurais ecrit a Serge, mais je remecs cela an moment ou je serai case et plus tranquille. Embrassez-le de ma part et dites lui que je me repens beaucoup de la froideur qu'il y a eu entre nous avant mon depart et de laquelle je n'accuse que moi». (1)

(1) Мы в Астрахани и уже на отъезде, так что нам ещё остаётся сделать 400 верст. В Казани я провёл очень приятно неделю. Путешествие до Саратова было неприятно, но зато оттуда путешествие в небольшой лодке до Астрахани было очень поэтично и полно очарования для меня по новизне мест и по самому способу путешествия. Вчера я написал Машеньке длинное письмо, в котором я ей рассказываю о моём пребывании в Казани. Я ничего вам не говорю об этом, из опасения повторяться, хотя я уверен, что вы не смешали бы оба письма. Пока я очень доволен моей поездкой. Многое заставляет меня задумываться; и потом самая перемена места мне приятна. Проездом через Москву я абонировался, так что у меня много чтения, которым я занимаюсь даже в тарантасе. Затем, как вы понимаете, общество Николая много содействует моему довольному настроению. Я не перестаю думать о вас и о всех моих. Я даже иногда упрекаю себя за то, что

оставил эту жизнь, которую так смягчала ваша любовь ко мне; но это только отсрочка, и я ещё с большою радостью увижу вас. Если бы я не спешил, я бы написал Серёже, но я откладываю это до того времени, когда я устроюсь и буду спокойнее. Поцелуйте же его от меня и скажите ему, что я очень раскаиваюсь в той холодности, которая была между нами перед отъездом и в которой я обвиняю только себя».

Чтобы были читателю понятны факты кавказской жизни, входящие в биографию Льва Николаевича, а также в его кавказские рассказы, мы считаем нужным в кратких словах рассказать о том, что надо разуметь под словом «Кавказ».

Московское царство, усилившись настолько, чтобы быть в состоянии бороться с татарскими племенами, стало понемногу оттеснять их на юго-восток

и, покорив царства Казанское и Астраханское, пришло в столкновение с дикими горскими племенами, населявшими северные склоны Кавказских гор, и для борьбы с ними к началу 19-го столетия образовало целую линию казацких станиц по левому берегу Терека и по правому берегу Кубани.

С другой стороны, Грузинское царство, находившееся по южную сторону Кавказских гор и до тех пор независимое, с царём своим Гераклием II, в начале 19-го столетия перешло в подданство России. По политическим соображениям покорение горских племён, лежавших между Грузией и Россией, стало неизбежным, и покорение это длилось более полу столетия.

От линии береговых казачьих станиц по Тереку и Кубани русские стали понемногу подвигаться и далее, в предгорья. Но большей частью ограничивались одними лишь набегам; нападали военными отрядами на горские аулы, уничтожали пастьбы, угоняли скот, забирали, насколько удавалось, пленных и с этой добычей уходили назад к своим линиям. Горцы, со своей стороны, также не оставались в долгу: они провожали отступавшие после таких набегов отряды и заставляли их нести большие потери от меткого огня своих винтовок; они укрывались завалами в лесах и узких ущельях, а иногда появлялись внезапно и в самих станицах, производили жестокую резню и уводили в плен к себе в горы мужчин и женщин. Борьба эта иногда временно затихала и, напротив, принимала более кровавый характер, когда на стороне нашего противника появлялись личности, успевавшие объединить под своим началом наиболее сильные и воинственные племена, возбуждая их фанатизм проповедью священной войны против неверных. Наиболее затруднений принесло русским и наиболее потерь заставило их понести самое воинственное из кавказских племён — чеченское, живущее на лесистых равнинах правого берега Терека, по течению притоков его — Сунжи, Аргуна и других, и выше, в горных ущельях Ичкерии. С нашей стороны предприимчивость также усиливалась или ослабевала в зависимости от таланта и энергии личности, получавшей главное начальство над военными действиями.

Дело приняло решительный оборот с назначением в 1856 году кавказским наместником князя Барятинского. Пользуясь личным влиянием на императора Александра II, он собрал на Кавказе до тех пор небывалой численности

двухсоттысячное войско и значительную долю этих сил направил против Чечни, Ичкерии и Дагестана, объединенных в это время под начальством хорошо известного Шамиля.

Талант, энергия этого вождя, фанатизм, отвага признававших его своим имамом горцев, — всё было сломлено под давлением навалившейся на них громадной силы, руководимой ни перед чем не останавливавшимся Евдокимовым: в 1857 году пала перед ним резиденция Шамиля в центре Ичкерии, аул Ведено, а в 1859 году сдался князю Барятинскому и сам Шамиль в своей новой дагестанской твердыне — Гунибе.

Князь Барятинский до назначения своего кавказским наместником является в начале 50-х годов на Северном Кавказе начальником левого фланга кавказской армии.

Вот к этому-то времени относится и появление на Кавказе Льва Николаевича Толстого, и к этому времени и к этой местности относятся события, описанные Львом Николаевичем в его кавказских рассказах: «Набег», «Казаки», «Рубка леса», «Встреча в отряде».

Из Астрахани оба брата поехали на почтовых через Кизляр в станицу Старогладовскую, к месту служения Николая Николаевича. Лев Николаевич явился на Кавказ частным лицом и поселился вместе со своим братом.

Первое впечатление, произведенное на него Кавказом, не было ошеломляющим. Он так описывает его в письме к своей тётке, вскоре по приезде на Кавказ:

«Je suis arrive sain et sauf, mais un peu triste vers la fin du mois de mai dans la Старогладовская. J'y ai vu de pres le genre de vie que mene Nicolas, et j'y ai fait la connaissance des officiers qui font la societe. Le genre de vie n'est pas tres attrayant, a ce qu'il m'a para d'abord, puisque le pays, que je m'attendais a trouver fort beau ne l'est pas du tout. Comme la станица est situee aur un terrain bas, il n'y a bas de point de vue et puis le logement est mauvais de meme que tout ce qui fait le confort de la vie. Pour ce qui est des officiers, ce sont, comme vous pouvez vous figurer, des gens sans education, mais avec cela de tres braves gens et surtout aimant beaucoup Nicolas.

Алексеев, son chef, est un petit bonhomme белокуренький tirant sur le roux с усиками и бакенбардами, говорящий пронзительным голосом, mais excellent chretien, rappelant un peu А. С. Волков, mais pas cafard comme lui. Puis Б... un jeune officier — enfant et bon enfant, rappelant Петрушка. Puis un vieux capitaine Билковский des kosaks de l'Oural — un vieux soldat simple, mais noble, brave et bon. Je vous avouerai qu'au commencement beaucoup de choses me choquaient dans cette societe, mais je me suis habitue, sans toutefois me Her avec ces messieurs. J'ai trouve un heareux moyea dans lequel il n'y a ni fierce ni familiarite. Au reste en ceci je n'avais qu'a suivre l'exemple de Nicolas». (1)

(1) Я приехал жив и здоров, но немного грустный к концу месяца в Старогладовскую. Я увидал вблизи образ жизни, который ведет Николай, и познакомился с офицерами, которые составляют общество. Этот образ жизни не очень привлекателен, как мне показалось это сперва, потому что и самый край, который и предполагал очень красивым, вовсе не таков. Так как станица

расположена в низине, нет красивого вила; квартира плохая, а также и все, что составляет удобство жизни. Что касается офицеров, как вы сами можете себе представить, это люди без образования, но люди славные, а главное, очень любящие Николеньку.

Алексеев, его начальник, это маленький белокурый рыжеватый человечек с усиками и бакенбардами, говорящий пронзительным голосом, но добрый христианин, напоминающий немного А. С. Волкова, но не такой ханжа, как он. Потом Б., молодой офицер, ребенок и милый малый, напоминающий Петрушу. Потом старый капитан Билковский, из уральских казаков — старый простой солдат, но благородный, храбрый и добрый. Признаюсь, сначала многое в этом обществе коробило меня, но я привык, хотя и не сдружился с этими господами. Я нашёл счастливое средство общения, в котором нет ни гордости, ни запанибратства. Впрочем, в этом мне оставалось только следовать примеру Николеньки.

Но в Старогладовской им пришлось пробыть недолго.

Н. Н. Толстой тотчас по прибытии был послан на очередную службу в укрепленный лагерь Старый Юрт, устроенный для прикрытия больных в Горячеводске, на только что открытых тогда горячих источниках с очень сильными целебными свойствами. Лев Николаевич последовал за ним. Мы заимствуем описание этого места снова из письма Льва Николаевича к его тётке, написанного им по приезде туда, в июле 1851 года:

«Nicolas est parti dans une semaine apres son arrivee et moi je l'y suivis de sorte que nous sommes presque depuis trois semaines ici ou nous logeons dans une tente. Mais comme le temps est beau et que je me fais un peu a ce genre de vie, je me trouve tres bien. Ici il y a des coups d'oeil magnifiques a commencer par l'endroit ou sont les sources. C'est une enorme momagne de pierres l'une sur l'autre dont

les unes se sont detachees et torment des especes de grottes, les autres

restent suspendues a une grande hauteur. Elles sont toutes coupees par les torrents d'eau chaude, qui tombent avec bruit dans quelques endroits et couvrent, surtout le matin, toute la partie elevee de la monlagne d'une vapeur blanche qui se detache continuellement de cette eau bouillante. L'eau est tellement chaude qu'on cuit dedans les oeufs *вккрытyю* en trois minutes. Au milieu de ce ravin sur le torrent principal il y a trois moulins, l'un au dessus de l'autre qui sont constants d'une maniere toute particuliere et tres pittoresque. Toute la journee les femmes tartares ne cessent de venir au dessus et au dessous de ces monlins pour laver leur linge. Il faut vous dire qu'elles lavent avec les pieds. C'est comme une fourmilliere toujours remuante. Les femmes sont pour la plupan belles et bien fakes. Les costumes des femmes orientates malgre leur pauvrete sont gracieux. Les groappes pittoresques que forment les femmes, joints a la beaute sauvage de l'endroit font un coup d'oeil veritablement admirable. Je reste tres souvent des heures a admirer ce paysage. Puis le coup d'oeil du haut de la montagne est encore plus beau et tout a fait dans un autre genre. Mais je crains de vous ennuyer avec mes descriptions.

Je suis tres content d'etre aux eaux, puisque j'en profite. Je prends des bains ferrugineux et je ne sens plus de donleur aux pieds. J'avais toujours des rhumatismes, mais pendant notre voyage sur l'eau, je crois que je me suis encore refroidi.

Je me suis rarement aussi bien porte qu'a present et malgre les grandes chaleurs je fais beaucoup de mouvement.

Ici le genre des officiers est le meme que celui, dont je vous at parle; il y en a beaucoup. Je les connais tous, et mes relations avec eux sont les memes». (1)

(1) Николенька уехал через неделю после своего приезда, и я последовал за ним, так что мы почти три недели здесь живём в палатке. Погода хорошая, и так как я привык немного к такому образу жизни, то мне очень хорошо. Здесь чудные виды. Начну с того места, где источники. Это большая гора из нагромождённых друг на друга камней, одни из которых оборвались и образовали нечто вроде гротов, другие нависли на страшной высоте. Все они перерезаны потоками горячей воды, которые падают с шумом в нескольких местах и закрывают, особенно по утрам, верхнюю часть скалы белым паром, который поднимается от этой кипящей воды. Вода так горяча, что в ней можно сварить яйцо вкрутую в три минуты. В середине этого оврага, на главном потоке, есть три мельницы, одна над другой, построенные совсем особенным образом и очень красиво. Весь день татарские женщины то и дело проходят выше и ниже мельниц, чтобы мыть бельё. Нужно вам сказать, что они моют ногами. Это как муравейник, вечно кипящий. Женщины большею частью красивы и хорошо сложены. Одежды восточных женщин, несмотря на их бедность, изящны. Красивые группы женщин, дикая красота местности — всё это представляет очаровательную картину. Я часто часами стою и люблю пейзажем. Затем вид с вершины горы ещё лучше и совершенно в другом роде. Но я боюсь надоесть вам своими описаниями.

Я очень рад быть на водах, я пользуюсь этим. Я беру железистые ванны и более не чувствую боли в ногах. У меня всегда были ревматизмы, но во время нашего путешествия по воде, я думаю, я ещё простудился. Редко я так хорошо себя чувствовал, как теперь, и, несмотря на сильные жары, я делаю много движений.

Офицеры здесь такие же, как и те, о которых я вам писал. Их тут много. Я всех их знаю, и мои отношения с ними те же.

Старый Юрт был большой аул в 1500 душ населения, действительно замечательный по своему красивому горному положению. Выше аула в горе бил горячий серный ключ. Температура его была настолько высока, что, по рассказу Льва Николаевича, собака его брата, упавши в ручей, обварилась и околела. Целебные качества этого ключа несравненно выше пятигорских.

Из этого аула Лев Николаевич ездил в набег в качестве волонтера. В нём он пережил чудные минуты молодого, поэтического восторга.

101

Особенно памятна была ему одна ночь, которую он описал в своем дневнике с такой неподражаемой духовной красотой:

«11 июня 1851 года. Старый Юрт.

Вчера я почти всю ночь не спал; пописавши дневник, я стал молиться Богу. Сладость чувства, которую я испытал на молитве, передать невозможно. Я прочёл все молитвы, которые обыкновенно творю: отче, богородицу, троицу, милосердия двери, воззвание к ангелу хранителю, и потом остался ещё на молитве. Ежели определять молитву просьбой или благодарностью, то я не молился. Я желал чего-то высочайшего и хорошего; но чего, — я передать не могу, хотя и ясно сознавал, чего я желаю. Мне хотелось слиться с Существом Всеобъемлющим, я просил Его

простить преступления мои; но нет, я не просил этого, ибо я чувствовал, что ежели Оно дало мне эту блаженную минуту, то Оно простило меня. Я просил и вместе с тем чувствовал, что мне нечего просить, и что я не могу и не умею просить. Я благодарил Его, но не словами, не мыслями. Я в одном чувстве соединял всё — и мольбу, и благодарность. Чувство страха совершенно исчезло. Ни одного из чувств — веры, надежды и любви — я не мог бы отделить от общего чувства. Нет, вот оно чувство, которое я испытал вчера, — это любовь к Богу, любовь высокую, соединяющую в себе всё хорошее, отрицающую всё дурное. Как страшно мне было смотреть на все мелочные, порочные стороны жизни! Я не мог постигнуть, как они могли завлекать меня. Как от чистого сердца просил я Бога принять меня в лоно своё! Я не чувствовал плоти, я был... но нет, плотская, мелочная сторона опять взяла своё, и не прошло часу, я почти сознательно слышал голос порока, тщеславия, пустую сторону жизни; знал, откуда этот голос, знал, что он погубил моё блаженство, боролся и поддался ему. Я заснул, мечтая о славе, о женщинах; но я не виноват, я не мог.

Вечное блаженство здесь невозможно. Страдания необходимы. Зачем? Не знаю. И как я смею говорить: не знаю! Как смел я думать, что можно знать пути Провидения! Оно источник разума, и разум хочет постигнуть...

Ум теряется в этих безднах премудрости, а чувство боится оскорбить Его. Благодарю Его за минуту блаженства, которая показала мне и ничтожность, и величие моё. Хочу молиться, но не умею. Хочу постигнуть, но не смею — предаюсь в волю Твою.

Зачем писал я всё это? Как плоско, вяло, даже бессмысленно выразились чувства мои; а были так высоки!»

Эти порывы религиозного восторга сменялись часто временами тоски и апатии; так, 2-го июля, живя в том же Старом Юрте, он записывает такие мысли:

«Сейчас я думаю, вспоминая о всех неприятных минутах моей жизни, которые в тоску одни лезут в голову... — нет, слишком мало наслаждений, слишком способен человек представлять себе счастье, и слишком часто так, ни за что судьба бьет нас больно, больно задевает за нежные струны, чтобы любить жизнь, и потом что-то особенно сладкое и великое есть в равнодушии к жизни, и я наслаждаюсь этим чувством. Как силен кажусь я себе против всего с твёрдым убеждением, что ждать нечего здесь, кроме смерти; и сейчас же я думаю с наслаждением о том, что у меня заказано седло, на котором я буду ездить в черкеске, и как я буду волочиться за казачками и приходить в

отчаяние, что у меня левый ус выше правого, и я два часа расправляю его перед зеркалом».

Так как Лев Николаевич, особенно первое время жизни на Кавказе, неохотно расставался с братом, то ему приходилось часто менять своё место жительства. Главная квартира и штаб батареи, где служил его брат, были в Страгладовской, но часто его высылали в Старый Юрт на передовую позицию, и Лев Николаевич сопровождал его.

Этим диким станицам и аулам суждено было стать историческим местом. Здесь выношены были художественные образы первых произведений Толстого и рождены первые плоды его литературного творчества.

Чудная природа Северного Кавказа, и горы, и Терек, и казацкая удаль, и почти первобытная простота жизни — все это в своём гармоническом целом послужило колыбелью этим первым плодам и указало путь всемирному гению, вышедшему на борьбу за идеал, за искание истины, смысла человеческой жизни.

Именно приближение к Старому Юрту Лев Николаевич изобразил в повести «Казаки», так ярко рисуя впечатление, произведённое на него величественной горной кавказской природой:

«Утро было совершенно ясное. Вдруг он увидел шагах в двадцати от себя, как ему показалось в первую минуту, чисто-белые громады с их нежными очертаниями и причудливую, отчётливую воздушную линию их вершин и далекого неба. И когда он понял всю даль между ним и горами, и небом, всю громадность гор, и когда почувствовалась ему вся бесконечность этой красоты, он испугался, что это призрак, сон. Он встряхнулся, чтобы проснуться. Горы были всё те же.

— Что это? Что это такое? — спросил он у ямщика.

— А горы, — отвечал равнодушно ногаец.

— И я тоже давно на них смотрю, — сказал Ванюша. — Вот хорошо-то! Дома не поверят.

На быстром движении тройки по ровной дороге горы, казалось, бежали по горизонту, блестя на восходящем солнце своими розоватыми вершинами. Сначала горы только удивили Оленина, потом обрадовали; но потом, больше и больше вглядываясь в эту, не из других чёрных

гор, но прямо из степи вырастающую и убегаящую цепь снеговых гор, он мало-помалу начал вникать в эту красоту и почувствовал горы. С этой минуты всё, что только он видел, всё, что он думал, всё, что он чувствовал, получало для него новый, строго величавый характер гор. Все московские воспоминания, стыд и раскаяние, все пошлые мечты о Кавказе, все исчезли и не возвращались более. «Теперь началось», — как будто сказал ему какой-то торжественный голос. И дорога, и вдали видневшаяся черта Терека, и станицы, и народ, — всё это ему казалось теперь уже не шуткой. Взглянет на небо и вспомнит горы. Взглянет на себя, на Ванюшу, и опять горы. Вот едут два казака верхом, и ружья в чехлах равномерно поматываются у них за спинами, и лошади их перемешиваются гнедыми и серыми ногами; а горы... За Терекком виден дым в ауле; а горы... Солнце всходит и блещет на виднеющемся из-за камыша Тереке; а горы... Из станицы едет арба, женщины ходят, красивые женщины, молодые; а горы... Абреки рыскают в степи, и я еду, их не боюсь, у меня ружьё, и сила, и молодость; а горы...» (1)

(1) Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. Т. II. с. 130.

В августе он снова в Старогладовской.

Из повести «Казаки», носящей на себе автобиографический характер, мы можем себе составить приблизительное понятие о том, как проводил Лев

Николаевич время в станице. Попытки сближения с народом — казаками, охота, созерцание красот природы и непрерывная, никогда не покидавшая этого человека внутренняя борьба, ярко изображённая им в его произведениях — вот жизнь Льва Николаевича, соответствующая этому периоду.

«Отчего я счастлив и зачем я жил прежде?» — говорил себе Оленин, сидя в зелени первобытного кавказского леса.

«Как я был требователен для себя, как придумывал и ничего не сделал себе, кроме стыда и горя! А вот как мне ничего не нужно для счастья!»

И вдруг ему как будто открылся новый свет. «Счастье вот что, — сказал он сам себе, — счастье в том, чтобы жить для других. И это ясно. В человеке вложена потребность счастья; стало быть, она законна. Удовлетворяя её эгоистически, т. е. отыскивая для себя богатства, славы, удобств жизни, любви — может случиться, что обстоятельства так сложатся, что невозможно будет удовлетворить этим желаниям. Следовательно, эти желания незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какие же желания всегда могут быть удовлетворены, несмотря на внешние условия? Какие? Любовь, самоотвержение...»

Он так обрадовался и взволновался, открыв эту, как ему казалось, новую истину, что вскопчил и в нетерпении стал искать, для кого бы ему поскорее пожертвовать собой, кому бы сделать добро, кого бы любить. "Ведь ничего для себя не нужно, — всё думал он, — отчего же не жить для других?" (1)

(1) Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. Т. II. С. 222.

Голос любви и тогда уже звучал могучим аккордом в душе молодого человека, едва вошедшего в общественную жизнь.

Но внешние события шли сами за собой, увлекая сильную животную природу человека по привычной для неё дороге.

Станичная жизнь для молодого, страстного человека не обходится без романической любви. Лев Николаевич влюбляется в казачку. История этой любви изображена в его повести «Казачки».

В этой повести ярко обрисованы все стадии этой неудовлетворённой любви, но лучше всего передаёт о ней сам автор в своём письме к московским знакомым. В этом письме ярко выступают и любовь автора к дикой природе, и страстное желание слиться с ней, и страдания от невозможности этого, потому что автор, по своим культурным привычкам, уже отошёл от неё, и между ним и ею образовалась ничем не заполнимая пропасть. Вот самая яркая, существенная часть этого письма:

«Как вы мне все гадки и жалки! Вы не знаете, что такое счастье и что такое жизнь! Надо раз испытать жизнь во всей её безыскусственной красоте. Надо видеть и понимать, что я каждый день вижу перед собой: вечные, неприступные снега гор и величавую женщину в той первобытной красоте, в которой должна была выйти первая женщина из рук своего творца, и тогда ясно станет, кто себя губит, кто живёт в правде или во лжи, вы или я. Коли бы мы знали, как мне мерзки и жалки вы в вашем оболыщении! Как только представляется мне, вместо

моей хаты, моего леса и моей любви, эти гостинные, эти женщины с припомаженными волосами над подсунутыми чужими буклями,

эти неестественно шевелящиеся губки, эти спрятанные и изуродованные слабые члены и этот лепет гостинных, обязанный быть разговором и не имеющий никаких прав на это, — мне становится невыносимо гадко. Представляются мне эти тупые лица, эти богатые невесты с выражением лица, говорящим: «ничего, можно, подходи, хоть я и богатая невеста»; эти усаживания и пересаживания, это наглое сводничанье пар, и эта вечная сплетня, притворство; эти правила — кому руку, кому кивок, кому разговор, и, наконец, эта вечная скука, в крови переходящая от поколения к поколению (и все сознательно, с убеждением в необходимости). Поймите одно и поверьте одному. Надо видеть и понять, что такое правда и красота, и в прах разлетится всё, что вы говорите и думаете, все ваши желания счастья и за меня, и за себя. Счастье — это быть с природой, видеть её, говорить с ней. «Ещё он, избави боже, женится на простой казачке и совсем пропадёт для света!» — воображаю, говорят они обо мне с истинным состраданием. А я только одного и желаю, совсем пропасть в вашем смысле, желаю жениться на простой казачке и не смею этого потому, что это было бы верх счастья, которого я недостоин.

Три месяца прошло с тех пор, как я первый раз увидел казачку Марьяну. Понятия и предрассудки того мира, из которого я вышел, ещё были свежи во мне. Я тогда не

верил, что могу полюбить эту женщину. Я любовался ею, как красотой гор и неба, и не мог не любоваться ею, потому что она прекрасна, как и они. Потом я почувствовал, что созерцание этой красоты сделалось необходимостью в моей жизни, и я стал спрашивать себя: не люблю ли я её; но ничего похожего на то, как я воображал это чувство, я не нашёл в себе. Это было чувство, не похожее ни на тоску одиночества и желание супружества, ни на платоническую, ни ещё менее на плотскую любовь, которую я испытывал. Мне нужно было видеть, слышать её, знать, что она близко, и я бывал не то что счастлив, а спокоен. После вечеринки, на которой я был вместе с ней и прикоснулся к ней, я почувствовал, что между мной и этой женщиной существует неразрывная, хотя непризнанная связь, против которой нельзя бороться. Но я ещё боролся; я говорил себе: неужели можно любить женщину, которая никогда не поймёт душевных интересов моей жизни? Неужели можно любить женщину за одну красоту, любить женщину-статую? — спрашивал я себя, а уже любил её, хотя ещё не верил своему чувству.

После вечеринки, на которой я в первый раз говорил с ней, наши отношения изменились. Прежде она была для меня чуждым, но величавым предметом внешней природы; после вечеринки она стала для меня человеком. Я стал встречать её, говорить с ней, ходить иногда на работы к её отцу и по целым вечерам просиживать у них. И в этих близких отношениях она осталась в моих глазах всё столь же чистой, неприступной и величавой. Она на всё и всегда отвечала одинаково спокойно, гордо и весело-равнодушно. Иногда она была ласкова, но большей частью каждый взгляд, каждое слово, каждое движение её выражали это равнодушие, не презрительное, но

подавляющее и чарующее. Каждый день, с притворной улыбкой на губах, я старался подделаться под что-то и с мукой страсти и желания в сердце шуточно заговаривал с ней. Она видела, что я притворяюсь, но прямо, весело и просто смотрела на меня. Мне стало невыносимо это положение. Я хотел не лгать перед ним и хотел сказать всё, что я думаю, что я чувствую. Я был особенно раздражён; это было в садах. Я стал говорить ей о своей любви такими словами, которые мне стыдно вспомнить. Стыдно вспомнить, потому что я не должен был сметь говорить ей этого, потому что она неизмеримо выше стояла этих слов и того

чувства, которое я хотел ими выразить. Я замолчал, и с этого дня моё положение сделалось невыносимо. Я не хотел унижаться, оставаясь в прежних шуточных отношениях, и чувствовал, что я не дорос до прямых и простых отношений к ней. Я с отчаянием спрашивал себя: что же мне делать? В нелепых мечтах я воображал её то своей любовницей, то своей женой и с отвращением отталкивал и ту, и другую мысль. Сделать её девкой было бы ужасно. Это было бы убийство. Сделать её барыней, женой Дмитрия Андреевича Оленина, как одну из здешних казачек, на которой женился наш офицер, было бы ещё хуже. Вот ежели бы я мог сделаться казаком, Лукашкой, красть табуны, напиваться чихирю, заливаться песнями, убивать людей и пьяным влезать к ней в окно на ночку, без мысли о том, — кто я? и зачем я? — тогда бы другое дело, тогда бы мы могли понять друг друга, тогда бы я мог быть счастлив» (1).

(1) Полн. собр. соч. Л. П. Толстого. Т. II. С. 283.

Но Лукашкой он стать не мог, а потому и не мог обрести счастья на этом пути.

В сентябре он пишет своей тётке письмо, в котором уже ясно проглядывает будущий писатель. Что особенно поражает — это его серьезное отношение к выражению своей мысли; вероятно, уже тогда в голове его толпились рои мыслей и образов, и он выбирал те, которые мог изложить на бумаге. Вот как он выражает это чувство:

"Vous m'avez dit plusieurs fois que vous n'avez pas l'habitude d'ecrire des brouillons pour vos lettres, je suis votre exemple, mais je ne m'en trouve pas aussi bien que vous, car il m'arrive fort souvent de déchirer mes lettres apres les avoir relues. Ce n'est pas par fausse home que je le fais. Une faute d'orthographe un pate, une phrase mal tournee ne me genent pas mais c'est que je ne puis pas parvenir a savoir diriger ma plume et mes idees. Je viens de déchirer une lettre que j'avais achejee pour vous, parce que j'y avals dit beaucoup de choses que je ne voulais pas vous dire et rien de ce que je voulais vous dire Vous croyez peut-etre que c'est dissimulation, et vous direz, qu'il est mal de dissimuler avec les personnes qu'on aime et dont on se sent aime. Je conviens, mais convenez aussi qu'on dit tout a un indifferent, et que plus une personne vous est, chere, plus il y a de choses qu'on voudrait lui cacher". (2)

(2) Вы мне много раз говорили, что у вас нет привычки писать черновики для ваших писем; я следую вашему примеру, но у меня это не выходит так хорошо, как у вас, так как мне часто случается

рвать письма после того, как я их перечитаю. И я делаю это не из ложного стыда. Орфографическая ошибка, клякса, неловкое выражение не стесняют меня: но дело в том, что мне не даётся умение управлять своим пером и мыслями. Я только что разорвал письмо, которое написал вам, потому что я наговорил там много такого, чего я не хотел вам говорить, и не сказал того, что хотел. Быть может, вы думаете, что это скрытность, и скажете, что нехорошо быть скрытным с людьми, которых любишь и которыми чувствуешь себя любимым. Я согласен. Но согласитесь и вы, что безразличному человеку можно всё сказать, но чем ближе вам человек, тем больше есть вещей, которые хотелось бы скрыть от него.

Чувствуя прилив молодой энергии и не зная, куда девать её, Лев Николаевич часто рисковал своей жизнью и отправлялся в опасные экскурсии.

Так, раз он отправился в сопровождении своего друга, казака Епишки (в повести "Казаки" описанного под именем Ерошки) в аул Хасаф-Юрт, в горы; эта поездка считалась очень опасной, так как по дороге случались нападения горцев.

Благополучно возвращаясь оттуда, Лев Николаевич встретил своего родственника, Илью Толстого; родственник пригласил Льва Николаевича присоединиться к нему и повёз его в квартиру своего приятеля, главнокомандующего кн. Барятинского; таким образом Льву Николаевичу представился случай познакомиться довольно близко с главнокомандующим. Тот выразил ему своё удовольствие и похвалу за весёлый и бодрый вид, который главнокомандующий заметил в нём, видя его раз

в набеге. При этом он посоветовал ему поскорее подавать прошение о поступлении на службу, так как Лев Николаевич всё ещё был частным лицом и участвовал в делах добровольно. Лестный отзыв главнокомандующего и советы родственника побудили, наконец, Льва Николаевича ускорить своё намерение, и он подал прошение о принятии его на службу.

Август и сентябрь он пробыл ещё в Старогладовской, а в октябре вместе с братом Николаем отправился в Тифлис. Брат его скоро вернулся, а Лев Николаевич остался в Тифлисе для сдачи экзамена и определения на службу.

Оттуда он пишет тётке Татьяне Александровне:

«Nous sommes partis effectivement le 25 et apres 7 jours de voyage fort ennuyeux, a cause du manque de chevaux presque a chaque relais et fort agreable a cause de la beaute du pays qu'on passe. Le 1-er de ce mois nous etions arrives.

Tifliss est une ville tres civilisee qui singe beaucoup Petersbourg et reussit beaucoup a l'imiter, la societe y est choisie et assez nombreuse, il y a un theatre russe et un opera italien dont je profile autant que me le permettent mes pauvres moyens. Je loge a la colonie allemande-c'est un faubourg, mais qui a pour moi 2 grands avantages, celui d'etre un fort joli endroit entoure de jardins et de vignes, ce qui fait qu'on s'y croit plutot a la campagne qu'en ville (il fait encore tres chaud et tres beau, il n'y a eu ni neige, ni gelee jusqu'a present) le 2-eme avantage est celui que je paye pour 2 chambres assez propres ici 5 rbs. arg par mois, tandis qu'en ville on ne pourrait avoir un logement pareil moins de 40 rbs arg. par mois. Par dessus tout j'ai gratis la pratique de la langue allemande, j'ai des livres, des occupations et du loisir, puisque personne ne vient me deranger, de sorte qu'en somme je ne m'ennuie pas.

Vous rappelez-vous, bonne tante, un conseil que vous m'avez donne jadis — celui de faire des romans. Et bien! je suis votre conseil et les occupations dont je vous parle consistent a faire de la litterature. Je ne sais si ce que j'ecris paraitra jamais dans le monde, mais c'est un travail qui m'amuse et dans lequel je persevere depuis trop longtemps pour l'abandonner». (1)

(1) Мы в действительности выехали 25-го и после семи дней путешествия, очень скучного по недостатку лошадей почти на каждой станции и очень приятного вследствие красоты края, но которому приезжаешь, 1-го числа этого месяца мы приехали.

Тифлис — очень цивилизованный город, очень подражающий Петербургу, и это ему хорошо удаётся. Общество избранное и довольно многочисленное. Есть русский театр и итальянская опера, которыми я пользуюсь настолько, насколько мне позволяют мои маленькие средства. Я живу в немецкой колонии; это — предместье, но оно представляет для меня две большие выгоды. Во-первых, это прелестное местечко, окружённое садами и виноградниками, так что здесь чувствуешь себя скорее в деревне, чем в городе. (Здесь ещё очень жарко и ясно; до сих пор не было ни снега, ни мороза.) Второе преимущество то, что я плачу здесь за две довольно чистые комнаты пять рублей серебром в месяц, тогда как в городе нельзя бы было нанять такую квартиру меньше чем за 40 рублей в месяц. Сверх того, у меня бесплатная практика немецкого языка, у меня есть книги, занятия и досуг, потому что никто не приходит беспокоить меня, так что, в общем, я не скучаю.

Помните, добрая тетенька, совет, который вы раз мне дали — писать романы. Так вот, я следую вашему совету, и занятия, о которых я вам говорю, состоят в литературе. Я ещё не знаю, появится ли когда-нибудь в свет то, что я нишу; но это работа, которая меня занимает и в которой я уже слишком далеко зашёл, чтобы её оставить.

Интересно письмо это тем, что изображает нам, с какой скромностью зарождался этот великий талант, не знавший в то время ещё себе цены.

Около двух месяцев Лев Николаевич хворал и лечился и, пользуясь свободным, уединенным временем, писал свою первую повесть. Кроме того, часть времени его уходила на хлопоты по определению его на службу, что было довольно трудно за неимением нужных бумаг.

23 декабря 1851 года он пишет брату Сергею следующее письмо с характерными подробностями тифлисской и станичной жизни:

«На днях давно желанный мною приказ о зачислении меня фейерверкером в 4-ю батарею должен состояться, и я буду иметь удовольствие делать фрунт и провожать глазами мимо едущих офицеров и генералов. Даже теперь, когда я прогуливаюсь по улицам в своем шармеровском пальто и в складной шляпе, за которую я заплатил здесь 10 рублей, несмотря на всю свою величавость в этой одежде, я так привык к мысли скоро одеть серую шинель, что невольно правая рука хочет схватить за пружины складную шляпу и опустить её вниз. Впрочем, ежели моё желание исполнится, то я в день же своего определения уезжаю в Старогладовскую, а оттуда тотчас же в поход, где буду ходить и ездить в тулупе или черкеске, и тоже по мере сил моих буду способствовать с помощью пушки к истреблению хищников и непокорных азиатов.

Серёжа, ты видишь по письму моему, что я в Тифлисе, куда приехал ещё 1 ноября, так что немного успел поохотиться с собаками, которых там купил (в

Старогладовской), а присланных собак вовсе не видал. Охота здесь (т. е. в станице) — чудо! Чистые поля, болотца, набитые русаками, и острова не из леса, а из камыша, в котором держатся лисицы. Я всего девять раз был в поле, от станицы в 10 и 15 верстах, и с двумя собаками, из которых одна отличная, а другая дрянь; затравил двух лисиц и русаков с 60. Как приеду, так попробую травить коз.

На охотах с ружьями на кабанов, оленей я присутствовал неоднократно, но ничего сам не убил. Охота эта тоже очень приятна, но, привыкнув охотиться с борзыми, нельзя полюбить эту. Так же, как ежели кто привыкнул курить турецкий табак, нельзя полюбить Жуков, хотя и можно спорить, что этот лучше.

Я знаю твою слабость: ты, верно, пожелаешь знать, кто здесь были и есть мои знакомые и в каких я с ними отношениях. Должен тебе сказать, что этот пункт нисколько меня здесь не занимает, но спешу удовлетворить тебя. В батарее офицеров немного; поэтому я со всеми знаком, но очень поверхностно, хотя и пользуюсь общим расположением, потому что у нас с Николенькой всегда есть для посетителей водка, вино и закуска; на тех же самых основаниях составилось и поддерживается моё знакомство с другими полковыми офицерами, с которыми я имел случай познакомиться в Старом Юрте (на водах, где я жил лето) и в набеге, в котором я был. Хотя есть более или менее порядочные люди, но так как я и без офицерских бесед всегда имею более интересные занятия, я остаюсь со всеми в одинаковых отношениях. Подполковник Алексеев, командир батареи, в которую я поступаю, человек очень добрый и

тщеславный. Последним его недостатком я, признаюсь, пользовался и пускал ему некоторую пыль в глаза, — он мне нужен. Но и это я делаю невольно, в чём и раскаиваюсь. С людьми тщеславными сам делаешься тщеславен.

Здесь, в Тифлисе, у меня 3 человека знакомых. Больше я не приобрёл знакомств, во-первых, потому что не желал, а во-вторых, потому что не имел к тому случая, — я почти всё время был болен и неделю только что выхожу. Первый знакомый мой — Багратион, петербургский (товарищ Ферзена). Второй — князь Барятинский. Я познакомился с ним в набеге, в котором под его командой участвовал, и потом провёл с ним один день в одном укреплении вместе с Ильёй Толстым, которого я здесь встретил. Знакомство это, без сомнения, не доставляет мне большого развлечения, потому что ты понимаешь, на какой ноге может быть знаком юнкер с генералом. Третий знакомый мой — *помощник аптекаря*, разжалованный поляк, презабавное создание. Я уверен, что князь Барятинский никогда не воображал, в каком бы то ни было списке, стоять рядом с помощником аптекаря, но вот же случилось. Николенька здесь на отличной ноге; как начальники, так и офицеры-товарищи все его любят и уважают. Он пользуется сверх того репутацией храброго офицера. Я его люблю больше, чем когда-либо, и когда с ним, то совершенно счастлив, а без него скучно.

Ежели хочешь щегольнуть известиями с Кавказа, то можешь рассказывать, что второе лицо после Шамиля,

некто Хаджи-Мурат, на днях передался русскому правительству. Это был первый лихач (джигит) и молодец во всей Чечне, а сделал подлость. Еще можешь с прискорбием рассказывать о том, что на днях убит известный храбрый и умный генерал Слепцов. Ежели ты захочешь знать, *больно ли ему было*, то этого не могу сказать».

6 января 1852 года, из Тифлиса же, Лев Николаевич пишет замечательное письмо своей тётке, изливая в этом письме всю нежность и любовь к своей воспитательнице:

«Je viens de recevoir votre lettre du 24 Novembre e(je vous y reponds le moment meme (comme j'en ai pris l'habitude). Dernieremem je vous ecrivais que votre-lettre m'a fait pleurer et j'accusais ma maladie de cette faiblesse. J'ai eu tort. Toutes vos lettres me font depuis quelque temps le meme effet. J'ai toujours ete Лёва-рёва. Avant cette faiblesse me faisait honte, mais les larmes que je erse en pensant a vous et a votre amour pour nous sont tellement douees que je les laisse couler, sans aucune faussehonte. Votre lettre est trop pleine de tristesse pour qu'elle ne produise pas sur moi le meme effet. C'est vous que toujours m'avez donne des conseils et quoique malheureusement ja ne les aie pas suivis quelquefois, je voudrais toute ma vie n'agir que d'apres vos avis. Permettez-rnoi pour le moment de vous dire l'effet qu'a produit sur moi votre lettre et les idees qui me sont venues en la lisant Si je vous parle trop franchement, je sais que vous me de pardonneriez en faveur de l'amour que j'ai pour vous En disam que c'est votre tour de nous quitter pour aller rejoindre ceux qui ne sont plus et que vous avez tant aimez, en disant que vous demandez a Dieu de mettre un terme a votre existence qui vous semble si insupportable et isolee, — pardon, chere tame, mais il me parait qu'en disant cela vous

offensez Dieu et moi et nous tous qui vous aimons tant Vous demandez a Dieu la mort, c. a. dire le plus grand malheur qui puisse m'arriver (ce n'est pas une phrase, mais Dieu m'est temoin que les deux plus grands malheurs qui puissent m'arriver, ce serait votre mort ou celle de Nicolas — les deux personnes que j'aime plus que moi-meme). Que resterait-il pour moi, si Dieu

exaucait votre (priere? Pour faire plaisir a qui, voudrais je devenir, meilleur, avoir de bonnes qualites, avoir une bonne reputation dans le monde? Quand je fais des plans de bonheur pour moi, J'idee que vous partagerez et jouirez de mon boiheur m'est toujours presente. Quand je fais quelque chose de bon, je suis toment de moi-- meme, parce que je sais que vous serez contente de moi. Quand j'agis mal, ce que je crains le plus — c'est de vous faire du chagrin. Votre amour est tout pour moi, et vous demandez a Dieu qu'il nous separe! Je ne puis vous dire le sentiment que j'ai pour vous, la parole ne suffit pas pour vous l'exprimer, et je crains que vous ne pensiez que j'exagere et cependant je pleure a chaudes larmes en vous ecrivam. C'est a cette penible separation que je dois de savoir, quelle amie j'ai en vous et combien je vous aime. Mais est-ce que je suis le seui a avoir un sentiment pour vous, — et vous demandez a Dieu de mourir! Vous dites que vous Ktes isolee, quoique je sois separe de vous, mais si vous croyez a mon amour, cette idee aurait pu faire contrepoids a votre douleur; pour moi je ne me sentirai isole nulle pan jusqu'a ce que je me sache aime par vous comme je le suis.

Je sens cependant que c'est un mauvais sentiment qui me dicte mes paroles, je suis jaloux de votre chagrin". (1)

(1) Я только что получил ваше письмо от 24-го ноября и тотчас же отвечаю на него, как я привык это делать. Последний раз я вам писал, что ваше письмо заставило меня плакать, и я считал, что болезнь была причиной этой слабости. Я был не прав. Все ваши письма с некоторого времени действуют на меня так же. Я всегда был Лёва-рёва. Сначала я стыдился этой слабости, но слёзы, которые я проливаю, думая о вас и о вашей любви к нам, так радостны, что я им позволяю течь без всякого ложного стыда. Ваше письмо так полно грусти, и оно не могло не произвести на меня подобного же действия. Вы мне всегда давали советы, и хотя я, к сожалению, не всегда следовал им, я хотел бы всю мою жизнь только действовать по вашим указаниям. Позвольте мне теперь сказать вам о том действии, которое произвело на меня ваше письмо, и о мыслях, которые возникли во мне за чтением его. Если я говорю с вами слишком откровенно, я знаю, вы простите меня ради моей любви к вам. Говоря, что теперь ваша очередь оставить нас и соединиться с теми, которых уже нет и которых вы так любили, говоря, что вы просите Бога положить предел вашему существованию, которое кажется вам столь невыносимым и одиноким, — извините, дорогая тётенька, но мне кажется, что, говоря это, вы гневите Бога и обижаете меня и всех нас, которые так вас любят. Вы просите у Бога смерти, т. е. самого большого несчастья, которое могло бы произойти для меня (это не фраза, но Бог свидетель, что два самые большие несчастия, которые могут произойти для меня, это смерть ваша и Николеньки, двух людей, которых я люблю больше самого себя). Что осталось бы для меня если бы Бог услышал вашу молитву? Ради кого старался бы я стать лучше, иметь хорошие качества, составить о себе хорошее мнение в свете? Когда я строю планы счастья для себя, мысль о том, что вы разделите его со мною и будете пользоваться им, всегда присуща мне. Когда я делаю что-нибудь хорошее, я доволен собой потому, что я знаю, что вы будете довольны мной. Когда я

поступаю дурно — чего я всего больше опасюсь, это вам причинить огорчение. Ваша любовь для меня всё, а вы просите Бога, чтобы Он нас разлучил! Я не могу вам выразить того чувства, которое я питаю к вам, слов недостаточно для этого, и я боюсь, чтобы вы не подумали, что я преувеличиваю, а между тем я плачу горячими слезами, пока пишу вам. Этой тяжёлой разлуке я обязан сознанием того, какого друга я нашёл в вас и как я вас люблю. Но разве я один, питающий к вам эти чувства, — а вы просите у Бога смерти. Вы говорите, что вы одиноки; хотя бы я был отделён от вас, но если вы верите моей любви, мысль о ней могла бы послужить противовесом вашему горю; что касается до меня, я никогда не почувствую себя одиноким, пока я знаю, что я любим вами так, как оно есть.

Сознаю тем не менее, что чувство, диктующее эти слова, дурно, — я ревную вас к вашему горю.

Дальше, в том же письме, он рассказывает случай, интересный как с бытовой, так и с психологической стороны.

«Aujourd'hui il m'est arrive une des ces choses qui m'auraient fait croire en Dieu, si je n'y croyais deja fennement depuis quelque temps.

L'ete a Старый Юрт tous les officiers qui y ecaient ne faisaient que jouer et assez gros jeu. Comme en vivant au camp il est imposs ble de ne pas se voir souvent, j'ai tres souvent assiste au jeu et malgre les instances qu'on me faisait j'ai tenu bon pendant un mois, mais un beau jour en plaisamant, j'ai mis un petit enjeu, j'ai perdu, j'ai recommence, j'ai encore perdu, la chance en etait mauvaise, la passion du jeu s'est reveillee, et en 2 jours j'ai perdu tout

ce que j'avais d'argent et celui que Nicolas m'a donne (a peu pres 250 r. arg.) et par dessus cela encore 500 r. arg pour lesquels j'ai donne une lettre de change payable au mois de Janvier 1852.

Il faut vous dire que pres du camp il y a un аул qu'habitent les чеченцы. Un jeune garçon (чеченец) Sado venait au camp et jouait, mais comme il ne savait pas compter et inscrire il y avait des chenapans qui le trichaient. Je n'ai jamais voulu jouer pour cette raison contre Sado et meme je lui ai dit qu'il ne fallait pas qu'il jouat, parce qu'on le trompait et je me suis propose de jouer pour lui par procuration. Il m'a ete tres reconnaissant pour ceci et m'a fait cadeau d'une bourse. Comme c'est l'usage de cette nation de se faire des cadeaux mutuels, je lui ai donne un miserable fusil que j'avais achete pour 8 rb. Il faut vous dire que pour devenir кынак, ee qui veut dire ami, il est d'usage de se faire des cadeaux et puis de manger dans la maison du кынак. Apres cela d'apres l'ancien usage de ces peuples (qui n'existe presque plus que par tradition) on devient ami a la vie et a la mort c. a. d. que si je lui demande tout son argent, ou sa femme, ou ses armes, ou tout ce qu'il a de plus precieux, il doit me les donner, et moi aussi je ne dois rien lui refuser. Sado m'a engage de venir chez lui et d'etre кынак. J'y suis alle. Apres m'avoir regale a leur maniere, il m'a propose de choisir dans sa maison tout ce que je voudrais — ses armes, son cheval... tout. J'ai voulu choisir ce qu'il y avait de moins cher et j'ai pris une bride de cheval montee on argent, mais il m'a dit que je l'offensais et m'a oblige de prendre une шашка qui vaut au moins 100 r. arg.

Son pere est un homme assez riche, mais qui a son argent enterre et ne donne pas le sou a son fils. Le fils pour avoir de l'argent va voler chez l'ennemi des chevaux, des vaches;

quelquefois il expose 20 fois sa vie pour voler une chose qui ne vaut pas 10 r., mais ce n'est pas par cupidite qu'il le fait, mais par genre. Le plus grand voleur est tres estime et on l'appelle джигит, молодец. Tantot Sado a 1000 r. arg.; tantot pas le sou. Apres une visite chez lui je lui ai fait cadeau de la montre d'argent de Nicolas, et nous sommes devenus les plus grands amis du monde Plusieurs fois il m'a prouve son devouement en s'exposant a des dangers pour moi, mais ceci pour lui n'est rien — c'est devenu une habitude et un plaisir.

Quand je suis parti de Старый Юрт et que Nicolas y est reste, Sado venait chez lui tous les jours et disait qu'il ne savait que devenir sans moi et qu'il s'ennuyait temblement. Par une lettre, je faisais connaitre a Nicolas que mon cheval etant malade, je le priais de m'en trouver un a Старый Юрт, Sado ayant appris cela, n'eut rien de plus presse que de venir chez moi et de me donner son cheval, malgre tout ce que j'ai pu faire pour refuser.

Apres la betise que j'ai fait de jouer a Старый Юрт, je n'ai plus repris les cartes en mains, et je faisais continuellement la morale a Sado qui a la passion du jeu et quoiqu'il ne connaisse pas le jeu, a toujours un bonheur etonnant. Hier soir je me suis occupe a penser a mes affaires pecuniaires, a mes dettes, je pensais, comment je ferais pour les payer. Ayant longtemps pense a ces choses j'ai vu que si je ne depense pas trop d'argent, toutes mes dettes ne m'embarrasseront pas et pourront petit a petit etre payees dans 2 ou 3 ans; mais les 500 rbs., que je devais payer ce

mois, me mettaient au desespoir. Cette belise d'avoir fait les dettes que j'avais en Russie et de venir en faire de nouvelles ici me mettent au desespoir. 1^{er} soir en faisant ma priere, j'ai prie Dieu qu'il me tire de cette desagreable position, et avec beaucoup de ferveur. "Mais comment est-ce que je puis me tirer de cette affaire?" pensai-je en me couchant. Il ne peut rien arriver qui me donne la possibilite d'acquitter cette dette. Je me represemais deja tous les desagreements que j'avais a essuyer a cause de cela». (1)

(1) Сегодня произошёл случай, который мог бы меня заставить поверить в Бога, если б я уже не верил в Него твёрдо с некоторых пор.

Летом в Старом Юрте все офицеры были исключительно заняты игрой, и довольно крупной. Так как, живя в лагере, нельзя не видеться часто, я нередко присутствовал при игре и, несмотря на упрашивания, которые мне делали, я держался с месяц. Но в один прекрасный день, шутя, я поставил немного, проиграл, снова поставил, опять проиграл, — мне не повезло, — игорная страсть проснулась во мне, и в два дни я проиграл всё деньги, которые у меня были, те, что мне дал Николенька (около 250 рублей), и сверх того еще 500 рублей серебром, на которые я дал вексель сроком по январь 1852 года.

Надо вам сказать, что подле лагеря есть аул, в котором живут чеченцы. Один молодой чеченец, Садо, приезжал в лагерь и играл; но так как он не умел считать и записывать, то были такие негодяи, которые его обманывали. Поэтому я никогда не хотел играть против Садо и ему даже говорил, чтобы он не играл, потому что его надувают, и предложил ему играть за него по доверенности. Он был мне очень благодарен за это и подарил кошелёк, а так как в обычае этого народа делать взаимные подарки, то я ему подарил плохенькое ружьё, которое купил за 8 рублей. Надо вам сказать, что для того, чтобы стать кунаком, т. е. другом, нужно делать подарки и потом обедать в доме кунака. После этого, по

старинному обычаю этого народа (сохранившемся почти только в предании), становятся друзьями на жизнь и на смерть, т. е. что если я у него спрошу все деньги, или его жену, или его оружие, или всё, что у него есть самого драгоценного, он должен мне отдать, и я тоже ни в чём не должен ему отказывать. Садо пригласил меня к себе в дом, чтобы стать его кунаком. Я пошёл к нему. Угостив меня по-своему, он предложил выбрать, что я хочу в его доме: оружие, лошадь... всё. Я хотел выбрать самое дешёвое и взял уздечку, отделанную в серебро; но он сказал мне, что я его этим обижаю, и заставил меня взять шашку, стоящую по меньшей мере сто рублей серебром.

Отец его — человек богатый, но у него деньги закопаны в земле, и он не даст сыну ни копейки. Сын, чтобы выручить денег, ездит к неприятелю красть лошадей, коров. Иной раз он подвергает 20 раз опасности свою жизнь из-за вещи, стоящей не более 10 рублей; но это он делает не из-за жадности, а по натуре. Самый ловкий вор очень уважаем, и его называют "джигит", молодец. У Садо то бывает 1000 рублей, то ни копейки. После одного из моих посещений его дома я подарил ему Николенькины серебряные часы, и мы стали самыми большими друзьями. Много раз он доказал мне свою преданность, подвергая из-за меня свою жизнь опасности, — но это для него ничего не значит, это стало для него привычкой и удовольствием.

Когда я уехал из Старого Юрта, а Николенька остался там, Садо каждый день приходил к нему и говорил, что он не знает, что ему без меня делать, и что он страшно скучает. Я писал Николеньке, что так как моя лошадь заболела, то я прошу его найти мне какую-нибудь в Старом Юрте. Садо, узнав об этом, ничего не нашёл лучшего, как явиться ко мне и подарить мне свою лошадь, несмотря на все мои усилия отказать ему.

После глупости, которую я сделал, начав играть в Старом Юрте, я больше не брал в руки карт и читал наставления Садо, у которого страсть к игре; и хотя он не знает игры, ему всегда удивительно везёт. Вчера вечером я был занят мыслями о моих денежных делах и моих долгах. Я думал о том, как я расплачусь. Долго размышляя об этом, я увидел, что если я не буду много тратить, долги не будут мне обременительны и могут быть уплачены понемногу в 2 или 3

года; но 500 рублей, которые я должен был заплатить в этом месяце, приводили меня в отчаяние. Я был в отчаянии от этой глупости, что, делавши долги в России, приехал их снова делать сюда. Вечером, молясь, я просил Бога, чтобы Он избавил меня от этого тяжёлого положения, и я молился очень горячо. — «Но как же я могу выпу-

таться из этого?» — думал я, ложась спать. Ничего не может случиться такого, что бы дало мне возможность расплатиться с этим долгом. Я уже представлял себе все неприятности, которые мне пришлось бы перенести из-за этого.

Как он подаст ко взысканию, как по начальству от меня будут требовать отзыва, почему я не плачу и т. д. «Помоги мне, Господи», — сказал я и заснул.

Le lendemain je recois une lettre de Nicolas a laquelle etait jointe ia votre et plusieurs autresil m'ecrit (1):

(1) На другой день я получил письмо от Николеньки с приложением вашего и многих других писем. Он мне пишет:

«На днях был у меня Садо; он выиграл у Кнорринга твои векселя и привёз их мне. Он так был доволен этому выигрышу, так счастлив и так много меня спрашивал: "как думаешь, брат рад будет, что я это сделал?", что я его очень за это полюбил. Этот человек действительно к тебе привязан».

N'est-ce pas etonnant que de voir son voeu aussi exauce le lendemain meme C. a. d. qu'il n'y a rien d'aussi etonnant que

la bonte divine pour un etre nui la merite si peu que moi? Et n'est-ce pas que le trait de devouement de Sado est admirable? Il sait que j'ai un frere Serge, qui aime les chevaix et comme je lui ai promis de le prendre en Russie quand j'y irai, il m'a dit, que dit-il lui en couter 100 fois la vie, il volera le meilleur cheval qu'il y ait dans les montagnes, et qu'il le lui amenera.

Faites, je vous prie, acheter a Toula un шестиствольный пистолет et de me l'envoyer et une коробочка с музыкой, si cela ne coute pas trop cher. Ce sont des choses qui lui feront beaucoup du plaisir». (2)

(2) Не правда ли, удивительно виден свою просьбу услышанной на другой же день, т. е. удивительна больше всего милость Божия к существу, заслужившему её так мало, как я? И не правда ли, эта черта преданности в Садо прелестна? Он знает, что у меня есть брат Сергей, который любит лошадей, и так как я обещал Садо взять его с собой в Россию, когда я туда поеду, он сказал мне, что хоть бы это ему стоило 100 жизней, он украдёт самую лучшую лошадь, какая есть в горах, и приведёт ему.

Пожалуйста, прикажите купить в Туле шестиствольный пистолет и послать его мне и коробочку с музыкой, если это не слишком дорого стоит. Это вещи, которые ему очень понравятся.

Интересен этот рассказ особенно тем, что показывает, какой путь пройден Л. Н-чем в своём духовном развитии. От наивной мистической веры во вмешательство божества в свои картёжные и денежные дела и до полной религиозной свободы, исповедуемой им теперь.

Наконец, через несколько дней после этого письма, устроив свои служебные дела, Л. Н-ч возвращается в станицу Старогладовскую. С дороги, со станции Моздок,

вероятно, долго ожидая лошадей, он пишет своей тётке длинное письмо, как всегда, полное самых глубоких религиозных мыслей, преисполненное нежности к любимому существу и с мечтами и планами о будущем скромном семейном счастье:

«Вот мысли, которые пришли мне на ум. Я постараюсь передать их вам, потому что я думал о вас. Я очень переменялся нравственно, и это со мною уже было столько раз. Впрочем, я думаю, что это со всеми так бывает. Чем более живёшь, тем более меняешься; вы человек опытный, скажите, ведь это правда? Я думаю, что недостатки и качества, основы характера, остаются те же, но взгляды на жизнь, на счастье должны изменяться с годами. Год тому назад я думал найти счастье в удовольствиях, в движениях; теперь же, напротив, отдых физический и моральный — это то, чего я желаю. Но я представ-

ляю себе состояние покоя без скуки, с тихой радостью любви и дружбы — это для меня верх счастья. Впрочем, очарование покоя чувствуешь только после усталости и радости любви — только после её лишений. И вот я лишён с некоторого времени и того, и другого, и потому-то я так стремлюсь к ним. Мне нужно быть лишённым их ещё на сколько времени? Бог знает. Я не сумею сказать почему, но я чувствую, что это нужно. Религия и опыт моей жизни, как бы мала она ни была, научили меня, что жизнь есть испытание. Во мне она больше, чем испытание, — она есть искупление моих грехов.

Мне кажется, что странная мысль поехать на Кавказ внушена мне свыше. Это рука Божия вела меня, и я непрестанно благодарю Его. Я чувствую, что здесь я стал лучше (это еще немного, потому что я был очень дурен), и я твёрдо уверен, что всё, что может со мной случиться здесь, будет мне на пользу, потому что сам Бог этого захотел. Быть может, это слишком смелая мысль, тем не менее у меня есть это убеждение. Поэтому-то я переношу невзгоды и лишения физические, о которых я говорю (какие могут быть физические лишения для здорового малого 23 лет?), как бы не чувствуя их, даже с некоторым наслаждением, думая о счастье, которое меня ожидает.

Вот как я его себе представляю:

После неопределённого числа лет, — ни молодой, ни старый, я в Ясной, дела мои в порядке, у меня нет ни беспокойства, ни неприятностей. Вы также живёте в Ясной. Вы немного постарели, но ещё свежи и здоровы. Мы ведём жизнь, которую вели раньше, я работаю по утрам, но мы видимся почти целый день. Мы обедаем. Вечером я вам читаю что-нибудь нескучное для вас, потом мы беседуем: я рассказываю вам про кавказскую жизнь, вы мне рассказываете ваши воспоминания о моём отце, матери; вы мне рассказываете "страшные", которые мы прежде слушали с испуганными глазами и разинутыми ртами. Мы вспоминаем людей, которые нам были дороги и которых больше нет. Вы станете плакать, и я тоже, но эти слезы будут отрадны: мы будем говорить о братьях, которые будут к нам приезжать время от времени, о дорогой Маше, которая также будет проводить несколько месяцев в году в Ясной, которую она так любит, со всеми своими детьми. У нас не будет знакомых, никто не придет нам надоедать и сплетничать. Это чудный сон. Но это ещё

не всё, о чём я себе позволяю мечтать. Я женат; моя жена тихая, добрая, любящая; вас она любит так же, как и я; у нас дети, которые вас зовут бабушкой; вы живёте в большом доме наверху, в той же комнате, которую прежде занимала бабушка. Весь дом содержится в том же порядке, какой был при отце, и мы начнем ту же жизнь, только переменившись ролями. Вы заменяете бабушку, но вы ещё лучше её: я заменяю отца, хотя я не надеюсь никогда заслужить эту честь. Жена моя заменяет мать, дети нас. Маша берёт на себя роль двух тёток, исключая их горя; даже Гаша заменяет Прасковью Исаевну. Не будет хватать только лица, которое взяло бы на себя вашу роль в жизни нашей семьи: никогда не найдётся столь прекрасная душа, столь любящая, как ваша; у вас нет преемников. Будет три новых лица, которые будут иногда появляться среди нас, — это братья, особенно один, которые часто будет с нами, Николенька, старый холостяк, лысый, в отставке, всегда такой же добрый, благородный.

Я воображаю, как он будет, как в старину, рассказывать детям своего сочинения сказки, как дети будут у него целовать сальные руки (но которые стоят того), как он будет с ними играть, как жена моя будет хлопотать, чтобы сделать ему любимое кушанье, как мы с ним будем перебирать общие воспо-

минания о давно прошедшем времени, как вы будете сидеть на своём обыкновенном месте и с удовольствием слушать нас; как вы нас — старых — будете называть по-

прежнему Лёвочка, Николенька и будете бранить меня за то, что я руками ем, а его за то, что у него руки не чисты.

Если бы меня сделали русским императором, если бы мне дали Перу, одним словом, если бы волшебница пришла ко мне со своей палочкой и спросила бы меня, что я желаю, я, положив руку на сердце, ответил бы, что желаю, чтобы эти мечты могли стать действительностью.

Знаю, вы не любите загадывать, но что же тут дурного? а это так приятно. Я боюсь, что это слишком эгоистично, что я вам уделю мало места в этом счастье. Я опасюсь, чтобы прошлые горя не оставили слишком чувствительный след в вашем сердце, и это не помешало бы вам насладиться этим будущим, которое составило бы моё счастье. Дорогая тётя, скажите, были бы вы счастливы? Все это может случиться, и надежда так утешительна!

Опять я плачу. Почему я плачу, думая о вас? Это слезы радости; я счастлив, умея любить вас. Если бы все несчастья обрушились на меня, я никогда не сочту себя вполне несчастным, пока вы живы. Помните ли вы нашу разлуку у Иверской часовни, когда мы уезжали в Казань? Тогда, как бы по вдохновению, в самую минуту разлуки я понял, кем вы были для меня и, хотя ещё ребёнок, слезами и несколькими отрывочными словами я сумел дать вам понять, что я чувствовал. Я никогда не переставал вас любить; но чувство, которое я испытал у Иверской часовни, и теперешнее совсем различны: теперешнее гораздо сильнее, более возвышенное, чем когда бы то ни было.

Сознаюсь вам в одном, чего стыжусь, но должен сказать вам это, чтобы освободить мою совесть. Раньше, читая ваши письма, в которых вы говорили о ваших

чувствах ко мне, я, казалось, видел преувеличение. Но только теперь, перечитывая их, я понимаю вас, вашу безграничную любовь к нам и вашу возвышенную душу. Я уверен, что всякий другой, читая это письмо и предыдущее, сделал бы мне тот же упрёк. Но я не опасаюсь этого от вас, вы меня слишком хорошо знаете и вы знаете, что, быть может, единственное моё доброе качество это — чувствительность. Этому качеству я обязан счастливейшими минутами моей жизни. Во всяком случае, это последнее письмо, в котором я позволяю себе выразить столь восторженные чувства, чрезмерные для равнодушных, но вы сумеете их оценить».

Возвратившись в Старогладовскую уже юнкером, в феврале Л. Н-ч идёт в поход в качестве «уносного фейерверкера».

В марте он опять в Старогладовской. Интересны несколько мыслей того времени, записанные им в дневнике.

Лев Николаевич замечал в себе три главные страсти, мешавшие ему на пути к поставленному им себе нравственному идеалу. Эти страсти были: игра, чувственность, или сладострастие, и тщеславие. Он так определял и характеризовал каждую из этих страстей:

1) Страсть к игре есть страсть корыстная, понемногу переходящая в привычку к сильным ощущениям. С этой страстью возможна борьба.

2) Сладострастие есть потребность физическая, потребность тела, разжигаемая воображением; с воздержанием она усиливается, и потому борьба с ней очень трудна. Лучшее средство — труд и занятия.

3) Тщеславие — это страсть, наименее вредная для других и наиболее вредная для себя.

Затем встречается такое рассуждение:

«С некоторого времени меня сильно начинает мучить раскаяние в утрате лучших годов в жизни. И это с тех пор, как я начал чувствовать, что я бы мог сделать что-нибудь хорошее. Интересно бы было описать ход своего морального развития; но не только слова, но и мысль даже недостаточна для этого.

Нет границ великой мысли, но уже давно писатели дошли до неприступной границы её выражения.

Есть во мне что-то, что заставляет меня верить, что я рождён не для того, чтобы быть таким, как все».

Эти последние слова суть первое смутное сознание своего призвания. Надо заметить, что эти слова были написаны ещё до окончания «Детства» и, стало быть, до получения похвал и поздравлений с успешным началом. Это было внутреннее, независимое сознание в себе той таинственной силы, которая потом выдвинула его как одного из высших представителей морального сознания всего человечества.

В мае месяце он берёт отпуск и едет в Пятигорск пить воды и лечиться от преследовавшего его ревматизма.

Оттуда он пишет своей тётке письмо, рисующее картину его душевной жизни и указывающее на не перестающую внутреннюю работу его духовного существа.

«Со времени моего путешествия и пребывания в Тифлисе мой образ жизни не изменился; я стараюсь заводить как можно меньше знакомых и воздерживаться от интимности в тех знакомствах, которые я уже сделал. К этому уже привыкли, меня больше не беспокоят, и я уверен, что про меня говорят, что я чужак и гордец.

Не из гордости я так веду себя, это вышло само собой; слишком велика разница в воспитании в чувствах, во взглядах между мною и теми, кого я встречаю здесь, чтобы я мог находить какое-нибудь удовольствие с ними. Только Николенька имеет способность, несмотря на огромную разницу между ним и этими господами, проводить с ними приятно время и быть любимым всеми. Я завидую ему, но чувствую, что не могу так поступать.

Правда, что такой образ жизни создан не для удовольствий; но ведь и я уже давно не думаю об удовольствиях, а думаю о том, чтобы быть спокойным и довольным. С некоторых пор я вошёл во вкус исторического чтения (это было предметом нашего спора, и насчёт этого теперь я вполне с вами согласен). Мои литературные работы также подвигаются понемногу, хотя я ещё ничего не думаю печатать. Я три раза переделал работу, которую начал уже давно, и я рассчитываю ещё раз переделать её, чтобы быть довольным. Быть может, это будет работой Пенелопы, но это не отвращает меня; я пишу не из тщеславия, но по влечению; в работе я нахожу удовольствие и пользу и потому работаю. Хотя я очень далёк от веселья, как я вам писал, но я столь же далёк от скуки, потому что занят; но, кроме того, я вкушаю ещё более высокое, более сильное удовольствие, чем то, которое могло бы мне дать общество, — это сознание спокойной совести, сознание более высокой, чем прежде, оценки

самого себя, сознание движения во мне добрых, великодушных чувств.

Было время, когда я тщеславился моим умом, моим положением в свете, моим именем, но теперь я знаю, я чувствую, что если есть во мне что-нибудь

хорошего, и что если есть за что благодарить Провидение, так это за доброе сердце, чувствительное и способное любить, которое оно даровало и сохранило мне. Ему одному обязан лучшими пережитыми минутами и тем, что хотя у меня нет удовольствий и общества, я не только доволен, но часто бываю совершенно счастлив».

В мае месяце он берёт отпуск и едет в Пятигорск.

В письме к брату Сергею от 24 июня 1852 года он сообщает характерные подробности пятигорской жизни.

«Что сказать тебе о своём житье? Я писал три письма и в каждом описывал то же самое. Желал бы я тебе описать дух пятигорский, да это так же трудно, как рассказать новому человеку, в чём состоит Тула, а мы это, к несчастью, отлично понимаем. Пятигорск тоже немножко Тула, но особенного рода — кавказская. Например, здесь главную роль играют *семейные дома* и *публичные места*. Общество состоит из *помещиков* (так технически называются все приезжие), которые смотрят на здешнюю цивилизацию презрительно, и господ офицеров, которые смотрят на здешние увеселения как на верх блаженства. Со мною из штаба приехал офицер нашей батареи. Надо было видеть его восторг и беспокойство, когда мы

въезжали в город! Ещё прежде он мне много говорил о том, как весело бывает на водах, о том, как под музыку ходят по бульвару и потом будто все идут в кондитерскую и там знакомятся — даже с семейными домами. Театр, собрание, всякий год бывают свадьбы, дуэли... ну, одним словом, *чисто парижская жисть*. Как только мы вышли из тарантаса, мой офицер надел голубые панталоны с ужасно натянутыми штрипками, сапоги с огромными шпорами, эполеты, — обчистился и пошёл под музыку ходить по бульвару, потом в кондитерскую, в театр и в собрание. Но, сколько мне известно, вместо знакомства с семейными домами и невесты-помещицы с 1000 душами, он в целый месяц познакомился только с тремя оборванными офицерами, которые обыграли его дотла, и с одним семейным домом, но в котором два семейства живут в одной комнате и подают чай вприкуску. Кроме того, офицер этот в месяц издержал рублей 20 на портер и на конфеты и купил себе бронзовое зеркало для настольного прибора. Теперь он ходит в старом сюртуке без эполет, пьёт серную воду изо всех сил, как будто серьёзно лечится, и удивляется, что никак не мог познакомиться, несмотря на то, что всякий день ходил по бульвару и в кондитерскую и не жалел денег на театр, извозчиков и перчатки, — с аристократией (здесь во всякой маленькой крепостёнке есть аристократия), а аристократия, как назло, устраивает кавалькады, пикники, а его никуда не пускают. Почти всех офицеров, которые приезжают сюда, постигает та же участь, и они претворяются, будто только приехали лечиться, хромают с костылями, носят повязки, перевязки, пьянствуют и рассказывают страшные истории про черкесов. Между тем в штабе они опять будут рассказывать, что были знакомы с семейными домами и

веселились на славу; и всякий курс со всех сторон кучами едут на воды повеселиться».

Как видно из письма к тётке, в Пятигорске Лев Николаевич продолжает писать «Детство». Кроме того, постоянная внутренняя работа над самим собой не покидает его.

29 июня он записывает в своём дневнике мысль, которая вполне может служить кратким выражением всего его теперешнего мировоззрения.

«Совесть есть лучший и вернейший наш путеводитель, но где признаки, отличающие этот голос от других голосов?.. Голос тщеславия говорит так же сильно. Пример — неотмщённая обида.

Тот человек, которого цель есть собственное счастье, — дурен; тот, которого цель есть мнение других, — слаб; тот, которого цель есть счастье других, — добродетелен; тот, которого цель Бог, — велик».

Далее встречается такая мысль, развитие которой мы также находим в теперешних произведениях:

«Справедливость есть крайняя мера добродетели, к которой обязан всякий. Выше её — стремление к совершенству, ниже — порок».

2-го июля 1852 г. Лев Николаевич окончил «Детство» и через несколько дней отправил рукопись в Петербург, в редакцию «Современника».

Первоначальное заглавие этого первого литературного произведения было «История моего детства». Оно было

подписано двумя буквами «Л. Н.», и редакция долго не знала имени автора.

В Пятигорске Л. Н-ч виделся со своей сестрой Марьей Николаевной и её мужем. М. Н. лечилась на водах от ревматизма; по её рассказам, Л. Н-ч тогда увлекался спиритическими сеансами и верчением столов и занимался этим даже на бульваре, таская туда столы из кофейной.

5-го августа Лев Николаевич покидает Пятигорск и возвращается в свою станицу.

Дорогой он записывает такую интересную мысль, составляющую одну из главных основ его настоящего мировоззрения:

«Будущность занимает нас более действительности. Эта склонность хороша, ежели мы думаем о будущем того мира. Жить в настоящем, т. е. поступать наилучшим образом в настоящем, — вот мудрость».

7-го августа он приехал в Старогладовскую и, охваченный привычной и любимой им патриархальной простотой казачьей жизни, он записал в своём дневнике: «Простота — вот качество, которое я желаю приобрести больше всех других». 28-го августа он получает, наконец, долгожданное письмо от редактора «Современника». «Оно обрадовало меня до глупости», — замечает он в своём дневнике.

Вот это знаменитое письмо Некрасова, бывшего восприемником новорождённого таланта:

«Милостивый государь!

Я прочёл вашу рукопись («Детство»). Она имеет в себе настолько интереса, что я её напечатаю. Не зная продолжения, не могу сказать решительно, но мне

кажется, что в авторе её есть талант. Во всяком случае, направление автора, простота и действительность содержания составляют неотъемлемые достоинства этого произведения. Если в дальнейших частях (как и следует ожидать) будет побольше живости и движения, то это будет хороший роман. Прошу вас прислать мне продолжение. И роман ваш, и талант меня заинтересовали. Ещё я советовал бы вам не прикрываться буквами, а начать печататься прямо со своей фамилией, если только вы не случайный гость в литературе. Жду вашего скорого ответа.

Примите уверение в истинном моем уважении *Н. Некрасов*». (1)

(1) Литературные приложения к журналу "Нива". 1898, февраль, с. 337.

За этим письмом через месяц последовало второе, от 5-го сентября 1852 года:

«Милостивый государь!

Я писал вам о вашей повести, но теперь считаю своим долгом еще сказать вам о ней несколько слов. Я дал её в набор на IX книжку "Современника" и, прочитав внимательно в корректуре, а не в слепо написанной рукописи, нашёл, что эта повесть гораздо лучше, чем показалось мне с первого раза. Могу сказать положительно, что у автора есть талант. Убеждение в этом

для вас, как для начинающего, думаю, всего важнее в настоящее время. Книжка «Современника» с вашей повестью завтра выйдет в Петербурге, а к вам (я пошлю её по вашему адресу), вероятно, попадёт ещё не ранее, как недели через три. Из неё кое-что исключено (немного, впрочем)... Не прибавлено ничего. Скоро напишу вам подробнее, а теперь некогда. Жду вашего ответа и прошу вас, если у вас есть продолжение, — прислать мне его.

Н. Некрасов.

Р. S. Хотя я и догадываюсь, однако ж прошу вас сказать мне положительно имя автора повести. Это мне нужно знать и по правилам нашей цензуры».

Об этом письме Лев Николаевич так отзывается в своём дневнике: «30-го сентября. Получил письмо от Некрасова, похвалы, но не деньги».

А в деньгах он очень нуждался и ждал гонорара за своё первое произведение и, вероятно, писал об этом Некрасову, так как он получил третье письмо от Некрасова, следующего содержания:

30-го октября 1852 г. СПб.

«Милостивый государь!

Прошу извинить меня, что я замедлил с ответом на последнее ваше письмо, — я был очень занят. Что касается вопроса о деньгах, то я умолчал об этом в прежних моих письмах по следующей причине: в лучших наших журналах издавна существует обычай не платить за первую повесть начинающему автору, которого журнал впервые рекомендует публике. Этому обычаю подверглись все доселе начавшие в «Современнике» своё литературное

поприще, как-то: Гончаров, Дружинин, Авдеев и др. Этому же обычаю подверглись в своё время как мои, так и Панаева первые произведения. Я предлагаю вам то же, с условием, что за дальнейшие ваши произведения прямо назначу вам лучшую плату, какую получают наши известнейшие (весьма немногие) беллетристы, т. е. 50 р. сер. с печатного листа. Я промешкал писать вам ещё и потому, что не мог сделать вам этого предложения ранее, не проверив моего впечатления судом публики: этот суд оказался как нельзя более в вашу пользу, и я очень рад, что не ошибся в мнении своем о вашем первом произведении, и с удовольствием предлагаю вам теперь вышеописанные условия.

Напишите мне об этом. Во всяком случае, могу вам ручаться, что в этом отношении мы сойдёмся. Так как ваша повесть имела успех, то нам очень было бы приятно иметь поскорее второе ваше произведение. Сделайте одолжение, вышлите нам, что у вас готово. Я хотел выслать вам IX № «Совр.», но, к сожалению, забыл распорядиться, чтобы отпечатали лишний, а у нас весь журнал за этот год в расходе. Впрочем, если вам нужно, я могу выслать вам один или два оттиска одной вашей повести, набрав из дефектов.

Повторяю мою покорнейшую просьбу выслать нам повесть или что-нибудь вроде повести, романа или рассказа и остаюсь в ожидании вашего ответа,

Готовый к услугам *Н. Некрасов*.

Р. С. Мы обязаны знать имя каждого автора, которого сочинения печатаем, и потому дайте мне положительные известия на этот счёт. Если вы хотите, то никто, кроме нас, этого знать не будет».

Об этом событии Л. Н-ч с обычной скромностью упоминает и в письме к своей тётке Т. А. от 28 октября 1852 г.:

«Приехав с вод, я провёл довольно неприятно месяц по причине смотра, который должен был делать генерал.

Маршированья и разные стрелянья из пушек не очень приятны, особенно потому что это полностью расстраивало регулярность моей жизни.

К счастью, это продолжалось недолго, и я снова начал свой образ жизни, который состоит в охоте, писании, чтении и беседах с Николенькой. Я вошёл во вкус ружейной охоты, и так как оказалось, что я стреляю порядочно, то это занятие берёт у меня 2–3 часа в день. В России понятия не имеют, сколько и какая великолепная здесь дичь. В ста шагах от моего дома я нахожу фазанов, и за какие-нибудь полчаса я убиваю 2, 3, 4. Кроме удовольствия, это упражнение прекрасно для моего здоровья, которое, несмотря на воды, не в очень хорошем состоянии. Я не болен, но я часто страдаю простудой, то болью в горле, то зубами, которые всё не проходят, то ревматизмом, так что, по крайней мере, два дня в неделю я не выхожу из комнаты. Не думайте, что я от вас скрываю что-нибудь. Я, как был всегда, так и теперь сильного сложения, но слабого здоровья. Я думаю следующее лето опять провести на водах. Если они не поправили меня совсем, то всё-таки мне помогли. Нет худа без добра: когда я нездоров, я более усидчиво занимаюсь

писанием другого романа, который я начал. Тот, который я отослал в Петербург, напечатан в сентябрьской книжке «Современника» 1852 года под названием «Детство». Я подписал его Л. Н., и никто, кроме Николеньки, не знает, кто автор. И я не хотел бы, чтобы это узнали».

Сестра Л. Н-ча, Марья Николаевна, рассказывала мне о том впечатлении, которое произведено было этой вещью в их семейном кругу. Они жили в своём имении, недалеко от Спасского Тургенева, который у них бывал. И вот раз Тургенев приехал к ним, привёз новую книжку «Современника» и, с восторгом отзываясь о новой повести неизвестного автора, прочёл её вслух. Марья Николаевна с удивлением слушала рассказ о своих семейных событиях и удивлялась, кто бы мог знать эти интимные подробности их жизни. Они настолько были далеки от мысли, что их "Лёвочка" мог быть автором этой повести, что заподозрили в этом старшего, Николая Николаевича, который обнаруживал некоторые литературные свойства с детства и был прекрасным рассказчиком. Как видно, преданная ему тётенька Т. А. сумела сохранить поверенную ей тайну, которая была обнаружена, кажется, только по возвращении Л. Н-ча с Кавказа.

Итак, судя по второму письму Некрасова, 6-го сентября 1852 года совершилось знаменательное в истории русской литературы событие: вышло в свет первое произведение Л. Н. Толстого.

О впечатлении, произведённом в обществе писателей и читателей этой первой вещью Толстого, вот что рассказывает Головачёва-Панаева в своих воспоминаниях:

«Со всех сторон от публики сыпались похвалы новому автору, и все интересовались узнать его фамилию. В кружке же литераторов относились как-то равнодушно к возникавшему таланту, только один Панаев был в таком восхищении от «Истории моего детства», что каждый вечер читал её у кого-нибудь из своих знакомых. Тургенев трунил над Панаевым, уверяя, что все его знакомые прячутся от него на Невском, боясь, чтобы он им и там не стал читать выдержки из этого сочинения, так как Панаев успел наизусть выучить произведение нового автора» (1).

(1) «Русские писатели и артисты». Воспом. Головачёвой—Панаевой. С. 228.

Критика не скоро занялась Толстым. По крайней мере в сборнике критической литературы о Толстом Зелинского, составленном очень тщательно, первая критическая статья помечена 1854 годом. Она была напечатана в «Отечественных записках» в ноябрьской книжке, т. е. через два с лишком года после появления «Детства»; статья эта написана по поводу выхода «Отрочества», и в ней говорится об этих двух повестях.

Приводим здесь краткую, но меткую характеристику первого произведения Л. Н-ча.

«Детство, как обширная цепь разнородных поэтических и безотчётных наших представлений об окружающем, дало автору возможность взглянуть на всю деревенскую жизнь в таких же поэтических чертах. Он выбрал из этой жизни, что поражает детское воображение и ум, а талант автора был так силен, что представил эту жизнь именно такою,

как её видит ребёнок. Всё окружающее его входит в его повесть настолько, насколько оно поражает воображение дитяти, и потому все главы повести, по-видимому, совершенно разрозненные, соединяются в одно: все они показывают взгляд ребёнка на мир. Но большой талант автора виден ещё вот в чём. Казалось бы, при такой манере изображать действительную жизнь под влиянием детских впечатлений трудно дать место взгляду недетскому и вполне обрисовать характеры: подивитесь же, когда, по прочтении этих рассказов, ваше воображение живо нарисует вам и мать, и отца, и няню, и гувернёра, и всё семейство, и нарисует красками поэтическими» (2).

(2) «Отечественные записки» 1854 г., No 11 (Журналистика).

По мере того, как расходились книжки «Современника», распространялся среди читающей публики интерес ко вновь возникающему таланту.

Когда книжки «Современника» с рассказами «Детство» и «Отрочество» дошли до Достоевского в Сибирь, они и на него произвели сильное впечатление. Достоевский в письме к одному знакомому из Семипалатинска просил непременно сообщить, кто этот таинственный Л. Н.

А этот таинственный Л. Н., как нарочно, не хотел открываться и со стороны смотрел на производимый им эффект.

В октябре Лев Николаевич, живя в станице Старогладовской, набрасывает план «Романа русского помещика»; вот главная, основная мысль его: «герой ищет осуществления идеала счастья и справедливости в

деревенском быту. Не находя его, он, разочарованный, хочет искать его в семейном. Друг его наводит его на мысль, что счастье состоит не в идеале, а в постоянном жизненном труде, имеющем целью — счастье других».

К сожалению, этот план не был выполнен, но мы находим выражение этих мыслей во многих последующих произведениях Льва Николаевича.

Военная карьера, несмотря на его видное положение, не улыбалась Льву Николаевичу. Он, видимо, тяготился ею и ждал только производства в офицеры, чтобы выйти в отставку. И производство это, как нарочно, не приходило. Поступив на службу, он надеялся через полтора года быть офицером; но вот он прослужил почти год, и в конце октября приходит бумага, из которой он узнаёт, что ему нужно служить ещё три года.

Причиной этой задержки, как оказалось, была неисправность его документов. Графиня С. А. Толстая рассказывает в своих записках следующее:

«Производство Льва Николаевича в офицеры, как и вся его служба, было сопряжено с большими затруднениями и неудачами. Перед отъездом на Кавказ Лев Николаевич жил в Ясной Поляне с тётенькой Т. А. Он часто видался с братом Сергеем, который в то время был увлечен цыганами и их пением. Цыгане приезжали в Ясную, пели и сводили с ума обоих братьев. Когда Лев Николаевич почувствовал, что увлечение может довести его до неблагоприятных поступков, он вдруг, не говоря никому

ни единого слова, уехал на Кавказ, не взявши с собой и не озаботясь никакими нужными бумагами».

Эта небрежность или, лучше сказать, ненависть к бумагам не раз доставляла много хлопот Льву Николаевичу.

Потеряв терпение, он написал своей тётке Юшковой жалобу, и той, посредством письма к какому-то сановнику, удалось ускорить дело о производстве Льва Николаевича в офицеры.

24-го декабря того же года Лев Николаевич кончает рассказ «Набег» и через два дня отсылает его в редакцию «Современника».

В январе 1853 года батарея, в которой служил Лев Николаевич, выступила в поход против Шамиля.

В «Истории 20-й артиллерийской бригады» говорится при описании этого похода:

«В одном из орудий главного отряда батарейной No 4 батареи уносным фейерверкером был гр. Л. Толстой, впоследствии автор таких бессмертных произведений, как "Рубка леса", "Казачи", "Война и мир" и др."».

Отряд собрался в крепости Грозной, где, по записи Льва Николаевича, происходили кутежи и картежная игра.

"18-го января, — говорится в "Истории бригады", — отряд возвратился в Куринское. В течение последних трёх дней из 7 орудий, входивших в состав колонны, было выпущено до 800 зарядов и из них около 600 из 5 орудий батарейной No 4 батареи 20-й бригады, бывших под командой поручика Макалинского и подпоручиков Сулимовского и Лодыженского, под начальством которых состоял между прочим фейерверкер 4-го класса гр. Л. Толстой. 19-го числа он был командирован начальством с одним единорогом в укрепление Герзель-аул" (1).

(1) Янжул. "История 20-ой артиллерийской бригады".

Кроме того, Льву Николаевичу пришлось быть в деле и 18-го февраля, и тогда он подвергался серьёзной опасности и был на волосок от смерти. Когда он наводил пушку, неприятельская граната разбила лафет этой пушки, разорвавшись у его ног. К счастью, Льву Николаевичу она не причинила никакого вреда. К 1-му апреля Лев Николаевич с отрядом вернулся в Старогладовскую.

С первых шагов своей литературной деятельности Льву Николаевичу пришлось столкнуться с тем нелепым, жестоко-стихийным препятствием, которое вот уже второй век тормозит свободное развитие русской мысли и

русского художественного дарования и которое называется цензурой. В письме к брату Сергею, в мае 1853 года, Лев Николаевич пишет:

«Пишу второпях, поэтому извини за то, что письмо будет коротко и бестолково. «Детство» было испорчено, а «Набег» так и пропал от цензуры. Всё, что было хорошего, всё выкинуто или изуродовано. Я подал в отставку и на днях, т. е. месяца через полтора, надеюсь свободным человеком ехать в Пятигорск, а оттуда — в Россию».

Но в отставку выйти было не так-то легко, и в том же 1853 году летом Лев Николаевич снова подвергся большой опасности и едва избег плена.

Заимствуем подробный рассказ об этом событии из воспоминаний Полторацкого.

«13-го июня 1853 года с 5-ой и 6-ой ротой Куринского и одной ротой линейного батальона, при двух орудиях, я отправился в сквозную оказию (1) до Грозной. После привала у Ермоловского кургана, когда колонны двинулись в путь, я, поравнявшись со серединой вытянутой по дороге колонны, вдруг увидел недалеко от авангарда, налево от верхней плоскости между Хан-Кале и Грозненской башней, конную партию в 20–25 человек чеченцев, стремительно несущихся с уступа наперерез пути колонны. Стремглав бросился я к авангарду и на скаку слышал залп ружейных выстрелов, но, ещё не достигнув пятой роты, за сотню шагов, увидел уже снятое с передков орудие и поднятый над ним пальник.

(2) Так как во время войны с горцами передвижение без сильного конвоя считалось очень опасным, то время от времени такие передвижения совершались под усиленной охраной войска, и к этому передвижению приурочивались различные поручения и вообще всякого рода поездки — и такие передвижения назывались «оказией».

«Отставь, отставь, — там наши!» — кричал я что есть мочи, и, к счастью, успел остановить выстрел, уже направленный в горсть толпившихся на дороге всадников, между которыми, очевидно, попались и наши. Не успел 3-й взвод по приказанию моему броситься вперед и пробежать несколько шагов, как чеченцы пошли наутек

степью к Аргуну, и тогда по ним вдогонку были пущены две гранаты. В ту же минуту от места схватки прискакал в колонну растерянный, бледный, как смерть, барон Розен, и почти вслед за ним прибежала без седока гнедая лошадь, по форменному седлу которой артиллеристы признали её лошадью взводного офицера. В это время из-за мелких по дороге кустов показался и сам артиллерийский прапорщик Щербачёв. Молодой и краснощёкий 19-тилетний юноша Щербачев, за несколько перед тем месяцев оставивший скамью артиллерийского училища, удивлявший всех своим здоровьем, необыкновенным телосложением и силой, в эту минуту поразил нас. Он шёл медленными, но твёрдыми шагами, не хромя, не охая, и только, когда спокойно подошёл к нам, мы увидели, как он дорого поплатился чеченцам. Кровь буквально ключом била из ран его в грудь и обе ноги пулями, в живот ружейной картечью и по шее шашечным ударом. В колонне не было ни доктора, ни фельдшера, пришлось работать ротным цирюльникам, и один из них довольно быстро и ловко принялся за перевязку раненого. Между тем Розен, несколько оправившийся от первого испуга, сумел объяснить, что они впятером поехали от оказии вперёд, и что в минуту нападения горцев граф Лев Толстой, Павел Полторацкий и татарин Садо, вероятно, ускакали в Грозную, тогда как Щербачёв и он повернули лошадей навстречу идущей колонне. — «Ваше благородие, — прервал артиллерийский солдат, лежащий на вы-

соком возу сена, — там ещё на дороге кто-то лежит, и сдаётся мне, что он шевелится». Я крикнул третьему взводу: «вперёд, бегом», и сам бросился по дороге. В пятистах шагах от авангардного орудия лежал убитый знакомый нам вороной конь, а из-под него торчало изуродованное тело Павла (1). Громко стонал он и отчаянным голосом просил освободить его от невыносимой тяжести трупa. Соскочив с лошади и бросив поводья казаку, я с необычайной силой, одним удачным взмахом опрокинул труп безжизненной лошади и освободил страдальца, исходящего кровью. Все раны были нанесены ему холодным оружием, тремя ударами по голове и четырьмя по плечу. Последние были так жестоко сильны, что буквально разворотили надвое правое плечо, раскрыв всю внутренность... Я послал казака с приказанием всей колонне подвинуться сюда, и здесь уже начались перевязки и приготовление носилок.

(1) Павел Полторацкий, племянник рассказчика.

Всё описанное произошло в течение нескольких минут, давших, однако, возможность нам оказать первую помощь раненым, а грозненской кавалерии выскочить по тревоге из Грозной. Начальник гарнизона, рассмотрев с кургана спокойное положение колонны и уже скрывающихся на горизонте чеченцев, счёл излишним за ними гнаться и вернул войска в крепость, но от них отделилось несколько всадников, которые понеслись к нам в колонну, стоявшую от Грозной не более четырех верст. Прискакавшие к нам были Пистолькорс и несколько кунаков его, мирных чеченцев грозненских аулов. Общими силами соорудив для

раненых из солдатских шинелей носилки, мы уложили обоих и тронулись вперёд. Пистолькорс сообщил нам, что граф Лев Толстой с татаринном Садо, хотя и были очень ретиво преследуемы семью чеченцами, но, благодаря быстроте коней своих, оставив им в трофей одну седельную подушку, сами целы и невредимы достигли ворот крепости.

Все пятеро хотели поскорее приехать в Грозную и отделились ещё у Ермоловского кургана. Маневр этот, увы, слишком известен на Кавказе! Кто из нас, обречённый на лихом коне двигаться шаг за шагом, в оказии с пехотной частью, не уезжал вперёд? Это такой соблазн, что молодой и старый, вопреки строгому запрещению и преследованию начальством, частенько ему поддавался. И наши пять молодцов поступили так же. Отъехав от колонны на сотню шагов, они условились между собой, чтобы двое из них для освещения местности ехали бы по верхнему уступу, а остальные нижней дорогой. Только что поднялись Толстой и Садо на гребень, как увидели от Хан-Кальского леса несущуюся прямо на них толпу конных чеченцев. Не успев, по расчёту времени, безнаказанно спуститься обратно, Толстой сверху закричал товарищам о появлении неприятеля, а сам с Садо бросился в карьер по гребню уступа к крепости. Остальные внизу, не сразу поверив известию, и, конечно, не имея возможности сами увидеть горцев, несколько минут провели в бездействии, а когда уже чеченцы (из которых человек семь отделилось в погоню за Толстым с Садо) показались на уступе и ринулись вниз, то Розен, повернув лошадь, помчался назад к колонне и счастливо достиг её. За ним бросился и Щербачёв, но казённая лошадь его скакала плохо, и чеченцы, нагнав его, ранили его и выбили из седла, после

чего он пешком добрался до колонны. Хуже же всех оказалось положение Павла. Увидев чеченцев, он инстинктивно бросился вперёд по направлению к Грозной, но, тотчас же сообразив, что молодая, изнеженная и чересчур раскормленная лошадь не выскочет в жаркий день до пяти верст, отделяющих его от крепости, — он круто повернул её

назад в ту самую минуту, когда толпа неприятеля уже спустилась с уступа на дорогу, и он, выхватив шашку наголо, очертя голову (как выразился сам), хотел напролом прорваться в колонну. Но один из горцев верно направил винтовку и, выждав приближение Павла, почти в упор всадил пулю в лоб его вороному; он со всех ног повалился и прикрыл его собою. Чеченец с коня проворно нагнулся к Павлу и, выхватив у него из рук в серебро оправленную шашку, стал тащить с него ножны, но при виде бежавшего на выручку 3-го взвода, он полоснул лежащего по голове шашкой и поскакал сам наутёк. Его примеру один за другим последовали ещё шесть горцев, нанёсшие на всем скаку жестокие удары шашками по голове и открытому плечу Павла, который в недвижимом положении, под тяжестью трупа убитой лошади, истекал кровью до самой минуты моего появления» (1).

(1) Воспоминания В. А. Полторацкого. «Истор. Вестник», июль 1893, с. 672.

Из воспоминаний Берса мы узнаём ещё одну подробность этого дела, характеризующую Льва Николаевича.

«Мирный чеченец Садо, с которым ехал Л. Н-ч, был его большим другом. И незадолго перед тем они поменялись лошадьми. Садо купил молодую лошадь. Испытав её, он предоставил её своему другу Л. Н-чу, а сам пересел на его иноходца, который, как известно, не умеет скакать. В таком виде их и настигли чеченцы. Л. Н-ч, имея возможность ускакать на резвой лошади своего друга, не покинул его. Садо, подобно всем горцам, никогда не расставался с ружьём, но, как на беду, оно не было у него заряжено. Тем не менее он нацелил им на преследователей и, угрожая, покрикивал на них. Судя по дальнейшим действиям преследовавших, они намеревались взять в плен обоих, особенно Садо для мести, а потому не стреляли. Обстоятельство это спасло их. Они успели приблизиться к Грозной, где зоркий часовой издали заметил погоню и сделал тревогу. Выехавшие навстречу казаки принудили чеченцев прекратить преследование".

(2)

(2) С. А. Берс. «Воспоминания о гр. Л. Н. Толстом», с. 9.

Этот эпизод послужил Льву Николаевичу основанием для его рассказа «Кавказский пленник».

Ни опасности боевой жизни, ни припадки кутежей и игры, врывавшиеся, как ураганы, в мирную жизнь Льва Николаевича, не останавливают его внутреннего развития,

и вскоре после только что описанного случая он записывает такие мысли–правила:

«Будь прям, хотя и резок, но откровенен со всеми, но не детски откровенен без необходимости.

Воздерживайся от вина и женщин. Наслаждения так мало, не ясно, а раскаяние так велико.

Каждому делу, которое делаешь, предавайся вполне. При каждом сильном ощущении воздерживайся от движения, а обдумав раз, хотя бы и ошибочно, действуй решительно».

В половине июля 1853 года Лев Николаевич поехал в Пятигорск и, пробыв там до октября, опять возвратился в Старогладовскую.

Очевидно, однообразная служба начала ему сильно надоедать, и он с томлением ждал перемены в своём образе жизни.

Так он, между прочим, писал брату из Пятигорска 20 июля 1853 года:

«Я уже писал тебе, кажется, что я подал в отставку. Бог знает, однако, выйдет ли и когда она выйдет теперь, по случаю войны с Турцией. Это очень

беспокоит меня, потому что я теперь уже так привык к счастливой мысли поселиться скоро в деревне, что вернуться опять в Старогладовскую и ожидать до бесконечности — так, как я ожидаю всего, касающегося моей службы, — очень неприятно».

Такое же настроение проглядывает и в его письме из Старогладовской, написанном в декабре 1853 года:

«Пожалуйста, о бумагах моих напиши поскорее. Это нужно. Когда я приеду? Знает один Бог, потому что вот уже год скоро, как я только о том и думаю, как бы положить в ножны свой меч, и не могу. Но так как я принужден воевать где бы то ни было, то нахожу более приятным воевать в Турции, чем здесь, о чём и просил князя Сергея Дмитриевича, который писал мне, что он уже писал своему брату, но, что будет, не знает.

Во всяком случае, к Новому году я ожидаю перемены в своём образе жизни, который, признаюсь, невыносимо надоел мне. Глупые офицеры, глупые разговоры, больше ничего. Хоть бы был один человек, с которым бы можно было поговорить от души. Тургенев прав, «что за ирония в одиночку», сам становишься ощутительно глуп. Несмотря на то, что Николенька увёз, Бог знает зачем, гончих собак (мы с Епишкой часто называем его "швиньёй" за это), я по целым дням, с утра до вечера, хожу на охоту один с лягавой собакой. И это одно удовольствие, и не удовольствие, а одурманивающее средство. Измучаешься, проголодаешься и уснёшь, как убитый, — и день прошёл. Если будет случай или сам будешь в Москве, то купи мне Диккенса («Давид Копперфильд») на английском языке и лексикон английский Садлера, который есть в моих книгах».

За это время Лев Николаевич пишет «Отрочество» и заканчивает рассказ «Записки маркера», который и отсылает в редакцию «Современника» с сознанием недовольства поспешностью в работе.

Одно из занятий его того времени было чтение биографии Шиллера.

Возвратившись из недолгой поездки в аул Хасаф-Юрт, Лев Николаевич записывает в своём дневнике:

«Все молитвы, придуманные мною, я заменяю одним “Отче наш”. Все просьбы, которые я могу делать Богу, гораздо выше и достойнее его выражаются словами: “Да будет воля Твоя, яко же на небеси и на земли”».

Мы уже видели раньше, какие неприятности причиняла Льву Николаевичу неисправность его документов. Отметим ещё одну неудачу, постигшую его на Кавказе, из-за этих бумаг.

Вот что он пишет тётушке Т. А. из Пятигорска, в июне 1852 года:

«Я вам не говорил об этом в моём предпоследнем письме, чтобы не повторять вещи, одинаково неприятной для вас и для меня: то, что у меня постоянно является какая-то помеха во всём, что я предпринимаю. Во время той экспедиции у меня был два раза случай быть представленным к георгиевскому кресту, и я не мог его получить по причине опоздания на несколько дней этой проклятой бумаги. Я был представлен за день 18 февраля (мои именины); но должны были отказать за отсутствием этой бумаги. Список представленных был отправлен 19-го, а 20-го пришла бумага. Я вам признаюсь откровенно, что из всех военных наград я имел тщеславие добиваться именно этого маленького крестика, и что это препятствие доставило мне большое горе, тем более, что есть только одна эпоха в году для получения таких наград, и что для меня эта эпоха прошла».

Ещё два случая представились ему для получения георгиевского креста, и оба были неудачны.

Заимствую описание этих случаев из недавнего письма Л. Н-ча ко мне, в ответ на мой запрос ему по этому поводу.

«Второй случай был, когда после движения 18 февраля в нашу батарею были присланы два креста, и я с удовольствием вспоминаю, что я — не сам, а по налёку милого Алексева — согласился уступить крест ящичному рядовому Андрееву, старому добродушному солдату. Третий случай был, когда Левин, наш бригадный командир, посадил меня под арест за то, что я не был в карауле, и отказал Алексеву дать мне крест. Я был очень огорчён».

Так и не удалось Льву Николаевичу получить этого креста. В заключение нашего описания кавказской жизни Льва Николаевича приведём страничку из воспоминаний одного военного, Мих. Алекс. Янжула, служившего в 70-х годах в станице Старагладовской и заставшего ещё там свежие следы пребывания Толстого:

«В 1871 году я был выпущен в офицеры в 20-ю артиллерийскую бригаду, в ту же батарею и станицу Старагладовскую, в которой 17 лет тому назад служил и жил граф Л. Н. Толстой. Станица Старагладовская с ее типичными миловидными мамучками и удалыми гребенскими казаками и с "командирским домом, окружённым высокими старыми тополями", описанными графом Толстым в его известной повести «Казак», знакомы были мне в течение более двух десятков лет. В моё время в станице ещё свежа была память о Льве Николаевиче (там все его так называли); там же указывали и старушку Марьяну (героиню повести), и несколько стариков казаков-охотников, которые лично знали Льва Николаевича и вместе с ним охотились на фазанов и кабанов, и один из них, как известно, в 1880-х годах ездил

верхом из станицы в Ясную Поляну, чтобы повидать Льва Николаевича. В батарее я застал капитана Фролова (ныне умершего), который знал Льва Николаевича ещё фейерверкером и говорил, между прочим, что уже тогда граф обладал замечательной способностью рассказчика, увлекавшего всех своими разговорами» (1).

(1) «К биографии Л. Н. Толстого». М. А. Янжул. «Русская старина». Февраль 1900, с. 335.

Там же Янжул приводит краткую характеристику ближайшего начальника Льва Николаевича, его батареиногo командира.

«Никита Петрович Алексеев, батареиный командир графа Льва Николаевича, был всеми любим и уважаем за своё добродушие. Он слыл учёным артиллеристом, универсантом, отличался крайней религиозностью, особенно любил бывать в церкви, где по целым часам простаивал на коленях, кладя земные поклоны. К этому нужно ещё прибавить, что у Никиты Петровича недоставало одного уха, которое откусила ему однажды лошадь. К странностям Никиты Петровича нужно отнести и то ещё, что он не мог спокойно видеть, когда офицеры пили водку, в особенности же, когда это делала молодежь. Между тем, по обычаю того доброго старого времени, все офицеры ежедневно обедали у батареиногo командира. И тут Лев Николаевич нередко школьничал, делая вид, что он собирается пить водку. Тогда Никита Петрович серьёзнейшим образом начинал убеждать его не делать

этого и, по своему обыкновению, предлагал вместо водки конфеты».

Описание кавказской жизни Льва Николаевича было бы не полно, если бы мы не упомянули о его двух товарищах, Бульке и Мильтоне, двух собаках, историю которых он сам рассказал в своих «Книжках для чтения», изложив её в

целом ряде прелестных идиллических картин кавказской жизни, знакомых едва ли не каждому русскому школьнику.

Наконец пришёл долгожданный приказ о производстве Льва Николаевича в офицеры.

13 января 1854 года он сдал в станице офицерский экзамен, бывший в то время пустой формальностью, и стал собираться в отъезд.

19-го января он выехал в Россию; 2-го февраля приехал в Ясную Поляну; на пути, длившемся по тогдашнему времени около двух недель, ему пришлось испытать сильную снежную метель, давшую ему, по всей вероятности, сюжет для его рассказа. Короткое время своего пребывания в России он провёл в кругу своих братьев, тётки и друга Перфильева.

Его уже ждало назначение в Дунайскую армию, куда он вскоре и выехал, прибыв в Бухарест 14 марта 1854 года.

Закончив описание кавказского периода жизни Л. Н-ча, мы считаем нужным привести его теперешнее мнение об этом времени. Л. Н-ч с большой радостью вспоминает

это время, считая его одним из лучших периодов его жизни, несмотря на все отклонения от смутно сознаваемого им идеала. По мнению Л. Н-ча, последующая военная служба его, а особенно литературная деятельность, была постепенным нравственным падением, и только возвратясь в деревню и отдавшись всецело школьным занятиям с крестьянскими детьми, он снова почувствовал возрождение и необыкновенный подъём духа.

ГЛАВА 8.

Дунай и Севастополь

Прежде чем приступить к изложению этого периода, я считаю долгом сказать несколько слов о ходе политических событий, в связи с которыми происходили перемены и в жизни Л. Н-ча.

Шли последние годы царствования Николая. Напряжение власти достигло высшей степени, и угнетение народа и высшего общества уже вызывало глухой протест и в том, и в другом. Как всегда бывает, правительство, инстинктивно чувствуя грозящую ему опасность, бросается полусознательно во внешние предприятия, разряжая потенциально накопленную энергию насилия в кровавой бойне послушного им стада солдат, всё воспитание которых и заключается в том, чтобы уметь и хотеть стать поддержкой власти в трудные минуты её преступной жизни. Народ и общество так же полусознательно бросается на такие бойни, как тоскующий человек ищет во всём безобразии опьянения утоления грызущей его тоски.

И вот Россия, разорённая и развращённая ужасным тиранством Николая I, объявляет войну Турции 4 ноября 1853 года. Первое время русские войска действуют успешно: они вступают в пределы Турции, занимают Молдавию, а черноморский флот под начальством славного Нахимова уничтожает турецкий флот при Синопе.

Тогда в эту войну вмешиваются европейские державы — Англия, Франция, — и начинается знаменитая Крымская кампания, завершившаяся беспримерной в истории геройской защитой Севастополя. И как всегда в таких случаях, наряду с шумными проявлениями внешней жизни, идёт внутренняя

работа в душевных недрах лучших людей, как среди народа, так и высшего общества, и проявляется в выработке новых идеалов и неизбежно, хотя и слабо, выражается в либеральных общественных реформах. Вот эти-то два явления — разряжение народной энергии в геройских военных подвигах и подъём народного духа в раскрытии новых идеалов — и наложили свой отпечаток на современную этим явлениям творческую деятельность Толстого.

И так как эти два огромные явления тотчас же вступили в противоречие друг с другом, то эта творческая деятельность приняла форму высокой трагической поэзии, чем и отличаются его «Севастопольские рассказы».

Л. Н-ч., как сказано было выше, повидавшись с своими родными, отправился сначала в Дунайскую армию.

По прибытии в Бухарест он пишет своей тётке Т. А. письмо в виде дневника, в три приема, описывая кратко путешествие и первое впечатление приезда.

«13 марта. Из Курска я сделал около 2000 верст вместо 1000, как я предполагал, и я поехал через Полтаву, Балту, Кишинев, а не через Киев, что было бы крюком. До Херсонской губернии был хороший санный путь, но там я должен был бросить сани и сделать 1000 верст на перекладных по ужасной дороге до границы и от границы до Бухареста. Это дорога, не поддающаяся описанию; надо её попробовать, чтобы понять удовольствие сделать 1000 вёрст в тележке, меньшей нашей навозной. Не понимая ни слова по-молдавски и не находя никого, кто бы понимал по-русски, при этом платя за 8 лошадей вместо двух, хотя моё путешествие длилось только 9 дней, я истратил больше 200 рублей и приехал почти больной от усталости.

17 марта. Князя не было здесь (1). Вчера он только что приехал, и я сейчас был у него. Он принял меня лучше, чем я думал, совсем по-родственному. Он обнял меня, пригласил меня каждый день приходить обедать к нему и хочет оставить меня при себе, хотя это ещё не решено.

(1) Князь Горчаков, командующий Дунайской армией.

Простите, дорогая тётенька, что я вам пишу мало, — у меня ещё голова не на месте. Этот большой, красивый город, все эти представления по начальству, итальянская опера, французский театр, два молодые Горчакова,

славные малые... одним словом, я 2-х часов не сидел дома и не думал о своих занятиях.

22 марта. Вчера я узнал, что я не остаюсь при князе, но отправляюсь в Ольтеницу к своей батарее».

Через два месяца он пишет снова уже под другим настроением:

«Вы думаете, что я подвергаюсь всем опасностям войны, а я ещё не нюхал порошу и спокойно гуляю по Бухаресту, занимаюсь музыкой и ем мороженое. В самом деле, всё это время, за исключением двух недель, которые провёл в Ольтенице, где я был прикомандирован к батарее, и одной недели, которую я провёл в разъездах по Молдавии, Валахии и Бессарабии, по приказанию генерала Сержпутовского, при котором я состою теперь по особым поручениям, остальное время я оставался в Бухаресте и должен вам откровенно сознаться, этот рассеянный образ жизни, совершенно праздный, очень дорого стоящий, который я веду здесь, мне очень не нравится. Сначала меня задерживала здесь служба, а теперь я остался здесь почти на три недели из-за лихорадки, которую я схватил в дороге, но от которой, благодаря Бога, я достаточно оправился, чтобы дня через 2 или 3 присоединиться к своему генералу, который в лагере под Силистрией. О моём генерале скажу, что он, по-видимому, хороший человек и, кажется, хотя мы и мало знакомы, хорошо расположен

ко мне. Что ещё приятно, это то, что его штаб состоит большею частью из людей *comme il faut*; два сына князя

Сергея (Горчаковы), которых я здесь встретил, славные малые, особенно младший, у которого, хотя он и не выдумал пороха, много благородства в характере и прекрасное сердце. Я его очень люблю».

Затем мы приводим письмо, которое хотя написано уже из Севастополя, но относится до дунайских событий. Как увидит читатель, письмо это адресовано Львом Николаевичем сначала к тётушке Т. А., а потом к брату Николаю. По нашему мнению, письмо это должно составить страницу в истории России.

«Итак, я буду вам говорить о прошлом, о моих воспоминаниях о Силистрии. Я видел там столько интересного, поэтического и трогательного, что время, проведенное мною там, никогда не изгладится из моей памяти. Наш лагерь был расположен по ту сторону Дуная, т. е. на правом берегу, на возвышенном месте, среди превосходных садов, принадлежавших Мустафе-паше, губернатору Силистрии. Вид с этого места не только великолепен, но для всех нас большой важности. Не говоря уже о Дунае, о его островах и берегах, из которых одни были заняты нами, другие турками, с этой высоты были видны город, крепость, мелкие форты Силистрии, как на ладони. Слышны были пушечные и ружейные выстрелы, не перестававшие ни днём, ни ночью; с помощью зрительной трубы можно бы различать турецких солдат. Правда, что это странное удовольствие — смотреть, как люди убивают друг друга, но тем не менее всякий вечер и всякое утро я садился на свою повозку и целыми часами смотрел, и это делал не я один. Зрелище было поистине великолепно, особенно ночью. По ночам обыкновенно наши солдаты принимаются за траншейные работы, и турки бросаются на них, чтобы помешать им, и тогда надо

видеть и слышать эту пальбу. Первую ночь, которую я провёл в лагере, этот ужасный шум разбудил и напугал меня: я думал, что пошли на приступ, и поскорее велел оседлать мою лошадь, но те, кто провели в лагере уже несколько времени, сказали мне, что я могу быть спокоен, что эта канонада и ружейная пальба вещь обыкновенная и это шутя называется «Аллах». Тогда я снова лёг спать, но, не будучи в состоянии заснуть, я забавлялся с часами в руках, считая пушечные удары, и я насчитал 110 ударов в минуту. А между тем вблизи всё это не было так страшно, как казалось. Ночью, когда ничего не видно, это был перевод пороха, и тысячами выстрелов убивали самое большее десятка три с каждой стороны.

Позвольте мне, дорогая тётенька, дальше в этом письме обращаться к Николеньке, так как раз уже я заговорил о подробностях войны, я хотел бы продолжать это, обращаясь к человеку, который бы меня понимал и мог объяснить вам то, что для вас будет не совсем ясно.

Итак, это было обыкновенным представлением, которое мы видели каждый день, и в котором я принимал иногда участие, когда меня посылали с приказаниями в траншеи. Но бывали также и необыкновенные представления, как то, которое было накануне приступа, когда была взорвана мина в 240 пудов пороха под одним из неприятельских бастионов. Утром этого дня князь был на траншеях со всем своим штабом (так как генерал, при котором я состою, находился в его штабе, то я там был), чтобы делать окончательные распоряжения для штурма следующего дня. План штурма, слишком длинный, чтобы я мог здесь его объяснить, был так хорошо составлен, всё было так хорошо предвидено, что никто не сомневался в успехе. По

поводу этого я должен вам сказать, я начинаю восхищаться князем (впрочем, стоит только

послушать, что говорят о нём офицеры и солдаты, я не только никогда не слыхал дурного про него, но его вообще обожают).

Я видел его под огнём в первый раз в это утро. Надо было видеть эту немного комичную фигуру высокого роста, руки за спиной, фуражка на затылке, в очках, с говором, напоминающим индюка. Видно было, что он так был занят общим ходом дел, что пули и ядра не существуют для него; он выставляет себя на опасность с такой простотой, что можно подумать, что он и не знает о ней, и невольно боишься за него больше, чем за себя. И вместе с тем он даёт приказания с необыкновенной ясностью и точностью и в то же время внимателен со всяким. Это большой человек, т. е. человек способный и честный, как я понимаю это слово, человек, который всю жизнь отдал на служение родине, и не ради тщеславия, а ради долга. Я вам расскажу одну черту его характера, которая связана с историей штурма, о котором я начал рассказывать. После обеда того же дня взорвали мину, и около 600 орудий открыли огонь против форта, который хотели взять, и этот огонь продолжался всю ночь. Это зрелище и эти чувства никогда не забудешь. Вечером со всей своей свитой князь снова явился, чтобы залечь в траншеи и самому руководить штурмом, который должен был начаться в три часа ночи.

Мы были всё там же, и, как всегда накануне сражения, все мы делали вид, что о следующем дне мы не думаем больше, чем о самом обыкновенном, и у всех, я в этом уверен, в глубине души немного, а может быть даже очень, сжималось сердце при мысли о штурме. Как ты знаешь, Николенька, время, предшествующее делу, — самое неприятное, единственное, когда есть время бояться, а боязнь — одно из самых неприятных чувств. К утру, чем ближе подходил решительный момент, тем меньше становилось чувство страха, и около 3-х часов, когда мы все ожидали увидеть букет пущенных ракет, что было сигналом атаки, я пришёл в такое хорошее настроение, что если бы пришли и сказали мне, что штурм не будет, мне было бы жалко. И вот ровно за час до начала штурма приезжает адъютант фельдмаршала с приказанием снять осаду Силистрии. Я могу, не боясь обмануться, сказать, что это известие было принято всеми солдатами, офицерами и генералами, как истинное несчастье, тем более что знали через лазутчиков, которые часто приходили из Силистрии и с которыми мне часто приходилось самому разговаривать, знали, что, когда будет взят этот форт, в чём никто не сомневался, Силистрия не могла бы держаться более 2–3 дней. Не правда ли, что если кому-нибудь это известие могло доставить горе, так это князю, который во всю эту кампанию, стараясь всё делать к лучшему, в середине своей деятельности видит, что фельдмаршал вмешивается в его дела, чтобы всё испортить. Имея единственную возможность загладить этим штурмом прежние неудачи, он получает отмену в момент начала этого дела. И вот князь ни на минуту не смутился, он, такой впечатлительный, напротив, был доволен, что мог

избежать этой резни, которая лежала бы на его ответственности, и во всё время отступления, которым он руководил сам, желая уйти с последним солдатом, и которое было произведено в замечательном порядке и точности, — в этом отступлении он был веселее, чем когда-либо. Что много содействовало его хорошему расположению духа — это эмиграция около семи тысяч семейств болгар, которых мы взяли с собой, чтобы их спасти от зверства турок, зверства, которому я, несмотря на свою недоверчивость, должен был поверить. Как только мы оставили несколько болгарских деревень, которые занимали раньше, турки пришли туда и, исключая молодых женщин, годных для гарема, уничтожили

всё, что там было. Одна деревня, в которую я ходил из лагеря за молоком и фруктами, была таким образом разорена. И вот, как только князь дал знать болгарам, что кто желает — может перейти с армией через Дунай и стать русскими подданными, весь край поднимается, и все с жёнами, детьми, лошадьми, скотиной подъезжают к мосту. Но так как было невозможно взять их всех, князь был принужден отказать пришедшим последними, и надо было видеть, как это было ему тяжело. Он принимал все депутации, которые приходили от этих несчастных, разговаривал с каждой из них, старался объяснить им невозможность этого, предлагал переправиться без повозок и скотины, беря на себя заботу об их пропитании, пока они не приедут в Россию, платя из собственных

средств за частные суда для их перевоза, одним словом, делая всё, что возможно, для блага этих людей.

Да, дорогая тётенька, я желал бы очень, чтобы ваше пророчество сбылось. О чём я больше всего мечтаю, это быть адъютантом такого человека, как он, которого я люблю и уважаю от всей глубины моего сердца. Прощайте, дорогая и добрая тётенька, целую ваши ручки».

Среди этих сильных и новых ощущений Л. Н-ч не покидает и своего постоянного занятия, внутренней работы над самим собой; работа эта отражается в записях его дневника.

«7-го июля. Скромности у меня нет. Вот мой большой недостаток. Что я такое? Один из четырёх сыновей отставного подполковника, оставшийся с 7-милетнего возраста без родителей под опекой женщин и посторонних, не получивший ни светского, ни ученого образования и вышедший на волю 17-ти лет; без большого состояния, без всякого общественного положения и, главное, без правил, человек, расстроивший свои дела до последней крайности, без цели и наслаждения проведший лучшие годы своей жизни; наконец, изгнавший себя на Кавказ, чтобы бежать от долгов, а главное — привычек, а оттуда, придравшийся к каким-то связям, существовавшим между его отцом и командующим армией, перешедший в Дунайскую армию 26-ти лет прапорщиком почти без средств, кроме жалованья (потому что те средства, которые у него есть, он должен употреблять на уплату оставшихся долгов), без покровителей, без умения жить в свете, без знания службы, без практических способностей, но с огромным самолюбием. Да, вот моё общественное положение.

Посмотрим, что такое моя личность.

Я дурен собой, неловок, нечистоплотен и светски необразован. Я раздражителен, скучен для других, нескромен, нетерпим (intolerant) и стыдлив, как ребёнок. Я почти невежда. Что я знаю, тому я выучился кое-как, сам, урывками, без связи, без толку и то так мало. Я неводержан, нерешителен, непостоянен, глупо тщеславен и пылок, как все бесхарактерные люди. Я не храбр. Я не аккуратен в жизни и так ленив, что праздность сделалась для меня почти неодолимой привычкой.

Я умён, но ум мой ещё ни на чём никогда не был основательно испытан. У меня нет ни ума практического, ни ума светского, ни ума делового.

Я честен, то есть я люблю добро, сделал привычку любить его; и когда отклоняюсь от него, бываю недоволен собой и возвращаюсь к нему с удовольствием, но есть вещи, которые я люблю больше добра, — славу. Я так честолюбив и так мало чувство это было удовлетворено, что часто, боюсь, я могу выбрать между славой и добродетелью — первую, ежели бы мне пришлось выбирать из них.

Да, я нескромен, оттого-то я горд в самом себе, а стыдлив и робок в свете» (1).

(1) Архив Исторического музея.

Порой его охватывало поэтическое настроение, и он набрасывал художественные картинки.

Он остановился по делу службы в одном маленьком румынском городке, и там вечером он испытал чудное настроение, вылившееся у него в такой записи дневника:

«После обеда я облокотился на балкон и глядел на свой любимый фонарь, который так славно светит сквозь дерево. Притом же после нескольких грозowych туч, которые проходили и мочили ныне землю, осталась одна большая, закрывавшая всю южную часть неба, и какая-то приятная лёгкость и влажность в воздухе. Хозяйская хорошенькая дочка так же, как я, лежала в своём окне, облокотившись на локти. По улице прошла шарманка, и когда звуки доброго старинного вальса, удаляясь всё больше и больше, стихли совершенно, девочка до глубины души вздохнула, приподнялась и быстро отошла от окошка. Мне стало так грустно – хорошо, что я невольно улыбнулся и долго ещё смотрел на свой фонарь, свет которого заслоняли иногда качаемые ветром ветви дерева, на дерево, на забор, на небо, и всё это мне казалось ещё лучше, чем прежде».

Неудачный дунайский поход, отступление войска, скучная штабная жизнь — всё это далеко не удовлетворяло Льва Николаевича; он искал более сильной деятельности, более сильных ощущений и перепросился в крымскую армию.

20-го июля, после отступления из-под Силистрии, он уезжает в Крым. Дорога его пролегает через города Текучи, Берладд, Яссы, Херсон, Одессу, Севастополь, куда он прибывает 7-го ноября 1854 года. По дороге он хворает и лежит в больнице, чем и объясняется такой долгий путь.

По прибытии в Севастополь он был прикомандирован к 3-й легкой батарее 14-й артиллерийской бригады.

Здесь его охватывает такая масса новых впечатлений, что он сам не скоро может справиться с ними и, наконец, через две недели, 20-го ноября, пишет брату Сергею:

«Любезный друг Сережа, я, Бог знает, как виноват перед всеми вами с самого начала своего отъезда, и отчего это случилось, сам не знаю; то рассеянная жизнь, то скучное положение и расположение, то война, то кто-нибудь помешает и т. д. и т. д. Главная же причина — рассеянная и обильная впечатлениями жизнь. Столько я переузнал, переиспытал, перечувствовал в этот год, что решительно не знаешь, с чего начать описывать, да и сумеешь ли описать, как хочется. Ведь я тётеньке написал про Силистрию, а тебе и Николеньке я не напишу так, — я бы хотел вам передать так, чтобы вы меня поняли, как я хочу. Теперь Силистрия — старая песнь, теперь Севастополь, про который, я думаю, и вы читаете с замиранием сердца, и в котором я был 4 дня тому назад. Ну, как тебе рассказать всё, что я там видел, и где я был, и что делал, и что говорят пленные и раненые французы и англичане, и *больно ли им и очень ли больно*, и какие герои наши враги, особенно англичане. Рассказывать всё это будем в Ясной после или в Пирогове; а про многое ты от меня же узнаешь в печати. Каким это образом, расскажу после, теперь же дам тебе понятие о том, в каком положении наши дела в Севастополе. Город осажден с одной стороны, с южной, на которой у нас не было никаких укреплений, когда неприятель подошёл к нему. Теперь у нас на этой стороне более 500 орудий огромного калибра и несколько рядов земляных укреплений, решительно неприступных. Я провёл неделю в

крепости и до последнего дня блудил, как в лесу, между этими лабиринтами батарей. Неприятель уже более трех недель подошёл в одном месте на 80 сажень и не идёт вперёд; при малейшем движении его вперёд его засыпают градом снарядов.

Дух в войсках выше всякого описания. Во времена древней Греции не было столько героизма. Корнилов, объезжая войска, вместо «здорово, ребята!» говорил «нужно умирать, ребята, умрёте?», и войска кричали: «умрём, ваше превосходительство, ура!» И это был не эффект, а на лице каждого видно было, что не шутя, а *взаправду*, и уж 22.000 исполнили это обещание.

Раненый солдат, почти умирающий, рассказывал мне, как они брали 24-ю французскую батарею, и их не подкрепили; он плакал навзрыд. Рота моряков чуть не взбунтовалась за то, что их хотели сменить с батареи, на которой они простояли 30 дней под бомбами. Солдаты вырывают трубки из бомб. Женщины носят воду на бастионы для солдат. Многие убиты и ранены. Священники с крестами ходят на бастионы и под огнём читают молитвы. В одной бригаде, 24-го, было 160 человек, которые раненые не вышли из фронта. Чудное время! Теперь, впрочем, после 24-го, мы поуспокоились, — в Севастополе стало прекрасно. Неприятель почти не стреляет, и все убеждены, что он не возьмёт города, и это действительно невозможно. Есть три предположения: или он пойдёт на приступ, или занимает нас фальшивыми работами, или укрепляется, чтобы зимовать. Первое менее, а второе более всего вероятно. Мне не удалось ни одного раза быть в деле; но я благодарю Бога за то, что я видел этих людей и живу в это славное время. Бомбардирование 5 числа остается самым блестящим, славным подвигом не

только в русской, но во всемирной истории. Более 1500 орудий два дня действовали по городу и не только не дали сдаться ему, но не заставили замолчать и 1/200 наших батарей. Ежели, как мне кажется, в России невыгодно смотрят на эту кампанию, то потомство поставит её выше всех других; не забудь, что мы с равными, даже меньшими силами, с одними штыками и с худшими войсками в русской армии (как 6-й корпус) дерёмся с неприятелем многочисленнейшим и имеющим флот, вооружённым 3000 орудиями, отлично вооружённым штуцерами, и с лучшими его войсками. Уж я не говорю о преимуществе его генералов.

Только наше войско может стоять и побеждать (мы ещё победим, в этом я убеждён) при таких условиях. Надо видеть пленных французов и англичан (особенно последних): это молодец к молодцу, именно морально и физически, *народ brave*. Казаки говорят, что даже рубить жалко; и рядом с ними надо видеть нашего какого-нибудь егеря: маленький, вшивый, сморщенный какой-то.

Теперь расскажу, каким образом ты в печати будешь от меня же узнавать о подвигах этих вшивых и сморщенных героев. В нашем артиллерийском штабе, состоящем, как, кажется, я писал вам, из людей очень хороших и порядочных, родилась мысль издавать военный журнал, с целью поддерживать хороший дух в войске, журнал дешёвый (по 3 р.) и популярный, чтобы его читали солдаты. Мы написали проект журнала и представили его князю. Ему очень понравилась эта мысль, и он представил проект и пробный листок, который мы тоже составили, на разрешение государя. Деньги на издание авансируем я и Столыпин. Я избран редактором вместе с одним господином Константиновым, который издавал "Кавказ" и

человек опытный в этом деле. В журнале будут помещаться описания сражений, не такие сухие и лживые, как

в других журналах. Подвиги храбрости, биографии и некрологи хороших людей и преимущественно из тёмненьких; военные рассказы, солдатские песни, популярные статьи об инженерном и артиллерийском искусстве и т. д. Штука эта мне очень нравится: во-первых, я люблю это занятие, а во-вторых, надеюсь, что журнал будет полезный и не совсем скверный. — Всё это ещё предположения до тех пор, пока не узнаем ответа государя, а я, признаюсь, боюсь за него: в пробном листке, который послан в Петербург, мы неосторожно поместили две статьи, одна моя, другая Ростовцева, не совсем *православные*. Для этой же штуки мне нужно 1500 р., которые лежат в приказе и которые я просил Валерьяна (1) прислать мне. Так как я уже проболтался тебе об этом, то передай и ему.

(1) Муж сестры Льва Николаевича.

Я, слава Богу, здоров, живу весело и приятно с тех самых пор, как пришёл из-за границы. Вообще всё моё пребывание в армии разделяется на два периода: за границей скверный, — я был и болен, и беден, и одинок, — в границах приятный: я здоров, имею хороших приятелей, но всё-таки беден, деньги так и лезут.

Писать не пишу, но зато испытываю, как меня дразнит тётенька. Одно беспокоит меня: я четвёртый год живу без

женского общества, я могу совсем заглубеть и не быть способным к семейной жизни, которую я так люблю.

Прощай же, Бог знает, когда мы увидимся, ежели вы с Николенькой не вздумаете отъезжим полем завернуть как-нибудь из Тамбова в главную квартиру».

Я привёл целиком это замечательное письмо, показывающее, как молод душой был в то время Л. Н-ч, как он был способен увлекаться, и как это увлечение затемняло ему ясное представление о всём совершавшемся вокруг него. Тем с большей силой выступают на этом фоне проблески ясного сознания и пророческого вдохновения.

Очевидно, что, несмотря на силу внешних впечатлений, они не заполняли собой всей души Льва Николаевича, и в уединении, за писанием своего дневника, быть может, в блиндаже 4-го бастиона, он оставался тем же ищущим и стремящимся к идеалу, каким был всегда и есть теперь.

Тогдашнее душевное настроение его вылилось в поэтическую форму и записано в дневнике:

Когда же, когда, наконец, перестану
Без цели и страсти свои век проводить,
И в сердце глубокую чувствовать рану.
И средства не знать, как её заживить?
Кто сделал ту рану? лишь ведает Бог,
Но мучит меня от рожденья
Грядущей ничтожности горький залог,
Томящая грусть и сомненья.

23-го ноября он переезжает в Симферополь.

6-го января 1855 года он пишет тётушке Т. А. успокоительное письмо:

«Я не принимал участия в двух кровавых сражениях, бывших в Крыму, но я был в Севастополе тотчас после

сражения 24 и провёл там месяц. Больше не дерутся в открытом поле по причине зимы, которая очень сурова, особенно

теперь, но осада продолжается. Каков будет исход этой войны, один Бог знает, но, во всяком случае, Крымская кампания должна кончиться так или иначе через 3 или 4 месяца. Но увы! конец Крымской кампании не означает конца войны; напротив, кажется, что она затянется надолго.

Я говорил в моих письмах к Серёже и, кажется, Валерьяну об одном занятии, которое у меня было в виду и которое мне очень улыбалось; теперь, когда это уже дело решённое, я могу сказать. У меня была мысль создать военный журнал. Этот проект, над которым я работал в сотрудничестве со многими выдающимися людьми, был одобрен князем и был послан на усмотрение его величества; но так как у нас против всего нового интригуют, нашлись люди, которые побоялись конкуренции этого журнала; быть может, также идея этого журнала не была в видах правительства, — и государь отказал.

Эта неудача, признаюсь вам, мне доставила большое горе и много изменила мои планы. Если, Бог даст, Крымская кампания хорошо окончится, и если я не получу место, которым бы я был доволен, и если не будет войны в России, я покидаю армию и еду в Петербург в военную академию. Этот план пришёл мне в голову, во-1-х, потому что я бы не хотел бросать литературу, которою мне невозможно заниматься в этой лагерной жизни, во-

вторых, потому что мне кажется, что я становлюсь тщеславен, не то что тщеславен, но мне хочется делать хорошее, а для этого надо быть больше, чем подпоручиком. В-третьих, потому что тогда я увижу всех вас и всех моих друзей. Николенька пишет мне, что Тургенев познакомился с Машенькой, я от этого в восторге; если вы его увидите у них, скажите Вареньке, что поручаю ей обнять его от меня и сказать ему, что, хотя я его знаю только по его писаньям, у меня было бы многое, что ему сказать».

Последующая жизнь прекрасно передана Львом Николаевичем в письме к брату, написанном уже в мае 1855 года, где он даёт хронологический перечень фактов своей военной жизни за последнюю зиму 54–55 года.

«Хотя ты, верно, знаешь через наших, где и что я делал, повторяю тебе свои похождения с Кишинёва, тем более, что, может быть, для тебя будет интересно же, как я их рассказываю, и поэтому ты узнаешь, в какой я фазе нахожусь — так как уж, видно, моя судьба всегда находится в какой-нибудь фазе.

Из Кишинёва 1-го ноября я просился в Крым отчасти для того, чтобы видеть эту войну, отчасти для того, чтобы вырваться из штаба Сержпутовского, который мне не нравился, а больше всего из патриотизма, который в то время, признаюсь, сильно напал на меня. Я никуда не просился, а предоставил начальству распоряжаться моей судьбой. В Крыму прикомандировали к батарее в самый Севастополь, где я пробыл месяц весьма приятно, в кругу простых, добрых товарищей, которые бывают особенно хороши во время настоящей войны и опасности. В декабре нашу батарею отвели к Симферополю, и там я прожил полтора месяца в удобном помещичьем доме, ездил в

Симферополь танцевать и играть на фортепиано с барышнями и охотиться на Чатыр-даге с чиновниками за дикими козами. В январе опять была тасовка офицеров, и меня перевели в батарею, которая стояла лагерем в 10 верстах от Севастополя на Бельбеке. Там j'ai fait la connaissance de la mere de Кузьма (1) — самый гадкий кружок офицеров в батарее, командир, хотя и доброе, но сильное и грубое создание; никаких удобств, холод в землянках. Ни одной книги,

(1) Я познакомился с матерью Кузьмы (кузькиной матерью).

ни одного человека, с которым бы можно поговорить. И тут-то я получил 1500 рублей на журнал, который уже был отказан, и тут-то я проиграл 2500 рублей и тем доказал всему миру, что я всё-таки *пустяшный малый*, хотя предыдущие обстоятельства и могут быть приняты comme *circumstances attenuantes* (1), всё-таки очень, очень скверно. В марте стало теплее, и приехал в батарею милый, отличнейший человек Бреневский; я стал опоминаться, а 1-го апреля батарея во время самого бомбардирования пошла в Севастополь, и я совсем опомнился. Там до 15 мая, хотя и в серьёзной опасности, т. е. по 4 дня через 8 дежурным на батарее 4-го бастиона, но весна и погода отличные; впечатлений и народа пропасть, все удобства жизни, и нас собрался прекрасный кружок порядочных людей, так что эти полтора месяца останутся одним из самых моих приятных воспоминаний.

15-го мая Горчакову или начальнику артиллерии вздумалось поручить мне сформировать и командовать горным взводом в Бельбеке — 20 верст от Севастополя, чем я чрезвычайно до сих пор доволен во многих отношениях (2). Вот тебе общее описание; в следующем письме напишу подробнее о настоящем».

(1) Как смягающие вину обстоятельства.

(2) Этот перевод Л. Н-ча на Бельбек был произведен по распоряжению государя Александра II, прочитавшего в корректуре рассказ Л. Н-ча «Севастополь в декабре 1854 г.». Рассказ этот произвёл сильное впечатление на государя, и он приказал беречь молодого офицера и удалить его из опасного места. *(Прим. П. Б.)*

К этому краткому описанию мы можем прибавить, что шуточный тон письма не соответствует тем серьёзным мыслям и чувствам, которые волновали Льва Николаевича за это время.

В его дневнике от 5-го марта 1855 года записано следующее пророчество о самом себе:

«Разговор о божестве и вере навёл меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле. Привести эту мысль в исполнение, я понимаю, что могут только поколения, сознательно работающие к этой цели. Одно поколение будет завещать мысль эту следующему, и когда-нибудь фанатизм или разум приведут её в исполнение.

Действовать *сознательно* к соединению людей религией — вот основание мысли, которая, надеюсь, увлечёт меня».

Конечно, человеку, написавшему эти строки пятьдесят лет тому назад и впоследствии с такою силою и твёрдостью положившему основание для осуществления этой идеи, — такому человеку было место не в артиллерии.

Он это смутно чувствовал, и в его записках время от времени прорывается сознание того, что он создан не для военной, а для литературной карьеры. И он всё это время не оставляет своей литературной деятельности. Ещё по дороге из Румынии в Севастополь он кончает «Рубку леса», затем ещё в Севастополе начинает писать «Юность» и пишет «Севастопольские рассказы».

С 11 по 14 апреля он проводит на 4 бастионе. Сознание опасности вызывает в нём подъём духа, и он обращается к Богу с такой молитвой:

«Боже, благодарю Тебя за Твоё постоянное покровительство мне. Как верно ведёшь Ты меня к добру! И каким бы я был ничтожным созданием, ежели бы Ты оставил меня! Не остави меня, Боже, напутствуй меня, и не для

удовлетворения моих ничтожных стремлений, а для достижения вечной и великой, неведомой, не признаваемой мною цели бытия».

4-го августа 1855 года Лев Николаевич принимал, хотя и косвенное, участие в сражении при Чёрной речке. Он спешит успокоить своих родных и в письме к брату от 7-го августа 1855 года, между прочим, пишет:

«Пишу тебе несколько строк, чтобы успокоить за себя по случаю сражения 4-го, в котором я был и остался цел; впрочем, я ничего не делал, потому что моей горной артиллерии не пришлось стрелять».

В то же время, как видно из переписки Л. Н-ча с Некрасовым, он следил за русской литературой и деятельно поддерживал редакцию «Современника», собирая в Севастополе кружок сотрудников. Вот что он пишет Некрасову 30 апреля 1855 г. из Севастополя:

«Милостивый государь, Николай Алексеевич!

Вы уже должны были получить статью мою «Севастополь в декабре» и обещание статьи Столыпина. Вот она. Несмотря на дикую орфографию этой рукописи, которую вы уже сами распорядитесь исправить, ежели она будет напечатана без цензурных вырезок, чего старался всеми силами избежать автор, вы согласитесь, я надеюсь, что статей таких военных или очень мало, или вовсе не печатается у нас, к несчастью. Может быть, с этим же курьером пошлется статья Сакена, о которой ничего не говорю и которую, надеюсь, вы не напечатаете. Поправки в статье Столыпина сделаны чёрными чернилами Хрулёвым левой рукой, потому что правая ранена. Столыпин просит поместить их в выносках. Пожалуйста, если можно, поместите как мою, так и столыпинскую в июльской книжке. Теперь мы все собрались, и литературное общество падшего журнала начинает постепенно организовываться, и, как я вам писал, ежемесячно вы будете получать от меня 2, 3 или 4 статьи современного военного содержания. Лучшие два сотрудника, Бакунин и Ростовцев, ещё не успели кончить своих статей. Будьте так добры, отвечайте мне и пишите

вообще с этим курьером, адъютантом Горчакова, и с будущими, которые беспрестанно снуют от вас и сюда». (1)

(1) Литературные воспоминания Ив. Ив. Панаева с приложением писем: «Письма Л. Н. Толстого к Н. А. Некрасову». С. 414.

15-го июня он получил в Бахчисарае письмо от Панаева и книжку «Современника» с напечатанным рассказом «Севастополь в декабре». Из письма он узнал, что его рассказ читал государь.

Очевидно, рассказ этот произвёл на государя сильное впечатление, так как он приказал перевести его на французский язык. В июне же Л. Н-ч кончил рассказ «Рубка леса» и отослал его в «Современник».

В июле Л. Н-ч заканчивает новый рассказ «Севастополь в мае» и отсылает в редакцию.

С этим рассказом произошло следующее, о чём пишет Панаев Толстому из Петербурга.

«В письме моём к вам, через Столыпина доставленном, я писал к вам, что статья ваша пропущена цензурой с незначительными изменениями, и просил вас не сердиться на меня за то, что надо было прибавить несколько слов в конце для смягчения выражения... Статья «Ночь в Севастополе» (2) была уже

(2) Так назывался тогда рассказ «Севастополь в мае».

совсем отпечатана в 3.000 экземпляров, как вдруг цензор потребовал её из типографии, остановив выход номера (августовская книжка явилась поэтому в Петербурге 18 авг.), и в отсутствие моё из Петербурга (я на несколько дней ездил в Москву) представил её на прочтение председателю цензурного комитета — известному вам по Казани — Пушкину. Если вы знаете Пушкина, вы можете отчасти вообразить, что последовало. Пушкин пришёл в ярость, напал на цензора и на меня за то, что представляю в цензуру такие статьи, и собственноручно переделал её. Я между тем вернулся в Петербург и, увидав эту переделку, пришёл в ужас — и статью вовсе хотел не печатать, но Пушкин в объяснении со мною сказал, что я обязан напечатать так, как она переделана. Делать было нечего — и статья ваша изуродованная появится в сентябрьской книжке, но без букв Л. Н. Т., которые я уже не мог видеть под ней после этого. Но статья всё же была так хороша, что, даже после совершенного уничтожения её цензурою, я давал её читать Милютину, Краснокутскому и др. Всем она нравится очень, и Милютин писал мне, что грех, если я лишу читателей этой статьи и не напечатаю её даже в таком виде.

Не вините же меня, во всяком случае, за то, что статья ваша напечатана в таком виде. Я вынужден был это сделать. Если Бог приведёт нам когда-нибудь свидеться (чего я очень желаю), я объясню вам эту историю яснее. Теперь я скажу вам два слова о впечатлении, которое ваш рассказ ("Ночь") производит вообще в его первобытном виде на нас, на всех, которым я читал его... О цензуре тут речи нет.

Все находят этот рассказ сильнее первого по тонкому и глубокому анализу внутренних движений и ощущений в

людях, у которых беспрестанно смерть на носу; по той верности, с которою схвачены типы армейских офицеров, столкновения их с аристократами и взаимные их отношения друг к другу, — словом, всё превосходно, всё очерчено мастерски; но всё до такой степени обито горечью, всё так резко, ядовито, беспощадно и безотраднo, что в настоящую минуту, — когда место действия рассказа — чуть не святыня, больно для людей, которые в отдалении от этого, — рассказ мог бы произвести даже весьма неприятное впечатление.

«Рубка леса» с посвящением Тургеневу появится также в сентябре (Тургенев просил меня очень, очень благодарить вас за память о нём и внимание к нему)... И в этом рассказе, прошедшем сквозь три цензуры: кавказскую (цензор — статс-секретарь Бутков), военную (генерал-майор Стефен) и гражданскую нашу (мой цензор и Пушкин), тронуты типы офицеров и кое-что повыкинуто, к сожалению».

В сентябре Некрасов писал Толстому:

«Милостивый государь, Лев Николаевич!

Я прибыл в Петербург в половине августа, на самые плачевные для «Современника» обстоятельства. Возмутительное безобразие, в которое приведена ваша статья, испортило во мне последнюю кровь. До сей поры не могу думать об этом без тоски и бешенства. Труд-то ваш, конечно, не пропадёт... Он всегда будет свидетельствовать о силе, сохранившей способность к такой глубокой и трезвой правде среди обстоятельств, в которых не всякий бы сохранил её. Не хочу говорить, как высоко я ставлю эту статью и вообще направление вашего

таланта и то, чем он вообще силен и нов. Это именно то, что нужно теперь русскому обществу: правда, правда, которой со смертью Гоголя так мало осталось в русской литературе. Вы правы, дорожа всего бо-

лее этою стороною в вашем даровании. Эта правда, в том виде, в каком вносите вы её в нашу литературу, есть нечто у нас совершенно новое. Я не знаю писателя теперь, который бы так заставлял любить себя и так горячо себе сочувствовать, как тот, к которому пишу, и боюсь одного, чтобы время и гадость действительности, глухота и немота окружающего не сделали с вами того, что с большею частью из нас: не убили в вас энергии, без которой нет писателя, по крайней мере такого, какие теперь нужны России. Вы молоды; идут какие-то перемены, которые — будем надеяться — кончатся добром, и, может быть, вам предстоит широкое поприще. Вы начинаете так, что заставляете самых осмотрительных людей заноситься в надеждах очень далеко. Однако я отвлёкся от цели письма. Не буду вас утешать тем, что и напечатанные обрывки вашей статьи многие находят превосходными; для людей, знающих статью в настоящем виде, — это не более как набор слов без смысла и внутреннего значения. Но нечего делать! Скажу одно: что статья не была бы напечатана, если бы это не было необходимо. Но имени вашего под нею нет. "Рубка леса" прошла порядочно, хотя и из нее вылетело несколько драгоценных черт. Моё мнение об этой вещи такое: формою она точно напоминает Тургенева, но этим и оканчивается сходство; всё остальное принадлежит

вам и никем, кроме вас, не могло бы быть написано. В этом очерке множество удивительно метких замечок, и весь он нов, интересен и делен. Не пренебрегайте подобными очерками: о солдате ведь наша литература доныне ничего не сказала, кроме пошлости. Вы только начинаете, и в какой бы форме ни высказали вы всё, что знаете об этом предмете, — всё это будет в высшей степени интересно и полезно. Панаев передал мне ваше письмо, где вы обещаете нам скоро прислать "Юность". Пожалуйста, присылайте. Независимо от журнала, я лично интересуюсь продолжением вашего первого труда. Мы подготовим для "Юности" место в X или XI книге, смотря по времени, как она получится.

Деньги вам будут на днях посланы. Я поселился на зиму в Петербурге и буду рад, если вы напишете мне несколько строк при случае.

Примите уверение в моём искреннем уважении.

Н. Некрасов». (1)

(1) Четыре письма Н. А. Некрасова к Л. Н. Толстому. «Нива», Ежен. литер. прил. No 2. 1898 г.

Но, разумеется, литературные занятия были не главным времяпрепровождением Толстого. Он вёл обычную жизнь офицера и был хорошим товарищем, о чём свидетельствуют его современники и сослуживцы.

В воспоминаниях Назарьева приводится подробный рассказ бывшего товарища Толстого по Севастополю, с видимым удовольствием вспоминавшего о нём и о времени, проведённом с ним в одной батарее. Он даже

узнавал себя в одном из героев «Севастопольских рассказов».

«Так, скажу, — с блаженной улыбкой повествовал старик, — Толстой своими рассказами и наскоро набросанными куплетами одушевлял всех и каждого в трудные минуты боевой жизни. Он был, в полном смысле, душой батареи. Толстой с нами, — и мы не видим, как летит время, и нет конца общему веселью... Нет графа, укатил в Симферополь, — и все носы повесили. Пропадает день, другой, третий... Наконец возвращается... ну точь-в-точь блудный сын, — мрачный, исхудалый, недовольный собой... Отведёт меня в сторону, подальше, и начнёт покаяние. Всё расскажет: как кутил, играл, где проводил дни и

ночи, и при этом, верите ли, казнится и мучится, как настоящий преступник. Даже жалко смотреть на него — так убивается... Вот это какой был человек. Одним словом, странный и, говоря правду, не совсем для меня понятный, а с другой стороны, это был редкий товарищ, честнейшая душа, и забыть его решительно невозможно». (1)

(1) В. Н. Назарьев. Жизнь и люди былого времени. «Истор. вестн.» 1900 г. Ноябрь.

Поведение Льва Николаевича, как храброго офицера, и связи в высших сферах могли обеспечить ему выгодную военную карьеру. Этому способствовало также появление

в печати его «Севастопольских очерков», обративших на себя внимание Александра II и императрицы Александры Феодоровны, которая, как рассказывают, плакала, читая первый рассказ; но тот же дар творчества и положил предел этому успеху. Препятствием к блестящей карьере явились «Севастопольские песни». История этих двух песен такая.

В приводимом нами наиболее полном варианте первая из них была напечатана в «Русской старине», (2) по сообщению известного писателя и учёного М. И. Венюкова. Текст песни снабжён следующим его примечанием:

(2) Кроме того, мы исправили этот текст ещё по списку, доставленному нам Львом Николаевичем.

«В 1854–56 годах я находился в Академии Генерального Штаба для слушания военных наук и здесь получил из Крыма, с театра военных действий, от одного из моих прежних товарищей по батарее, Ив. Вас. Аносова, офицера 14-й артиллерийской бригады, список приводимой мною следующей песни:

СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ПЕСНЯ

Как четвёртого числа (3)
Нас нелёгкая несла
Горы отбирать, (bis)
Барон Вревский генерал (4)
К Горчакову приставал
Когда под-шафе: (bis)
«Князь, возьми ты эти горы.

Не входи со мною в ссору,
Не то донесу». (bis)
Собирались на советы
Все большие эполеты,
Даже плац-Бекок. (bis)
Полицмейстер плац-Бекок
Никак выдумать не мог,
Что ему сказать, (bis)
Долго думали, гадали,
Топографы всё писали
На большом листу, (bis)
Чисто писано в бумаги,
Да забыли про овраги,
Как по ним ходить, (bis)
Выезжали князья, графы,
А за ними топографы
На большой редут. (bis)

(3) 4-го августа 1885 года было сражение при Чёрной речке.

(4) Барон П. А. Вревский, бывший директор канцелярии военного министра, находясь в Крыму, побуждал кн. Горчакова дать решительную битву союзникам.

Князь сказал: «ступай, Липранди»,
А Липранди: «нет-с, атанде.
Нет, мол, не пойду, (bis)
Туда умного не надо.
Ты пошли туда Реада,
А я посмотрю», (bis)
Вдруг Реад возьми, да спросту,
И повёл нас прямо к мосту:
"Ну-ка, на уру". (bis)
Мартенау умолял,

Чтоб резервов обождал, —
«Нет, уж пусть идут». (bis)
На уру мы зашумели,
Да лезерты не успели,
Кто-то переврал. (bis)
На Федюхины высоты
Нас пришло всего три роты,
А пошли полки. (bis)
Наше войско небольшое,
А француза было втрое
И секурсу тьма. (bis)
Ждали — выйдет с гарнизона
Нам на выручку колонна,
Подали сигнал; (bis)
А там Сакен-генерал
Всё акафисты читал
Богородице. (bis)
Тетерёвкин-генерал.
Он всё знамя потрясал,
Вовсе не к лицу. (bis)
И пришлось нам отступать
..... (1)
Кто туда водил. (bis)

(1) Здесь, вероятно, русское народное ругательство, так как эта строчка заменена точками даже в издании Герцена.

Об авторе этой остроумной шутки-песни Аносов мне писал, — продолжает Венюков, — что общий голос армии приписывает её нашему талантливому писателю, графу Л. Н. Толстому. «Но ты понимаешь, — писал Аносов, — что об этом предмете говорить с точностью невозможно, хотя бы для того, чтобы не наделать беды Толстому, если сочинитель действительно он». (2)

(2) «Песня о Севастополе 1855 года». Сообщ. И. Венюкова. «Русская старина», февраль 1885 года. С. 440.

Позднее, также в «Русской старине», снова напечатана эта песня в приведённом нами варианте, за подписью «одного из участников в составлении "Севастопольской песни"».

Вот как этот участник рассказывает её историю:

«Граф Л. Н. Толстой был действительно одним из участников в составлении этой песни, но не автором всех куплетов, в неё вошедших. Таким образом, не совсем справедливо приписывать ему всё это остроумное произведение.

Поэтому, в видах исторической правды, сообщу вам историю происхождения этой песни как очевидец.

Во время Крымской войны часто, почти ежедневно, по вечерам собирались у начальника штаба артиллерии, Крыжановского, чины его штаба и некоторые другие офицеры. Список их помещён далее.

Обыкновенно подполковник Балюзек садился за фортепиано, прочие становились кругом, и куплеты импровизировались. Каждый вносил свою мысль и слово. Граф Л. Н. Толстой также вносил своё, но не всё. Поэтому можно сказать, что эта импровизация была дело общее, выражавшее настроение военных кружков.

Вот участники в составлении «Севастопольской песни»: подполковник Балюзек, был после тургайским

губернатором, ныне умер, садился обыкновенно за фортепиано; капитан А. Я. Фриде, ныне начальник кавказской артиллерии; штабс-капитан граф Л. Н. Толстой (1); поручик Вл. Лугинин; поручик Шубин; штабс-капитан Сержпутовский, поручик Шклярский, офицер уланского полка Н. Ф. Козляников 2-й и гусарского полка Н. С. Мусин-Пушкин». (2)

(1) Это ошибка. Лев Николаевич не был штабс-капитаном, а в отставке был только поручиком. (П. Б.)

(2) «Севастопольская песня 1855 года». «Русская старина», февраль 1884, с. 455.

(3) Сочинена несколькими лицами, но главным образом графом Л. Н. Толстым.

Нам доставлен ещё текст другой подобной песни, сложившейся, вероятно, при всех тех же обстоятельствах, хотя немного позднее. Тут же прилагаются и ноты, записанные по памяти Сергеем Львовичем Толстым. В этой песне есть несколько непечатных народных выражений. Где было можно, не изменяя смысла и размера, мы заменили их равнозначными печатными выражениями, а где нельзя было, поставили точки.

СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ПЕСНЯ (3)

На восьмое сентября 1855 г.

Как восьмого сентября
Мы за веру и царя
От француз ушли. (bis)
Князь Александра адмирал
Судёнышки затоплял
В море-пучине, (bis)

Молвил: счастья желаю,
Сам ушел к Бахчисараю -
Ну вас всех... (bis)
Сент-Арно позакопался,
Он учтиво обращался,
С заду обошёл, (bis)
И когда бы нам во вторник
Не помог святой угодник,
Всех бы нас забрал, (bis)
А Липранди-енарал
Много шанцев позабрал -
Всё не помогло, (bis)

Из-под града Кишинёва
Ждали войска пребольшова,
Войско подошло, (bis)
Данненбергу поручили,
Его очинно просили
Войска не жалеть, (bis)
Павлов, Соймонов ходили,
Круты горы обходили,
Вместе не сошлись, (bis)
А Липранди хоть видал.
Как француз одолевал, —
Руку не подал. (bis)
А князьки хоть приезжали,
Да француз не испужали, —
Всё палят с маркел. (1) (bis)
Тысяч десять положили,
От царя не заслужили
Милости большой, (bis)
Князь изволил рассердиться,
Наш солдат-де не годится,

Спину показал. (bis)
И в сражение большое
Было только два героя -
Их высочества. (bis)
Им повесили Егорья.
Повезли назад со взморья
В Питер показать. (bis)
Духовенство всё просило,
Чтоб француз позатопило,
Бурю Бог послал. (bis)
Была сиверка большая,
Но француз, не унывая,
На море стоял. (bis)
Зимой вылазки чинили,
Много войска положили,
Всё из-за туров. (2) (bis)
Посылай хоть нам Хрулёва
Выжить турка из Козлова, —
Наша не взяла. (bis)
Просит Меньшик (3) подкрепленья;
Царь ему во утешенье
Сакена (4) прислал. (bis)
Меньщик — умный адмирал,
Царю прямо отписал:
Батюшка — наш царь, (bis)
Ерофеич твой не крепок.
От твоих же малолеток
Проку ничего. (bis)

(1) Маркелы — мортиры.

(2) Мешки с песком.

(3) Князь Меньшиков.

(4) Граф Дмитрий Ерофеевич Сакен.

Царь на Меньщика серчает,
Как в ту пору захворает
На одном смотрю. (bis)
И отправился на небо. —
Верно, в нём была потреба,
Хоть давно пора. (bis)
А когда он умирал,
Своему сыну наказал:
Ты теперь смотри. (bis)
Сын же Меньщику писал:
Мой любезный адмирал,
К чёрту, брат, тебя. (bis)
Назначаю я иного —
Того князя Горчакова,
К турке что ходил. (bis)
Много войск ему не надо,
Будет пусть ему награда —
Красные штаны. (bis)

Если вспомнить те обстоятельства, при которых слагались эти песни, все эти ужасы смерти, стоны раненых, кровь, пожары, убийства, наполнявшие собою атмосферу Севастополя, невольно приходишь в удивление перед той силой духа, которая оставляла место для добродушных шуток над самими собой под постоянной угрозой страданий и смерти.

Между тем в кружке петербургских литераторов Толстой приобретал всё больше и больше известности. Он покорила Тургенева, одного из первых своих строгих критиков. Читатели помнят рассказ Головачёвой—Панаевой, приведённый в предыдущей главе, о том, как Тургенев подтрунивал над Панаевым за его восторги.

В 54-м году он, между прочим, пишет из Спасского Е. Я. Колбасину, одному из сотрудников "Современника":

«...Очень рад я успеху «Отрочества». Дай только Бог Толстому пожить, а он, надеюсь, ещё удивит нас всех — это талант первостепенный. Я здесь познакомился с его сестрой (она тоже за графом Толстым) — премилая, симпатичная женщина...» (1)

(1) Первое собрание писем И. С. Тургенева. Изд. Общ. для пособия литераторам и учёным. Спб., 1885, с. 9.

Когда же появились «Севастопольские рассказы», то и сам Тургенев приходит в восторг и так выражает его в письме к Панаеву:

Спасское. 10 июля 1855 г. (2)

(2) «Литературные воспоминания И. И. Панаева». 1888 г.

«Статья Толстого о Севастополе — чудо! Я прослезился, читая её, и кричал: ура! Мне очень лестно желание его посвятить мне свой новый рассказ. Объявление о "Современнике" я прочёл в "Московских ведомостях". Хорошо, дай Бог, чтобы вы могли сдержать ваши обещания, т. е. чтобы проходили статьи, чтобы Толстого не убили и т. д. Это вам поможет сильно. Статья Толстого произвела здесь фурор всеобщий...».

Вообще после появления "Севастопольских рассказов" Лев Николаевич становится уже на высоту первоклассных писателей. Интересный отзыв Писемского об этих рассказах приводит А. Ф. Кони в биографии И. Ф. Горбунова.

Около этого же времени, — говорит он, — Писемский, писавший тогда такую замечательную вещь, как «Тысяча душ», утрюмо сказал Горбунову о начинающем "великом писателе земли русской" по поводу «Севастопольских рассказов», отрывки из которых он только что прослушал: "этот офицеришка всех нас заклюёт, хоть бросай перо..." (1)

(1) Биографический очерк «И. Ф. Горбунов». А. Ф. Кони (Предисловие к собранию сочинений), с. 115.

После сдачи Севастополя Л. Н-ч был послан курьером в Петербург. Перед отъездом из Севастополя Льву Николаевичу пришлось приложить свои литературные силы к составлению отчёта о последнем сражении. Сам Лев Николаевич так рассказывает об этом отчёте в своей статье: «Несколько слов по поводу "Войны и мира"»:

«После потери Севастополя начальник артиллерии Крыжановский прислал мне донесение артиллерийских офицеров со всех бастионов и просил, чтобы я составил из этих более чем 20-ти донесений — одно. Я жалею, что не списал этих донесений. Это был лучший образец той наивной, необходимой военной лжи, из которой составляются описания. Я полагаю, что многие из тех товарищей моих, которые составляли тогда эти донесения, прочтя эти строки, посмеются воспоминанию о том, как

они, по приказанию начальства, писали то, чего не могли знать». (2)

(2) Несколько слов по поводу книги «Война и мир». «Русский архив», 1868 г. Выпуск 3-й, с. 115.

Бывали во время военной службы у Толстого и столкновения с начальством и сослуживцами из-за его любви к справедливости.

По обычаю тогдашнего времени, командиры частей, и в том числе командир батареи, получая казённые деньги на содержание батареи, могли оставлять себе всё, что они сэкономят. Это составляло для большинства командиров порядочный доход и, разумеется, вело ко многим злоупотреблениям.

Толстой, заметив остаток казённых денег при сведении счетов, записал его на приход, т. е. отказался от него. Этот поступок вызвал, конечно, неудовольствие других командиров. Генерал Крыжановский вызвал его и сделал ему замечание.

Об этом свидетельствует в своих воспоминаниях Н. А. Крылов, переведённый в 1856 году в 14-ю батарею, из которой только что выбыл Л. Н. Толстой. В бригаде он оставил по себе память как ездок, весельчак и силач. Так, он ложился на пол, на руки ему ставился в пять пудов мужчина, и он, вытягивая руки, подымал его вверх; на палке никто не мог его перетянуть. Он же оставил много остроумных анекдотов, которые рассказывал мастерски... Графа обвиняли в том, что он проповедовал офицерам возвращать в казну даже те остатки фуражных денег,

когда офицерская лошадь не съест положенного ей по штату (3).

(3) "Русские ведомости", 1900 г. No 136.

В Петербурге Льва Николаевича ждала иная жизнь, которой он и отдаётся со всею присущей ему молодой энергией.

ГЛАВА 9.

Петербург

Присланный курьером в Петербург, Лев Николаевич был зачислен в ракетную батарею под начальством генерала Константинова и больше уже не возвращался к армии.

Прибыв в Петербург 21-го ноября 1855 г., он сразу попал в кружок «Современника» и был принят там с распростёртыми объятиями. Вот как рассказывает Лев Николаевич об этом времени в своей «Исповеди»:

«В это время я стал писать из тщеславия, корыстолюбия и гордости. В писаниях своих я делал то же самое, что и в жизни. Для того, чтобы иметь славу и деньги, для которых я писал, надо было скрывать хорошее и высказывать дурное, — я так и делал. Сколько раз я ухитрялся скрывать в писаниях своих, под видом равнодушия и даже легкой насмешливости, те мои стремления к добру, которые составляли смысл моей жизни. И я достиг этого: меня хвалили.

Двадцати семи лет я приехал после войны в Петербург и сошёлся с писателями. Меня приняли как своего, льстили мне» (1).

(1) «Исповедь», Изд. Черткова, с. 6.

Конечно, за 20 лет до написания этих строк Лев Николаевич был обуреваем другими чувствами, хотя зачатки этого скептицизма, этого беспощадного самоанализа и тогда уже проявлялись и удивляли его товарищей.

«Современник» был журнал, основанный А. С. Пушкиным и Плетнёвым. Первый номер его вышел в 1836 году; по смерти Пушкина, в 1838–46 гг., его издавал Плетнёв, и журнал совершенно заглох. В 1847 году право на его издание было приобретено Панаевым и Н. А. Некрасовым, которые в сотрудничестве с известным критиком Белинским быстро сумели привлечь к участию в журнале лучшие литературные силы и до своего прекращения, по распоряжению властей в 1866 г., журнал этот представлял собою главный прогрессивный орган русской художественной, критической и публицистической литературы.

Ко времени появления в Петербурге Льва Николаевича Толстого более интимный кружок «Современника» составляли литераторы, изображённые на двух известных группах, т. е. Панаев, Некрасов, Тургенев, Толстой, Дружинин, Островский, Гончаров, Григорович и Соллогуб. Можно назвать ещё из не изображённых на группах В. П. Боткина, Фета и др.

Главные сотрудники «Современника» связаны были некоторыми артельными обязательствами по отношению к участию в журнале и участвовали в дележе дивиденда. Эти обязательства часто тяготили участников и служили причиной различных неприятных столкновений в литературной среде. Издатели и редакторы других журналов выпрашивали у знаменитых писателей литературные милостыни, на что обижалась администрация «Современника», и наоборот. Об одном из таких столкновений рассказывает немецкий биограф Лёвенфельд:

«Между Тургеневым и Катковым возникла ссора, в которую был запутан и Толстой, хотя отчасти и по своей вине. Тургенев был прежде прилежным сотрудником Каткова, и последнему, конечно, было неприятно потерять та-

кого выдающегося писателя. Он поручил своему брату ежедневно посещать обоих молодых писателей и просить у них статей для своего журнала. Тургенев, утомлённый этим вечным напоминанием, как-то раз обещал дать что-нибудь для Каткова, но не мог исполнить этого обещания. Катков страшно рассердился и стал публично оскорблять Тургенева, доказывая, что раз Тургенев обязался сотрудничать в его журнале, то он не имел права труды пера своего отдавать «исключительно» «Современнику». Но как член артели «Современника» он также не имел права давать обещания работать для катковского журнала. Его

мягкая, уступчивая натура и в этот раз сослужила ему недобрую службу.

Толстой вступился за своего друга. Он написал Каткову длинное письмо в оправдание Тургенева. «Кротость характера Тургенева, его любезность, — писал Толстой в письме, — заставили его дать обещание обеим сторонам». Он просил Каткова опубликовать это оправдательное письмо. Катков соглашался, но с условием опубликовать также и свой на него ответ, и прислал Толстому план своего письма. Но содержание этого ответа было такого рода, что Толстой предпочел устранить себя от вмешательства» (1).

(1) Р. Лёвенфельд. «Гр. Л. Н. Толстой». М., с. 125.

Артель «Современника» просуществовала недолго и перешла в обычную журнальную организацию.

Белинского Толстой не застал в «Современнике»; как известно, Белинский умер в 48-м году, много потрудившись над постановкой журнального дела. Его энтузиазм вдохнул душу в этот умиравший журнал и надолго упрочил его существование. Но на Льве Николаевиче прямого влияния Белинского не заметно.

С одной стороны, причиной тому простая разность эпох; Белинский был человеком 40-х годов в полном смысле этого слова, а Лев Николаевич выступил на литературную деятельность в 50-х годах и застал только продолжателей Белинского, уже не имевших его привлекательной силы. С другой стороны, та среда, в которой воспитался Толстой, не способствовала его сближению с литературными «разночинцами», как они

сами себя называли. Он держался своего кружка более близких ему по воспитанию людей и даже среди них был всегда замкнутым, независимым, большею частью протестующим и, конечно, влияющим, но мало воспринимающим влияния извне. Можно указать и на более глубокую причину, принципиальную. Хотя в 50-х годах у Л. Н-ча ещё не сложилось никакого определённого мировоззрения, но направление «Современника» никогда не привлекало его.

Наконец, по собственному признанию Льва Николаевича, на его литературную деятельность оказывали влияние всегда более художественные таланты, а не публицистические.

Наибольшее философское влияние ещё в юности он испытал со стороны Руссо. Говоря о французской литературе с посетившим его весной 1901 года парижским профессором Буайе, Лев Николаевич выразился так о своих двух учителях, Руссо и Стендале:

«К Руссо были несправедливы, величие его мысли не было признано, на него всячески клеветали. Я прочёл всего Руссо, все двадцать томов, включая "Словарь музыки". Я более чем восхищался им, — я боготворил его. В 15 лет я носил на шее медальон с его портретом вместо нательного креста. Многие страницы его так близки мне, что мне кажется, я их написал сам.

Что касается Стендаля, — продолжал он, — то я буду говорить о нем только как об авторе "Chatreuse de Parme" и "Rouge et noir". Это два великие, неподражаемые

произведения искусства. Я больше, чем кто-либо другой, многим обязан Стендалю. Он научил меня понимать войну. Перечтите в "Chatreuse de Parme" рассказ о битве при Ватерлоо. Кто до него писал войну такую, т. е. такую, какова она есть на самом деле? Помните Фабриция, переезжающего поле сражения и "ничего" не понимающего. И как гусары с лёгкостью перекидывают его через труп лошади, его прекрасной, генеральской лошади? Потом брат мой, служивший на Кавказе раньше меня, подтвердил мне правдивость стендалевских описаний. Он очень любил войну, но не принадлежал к числу тех, кто верит в Аркольский мост. "Всё это прикрасы, — говорил он мне, — а на войне нет прикрас". Вскоре после этого в Крыму мне уже легко было всё это видеть собственными глазами. Но, повторяю вам, всё, что я знаю о войне, я прежде всего узнал от Стендаля» (1).

(1) Paul Boyer. «Le Temps», 28 Aout 1901.

Укажем ещё названия некоторых произведений литературы из списка, уже цитированного нами, читающихся Л. Н-чем в это время.

В период от 20 до 35 лет на Льва Николаевича произвели наибольшее влияние следующие произведения:

<i>Название произведений.</i>	<i>Степень влияния.</i>
Гёте. "Герман и Доротея"	Очень большое.
В. Гюго.	
"Собор Парижской Богоматери"	Очень большое.
Тютчев. Стихотворения	Большое.
Кольцов. Стихотворения	Большое.

Фет. Стихотворения	Большое.
Платон (в переводе Кузена).	
Федон и Пир	Очень большое.
Одиссея и Илиада,	
читанные по-русски	Очень большое.

Таким образом, мы получаем более или менее полную картину литературного воспитания Толстого.

В кружок петербургских литераторов Лев Николаевич принёс свою сильную, художественную, впечатлительную натуру и свой непреклонный, часто задорный характер и произвёл бурю в этой спокойной, умеренной среде.

Вот как рассказывает о появлении Льва Николаевича в Петербурге Фет в своих воспоминаниях:

«Тургенев вставал и пил чай (по-петербургски) весьма рано, и в короткий мой приезд я ежедневно приходил к нему к десяти часам потолковать на просторе. На другой день, когда Захар отворил мне переднюю, я в углу заметил полусаблю с анненской лентой.

— Что это за полусабля? — спросил я, направляясь в дверь гостиной.

— Сюда пожалуйста, — вполголоса сказал Захар, указывая налево в коридор, — это полусабля графа Толстого, и они у нас в гостиной ночуют. А Иван Сергеевич в кабинете чай кушают.

В продолжение часа, проведённого мною у Тургенева, мы говорили вполголоса, из боязни разбудить спящего за дверью графа. "Вот всё время так, —

говорил с усмешкой Тургенев. — Вернулся из Севастополя с батареи, остановился у меня и пустился во все тяжкие. Кутежи, цыгане и карты во всю ночь; а затем до двух часов спит, как убитый. Старался удерживать его, но теперь махнул рукой".

В этот же приезд мы и познакомились с Толстым, но знакомство это было совершенно формально, так как я в то время ещё не читал ни одной его строки и даже не слышал о нём как о литературном имени, хотя Тургенев толковал о его рассказах из "Детства". Но с первой минуты я заметил в молодом Толстом невольную оппозицию всему общепринятому в области суждений. В это короткое время я только однажды видел его у Некрасова вечером в нашем холостом литературном кругу и был свидетелем того отчаяния, до которого доходил кипятящийся и задыхающийся от спора Тургенев на видимо сдержанные, но тем более язвительные возражения Толстого.

— Я не могу признать, — говорил Толстой, — чтобы высказанное вами было вашими убеждениями. Я стою с кинжалом или саблею в дверях и говорю: "пока я жив, никто сюда не войдёт". Вот это убеждение. А вы друг от друга стараетесь скрывать сущность ваших мыслей и называете это убеждениями.

— Зачем же вы к нам ходите? — задыхаясь и голосом, переходящим в тонкий фальцет (при горячих спорах это постоянно бывало), говорил Тургенев. — Здесь не ваше знамя! Ступайте к княгине Б-й-Б-й.

— Зачем мне спрашивать у вас, куда мне ходить! И праздные разговоры ни от каких моих приходов не превратятся в убеждения.

Припоминая теперь это едва ли не единственное столкновение Толстого с Тургеневым, которому я в то

время был свидетелем, не могу не сказать, что хотя я понимал, что дело идёт о политических убеждениях, но вопрос этот так мало интересовал меня, что я не старался вникнуть в его содержание. Скажу более. По всему слышанному мною в нашем кружке полагаю, что Толстой был прав, и что если бы люди, тяготившиеся современными порядками, были принуждены высказать свой идеал, то были бы в величайшем затруднении формулировать свои желания.

Кто из нас в те времена не знал весёлого собеседника, товарища всяческих проказ и мастера рассказывать смешной анекдот, Дмитрия Васильевича Григоровича, славившегося своими повестями и романами? Вот что, между прочим, передавал мне Григорович о столкновениях Толстого с Тургеневым по той же квартире Некрасова: "Голубчик, голубчик, — говорил, захлёбываясь и со слезами смеха на глазах, Григорович, глядя меня по плечу, — Вы себе представить не можете, какие тут были сцены. Ах, Боже мой! Тургенев пищит, пищит, зажмёт рукою горло и с глазами умирающей газели прошепчет: "не могу больше! у меня бронхит!" и громадными шагами начинает ходить вдоль трех комнат. "Бронхит, — ворчит Толстой вслед, — бронхит — воображаемая болезнь. Бронхит — это металл". Конечно, у хозяина-Некрасова душа замирает: он боится упустить и Тургенева, и Толстого, в котором чувствует капитальную опору «Современника», и приходится лавировать. Мы все взволнованы, не знаем, что говорить. Толстой в средней проходной комнате лежит на сафьяновом диване и дуется, а Тургенев, раздвинув полы своего короткого пиджака, с заложенными в карманы руками, продолжает ходить взад и вперед по всем трём комнатам. В предупреждение катастрофы подхожу к

дивану и говорю: «Голубчик Толстой, не волнуйтесь! Вы не знаете, как он вас ценит и любит!»

— Я не позволю ему, — говорит с раздувающимися ноздрями Толстой, — ничего делать мне назло! Это вот он нарочно теперь ходит взад и вперёд мимо меня и виляет своими демократическими ляжками» (1).

(1) "Мои воспоминания". А. Фет. Ч. I, с. 105.

Д. В. Григорович в своих "литературных воспоминаниях" рассказывает ещё один подобный же эпизод из времени первого знакомства Льва Николаевича с петербургскими литераторами.

«Вернувшись из Марьинского в Петербург, я встретился с графом А. Н. Толстым; знакомство моё с ним началось ещё в Москве, у Сушковых, когда он носил военную форму. Он жил в Петербурге, на Офицерской улице, в нижнем этаже небольшой квартиры, как раз окно в окно с квартирой литератора М. А. Михайлова. С ним, кажется, он не был знаком. Наём постоянного жительства в Петербурге был необъясним для меня; с первых же дней Петербург не только сделался ему несимпатичным, но всё петербургское заметно действовало на него раздражительно.

Узнав от него в самый день свидания, что он сегодня зван обедать в редакцию «Современника», и, несмотря на то, что уже печатал в этом журнале, никого там близко не знает, я согласился с ним ехать. Дорогой я счёл необходимым предупредить его, что там не следует

касаться некоторых вопросов и преимущественно удерживаться от нападок на Ж. Санд, которую он сильно не любил, между тем как перед нею фанатически преклонялись в то время многие из членов редакции. Обед прошёл благополучно; Толстой был довольно молчалив, но к концу он не выдержал. Услышав похвалу новому роману Ж. Санд, он резко объявил себя её ненавистником, прибавив, что героинь её романов, если бы они существовали в действительности, следовало бы, ради назидания, привязывать к позорной колеснице и возить по петербургским улицам. У него уже тогда выработался тот своеобразный взгляд на женщин и женский вопрос, который потом выразился с такою яркостью в романе «Анна Каренина».

Сцена в редакции могла быть вызвана его раздражением против всего петербургского, но скорее всего — его склонностью к противоречию. Какое бы мнение ни высказывалось, чем авторитетнее казался ему собеседник, тем настойчивее подзадоривало его высказать противоположное и начать резаться на словах. Глядя, как он прислушивался, как всматривался в собеседника из глубины серых, глубоко запрятанных глаз, и как иронически сжимались его губы, можно было подумать, что он как бы заранее обдумывал не прямой вопрос, но такое мнение, которое должно было озадачить, сразить своею неожиданностью собеседника. Таким представлялся мне Толстой в молодости. В спорах он доходил иногда до крайностей. Я находился в соседней комнате, когда начался у него раз спор с Тургеневым; услышав крики, я вошёл к спорившим. Тургенев шагал из угла в угол, выказывая все признаки крайнего смущения; он воспользовался отворенною дверью и тотчас же скрылся.

Толстой лежал на диване, но возбуждение его настолько было сильно, что стоило немало трудов его успокоить и отвезти домой. Предмет спора мне до сих пор остался незнаком» (2).

(2) Полн. собр. соч. Д. В. Григоровича, т. XII, с. 326.

Это оппозиционное направление Толстого хорошо видно ещё из следующего эпизода, рассказанного в воспоминаниях Г. П. Данилевского:

151

«Я познакомился с Толстым в Петербурге, в конце пятидесятых годов, в семействе одного известного скульптора-художника. Тогда автор "Севастопольских рассказов" только что приехал в Петербург и был молодым и статным артиллерийским офицером. Его очень схожий портрет того времени помещён в известной фотографической группе Левицкого, где вместе с ним изображены Тургенев, Гончаров, Григорович, Островский и Дружинин. Граф Л. Н. Толстой, как теперь помню, пошёл тогда в гостиную хозяйки дома во время чтения вслух нового произведения Герцена. Тихо став за креслом чтеца и дождавшись конца чтения, он сперва мягко и сдержанно, а потом с такою горячностью и смелостью напал на Герцена и на общее тогдашнее увлечение его сочинениями и говорил с такою искренностью и доказательностью, что в этом семействе впоследствии я уже не встречал изданий Герцена» (1).

(1) «Поездка в Ясную Поляну» Г. П. Данилевского. «Историч. вестник», март 1886 г., с. 529.

Мы знаем, что впоследствии Лев Николаевич изменил своё мнение о Герцене, и мы скажем об этом в своём месте.

Евг. Гаршин, в своих воспоминаниях о Тургеневе, передаёт следующее интересное мнение Тургенева о Толстом, дающее нам уже заранее тот элемент разъединения, который едва не привёл их отношения к роковому концу:

«У Толстого, рассказывал Тургенев, рано сказалась черта, которая затем легла в основание всего его довольно мрачного мирозерцания, мучительного прежде всего для него самого. Он никогда не верил в искренность людей. Всякое душевное движение казалось ему фальшью, и он имел привычку необыкновенно проницательным взглядом своих глаз насквозь пронизывать человека, когда ему казалось, что тот фальшивит. Иван Сергеевич говорил мне, что он никогда в жизни не переживал ничего тяжелее этого испытующего взгляда, который, в соединении с двумя-тремя словами ядовитого замечания, способен был привести в бешенство всякого человека, мало владеющего собой. Предметом своих испытаний, граф Толстой избрал между прочим (и почти исключительно) своего друга Тургенева. Ему, как рассказывал Иван Сергеевич, не давало покоя известное самообладание нашего писателя и душевная ровность в тот период блестящего расцвета его литературной деятельности, и граф Толстой как бы задался целью вывести из себя этого спокойного, доброго человека,

работающего с уверенностью, что он делает дело. Но в том-то и заключалась беда, что граф Толстой ни во что это не верил, и ему казалось, что люди, которых мы считаем добрыми, только притворяются такими или стараются проявлять в себе такое качество, что они напускают на себя уверенность в пользе взятых на себя задач.

Тургенев понимал ясно, как относится к нему граф Толстой, но хотел во что бы то ни стало выдержать характер и сохранить своё самообладание. Он стал избегать Толстого, нарочно уехал в Москву и затем к себе в деревню, но граф Толстой следовал за ним по пятам, "как влюблённая женщина", выражался Иван Сергеевич, рассказывая всю эту историю» (2).

(2) Евг. Гаршин. "Воспоминания об И. С. Тургеневе". «Исторический вестник», ноябрь 1883.

Из всех этих указаний на отношения двух писателей можно видеть, что настоящей духовной близости между ними не могло быть. Но поток освободительного течения нёс их обоих по одному направлению, и они считали себя товарищами по работе. Кроме того, принадлежность их обоих к высшему привилегированному классу, образование, первенство их талантов в их писательском кружке помимо их воли внешним образом сближало их. Но как

увидят читатели из последующего рассказа, как только они пытались перейти эту товарищескую черту, так

происходило столкновение, порой подвергавшее опасности их дорогие жизни. Надо отдать им справедливость, что и тот, и другой ясно сознавали своё взаимное расстояние, открыто в глаза и за глаза высказывали это и, что ещё ценнее, употребляли большие нравственные усилия к поддержанию если не дружественных, то добрых отношений, основанных на взаимном уважении. И в этом отношении они могут дать поучительный пример последующим поколениям.

Вот ещё рассказ Головачёвой-Панаевой, свидетельницы первых дней знакомства Тургенева и Толстого, — рассказ, подтверждающий только что высказанную мысль.

«Я должна вернуться назад и рассказать о появлении графа Льва Николаевича в кружке "Современника". Он был тогда ещё офицер и единственный сотрудник "Современника", носивший военную форму. Его литературный талант настолько уже проявился, что все корифеи литературы должны были признать его за равного себе. Впрочем, граф Толстой был не из робких людей, да и сам признавал силу своего таланта, а потому держал себя, как мне казалось тогда, с некоторою даже напускной развязностью.

Я никогда не вступала в разговоры с литераторами, когда они собирались у нас, а только молча слушала и наблюдала за всеми. Особенно мне интересно было следить за Тургеневым и Л. Н. Толстым, когда они сходились вместе, спорили или делали свои замечания друг другу, потому что оба они были очень умные и наблюдательные.

Мнения Толстого о Тургеневе я не слышала, да и вообще он не высказывал своих мнений ни о ком из литераторов, по крайней мере, при мне. Но Тургенев

напротив, имел какую-то потребность изливать о всяком свои наблюдения.

Когда Тургенев только что познакомился с графом Толстым, то сказал о нём:

— Ни одного слова, ни одного движения в нём нет естественного. Он вечно рисуется перед нами, и я затрудняюсь, как объяснить в весьма умном человеке эту глупую кичливость своим захудалым графством!

— Не заметил я этого в Толстом, — возразил Панаев.

— Ну, да ты много чего не замечаешь, — ответил Тургенев.

Через несколько времени Тургенев нашёл, что Толстой имеет претензию на донжуанство. Раз как-то граф Толстой рассказывал некоторые интересные эпизоды, случившиеся с ним на войне. Когда он ушёл, то Тургенев произнёс:

— Хоть в щёлке вари три дня русского офицера, а не вываришь из него юнкерского ухарства; каким лаком образованности ни отполируй такого субъекта, всё-таки в нём просвечивает зверство.

И Тургенев принялся критиковать каждую фразу Толстого, тон его голоса, выражение лица и закончил:

— И всё это зверство, как подумаешь, из одного желания получить отличие.

— Знаешь ли, Тургенев, — заметил ему Панаев, — если бы я тебя не знал так хорошо, то, слушая все твои нападки на Толстого, подумал бы, что ты завидуешь ему.

— В чём это я могу завидовать ему? В чём? Говори! — воскликнул Тургенев.

— Конечно, в сущности, ни в чём: твой талант равен его!.. Но могут подумать...

Тургенев засмеялся и с каким-то сожалением в голосе произнёс:

— Ты, Панаев, хороший наблюдатель, когда дело идёт о хлыщах, но не советую тебе порываться высказывать свои наблюдения вне этой сферы!

Панаев обиделся:

— Я тебе это заметил для твоей же пользы, — сказал он и ушёл.

Тургенев продолжал кипятиться и с досадой говорил:

— Только Панаеву могла прийти в голову нелепая мысль, что я мог завидовать Толстому. Уж не его ли графству?

Некрасов всё это время мало говорил, потому что болезнь горла совершенно подавляла его. Он только заметил Тургеневу:

— Да брось ты рассуждать о том, что вздумалось сказать Панаеву. Точно в самом деле можно тебя заподозрить в подобной нелепости!» (1)

(1) «Воспоминания А. Головачёвой-Панаевой». Стр. 274.

Тургенев как честная, правдивая натура много раз заявлял перед публикой своё преклонение перед талантом Толстого и даже в разговоре с одним французским писателем употребил выражение Иоанна Крестителя, обращённое им ко Христу: "я не достоин развязать ремень у обуви его". Но тем не менее отношения их никогда не были сердечно близкими.

Только лёжа на смертном одре, в своём предсмертном письме, он с нежностью и умилением, прося Льва

Николаевича вернуться к литературной деятельности, дал ему имя, которого не носил ещё до него ни один русский писатель, — имя «великого писателя русской земли». И это славное имя перейдёт в вечность.

Чтобы дать читателю представление об установившихся отношениях между Толстым и Тургеневым в первое время их знакомства, мы, забегая немного вперёд в нашем изложении, приведём несколько писем Тургенева к Толстому, писанных в том же году.

Париж, 16 ноября 1856 г.

«Любезнейший Толстой!

Письмо ваше от 15 октября ползло ко мне целый месяц — я его получил только вчера. — Я подумал хорошенько о том, что вы мне пишете, — и мне кажется, что вы не правы. Я точно не могу быть совершенно искренен с вами, потому что не могу быть совершенно откровенен; мне кажется, мы познакомились неловко и в неладную минуту, и когда увидимся опять, дело пойдёт гораздо легче и глаже. Я чувствую, что люблю вас как человека (об авторе и говорить нечего); но многое меня в вас коробит, и я нашёл под конец удобнее держаться от вас подальше. При свидании попытаемся опять пойти рука об руку — авось удастся лучше; а в отдалении (хотя это звучит довольно странно) сердце моё к вам лежит, как к брату, и я даже чувствую нежность к вам. — Одним словом, я вас люблю — это несомненно; авось из этого со временем выйдет всё хорошее.

Я слышал о вашей болезни и огорчился; а теперь прошу вас выкинуть воспоминание о ней из головы. Ведь вы

тоже мнительны — и, пожалуй, думаете о чахотке, но, ей-Богу, у вас её нет.

Очень жаль мне вашей сестры; кому бы быть здоровой, как не ей, — то есть, я хочу сказать — если кто заслуживает быть здоровой, так это она; а вместо того она всё мучится. Хорошо бы, если бы московское лечение помогло ей. Что вы не выпишете вашего брата? Что ему за охота сидеть на Кавказе?

Или он хочет сделаться великим воином? Меня дядя извещал, что вы все уже выехали в Москву, и потому я это письмо адресую в Москву на имя Боткина.

Французская фраза мне так же противна, как вам, — и никогда Париж не казался мне столь прозаически плоским. Довольство не идёт ему; я видел его в другие мгновения, — и он мне тогда больше нравился. Меня удерживает неразрывная связь с одним семейством и моя дочка, которая мне очень нравится: милая и умная девушка. Если бы не это, я бы давно уехал в Рим, к Некрасову. Я от него получил два письма из Рима; он скучает слегка, да оно и понятно — всё, что в Риме есть великого, только окружает его, он не живёт с ним; а редкими мгновениями невольного сочувствия и удивления долго пробавляться нельзя. Впрочем, ему всё-таки легче, чем в Петербурге, — и здоровье его поправляется. Фет теперь в Риме с ним; он написал несколько грациозных стихотворений и подробные путевые записки, где много детского, но также много умных и дельных слов — и

какая-то трогательно-простодушная искренность впечатлений. Он, точно, душка, как вы его называете.

Теперь о статьях Чернышевского. Мне в них не нравится их бесцеремонный и сухой тон, выражение чёрствой души; но я радуюсь возможности их появления, радуюсь воспоминаниям о Белинском, выпискам из его статей, радуюсь тому, что, наконец, произносится с уважением это имя. Впрочем, вы этой моей радости сочувствовать не можете. Анненков пишет мне, что на меня это потому действует, что я за границей, — а что у них это, мол, теперь дело отсталое; им уже теперь не того нужно. Может быть, ему на месте виднее; а мне всё-таки приятно.

Вы окончили 1-ю часть «Юности» — это славно. Как мне обидно, что я не могу услыхать её! Если вы не свихнётесь с дороги (и, кажется, нет причин предполагать это), вы очень далеко уйдёте. Желаю вам здоровья, деятельности — и свободы, главное — свободы духовной.

Что касается до моего «Фауста», не думаю, чтобы он вам очень понравился. Мои вещи могли вам нравиться — и, может быть, имели некоторое влияние на вас — только до тех пор, пока вы сами сделались самостоятельны. Теперь вам меня изучать нечего, вы видите только разность манеры, видите промахи и недомолвки; вам остаётся изучать человека, своё сердце — и действительно великих писателей. А я писатель переходного времени — и гожусь только для людей, находящихся в переходном состоянии. Ну, прощайте и будьте здоровы. Напишите мне. Мой адрес теперь: Rue de Rivoli, No 206.

Благодарю вашу сестру за два приписанных слова, кланяюсь ей и её мужу. Спасибо Вареньке (1), что она меня не забывает.

(1) Племянница Льва Николаевича.

Я было хотел поговорить с вами о здешних литераторах, — но до другого разу. Крепко жму вам руку.

Я не франкирую письма, и вы так же поступайте» (2).

(2) «Первое собр. писем Тургенева», с. 27.

8-го декабря 1856 г. он писал Толстому:

«Милый Толстой, вчера мой добрый гений провёл меня мимо почты, и я вздумал зайти справиться, нет ли мне писем *poste-restante*, хотя по моему расчёту все мои друзья уж давно должны знать мой парижский адрес, — и нашёл ваше письмо, где вы мне говорите о моём «Фаусте», — вы легко поймёте, как

мне было весело его читать. Ваше сочувствие меня искренно и глубоко обрадовало. Да и, кроме того, ото всего письма веяло чем-то кротким и ясным, какой-то дружелюбной тишиной. Мне остаётся протянуть вам руку через "овраг", который уже давно превратился в едва заметную щель, да и о ней упоминать не будем — она этого не стоит.

Боюсь я говорить вам об одном, упомянутом вами, обстоятельстве: это вещи нежные, — от слова завянуть могут, пока не созреют, а созреют, так их, пожалуй, и

молотом не раздобишь. Дай Бог, чтобы всё устроилось благополучно и правильно, а вам это может принести ту душевную оседлость, в которой вы нуждались, когда я вас знал. Вы, я вижу, теперь очень сошлись с Дружининым и находитесь под его влиянием. Дело хорошее, только, смотрите, не объестьтесь и его. Когда я был ваших лет, на меня действовали только энтузиастические натуры; но вы другой человек, чем я, да, может быть, и время теперь настало другое. С нетерпением ожидаю присылки "Б. для чт.". Мне хочется прочесть статью о Белинском, хотя, вероятно, она меня порадует мало. А что «Современник» в плохих руках — это несомненно. Панаев начал было писать мне часто, уверял, что не будет действовать «легкомысленно», и подчёркивал это слово, а теперь присмирел и молчит, как дитя, которое, сидя за столом, наклало в штаны. Я обо всём написал подробно Некрасову в Рим, и весьма может статься, что это заставит его вернуться ранее, чем он предполагал. Напишите мне, в котором именно Но «Современника» появится ваша «Юность», да, кстати, сообщите мне ваше окончательное впечатление о «Лире», которого вы, вероятно, прочли хотя бы для ради Дружинина».

У нас нет точных сведений о том, какого мнения был Л. Н-ч о короле Лире в переводе Дружинина; но из приводимого нами ниже письма Боткина к Дружинину можно видеть, что перевод Дружинина понравился Толстому (1).

(1) Первое собрание писем И. С. Тургенева", с. 33.

Вот это письмо:

«А каков успех вашего "Лиры", — пишет Боткин, — для меня он был несомненен, — но как увеличивается удовольствие, когда внутреннее убеждение делается очевидностью. Вот и знаменитая антипатия Толстого к Шекспиру, против которой так ратовал Тургенев! Не могу не отдать тебе справедливости в том, что я убеждён был, что эта антипатия исчезнет при первом же случае; но я радуюсь, что случаем этим послужил ваш прекрасный перевод» (2).

(2) Из бумаг А. В. Дружинина. XXV лет — сборник, изд. общ. пос. литерат. и учен. СПб., 1884.

Нам кажется, что радость Боткина была преждевременна, так как Л. Н-ч ещё надолго сохранил антипатию к Шекспиру. Но об этом мы скажем в одной из следующих глав.

В декабре 1856 г. Тургенев, между прочим, писал Дружинину из Парижа:

«Вы, говорят, очень сошлись с Толстым — и он стал очень мил и ясен. Очень этому радуюсь. Когда это молодое вино перебродит, выйдет напиток, достойный богов. Что его "Юность", присланная вам на суд? Я ему писал два раза, второй раз в Москву, на имя Васеньки» (3).

(3) Боткина.

«Юность» действительно была прислана на суд Дружинину; он её прочёл и ответил следующим интересным письмом:

«О "Юности" надо написать двадцать листов. Я читал её с озлоблением, с криками и ругательствами — не по случаю литературного её достоинства, а по случаю тетради и почерков. Это смешение двух рук, знакомой и незнакомой, отвлекало моё внимание и мешало толковому чтению. Будто два голоса кричали мне в ухо и нарочно меня сбивали, и я знаю, что оттого впечатление не имело должной полноты. Однако, скажу вам, что смогу. Задача ваша ужасна, и вы её выполнили очень хорошо. Ни один из теперешних писателей не мог бы так схватить и очертить волнующийся и бестолковый период юности. Для людей развитых ваша «Юность» доставляет великое наслаждение, и если кто вам скажет, что эта вещь хуже «Детства и Отрочества», тому вы можете плюнуть в физиономию. Поэзии в вашем труде бездна — все первые главы превосходны, только вступление сухо, до описания весны и выставления рам. Потом превосходен приезд в деревню, перед тем описание семейства Нехлюдовых, объяснение отца пред вступлением в брак, главы «Новые товарищи» и «Я проваливаюсь». От многих глав пахнет поэзией старой Москвы, никем ещё не подсмотренной, как должно. Кучер у барона З. удивителен (я всё говорю с точки зрения понимающих людей). Некоторые главы сухи и длинны, — например, все договоры с Дмитрием Нехлюдовым, изображение отношений к Вареньке и та,

где говорится о семейном *понимании*. Длинна также пирушка у «Яра» и перед ней визит графа с Иленькой. Рекрутство Семёнова нецензурно.

Рассуждений не бойтесь, — они все умны и оригинальны. Есть у вас попопзновение к чрезмерной тонкости анализа, которое может разрастись в большой недостаток. Тогда вы готовы сказать: у такого-то ляжка показывала, что он желает путешествовать по Индии. Обуздать эту склонность вы должны, но гасить её не надо ни за что на свете. Вся ваша работа над своим анализом должна быть в таком роде. Каждый ваш недостаток имеет свою часть силы и красоты, — почти каждое ваше достоинство имеет в себе зёрнышки недостатков.

Слог ваш совершенно подходит к этому заключению; вы сильно безграмотны, иногда безграмотностью нововводителя и сильного поэта, переделывающего язык на свой лад и навсегда, иногда же безграмотностью офицера, пишущего к товарищу и сидящего в каком-нибудь блиндаже. Наверно можно сказать, что все страницы, писанные с любовью, у вас превосходны, — но чуть вы холодеете, у вас слог путается, и являются адские обороты речи. Поэтому места, писанные с холодностью, надо бы просмотреть и выправить. Я пробовал было выправлять местами и кинул, — эту работу только вы сами можете и должны сделать. Главное только — избегайте длинных периодов. Дробите их на два и на три, не жалейте точек... С частицами речи поступайте без церемонии, слова *что, который и это* марайте десятками. При затруднении берите фразу и представляйте себе, что вы её кому-нибудь хотите передать гладким, разговорным языком.

Пора кончить, а надо бы говорить ещё много, много. Для массы читателей мало развитых «Юность» понравится гораздо менее, чем «Детство и Отрочество». За эти две вещи говорит их малый объём и некоторые эпизоды, вроде рассказа Карла Ивановича. Самый пустой человек хранит несколько детских воспоминаний и радуется, когда ему истолковывают их поэзию, но период юности (той смутной и нескладной юности, обильной щелчками и унижениями, которую вы перед нами раскрываете) обыкновенно затаивается в душе, а оттого меркнет и забывается.

Приблизить ваш труд к пониманию масс можно весьма долгим трудом, двумя-тремя забавными эпизодами и т. д., но сделать его совершенно по вкусу большинству всему — едва ли кто может.

По замыслу и по сущности труда ваша «Юность» будет гастрономическим куском лишь для людей мыслящих и чующих поэзию.

Уведомьте, переслать ли вам рукопись или отдать её Панаеву. Ею вы не сделали огромного шага в какую-нибудь новую сторону, но показали, что в вас есть и чего ещё от вас дождёшься».

Уж одно то, что Дружинин мог так писать Толстому, показывает, что между ними действительно существовали близкие отношения, и что Дружинин имел влияние на Толстого.

Пребывание Л. Н. в Петербурге с ноября по май было прервано короткой деловой поездкой в Орёл, по семейным делам.

2-го февраля Л. Н. получил известие о смерти своего брата Дмитрия; личность его ярко изображена Л. Н-чем в его воспоминаниях, приведённых нами в главе «Юность». Здесь мы приводим 2-ю часть этих воспоминаний, касающуюся его последующей жизни, болезни и смерти.

«Когда мы делились, мне, по обычаю, отдали имение, в котором жили, Ясную Поляну. Серёже, так как он был охотник до лошадей, а в Пирогове был конный завод, отдали Пирогово; он и желал этого. Митеньке и Николеньке отдали остальные два имения: Николеньке — Никольское, Митеньке — курское имение Щербачёвку, доставшуюся от Перовской. У меня теперь есть записка Митеньки о том, как он смотрел на владение крепостными. Мысли о том, что этого не должно было быть, что надо было их отпустить, среди нашего круга в 40-х годах совсем не было. Владение крепостными по наследству представлялось необходимым условием, и всё, что можно было сделать, чтобы это владение не было дурно, это то, чтобы заботиться не только о материальном, но и нравственном состоянии крестьян. И в этом смысле была написана записка Митеньки очень серьезно, наивно и искренно. Он, малый двадцати лет (когда он кончил курс), брал на себя обязанность, считал, что не мог не взять обязанность руководить нравственностью сотен крестьянских семей и руководить угрозами наказаний и наказаниями. Так, как написано у Гоголя в письме к помещику. Я думаю, и помнится, что Митенька читал эти письма, что на них указал ему острожный священник. Так и начал Митенька свои помещичьи обязанности, но, кроме этих обязанностей помещика к крепостным, в то время была другая обязанность, неисполнение которой казалось немислимо, — это служба военная или гражданская. И

Митенька, окончив курс, решил служить по гражданской части. Для того же, чтобы решить, какую именно службу избрать, он купил адрес-календарь и, рассмотрев все отрасли гражданской службы, решил, что самая важная отрасль это законодательство, и, решив это, поехал в Петербург и там поехал к статс-секретарю второго отделения во время его приёма. Воображаю удивление Танеева, когда в числе просителей он остановился перед высоким, сутуловатым, плохо одетым (Митенька всегда одевался только для того, чтобы прикрыть тело), со спокойными, прекрасными глазами, лицом, и, спросив, что ему надо, получил ответ, что он русский дворянин, кончил курс и, желая быть полезен отечеству, избрал своею деятельностью законодательство.

— Ваша фамилия?

— Граф Толстой.

— Вы нигде не служили?

— Я только окончил курс, и моё желание только в том, чтобы быть полезным.

— Какое же место вы желаете иметь?

— Мне всё равно, такое, в котором я мог бы быть полезен.

Серьёзность, искренность так поразили Танеева, что он повёз Митеньку во второе отделение и там передал его чиновнику.

Должно быть, отношение чиновников к нему и, главное, к делу, оттолкнуло Митеньку, и он не поступил во второе отделение. Знакомых у Митеньки в Петербурге не

было никого, кроме правоведа Д. А. Оболенского, который, в наше казанское время, был там стряпчим. Митенька пришел к Оболенскому на дачу. Оболенский рассказывал мне, посмеиваясь.

Оболенский был очень светский, с тактом, честолюбивый человек. Он рассказывал, как в то время, как у него были гости (вероятно, из высшего круга, которого всегда держался Оболенский), Митенька пришёл к нему через сад в фуражке, в нанковом пальто. «Я сначала не узнал его, но, когда узнал, постарался *le mettre a son aise* (1), познакомил его с гостями и предложил ему снять пальто, но оказалось, что под пальто ничего не было». Он находил это излишним. Он сел и тотчас же, не стесняясь присутствием гостей, обратился к Оболенскому с тем же вопросом, как и к Танееву: где лучше служить, чтобы принести больше пользы? Оболенскому, вероятно, с его взглядами на службу, представляющую только средство удовлетворения честолюбия, такой вопрос, вероятно, никогда не представлялся. Но, со свойственным ему тактом и внешним добродушием, он ответил, указав на различные места, и предложил свои услуги. Митенька, очевидно, остался недоволен и Оболенским, и Танеевым и уехал из Петербурга, не поступив там на службу. Он уехал к себе в деревню и в Судже, кажется, поступил в какую-то дворянскую должность и занялся хозяйством, преимущественно крестьянским.

(1) Ободрить его.

После выхода его, да и моего, из университета я потерял его из виду, знаю, что он жил тою же строгою,

воздержанною жизнью, не зная ни вина, ни табаку, ни, главное, женщин, до 26 лет, что было большою редкостью в то время. Знаю, что он сходил с монахами и странниками и очень сблизился с очень оригинальным человеком, жившим у нашего опекуна Воейкова, происхождение которого никто не знал. Звали его отцом Лукою. Он ходил в подряснике, был очень безобразен: маленький ростом, косой, чёрный, но очень чистоплотный и необыкновенно сильный. Он жал руку, как клещами, и говорил всегда как-то значительно и загадочно. Жил он у Воейкова подле мельницы, где построил маленький дом и развёл необыкновенный цветник. Этого отца Луку Митенька и водил с собой. Как я слышал, он водился ещё со стариком старого закала, скопидомом-помещиком, соседом Самойловым.

Кажется, я был тогда уже на Кавказе, когда с Митенькой случился необыкновенный переворот. Он вдруг стал пить, курить, мотать деньги и ездить к женщинам. Как это с ним случилось, не знаю, я не видал его в это время. Знаю только, что соблазнителем его был очень внешне привлекательный, но глубоко безнравственный человек, меньшей сын Исленева. Про него расскажу после, если успею. И в этой жизни он был тем же серьёзным, религиозным человеком, каким он был во всём. Ту женщину, проститутку Машу, которую он первую узнал, он выкупил и взял к себе. Но вообще эта жизнь продолжалась недолго. Думаю, что не столько дурная, нездоровая жизнь,

которую он вёл несколько месяцев в Москве, сколько внутренняя борьба укоров совести, — сгубили сразу его могучий организм. Он заболел чахоткой, уехал в деревню, лечился в городах и слёг в Орле, где я в последний раз видел его уже после севастопольской войны. Он был ужасен: огромная кисть его руки была прикреплена к двум костям локтевой части, лицо было — одни глаза и те же прекрасные, серьёзные, теперь испытывающие. Он беспрестанно кашлял и плевал и не хотел умереть, не хотел верить, что он умирал. Рябая, выкупленная им Маша, повязанная платочком, была при нём и ходила за ним. При мне, по его желанию, принесли чудотворную икону. Помню выражение его лица, когда он молился на неё.

Я был особенно отвратителен в эту пору. Я приехал в Орел из Петербурга, где я ездил в свет и был весь полон тщеславия. Мне жалко было Митеньку, но мало. Я повернулся в Орле и уехал, и он умер через несколько дней.

Право, мне кажется, мне в его смерти было самое тяжёлое то, что она помешала мне участвовать в придворном спектакле, который тогда устраивался и куда меня приглашали» (1).

(1) Из доставленных мне и отданных в моё распоряжение черновых, неисправленных записок Л. Н. Т.

12-го марта был заключен мир, и это обстоятельство облегчило возможность Льву Николаевичу получить отпуск.

Из литературных произведений за эту зиму он закончил «Метель», «Два гусара», «Встречу в отряде» и «Утро помещика». Льву Николаевичу пришлось уже разделять

свои произведения на три журнала: так, первые две повести были еще напечатаны в «Современнике», а третья уже в «Библиотеке для чтения» и четвёртая в «Отечественных записках». В это время Л. Н., между прочим, писал своей тётке Т. А.: —

«Я кончил своих «Гусаров» (повесть) и ничего нового не начал, да и Тургенев уехал, которого, я чувствую теперь, я очень полюбил, несмотря на то, что мы всё ссорились. Так что мне бывает ужасно скучно».

Из этого письма видно, что во Льве Н-че происходили постоянные колебания по отношению к Тургеневу.

Петербургская жизнь, видимо, не удовлетворяла Толстого. Вскоре по приезде он стал хлопотать об отставке и стал собираться за границу.

В письме к своему брату от 25 марта 1856 года он, между прочим, пишет:

«Я тронусь за границу на 8 месяцев; ежели пустят, то поеду. Я писал об этом Николеньке и звал его ехать. Ежели бы мы все трое устроились ехать вместе, это было бы отлично. Ежели каждый возьмёт по 1000 рублей, то можно съездить отлично. — Пиши, пожалуйста, мне. Как понравилась тебе «Метель»? Я ею недоволен — серьёзно. А теперь писать многое хочется, но решительно некогда в этом проклятом Петербурге. Во всяком случае, пустят ли меня или нет (за границу), я в апреле намерен взять отпуск и быть в деревне».

13-го мая, ещё находясь в Петербурге, он записывает в своём дневнике:

«Могучее средство к истинному счастью в жизни — это без всяких законов пускать из себя во все стороны, как паук, целую паутину любви и ловить туда всё, что попало: и старушку, и ребёнка, и женщину, и квартального».

Можно думать, что дела «Современника», и материальные, и литературные, мало удовлетворяли главных сотрудников «Современника»; причиною этого, надо полагать, была индивидуальная рознь убеждений, взглядов, привычек, воспитания и среды, всегда так мешающих общему делу, затеваемому

интеллигентными людьми. Очень скоро во всяком интеллигентном кругу происходит деление на группы: терпимое отношение между ними заменяется вскоре равнодушием, затем возникает соревнование, которое переходит в открытую вражду. Так было и с «Современником».

Уже в начале 1856 года возникает у некоторых сотрудников мысль об отделении и основании нового журнала. Об этом свидетельствует письмо Дружинина к Толстому, в котором он, между прочим, пишет:

«Пользуясь сим приливом энергии, спешу поговорить с вами о деле, которое нас занимало при последнем нашем свидании и которое теперь занимает собой многих наших читателей в Петербурге. Потребность в чисто литературном журнале с критикой, энергически противодействующего всем теперешним неистовствам и безобразиям, чувствуется в сильной степени. Гончаров, Ермин, Анненков, Майков, Михайлов, Авдеев и многие ещё встретили эту мысль с высшим одобрением. Если к этому сборищу присоединитесь вы, Островский, Тургенев и, пожалуй, наш юродивый Григорович (хотя без него можно и обойтись), то можно решительно сказать, что вся

изящная словесность, наконец, соединится в одном журнале. Какой будет этот орган, новый ли журнал или же «Библиотека для чтения», взятая компанией на аренду, придумайте и сообщите ваше предложение. Здесь большая часть клонит к аренде, и издатель согласен за недорогую цену. Я, со своей стороны, не говорю ни за, ни против, но предлагаю себя всего к услугам чисто литературного журнала, на каких бы основаниях этот журнал ни составил.

По учёной части можно считать усердными сотрудниками или просто участниками профессоров Горлова, Устрялова, Благовещенского, Березина, Зернина и теперешних сотрудников (я называю самых даровитых) Лаврова, Льховского, Коневича, Водовозова, Думинина. Тургенев, хотя работник ненадёжный, будет драгоценным человеком по своей хлопотливости и вообще по положению в литературе. Но теперь не до подробностей, главное — надо согласиться в общем и решить основные пункты.

Судя по участию, какое вы изъявили во всём деле, я рассчитываю получить от вас предложения ваши на этот счёт. Между прочим, передаю вам и следующую просьбу: так как я всё-таки остаюсь при моих настоящих занятиях, а составление нового журнала может протянуться ещё надолго, то я *en attendant* прошу у вас позволения включить вас в число сотрудников «Библиотеки для чтения». Не располагайте всеми вашими статьями, не оставивши для меня к осени какой-нибудь вещи, по вашему усмотрению, на условиях, какие вы сами назначите. Надоедать же вам на этот счёт я не стану, зная, что вы и без моих упрашиваний сделаете для меня всё от вас зависящее.

Черкните мне несколько слов обо всём этом и вообще о вашем житье, предположениях и о здоровье Марьи Николаевны, которой передайте мой низкий и усердный поклон. Да сообщите ваш адрес. По делу о новом журнале нам необходимо списываться, я боюсь, чтобы опять силы не раздробились, а их достаточно только на одно хорошее издание. Всё равно, на каком основании предприятие будет задумано, лишь бы мы все в нём собрались. Поэтому летом, когда вы будете часто видеться с Тургеневым, постарайтесь взять над ним влияние и направить сего милейшего, но шаткого... к одной общей цели. По всему, что он мне говорил стократно, его должна занять мысль о журнале такого рода, но как полагаться на то, что им было высказываемо? Пусть он сообразит, до какой похабной степени доведены наши журналы раздробле-

нием сил: один «Русский вестник» держался хорошо, и тот вылинял с отделением «Атеней», «Атеней» же все-таки бледен. Про Петербург и говорить нечего».

17-го мая Л. Н-ч уезжает в Москву.

26-го мая он проводит день в семье доктора Берса, женатого на его подруге детства, Иславиной, и жившего тогда на даче под Москвой, в Покровском. В дневнике Льва Николаевича есть такая краткая фраза об этом посещении:

«Дети нам прислуживали. Что за милые, веселые девочки».

Одна из них, младшая, стала через 6 лет его женой.

Затем он продолжает путь и 28 мая приезжает в Ясную Поляну. На другой день он пишет брату, Сергею, письмо, в котором, между прочим, говорит следующее:

«В Москве я пробыл 10 дней... чрезвычайно приятно, без шампанского и цыган, а немножко влюблённый — в кого, расскажу после».

По приезде в Ясную он, конечно, едет здороваться с соседями, к сестре Марье Николаевне, к Тургеневу и другим.

По двум следующим письмам к брату мы видим, что в конце лета Льва Николаевича постигла серьёзная болезнь. Он пишет брату в начале сентября 1856 года:

«Теперь только, в 9 часов вечера, понедельник, могу дать тебе хороший ответ, а то всё было хуже и хуже; привозили двух докторов, пускали ещё 40 пиявок, но сию минуту только я заснул и, проснувшись, почувствовал себя значительно лучше. Раньше дней 5–6 всё-таки и думать нельзя мне ехать. Так до свидания; пожалуйста, уведомя, когда ты уедешь и точно ли есть большие упущения у тебя в хозяйстве, и не очень без меня выбивай места. Собак, может быть, пошлю завтра».

В письме от 15-го сентября он, между прочим, сообщает:

«Любезный друг Серёжа. Здоровье моё и поправилось, и нет. Боли той нет и воспаления нет, но какая-то тяжесть в груди, покалывает и к вечеру болит. Может быть, оно и пройдёт понемногу само собой, но я не скоро решусь ехать в Курск, и ежели не скоро, то и совсем нечего ехать. Скорее, ежели недели две не будет лучше, я съезжу в Москву».

Вскоре он снова перебрался в Петербург, откуда писал брату 10-го ноября 1856 года:

«Извини, любезный друг Серёжа, что пишу два слова, — всё некогда. Мне всё неудачи с моего отъезда, никого нет здесь, кого я люблю. В «Отечественных записках», говорят, сильно обругали меня за военные рассказы, — я ещё не читал, но, главное, Константинов объявил мне, только что я приехал, что великий князь Михаил, узнав, что я будто бы сочинил песню, недоволен особенно тем, что будто бы я учил ей солдат. Это просто гнусно. Я объяснялся по этому случаю с начальником штаба. Хорошо только то, что здоровье моё хорошо, и что Шипулинский сказал, что у меня грудь здоровёшенька».

26-го ноября 1856 года Лев Николаевич вышел в отставку. Мы можем упомянуть здесь об одном добром деле, сделанном им в конце своей службы.

Командир батареи, в которой служил Лев Николаевич, штабс-капитан Кореницкий, после войны должен был быть предан суду, но благодаря влиянию и хлопотам Льва Николаевича был от этого избавлен.

С выходом Льва Николаевича в отставку начинается новый период его жизни, литературно-общественный, с прорывающимся стремлением к личному счастью.

Несмотря на свою резкость суждений, на непризнание авторитетов, Л. Н. Толстой был желанным гостем и драгоценным членом литературного кружка «Современника».

Но самого Л. Н-ча эта среда далеко не удовлетворяла. И оно не могло быть иначе. Стоит прочесть воспоминания литераторов того времени, как, например, Герцена,

Панаева, Фета и др., самого разнородного направления, чтобы прийти к весьма грустным выводам о нравственной слабости этих людей, мнивших себя руководителями человечества; вспомните некрасовские обеды, попойки Герцена, Кетчера и Огарёва, тургеневскую утончённую еду, все эти дружеские беседы, немыслимые тогда без большого количества шампанского, охоты, карт и т. д., — и вам горько станет за праздность и низменность интересов этих людей, не выдавших всего зла этих оргий, перемешанных с проповедью народолюбия и всяческого прогресса. Среди всего этого бесстыдства, продолжающегося, быть может, в иной форме и до сего дня, раздался лишь один голос обличения и самобичевания человека, душа которого не могла вынести этого самообмана. Это был голос А. Н. Толстого.

В своей исповеди он даёт такую картину нравов тогдашнего литературного общества, т. е. общества конца 50-х и начала 60-х годов. Вот его слова:

«И не успел я оглянуться, как сословные писательские взгляды на жизнь тех людей, с которыми я сошёлся, усвоились мною и уже совершенно изгладили во мне все мои прежние попытки сделаться лучше. Взгляды эти под распущенность моей жизни подставили теорию, которая её оправдывала.

Взгляды на жизнь этих людей, моих сотоварищей по писанию, состояли в том, что жизнь вообще идёт развиваясь, и что в этом развитии главное участие принимаем мы, люди мысли, а из людей мысли главное влияние имеем мы — художники, поэты. Наше призвание — учить людей. Для того же, чтобы не представился тот естественный вопрос самому себе: что я знаю и чему мне учить, — в теории этой было выяснено, что этого и не

нужно знать, а что художник и поэт бессознательно учат. Я считался чудесным художником и поэтом, и потому мне очень естественно было усвоить эту теорию. Я — художник, поэт — писал и учил, сам не зная чему. Мне за это платили деньги, у меня было прекрасное кушанье, помещение, женщины, общество; у меня была слава. Стало быть, то, чему я учил, было очень хорошо.

Вера эта в значение поэзии и в развитие жизни была вера, и я был одним из жрецов её. Быть жрецом её было очень приятно и выгодно. И я довольно долго жил в этой вере, не сомневаясь в её истинности. Но на второй и в особенности на третий год такой жизни я стал сомневаться в непогрешимости этой веры и стал её исследовать. Первым поводом к сомнению было то, что я стал замечать, что жрецы этой веры не все были согласны между собой. Одни говорили: мы — самые хорошие и полезные учителя; мы учим тому, что нужно, а другие учат неправильно. А другие говорили: нет — мы настоящие, а вот вы учите неправильно. И они спорили, ссорились, бранились, обманывали, плутовали друг против друга.

Кроме того, было много между нами людей и не заботящихся о том, кто прав, кто не прав, а просто достигающих своих корыстных целей с помощью этой нашей деятельности. Все это заставило меня усомниться в истинности этой веры.

Кроме того, усомнившись в истинности самой веры писательской, я стал внимательнее наблюдать жрецов её и убедился, что почти все жрецы этой веры, писатели, были люди безнравственные и в большинстве люди плохие,

ничтожные по характерам — много ниже тех людей, которых я встречал в моей прежней разгульной и военной жизни, но самоуверенные и довольные собой, как только могут быть довольны люди совсем святые или такие, которые и не знают, что такое святость. Люди эти мне опротивели, и сам себе я опротивел, и я понял, что вера эта — обман.

Но странно то, что, хотя всю ложь этой веры я понял скоро и отрёкся от неё, но от чина, данного мне этими людьми, — от чина художника, поэта, учителя — я не отрёкся. Я наивно воображал, что я поэт, художник и могу учить всех, сам не зная, чему я учу. Я так и делал.

Из сближения с этими людьми я вынес новый порок — до болезненности развившуюся гордость и сумасшедшую уверенность в том, что я призван учить людей, сам не зная чему» (1).

(1) «Исповедь». Изд. Черткова.

Тем не менее, живя в кругу этих людей, Толстой проникался их интересами и был одним из деятельных участников их товарищеских предприятий. Так, одно из важных литературных учреждений — "общество пособия литераторам и учёным", так называемый "литературный фонд", — во многом обязано ему своим возникновением. Обыкновенно считают Дружинина основателем этого фонда. В дневнике же Льва Николаевича мы находим такую записку:

«2-го января 1857 года. Писал проект фонда у Дружинина».

Таким образом, к числу основателей фонда можно с полным правом присоединить имя Толстого.

К этому времени следует отнести более основательное знакомство Льва Николаевича с произведениями Пушкина и увлечение им.

По рассказам Льва Николаевича, он серьёзно оценил Пушкина, прочтя французский перевод, сделанный Мериме, «Цыган» Пушкина; чтение этого произведения, изложенного в прозаической форме, с особенной силой показало Льву Н-чу всю силу поэтического гения Пушкина. В дневнике Льва Николаевича от 4-го января 1857 года находим следующую запись:

«Обедал у Боткина с одним Панаевым; он читал мне Пушкина; я пошёл в комнату Боткина и там написал письмо Тургеневу, потом сел на диван и зарыдал беспричинными, но блаженными, поэтическими слезами. Я решительно счастлив всё это время, упиваясь быстротой морального движения вперёд».

И эта "быстрота морального движения вперед" не позволила Льву Николаевичу удовлетвориться этим сообществом и этой деятельностью, и он стал жадно искать какого-либо выхода. И как всегда мятущийся дух проявляет беспокойство и во внешних действиях, так и Толстой проявлял беспокойную деятельность, и одним из актов этой деятельности была поездка его за границу, по-видимому, без определённой цели. Вот что он говорит об этом в «Исповеди», с присущей ему искренностью, судя себя и окружающую его среду:

«Так я жил, предаваясь этому безумию, ещё шесть лет, до моей женитьбы. В это время я поехал за границу. Жизнь в Европе и сближение моё с передовыми и учёными европейскими людьми утвердили меня ещё больше в той

вере совершенствования вообще, в которой я жил, потому что ту же веру я нашёл и у них. Вера эта приняла во мне ту обычную форму, которую она имеет у большинства образованных людей нашего времени. Вера эта выражалось словом "прогресс". Тогда мне казалось, что этим словом выражается что-то. Я

не понимал ещё того, что, мучимый, как всякий живой человек, вопросами, как мне лучше жить, я, отвечая: жить сообразно с прогрессом, — отвечаю совершенно то же, что ответит человек, несомый в лодке по волнам и по ветру, на главный и единственный для него вопрос: "куда держаться", если он, не отвечая на вопрос, скажет: "нас несёт куда-то"».

Но ещё до этой поездки за границу Л. Н-чу пришлось отдать дань исканию личного, семейного счастья.

ГЛАВА 10.

Роман

В этой главе мне придётся передать читателям один из важнейших эпизодов из жизни Льва Николаевича, историю его сердечных отношений к одной девушке, отношений, хотя и не завершившихся браком, но имевших, по моему мнению, большое влияние на его личную жизнь. В этом эпизоде, как и во многих других, с поразительной ясностью выступают некоторые черты характера Льва Николаевича. Именно: его страстная,

увлекающая натура, затем сила его высшего руководителя — разума, держащего эту страстную натуру в повиновении у себя и направляющего её на благо, и, наконец, простую, в высшей степени правдивую и рыцарски благородную душу Льва Николаевича, проявляющуюся как в выработке высших идеалов, так и в самых ничтожных житейских мелочах.

История эта поучительна и в самом прямом смысле как история отношений мужчины к женщине, как серьёзный и мудрый опыт, могущий уберечь молодых людей от многих несчастий.

Припомним, как в письме из Севастополя Лев Николаевич жаловался брату на недостаток женского общества, выражая боязнь отвыкнуть от него, боязнь лишиться навсегда семейной жизни, которую он страстно любил.

В предыдущей жизни его уже были попытки любви, кончившиеся, впрочем, ничем. Самая сильная любовь была детская, к Сонечке Калошиной. Потом была любовь в студенческие годы к Зинаиде Молоствовой. Любовь эта была больше в воображении. Зин. Мол. едва ли знала что-нибудь про это. Потом казачка в станице, о чём мы упоминали в своём месте. Потом светское увлечение Щербатовой, которая тоже, вероятно, мало знала про это чувство, так как Лев Николаевич всегда был робок, застенчив в этих делах.

Наконец, ещё более сильная и серьёзная — это была любовь к Валерии Арсеньевой.

С возвращением домой из похода мысль о женщине, о семье неотступно преследовала Л. Н-ча, и вот он обращает внимание, проездом через Москву, на миловидную

девушку из семьи соседних помещиков. И романическая история не замедлила разыграться между ними.

Как всегда, я стараюсь везде, где возможно, давать Льву Николаевичу говорить о себе самому, и здесь я могу это сделать благодаря доброте Льва Николаевича, предоставившего в моё распоряжение пачку писем, писанных им к этой особе.

Первое письмо Лев Николаевич пишет из Ясной Поляны в Москву, куда уехала барышня, предмет его любви. Семья, в которой она жила, состояла из

тётки, светской барыни с придворными вкусами, трёх сестёр, её племянниц, Валерии, Ольги и Женечки, и француженки — их компаньонки M-lle Vergani. Проведя лето в Судакове, недалеко от Ясной Поляны, они в августе переехали в Москву, чтобы присутствовать на торжестве коронации Александра II, бывшей 26 августа 1856 г.

Барышня очень веселилась на коронационных торжествах и описала восторг свой в письме к тётке Льва Николаевича. Для него это письмо было первым разочарованием. Почувствовав сердечное влечение к этой барышне, он не мог уже смотреть на неё иначе, как на будущую подругу своей жизни, и, ощущая потребность передать ей все свои высшие идеалы общественной и семейной жизни, сразу натолкнулся на полное непонимание их, на самое легкомысленное отношение к важнейшим жизненным вопросам. Но его не оставляла надежда повлиять на неё, он надеялся на молодую восприимчивую натуру и, видя её взаимное расположение

к нему, всеми силами старался ей внушить серьёзный взгляд на их отношения, настоящие и будущие. И потому все письма его дышат самой нежной заботливостью о её душе, наполнены всяческими наставлениями, от самых мелочных до самых общих, философских вопросов. Временами, огорчённый непониманием, он впадает в горький, саркастический тон, временами смягчается до самой нежной ласки отца к своему ребёнку.

В следующем письме он выражает весь свой ужас отчаяния от того, что он узнал, как изменны, по его понятиям, интересы предмета его любви:

23 августа 1856.

«Судаковские барышни! Сейчас получили милое письмо ваше, и я, в первом письме объяснив, почему я позволяю себе писать вам, — пишу, но теперь под совершенно противоположным впечатлением тому, с которым я писал первое. Тогда я всеми силами старался удерживаться от сладости, которая так и лезла из меня, а теперь от тихой ненависти, которую в весьма сильной степени пробудило во мне чтение письма вашего к тётеньке, и не тихой ненависти, а грусти и разочарования в том, что: *chassez le naturel par la ponne, il revient. par la fenetre* [франц. – «гони природу в дверь – она влезет в окно»]. Неужели какая-то смородина *de toute beaute, haute volee* [«при красоте и высоком положении»] и флигель-адъютанты останутся для вас вечно верхом всякого благополучия? Ведь это жестоко! Для чего вы писали это? Меня, вы знали, как это подерёт против шерсти. Для тётеньки? Поверьте, что самый дурной способ дать почувствовать другому: "вот я какова", это прийти и сказать ему: "вот я какова!" Во-первых, коли

молчать о всех тех вещах, которые льстят нашему тщеславию, выгода одна та, что предполагают гораздо больше и выгоднее того, что вы расскажете; во-вторых, ежели это расскажет посторонний, то ещё получаешь новую заслугу — скромность. Это не поэзия и не философия, а чистый расчёт в делах, которые действительно лестны. Вы должны были быть ужасны, в смородине *de toute beaute* и, поверьте, в миллион раз лучше в дорожном платье.

«Любить *haute volee* (1), а не человека нечестно, потом опасно, потому что из неё чаще встречаются дряни, чем из всякой другой *volee*, а вам даже и невыгодно, потому что вы сами не *haute volee*, а потому ваши отношения, основанные на хорошеньком личике и смородине, не совсем-то должны быть приятны и достойны — *dignes*. Насчёт флигель-адъютантов — их человек 40,

(1) Высокое положение.

кажется, а я знаю положительно, что только два не негодяи и дураки, стало быть, радости тоже нет. — Как я рад, что измяли вашу смородину на параде, и как глуп этот незнакомый барон, спасший вас! Я бы на его месте с наслаждением превратился бы в толпу и размазал бы вашу смородину по белому платью. Это я говорю потому, что, верно, вы не были в серьёзной опасности. Это только Пиквик, историю которого вы не читали, чуть было не погиб на параде; а чтоб барышня, приехавшая учиться

музыке на коронации, погибла от столь невинной и приятной забавы, как парад, этого я никогда не слыживал с тех пор, как живу, поэтому этого и быть не могло. У нас в деревне погода чудная, и я нынче шлялся на охоте с 6 часов утра и до 8 вечера и так наслаждался, как не удастся ни одному обер-камер-фурьеру и ни одной барыне в платье *broche* (1) чем-то. Поэтому, хотя мне и очень хотелось бы приехать в Москву, позлиться, глядя на вас, я не приеду, а, пожелав вам всевозможных тщеславных радостей, с обыкновенным их горьким окончанием, остаюсь ваш покорнейший, неприятнейший слуга

Гр. А. Толстой.

(1) Застёгнутой.

Avec des sentiments distingues (2), виноват, забыл вписать эту милую фразу, в которой так много смысла.

(2) С отменными чувствами.

Нет, без шуток, если вы мне простите это письмо, то вы добрый человек. M-lle Vergani, заступитесь за меня!»

Ответ на это письмо долго не приходил, Лев Николаевич волновался, писал ещё, просил извинения и, наконец, добился благоприятного ответа.

По содержанию его писем видно, что семья после коронации вернулась в Судаково, что он *там бывал*, и их взаимное влечение определилось и окрепло.

Но Лев Николаевич не хотел слепо, очертя голову отдаться этому влечению. Он решается подвергнуть

чувство своё и её испытанию временем и на расстоянии и решается уехать в Петербург на два месяца.

С дороги, из Москвы, 2-го ноября он пишет письмо, которым он начинает воспитывать свою невесту и которое вместе с тем показывает, что того, что обыкновенно называют "страстной любовью", между ними не существовало.

«Вчера приехал ночью, сегодня встал и с радостью почувствовал, что первая мысль моя была о вас, и что сажусь писать не для того, чтобы выполнить обещание, а потому что хочется, тянет. Ваш фаворит, глупый человек, во всё время дороги совершенно вышел из повиновения, рассуждал такой вздор и делал такие нелепые, хотя и милые планы, что я начинал бояться его. Он дошёл до того, что хотел ехать назад, с тем чтобы вернуться в Судаково, наговорить вам глупостей и никогда больше не расставаться с вами. К счастью, я давно привык презирать его рассуждения и не обращать на него никакого внимания. Но когда он пустился в рассуждения, его товарищ, хороший человек, которого вы не любите, тоже стал рассуждать и разбил глупого человека вдребезги. Глупый человек говорил, что глупо рисковать будущим, искушать себя и терять хоть минуту счастья. "Ведь ты счастлив, когда ты с ней, смотришь на неё, слушаешь, говоришь, — говорил глупый человек, — так зачем же ты лишаешь себя этого счастья, может быть, тебе только день, только час впереди, и, может быть, ты так устроен, что ты не можешь любить долго, а всё-таки это самая сильная любовь, которую ты в состоянии испытывать, еже-

ли бы ты только свободно предался ей. Потом, не гадко ли с твоей стороны отвечать таким холодным рассудительным чувством на её чистую, преданную любовь?" Всё это говорил глупый человек, но хороший человек, хотя и растерялся немного сначала, на всё это отвечал вот как: "Во-первых, ты врёшь, что я с ней счастлив; правда, я испытываю наслаждение слушать её, смотреть ей в глаза, но это не счастье, это даже не хорошее наслаждение, простительное для Мортье, а не для тебя; потом, часто мне тяжело бывает даже с ней, а главное, что я нисколько не теряю счастья, как ты говоришь, я и теперь счастлив ею, хотя не вижу её. Насчёт того, что ты называешь моим холодным чувством, я скажу тебе, что оно в 1000 раз сильнее и лучше твоего, хотя я и удерживаю его. Ты любишь её для своего счастья, а я люблю её для её счастья". Вот как они рассуждали, и хороший человек 1000 раз прав. Полюбите его немного. Ежели бы я отдался чувству глупого человека и вашему, я знаю, что всё, что могло бы произойти из этого, — это месяц безалаберного счастья. Я отдавался ему теперь перед моим отъездом и чувствовал, что становлюсь дурен и недоволен собой; я ничего не мог говорить вам, кроме глупых нежностей, за которые мне совестно теперь. На это будет время, и счастливое время! Я благодарю Бога, что он внушил мне мысль и поддержал в намерении уехать, потому что я один не мог бы этого сделать. Я верю, что он руководил мной для нашего общего счастья. Вам простительно думать и чувствовать так, как глупый человек, но мне бы было постыдно и грешно. Я уже люблю в вас вашу красоту, но я только начинаю любить в вас то, что вечно и всегда драгоценно, — ваше сердце, вашу

душу. Красоту можно узнать и полюбить в час и разлюбить так же скоро, но душу надо узнать. Поверьте, ничего в мире не даётся без труда, даже любовь, самое прекрасное и естественное чувство. Простите за глупое сравнение: любить так, как любит глупый человек, это играть сонату без такту, без знаков, а постоянно педалью, но с *чувством*, не доставляя этим ни себе, ни другим истинного наслаждения. Но для того, чтобы позволить себе отдаться чувству музыки, нужно прежде удерживаться, трудиться, работать, и поверьте, что нет наслаждения в жизни, которое не давалось бы так. Всё приобретается трудом и лишениями. Но зато, чем тяжелее труд и лишения, тем выше награда. А нам предстоит огромный труд — понять друг друга и удержать друг к другу любовь и уважение. Неужели вы думаете, что ежели бы мы отдались чувству глупого человека, мы теперь бы поняли друг друга? Нам бы показалось, но потом мы бы увидели огромный овраг, и истратив чувство на глупые нежности, уже ничем бы его не заровняли. Я берегу чувство, как сокровище, потому что оно одно в состоянии прочно соединить нас во всех взглядах на жизнь, а без этого нет любви. — Я в этом отношении много ожидаю от нашей переписки, мы будем рассуждать спокойно, я буду вникать в каждое ваше слово, и вы делайте то же, и я не сомневаюсь, что мы поймём друг друга. Для этого есть все условия и чувство и честность с обеих сторон. Спорьте, указывайте, учите меня, спрашивайте объяснений. Вы, пожалуй, скажете, что мы и теперь понимаем друг друга. Нет, мы только верим друг другу; я иногда, глядя на вас, готов согласиться, что *il n'y a rien de plus beau au monde qu'une robe broche d'or* (1), но не согласны ещё во многом. Я дорогой перебирал 1000 предметов, писем или разговоров.

В следующем письме напишу вам план образа жизни Храповицких (2), потом о ваших

родных, о Киреевских, с которыми ваши отношения для меня неприятнее, чем бывшие с Мортье, о Vergani и миллион вопросов, которые не столько важны по тому, как мы их решим, как по тому, как мы будем соглашаться, толкуя о них.

(1) Нет в мире ничего более красивого, чем платье с золотой застёжкой.

(2) Этим именем Лев Николаевич называл шутя свою будущую семью.

Нынче видел вас во сне, что Серёжа вас сконфузил чем-то, и вы от конфуза делаетесь рябая и курносая, и я так испугался этого, что проснулся. Теперь даю волю глупому человеку. Вспоминаю я несколько недоконченных наших разговоров. 1) Какая ваша особенная молитва? 2) Зачем вы у меня спрашивали, случается ли мне просыпаться ночью и вспоминать, что было? Вы что-то хотели сказать и не кончили. — Я вас вспоминаю особенно приятно в 3 видах: 1) когда вы на бале попрыгиваете, как-то наивно на одном месте, и держитесь ужасно прямо, 2) когда вы говорите слабым болезненным голосом немножко с кряхтением и 3) как вы на берегу Грумантского пруда в тётенкиных вязаных огромных башмаках злобно закидываете удочку. Глупый человек всегда с особенной любовью представляет вас в этих 3-х видах. Нет ли у т-

lle Vergani вашего лишнего портрета или нельзя ли отобрать у тётеньки назад, я бы очень желал иметь его. — Про себя писать нечего, потому что никого не видал ещё. Пожалуйста, ежели ваше здоровье нехорошо, то напишите мне о нём подробно; последние два дня вы были плохи. Ежели бы милейшая Женечка написала мне несколько строчек об этом предмете и о вашем расположении духа со своей всегдашней правдивостью, она бы меня очень порадовала. Пожалуйста, *ходите* гулять каждый день, какая бы ни была погода. Это отлично вам скажет каждый доктор, и корсет носите, и чулки одевайте сами и вообще в таком роде делайте над собой разные улучшения. Не отчаивайтесь сделаться совершенством. Но это все пустяки. Главное, живите так, чтобы, ложась спать, можно было бы сказать себе: нынче я сделала 1) доброе дело для кого-нибудь, 2) сама стала жить немножко лучше. Попробуйте, *пожалуйста, пожалуйста*, определять себе вперед занятия дня и вечером поверять себя. Вы увидите, какое спокойное и большое наслаждение каждый день сказать себе: нынче я стала лучше, чем вчера. Нынче я добилась делать ровно триоли на четверти, или поняла, прочувствовала хорошее произведение поэзии или искусства, или, лучше всего, сделала добро тому-то и заставила его любить и благодарить за себя Бога. Это наслаждение и для себя одной, а теперь вы знаете, что есть человек, который всё больше и больше, до бесконечности, будет любить вас за все хорошее, что вам нетрудно приобретать, преодолев только лень и апатию. Прощайте, милая барышня, глупый человек любит вас, но глупо, хороший человек *est tout dispose* (1) и любит вас самой сильной и нежной и вечной любовью. Отвечайте мне подлиннее, пооткровеннее, посерьёзнее, кланяйтесь

вашим. Христос с вами, да поможет он нам понимать и любить друг друга хорошо. Но чѐм бы всё это ни кончилось, я всегда буду благодарить Бога за то настоящее счастье, которое я испытываю благодаря вам, чувствовать себя лучше, и выше, и — честнее. Дай Бог, чтобы вы так же думали».

(1) Вполне расположен.

Вскоре Льву Николаевичу представилось новое испытание, уже не наложенное им самим на себя, но пришедшее извне. Он узнал из достоверных источников, уже живя в Петербурге, что его "милая барышня" допустила ухаживанье за собой учителя музыки Мортье и сама влюбилась в него. И всё это произошло на несчастной коронации. Видимо, барышня сама боролась с

этим чувством и даже прекратила всякие сношения с Мортье, но самый факт этого легкомысленного увлечения был страшным ударом для Льва Николаевича, и под влиянием горького чувства, вызванного этим открытием, он пишет ей письмо, полное упрёков, которое даже не решился послать ей, но обещал показать при свидании. Затем он пишет другое письмо, которое уже отсылает. Намек на эти отношения есть уже в предыдущем письме, но, очевидно, Лев Николаевич узнал новые факты, которые и побудили его вновь поднять этот вопрос. Вот это замечательное письмо от 8 ноября из Петербурга:

«Любезная Валерия Владимировна!

"Что было, того уже не будет вновь", сказал Пушкин. Поверьте, ничто не сбывается, и не проходит, и не возвращается. Уже никогда мне не испытывать того спокойного чувства привязанности к вам, уважения и доверия, которые я испытывал до вашего отъезда на коронацию. Тогда я с радостью отдавался своему чувству, а теперь я его боюсь. Сейчас я написал, было, вам длинное письмо, которое не решился послать вам, а покажу когда-нибудь после. Оно было написано под влиянием ненависти к вам. В Москве один господин, который вас не знает, рассказывал мне, что вы влюблены в Мортье, что вы каждый день бываете у него, что вы в переписке с ним. — Мне очень приятно было это слышать, и многое, и многое я холодно передумал и написал по этому случаю в письме, которое не посылаю. То, Мортье, было увлечение натуры холодной, которая ещё не способна любить, и это то же; одно уже прошло немного под влиянием времени и другого увлечения, другое ещё нет; но любви вы ещё не способны испытывать. Даже если подумать хорошенько, какое было истиннее и сильнее, то вы сами сознаёте, если захотите быть искренни, что первое было сильнее и гораздо. В первом вы жертвовали многим и всё-таки признавались себе и другим в своей любви; во втором, напротив, вы ничем не жертвуете. Одно спасенье есть время и время. Как бы хорошо было, ежели бы вы пожили в Москве...

Жду ваших писем с жадностью.

Мне грустно, скучно, тяжело; во всём неудача, всё противно, но ни за что не увижусь с вами до тех пор, пока не почувствую, что совсем прошло чувство глупого человека, и что я совершенно верю вам, как прежде.

Прощайте, так просто, и прощайте всю мою неровность, не я один виноват в ней. О двух вещах умоляю вас: трудитесь, работайте над собой, думайте пристальнее, отдавайте себе искренний отчёт в своих чувствах и со мной будьте искренни самым невыгодным для себя образом. Рассказывайте всё, что было и есть в вас дурного. Хорошего я невольно предполагаю в вас слишком много. Например, если бы вы мне рассказали всю историю вашей любви к Мортье с уверенностью, что это чувство было хорошо, с сожалением к этому чувству, и даже сказали бы, что у вас осталась ещё к нему любовь, мне бы было приятнее, чем это равнодушие и будто бы презрение, с которым вы говорите о нём и которое доказывает, что вы смотрите на него не спокойно, но под влиянием нового увлечения. Вы говорите и думаете, что я холодно-прямодушен; да, не дай Бог вам столько и так тяжело перечувствовать, сколько я перечувствовал за эти пять месяцев. Ну-с, прощайте-с, Христос с вами; постарайтесь не сердиться на меня за это письмо. Я не боюсь высказываться таким, каким я есть, хотя и очень плохим с этой нерешительностью, сомнением и всякой гадостью; делайте и вы так же. Ведь главный вопрос в том, можем ли мы сойтись и любить друг друга. Для этого-то и надо высказать всё

дурное, чтобы знать, в состоянии ли мы помириться с ним, а не скрывать его, чтобы потом неожиданно не разочароваться. Мне бы больно, страшно больно было потерять теперь то чувство увлечения, которое в вас есть

ко мне, но уж лучше потерять его теперь, чем вечно упрекать себя в обмане, который бы произвёл ваше несчастье. — Ежели вас интересуют дамы и барышни петербургские и московские, то могу вам сказать, что их до сих пор решительно для меня нет.

Ваш гр. А. Толстой».

Внимательный читатель легко заметит, что открытие, сделанное Львом Николаевичем, о продолжающихся отношениях его невесты с Мортье нанесли неизлечимую рану его начавшему крепнуть чувству, и если он не прекращает с ней отношений сразу, то только потому, что хотел предоставить природе и времени с меньшей болью произвести эту операцию. Но с этих пор отношения их становятся более дружественными, и только изредка, и то, я думаю, больше в воображении, вспыхивает слабое пламя страстной любви.

Он отсылает это письмо, но его беспокоит, какое действие произведет оно, и на другой день он пишет еще, уже в примирительном тоне.

Петербург, 9 ноября.

«Мне так больно подумать о вчерашнем моем письме к вам, милая Валерия Владимировна, что теперь не знаю, как приняться за письмо, а думать о вас мне надо — писать так и тянет. Посылаю вам книги, попробуйте читать, начните с маленьких и сказок — они прелестны; и напишите своё искреннее мнение. Насчёт Николеньки ещё не успел сделать и книгу ему пришлю со следующей почтой. Б. положительно тот самый, и есть мерзавец неописанный, и грешно думать равнодушно, что за него выйдет хорошая девочка. Напишите, ежели правда эта

свадьба, я напишу тогда К-вой. Видел во всё это время только моих приятелей литературных, из которых люблю немногих, общественных же знакомых избегаю и до сих пор не видел никого. Работал нынче целый вечер с Ив. Ив. в первый раз и тем очень доволен. Да что я пишу про себя, может быть, вы, под влиянием того письма, не только питаете ко мне тихую ненависть, но не питаете ровно ничего. Посылаю вам ещё повести Тургенева, прочтите и их, ежели не скучно, — опять, по-моему, почти всё прелестно, а ваше мнение всё-таки катайте прямо, как бы оно ни было нелепо. *Wage nur zu irren und zu traumen* (1), Шиллер сказал. Это ужасно верно, что надо ошибаться смело, решительно, с твёрдостью, только тогда дойдёшь до истины. Ну, для вас это ещё непонятно и рано. Отчего вы мне не пишете, хоть бы такие же мерзкие письма, как я, отчего вы мне не пишете?

(1) Рискуй только заблуждаться и мечтать.

Н. Н. вас не любит, это правда, т. е. не не любит, а мало ценит, но Костенька хорош, как я не ожидал его найти. В нём произошла большая перемена, тексты из свящ. писания не шутка, он понял недавно великую вещь, что добро — хорошо, помните, что я у вас спрашивал часто. А вы поймёте это, но со временем, и — грустно сказать — эту великую истину нельзя понять иначе, как выстрадать, а он выстрадал, а вы ещё не жили, не наслаждались, не страдали, а веселились и грустили. Иные всю жизнь не знают ни наслаждений, ни страданий — моральных, разумеется. Часто мне кажется, что вы такая натура, и

мне ужасно это больно, скажите, ежели вы ясно понимаете вопрос, такая

вы или нет? Но во всяком случае вы милая, точно милая, ужасно милая натура. Отчего вы мне не пишете? Всё, что я хотел писать вам об образе жизни Храповицких, я не решаюсь писать без отголоска от вас, и особенно на второе письмо. Однако, по правде сказать — руку на сердце — я теперь уже много меньше и спокойнее думаю о вас, чем первые дни, однако всё-таки больше, чем когда-нибудь я думал о какой-нибудь женщине. Пожалуйста, на этот вопрос отвечайте мне сколько можете искренно в каждом письме: *в какой степени и в каком роде вы думаете обо мне?* Особенное чувство моё в отношении к вам, которое я ни к чему не испытывал, вот какое: как только со мной случается маленькая или большая неприятность — неудача, щелчок самолюбию и т. п., я ту же секунду вспоминаю о вас и думаю: «всё это вздор, там есть одна барышня, и мне всё ничего». Это приятное чувство. Как вы живёте? Работаете ли вы? Ради Бога, пишите мне. Не смейтесь над словом «работать». *Работать* умно, полезно, с целью добра — превосходно, но даже просто работать вздор, палочку строгать, что-нибудь, но в этом первое условие естественной хорошей жизни, поэтому счастья. Например, я нынче *работал*, совесть спокойна, чувствую маленькое не гордое самодовольство и чувствую от этого, что я добр. Нынче я бы ни за что не написал вам такого злого письма, как вчера, нынче я чувствую ко всему миру приязнь и к вам именно то чувство, которое я бы желал

именно весь век чувствовать. Ах, ежели бы вы могли понять и почувствовать, выстрадать так, как я, убеждение, что единственно возможное, единственно истинное, вечное и высшее счастье даётся тремя вещами: трудом, самоотвержением и любовью! Я это знаю, ношу в душе это убеждение, но живу сообразно с ним какие-нибудь два часа в продолжение года, а вы с вашей честной натурой, вы бы отдали себя этому убеждению так, как вы способны себя отдавать людям, m-lle Vergani и т. д. А два человека, соединённые этим убеждением, да это верх счастья. Прощайте, словами это не доказывается, а внушает Бог, когда приходит время. Христос с вами, милая, истинно милая Валерия Владимировна. Не знаю, чего до сих пор вы мне больше доставили, страданий моральных или наслаждений. Но я так глуп в такие минуты, как теперь, что и за то, и за другое благодарен.

Да пишите же, ради Бога, каждый день. Впрочем, ежели нет потребности, не пишите, или нет, когда не хочется писать, напишите только следующую фразу: *сегодня, такого-то числа, не хочется вам писать*, и пошлите. Я буду рад. Ради Бога, не придумывайте своих писем, не перечитывайте, вы видите — я, который мог бы щеголять этим перед вами, — а неужели вы думаете, что мне не хочется кокетничать перед вами — я хочу щеголять перед вами одной честностью, искренностью; а уж вам надо тем паче — умнее вас я знаю много женщин, но честнее вас я не встречал. Кроме того, ум слишком большой противен, а честность чем больше, полнее, тем больше её любишь. Видите, мне так сильно хочется любить вас, что я учу, чем заставить меня любить вас. И действительно, главное чувство, которое я имею к вам, это ещё не любовь, а страстное желание любить вас изо всех

сил, — Пишите же, ради Бога, поскорее, побольше и как можно понескладнее и побезобразнее и поэтому искренно.

Отлично можно жить на свете, коли уметь трудиться и любить, трудиться для того, что любишь, и любить то, над чем трудишься. Ежели вам случится хотеть написать мне что-нибудь и не решитесь, то, *пожалуйста*, намекните, о чём. Надо все вопросы разъяснить смело. Я вам делаю много и грубых, а вы никогда».

Не дождавшись ответа и, вероятно, успокоившись сознанием, что *pas de nouvelle — bonnes nouvelles* (1), он продолжает руководить жизнью своей более воспитанницы, чем невесты, и пишет ей обстоятельное письмо об их возможной будущей совместной жизни.

(1) Отсутствие новостей — хорошие новости.

Петербург, 12 ноября 1856 г.

«Чувствую, это я глуп, но не могу удержаться, милая барышня, и, не получив всё-таки от вас ни строчки, опять пишу вам. Теперь уже за 12 часов ночи, и вы сами знаете, как это время располагает к нежности, следовательно, к глупости. Напишу вам о будущем образе жизни Храповицких, ежели суждено им жить на свете.

Образ жизни мужчины и женщины зависит: 1) от их склонности, а 2) от их средств. Разберём и то, и другое. Храповицкий, человек морально старый, в молодости

делавший много глупостей, за которые поплатился счастьем лучших годов жизни, и теперь нашедший себе дорогу и призвание — литературу, — в душе презирает свет, обожает тихую, семейную, нравственную жизнь и ничего в мире не боится так, как жизни рассеянной, светской, в которой пропадают все хорошие, честные, чистые мысли и чувства и в которой делаешься рабом светских условий и кредиторов.

Он уже поплатился за это заблуждение лучшими годами жизни, так это убеждение в нём не фраза, а убеждение, выстраданное жизнью. Милая госпожа Дембицкая (2) ещё ничего этого не испытала, для неё счастье было — голые плечи, карета, бриллианты, знакомства с камергерами, генерал-адъютантами и т. д. Но так случилось, что Хр. и Демб. как будто бы любят друг друга (я, может быть, лгу перед самим собой, но опять в эту минуту я вас страшно люблю). Итак, эти люди с противоположными наклонностями будто бы полюбили друг друга. Как же им надо устроиться, чтобы жить вместе? Во-первых, они должны делать уступки друг другу; во-вторых, тот должен делать больше уступок, чьи наклонности менее нравственны. Я бы готов был жить всю свою жизнь в деревне. У меня бы было три занятия: любовь к Д. и заботы о её счастье, литература и хозяйство так, как я его понимаю, т. е. исполнение долга в отношении людей, вверенных мне. При этом одно нехорошо: я бы невольно отстал от века, а это грех. — Г-жа Д. мечтает о том, чтобы жить в Петербурге, ездить на 30 балов в зиму, принимать у себя хороших приятелей и кататься по Невскому в своей карете. Середина между этими двумя требованиями есть жизнь 5 месяцев в Петербурге без балов, без кареты, без необыкновенных туалетов с гипюрами и point d'Alencon (3)

и совершенно без света, и 7 месяцев в деревне. У Храп. есть 2000 р. сер. дохода с имения (т. е. если он не будет тянуть последнего, как делают все, с несчастных мужиков), есть у него ещё около 1000 р. сер. за свои литературные труды в год (но это неверно, он может поглупеть или быть несчастлив и не напишет ничего). У г-жи Д. есть какой-то запутанный вексель в 20000, с которого, ежели бы она получила его, она бы имела процентов 800 р. — итого, при самых выгодных условиях 3800 р. Знаете ли вы, что такое 3.800 р. в Петербурге? Для того, чтобы с этими деньгами прожить 5 месяцев в Петербурге, надо жить в 5-м этаже,

(2) Этим именем Л. Н. называл шутя свою предполагаемую жену.

(3) Название французского кружева.

иметь 4 комнаты, иметь не повара, а кухарку, не сметь думать о том, чтобы иметь карету и попелиновое платье с point d'Alençon, или голубую шляпку, потому что такая шляпка jureга (3) со всей остальной обстановкой. Можно с этими средствами жить в Туле или Москве, и даже изредка блеснуть перед Лазаревичами, но за это — merci. Можно тоже и в Петербурге жить в третьем этаже, иметь карету и point d'Alençon и прятаться от кредиторов, портных и магазинщиков, и писать в деревню, что всё, что я приказал для облегчения мужиков, это вздор, а тyani с них последнее, и потом самим ехать в деревню и со стыдом

сидеть там годы, злясь друг на друга; и за это — merci. Я испытал это. — Есть другого рода жизнь в пятом этаже (бедно, но честно), где всё, что можно употреблять на роскошь домашнюю, на отделку этой квартирки на 5-м этаже, на повара, на кухню, на вина, чтобы друзьям радостно было прийти на этот 5-й этаж, на книги, ноты, картины, концерты, квартеты дома, а не на роскошь внешнюю для удивления Лазаревичей, холопей и болванов.

(1) Не будет соответствовать.

Прощайте, ложусь спать, жму вашу милую руку и слишком, слишком много думаю о вас. Завтра буду продолжать, теперь же буду писать в жёлтую книжечку, и опять о вас. Я дурак...»

Лев Николаевич не кончил этого письма, очевидно, потеряв терпение от долгого молчания той, которая так сильно занимала всю его глубокую душу, и он заключает это письмо на другой день короткой, сдержанной запиской:

Петербург, 12 ноября.

«Буду продолжать это письмо в другой раз, получив от вас; а теперь как-то это не занимает, и в голове другое. Последний раз пишу вам. Что с вами? Больны вы, или вам снова совестно отчего-нибудь передо мной, или вы стыдитесь за те отношения, которые установились между нами? Но что бы то ни было, напишите строчку. Сначала я нежничал, потом злился, теперь чувствую, что становлюсь

уже равнодушен, и слава Богу. Какой-то инстинкт давно говорил мне, что кроме вашего и моего несчастья, ничего из этого не выйдет. Лучше остановиться вовремя.

Когда я люблю вас, мне часто хочется приехать к вам и сказать вам всё, что чувствую; но в такие минуты, как теперь, когда я злюсь на вас и чувствую себя совершенно равнодушным, мне ещё больше хочется видеть вас и высказать вам всё, что накипело, и доказать вам, что мы никогда не можем понимать и поэтому любить друг друга, и что в этом никто не виноват, кроме Бога и нас, ежели мы будем обманывать друг друга.

Во всяком случае, ради истинного Бога, памятью вашего отца и всего, что для вас есть священного, умоляю вас, будьте искренни со мной, совершенно искренни, не позволяйте себе увлекаться. Прощайте, дай вам Бог всего хорошего.

Ваш гр. А. Толстой».

Наконец он был награждён за своё терпение, получив сразу несколько запоздалых писем, и между двумя друзьями снова устанавливаются нежные отношения, о чём свидетельствуют несколько следующих друг за другом писем, из которых мы приводим здесь наиболее характерные, служащие продолжением прерванного предыдущего. Письма эти не нуждаются ни в каких комментариях.

«Я не лгал в последнем письме, говоря, что "чувствую себя совершенно к вам равнодушным". Т. е. равнодушным совсем я не был, а думал реже, и когда думал, то думал со злобой, что именно и доказывает, что я не был равнодушен. И во всём виновата отвратительная почта. Я нынче получил ваши оба письма, оба письма милые, добрые, честные, в которых меня многое сильно душевно порадовало и кое-что не понравилось, а что — я и говорить не стану. Простите меня за моё последнее и предпоследнее письма; они оба писаны под влиянием глупого чувства, от которого во мне осталось теперь только воспоминание. Они выражены со злостью, но от содержания их я не отрекаюсь. Я теперь совершенно спокойно и благоразумно смотрю на вас (не сердитесь за это) и всё-таки вижу в вас очень и очень хорошую барышню, с которой я был бы счастлив, если бы мог быть другим. — Мне кажется иногда, что уже и теперь я имею право назвать вас милый друг Валеринька (как вам подписала Женечка), — но ежели это неправда, ведь это грех и бесчестно. Ежели я скажу, что эта соната хороша, а потом скажу, что она гадкая, от этого другому никакой беды не будет, но ежели я вам скажу, что вы мне друг, и это неправда, а вы поверите этому, то ведь вам нехорошо будет и мне тоже будет нехорошо, ежели я буду верить вашим словам, которым вы цену и значение которых вы сами не знаете. Но будет об этом, скажу вам, что меня особенно заняло в ваших письмах. Ваши письма очень, очень мне были радостны, повторяю вам, и они были такие, какие я ожидал, прямые, честные, продолжайте так, не бойтесь самым нелепым образом выразить мне мысль, которая придет к вам. Всё, что вы скажете, я растолкую себе гораздо лучше, чем то, про что вы промолчите... Вы знаете

мой характер сомнения во всём, которое не есть следствие характера, но известной степени развития. Знайте, что ничто не даётся даром. Ежели я понимаю больше вещей, чем Гимбут, то зато я уже не имею той свежести чувства, как он. У меня невольно во всякой вещи существуют *pro et contre* (1). Я во всём мире сомневаюсь, исключая, что добро — добро, и этим одним меня можно держать на верёвочке. Ежели бы Иисус Христос меня жарил на огне, я бы богохульствовал, может быть, но никогда бы не посмел сказать, что И. Х. нехорош. Нравственное добро, т. е. любовь к ближнему, поэзия, красота, что всё одно и то же, — одно, в чём я никогда не сомневаюсь, я преклоняюсь всегда, хотя почти никогда не пратикирую. И я к вам могу иметь влечение, потому что мне кажется, что вы можете быть добры, как я понимаю это слово. Но вам скучна эта философия. Напрасно вы сердитесь на тётеньку. Это доказывает, что вы молоды и неопытны и не можете быть беспристрастны. Я вам говорил не раз, что она вас любит и спит и видит, чтобы назвать вас своей племянницей. Но перед отъездом я ей говорил, какие наши отношения, чисто дружеские, ничем не связанные, и что я еду, чтобы испытать себя. Она сердилась, зачем я еду в Петербург, а не в церковь, и говорила "*encore des epreuves*" (2). Но она любит и меня, и вас, и ей больно бы было, чтобы я поступил бесчестно, по её понятиям, относительно вас, т. е. *monter la tete a une jeune personne* (3) и больно, что вас это заставит страдать; вследствие этого она, не надеясь на моё постоянство, хочет вам сделать менее чувствительным удар, по её понятиям, который вас ожидает. — Она душка! Надо

- (1) За и против.
- (2) Еще испытания.
- (3) Вскружить голову молодой девице.

только вникнуть в её простодушные и милые расчёты с самой собой, которые она всю свою жизнь делает на основании любви и самоотвержения. Она прелесть, а вы восторгаетесь Наташей. Наташа добрая, но пустая голова, немножко подленькая натурка и без правил, с которой вы можете находить удовольствие только потому, что она льстит вашему чувству, но которой contact (1) я бы не желал вам.

(1) Общение.

Занятия ваши радуют меня, но мало, ей-Богу, мало, вечера пропадают, принуждайте себя точки означают разные нежные имена, которые даю вам мысленно, умоляя вас больше работать. Вы мельком говорите в одном месте, что вы читали с наслаждением. Что с наслаждением? И что понимали? Это мне ужасно интересно. На... родной (?) бал, однако, вам бы не мешало поехать. Вам самим должно быть интересно испытать себя. Сделайте это г... и напишите искренно ваше впечатление. Я почти не испытывал себя, т. е. никого не видел женщин, нигде не был и *la main sur la consience* (2) могу сказать, что в эти 3 недели ни одна женщина не обратила моего внимания нисколько. Зато вашей главной соперницей — литературой — во всё это время я

занимался много и с удовольствием. Написал маленький рассказ в «Библиотеку» и готовлю другой в О. 3. У меня хорошенькая, тихая квартирка, стоят фортепианы, и наши перья с И. И. скрипят с утра до вечера. Хотел я вам продолжать письмо об образе жизни Храп., но мне пришло в голову, продолжайте вы: как, где, *что* они должны делать, а я всё-таки напишу своё мнение. Г... не бойтесь, говорите своё мнение. Ежели вы ошибаетесь, то мило, как честная, любящая натура. Портрет, боюсь, не скоро придёт из Москвы, но целую ручки за него у тех, кому я обязан. Свою рожу изображу и пошлю завтра. Прощайте, Христос с вами...»

(2) По совести.

Петербург, 23 ноября.

«Сейчас получил ваше славное, чудесное, отличное письмо от 15-го ноября. Не сердитесь на меня, голубчик, что я в письмах так называю вас. Это слово так идёт к тому чувству, которое я к вам имею. Именно голубчик. И сколько раз, разговаривая с вами, мне ужасно хотелось назвать вас так, не каким-нибудь другим именем, а именно так. Письмо это должно быть коротко, ежели я не увлекусь, потому что у меня дела пропасть, и самого спешного, самого мучительного, от которого я несколько дней не сплю ночи. Вы знаете, что мы заключили условие с "Современником" печатать свои вещи только там с 1857 года, а я обещал Дружинину и Краевскому в "Отеч. зап.", и надо написать это к 1-му декабря. Дружинину я написал кое-как маленький рассказ, но Краевскому не идёт на лад;

я написал, но сам недоволен, чувствую, что надо переделать, некогда и я не в духе, а всё-таки работаю. С одной стороны, надо держать слово, с другой, — боюсь уронить своё литературное имя, которым я, признаюсь, дорожу очень, почти так же, как одной вам известной госпожой. — Я в гадком расположении духа, недоволен собой, поэтому всем на свете злюсь, зачем я давал слово, хочу работать над старыми — отвращение, и как на беду лезут в голову новые планы сочинений, которые кажутся прелестны. — В таком настроении застало меня ваше последнее письмо и утешило меня во всём. Бог с ними со всеми, только бы вы меня любили и были такой, какой я вас желаю видеть, т. е. отличной; а по письму мне показалось, что вы

и любите меня, и начинаете понимать жизнь посерьёзнее и любить добро и находить наслаждение в том, чтобы следить за собой и идти всё вперёд по дороге к совершенству. Дорога бесконечная, которая продолжается и в той жизни, прелестная и одна, на которой в этой жизни находим счастье. Помогай вам Бог, мой голубчик, идите вперёд, любите, любите не одного меня, а весь мир Божий, людей, природу, музыку, поэзию и всё, что в нём есть прелестного, и развивайтесь умом, чтобы уметь понимать вещи, которые достойны любви на свете. Любовь — главное назначение и счастье на свете. Хотя, что я скажу, нейдёт вовсе к нашему разговору, но вот ещё великая причина, по которой женщина должна развиваться. Кроме того, что назначение женщины быть

женой, главное её назначение быть матерью, а чтобы быть *матерью, а не маткой* (понимаете вы это различие?), нужно развитие. — Не сердитесь, голубчик (ужасно весело мне вас так называть), за замечания, которые я вам сделаю. 1) Вы всегда говорите, что ваша любовь чистая, высокая и т. д. По-моему, говорить, что моя любовь высокая и т. д., это всё равно, что говорить, что у меня нос и глаза очень хороши. Об этом надо предоставить судить другим, а не вам. 2) В отличном вашем дополнении плана жизни Храп. нехорошо то, что вы хотите жить в деревне и ездить в Тулу. Избави Бог! Деревня должна быть уединением и занятием, про которые я писал в предпоследнем письме, и больше ничего. Но такой деревни вы не выдержите, а тульские знакомства порождают провинциализм, который ужасно опасен. Храповицкие сделаются оба провинциальными и будут тихо ненавидеть друг друга за то, что они провинциалы. Я видел такие примеры. Да я к тётеньке испытывал тихую ненависть за провинциализм главное. Нет-с, матушка, Храповицкие или никого не будут видеть, или лучшее общество во всей России, т. е. лучшее общество не в смысле царской милости и богатства, а в смысле ума и образования. У них комнаты будут в 4-м этаже, но собираться в них будут самые замечательные люди в России. Избави Бог вследствие этого быть грубыми с тульскими знакомыми и родными, но надо удаляться их, — их не нужно; а я вам говорил, что сношения с людьми ненужными всегда вредны. 3) Увы! Вы заблуждаетесь, что у вас есть вкус, т. е. может быть, есть, но такту нет. Например, известного рода наряды, как голубая шляпка с белыми цветами, прекрасна; но она годится для барыни, едущей на рысаках в аглицкой упряжке и входящей на свою

лестницу с зеркалами и камелиями; но при известной скромной обстановке 4-го этажа, извозчичьей кареты и т. д. эта же шляпка ридикюльна, а уж в деревне в тарантасе и говорить нечего. Потом, есть известные женщины, почти вроде Щербачёвой, и даже гораздо хуже, которые в этом роде *elegance* (1) ярких цветов, взъерошенных куафюр и всего необыкновенного — горностаевых мантилий, малиновых сапогов и т. д. — всегда перещегооляют вас, и выходит только то, что вы похожи на них. И девушки, и женщины, мало жившие в больших городах, всегда ошибаются в этом. Есть другого рода *elegance*, скромная, боящаяся всего необыкновенного, яркого, но очень взыскательная в подробностях, как башмаки, воротнички, перчатки, чистота ногтей, аккуратность причёски и т. д., за которую я стою горой, ежели она не слишком много отнимает заботы от серьёзного, и которую не может не любить всякий человек, любящий изящное. *Elegance* ярких цветов ещё простительна, хотя и смешна, для дурносопой барышни, но вам, с вашим хорошеньким личиком, непростительно этак заблуждаться. Я бы на вашем мес-

(1) Изящества.

те взял себе правилом туалета — простота, но самое строгое изящество во всех мельчайших подробностях.

Прогулки по гостиному двору?!!! Боже мой! Но это всё ничего, ежели бы вы мечтали даже ездить учиться музыке

на Тульский оружейный завод, и это было бы ничего в сравнении с чудной искренностью и любовью, которыми дышат ваши письма. Ради Бога, чтобы замечания мои не испортили ваше лучшее качество — искренность.

Прощайте, голубчик, голубчик, голубчик, 1000 раз голубчик; сердитесь или нет, а всё-таки написал. Христос с вами».

Петербург, 28 ноября 1856 г.

«Вчера получил ваше письмо после говенья, а нынче другое. Не знаю, потому ли, что письма нехороши, или потому, что я начинаю переменяться, или потому, что в последнем вы упоминаете о Мортье, письма не произвели на меня такого приятного впечатления, как первые.

Поздравляю вас от души и радуюсь, что вы так серьёзно на это смотрите. Одно нехорошо: надо меньше говорить, чтобы больше чувствовать. И не надо слишком увлекаться надеждой, что всё пойдёт новое, и что этим таинством вы разрываете связь с прошедшим. Оно помогает много и в жизни и духовно очищает, но не так, как вы думаете. Например, что вы говорите, что после говенья вы будете наблюдать за собой, и трудиться, и работать (это я прибавляю за вас) — это отлично, и поддержи вас Бог в этих мыслях, но история Мортье остаётся историей Мортье. Первое нехорошо, что у вас время, как я вижу, проходит праздно. Это плохо. Вчера я был у О. Тургеневой и слышал там бетховенское трио, которое до сих пор у меня в ушах, — восхитительно! Я не могу видеть женщину, чтобы не сравнить её с вами. Эта госпожа отличная во всех отношениях, но она мне просто не нравится, но должно ей отдать справедливость. Можете

себе представить, я узнал от её тётки, что она встаёт в 7 часов в Петербурге и до 2 каждый день играет, а вечера читает, и, действительно, в музыке она сделала громадные успехи, хотя у неё таланта меньше, чем у вас. Второе нехорошо, и ужасно нехорошо, что вы не пригласили Мортье приехать в Тулу и Судаково. Я говорил, говорил и вам, и Женечке, что для вас необходимо видеться с ним, чтобы прекратить ваши отношения, но мне не хотят верить. — Постарайтесь не досадовать, не воображать, что я ревную, а просто спокойно постарайтесь влезть в мою шкуру и видеть моими глазами. Госпожа Дембицкая была влюблена в Passe-Passe (1) [(1) Кого-то], она сама призналась в этом Женечке. Не ахайте, это не беда, это даже мило. Passe-Passe, как г-жа Дембицкая убеждена, страстно влюблён в неё. Их отношения *прервались*, но *не прекратились*. Поймите меня, я убеждён совершенно, что вы теперь не имеете ничего к Passe-Passe, но ему это не доказано, он остановился на том, что вы ему показывали расположение. Понимаете ли вы, что половина пути, самая трудная, уже пройдена для него? Помните, мы с вами говорили у фортепиан: что будет, если вы влюбитесь, и вы сказали, что этого не может быть, потому что вы не допустите себя дойти до интимности и взаимности, которые необходимы для того, чтобы любовь была опасна. Это правда. И понимаете, — вы с Мортье дошли до того, что он имеет право думать: или что вы имели к нему любовь, или что вы такая госпожа, которая способна иметь её ко многим, и вследствие этого разлука и сухое письмо с выдумками неуничтожения

отношений и не могут успокоить Храповицкого. — Именно только ваши отношения с Мортье беспокоят Храповицкого. Отчего ему весело и приятно говорить с вами про вашу любовь к милейшему Иславину, отчего, ежели он будет мужем г-жи Дембицкой, он (ежели встретится в этом необходимость) совершенно спокойно отправит г-жу Храп. на 2 года путешествовать с Иславиным и т. п., но Мортье другое. Г-жа Демб. убеждена, что он её любит, а он, г-н Хр., который жил больше её на свете, знает, что значит эта *высокая* любовь, — это больше ничего, как желание целовать ручки хорошенькой девушке, понимаете? Это доказывает и Вертер, и то, что он никогда не думал о том, чтобы было лучше госпоже Демб., и даже в музыке, в одном, в чём он мог бы быть полезен, он глупой лестью и т. п. пугал и вредил ей. Кроме того, это такой род любви, который от подобоострастия ужасно быстро переходит к дерзости. Я мужчина, и все 28 ноября это знаю. Разумеется, я никому не мог запретить иметь к моей жене любовь такого рода, но она не опасна, когда между *ней* и *ним* нет ничего общего, но когда пройдена эта первая половина дороги, тогда опасно. И опасно вот в каком смысле, что ежели бы г-н Мортье написал моей жене любовное письмо или поцеловал бы её руку, и она скрыла бы это от меня (а кто ему мешает теперь?), то ежели бы я любил жену, я бы застрелился, а нет, то сию секунду развёлся бы и бежал на край света из уважения к ней, к своему имени, и из разочарования в моих мечтах будущности. И это не фраза, клянусь вам Богом, что я это знаю, как себя знаю. От этого-то я так боюсь брака, что слишком строго и серьёзно смотрю на это. Есть люди, которые женясь думают: «ну, не удалось тут найти счастье, у меня ещё жизнь впереди...»

Эта мысль мне никогда не приходит, я всё кладу на эту карту. Ежели я не найду совершенно счастья, то я погублю всё, свой талант, своё сердце, сопьюсь, картежником сделаюсь, красть буду, ежели не достанет духу зарезаться. А вам это шуточки, приятное чувство, высокое, *нежное* и т. д. Я не люблю нежного и высокого, а люблю честное и хорошее. Постарайтесь спокойно стать на моё место и подумать, призовите и Женечку на совет, прав ли я или нет, желая, чтобы вы стали с Мортье в отношения музыкального учителя и ученицы. Может быть, это трудно, но что же делать, а повторяю — лгать ему в письмах (как вы не чувствовали этого, говея?), это унижать себя, бояться его. Очень весело будет Храп. бегать от Мортье, чтобы его жена вдруг не растаяла перед выражением его страсти. Храп. имеет правилом и держится его — не иметь врагов, не иметь во всём мире ни одного человека, с которым бы ему тяжело было встретиться; а вы, любя его, хотите поставить в это гнусное, унижительное положение. Постарайтесь стать на мою точку зрения, у вас хорошее сердце и вы меня ещё любите, как же вам не понять этого? Ревновать уж унижительно, а к Мортье каково? Вы думаете, что кончены все нотации. Нет, дайте всё высказать. Три дня вы не решились сказать мне вещи, которая, вы знаете, как меня интересует, и вы сказываете её, как будто гордясь своим поступком. Да ведь это первое условие самой маленькой дружбы, а не *высокой* и *нежной* любви. Я не шутя говорил, что ежели бы моя жена делала мне в сюрприз подушку, ковыряшку какую-нибудь и делала бы от меня тайно, я бы на другой день убежал бы от неё на край света, и мы бы стали чужие; что делать, я такой и не скрываю этого и не преувеличиваю. Думайте хорошенько, можете ли вы любить такого урода? А в вещи,

такой близкой вашему и моему сердцу, вы задумываетесь. Поверьте, что я не так поступаю в отношении вас. С тех пор, как я уехал, нет вещи, которой бы я не мог сказать вам, и говорю и скажу всё, что может вам быть интересно. За это-то я и люб-

лю, главное, мои отношения к вам, что они поддерживают меня на пути всего хорошего. Что вы спрашиваете меня о полах, напомнило мне то, что я давно хотел сказать вам. Какие бы ни были наши будущие отношения, *никогда не будем говорить о религии и всё, что до неё касается*. Вы знаете, что я верующий, но очень может быть, что моя вера разойдётся с вашей, и этот вопрос не надо трогать никогда, особенно между людьми, которые хотят любить друг друга. Я радуюсь, глядя на вас. Религия великое дело, особенно для женщин, и она в вас есть. Храните её, никогда не говорите о ней и, не впадая в крайности, исполняйте её догматы. Занимайтесь больше и больше, приучайте себя к труду. Это первое условие счастья в жизни. Прощайте, милая Валерия Владимировна, изо всех сил жму вашу руку. Перед получением ваших последних писем я думал о том, что вместо того, чтобы испытывать себя, мы нашими письмами ещё больше монтируем друг друга. Ну, это письмо, кажется, не такого рода. На днях кончаю работу и пускаюсь в свет. Прощайте, Христос с вами, милая барышня».

Читатели заметили, наверное, в последних письмах зародыш сомнения, закравшегося в душу Льва

Николаевича. Сквозь продолжающиеся ещё чувства нежности всё чаще и чаще прорывается чувство тяжести от некоторой искусственности установившихся отношений. Разумеется, эта фальшивая нота их отношений стала заметна и Валерии Владимировне, и интенсивность их взаимного чувства начинает слабеть, и они начинают искать честного исхода.

В письме к своей тётке Т. А. Ёргольской Лев Николаевич уже сознаётся в охлаждении своего чувства и просит совета в трудном деле. Это письмо уже написано из Москвы, куда он переехал в начале декабря и остался до нового года.

Москва, 5 декабря 1856 г.

«Вы мне пишете про В. опять в том же тоне, в котором вы всегда мне говорили про неё, и я отвечаю опять так же, как всегда. Только что я уехал, и неделю после этого мне казалось, что я был влюблён, что называется, но с моим воображением это нетрудно. Теперь же и после этого, особенно как я пристально занялся работой, я бы желал и очень желал мочь сказать, что я влюблён или просто люблю её, но этого нет. Одно чувство, которое я имею к ней, — это благодарность за её любовь и ещё мысль, что из всех девушек, которых я знал и знаю, она лучше всех была бы для меня женой, как я думаю о семейной жизни. Вот в этом-то я и желал бы знать ваше откровенное мнение — ошибаюсь ли я или нет, и желал бы слышать ваши советы, во-первых, потому что вы знаете и её, и меня, и главное, потому что вы меня любите, а люди, которые любят, никогда не ошибаются. Правда, я очень дурно поиспытывал себя, потому что с тех пор, как уехал, вёл

жизнь скорее уединенную, чем рассеянную, и видел мало женщин, но, несмотря на это, часто мне приходили минуты досады на себя, что я сошёлся с ней, и я раскаивался в этом. Всё-таки я говорю, что ежели бы я убедился, что она — натура постоянная и будет любить меня всегда, хоть не так, как теперь, а больше, чем всех, то я бы ни минуты не задумался бы жениться на ней. Я совершенно уверен, что тогда моя б любовь к ней всё увеличивалась бы и увеличивалась, и что посредством этого чувства из неё бы можно было сделать хорошую женщину».

И письма к Валерии становятся уже более холодными, рассудочными. Хотя он и употребляет ещё слово "влюблённый", но уже шутя, без прежнего

увлечения. Он пишет ей в Петербург, куда она переехала провести зимний сезон, о чём давно мечтала:

Москва, 6 декабря.

«Очень благодарен вам, любезная Валерия Владимировна. за вашу добрую память. Хотя я вовсе не ожидал его, письмо ваше доставило мне большое удовольствие. Нехорошо, что вы невеселы и не радуетесь жизни так, как бы следовало. Чего вам ещё? Вы мечтаете о независимой жизни в Петербурге, и у вас теперь есть всё, о чём имеет право мечтать человек: молодость, красота, независимое состояние, друг Верганичка, и даже роскошь

имеете, Т., который страстно влюблён в вас и только об этом просит, чтобы ему позволено было сделаться вашим рабом. Во всяком случае, нужна решительность. Ежели, несмотря на все эти выгодные условия, вам нехорошо там, где вы живёте, постарайтесь устроить лучше. Поезжайте за границу, выходите замуж, пойдите в монастырь, заройтесь в деревню, но не будьте ни секунды в нерешительности. Это самое тяжёлое и даже вредное состояние. Извините, что по старой привычке я увлёкся подаванием советов.

Радуюсь, что вы много занимаетесь музыкой. Искусство всегда и везде большое и чистое наслаждение. А музыка — ваше искусство, вы должны успевать в нём. Я живу всё это время в Москве, немного занимаюсь своим писанием, немного семейной жизнью, немного езжу в здешний свет, немного вожусь с *умными*, и выходит жизнь так себе: ни очень хорошо, ни худо. Впрочем, скорей хорошо. Сердце моё, не могу сказать, чтобы было пусто; напротив, слава Богу, оно беспрестанно наполняется то тем, то другим, разным вздором, но в том смысле, в котором вы разумеете, в *sœur libre* (1) — совершенно *libre*.

(1) Свободное сердце.

Братья третьего дня приехали сюда, и мы живём все вместе. Машенька сильно хворает зубами последнее время. В Петербург я вовсе не собираюсь, но, должно быть, придётся быть к новому году. Тогда мы ещё подробно переговорим с вами о всём, что теперь желал бы написать; итак, до свиданья, от души жму вашу руку и Верганичкину.

Ваш гр. А. Толстой».

Холодный тон писем не ускользнул от неё, она пишет ему с упрёком и с любовью. И вот два хорошие письма от неё, и в нём снова поднимается волна любви, и письмо окрашивается розовым цветом и дышит сердечной теплотой. В одном из следующих писем А. Н. пишет так:

«С прошедшей почтой послал вам книгу, прочтите эту прелесть. Вот где учиться жить: видишь различные взгляды на жизнь, на любовь, с которыми можешь ни с одним не согласиться, но зато свой собственный становится умнее и яснее. Я опять *преподаю*, но что делать, я не понимаю без этого отношений с человеком, которого люблю. И вы мне иногда преподаете, и я радуюсь ужасно, когда вы правы. В этом-то и любовь. Не в том, чтобы у пупунчика целовать руки (даже мерзко выговорить), а в том, чтобы друг другу открывать душу, поверять свои мысли по мыслям другого, вместе думать, вместе чувствовать».

Именно в том, что такое любовь, они и не могли сойтись, и чем искреннее и душевнее выражал Лев Николаевич свои мысли и чувства к ней, тем ме-

неё проникали они в её душу и тем сильнее вызывали отпор. Такой же отпор вызвало и последнее письмо его, и ответ на него заставляет его уже переменить тон, и любовь заменяется дружбой.

Москва, 12 декабря.

«Вот уже второй день, что я получил ваше последнее письмо, и всё был в нерешительности, отвечать ли на него или нет, и как отвечать на него. Чем заболел, тем и лечись, клин клином вышибают. Буду опять искренен, сколько могу. Подумав хорошенько, я убедился, что моё письмо действительно было грубо и нехорошо, и что вы могли и должны были оскорбиться, получив его. Но всё-таки я от него не отрекаюсь. Это был не припадок ревности, а убеждение, которое я выразил слишком грубо, и которое я сохраняю до сих пор.

Насчёт вашего письма я думал вот как: или вы никогда не любили меня, что бы было прекрасно и для вас, и для меня, потому что мы слишком далеки друг от друга; или вы притворились и под влиянием Женечки, которая посоветовала вам холодностью разжечь меня. Мне кажется, что тут il y a du (1) Женечка. Mais c'est un mauvais moyen (2) со мной, j'envisage la chose trop serieusement pour que les petits moyens naifs puissent avoir prise sur moi. Je vois depuis longtemps le fond de votre coeur (3), и эти миленькие хитрости для меня не скрывают, а засоряют его.

(1) Есть от.

(2) Но это плохое средство.

(3) Я смотрю на дело слишком серьёзно, чтобы мелкие наивные средства могли действовать на меня; я уже давно вижу дно души вашей.

То, что я говорю, что было бы прекрасно, ежели бы вы никогда не любили меня, я тоже говорю искренно, и тоже, хотя и прежде я чувствовал это, меня особенно навело на мысль *последнее* письмо. Вы гневаетесь, что я только *умею*

читать нотации. Ну вот, видите ли, я вам пишу мои планы о будущем, мои мысли о том, как надо жить, о том, как я понимаю добро и т. д. Это все мысли и чувства самые дорогие для меня, которые я пишу чуть не со слезами на глазах (верьте этому), а для вас это *нотации* и *скука*. Ну что же есть между нами общего? Смотря по развитию, человек и выражает любовь. Оленькин жених выражает ей любовь, говоря о том, как они будут целоваться; вы выражаете любовь, говоря о высокой любви; а меня хоть убейте, я не могу говорить об этих вздорах. Верьте ещё одному, что во всех моих и ваших отношениях я был искренен, сколько мог, что я имел и имею к вам дружбу, что я искренно думал, что вы лучшая из всех девушек, которых я встречал, и которая, ежели захочет, я могу быть с ней счастлив и дать ей счастье, как я понимаю его. Но вот в чём я виноват и в чём прошу у вас прощения: это что, не убедившись в том, захотите ли вы понять меня, я как-то невольно зашёл с вами в объяснения, которые не нужны, и, может быть, часто сделал вам больно. В этом я очень и очень виноват; но постарайтесь простить меня, и останемся добрыми друзьями. Любовь и женитьба доставляли бы нам только страдания, а дружба, я это чувствую, полезна для нас обоих. И я не знаю, как вы, но я чувствую в себе силы удержаться в границах её. Кроме того, мне кажется, что я не рожден для семейной жизни, хотя люблю её больше всего на свете. Вы знаете мой гадкий, подозрительный, переменчивый характер, и Бог знает, в состоянии ли что изменить его. Нешто сильная любовь, которой я никогда не испытывал и в которую я не верю. Из всех женщин, которых я

знал, я больше всех любил и люблю вас, но всё это ещё очень мало. Прощайте, Христос с вами, милая Валерия Владимировна. Вы хоть в Ясную дайте знать, могу ли я всё-таки приехать посмотреть на вас в январе месяце.

Ваш гр. А. Толстой».

После этого письма наступает перерыв около трёх недель. Очевидно, что отношения их уже изменились и перешли в дружеские. Лев Николаевич в это время переехал в Петербург из-за своих литературных дел. Там он получил от неё большое письмо, на которое отвечает следующее:

Петербург, 1 января 1857 г.

«Милая Валерия Владимировна! Очень, очень вам благодарен за последнее большое письмо ваше. Оно успокоило меня и уменьшило те упреки, которые я себе делал за те письма, которые я вам писал и которые вас рассердили. Я ужасно гадок и груб был, и главное, мелок в отношении вас. Когда вас увижу, то постараюсь подробно объяснить, почему я себе так гадок.

Нынче Новый год, очень приятно мне думать, что я начинаю его письмом к вам, дай Бог, чтобы он вам принес больше радостей, чем прошлый, и вообще столько, сколько вы стоите, а вы заслуживаете счастья. Меня задержала здесь в праздники книжка «Современника», и хлопоты неожиданные с цензурой, и хлопоты о паспорте за границу. Однако, надеюсь через недельки две увидеть вас,

а может быть и нет. Что вам рассказать, как я прожил время своего молчания. Скучно и большей частью грустно, отчего, сам не знаю. Одиночество для меня тяжело, а сближение с людьми невозможно. Я сам дурен, а привык быть требователен. Притом я ничем не занят это время, и от этого грустно. Много слушаю музыки это время, и вчера даже встретил Новый год, слушая прелестнейшее в мире трио бетховенское, и вспомнил о вас, как бы оно на вас подействовало. Ноты завтра, как отопрут магазины, пришлю вам, и очень хорошие».

Ответом на это письмо последовало с её стороны запрещение писать ей. Но он продолжает писать ей, уже каясь в своей вине перед ней и перед собой. Вот это трогательное письмо, полное смирения и человеческого достоинства:

Петербург, 14 января 1857 г.

«Любезная Валерия Владимировна! Что я виноват перед собой и перед вами — ужасно виноват, это несомненно. Но что же мне делать? То, что я вам писал в ответ на ваше маленькое письмо, в котором вы запрещали мне писать вам, было совершенно справедливо, и больше я вам сказать ничего не могу. Я не переменялся в отношении вас и чувствую, что никогда не перестану любить вас *так, как, я любил*, т. е. дружбой, никогда не перестану больше всего на свете дорожить вашей дружбой, потому что никогда ни к какой женщине у меня сердце не лежало и не лежит так, как к вам. Но что же делать, я не в состоянии дать вам того же чувства, которое ваша хорошая натура готова дать мне. Я всегда это смутно чувствовал, но теперь наша 2-месячная разлука, жизнь с новыми интересами,

деятельностью, обязанностями даже, с которыми несовместна семейная жизнь, доказали мне это вполне. Я действовал в отношении вас дурно — увлекался, но ежели бы теперь я приехал к вам, и, разумеется, опять бы увлекся, я поступил бы ещё хуже. Надеюсь, что вы настолько меня уважаете, что верите, что во всем, что я теперь пишу, нет слова

183

неискреннего; а ежели так, то вы меня не перестанете любить немного. Я на днях еду в Париж и вернусь в Россию — когда? не знаю. Нечего вам говорить, что ежели вы мне напишете несколько строк, я буду счастлив и спокоен. Адрес: Paris, rue de Rivoli, No 206.

Прощайте, милая Валерия Владимировна, тысячу раз благодарю вас за вашу дружбу и прошу прощения за ту боль, которую она, может быть, вам сделала.

Ради Бога, попросите m-lle Vergani написать мне несколько хоть бранных строк. Это, может быть, покажется вам фразой, но, ей-Богу, я чувствую и знаю, что вы сделаете счастье хорошего, прекрасного человека, но я, в смысле сердца, не стою вашего ногтя и сделал бы ваше несчастье.

Прощайте, милая В. В., Христос с вами, перед вами так же, как и передо мной, своя большая прекрасная дорога, и дай Бог вам по ней прийти к счастью, которое вы 1000 раз заслуживаете.

Ваш гр. А. Толстой».

12-го января Л. Н. едет в Москву, оттуда пишет своей тётке, касаясь своего романа.

«Дорогая тётенька! Я получил мой заграничный паспорт и приехал в Москву, чтобы провести несколько дней с Машенькой и потом ехать в Ясную устроить мои дела и проститься с вами.

Но теперь я раздумал, особенно по совету Машеньки, и решился пробыть с ней здесь неделю или две и потом ехать прямо через Варшаву в Париж. Вы, верно, понимаете, *chere tante*, почему мне не хочется, даже не следует приезжать теперь в Ясную или, скорее, в Судаково. Я, кажется, поступил очень дурно в отношении Валерии, но ежели бы я теперь свиделся с ней, я поступил бы ещё хуже. Как я вам писал, я к ней более чем равнодушен, и чувствую, что не могу более обманывать ни себя, ни её. А приезжай я, может быть, от слабости характера и опять стал бы надувать себя.

Помните ли, дорогая тётенька, как вы смеялись надо мной, когда я вам сказал, что я уезжаю в Петербург, чтобы испытать себя, а между тем этому решению я обязан тем, что не сделал несчастья молодой особы и себя; не подумайте, что это было непостоянство или неверность; никто не понравился мне в течение этих двух месяцев, просто я увидел, что я сам себя обманывал, что у меня не только не было, но и никогда не будет по отношению к В. малейшего чувства настоящей любви. Единственное, что меня очень огорчает, это то, что я повредил девушке и что мне не удастся проститься с вами перед отъездом. Я надеюсь вернуться в Россию в июле, но если вы пожелаете, я приеду в Ясную, чтобы обнять вас; ещё есть время получить ваш ответ в Москве».

После этого Лев Николаевич, действительно, уехал за границу и из Парижа уже написал последнее из дошедших до нас писем к Вал. Вл-не:

Париж, 20 февраля — 4 марта 1857 г.

«Письмо ваше, которое я получил нынче, любезная Валерия Владимировна, ужасно обрадовало меня. Оно доказало мне, что вы не видите во мне какого-то злодея или изверга, а просто человека, с которым вы чуть было не сошлись в более близкие отношения, но к которому вы продолжаете иметь дружбу и уважение. Что мне отвечать на вопрос, который вы мне делаете:

почему? Даю вам честное слово (да и к чему честное слово, я никогда не лгал, говоря с вами), что перемене, которую вы находите во мне, не было никаких причин. Да и перемены, собственно, не было. Я всегда повторял вам, что не знаю, какого рода чувство я имел к вам, что мне всегда казалось, что что-то не то. Одно время, перед отъездом моим из деревни, одиночество, частые свидания с вами, а главное, ваша милая наружность и особенно характер сделали то, что я почти готов был верить, что я влюблен в вас, но всё что-то говорило мне, что *не то*, что я и не скрывал от вас, и даже вследствие этого уехал в Петербург. В Петербурге я вёл жизнь уединённую, но, несмотря на то, одно то, что я не видал вас, показало мне, что я никогда не был и не буду влюблён в вас. А ошибиться

в этом деле была бы беда и для меня, и для вас. Вот и вся история. Правда, что эта откровенность была неуместна. Я мог делать опыты с собой, не увлекая вас; но в этом я отдал дань своей неопытности и каюсь в этом, прошу у вас прощения, и это мучает меня; но не только в бесчестности, — в скрытности меня упрекать нельзя.

Что делать, запутались, но постараемся остаться друзьями. Я со своей стороны сильно желаю этого, и всё, что касается вас, будет сильно интересоваться меня. Верганичка в своём письме поступила, как отличная женщина, чем она никогда не перестанет для меня быть, т. е. она поступила не логически, но горячо, так, как она любит.

Я вот уже две недели живу в Париже. Не могу сказать, чтобы мне было весело, даже не могу сказать, чтобы было приятно, но занимательно чрезвычайно. Скоро думаю ехать в Италию.

Как вы поживаете в своём милом Судакове? Занимаетесь ли музыкой и чтением? Или неужели вы скучаете? Избави Бог, вам этого не следует делать.

Французы играют Бетховена, к моему великому изумлению, как боги, и вы можете себе представить, как я наслаждаюсь, слушая эту *musique d'ensemble* (1), исполненную лучшими в мире артистами.

Прощайте, любезная соседка, от души жму вашу руку и остаюсь вам истинно преданный

гр. А. Толстой».

Тётушка Льва Н-ча, Татьяна Александровна, по-видимому, не была довольна этим разрывом, давно желая своему племяннику тихого семейного счастья под своим крылышком. Она делает ему упрёки в

непоследовательности, даже обвиняет его в неблагородстве по отношению к той девушке, которую он так долго и напрасно мучил сомнениями и ожиданиями. На это Л. Н-ч отвечает Т. А-не следующим интересным письмом:

«Судя по вашему письму, дорогая тётенька, я вижу, что мы совсем не понимаем друг друга в деле С. Хотя я и признаюсь, что я виноват в непоследовательности, и что всё могло произойти совсем иначе, я считаю, что я действовал вполне честно. Я не перестал говорить, что я не знаю чувства, которое я испытываю к молодой особе, но что это не любовь и что я сам желаю испытать себя. Испытание показало мне, что я ошибался, и я написал это В. как только мог искренно.

После этого мои отношения к ней были настолько чисты, что я уверен, что воспоминание о них никогда не будет ей неприятно, если она выйдет замуж. Поэтому-то я и написал ей, что я хотел бы, чтоб она мне писала. Я не

(1) Согласованную музыку.

вижу, почему молодой человек должен непременно быть влюблённым в молодую особу и жениться на ней, а не иметь с ней дружественных отношений; что касается дружбы и участия к ней, я их сохраню навсегда.

Если бы M-lle Vergani, написавшая мне столь странное письмо, припомнила бы всё моё поведение по отношению к В., как я старался приходить как можно реже, и как именно она звала меня бывать чаще и войти в более

близкие отношения. Я понимаю, что она сердится, что то, чего она так желала, — не произошло (я, быть может, жалею об этом больше, чем она), но это ещё не причина говорить человеку, который старался поступать наилучшим образом, который пожертвовал многим из страха сделать несчастье других, говорить ему, что он свинья, и стараться уверить в этом всех. Я уверен, что в Туле все убеждены в том, что я самое ужасное чудовище».

По этому письму можно судить о том впечатлении, которое произвёл этот разрыв на его невесту и на окружающих её.

Через несколько времени, узнав из письма тетушки о том, что сестра его бывшей невесты выходит замуж, он снова возвращается к своему прежнему чувству и пишет так:

«Что касается В., я никогда не любил её настоящей любовью; я увлёкся нехорошим желанием внушить любовь, что доставляло мне никогда ещё не испытанное наслаждение. Но время, которое я провёл вдали от неё, доказало мне, что у меня даже не было желания увидеть её, не только жениться на ней. Мне было страшно подумать об обязанностях, которые должен буду выполнять по отношению к ней, не любя её; и это заставило меня уехать раньше, чем я думал. Я очень плохо поступил, я просил Бога простить меня и прошу этого у всех, кому причинил огорчение; но поправить это дело невозможно, и теперь ничто в мире не может возобновить этого.

Я желаю много счастья Ольге, я в восторге от её замужества, но я признаюсь вам, дорогая тётенька, что если что может мне доставить наибольшую радость, так это узнать, что В. выходит замуж за человека, которого

она любит и который её стоит; потому что, хотя в глубине души у меня нет ни малейшей любви к ней, я всё-таки нахожу, что она добрая и достойная девушка».

Так кончился этот короткий, трогательный и поучительный по своей искренности роман, представляющий одну из интереснейших глав биографии Льва Николаевича, открывающий нам целую интимную область его души, ставящий с необычайной силой и ясностью многие философские и психологические вопросы и решающий некоторые из них. Этот ряд писем представляет богатый материал для критического анализа, неуместного здесь, в биографии, но который, несомненно, будет сделан в ближайшем будущем компетентными в этом деле людьми. Прибавим к этому, что сам Лев Николаевич, пережив и, так сказать, отжив эти тревобления, сам со временем воспользовался этим эпизодом своей жизни и пережитыми чувствами и изобразил их в художественной форме; после прочтения этих писем прочтите этот роман, и, несмотря на фактическую разницу, вы узнаете знакомые мотивы; мы говорим о «Семейном счастье».

Можно сказать так: то, что в действительности только могло бы быть, но чего ещё не было, в романе стало уже реальным фактом. Действительный роман был началом, или, лучше, прологом романа написанного. В своём художественном воображении Лев Николаевич продолжил действительные линии до их воображаемого пересечения, и получилась прелестная картина.

Можно думать с некоторой вероятностью, что найдутся легкомысленные и злобные критики, которые нападут на Льва Николаевича за тот мелкобуржуазный идеал, выражаясь на современном жаргоне, который он изобразил в письмах к своей невесте. И мне хотелось бы в нескольких словах высказать своё мнение, которое, быть может, если не предупредит, то хотя несколько смягчит такое осуждение.

Квартира в 4-м этаже, фортепьяно, хорошая музыка, хорошее вино, хорошее общество, хорошие книги, скромно-изящная обстановка и на фоне всего этого воркованье молодой четы — какая пошлость, какая неизмеримая пропасть от этой картины до картины обливающегося потом пахаря или бродяги, освободившегося от всех условий современной ложной культуры! Да, расстояние большое во внешних условиях жизни. Но, во-первых, Лев Николаевич в то время, когда он писал эти письма, был артиллерийским офицером аристократического происхождения и воспитания, уже окружённым славою молодым талантливым писателем и вовсе не исповедовал никаких демократических и социалистических убеждений. Во-вторых, эти письма были обращены к девушке, для которой описанная картина была недостижимым идеалом, которая мечтала о флигель-адъютантах и придворных балах и для которой наставления Льва Николаевича были, может быть, лучшей, наиболее светлой страницей в её жизни. Для обеих сторон он дал всё, что могло дать хорошего чистое, правдивое чувство, вспыхнувшее, осветившее их жизнь и понемногу угасшее, когда потребность в нём прекратилась.

В-третьих, читатель не может не заметить те нравственные усилия, ту борьбу, которую вёл тогда Лев

Николаевич с самим собой для себя и для любимого существа, то постоянное стремление к правде и чистоте, которым преисполнены эти страницы, которые превосходят и опережают всевозможные идеалы современных общественных теорий и которые с такой силой развиты им и проведены в жизнь за последнее время. Это всё тот же священный огонь, который, хотя и тихо, но горел уже и тогда, задавленный кучей трудно горючего материала, и пробивался сквозь этот покров лишь временными яркими вспышками. Теперь же он горит ярким пламенем и светит и греет тем, кто ищет тепла и света.

Часть IV.
ЛИТЕРАТУРНАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ГЛАВА 11.
Первое заграничное путешествие.
Московская жизнь

Л. Н-ч выехал из Москвы 29-го января 1857 г. в «мальпосте», то есть на почтовых, до Варшавы, а из Варшавы уже по железной дороге в Париж, куда прибыл 21-го февраля нового стиля.

Там его ждал Тургенев, еще 23-го января писавший Дружнину:

«Толстой мне пишет, что он собирается сюда ехать, и отсюда весной в Италию; скажите ему, чтобы он спешил,

если хочет застать меня. Впрочем, я ему сам напишу. По письмам я вижу, что с ним совершаются самые благодатные перемены, и я радуюсь тому, "как нянька старая". Я прочёл его «Утро помещика», которое чрезвычайно понравилось мне своей искренностью и почти полной свободой воззрения; говорю "почти", потому что в том, как он себе задачу поставил, скрывается ещё (может быть, бессознательно для него самого) некоторое предубеждение. Главное нравственное впечатление этого рассказа (не говорю о художественном) состоит в том, что пока будет существовать крепостное состояние, нет возможности сближения и понимания обеих сторон, несмотря на самую бескорыстную и честную готовность сближения, и это впечатление хорошо и верно; но при нем бежит другое, побочное, пристяжное, а именно то, что вообще просвещать мужика, улучшать его быт — ни к чему не ведёт, и это впечатление неприятно. Но мастерство языка, рассказа, характеристики — великое» (1).

(1) «Первое собрание писем И. С. Тургенева», с. 44.

Уже после свидания с Толстым Тургенев пишет Полонскому:

«Толстой здесь. В нём произошла перемена к лучшему, весьма значительная. Этот человек пойдёт далеко и оставит за собой глубокий след».

В своём письме к Колбасину от 8-го марта из Парижа Тургенев говорит:

«Я здесь часто вижу Толстого, а от Некрасова получил на днях очень милое письмо из Рима.

С Толстым я всё-таки не могу сблизиться окончательно: слишком мы врозь глядим» (2).

(2) «Первое собрание писем И. С. Тургенева», с. 50.

А вот отзыв того же времени Толстого о Тургеневе и Некрасове, которого А. Н. застал ещё в Париже, — отзыв, приводимый Боткиным в письме к Дружинину от 8-го марта 1857 года.

188

Вот что пишет Толстой о свидании своём с ними:

«...Оба они блуждают в каком-то мраке, грустят, жалуются на жизнь, ничего не делают и тяготятся, как кажется, каждый своими респективными отношениями».

Тургенев пишет, что Некрасов внезапно собрался и уехал опять в Рим. Письмо Толстого всего занимает только одну страничку, но исполнено свежести и бодрости. Германия очень заинтересовала его, и он хочет потом поближе узнать её. Через месяц он едет в Рим (1).

(1) Из бумаг Дружинина. XXV лет. Сборник. СПб, 1884.

Из всей этой переписки видно, что отношения Толстого и Тургенева всегда колебались, и, несмотря на всё их старание, они не могли тесно сблизиться.

В марте месяце Толстой с Тургеневым совершили прогулку в Дижон, пробыв там несколько дней. В эти дни

Лев Николаевич написал рассказ о музыканте Альберте. Затем они снова возвращаются в Париж, где Лев Николаевич, как рассказывает он в своей «Исповеди», был свидетелем смертной казни, которая оставила в нём неизгладимое впечатление. В его дневнике он кратко записывает это впечатление:

«6-го апреля 1857 года. Встал в 7-м часу и поехал смотреть на экзекуцию. Толстая, белая, здоровая шея и грудь, целовал евангелие и потом — смерть. Что за бессмыслица! Сильное и недаром прошедшее впечатление. Я не политический человек. Мораль и искусство. Я знаю, люблю и могу... Гильотина долго не давала спать и заставляла оглядываться».

Вот что он пишет об этом в «Исповеди»:

«В бытность мою в Париже вид смертной казни обличил мне шаткость моего суеверия прогресса. Когда я увидал, как голова отделилась от тела, и то и другое враз застучало в ящике, я понял — не умом, а всем существом, — что никакие теории разумности существующего прогресса не могут оправдать этого поступка, и что если бы все люди в мире, по каким бы то ни было теориям, с сотворения мира, находили, что это нужно, — я знаю, что это не нужно, что это дурно и что поэтому судья тому, что хорошо и что дурно, — не то, что говорят и делают люди, и не прогресс, а я со своим сердцем».

Поездку в Рим Толстой отложил до осени, а весной прямо из Парижа отправился в Швейцарию, в Женеву, откуда пишет между прочим своей тетке Т. А.:

«Я провёл полтора месяца в Париже, и так приятно, что каждый день я говорил себе, что я хорошо сделал, что поехал за границу. Я очень мало посещал общество и литературный мир, а также кафе и публичные балы, но,

несмотря на это, я здесь нашел столько нового и интересного для меня, что каждый день, ложась спать, я говорю себе: какая жалость, что день прошёл так скоро, и я не успел сделать всего того, что предполагал сделать.

Бедный Тургенев очень болен физически и ещё более морально. Его несчастная связь с М-me V. и его дочь держат его здесь в климате, который вреден ему, и на него жалко смотреть. Я никогда не думал, чтобы он мог так любить».

Из Женевы А. Н. совершил прогулку в Пьемонт с приехавшими туда Боткиным и Дружининым и затем поселился на берегу Женевского озера, в местечке Кларан, откуда пишет своей тётке Т. А. восторженное письмо:

18-го мая 1857 г.

«Я только что получил ваше письмо, дорогая тётушка, которое застало меня, как вы это должны знать из моего последнего письма, в окрестностях

Женевы, в Кларане, в том самом местечке, где жила Юлия Руссо... Не буду пытаться описывать вам всю красоту этого края, особенно теперь, когда всё в зелени и цветах. Я вам скажу только, что буквально невозможно оторваться от этого озера, от этих берегов, и что я провожу большую часть моего времени в созерцании и восхищении, гуляя или просто стоя у окна моей комнаты. Я не перестаю радоваться пришедшей мне мысли оставить Париж и

приехать сюда провести здесь весну, хотя этим я и заслужил от вас упрёк в непостоянстве. Право, я счастлив и начинаю чувствовать выгоды в рубашечке родиться.

Здесь прелестное русское общество: Пущин, Карамзин, Мещерские, и все, Бог знает за что, меня полюбили, я это чувствую, и мне так было тут мило и хорошо, тепло этот месяц, что я провёл, что грустно думать об отъезде».

Лев Николаевич прожил около двух месяцев в Кларане и решил дальше продолжать путь пешком. Он познакомился там с одним русским семейством и пригласил мальчика Сашу, вероятно лет 10-ти, с собой пешком в горы. Первоначальное их намерение было дойти пешком до Фрибурга, перевалив через ущелье Jaman. Но, пройдя перевал, они передумали и свернули в Chateau d'Oex, откуда уже поехали в Тун в почтовом дилижансе.

В неизданных рукописях Льва Николаевича сохранились его путевые заметки этого путешествия. Мы заимствуем оттуда несколько картин швейцарской природы.

Сначала Лев Николаевич путешествовал на пароходе из Кларана в Монтрё.

«15/27 мая. Погода была ясная: голубой, ярко-синий Леман, с белыми и черными точками парусов и лодок, почти с трёх сторон сиял перед глазами; около Женевы, в дали яркого озера, дрожал и темнел жаркий воздух, на противоположном берегу круто поднимались зелёные Савойские горы с белыми домиками у подошвы и с расселинами скалы, имеющей вид громадной белой женщины в старинном костюме. Налево отчетливо и близко над рыжими виноградниками в тёмно-зелёной гуще фруктовых садов виднелось Montreux со своей

прилепившейся на полускате грациозной церковью; Вильнев на самом берегу, с ярко-блестящим на полуденном солнце железом домов, таинственное ущелье Vallais с нагроможденными друг на друга горами; белый, холодный Шильон над самой водой и воспетый островок, выдуманно, но всё-таки прекрасно торчащий против Вильнева. Озеро чуть рябило, солнце прямо сверху ударяло на его голубую поверхность, и распущенные по озеру паруса, казалось, не двигались.

Удивительное дело, я два месяца прожил в Кларане, но всякий раз, когда я утром или, особенно, перед вечером после обеда отворял ставни окна, на которое уже зашла тень, и взглядывал на озеро и далее синие горы, отражавшиеся в нём, красота ослепляла меня и мгновенно с силой неожиданной действовала на меня. Тотчас же мне хотелось любить, я даже чувствовал в себе любовь к себе и жалел о прошедшем, надеялся на будущее, и жить мне становилось радостно, хотелось жить долго, долго, и мысль о смерти получала детский, поэтический ужас. Иногда даже, сидя один в тенистом садике и глядя, всё глядя на эти берега и это озеро, я чувствовал как будто физическое впечатление, как красота через глаза вливалась мне в душу».

Но вот они идут в горы.

«...Над нами заливались лесные птицы, которых не слышно над озером, пахло сыростью, лесом и рубленой елью. Было так хорошо идти, что нам жалко было проходить скоро. Вдруг нас поразила необыкновенный, счастли-

вый, белый весенний запах. Саша побежал в лес и сорвал вишневых цветов, но они почти не пахли. С обеих сторон были видны зелёные деревья и кусты без цвета. Сладкий, одуряющий запах всё усиливался и усиливался. Пройдя сотню шагов, с правой стороны кусты открылись, и покатаая, огромная бело-зеленая долина с несколькими разбросанными на ней домиками открылась перед глазами.

Саша побежал на луг рвать обеими руками белые нарциссы и принес мне огромный, невыносимо пахучий букет, но со свойственной детям разрушительной жадностью побежал ещё топтать и рвать чудесные, молодые, сочные цветы, которые так нравились ему».

В Аванах ночевали. После восхождения на вершину Лев Николаевич записывает следующие мысли:

«16/28 мая. Правду мне говорили, что чем выше идёшь в горы, тем легче идти; мы шли уже с час и оба не чувствовали ни тяжести мешков, ни усталости. Хотя мы еще и не видели солнца, но оно через нас, задевая несколько утесов и сосен на горизонте, бросало свои лучи на возвышение напротив, потоки все слышны были внизу, около нас только сочилась снеговая вода, и на повороте дороги мы снова стали видеть озеро и Вале на ужасной глубине под нами. Низ Савойских гор был совершенно синий, как озеро, только темнее его; верх, освещенный солнцем, совершенно бело-розовый. Снеговых гор было больше, они казались выше и разнообразнее. Паруса и лодки, как чуть заметные точки, были видны на озере. Это было что-то красивое, даже необыкновенно красивое, но это не природа, а что-то такое хорошее. Я не люблю этих

так называемых величественных и знаменитых видов: они холодны как-то.

...Я люблю природу, когда она со всех сторон окружает меня и потом развивается бесконечно вдаль, но когда я нахожусь в ней. Я люблю, когда со всех сторон окружает меня жаркий воздух, и этот же воздух, клубясь, уходит в бесконечную даль, когда те самые сочные листья травы, которые я раздавил, сидя на них, делают зелень бесконечных лугов, когда те самые листья, которые, шевелясь от ветра, двигают тень по моему лицу, составляют синеву далекого леса, когда тот самый воздух, которым вы дышите, делает глубокую голубизну бесконечного неба, когда вы не одни ликуете и радуетесь природой, когда около вас жужжат и вьются мириады насекомых, сцепившись ползают коровки, везде кругом заливаются птицы.

А эта голая, холодная, пустынная, серая площадка, и где-то там красивое что-то подернуто дымкой дали. Но это что-то так далеко, что я не чувствую главного наслаждения природы, не чувствую себя частью этого всего бесконечного в прекрасного далека. Мне дела нет до этой дали».

Продолжая путь дальше, к июлю Лев Николаевич попадает в Люцерн, откуда пишет своей тетке Татьяне Александровне:

«Кажется, я писал вам, дорогая тетушка, что я уехал из Кларана с намерением предпринять довольно большое путешествие через северную Швейцарию, Рейн, Голландию и оттуда в Англию. Оттуда я снова рассчитываю проехать через Францию и Париж и в августе провести некоторое время в Риме и Неаполе. Если я перенесу морские путешествия, что я увижу на моём

переезде из Гааги в Лондон, я думаю вернуться через Средиземное море, Константинополь, Черное море и Одессу. Но всё это только планы, которые я, быть может, не осуществляю по причине моего изменчивого настроения, за которое вы меня справедливо упрекаете, дорогая тётушка. Я приехал в Люцерн. Это город северной Швейцарии, недалеко от Рейна, и я уже задерживаюсь в пути,

чтобы провести несколько дней в этом очаровательном городке. Я опять совсем один и признаюсь вам — уединение часто бывает очень тяжело мне, так как знакомства, которые делаешь в отелях и по железной дороге, меня не удовлетворяют. Но в этом уединении есть и хорошая сторона: оно заставляет меня работать. Я немного работаю, но дело идёт плохо, как обыкновенно летом».

В это-то пребывание Льва Николаевича в Люцерне с ним произошёл случай, рассказанный им в «Записках князя Нехлюдова». Рассказ этот помечен 57 годом и потому должен относиться к этому путешествию.

В этом рассказе, как известно, чудное описание швейцарской природы сменяется выражением негодования над извращением этой природной гармонии в угоду богатым туристам, по большей части англичанам.

Контраст между мертвенным приличием табльдота и дикой, но мягкой, живительной красотой озера поражает автора. И чувство это усиливается, когда он слышит песню уличного певца с гитарой. Эта песня каким-то

волшебством привлекла всеобщее внимание и настроила душу в тон невыразимой гармонии.

«Все спутанные, невольные впечатления жизни вдруг получили для меня значение и прелесть. В душе моей как будто распустился свежий, благоухающий цветок. Вместо усталости, рассеяния, равнодушия ко всему на свете, которое я испытывал за минуту перед этим, я вдруг почувствовал потребность любви, полноту надежды и беспричинную радость жизни. Чего хотеть, чего желать? — сказалось мне невольно, — вот она, со всех сторон обступает тебя красота и поэзия. Вдыхай её в себя широкими, полными глотками, насколько у тебя есть силы, наслаждайся, чего тебе ещё надо! Всё твоё, всё благо...»

И опять мёртвые, приличные англичане чёрной рамкой оттеняют этот чудный цветок поэзии.

Певец кончил и протянул руку со шляпой под окнами богатого отеля, на балконе которого стояла толпа разряженных слушателей, но ему никто ничего не дал.

Толстой, поражённый каменным бесчувствием этой толпы, бежит за музыкантом и приглашает его в ресторан выпить бутылку вина. Его вызывающее поведение производит скандал в отеле, но этого-то ему и хочется, ему хочется уязвить самодовольных богачей, хочется выразить своё негодование за их бесчувственность. Но скандал проходит почти незаметно, и в авторе остаётся чувство горечи от несправедливости людей и неспособности их понять высшее счастье, простое, человеческое и вместе с тем гармоничное отношение к природе, и он обращается к людям с обличительной речью:

«Как вы, дети свободного, человеческого народа, вы, христиане, вы, просто люди, на чистое наслаждение, которое вам доставил несчастный просящий человек,

ответили холодностью и насмешкою? Но нет, в вашем отечестве есть приюты для нищих. — Нищих нет, их не должно быть, и не должно быть чувства сострадания, на котором основано нищенство. — Но он трудился, он радовал вас, он умолял вас дать ему что-нибудь от вашего излишка за свой труд, которым вы воспользовались. А вы с холодной улыбкой наблюдали его, как редкость, из своих высоких блестящих палат, и из сотни вас, счастливых, богатых, не нашлось ни одного, ни одной, которая бы бросила ему что-нибудь! Пристыжѣнный, он пошѣл прочь от вас, и бессмысленная толпа, смеясь, преследовала и оскорбляла не вас, а его за то, что вы холодны, жестоки и

бесчестны; за то, что вы украли у него наслаждение, которое он вам доставил, за это его оскорбляли.

Седьмого июля 1857 года в Люцерне, перед отелем Швейцергофом, в котором останавливаются самые богатые люди, странствующий нищий певец в продолжение получаса пел песни и играл на гитаре. Около ста человек слушали его. Певец три раза просил всех дать ему что-нибудь. Ни один человек не дал ему ничего, и многие смеялись над ним.

Это не выдумка, а факт положительный, который могут исследовать те, которые хотят, у постоянных жителей Швейцергофа, справившись по газетам, кто были иностранцы, занимавшие Швейцергоф 7 июля.

Вот событие, которое историки нашего времени должны записать огненными неизгладимыми буквами».

И из души его вырывается крик удивления перед непостижимостью всего этого хаотического сцепления фактов людских отношений с их мелкими чувствами перед лицом гармоничного величия могучей природы. В патетической художественной форме изливает автор настроение своей души и так заканчивает рассказ:

«Несчастное, жалкое создание человек со своей потребностью положительных решений, брошенный в этот вечно движущийся, бесконечный океан добра и зла, фактов, соображений, противоречий! Веками бьются и трудятся люди, чтобы отодвинуть к одной стороне благо, к другой неблаго. Проходят века, и где бы, что бы ни прикинул беспристрастный ум на весы доброго и злого, весы не колеблются, и на каждой стороне столько же блага, сколько и неблаго. Ежели бы только человек выучился не судить и не мыслить резко и положительно и не давать ответы на вопросы, данные ему только для того, чтобы они вечно оставались вопросами! Ежели бы только он понял, что всякая мысль и ложна, и справедлива! Ложна односторонностью, по невозможности человека обнять всей истины, и справедлива по выражению одной стороны человеческих стремлений. Сделали себе подразделения в этом вечно движущемся, бесконечном, бесконечно перемешанном хаосе добра и зла, провели воображаемые черты по этому морю и ждут, что море так и разделится. Точно нет миллионов других подразделений совсем с другой точки зрения, в другой плоскости. Правда, вырабатываются эти новые подразделения веками, но и веков прошли и пройдут миллионы. Цивилизация — благо; варварство — зло; свобода — благо; неволя — зло. Вот это-то воображаемое знание уничтожает инстинктивные, блаженнейшие первобытные потребности добра в

человеческой натуре. И кто определит мне, что́ свобода, что́ деспотизм, что́ цивилизация, что́ варварство? И где границы одного и другого? У кого в душе так непоколебимо это мерило добра и зла, чтоб он мог мерить им бегущие запутанные факты? У кого так велик ум, чтобы хоть в неподвижном прошедшем обнять все факты и взвесить их? И кто видел такое состояние, в котором бы не было добра и зла вместе? И почему я знаю, что вижу больше одного, чем другого, не оттого, что стою не на настоящем месте? И кто в состоянии так совершенно оторваться умом хоть на мгновение от жизни, чтобы независимо сверху взглянуть на неё? Один, только один есть у нас непогрешимый руководитель, Всемирный Дух, проникающий нас всех вместе и каждого как единицу, влагающий в каждого стремление к тому, что должно; тот самый Дух, который в дереве велит ему расти к солнцу, в цветке велит ему бросить семя к осени и в нас велит нам бессознательно жаться друг к другу.

И этот-то один непогрешимый блаженный голос заглушает шумное торопливое развитие цивилизации. Кто больше человек и кто больше варвар: тот ли лорд, который, увидав затасканное платье певца, со злобой убежал из-за стола, за его труды не дал ему миллионной доли своего состояния и теперь, сытый, сидя в светлой, покойной комнате, спокойно судит о делах Китая, находя справедливыми совершаемые там убийства, — или маленький певец, который, рискуя тюрьмой, с франком в кармане, двадцать лет никому не делая вреда, ходит по

горам и долам, утешая людей своим пеньем, которого оскорбили, чуть не вытолкали нынче, и который, усталый, голодный, пристыжённый, пошёл спать куда-нибудь на гниющей соломе?»

В это время из города, в мёртвой тишине ночи, Лев Николаевич далеко-далеко услышал гитару маленького человека и его голос.

«Нет, казалось мне невольно, — продолжает он свои мысли, — ты не имеешь права жалеть о нём и негодовать на благосостояние лорда. Кто свесил внутреннее счастье, которое лежит в душе каждого из этих людей? Вот он сидит теперь где-нибудь на грязном пороге, смотрит на блестящее лунное небо и радостно поёт среди тихой, благоуханной ночи; в душе его нет ни упрёка, ни злобы, ни раскаяния. А кто знает, что делается теперь в душе всех этих людей, за этими богатыми высокими стенами? Кто знает, есть ли в них всех столько беззаботной, кроткой радости жизни и согласия с миром, сколько её живёт в душе этого маленького человека? Бесконечна благодать и премудрость Того, Кто позволил и вслед существовать всем этим противоречиям. Только тебе, ничтожному червяку, дерзко, незаконно пытающемуся проникнуть Его законы, Его намерения, только тебе кажутся противоречия. Он кротко смотрит со своей светлой, неизмеримой высоты и радуется на бесконечную гармонию, в которой вы все противоречиво, бесконечно движетесь. В своей великой гордости ты думал вырваться из законов общего. Нет, и ты со своим маленьким, пошленьким негодованием на лакеев, и ты тоже ответил на гармоническую потребность вечного и бесконечного» (1).

(1) Полн. собр. соч. Л. Н. Т., т. II. Люцерн.

Из Люцерна Л. Н-ч через Берн вернулся в Женеву и в Кларан около половины июля. В конце этого месяца он снова пускается в путь и уже окончательно покидает Швейцарию. Лев Николаевич продолжает путь по Рейну, в Шафгаузен, Баден, Штутгарт, Франкфурт и Берлин.

8-го августа он был уже в Штеттине и оттуда на пароходе прибыл 11 августа (30 июля) в Петербург.

В Петербурге он пробыл неделю, посещал кружок «Современника», бывал у Некрасова и, между прочим, прочёл ему свой рассказ «Люцерн», который был напечатан в сентябрьской книжке «Современника» в том же 1857 году. 6-го августа он выехал в Москву и, почти не останавливаясь, проехал в Тулу. По приезде в Ясную Поляну он снова окунулся в хозяйство. В дневнике того времени мы, между прочим, находим такую запись:

«Вот как дорогой я ограничил своё назначение: главное — литературные труды, потом — семейные обязанности, потом — хозяйство; но хозяйство я должен оставить на руках старосты, сколько возможно; смягчать его, улучшать и пользоваться только двумя тысячами, остальное употреблять на крестьян. Главное — мой камень преткновения есть тщеславие либерализма. А так жить для себя — по доброму делу в день и довольно».

Немного позже писал он:

«Самоотвержение не в том, что берите с меня, что хотите, а трудись, и думай, и хитри, чтобы отдать себя».

Август месяц он посвящает чтению, читал две замечательные книги — «Илиаду» и Евангелие. И та и другая произвели на него сильное впечатление: «дочёл невообразимо прелестный конец Илиады», так выражается он, и необыкновенная красота этих обеих книг заставляет его жалеть, что между ними нет связи. «Как мог Гомер не знать, что добро — любовь?» — восклицает он, мысленно сравнивая эти две книги. И сам отвечает: «Откровение — нет лучшего объяснения».

В половине октября Толстой переселяется со своим старшим братом Николаем и сестрой Марией в Москву. Его дневник доказывает нам, что он уже 17-го числа был в Москве, 22-го он на несколько дней уезжает в Петербург.

Рассказ Льва Николаевича «Люцерн» («Из записок князя Нехлюдова»), напечатанный, как выше было сказано, в сентябрьской книжке «Современника», был не понят критикой и потому прошёл почти незамеченным.

Молчание критиков служит прямым и резким обличением их односторонности, узости и близорукости. Вообще с 1857 по 1861, по замечанию Зелинского, издавшего сборник критических статей о Толстом, несмотря на всё его старание, он за эти года не нашёл отдельных критических статей и рецензий о произведениях Льва Николаевича Толстого, несмотря на то, что за это время им напечатаны такие замечательные произведения, как «Юность», «Люцерн», «Альберт», «Три смерти», «Семейное счастье».

От Льва Николаевича не ускользнуло это равнодушие критиков, и он записывает в своём дневнике после поездки в Петербург в октябре 1857 года:

«Петербург сначала огорчил, потом оправил меня. Репутация моя пала или чуть скрипит, и я внутренне

сильно огорчился; но теперь я спокоен, — я знаю, что у меня есть что сказать и силы сказать сильно; а потом что хочешь говори, публика. Но надо работать добросовестно, положить все свои силы, тогда... пусть плюют на алтарь».

30-го октября Лев Николаевич возвращается в Москву. В своё пребывание в Москве Лев Николаевич часто посещал Фета, который так рассказывает об этом в своих воспоминаниях:

«Однажды вечером, во время чая, явился к нам неожиданно А. Н. Толстой и сообщил, что они, Толстые, т. е. он, старший его брат, Николай Николаевич, и сестра, графиня Мария Николаевна, поселились все вместе в меблированных комнатах Варгина, на Пятницкой. Мы все скоро сблизились» (1).

(1) «Мои воспоминания 1848–1889» А. Фета. Ч. I, с. 214.

Московская жизнь Льва Николаевича в эти годы (конец 50-х) ничем особенным не выделялась. Физическая природа его была в то время в полной силе и блеске и влекла его к честолюбивым играм, забавам и вообще различным светским удовольствиям.

Фет рассказывает, что у них «иногда по вечерам составлялись дуэты, на которые приезжала пианистка и любительница музыки графиня М. Н. Толстая, иногда в сопровождении братьев — Николая и Льва или же одного Николая, который говорил:

— А Лёвочка опять надел фрак и белый галстук и отправился на бал».

О подобном препровождении времени свидетельствует следующий отрывок из воспоминаний Фета:

«И. П. Борисов, бывший сам человеком недюжинным и выдавший Льва Толстого ещё на Кавказе, не мог, конечно, с первой встречи с ним в нашем доме не подпасть под влияние этого богатыря. Но в то время увлечение Льва Толстого щегольством бросалось в глаза, и, видя его в новой бекеше с седым бобровым воротником, с вьющимися тёмно-русыми волосами под блестящей шляпой, надетою набекрень, и с модною тростью в руке, выходящего на прогулку, Борисов говорил про него словами песни: «Он и тросточкой подпирается, он калиновой похваляется».

В то время у светской молодёжи входили в моду гимнастические упражнения, между которыми первое место занимало прыганье через деревянного коня. Бывало, если нужно захватить Льва Николаевича во втором часу дня, надо отправляться в гимнастический зал на Большой Дмитровке. Надо было видеть, с каким одушевлением он, одевшись в трико, старался перепрыгнуть через коня, не задевши кожаного, набитого шерстью конуса, поставленного на спине этого коня. Неудивительно, что подвижная, энергичная натура 29-тилетнего Льва Толстого требовала такого усиленного движения, но довольно странно было видеть рядом с юношами старцев с обнажёнными черепами и выдающимися животами. Один молодой, но женатый человек, дождавшись очереди, в своём розовом трико, каждый раз с разбегу упирался

грудью в круп коня и спокойно отходил в сторону, уступая место следующему».

В начале января 1858 года Москву посетила графиня Александра Андреевна Толстая, друг молодости Льва Николаевича. Лев Николаевич проводил её до Клина по Николаевской железной дороге и оттуда поехал к княжне Волконской, о которой мы уже упоминали в главе о предках Льва Николаевича со стороны его матери. Эта княжна Волконская была двоюродная сестра матери Льва Николаевича, жила подолгу с ней в Ясной Поляне и могла много интересного рассказать Льву Николаевичу про его мать и её отца.

Лев Николаевич сохранил самое приятное воспоминание об этом посещении и, живя у ней, написал рассказ «Три смерти».

Как видно, мысль о смерти начинала серьёзно волновать его, и, как всегда, возможное решение этого вопроса он находил — в гармонии разума с природой. Отступление от этого — невыразимое страдание; следование этому — вечное благо, и "жало" смерти исчезает.

В феврале он возвращается в Ясную Поляну. Потом опять едет в Москву и в марте на две недели в Петербург. В апреле он снова в Ясной Поляне, где уже проводит всё лето. За это время Лев Николаевич много времени отдает также музыке и даже основывает музыкальное общество в Москве с содействием Боткина, Перфильева, Мортье и других. Г-жа Киреевская даёт свою залу для концертов, устраиваемых этим обществом. Из этого общества впоследствии образовалась Московская консерватория. В этом же году он в Москве близко сошёлся с семьёй старика С. Т. Аксакова.

Весна действовала на Льва Николаевича возбуждающим образом. И этот прилив энергии, который он ощущал, хорошо выражен им в письме к тётке, гр. А. А. Толстой, написанном именно в этом 1858 году:

«Бабушка!» (1) Весна!..

(1) Свою тётку, гр. А. А. Толстую, недавно умершую, Лев Николаевич шутя называл «бабушкой».

Отлично жить на свете хорошим людям; даже и таким, как я, хорошо бывает. В природе, в воздухе, во всём — надежда, будущность, и прелестная

будущность... Иногда ошибаешься и думаешь, что не одну природу ждёт будущность и счастье, а и тебя тоже, и хорошо бывает. Я теперь в таком состоянии, и со свойственным мне эгоизмом тороплюсь писать вам о предметах, только для меня интересных. Я очень хорошо знаю, когда обсужу здраво, что я старая, промёрзлая и ещё под соусом сваренная картофелина; но весна так действует на меня, что я иногда застаю себя в полном разгаре мечтаний о том, что я — растение, которое распустилось вот только теперь, вместе с другими, и станет спокойно, просто и радостно расти на свете Божиим. По этому случаю, к этому времени идёт такая внутренняя переборка, очищение и порядок, какой никто, не испытывавший этого чувства, не может себе представить.

Всё старое — прочь! все условия света, всю лень, весь эгоизм, все пороки, все запутанные, неясные привязанности, все сожаления, даже раскаяния — всё прочь!.. Дайте место необыкновенному цветку, который надувает почки и вырастает вместе с весной!..»

Это письмо довольно длинное и столь же интересное. Оно интересно ещё и по своему концу, в котором Лев Николаевич выражает следующую просьбу:

«Прощайте, милая бабушка, не сердитесь на меня за этот вздор и ответьте умное и пропитанное добротой — и христианскою добротой! — словечко. Я давно хотел написать вам, что вам удобнее писать по-французски, а мне женская мысль понятнее по-французски» (1).

(1) Ив. Захарьин (Якунин). «Воспоминания о гр. А. А. Толстой». «Вестник Европы». Июнь 1904.

Этою же весной, при проезде из Москвы в своё имение, навестили Льва Николаевича в Ясной Поляне Фет с женой.

В своих воспоминаниях Фет так рассказывает об этой поездке, давая вместе с тем интересную характеристику тётушки и воспитательницы Льва Николаевича Татьяны Александровны Ёргольской:

«Купивши тёплую и укладистую рогожную кибитку, мы с одною горничною (опозтезированной Толстым Марьюшкой) (2) отправились на почтовых в Мценск. О железной дороге тогда не было ещё и помину, а про поставленные вдоль шоссе телеграфные столбы говорили в народе, что тянут эту проволоку, а потом по ней и пустят

из Питера волю. К этому времени мы уже настолько сошлись со Львом Николаевичем Толстым, что я счел бы для себя большим лишением не заехать к нему передохнуть на денек в Ясную Поляну. Там мы с женой представились прелестной старушке — тётке Толстого, Татьяне Александровне Ёргольской, принявшей нас с тою старинною приветливостью, которая сразу облегчает вступление в чужой дом. Татьяна Александровна не предавалась воспоминаниям о временах давно прошедших, а жила всей полнотой окружающего её настоящего.

(2) См. «Семейное счастье».

Она говорила о том, что "на днях проехал к себе в Пирогово Серёженька Толстой, а Николенька, пожалуй, еще пробудет в Москве с Машенькой, но приятель Лёвочки Дьяков был на днях и жаловался на нервные боли жены своей». В затруднительных вопросах Татьяна Александровна обращалась к Лёвочке и окончательно успокаивалась его решением. Так, проезжая с ним осенью в Тулу, она, взглянув в окно кареты, вдруг спросила: «Mon cher Leon,

как это пишут письмо по телеграфу?» «Пришлось, — рассказывал Толстой, — с возможною простотою объяснить действие телеграфного снаряда, одинакового на

обеих сторонах проволоки, — и под конец услышать: "oui, oui, je comprends, mon cher!" (1)

(1) Да-да, я понимаю, дорогой мой.

Не спуская вслед за тем более получаса глаз с проволоки, тётушка, наконец, спросила: "mon cher Leon, как же это так? За целые полчаса я не видала ни одного письма, пробежавшего по телеграфу".

— Сидим мы иногда, — рассказывал Лев Николаевич, — с тетушкой целый месяц, не видя никого, и вдруг, разливая суп, тетушка скажет: "mais savez vous, cher Leon, on dit..."» (1)

(1) А знаете, дорогой Лев, говорят...

Приведём здесь же вторую часть воспоминаний Льва Николаевича об этом замечательном человеке, Татьяне Александровне, имевшей на него такое огромное влияние.

«Помню осенние и зимние длинные вечера, и эти вечера остались для меня чудесным воспоминанием. Этим вечерам я обязан лучшими своими мыслями, лучшими движениями души. Сидишь на кресле, читаешь, думаешь, изредка слушаешь её разговоры с Натальей Петровной или с Дунечкой, горничной, всегда доброй, ласковой, перекинешься с ней словом, и опять сидишь, читаешь, думаешь. Это чудное кресло и теперь стоит у меня, но оно уже не то, и другой диван, на котором спала добрая старушка Наталья Петровна, жившая с ней, не для неё, а потому что ей негде было жить. Между окнами под

зеркалом был её письменный столик с баночками и вазочкой, в которых были сладости: пряники, финики, которыми она угощала меня. У окна два кресла, и направо от двери вышитое, покойное кресло, на котором она любила, чтобы я сидел по вечерам.

Главная прелесть этой жизни была в отсутствии всякой материальной заботы, в добрых отношениях ко всем, в твердых, несомненно добрых отношениях к ближайшим лицам, которые никем не могли быть нарушены, и в неторопливости, в неосознавании убегающего времени.

Тогда можно было сказать: *Wer darauf sitzt, der ist glücklich, und der glückliche bin ich* (1).

(1) Кто на нём сидит, тот счастлив, и счастливец этот я.

И действительно, я был истинно счастлив, когда сидел на этом кресле. После дурной жизни в Туле у соседей с картами, цыганами, охотой, глупым тщеславием, вернешься домой, придёшь к ней, по старой привычке поцелуешься с ней рука в руку, я — её милую энергическую, она — мою грязную, порочную руку, поздоровавшись тоже по старой привычке по-французски, пошутить с Натальей Петровной и сядешь на покойное кресло. Она знает всё, что я делал, жалеет об этом, но никогда не упрекнёт, всегда с той же лаской, любовью. Сажу на кресле, читаю, думаю, прислушиваюсь к разговору её с Натальей Петровной. То вспоминают старину, то раскладывают пасьянс, то замечают предзнаменования, то шутят о чём-нибудь, и обе старушки смеются, особенно тётенька, детским, милым смехом, который я сейчас слышу. Рассказываю я про то, что жена

знакомого изменила мужу, и говорю, что муж, должно быть, рад, что освободился от неё. И вдруг тетенька, сейчас только говорившая с Натальей Петровной о том, что нарост на свечке означает гос-

тя, поднимает брови и говорит, как дело, давно решённое в её душе, что муж не должен этого делать, потому что погубит совсем жену. Потом она рассказывает мне про драму на дворе, про которую рассказывала ей Дунечка. Потом перечитывает письмо от сестры Машеньки, которую она любит если не больше, то так же, как меня, и говорит про её мужа, своего родного племянника, не осуждая, но грустя о том горе, которое он сделал Машеньке. Потом я опять читаю, она перебирает свои вещицы — все воспоминания. Главное свойство её жизни, которое невольно заражало меня, была её удивительная, всеобщая доброта ко всем без исключения. Я стараюсь вспомнить случай, когда бы она рассердилась, сказала резкое слово, осудила бы, и не могу вспомнить ни одного случая за 30 лет жизни. Она говорила добро про другую тетюшку родную, которая жестоко огорчила её, отняв нас у неё, не осуждала и мужа сестры, очень дурно поступившего с ней. Про прислугу и говорить нечего. Она выросла в понятиях, что есть господа и люди, но пользовалась своим господством только для того, чтобы служить людям. Никогда она не выговаривала мне прямо за мою дурную жизнь, хотя страдала за меня. Брата, Сергея, которого она тоже горячо любила, она также не упрекала и тогда, когда он сошёлся с цыганкой.

Единственный оттенок беспокойства за нас было то, что когда он долго не приезжал, она говаривала: «что-то наш Сергейус?» Только вместо Серёжи — Сергейус. Никогда она не учила тому, как надо жить, словами, никогда не читала правоучений. Вся нравственная работа была переработка в ней внутри, а наружу выходили только её дела — и не дела — дел не было, а вся её жизнь — спокойная, кроткая, покорная и любящая не тревожной, любующейся на себя, а тихой, незаметной любовью.

Она делала внутреннее дело любви, и потому ей не нужно было никуда торопиться. И эти два свойства — любовность и неторопливость — незаметно влекли в общество к ней и давали особенную прелесть в этой близости.

От этого, как я не знаю случая, чтобы она обидела кого, я не знаю никого, кто бы не любил её. Никогда она не говорила про себя, никогда о религии, о том, как надо верить, о том, как она верит и молится. Она верила во всё, но отвергала только один догмат — вечных мучений. «Dieu, qui est la bonte meme, ne peut pas vouloir nos souffrances» (1).

(1) Бог, который сама доброта, не может хотеть наших страданий.

И кроме, как на молебнах и панихидах, я никогда не видал, как она молится. Я только по особенной приветливости, с которой она иногда встречала меня, когда я иногда поздно вечером после прощания на ночь заходил к ней, догадывался, что я прервал её молитву. «Заходи, заходи, — скажет она, бывало. — А я только что

говорю Нат. Петр., что Nicolas зайдёт ещё к нам». Она часто называла меня именем отца, и это мне было особенно приятно, потому что показывало, что представление о мне и отце соединяется в её любви к обоим. По этим поздним вечерам она бывала уже раздета, в ночной рубашке, с накинутым платком, с цыплячьими ножками в туфлях, и в таком же неглиже Нат. Петр. «Садись, садись», — говорила она, видя, что мне не хочется спать или тяжело одиночество. И эти незаконные, поздние сидения мне особенно милы по памяти. Бывало, скажет что-нибудь смешное Нат. Петр. или я — и она добродушно смеётся, и тотчас же рассмеётся Нат. Петр., и обе старушки долго смеются, сами не знают — чему, а как дети, только тому, что они всех любят и им хорошо.

Не одна любовь ко мне была радостна. Радостна была эта атмосфера любви ко всем присутствующим, отсутствующим, живым и умершим людям и даже животным.

Я ещё буду, если придётся раскопать мою жизнь, много говорить про неё. Теперь скажу только про отношение народа, яснополянских крестьян к ней, выразившееся во время её похорон: когда мы несли её по деревне, не было ни одного двора из 60, из которого не выходили бы люди и не требовали бы остановки и панихиды. «Добрая была барыня, никому зла не сделала», — говорили все. И её любили, и сильно любили за это. Лао-Цзы говорит, что вещи ценны тем, чего в них нет. Так же и жизнь: главная цена её в том, чтобы не было в ней дурного. И в жизни

тётушки Татьяны Александровны не было дурного. Это легко сказать, но трудно сделать. И я знал только одного такого человека.

Умирала она тихо, постепенно засыпая, и умерла, как хотела, не в той комнате, где жила, чтобы не испортить её для нас.

Умирала она, почти никого не узнавая. Меня она узнавала всегда, улыбаясь, просиявала, как электрическая лампочка, когда нажмешь кнопку, и иногда шевелила губами, стараясь произнести «Nicolas», перед смертью совсем уже нераздельно соединив меня с тем, кого она любила всю жизнь.

И ей-то, ей-то я отказывал в той маленькой радости, которую ей доставляли финики, шоколад и не столько для себя, а чтобы угощать меня же, и возможность дать ей немного денег тем, кто просил её. Этого не могу вспомнить без мучительного укора совести. Милая, милая тётенька, простите меня. *Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait* (1), не в смысле того блага, которого для себя не взял в молодости, а в смысле того блага, которого не дал, и зла, которое сделал тем, которых уже нет» (2).

(1) Если бы юность знала, если бы старость могла.

(2) Из доставленных мне и отданных в моё распоряжение черновых неисправленных записок Л. Н. Толстого.

Лето 1858 года Лев Николаевич хотя и не постоянно живёт в Ясной Поляне, уезжая на время в Москву, но жизнь народная интересуется его всё более и более, и он делает попытки сближения.

Фет в своих воспоминаниях приводит рассказ Ник. Ник. Толстого о его брате Льве, относящийся к этому времени и переданный с тонким юмором, свойственным Ник. Ник.

«На расспросы наши о Льве Николаевиче граф с видимым наслаждением рассказывал о любимом брате. "Лёвочка, — говорил он, — усердно ищет сближения с сельским бытом и хозяйством, с которыми, как и мы все, до сих пор знаком поверхностно. Но уж не знаю, какое тут выйдет сближение: Лёвочка желает всё захватить разом, не упуская ничего, даже гимнастики. И вот у него под окном кабинета устроен бар. Конечно, если отбросить предрассудки, с которыми он так враждует, он прав: гимнастика хозяйству не помешает; но староста смотрит на дело несколько иначе: "придёшь, говорит, к барину за приказанием, а барин, зацепившись одною коленкой за жердь, висит в красной куртке головою вниз и раскачивается; волосы отвисли и мотаются, лицо кровью налилось; не то приказания слушать, не то на него дивиться". Понравилось Лёвочке, как работник Юфан растопыривает руки при пахоте. И вот

Юфан для него эмблема сельской силы, вроде Микулы Селяниновича. Он сам, широко расставляя локти, берётся за соху и юфанствует» (1).

(1) «Мои воспоминания» А. Фета. С. 237.

В мае того же года Л. Н. Толстой писал А. А. Фету из Ясной Поляны:

«Драгоценный дяденька!

Пишу два слова, только чтобы сказать, что обнимаю вас изо всех сил, что письмо ваше получил, что М. П. целую руки, всем вашим кланяюсь. Тётя очень благодарна за память и кланяется; и сестра кланяется. Что за весна была и есть чудная! Я в одиночку смаковал её чудесно! Брат Николай должен быть в Никольском (Вяземском); поймайте его и не пускайте, — я в этом месяце хочу прийти к вам. Тургенев поехал в Винциг до августа, лечить свой пузырь.

Чёрт его возьми! Надоело любить его. Пузыря не вылечит, а нас лишит.

Затем прощайте, любезный друг; ежели до моего прихода не будет стихотворения, уж я его из вас выжму.

Ваш гр. Л. Толстой.

Какой Троицын день был вчера! Какая обедня с вянущей черёмухой, седыми волосами и ярко-красным кумачом и горячее-горячее солнце!»

А затем он же:

«Ау, дяденька! Ауу! Во-первых, сами не отзовётесь ничем, когда весна, и знаете, что все о вас думают, и что я, как Прометей, прицеплен к скале и всё-таки алкаю вас видеть и слышать. Или бы приехали, или хоть позвали бы к себе хорошенько. А во-вторых, зажилили брата, и очень хорошего брата, по прозвищу «Фирдуси». Главная тут преступница, я думаю, Мария Петровна, которой очень

кланяюсь и прошу возвратить собственного нашего брата. Без шуток, он велел сказать, что на той неделе будет; Дружинин тоже будет; приезжайте и вы, голубчик дяденька».

После летних занятий по хозяйству мы видим Льва Николаевича и за общественными делами.

Осенью того же 1858 года в Туле происходил с 1-го по 4-е сентября съезд дворян всей губернии для избрания депутатов в тульский губернский комитет улучшения быта крестьян. На этом съезде, на основании устава о дворянских выборах, дозволяющего дворянам представлять свои соображения о местных нуждах и потребностях своей губернии, 105 дворян подали тульскому губернскому предводителю, для передачи на обсуждение губернского комитета, следующее мнение:

«Мы нижеподписавшиеся, в видах улучшения быта крестьян, обеспечения собственности помещиков и безопасности тех и других, полагаем необходимым отпустить крестьян на волю не иначе, как с наделом некоторого количества земли в потомственное владение, — и чтобы помещики за уступаемую ими землю получили бы полное, добросовестное денежное вознаграждение посредством какой-либо финансовой меры, которая не влекла бы за собою ни-

каких обязательных отношений между крестьянами и помещиками, — отношений, которые дворянство предполагает необходимым прекратить».

(Следуют подписи 105 тульских дворян, в числе которых подписался, конечно, и «крапивенский помещик граф Лев Толстой»).

Переходим опять к воспоминаниям Фета:

«Со времени нашего с женою отъезда в Москву, осенью 1858 г., — рассказывает он, — Лев Николаевич Толстой успел, как видно из следующего его письма, присланного мне в Москву из Новосёлок, поохотиться с Борисовым, который и сдал ему на время своего доезжачего Прокофия с лошастью и гончими.

24 октября граф писал мне в Москву:

«Душенька, дяденька, Фётенка! Ей-Богу душенька, и я вас ужасно, ужасно люблю! Вот те и всё! Повести писать глупо, стыдно. Стихи писать... Пожалуй, пишите; но любить хорошего человека очень приятно. А может быть, против моей воли и сознания не я, а сидящая во мне, ещё не назревшая повесть заставляет любить вас. Что-то иногда так кажется. Что ни делай, а между навозом и коростой нет-нет да возьмёшь и сочинишь. Спасибо, что ещё писать себе не позволяю и не позволю. Изо всех сил благодарю вас за хлопоты о ветеринаре и пр. Нашел я тульского и начал лечение. Что будет — не знаю. Да и чёрт с ними со всеми! Дружинин просит по дружбе сочинить повесть. Я, право, хочу сочинить. Таковую сочиню, что уж ничего не будет. Шах персидский курит табак, а я тебя люблю. Вот она шутка-то! Без шуток, что ваш Гафиз? Ведь как ни вертись, а верх мудрости и твёрдости для меня —

это только радоваться чужою поэзиею, а свою собственную не пускать в люди в уродливом наряде, а самому есть с хлебом насущным. А иногда так вдруг захочется быть великим человеком, и так досадно, что до сих пор ещё этого не сделалось. Даже поскорее торопишься вставать или доедать обед, чтобы начинать. Всех так называемых глупостей не переговорить, но приятно хотя одну сказать такому дяденьке, как вы, который живёт только одними так называемыми глупостями, "закурдалами". Пришлите мне одно самое здоровое переведенное вами стихотворение Гафиза *me fair venir l'eau a la bouche* (1), а я вам пришлю образчик пшеницы. Охота надоела — смерть. Погода стоит прелестная, но я один не езжу.

(1) Поднести воду ко рту.

Тётенька очень благодарит за память; и это не фраза, а всякий раз, как я прочту ей вашу приписку, она улыбается, наклонив голову, и скажет: «однако (почему однако?) какой славный человек этот Фет». А я знаю, за что славный — за то, что она думает, что он меня очень любит. Ну-с, прощайте. Пописывайте мне иногда без возбуждителя ветеринара».

В декабре 1858 года (2) со Львом Николаевичем произошёл на охоте случай, едва не стоивший ему жизни. Вот как об этом рассказывает Фет:

(2) В воспоминаниях Фета это происшествие ошибочно отнесено к тем же числам января 1858 года.

«Не помню, при каких обстоятельствах братья Толстые — Николай и Лев — познакомились со Ст. Ст. Громекой; вероятно, это произошло у нас в доме. Все трое очень скоро сблизились между собою, так как оказались страстными охотниками.

15 декабря 1858 года Громека писал:

«Согласно вашей просьбе, спешу уведомить вас, милый Афанасий Афанасьевич, что на этих днях, около 18 или 20 числа, я еду на медведя. Передайте Толстому, что мною куплена медведица с двумя медвежатами (годовыми), и что если ему угодно участвовать в нашей охоте, то благоволит к 18 или 19 числу приехать в Волочек, прямо ко мне, без всяких церемоний, и что я буду ждать его с распростертыми объятиями: для него будет приготовлена комната. Если же он не приедет, то прошу вас уведомить меня к тому же времени.

Я полагаю, что охота состоится именно 19-го числа. Следовательно, всею лучше и даже необходимо приехать 18-го.

Если же Толстой пожелает отложить до 21-го, то уведомьте; дольше ждать невозможно».

Для большей убедительности известный вожак на медвежьих охотах, Осташков, явился в квартиру Толстых. Его появление в среде охотников можно только сравнить с погружением раскалённого железа в воду. Всё забурило и зашумело. Ввиду того, что каждому охотнику на медведя рекомендовалось иметь с собой два ружья, граф Лев Николаевич выпросил у меня мою немецкую двустволку,

предназначенную для дроби. В условленный день наши охотники (Лев Николаевич и Николай Николаевич) отправились на Николаевский вокзал. Добросовестно передам здесь слышанное мною от самого Льва Николаевича и сопровождавших его на медвежьей охоте товарищей.

Когда охотники, каждый с двумя заряженными ружьями, были расставлены вдоль поляны, проходившей по изборождённому в шахматном порядке просеками лесу, то им рекомендовали пошире отоптать вокруг себя глубокий снег, чтобы таким образом получить возможно большую свободу движений. Но Лев Николаевич, становясь на указанном месте чуть не по пояс в снег, объявил отаптывание лишним, так как дело состояло в стрельбе в медведя, а не в ратоборстве с ним. В таком соображении граф ограничился поставить своё заряженное ружьё к стволу дерева, так чтобы, выпустив свои два выстрела, бросить своё ружьё и, протянув руку, схватить моё. Поднятая Осташковым с берлоги громадная медведица не заставила себя долго ждать. Она бросилась к долине, вдоль которой расположены были стрелки, по одной из перпендикулярных к ней продольных просек, выходивших на ближайшего справа ко Л. Н-чу стрелка, вследствие чего граф даже не мог видеть приближения медведицы. Но зверь, быть может, учуяв охотника, на которого всё время шёл, вдруг бросился по поперечной просеке и внезапно очутился в самом недалёком расстоянии на просеке против Толстого, на которого стремительно помчался. Спокойно прицелился Лев Николаевич, спустил курок, но, вероятно, промахнулся, так как в клубе дыма увидал перед собой набегающую массу, по которой выстрелил почти в упор и попал пулею в

зев, где она завязла между зубами. Отпрянуть в сторону граф не мог, так как не отоптаный снег не давал ему простора, а схватить моё ружьё не успел, получивши в грудь сильный толчок, от которого навзничь повалился на снег. Медведица с разбега перескочила через него. “Ну, — подумал граф, — всё кончено. Я дал промах и не успею выстрелить по ней другой раз”. Но в ту же минуту он увидал над головой что-то тёмное. Это была медведица, которая, мгновенно вернувшись назад, старалась прокусить череп ранившему её охотнику. Лежащий навзничь, как связанный, в глубоком снегу Толстой мог оказать только пассивное сопротивление, стараясь по возможности втягивать голову в плечи и подставлять лохматую шапку под зев животного. Быть может, вследствие

таких инстинктивных приёмов, зверь, промахнувшись зубами раза два, успел дать только одну значительную хватку, прорвав верхними зубами щёку под левым глазом и сорвав нижними всю левую половину кожи со лба. В эту минуту случившийся поблизости Осташков, с небольшой, как всегда, хворостиной в руке, подбежал к медведице и, расставив руки, закричал своё обычное: “куда ты? куда ты?” — Услыхав это восклицание, медведица бросилась прочь со всех ног, и её, как помнится, вновь обошли и добили на другой день.

Первым словом поднявшегося на ноги Толстого, с отвисшею на лицо кожей со лба, которую тут же

перевязали платками, — было: "что-то скажет Фет?" Этим словом я горжусь и поныне» (1).

(1) «Мои воспоминания» А. Фета, ч. I, с. 226.

Сам Лев Николаевич, оправившись, спешит уведомить тётку о случившемся и в письме от 25 декабря так рассказывает про этот случай:

«Во-первых, поздравляю вас, во-вторых, я боюсь, что до вас дойдёт как-нибудь с прибавлениями моё приключение, и потому сам спешу известить вас о нём.

Мы были с Николенькой на медвежьей охоте, 21-го я убил медведя, 22-го мы снова пошли, и со мной случилось нечто самое необыкновенное. Медведь, не видя меня, бросился на меня; я выстрелил в него с 6-ти шагов, первый раз промахнулся, со второго выстрела в 2-х шагах я его смертельно ранил, но он бросился на меня, повалил на землю, и пока ко мне бежали, он укусил меня 2 раза в лоб над и под глазом. По счастью, это продолжалось не более 10 или 15 секунд; медведь убежал, и я поднялся с небольшой раной, которая не уродует меня и не причиняет мне страданий. Ни кость черепа, ни глаз не повреждены, — так что я отделался небольшим шрамом, который останется на лбу. Теперь я в Москве и чувствую себя совсем хорошо. Я пишу вам чистую правду, ничего не скрывая, чтобы вы не беспокоились. Теперь всё прошло, и остаётся только благодарить Бога, который меня спас столь необычайным образом».

Этот эпизод послужил Льву Николаевичу темой для его рассказа «Охота пуще неволи», помещённого в «книжках для чтения». В этом рассказе много художественных подробностей, пропущенных Фетом, но так как в

художественной обработке очень трудно отличить фактическую сторону рассказа от добавлений художественной фантазии, мы предпочли этому рассказу воспоминания друга Льва Николаевича и его собственное письмо, как более соответствующие нашей цели.

Первые месяцы 1859 года Лев Николаевич проводит в Москве, а в апреле едет в Петербург, где проводит 10 дней в обществе своего друга, А. А. Толстой. Об этой поездке у него сохранились самые лучшие воспоминания. В конце апреля он снова в Ясной Поляне, где остаётся всё лето. Летом Лев Николаевич навестил Тургенева в его Спасском.

В своём стихотворении, посланном Фету от 16-го июля 1859 года, Тургенев пишет следующее:

Толстого Николая поцелуйте
И Льву Толстому поклонитесь, также
Сестре его. Он прав в своей приписке:
Мне "не за что" к нему писать. Я знаю,
Меня он любит мало, и его
Люблю я мало — слишком в нас различны

Стихии; но дорог на свете много:
Друг другу мы мешать не захотим (1).

(1) «Мои воспоминания» А. Фета, ч. I, с. 305.

Эти строки показывают, что отношения между ними продолжались взаимно уважительные, но дружелюбно-холодные.

Тем не менее это свидание прошло благополучно. 9-го октября того же года в письме к Фету Тургенев так отзывается об этом свидании:

«Дамы наши очень кланяются вам всем. С Толстым мы беседовали мирно и расстались дружелюбно. Кажется, недоразумений между нами быть не может, потому что мы друг друга понимаем ясно и понимаем, что тесно сойтись нам невозможно. Мы из разной глины слеплены».

В августе Лев Николаевич снова в Москве, где проводит осень.

1860 год он встречает уже в душевной тревоге:

«Тягота хозяйства, тягота одинокой жизни, всевозможные сомнения и пессимистические чувства обуревают душу».

Хотя зимой 59–60 года он ещё находит отдохновение и умиление в школах. В «Исповеди» он так говорит об этом времени:

«Вернувшись из-за границы, я поселился в деревне и попал на занятие крестьянскими школами. Занятие это было мне особенно по сердцу, потому что в нём не было той, ставшей для меня очевидной, лжи, которая уже резала мне глаза в деятельности литературного учительства. Здесь я тоже действовал во имя прогресса, но я уже относился критически к самому прогрессу. Я говорил себе, что прогресс в некоторых явлениях своих совершался неправильно, и что вот надо отнестись к первобытным людям, крестьянским детям, совершенно свободно, предлагая им избрать тот путь прогресса, который они захотят. В сущности же, я вертелся всё около одной и той же неразрешимой задачи, состоящей в том, чтобы учить, не зная чему. В высших сферах литературной деятельности я понял, что нельзя учить, не зная чему,

потому что я видел, что все учат различному и, споря между собой, скрывают только сами от себя своё незнание; здесь же, с крестьянскими детьми, я думал, что можно обойти эту трудность тем, чтобы предоставить детям учиться, чему они хотят. Теперь мне смешно вспомнить, как я вилял, чтобы исполнить свою похоть — учить, хотя очень хорошо знал в глубине души, что я не могу учить ничему такому, что нужно, потому что сам не знаю, что нужно».

Это постоянное чувство неудовлетворения собой, это искание смысла жизни было непрестанно действующей силой, неудержимо влекущей его вперёд на пути его нравственного прогресса.

В феврале 1859 года Лев Николаевич был избран членом Московского общества любителей российской словесности.

4-го февраля 1859 года состоялось заседание этого общества под председательством А. С. Хомякова.

На этом заседании в числе вновь избранных членов присутствовал и Лев Николаевич Толстой и, по обычаю этого общества, произнес вступительную речь, в которой, как говорится в протоколе общества, «коснулся вопроса о преимуществе художественного элемента в литературе над всеми её временными направлениями». К сожалению, эта речь не дошла до нас. В протоколах общества значится, что сначала было определено напечатать эту речь в трудах общества, но потом, так как издание этих трудов не состоялось, было

решено возвратить её автору (1), у которого она, вероятно, и осталась в архиве 50-х годов.

(1) Моск. общ. люб. росс. слов. Сборник протоколов. Редкий экз., хранящийся в Британском музее.

Некоторое представление об этой речи мы можем себе сделать по прекрасной ответной речи А. С. Хомякова, которую и приводим здесь целиком:

«Общество любителей российской словесности, включив вас, граф Лев Николаевич, в число своих действительных членов, с радостью приветствует вас как деятеля чисто художественной литературы. Это чисто художественное направление защищаете вы в своей речи, ставя его высоко над всеми другими временными и случайными направлениями словесной деятельности. Странно было бы, если бы общество вам не сочувствовало в том; но позвольте мне сказать, что правота вашего мнения, вами столь искусно изложенная, далеко не устраняет прав временного и случайного в области слова. То, что всегда справедливо, то, что всегда прекрасно, то, что неизменно, как самые коренные законы души, — то, без сомнения, занимает и должно занимать первое место в мыслях, побуждениях и, следовательно, в речи человека. Оно, и оно одно, передается поколением поколению, народом народу как дорогое наследие, всегда множимое и никогда не забываемое. Но, с другой стороны, есть, как я имел уже честь сказать, постоянное требование самообличения в природе человека и в природе общества; есть минуты, и минуты важные в истории, когда это самообличение получает особенные, неопровержимые права и выступает

в общественном слове с большою определённою и с большою резкостью. Случайное и временное в историческом ходе народной жизни получает значение всеобщего, всечеловеческого уже и потому, что все поколения, все народы могут понимать и понимают болезненные стоны и болезненную исповедь одного какого-нибудь поколения или народа. Права словесности — служительницы вечной красоты — не уничтожают прав словесности обличительной, всегда сопровождающей общественное несовершенство, а иногда являющейся целительницей общественных язв. Есть бесконечная красота в невозмутимой правде и гармонии души; но есть истинная, высокая красота и в покаянии, восстанавлиющем правду и стремящем человека или общество к нравственному совершенству. Позвольте мне прибавить, что я не могу разделять мнения, как мне кажется, одностороннего, германской эстетики. Конечно, художество вполне свободно: в самом себе оно находит оправдание и цель. Но свобода художества, отвлеченно понятого, нисколько не относится к внутренней жизни самого художника. Художник не теория, не область мысли и мысленной деятельности: он человек, всегда человек своего времени, обыкновенно лучший его представитель, весь проникнутый его духом и его определившимися или зарождающимися стремлениями. По самой впечатлительности своей организации, без которой он не мог бы быть художником, он принимает в себя, и более других людей, все болезненные, так же как и радостные, ощущения общества, в котором он родился. Посвящая себя всегда истинному и прекрасному, он невольно, словом, складом мысли и воображения, отражает современное в его смеси правды, радующей душу чистую, и лжи,

возмущающей её гармоническое спокойствие. Так сливаются две области, два отдела литературы, о которых мы говорили; так писатель, служитель чистого художества, делается иногда обличителем, даже без сознания, без собственной воли и иногда против воли.

Вас самих, граф, позволю я привести в пример. Вы идёте верно и неуклонно по сознанному и определённом пути; но неужели вы вполне чужды тому направлению, которое назвали обличительной словесностью? Неужели хоть в картине чахоточного ямщика, умирающего на печке в толпе товарищей, по-видимому, равнодушных к его страданиям, вы не обличили какой-нибудь общественной болезни, какого-нибудь порока? Описывая эту смерть, неужели вы не страдали от этой мозолистой бесчувственности добрых, но не пробужденных душ человеческих? Да, — и вы были, и вы будете невольно обличителем. Идите с Богом по тому прекрасному пути, который вы избрали. Идите с тем же успехом, которым вы увенчались до сих пор, или ещё с большим, ибо ваш дар не есть дар преходящий и скоро исчерпываемый; но верьте, что в словесности вечное и художественное постоянно принимает в себя временное и преходящее, превращая и облагораживая его, и что все разнообразные отрасли человеческого слова беспрестанно сливаются в одно гармоническое целое» (1).

(1) «Русский архив» 1896 года, II, с. 401. Статья В. П. Ляковского «А. С. Хомяков, его биография и учение».

Пророчество Хомякова сбылось; не говоря уже об обличительном элементе во всех произведениях первого периода, через 20 лет Лев Николаевич выступил сам с покаянием и затем с обличением современного зла. И посвятил этому делу свои могучие художественные и нравственные силы.

ГЛАВА 12.

Второе заграничное путешествие. Смерть брата

В феврале 1860 года Фет обратился к Толстому письменно, прося совета по поводу задуманного им намерения купить имение и заняться хозяйством. Лев Николаевич отвечал ему вполне сочувственно, одобряя намерение, обещая содействие и указывая на разные продающиеся земли, и после этой практической части письма, не имеющей, по нашему мнению, общего интереса, он высказывает следующие значительные мысли по поводу произведений Тургенева и Островского:

«Прочёл я "Накануне". Вот моё мнение: писать повести вообще напрасно, а ещё более таким людям, которым грустно и которые не знают хорошенько, чего они хотят от жизни. Впрочем, "Накануне" много лучше "Дворянского гнезда", и есть в нём отрицательные лица превосходные: художник и отец. Другие же не только не типы, но даже замысел их, положение их не типическое, или уж они совсем пошлы. Впрочем, это всегдашняя ошибка

Тургенева. Девушка из рук вон плоха: «Ах, как я тебя люблю»... у неё ресницы были длинные... Вообще меня всегда удивляет в Тургеневе, как он со своим умом и поэтическим чутьём не умеет удержаться от банальности даже до приёмов. Больше всего этой банальности в отрицательных приёмах, напоминающих Гоголя. Нет человечности и участия к лицам, а представляются уроды, которых он бранит, а не жалеет. Это как-то больно жюрирует с тоном и смыслом либерализма всего остального. Это хорошо было при царе Горохе и при Гоголе (да ещё надо сказать, что ежели не жалеть своих самых ничтожных лиц,

надо их уж ругать так, чтобы небу жарко было, или смеяться над ними так, чтобы животики подвело), а не так, как одержимый хандрой и диспепсией Тургенев. Вообще же сказать, никому не написать теперь такой повести, несмотря на то, что она успеха иметь не будет.

"Гроза" Островского есть, по-моему, плачевное сочинение, а будет иметь успех. Не Островский и не Тургенев виноваты, а время: теперь долго не родится тот человек, который бы сделал в поэтическом мире то, что сделал Булгарин. А любителям антиков, к которым и я принадлежу, никто не мешает читать серьёзно стихи и повести и серьёзно толковать о них. Другое теперь нужно. Не нам нужно учиться, а нам нужно Марфутку и Тараску выучить хотя немножко тому, что мы знаем. Прощайте, любезный друг».

Лев Николаевич, действительно, решил, что человек, одаренный разумом и обогащенный знаниями, обязан, прежде чем наслаждаться ими, делиться с теми, у кого их нет, и потому он посвящает часы, свободные от хозяйства, школе. В этих занятиях проходит зима 59–60 года. В то же время за чтением серьёзных книг ему приходят такие мысли:

«1-го февраля. Читал "La Degenerescence de l'espris humain" (1) и о том, как есть физическая высшая степень развития ума. Я в этой степени машинально вспоминал молитву. Молиться кому? Что такое Бог, представляемый себе так ясно, что можно просить его, общаться с ним? Ежели я и представляю себе такого, то он теряет для меня всякое величие.

(1) «Вырождение человеческого духа».

Бог, которого можно просить и которому можно служить, — есть выражение слабости ума. Тем-то он Бог, что всё Его существо я не могу представить себе. Да Он и не существо: Он закон и сила.

Пусть останется эта страничка памятником моего убеждения в силе ума».

Затем он читает рассказы Ауэрбаха и «Рейнеке-Лис» Гёте и, наконец, около того же времени он записывает такую мысль:

«Странная религия моя и религия нашего времени, религия прогресса. Это сказали одному человеку, что прогресс хорошо. Это только отсутствие верования и потребность сознанной деятельности, облечённая в верование. Человеку нужен порыв — Schwung — да».

Эта мысль получила своё полное развитие в педагогических сочинениях, как мы увидим ниже, а также в самоанализе «Исповеди», в приведённой выше заметке. Друзья Толстого с напряженным вниманием следили за его литературной деятельностью, относясь снисходительно и полушутливо к "дури и чудачеству", как они называли, большей частью не понимая этих проявлений глубокой внутренней работы Льва Николаевича.

Так, Боткин писал, между прочим, Фету 6-го марта 1860 года:

«Из письма Тургенева я с радостью узнал, что Лев Толстой опять принялся за свой кавказский роман. Как бы он ни дурил, а я всё-таки скажу, что этот человек с великим талантом, и для меня всякая дурь его имеет больше достоинства, чем благоразумнейшие поступки других».

Так же относился к нему Тургенев. Вот отрывок из его письма к Фету того же года:

«А Лев Толстой продолжает чудить. Видно, так уже написано ему на роду. Когда он перекувыркнётся в последний раз и встанет на ноги?»

Весной 1860 года супруги Феты, по обыкновению, по пути переезда из города в деревню заехали в Ясную Поляну.

Фет делает следующую краткую заметку об этом пребывании в Ясной Поляне:

«Конечно, мы не отказали себе в удовольствии заехать на два дня в Ясную Поляну, где к довершению радости

застали дорогого Н. Н. Толстого, заслужившего самобытною восточною мудростью прозвание Фирдуси. Сколько самых отрадных планов нашего пребывания в яснополянском флигеле со всеми подробностями возникали между нами в эти два дня! Никому из нас не приходила в голову полная несостоятельность этих планов».

Далее Фет рассказывает о приезде к ним Николая Николаевича Толстого.

«Однажды приехавший к нам в половине мая Ник. Ник. Толстой объявил, что сестра его, графиня М. Н. Толстая, вместе с братьями убедили его ехать за границу от несносных приливов кашля. Исхудал он, бедный, к этому времени очень, невзирая на обычную свою худобу; и по временам сквозь добродушный смех прорывалась свойственная чахоточным раздражительность. Помню, как он рассердился, отдернув руку от руки приехавшего за ним кучера, ловившего её для лобзания. Правда, он и тут ничего не сказал в лицо своему крепостному; но когда он ушёл к лошадям, он с раздражением в голосе стал жаловаться мне и Борису: "С чего вдруг этот скот выдумал целовать руку? Отроду этого не было"».

Так как в дальнейшем рассказе придётся говорить об отношении Льва Николаевича к своему брату во время жизни и при смерти его, то мы считаем нелишним привести характеристику этого замечательного человека, сделанную Фетом.

«Граф Н. Н. Толстой, бывавший у нас чуть не каждый вечер, приносил с собой нравственный интерес и оживление, которое трудно передать в немногих словах. В то время он ходил ещё в своём артиллерийском сюртуке, и

стоило взглянуть на его худые руки, большие умные глаза и ввалившиеся щёки, чтобы убедиться, что неумолимая чахотка беспощадно вцепилась в грудь этого добродушно-насмешливого человека. К сожалению, этот замечательный человек, про которого мало сказать, что все знакомые его любили, а следует сказать — обожали, приобрёл на Кавказе столь обычную в то время между тамошними военными привычку к горячим напиткам. Хотя впоследствии я коротко знал Николая Толстого и бывал с ним в отъезде в поле на охоте, где, конечно, ему сподручнее было выпить, чем на каком-либо вечере, тем не менее, в течение трёхлетнего знакомства, я ни разу не замечал в Николае Толстом даже тени опьянения. Сядет он, бывало, в кресло, придвинутое к столу, и понемножку прихлебывает чай, приправленный коньяком. Будучи от природы крайне скромн, он нуждался в расспросах со стороны слушателя. Но наведённый на какую-либо тему, он вносил в неё всю тонкость и забавность своего добродушного юмора. Он, видимо, обожал младшего своего брата Льва. Но надо было слышать, с какой иронией он отзывался о его великосветских похождениях. Он так ясно умел отличать действительную сущность жизни от её эфемерной оболочки, что с одинаковой иронией смотрел и на высший, и на низший слой кавказской жизни. И знаменитый охотник, старовер, дядюшка Епишка (в «Казаках» гр. А. Толстого — Ерошка), очевидно, подмечен и выщупан до окончательной художественности Николаем Толстым».

Н. Н. мало писал; до нас дошли только его «Записки охотника», напечатанные в «Современнике».

Евг. Гаршин в своих воспоминаниях о Тургеневе приводит такое мнение Ивана Сергеевича о Н. Н. Толстом:

«То смирение перед жизнью, — говорил нам Иван Сергеевич, — которое Лев Толстой развивал теоретически, брат его применил непосредственно к своему существованию. Он жил всегда в самой невозможной квартире, чуть не в лачуге, где-нибудь в отдалённом квартале Москвы, и охотно делился всем с последним бедняком. Это был восхитительный собеседник и рассказчик, но писать было для него почти физически невозможно. Его затруднял самый процесс письма, как затрудняет простого человека, у которого всегда натружены руки и перо плохо держится в пальцах» (1).

(1) «Исторический вестник». Ноябрь 1883 г. Евг. Гаршин. «Воспоминания о И. С. Тургеневе».

Поездка за границу Николая Николаевича действительно состоялась, к общей, хотя и недолгой радости его друзей. Он выехал за границу через Петербург с братом Сергеем. Тургенев, любивший его, сильно беспокоился о его здоровье и писал Фету так от 1 июня 1860 года из Содена:

«То, что вы мне сообщили о болезни Николая Толстого, глубоко меня огорчило. Неужели этот драгоценный, милый человек должен погибнуть, и как можно было запустить так болезнь? Неужели он не решился победить свою лень и поехать за границу полечиться? Ездил он на Кавказ в тарантасах и чёрт знает в чем. Что бы ему приехать в Соден! Здесь на каждом шагу встречаешь больных грудью:

соденские воды едва ли не лучшие для таких болезней. Я вам все это говорю за две тысячи верст, как будто слова мои могут чем-нибудь помочь... Если Толстой уже не уехал, то он не уедет... Вот как нас всех ломает судьба!» (2)

(2) «Мои воспоминания» А. Фета. Ч. I, с. 328.

То же самое он повторяет в *postscriptum* того же письма:

«Если Николай Толстой не уехал, бросьтесь ему в ноги, а потом гоните его в шею за границу. Здесь, например, такой мягкий воздух, какого в России никогда и нигде не бывает».

Конечно, и Лев Николаевич был сильно встревожен болезнью брата. К этому времени относится следующее письмо его к Фету, в котором, кроме заботы о брате, он выражает ещё очень интересные сельскохозяйственные соображения:

«Не только не обрадовался и не возгордился вашим письмом, любезный друг Аф. Аф., но ежели бы поверил ему совсем, то очень бы огорчился. Это без фразы. Писатель вы — писатель и есть, и дай Бог и вам, и нам. Но что вы сверх того хотите найти место и на нём копать, как муравей, эта мысль не только должна была прийти к вам, но вы и должны осуществить её лучше, чем я. Должны вы это сделать, потому что вы и хороший, и здраво смотрящий на жизнь человек. Впрочем, не мне и теперь докторальным тоном одобрять или не одобрять вас: я в большом разладе сам с собою. Хозяйство в том размере, в каком оно ведется у меня, давит меня; юфанство где-то вдали виднеется только мне; семейные

дела, болезнь Николеньки, от которого из-за границы нет ещё известий, и отъезд сестры (она уезжает от меня через три дня) — с другой стороны давят и требуют меня. Холостая жизнь, т. е. отсутствие жены, и мысль, что уж становится поздно, — с третьей стороны мучает. Вообще всё мне не складно теперь. По причине беспомощности сестры и желания видеть Николая я завтра на всякий случай беру паспорт за границу и, может быть, поеду с ними; особенно ежели не получу или получу дурные вести от Николая. Как бы я дорого дал, чтобы видеть вас перед отъездом, сколько бы хотелось вам сказать и от вас узнать; но теперь это едва ли воз-

можно. Однако, ежели бы это письмо пришло рано, то знаете, что мы поедem из Ясной в четверг, а скорее в пятницу. — Теперь о хозяйстве: цена, которую с вас просят, недорого, а ежели место вам по душе, то надо купить. Одно, зачем так много земли? Я трёхлетним опытом дошёл, что со всевозможною деятельностью невозможно вести хлебопашество успешно и приятно более чем на 60-ти, 70-ти десятинах, т. е. десятинах по 10-ти, 15-ти в поле (в 4). Только при этих условиях можно не дрожать за всякий огрех, потому что вспашешь не два, а три и четыре раза, за всякий пропущенный работником час, за лишний рубль в месяц работнику, потому что можно довести 15 десятин до того, чтобы они давали 30-40% с капитала основного и оборотного, а 80-100 десятин — нельзя. Пожалуйста, не пропустите этого совета мимо ушей, это не "так себе болтовня", а вывод, до которого я

дошёл "боками". Кто вам скажет противное, тот или лжёт, или не знает. Мало того, и с 15 десятинами нужна деятельность, поглощающая всего. Но тогда может быть награда, одна из самых приятных в жизни, а с 90 десятинами есть труд почтовой лошади и не может быть успеха. Не нахожу слов обругать себя, что я раньше не написал вам, тогда бы вы верно приехали.

Теперь прощайте. Передайте душевный поклон Марье Петровне и Борису» (1).

(1) «Мои воспоминания» А. Фета. С. 329.

В это время в литературной деятельности Льва Николаевича и его друга Фета, слабо, но последовательно отражавшего в себе процесс внутренней жизни Толстого, происходит затишье.

И вот Дружинин пишет Толстому и Фету убедительные письма, ободряя их на литературную работу. Особенно интересно его письмо к Толстому:

«Тороплюсь отвечать на письмо ваше, любезный друг Лев Николаевич, и как вы, вероятно, догадываетесь, по поводу того, что вы пишете о вашем отношении к литературе. На всякого писателя набегают минуты сомнения и недовольства собою, и, как ни сильно и ни законно это чувство, никто ещё из-за него не прекращал своей связи с литературой, а всякий писал до конца. Но у вас все стремления, добрые и недобрые, держатся с особенным упорством, потому вам нужнее, чем кому другому, подумать о том и дружески обсудить всё дело.

Прежде всего вспомните то, что после поэзии и труда мысли все труды кажутся дрянью, *Qui a bu, boira* (2), и в

30 лет оторваться от деятельности писателя значит лишить себя половины всех интересов в жизни. Но это лишь одна трудность дела, есть кое-что ещё важнее.

(2) Кто пил, тот будет пить.

На всех нас лежит ответственность, корень которой в теперешнем огромном значении литературы посреди русского общества. Англичанин или американец может расхохотаться тому, что в России не только 30-летние люди, но седовласые помещики 2000 душ потеют над повестью в 100 страниц, которая появилась в журнале, пожирается всеми и возбуждает на целый день толки в обществе. Каким художеством ни объясняй этого дела, его не объяснишь художеством. То, что в других землях дело празднословия, беззаботного дилетантизма, — у нас выходит совсем другим. У нас дела сложились так, что повесть — эта потеха и мельчайший род словесности — выходит чем-нибудь из двух: или дрянью, или голосом передового человека в целом царстве. Мы, например, все знаем слабость Тургенева, но между самой его дрянной

повестью и самыми лучшими романами госпожи Евгении Тур, с её полуталантом, — целый океан. Публика русская по какому-то странному чутью выбрала себе из толпы писателей четверых или пятерых глашатаев и ценит их как передовых людей, не желая знать никаких соображений и выводов. Вы частью по талантам, частью

по светским качествам вашего духа, а частью просто по стечению счастливых обстоятельств стали в такое благоприятное отношение к публике. Стало быть, тут уходить и прятаться нельзя, а надо работать, хотя бы до истощения сил и средств. Это одна сторона дела, а вот другая. Вы член литературного круга, по возможности честного, независимого и влиятельного, который десять лет при гонениях и невзгодах (и несмотря на свои собственные пороки) твёрдо держит знамя всего, что либерально и просвещённо, и выносит весь этот гнёт похабства житейского, не сделавши ни одной подлости. При всей холодности света и необразованности и смотрении свысока на литературу, этот круг награжден почетом и нравственной силой. Слова нет, что в нём есть людишки пустые и даже глуповатые, в общей связи и они что-нибудь значат, и они не были бесполезны. В этом круге вы опять-таки, несмотря на то, что пришли недавно, имеете место и голос, каких, например, не имеет Островский, огромно-талантливый и в нравственном отношении столько же почтенный, как и вы. Отчего это случилось, было бы слишком долго разбирать, да и не в том дело. Оторвавшись от круга литературного и предавшись бездеятельности, вы соскучитесь и лишите себя важной роли в обществе. На этом месте прекращаю мою диссертацию по неимению места в письме, — если эти мысли вас займут собой, то вы сами их разовьёте и пополните».

С тем же дружеским советом он обращается и к Фету:

«Добрый и многоуважаемый Афан. Афан. Насчёт вашего намерения не писать и не печатать более — скажу вам то же, что Толстому: пока не напишете что-нибудь хорошего,

исполняйте ваше намерение, а когда напишется, то сами вы и без чужого побуждения измените этому намерению.

Держать хорошие стихи и хорошую книгу под спудом — невозможно, хотя бы вы давали тысячу клятв, а потому лучше и не собирайтесь. Эти два или три года и Толстой, и вы находитесь в непоэтическом настроении, и оба хорошо делаете, что воздерживаетесь; но чуть душа зашевелится и создастся что-нибудь хорошее, оба вы позабудете воздержание. Итак, не связывайте себя обещаниями, тем более, что их от вас обоих никто не требует. В решительности вашей и Толстого, если я не ошибаюсь, нехорошо только то, что она создалась под влиянием какого-то раздражения на литературу и публику. Но если писателю обижаться на всякое проявление холодности или бранную статью, то некому будет и писать, разве кроме Тургенева, который как-то умеет быть всеобщим другом. К сердцу принимать литературные дразги, по-моему, то же, что, езда верхом, сердиться на то, что ваша лошадь невежничает, в то время, когда вы, может быть, сидя на ней, находитесь в поэтическом настроении мыслей. Про себя могу сказать вам, что я бывал обругиваем и оскорбляем, как лучше требовать нельзя, однако же не лишался от того и частички аппетита, а, напротив, находил особенное наслаждение в том, чтобы сидеть крепко и двигаться вперёд, и, конечно, не брошу писать до тех пор, пока не скажу всего, что считаю нужным высказать» (1).

(1) «Мои воспоминания» А. Фета, с. 332.

Конечно, Дружинин неправильно приписывал причину этого молчания раздражению на публику. Если такое раздражение и было, то оно исходило из одного и того же источника, как и решимость не писать, из сознания того, что ни писатели, ни читатели не имели прочной духовной основы и связи для взаимного понимания.

Писатели не знали, что писать, а читатели — в лице критиков — не знали, чего требовать от писателей. Так продолжалось до того времени, пока какое-нибудь крупное явление жизни или истории не поражало ума и чувства писателя и не вызывало их к деятельности.

Возвратимся к болезни Н. Н. Толстого.

По дороге за границу он писал, между прочим, Фету из Петербурга:

«Любезные друзья, Афанасий Афанасьевич и Иван Петрович, исполняю обещание моё даже раньше, чем обещал; я хотел писать из-за границы, а пишу из Петербурга. Мы уезжаем в субботу, т. е. завтра. Я советовался с Здекауэром; он — петербургский доктор, а вовсе не берлинский, как мне показалось, читая письмо Тургенева. Воды, на которых Тургенев теперь находится, Соден, — нас туда же посылают. Следовательно, мой адрес тоже на Франкфурт-на-Майне, *poste-restante*».

Вслед за этим Фет получил от него второе письмо уже из Содена:

«Не дождавшись от вас послания, пишу к вам, чтобы вас уведомить, что я благополучно приехал в Соден; впрочем, при моём приезде из пушек не стреляли. В Содене мы застали Тургенева, который жив, здоров, и здоров так, что сам признаётся, что он «совершенно»

здоров. Нашел какую-то немочку и восхищается ею. Мы (это относится к милейшему Ивану Сергеевичу) поигрываем в шахматы, но как-то нейдет; он думает о своей немочке, а я о своём выздоровлении. Если я нынешней осенью пожертвовал, то к будущей осени я должен быть молодцом. Соден прекрасное место; нет ещё недели, как я приехал, а я чувствую себя уже очень и очень лучше. Живём мы с братом на квартире, три комнаты, двадцать гульденов в неделю, *table d'hote* — гульден, вино запрещено, поэтому вы можете видеть, какое скромное место Соден, а мне он нравится. Против окон моих стоит очень неказистое дерево, но на нём живёт птичка и поёт себе каждый вечер; она мне напоминает флигель в Новосёлках.

Засвидетельствуйте моё почтение Марии Петровне и будьте здоровы, друзья мои, да пишите почаще. Я в Содене, кажется, надолго, недель на шесть по крайней мере. Путешествия не описывал, потому что всё время был болен. Ещё раз прощайте».

28-го июня 1860 года Л. Н. пишет уже из Москвы Фету, что решил ехать за границу с сестрой, и просит его сделать некоторые хозяйственные распоряжения о лошадях в связи со своим отъездом.

3-го июля Лев Николаевич с сестрой Марией Николаевной и с её детьми отправился на пароходе из Петербурга в Штеттин и Берлин.

Болезнь брата была только поводом, ускорившим выезд Льва Николаевича за границу. К этой поездке он был готов давно. Целью её было ознакомление с тем, что сделано в Европе по народному образованию.

«После года, проведенного в занятиях школой, — говорит Лев Николаевич в своей "Исповеди", — я в другой

раз поехал за границу, чтобы там узнать, как бы это так сделать, чтобы, самому ничего не зная, уметь учить других» (1).

(1) «Исповедь». Изд. Чертова, с. 12.

Но такую строгую оценку цели своей поездки Лев Николаевич мог сделать только через 20 лет, тогда же он отдался со всей страстностью своего темперамента этому изучению.

И болезнь, а потом смерть брата не прекращает этого изучения, а только делит всю поездку на две половины.

Из Штеттина Лев Николаевич приехал с сестрой в Берлин, оттуда сестра его продолжает свой путь к брату в Соден, а Лев Николаевич остался в Берлине на несколько дней (1).

(1) Интересные подробности этого второго заграничного путешествия мы заимствуем из книги Р. Лёвенфельда «Граф Л. Н. Толстой, его жизнь и сочинения», где это путешествие описано весьма подробно, исправляя некоторые неточности по частым письмам Льва Николаевича к его родным.

Он посетил университет, где присутствовал на лекциях профессора истории Дройзена и на лекциях физики и физиологии Дюбуа-Реймона. Кроме того, Лев Николаевич посетил вечерние курсы в собрании ремесленников, Handswerkverein, где чрезвычайно заинтересовался

популярными лекциями одного выдающегося профессора и особенно "вопросным ящиком". Этот способ народного образования был ещё неизвестен Толстому и порастил его живостью и свободой обмена мыслей между представителем науки и народом. К сожалению, с тех пор прошло более сорока лет, а Россия до сих пор не дожидается до этого простого способа народного образования.

Затем Лев Николаевич посетил в Берлине Моабитскую тюрьму, где была недавно введена новая усовершенствованная наукой система пытки, известная под названием одиночного заключения; конечно, это изобретение не оставило во Льве Николаевиче благоприятного впечатления. 14-го июля он покидает Берлин.

Останавливается на один день в Лейпциге для осмотра школ, и 16-го июля, проехав поразившую его своей красотой так называемую Саксонскую Швейцарию, он приезжает в Дрезден, где видится с известным писателем-народником Бертольдом Ауэрбахом.

Американский писатель Скайлер, в своих воспоминаниях о Толстом, так передает рассказ Л. Н-ча об этом свидании, дополняя его потом собранными сведениями:

«Помогая Толстому приводить в порядок его библиотеку, я помню, — говорит Скайлер, — что собранию сочинений Ауэрбаха было дано первое место на первой полке, и, вынув два тома "Ein neues Leben" (2), Толстой сказал мне, чтобы я прочёл их, когда лягу спать, как весьма замечательную книгу, и прибавил:

(2) «Новая жизнь».

— Этому писателю я был обязан, что открыл школу для моих крестьян и заинтересовался народным образованием. Когда я во второй раз вернулся в Европу, я посетил Ауэрбаха, не называя себя. Когда он вошёл в комнату, я сказал только: "я — Евгений Бауман" (3), и когда он показал смущение, я поспешил прибавить: "не действительно по имени, но по характеру". И тогда я сказал ему, кто я, как сочинения его заставили меня думать, и как хорошо они на меня подействовали».

(3) Герой повести Ауэрбаха.

Случай привел меня, — продолжает Скайлер, — следующей зимой провести несколько дней в Берлине, где в гостеприимном доме американского посланника Банкрофта я имел удовольствие встретить Ауэрбаха, с которым во

время моего пребывания там я хорошо познакомился; в разговоре о России мы говорили и о Толстом, и я напомнил ему об этом случае.

— Да, — сказал он, — я всегда вспоминаю, как я испугался, когда этот странно глядящий господин сказал мне, что он — Евгений Бауман, потому что я боялся, что он будет грозить мне за пасквиль или диффамацию» (1).

(1) «Л. Н. Толстой». Воспоминания Евг. Скайлера. «Русская старина», октябрь 1890, с. 261.

Осмотр саксонских школ не удовлетворил Льва Николаевича.

В его путевых заметках мы находим следующую краткую характеристику этих школ:

«Был в школе. Ужасно. Молитва за короля, побои, всё наизусть, напуганные, изуродованные дети».

19-го июля он поехал дальше и прибыл в Киссинген, приблизившись таким образом к брату. По дороге он читает историю педагогики.

Оттуда Лев Николаевич писал своей тётке 5 августа 1860 года:

«Не писал я вам так долго, chere tante, потому что хотелось сообщить вам известия не об одном себе, но и о всех наших. Но вот уже 10 дней напрасно жду от них писем. Мы с Машенькой доехали благополучно до Берлина. Покачало и порвало нас только один день.

В Берлине мы с Машей и Варенькой были у знаменитого доктора Траубе. Он здоровье Маши нашёл хорошим и послал её только для руки в Соден. Вареньке велел морские купанья и тоже нашёл, что её сердце и легкие невредимы. Мне посоветовал Киссинген, где я нахожусь. В Берлине у меня сделалась страшная зубная боль, так что Маша, пробыв 4 дня, поехала в Соден, а я остался. В Берлине мы имели письмо от братьев, в котором Николай пишет, что ему Соден, кажется, помог. Вот всё, что я о них знаю. В Берлине я пробыл дней 10 очень приятно и полезно для себя. Зубная боль промучила меня 4 дня. Киссинген, как можно судить по 9 дням, кажется, мне очень поможет от моих мигреней и геморроидальных припадков. Здесь я нашёл Ауэрбаха (1) со страшными глазами, которому я очень рад, и его пискливую жену,

которой я не рад. Адрес мой: En Bavarie Kissingen. Надеюсь, что вы напишете мне. Прощайте, целую ваши ручки. Старосте велите мне наиподробнее́м образом написать о работах, уборке и о лошадях и болезнях. Учителю велите написать о школе, сколько учеников ходят и хорошо ли учатся. Я вернусь осенью непременно и более, чем когда-либо, займусь школой, поэтому желал бы, чтобы без меня не пропала репутация школы, и чтоб побольше с разных сторон было школьников».

(2) Сосед, тульский помещик, однофамилец писателя.

В Киссингене он продолжает много читать: по естествознанию читает Бэкона, по религии Лютера, из политической области Рилля. Вероятно, в это время он читал и Герцена, так как о нём есть краткая заметка в его дневнике: «Герцен — разметавшийся ум, большое самолюбие, но ширина, ловкость и доброта, изящество — русские».

В Киссингене Толстой познакомился с немецким социологом Юлием Фребелем, автором «Системы социальной политики» и племянником педагога Фребеля, учредителя детских садов.

По рассказам Фребеля, Толстой удивлял его резкостью своих воззрений, бывших совершенно новыми для немецкого учёного и поразивших его несоответствием с его «системой».

«Прогресс в России, — говорил Толстой, — должен исходить из народного образования, которое даст у нас лучшие результаты, чем в Германии, потому что русский народ ещё не испорчен; тогда как немцы походят на ребёнка, который в течение нескольких лет подвергался неправильному воспитанию».

Народное образование, по его мнению, не должно быть обязательным: если оно благо, говорил он, то его потребность должна вызываться сама собой, подобно тому, как потребность в питании вызывается голодом.

Он с живым интересом высказывал свой взгляд на общинное крестьянское землевладение и видел в "артели" будущность социального строя. Фребель часто улыбался, слушая подобные мнения Толстого о германском народе. Толстой был поражён, что ни в одном немецком крестьянском доме не нашёл он ни «Деревенских рассказов», ни произведений Фребеля. Русские крестьяне, — говорил он, — проливали бы слёзы над подобными книгами. Впечатления, полученные им от Бертольда Ауэрбаха в Дрездене и от Фребеля во время их совместных прогулок, укрепили его в той задаче, план которой только ещё носился перед его умственным взором. Автор «Системы социальной политики» указал ему на родственные ему по взглядам сочинения Рия, и Толстой, со всем пылом юности, накинулся на «Естественную историю народа как основание немецкой социальной политики».

Племянник Фридриха Фребеля был по своему внутреннему призванию тоже педагог. Он познакомил Толстого с мыслями своего дяди, учредителя детских садов.

В Киссингене Толстой посетил все окрестности, богатые красотами природы и историческими воспоминаниями. Он прошёл Гарц, побывал в нескольких тюрингенских городах и из Эйзенаха проехал в Вартбург.

Личность немецкого реформатора, чью тяжёлую борьбу напоминает собою Вартбург, живо интересовала Толстого. Разрыв со старыми традициями, смелая и искренняя реформаторская деятельность и идеи, воплощением которых был Лютер, увлекали Толстого, и он, посетив ту комнату, где были написаны первые слова Библии на немецком языке, записал в свой дневник короткую фразу: «Лютер велик».

Между тем больной Николай Николаевич Толстой писал Фету от 19-го июля:

«Я бы давно написал вам, любезные друзья мои, но мне хотелось написать вам обо всех, составляющих нашу толстовскую колонию, но тут произошла ужасная путаница, которая, наконец, распуталась следующим образом: сестра с детьми приехала в Соден и будет в нём жить и лечиться, дядя Лёвушка остался в Киссингене, в пяти часах от Содена, и не едет в Соден, так что я его не видал. Письмо ваше я отправил к Лёвочке с братом Сергеем, который будет в Киссингене проездом в Россию. Он скоро у вас будет и всё вам подробно расскажет. Извините, добрейший Афанасий Афанасьевич, что я прочитал ваше письмо к брату, много в нём правды, но только где вы говорите в общем; а где говорите о самом себе, там вы не правы, всё тот же недостаток практичности: себя и кругом себя ничего не знаешь. Но ведь не боги горшки обжигали; бросьтесь в практичность, окунитесь в неё с головой, и я уверен, что она вытеснит из

вас байбака, да ещё выжмет из вас какую-нибудь лирическую штучку, которую мы с Тургеневым да ещё несколько человек прочтём с удовольствием. А на остальной мир — плевать! За что я вас люблю, любезнейший Аф. Аф., — за то, что всё в вас правда, всё, что из вас, то в вас, нету фразы, как, например, в милейшем и пр. Иване Сергеевиче. А очень стало мне без него

пусто в Содене, не говоря уже о том, что шахматный клуб расстроился. Даже аппетит у меня стал не тот, с тех пор, как не сидит подле меня его толстая и здоровая фигура и не требует придачи то моркови к говядине, то говядины к моркови. Мы часто о вас говорили с ним, особенно последнее время: "вот Фет собирается, вот Фет едет, наконец, Фет стреляет". Иван Сергеевич купил собаку, — чёрный полукровный пойнтер. Я воды кончил; намерен делать разные экскурсии, но всё-таки моя штаб-квартира в Содене и адрес тот же».

От Ник. Ник. Толстого осталось так мало литературных произведений, что мы помещаем ещё его несколько писем к общему другу братьев Толстых, Дмитрию Алексеевичу Дьякову. Хотя они не особенно содержательны, но тем не менее отражают на себе его добродушие.

Из Содена он писал Дьяковым два раза:

«Любезный Дьяков, получил ли ты моё письмо из Петербурга? Если получил, то грех тебе не отвечать. Что с

вами? Надеюсь, что все твои здоровы. Ради Бога отвечай, едет ли Дарья Александровна за границу? Когда, куда, не уехала ли уже; если б я знал всё это, то я бы сейчас поехал к ней навстречу; воды пить я кончил и теперь отдыхаю; сестра тоже в Содене, пробудет в нём, думаю, четыре недели.

Здоровье моё поправилось, но не совсем; мне сдаётся, что, вероятно, то же можно сказать и про твоё хозяйство. Ради Бога пиши, как идёт хозяйство, какие планы и пр. Лёвочка в Киссингене; Серёжа был со мной в Содене, профершипилился в рулетку и уехал назад в Россию; он, вероятно, будет у тебя.

Весь твой гр. *Н. Толстой.*

19 июля нов. штиля.

Не знаю, как благодарить вас, Дарья Александровна, за вашу приписку; значит, вы не забыли вашего соседа. Как ваше здоровье? Как здоровье Маши? Надеюсь, что мы увидимся нынешний год, и думаю об этом с наслаждением; напишите только, когда вы будете за границей, где вы, и я сейчас явлюсь. Сестра моя тоже в Содене и просит меня напомнить вам о себе. Мы с ней вместе проклинаям погоду — вообразите, что здесь лета не было — холода, ветры и дожди всё время, и это не в одном Содене, но во всей Европе. Но да не испугает вас это, приезжайте и привезите нам хорошую погоду. С истинным почтением и уважением

преданнейший ваш граф *Н. Толстой.*

Боюсь, любезный Дмитрий, что письмо это вас не застанет; если ты его получишь, отвечай сейчас, куда вы едете, где будете осень. — Вот главное. Адрес мой пока

всё-таки в Соден, потому что я сам не знаю, куда я отсюда поеду, мне предписывают виноград и хороший климат, а ни того, ни другого нынешний год в Европе нет. Сестра тебе кланяется.

Весь твой *Н. Толстой*.

28 августа.

Но вот из Содена стали приходить неутешительные известия. Ник. Ник. Толстой приятно провёл несколько недель в красивом местечке, в обществе сестры, её детей и брата Сергея, но его здоровье не поправлялось. Врачи советовали ему переехать в Италию.

6-го августа Сергей Николаевич Толстой отправился на родину. Он воспользовался случаем заехать в Киссинген, лежащий в расстоянии 5-ти часов пути, чтобы навестить брата Льва и сообщить ему серьёзные опасения за здоровье Николая. Три дня спустя, именно в тот день, когда Сергей Николаевич продолжал свой путь на родину, приехал в Киссинген и брат Николай. Сестра же с детьми оставались в Содене для окончания лечения.

Ник. Ник. недолго пробыл в Киссингене и снова вернулся в Соден, а Лев Николаевич пробыл ещё некоторое время в Гарце, наслаждаясь природой и посвящая свободное время чтению книг.

Наконец 26-го августа он приехал в Соден. Там всё было приготовлено к отъезду, и 29 августа Лев Николаевич с братом отправились во Франкфурт.

Вероятно, сильные индивидуальные качества делали Льва Николаевича очень оригинальным даже по внешнему виду. Мы уже видели, как он напугал Ауэрбаха. Во Франкфурте произошло тоже нечто подобное. Вот как вспоминает об этом его тётушка А. А. Толстая:

«Мы переехали во Франкфурт. Однажды у меня в гостях сидел принц Александр Гессенский с супругой. Вдруг отворяется дверь гостиной, и появляется Лев Николаевич в самом странном костюме, напоминающем те, в которых изображают на картинах испанских разбойников. Я так и ахнула от изумления... Лев Николаевич остался, видимо, недоволен моими гостями и вскорости ушёл.

— *Qui est donc ce singulier personnage?* — спросили гости с удивлением.

— *Mais c'est Leon Tolstoy.*

— *Ah, mon Dieu, pourquoi ne l'avez-vous pas nomme? Apres avoir lu ses admirables ecrits nous mourrions d'envie de le voir* (1), — упрекнули они меня» (2).

(1) Кто эта странная личность? — Да это Лев Толстой. — Ах, Боже мой, зачем вы его не назвали? Прочитав его очаровательные писания, мы все страстно желали его увидеть.

(2) Ив. Захарьин (Якунин). «Графиня Александра Андреевна Толстая». «Вестник Европы». Июнь 1904 года.

Из Франкфурта Толстые все вместе переехали в Гиеру, на берег Средиземного моря, по совету врачей. Но бедному Николаю это не помогло, и он там прожил недолго.

Через несколько дней по приезде Л. Н. пишет тетушке Т. А. письмо, в котором ещё заметна надежда на выздоровление Н. Н.

«Состояние здоровья Николеньки всё то же, но только здесь можно ожидать улучшения, потому что образ жизни, который он вёл в Содене, путешествие и плохая погода должны были, напротив, принести ему вред. Здесь погода превосходна в эти три дня, и здесь говорят, что погода всё время была прекрасная. Здесь есть княгиня Голицына, которая живёт здесь уже 9 лет. Машенька познакомилась с ней, и эта княгиня говорит, что она приехала сюда в ещё худшем состоянии, чем Николенька, а теперь это сильная и вполне здоровая женщина».

Но ему становилось всё хуже и хуже. За несколько дней до смерти он пишет Дьякову, в Париж, и почерк его становится слабым, дрожащим, и он сам сознается в упадке сил:

«Пишу тебе несколько строк, чтобы было тебе известно, где я. Я и сестра проводим зиму в Hieres. Вот мой адрес и Лёвочки тоже: a Hieres, dans la maison de Mad. Senequier, rue du Midi. Увы, мне приехать в Париж невозмож-

218

но: эта поездка мне не по силам, я очень слаб. Как приедешь и найдешь это письмо, пиши, где остановился, как доехал и прочее. Если нельзя видеться, будем переписываться.

Весь твой *Н. Толстой*».

20 сентября 1860 года (нового стиля) он скончался, и Л. Н. так извещает об этом свою тётушку Т. А.:

«Chere tante!

Чёрная печать вам всё скажет. То, чего я ждал две недели с часу на час, случилось нынче в 9 часов вечера. Только со вчерашнего дня он позволил мне помочь ему раздеться, нынче первый день, что он решительно лёг и разделся и потребовал *garde-malade* [сиделку]. Всё время он был в памяти, за четверть часа до смерти он выпил молока и сказал мне, что ему хорошо. Нынче ещё он шутил и интересовался моими делами о воспитании. Только за несколько минут до смерти он прошептал несколько раз: «Боже мой, Боже мой!» Мне кажется, что он чувствовал своё положение, но обманывал нас и себя. Машенька нынче только часа за четыре уехала от нас, т. е. из Nyeres, за 4 версты, где она живёт. Она никак не ожидала этого так скоро. Я только что закрыл ему глаза. Я скоро теперь буду к вам и всё расскажу изустно. Тело его я не думаю перевозить. Похороны устроит княгиня Голицына, которая взялась за всё.

Прощайте, chere tante. Утешать вас не могу. Воля Божья — вот одно. Серёже я теперь не пишу. Он, должно быть, на охоте, вы знаете где. Поэтому и известите его или пошлите это письмо».

На другой день после похорон он пишет о том же брату Сергею:

«Ты, я думаю, получил известие о смерти Николеньки. Мне жаль тебя, что ты не был тут; как это ни тяжело, мне хорошо, что всё это было при мне, и что это подействовало на меня, как должно было. Не так, как смерть Митеньки, о которой я узнал, вовсе не думая о нём. Впрочем, это совсем другое дело. С Митенькой были связаны

воспоминания детства и родственное чувство и только; а это был положительно человек для тебя и для меня, которого мы любили и *уважали* положительно дольше всех на свете. Ты знаешь это эгоистическое чувство, которое последнее время приходило, что чем скорее, тем лучше; а теперь страшно это писать и вспоминать, что это думал. До последнего дня он со своей необычайной силой характера и сосредоточенностью делал всё, чтобы мне не быть в тягость. В день своей смерти он сам оделся и умылся, и утром я его застал одетого на кресле. Это было часов за девять до смерти, что он покорился болезни и попросил себя раздеть. Первое было в нужнике. Я вышел вниз и слышу — дверь его отворилась; я вернулся, его нет нигде. Сначала я боялся войти, — он не любил, — но тут он мне сам сказал: «помоги мне».

И он покорился и стал другой: кроткий, добрый этот день; не стонал, ни про кого не говорил, всех хвалил и мне говорил: «благодарствуй, *мой друг*». Понимаешь, что это значит в наших отношениях. Я сказал ему, что слышал, как он кашлял утром, но не вошёл из-за *fausse honte* (1). «Напрасно, это бы меня *утетило*». Страдать — он страдал, но он только раз сказал дня за два до

(1) Ложный стыд.

смерти: «что за ужасные ночи без сна. К утру давит кашель, месяц! и что грезится — Бог знает. Ещё такие ночи две — это ужасно». Ни разу ясно он не сказал, что

чувствует приближение смерти. Но он только не говорил. В день смерти он заказал комнатное платье и вместе с тем, когда я сказал, что если не будет лучше, то мы с Машенькой не поедem в Швейцарию, он сказал: «разве ты думаешь, что мне будет лучше?» таким голосом, что, видно, он чувствовал, но для меня не говорил, а я для него не показывал; однако, с утра я знал как будто и всё был у него. Он умер совсем без страданий, наружных, по крайней мере. Реже, реже дышал, и кончилось. На другой день я сошёл к нему и боялся открыть лицо. Мне казалось, что оно будет ещё страдальческое, страшнее, чем во время болезни, и ты не можешь вообразить, что это было за прелестное лицо с его лучшим весёлым и спокойным выражением.

Вчера его похоронили тут. Я одно время думал перевезти, телеграфировать тебе, да раздумал. Нечего ковырять рану. Мне жалко тебя, что тебя известие это застанет на охоте, в рассеянности, и не прохватит так, как нас. Это здорово. Я чувствую теперь то, что слышал часто, что как потеряешь такого человека, как он для нас, так много легче самому становится думать о смерти.

Твоё письмо пришло в самую минуту, как его отпевали. Да, уж не будешь полевать с ним.

Два дня до смерти читал он мне свои записки об охоте и много говорил о тебе. Он говорил о тебе, что ты всем от Бога сделан счастливым человеком и сам себя мучаешь. Я только на второй день хватился сделать его портрет и маску. Портрет уже не застал его удивительного выражения, но маска прелестна».

Смерть его произвела сильное впечатление на Льва Николаевича, и сначала она оттолкнула его от жизни и

расшатала его веру в добро. Вот какую запись он делает в своём дневнике:

«13 октября 1860 года. Скоро месяц, что Николенька умер. Страшно оторвало меня от жизни это событие. Опять вопрос: зачем? Уж недалеко от отправления туда. Куда? Никуда. Пытаюсь писать, принуждаю себя — и не идёт только оттого, что не могу приписывать работе того значения, какое нужно приписывать для того, чтобы иметь силу и терпение работать. Во время самых похорон пришла мне мысль написать материалистическое евангелие, жизнь Христа-материалиста».

В письме от 17 октября 1860 года к Фету, когда уже улеглись первые впечатления горя и сознание снова взяло верх, Лев Николаевич так описывает кончину брата:

«Мне думается, что вы уже знаете то, что случилось. 20 сентября он умер буквально на моих руках. Ничто в жизни не делало на меня такого впечатления. Правду он говаривал, что хуже смерти ничего нет. А как хорошенько подумать, что она всё-таки конец всего, так и хуже жизни ничего нет. Для чего хлопотать, стараться, коли от того, что был Николай Николаевич Толстой, для него ничего не осталось? Он не говорил, что чувствует приближение смерти, но я знаю, что он за каждым шагом её следил и верно знал, что ещё остаётся. За несколько минут перед смертью он задремал и вдруг очнулся и с ужасом прошептал: «да что ж это такое?» Это он её увидал, это поглощение себя в ничто. А уж коли он не нашёл ничего, за что ухватиться, что же я найду? Ещё меньше. И уж, верно, ни я и никто так не будет до последней минуты бороться с нею, как он. Дня за два я ему говорил: "нужно бы тебе удобство в комнату поставить".

— Нет, говорит, я слаб, но ещё не так; мы ещё поломаемся.

До последней минуты он не отдавался ей, всё сам делал, всё старался заниматься, писал, меня спрашивал о моих писаниях, советовал. Но всё это, мне казалось, он делал уже не по внутреннему стремлению, а по принципу. Одно: природа — это осталось до конца. Накануне он пошёл в свою спальню и упал от слабости на постель у открытого окна. Я пришёл, он говорит со слезами на глазах: "как я наслаждался теперь целый час". Из земли взят и в землю пойдёшь. Осталось одно — смутная надежда, что там, в природе, которой частью сделаешься в земле, останется и найдётся что-нибудь.

Все, кто знали и видели его последние минуты, говорят: «как удивительно спокойно, тихо он умер», а я знаю, как страшно мучительно, потому что ни одно чувство не ускользнуло от меня. Тысячу раз я говорю себе: «оставьте мёртвым хоронить мёртвых», но надо же куда-нибудь девать силы, которые ещё есть. Нельзя уговаривать камень, чтобы он падал кверху, а не книзу, куда его тянет. Нельзя смеяться шутке, которая наскучила. Нельзя есть, когда не хочется. К чему всё, когда завтра начнутся муки смерти со всею мерзостью лжи, самообмана и кончится ничтожеством, нулём для себя? Забавная штучка. Будь полезен, будь добродетелен, счастлив, покуда жив, говорят люди друг другу; а ты — и счастье, и добродетель, и польза состоят в правде. А правда, которую я вынес из тридцати двух лет, есть та, что положение, в которое мы поставлены, ужасно. «Берите жизнь, какая она есть; вы не

сами поставили себя в это положение». Как же! Я и беру жизнь, как она есть. Как только дойдёт человек до высшей степени развития, так он увидит ясно, что всё дичь, обман, и что правда, которую он всё-таки любит лучше всего, что эта правда ужасна, что как увидишь её хорошенько, ясно, так очнёшься и с ужасом скажешь, как брат: «да что ж это такое?» Но, разумеется, покуда есть желание знать и говорить правду, стараешься знать и говорить. Это одно, что осталось у меня из морального мира, выше чего я не могу стать. Это одно я и буду делать, только не в форме вашего искусства. Искусство есть ложь, а я уже не могу любить прекрасную ложь...

Я зиму проживу здесь по той причине, что всё равно жить, где бы то ни было. Пишите мне, пожалуйста. Я вас люблю так же, как брат вас любил и помнил до последней минуты...

А. Толстой».

Лев Николаевич, живший в Севастополе среди тысячи смертей, видел их тогда только телесными очами. Тут на смерть любимого брата он в первый раз взглянул духовными очами и ужаснулся. Как искренний человек, он с необычайною правдивостью признал себя побеждённым ею, несостоятельным перед её могуществом. И эта правдивость спасла его. С этой минуты, можно сказать, мысль о смерти не покидала его; она приводит его к неизбежному духовному кризису и победе над нею. Ещё через месяц по поводу новой смерти он пишет следующее:

«Умер в мучениях мальчик 13 лет от чахотки. За что? Единственное объяснение даёт вера в возмездие будущей жизни. Ежели её нет, то нет и справедливости, и не нужно

справедливости, и потребность справедливости есть суеверие.

Справедливость составляет существеннейшую потребность человека к человеку. То же отношение человек ищет в своём отношении к миру. Без будущей жизни его нет. Целесообразность — единственный, неизменный

закон природы, скажут естественники. Её нет в явлениях души человека — любви, поэзии; в лучших явлениях её нет. Всё это было и умерло, часто не выразившись. Природа далеко переступила свою цель, давши человеку потребность поэзии и любви, ежели один закон её — целесообразность».

Ещё позднее, в «Исповеди», он пишет о смерти брата так:

«Другой случай сознания недостаточности для жизни суеверия прогресса была смерть моего брата. Умный, добрый, серьёзный человек, он заболел молодым, страдал более года и мучительно умер, не понимая, зачем он жил, и ещё менее понимая, зачем он умирает. Никакие теории ничего не могли ответить на эти вопросы ни мне, ни ему во время его медленного и мучительного умирания».

Наконец, уже после просветления своего сознания, он пишет книгу «О жизни», которую заключает словами: «Жизнь человека есть стремление к благу; к чему он стремится, то и дано ему; жизнь, не могущая быть смертью, и благо, не могущее быть злом».

Есть интересные сведения о жизни Льва Николаевича с семьей его сестры в Гиере после смерти брата, рассказанные Сергеем Плаксиным, бывшим тогда ещё маленьким мальчиком и жившим со своею матерью в том же пансионе. Вот как он рассказывает о поселении и жизни Толстых на вилле Тош:

«Семейство графа заняло верхний этаж виллы, причём Лев Николаевич поставил свой письменный стол в стеклянной галерее с видом на море. Лев Николаевич, живя в Гиере, часто бывал у сестры на даче, проводя там целые дни.

Неутомимый ходок, Лев Николаевич составлял нам маршрут, изобретая всё новые места для прогулок. То мы отправлялись смотреть на выварку соли на полуострове "Porquerolles", то подымались на священную гору, где построена каплица с чудотворной статуей Пресвятой Девы, то ходили к развалинам какого-то замка, почему-то носившего название "Trou des fees" (1).

(1) "Пещера волшебниц".

По дороге Лев Николаевич рассказывал нам, детям, разные сказки. Помню я какую-то о золотом коне и о гигантском дереве, с вершины которого видны были все моря и города. Зная мою слабую грудь, он нередко сажал меня на свои плечи, продолжая рассказывать на ходу свои сказки. Надо ли говорить, что мы души в нём не чаяли?..

За обедом, вечером, Лев Николаевич рассказывал нашим добродушным хозяевам всевозможные забавные небылицы о России, и те не знали, верить ему или не

верить, пока графиня или моя мать не отделяли правды от вымысла.

Сейчас же после обеда мы располагались, смотря по погоде, или на обширной террасе, или в зале, и начиналась возня. Под звуки фортепиано мы изображали балет и оперу, немилосердно терзая слух наших зрителей: маменек, Льва Николаевича и моей бонны Лизы. Балет и опера сменялись гимнастическими упражнениями, причём профессором являлся тот же Лев Николаевич, напиравший главным образом на развитие мускулов.

Ляжет, бывало, на пол во всю длину и нас заставляет лечь и подниматься без помощи рук; он же устроил нам в дверях верёвочные приспособления, и сам кувыркался с нами, к общему нашему удовольствию и веселью.

Когда мы слишком расшалимся и маменьки упрелят Льва Николаевича нас унять, — он нас усаживал вокруг стола и приказывал принести чернила и перья.

Вот образец наших занятий со Львом Николаевичем.

— Слушайте — сказал он нам как-то, — я вас буду учить!

— Чему? — спросила востроглазая Лизанька (1), предмет моих нежных чувств.

(1) Лизанька, Варя и Коля — дети Марьи Николаевны Толстой, сестры Л. Н-ча.

Не удостоив племянницу ответом, Лев Николаевич продолжал:

— Пишите!..

— Да что писать-то, дядя? — настаивала Лиза.

— А вот слушайте: я вам дам тему!..

— Что дашь? — не унималась Лиза.

— Тему! — твердо повторил Лев Николаевич. — Пишите: чем отличается Россия от других государств. Пишите тут же, при мне, и друг у друга не списывать! Слышите! — прибавил он внушительно.

И пошло у нас писание, как говорится *a que m'eux-m'eux* (2).

(2) Кто кого лучше.

Коля, бывало, как тщательно ни наклоняет голову набок, но у него все линейки ползут в правый верхний угол бумаги. Пыхтит он, пыхтит, издавая носом неопределённые звуки, но ничего бедняге не помогает, а между тем Лев Николаевич строго запрещал нам писать по графлёным линейкам, говоря, что это "одно баловство". «Надо привыкать писать без них». Пока мы таким образом излагали наши мысли, графиня и моя мать сидели на диване и читали вполголоса какое-нибудь новое произведение французской литературы, а граф Лев Николаевич ходил по комнате из угла в угол, чем вызывал иногда восклицание нервной графини:

— Что это ты, Лёвушка, как маятник, слоняешься. Хоть бы присел!..

Через полчаса наши "сочинения" были готовы, и моё было первым, к которому прикоснулся наш ментор. Он пытался было нам прочесть его, но, тщетно стараясь что—

либо разобрать в спустившихся к поднебесью линейках, возвратил мне мою рукопись, сказав при этом:

— Прочти-ка сам, — и я громогласно стал читать, что Россия отличается от других государств тем, что в ней на масленице блины едят и с гор катаются, а на Пасхе яйца красят.

— Молодец! — похвалил Лев Николаевич и стал разбирать рукопись Коли, у которого Россия отличалась "снегом", а у Лизы — "тройками".

Обстоятельнее всех было написано у старшей из нас всех — Вари.

В награду за наши вечерние занятия Лев Николаевич привёз нам из Марселя, куда он почему-то часто ездил из Гиеры, акварельные краски и учил нас рисованию.

Лев Николаевич проводил почти весь день с нами, — учил нас, участвовал в наших играх и вмешивался в наши споры, разбирая и доказывая, кто из нас прав, кто виноват» (3).

(3) С. Плаксин. «Граф Л. Н. Толстой среди детей». М., 1903 г.

Приведём ещё рассказ сестры Л. Н-ча, М. Н-ны, об одном эпизоде из жизни Л. Н-ча в Гиере:

«Л. Н. всегда отличался оригинальностью, переходившей нередко в самодурство.

Мы жили в Гиере после смерти брата. Л. Н. уже тогда был известен, и русское общество в Гиере и окрестностях искало знакомства с ним. Раз мы были приглашены на вечер к кн. Дондуковой-Корсаковой. Там собралось всё высшее общество, и главным сюж (4) этого вечера должен был быть Л. Н., и как

нарочно он долго не приходил. Общество стало уже унывать, у хозяйки истощился весь запас занимания общества, и она с грустью думала о своём *soirée manquée* (1). Но, наконец, уже очень поздно, доложили о приезде графа Толстого. Хозяйка и гости оживились, и каково же было их удивление, когда в гостиную вошёл Л. Н. в дорожной одежде и в деревянных сабо. Он совершал какую-то длинную прогулку, с этой прогулки, не заходя домой, явился прямо на вечер и стал всех уверять, что деревянные сабо самая лучшая, самая удобная обувь, и что он всем советует ею обзавестись. Ему и тогда уже всё прощалось, и вечер из-за этого стал ещё более интересным. Л. Н. был очень оживлён. На вечере много пели и заставляли его аккомпанировать».

(1) Неудавшемся вечере.

В Гиере временами Л. Н-ч отдавался писательству; там были начаты «Казачи» и написана статья «О народном образовании».

Лев Николаевич остался в Гиере до начала декабря и затем отправился через Марсель в Женеву, расстался там со своей сестрой, которая также переехала туда со своими детьми, и снова отправился в путь — сначала в Италию.

Ницца, Ливорно, Флоренция, Рим, Неаполь — вот главные пункты этого путешествия.

В Италии, по его собственным словам, он испытал первое живое впечатление природы и древности.

В Париж Толстой снова поехал через Марсель, куда он заезжал несколько раз во время своего заграничного путешествия. Очевидно, жизнь большого французского торгового города привлекала и интересовала его.

Вот как описывает Лев Николаевич своё пребывание в Марселе в одной из своих педагогических статей:

«Год тому назад я был в Марселе и посетил все учебные заведения для рабочего народа этого города. Отношение учащихся к населению так велико, что, за малым исключением, все дети ходят в школу в продолжение трёх, четырёх и шести лет. Программы школ состоят в изучении наизусть катехизиса, священной и всеобщей истории, четырёх правил арифметики, французской орфографии и счетоводства. Каким образом счетоводство может составлять предмет преподавания, я никак не мог понять, и ни один учитель не мог объяснить мне. Единственное объяснение, которое я сделал себе, рассмотрев, как ведутся книги учениками, окончившими этот курс, — есть то, что они не знают и трёх правил арифметики, а выучили наизусть операции с цифрами, и потому так же наизусть должны выучить *tenue des livres* (2). (Кажется, нечего доказывать, что *tenue des livres*, *Buchhaltung* (3) преподающееся в Германии и в Англии, есть наука, требующая четыре часа объяснения для всякого ученика, знающего четыре правила арифметики). Ни один мальчик в этих школах не умел решить, т. е. постановить самой простой задачи сложения и вычитания. Вместе с тем с отвлеченными числами они делали операции, помножая

тысячи с ловкостью и быстротой. На вопросы из истории Франции отвечали наизусть хорошо, но по разбивке я получил ответ, что Генрих IV убит Юлием Цезарем.

(2) Ведение книг.

(3) Ведение книг, бухгалтерия.

...Видел я ещё в Марселе одну светскую и одну монашескую школу для взрослых. Из 250000 жителей меньше 1000 учащихся, и только 200 мужчин посещают эти школы. Преподавание то же самое: механическое чтение, кото-

рого достигают в год и более, счетоводство без знания арифметики, духовные поучения и т. п. Видел я после светской школы ежедневные поучения в церквях, видел salles d'asile (1), в которых четырехлетние дети по свистку, как солдаты, делают эволюции вокруг лавок, по команде поднимают и складывают руки и дрожащими и странными голосами поют хвалебные гимны Богу и своим благодетелям, и убедился, что учебные заведения города Марселя чрезвычайно плохи. Ежели бы кто-нибудь каким-нибудь чудом видел все эти заведения, не видав народа на улицах, в мастерских, кафе, в домашней жизни, то какое бы мнение он себе составил о народе, воспитываемом таким образом? Он, верно, подумал бы, что это народ невежественный, грубый, лицемерный, исполненный предрассудков и почти дикий. Но стоит войти в сношение,

поговорить с кем-нибудь из простолюдинов, чтобы убедиться, что, напротив, французский народ почти такой, каким он сам себя считает: понятливый, умный, общительный, вольнодумный и действительно цивилизованный. Посмотрите на городского работника лет тридцати: он уже напишет письмо не с такими ошибками, как в школе, иногда совершенно правильное; он имеет понятие о политике, следовательно, о новейшей истории и географии; он знает уже несколько историю из романов; он имеет несколько сведений из естественных наук; он очень часто рисует и прилагает математические формулы к своему ремеслу. Где же он приобрёл все это?

(1) Приюты.

Я невольно нашёл этот ответ в Марселе, начав после школ бродить по улицам, гингетам, кафешантанам, музеумам, мастерским, пристаням и книжным лавкам. Тот самый мальчик, который отвечал мне, что Генрих IV убит Юлием Цезарем, знал очень хорошо историю «Трёх мушкетёров» и «Монте-Кристо». В Марселе я нашёл 28 дешёвых изданий, от пяти до десяти сантимов, иллюстрированных. На 250000 жителей их расходуется до 30000, — следовательно, если положить, что 10 человек читают и слушают один номер, то все их читают. Кроме того, — музей, публичные библиотеки, театры, кафе, два большие кафешантана, в которые, за потребление 50 сантимов, имеет право войти всякий и в которых перебивает ежедневно до 25000 человек, не считая маленьких кафе, имеющих столько же; в каждом из этих кафе даются комедийки, сцены, декларируются стихи. Вот

уже, по самому бедному расчёту, пятая часть населения, которая изустно поучается ежедневно, как поучались греки и римляне в своих амфитеатрах. Хорошо или дурно это образование — это другое дело; но вот оно, бессознательное образование, в сколько раз сильнейшее принудительного; вот она, бессознательная школа, подкопавшаяся под принудительную школу и сделавшая содержание её почти ничем, Осталась только одна деспотическая форма почти без содержания. Я говорю "почти" — исключая одно механическое умение складывать буквы и выводить слова, единственное знание, приобретаемое пяти- или шестилетним ученьем» (2).

(2) Полное собр. соч. Л. Н. Толстого, т. IV, с. 24.

В январе 1861 года Толстой был уже в Париже. Как и везде, он старался там наблюдать уличные нравы.

«Когда я был в Париже, — рассказывал он Скайлеру, — я обыкновенно проводил половину дней в омнибусах, забавляясь просто наблюдением народа; и могу вас уверить, что каждого из пассажиров я находил в одном из романов Поль де Кока».

Лев Николаевич в разговоре со Скайлером совершенно отрицал так называемую безнравственность Поль де Кока.

«Во французской литературе, — говорил он Скайлеру, — я высоко ценю романы Александра Дюма и Поль де Кока». На изумление, выраженное Скайлером, он продолжал:

«Нет, не говорите мне ничего о той бессмыслице, что Поль де Кок безнравственен. Он, по английским понятиям, несколько неприличен. Он более или менее то, что французы называют *beste* и *gaulois* [дикарь, галл], но никогда не безнравственность. Что бы он ни говорил в своих сочинениях и вопреки его маленьким вольным шуткам, направление его совершенно нравственное. Он — французский Диккенс. Характеры его все заимствованы из жизни и так же совершенны.

А что касается Дюма, каждый романист должен знать его сердцем. Интриги у него чудесные, не говоря об отделке; я могу его читать и перечитывать, но завязки и интриги составляют его главную цель».

В Париже Лев Николаевич виделся с Тургеневым, и это свидание несколько сблизило их.

Затем Лев Николаевич поехал в Лондон и виделся там с Герценом. Он прожил в Лондоне полтора месяца и видался с Герценом почти каждый день. Они много беседовали и касались в своей беседе самых интересных вопросов. К сожалению, ни у Герцена, ни у Льва Николаевича ничего не осталось записанным из этих бесед.

В воспоминаниях Тучковой-Огарёвой есть несколько строк, посвященных этому свиданию:

«Посетил Герцена и Лев Николаевич Толстой, которого Д., О. и Ю. гремели в читающем мире. Герцен восхищался этими вещами; особенно удивлялся Герцен смелости Толстого говорить о таких тонких, глубоко затаённых чувствах, которые, быть может, испытываются многими, но которые никем высказаны не были. Что касается до его философских воззрений, Герцен находил их слабыми, туманными, часто бездоказанными» (1).

(1) «Русская старина», 1891 год.

Кроме того, мы можем передать устный рассказ дочери Герцена, Натальи Александровны, смутно помнящей одно свидание. Она была тогда маленькой девочкой и уже читала первые произведения Толстого и восхищалась ими. Узнав от отца, что Толстой будет у него, она выпросила позволение присутствовать при этом свидании...

В назначенный день и час она забралась к отцу в кабинет и села в кресло в самом дальнем углу, стараясь быть незамеченной. Вскоре лакеи доложил о приезде графа Толстого. Она с замиранием сердца ждала его появления, и каково же было её разочарование, когда увидела франтовато, по последней английской моде одетого человека, со светскими манерами, вошедшего к отцу и начавшего с увлечением рассказывать ему о петушиных боях и о состязании боксёров, которых он уже посмотрел в Лондоне; ни одного задушевного слова, которое бы соответствовало её ожиданию, ей не удалось услышать в это единственное, оставшееся в её воспоминании, свидание Льва Николаевича с её отцом, при котором ей удалось присутствовать.

Однако, надо полагать, что разговоры двух великих русских писателей не ограничились этим предметом спорта, так как при расставании Герцен снабдил Толстого рекомендательным письмом к Прудону.

Кроме того, в Англии, как и везде, Лев Николаевич посещал школы и был в парламенте, где слышал речь Пальмерстона, говорившего подряд три часа.

Там же он узнал о своём назначении на должность мирового посредника, и в день объявления воли, т. е. 19-го февраля 1861 г. по русскому стилю или 3-го марта по новому, Лев Николаевич выехал из Лондона в Россию через Бельгию, Брюссель, где с письмом Герцена посетил Прудона. Этот энергичный, самостоятельный мыслитель, вышедший из народа, произвёл на Льва Николаевича сильное впечатление и, вероятно, имел влияние на выработку его миросозерцания. Как-то в разговоре Лев Николаевич сказал мне, что Прудон оставил в нём впечатление сильного человека, у которого есть "*le courage de son opinion*" (1). Известный афоризм Прудона — "*la propriete c'est le vol*" (2) — может быть поставлен эпиграфом любого экономического этюда Толстого.

(1) Смелость своего мнения.

(2) Собственность — кража.

В Брюсселе Лев Николаевич посетил также польского историка и политического деятеля Лелевеля, который жил в Брюсселе уже дряхлым стариком и в большой бедности. В Брюсселе же была Львом Николаевичем написана повесть «Поликушка». 13-го апреля Лев Николаевич выехал из Брюсселя и направился через Германию в Россию.

Первым городом, который он посетил в Германии, был Веймар. Там он был гостем русского посланника фон Мальтица, который познакомил его с гофмаршалом Бодье-Марконе, а этот, в свою очередь, представил его великому

герцогу Карлу-Александру. Мальтиц дал ему также возможность 16-го апреля посетить жилище Гёте, которое было тогда закрыто для простых смертных. Но Толстого больше интересовали детские фребелевские сады, которые тогда велись под руководством Минны Шельгорн, непосредственной ученицы Фребеля, и она с радостью рассказывала любознательному русскому графу о своём учителе и показывала ему занятия и игры детей.

Доктор фон Бодде недавно поместил в веймарском педагогическом журнале «Der Saemann» («Сеятель») интересную статью под заглавием «Толстой в Веймаре», где он, кроме уже общеизвестных фактов, передаёт рассказ только в 1905 году умершего Юлия Штёцера, лично знавшего Л. Н., который посетил в Веймаре его школу. Вот этот рассказ:

«В пятницу на Пасхе, когда началось ученье, в час дня я был во втором классе и хотел начинать ученье, когда ученик семинарии отворил дверь и, просунув голову, сказал: "Вас хочет посетить какой-то господин".

За ним вошёл господин, не называя себя, и я принял его за немца, потому что он говорил по-немецки так же хорошо, как и мы.

— Какой урок у вас сегодня после обеда? — спросил он.

— Сначала история, потом немецкий язык, — отвечал я.

— Очень рад. Я посетил уже школы южной Германии, Франции и Англии и хотел бы также познакомиться и с северогерманскими. Сколько классов в вашей школе?

— Семь. Это второй. Но я ещё не знаком с моими учениками, так как мы только что начинаем. И потому я не могу удовлетворить вашему любопытству.

— Это мне всё равно. Мне важен план и метод обучения. Скажите же, пожалуйста, какого плана держитесь вы для обучения истории?

Я сам выработал себе план преподавания истории и изложил его перед иностранным школьным учителем, за которого я принял своего гостя.

Он вынул из кармана записную книжку и стал в ней быстро записывать. Вдруг он сказал:

— В этом столь обдуманном плане, мне кажется, не хватает одного — отечествоведения.

— Нет, оно не забыто. Родиноведению посвящен следующий класс.

Мне нужно было начинать урок, и я стал рассказывать о четырех степенях культуры. Иностранец продолжал записывать. Когда урок кончился, он спросил:

— А теперь что будет?

— Немецкий язык. Я хотел, собственно говоря, начать чтение, но если вы желаете что-нибудь другое, то можно переменить.

— Мне это очень приятно. Видите ли, я много думал о том, как сделать более свободным течение мысли (по-немецки буквально: сделать мысли текучими, flussig).

Этого выражения его я никогда не забуду. Я постарался удовлетворить его желанию и задал им небольшое изложение. Я назвал какой-то предмет, и дети должны были написать об этом письмо в своей тетради. Это очень заинтересовало иностранца, он стал ходить между

скамейками, брать по очереди тетради учеников и смотреть, как и что они пишут.

Я оставался на кафедре, чтобы не развлекать детей. Когда работа приходила к концу, иностранец сказал:

— Теперь могу я взять эти работы с собой? Они меня очень интересуют.

«Но это уже слишком», — подумал я, но ответил ему вежливо, что этого нельзя сделать. Дети купили себе тетради, каждая стоит шесть грошей. Веймар — бедный город, и родители рассердятся, если им придется покупать новые тетради.

— Этому можно помочь, — сказал он и вышел вон.

Мне было не по себе, и я послал ученика за моим другом, директором Монгауптом, чтобы пришёл в класс, так как у нас происходит что-то необыкновенное. Монгаупт пришел.

— Ты мне славную штуку устроил, — сказал я ему, — прислал мне какого-то чудака, и он хочет отнять у учеников их тетради.

— Я тебе никого не присылал, — сказал Монгаупт.

— Но ведь ты же директор семинарии, а его привёл семинарист.

Тогда вспомнил Монгаупт, что в его отсутствие приходил к нему какой-то важный чиновник, который сказал его жене, что сопровождавшему его господину нужно оказать всякое содействие и всё показать.

Между тем иностранец вернулся, и в руках у него была большая пачка писчей бумаги, которую он купил в ближайшей лавке. Так как он был налицо, я должен был представить его директору, и они обменялись рекомендациями:

— Директор Монгаупт.

— Граф Толстой из России.

Итак, это был граф, а не учитель. И был русский, так свободно говоривший по-немецки.

Мы велели детям переписать написанное ими на листы принесенной бумаги. И Толстой, собрав все листы и свернув их, отдал их дожидавшемуся его на дворе слуге.

От меня он пошёл к директору реального училища Требсту, с которым был знаком, так как Требст был в России».

Доктор Боде заканчивает свою статью следующими словами, посвящёнными памяти старого учителя:

«Ещё одно слово о старике Юлии Штёцере. В светлое воскресенье 1905 г. он умер почти девяноста трёх лет. Для меня он был очень замечательным человеком, так как он знал тех двух людей, из чьих книг я прочёл и научился самому лучшему, что я знаю. Он знал Толстого и Гёте».

Продолжая путь через Германию, Л. Н. посетил Готу, побывал в тамошних фребелевских детских садах, знакомясь с выдающимися педагогами. В Иене Толстой познакомился с молодым математиком Келлером и уговорил его ехать с ним в Россию, чтобы помогать ему в педагогической деятельности. Заехал ненадолго в Дрезден, где снова виделся с Ауэрбахом. О нём он записывает в своём дневнике такой краткий, отрывочный отзыв:

«21 апреля, Дрезден. Ауэрбах прелестнейший человек. Ein Licht mir eingefangen (1). Его рассказы "О присяжном", "О первом впечатлении природы", "Versöhnung", "Abend" (2), "О Клаузере-пасторе".

(1) Свет охватил меня.

(2) "Примирение", "Вечер".

"Христианство — как дух человечества, выше которого нет ничего. Читает стихи восхитительно. О музыке, как "Pflichtloser Genuss" (3). Поворот, по его мнению, к возвращению. Рассказ из "Schazkastlein" (4). Ему 49 лет. Он прям, молод, верующий, не ноет отрицания».

(3) Наслаждение, чуждое долгу.

(4) Ценная шкатулка.

Из Дрездена Л. Н. пишет своей тётке Т. А., между прочим, следующее:

«Я здоров и горю желанием вернуться в Россию. Но раз я в Европе, не зная, когда снова попаду сюда, вы понимаете, что я хотел как можно больше воспользоваться моим путешествием. И, кажется, я это сделал. Я везу такое количество впечатлений, знаний, что я должен буду долго работать, прежде чем уложить всё это в моей голове. Я рассчитываю остаться в Дрездене до 10/22 и к Пасхе, во всяком случае, предполагаю быть в Ясной. Отсюда, если к 25-му не откроется навигация, я еду через Варшаву в Петербург, где мне нужно быть, чтобы получить разрешение на журнал, который я намерен издавать при яснополянской школе. Я везу с собой немца из университета — учителя и приказчика, очень милого и образованного, но ещё очень молодого и непрактического человека».

22 апреля он был уже в Берлине и познакомился с сыном знаменитого педагога Дистервега, директора учительской семинарии. Он думал найти в отце просвещённого человека, свободного от всяких предрассудков и вынесшего из своей многолетней практики самостоятельные педагогические взгляды, а нашёл, по собственному выражению Л. Н-ча, холодного, бездушного педанта, который думал правилами и предписаниями развивать и руководить детские души.

В этот час, который они оба употребили на обсуждение школьных и воспитательных вопросов, темой их разговора служило, главным образом, различие между понятиями: воспитание, образование и преподавание.

«Дистервег со злой иронией отзывался о людях, подразделяющих то и другое, — в его понятиях то и другое сливается. А вместе с тем мы говорили о воспитании, образовании и преподавании и ясно понимали друг друга».

Мы позднее увидим, что Толстой был недоволен не только воззрениями этого педагога, но и всеми методами, с которыми он познакомился в западноевропейских школах, и что он пользовался в своих школьных занятиях в Ясной Поляне опытами, приобретёнными им во Франции, Англии и Германии, только для того, чтобы идти ещё более самостоятельным путем.

Берлин был последним городом за границей, где остановился Толстой. 23-го апреля 1861 года, после 9-тимесячного отсутствия, он переехал русскую границу.

Как и следовало ожидать, тяжеловесная немецкая наука не удовлетворила Толстого, несмотря на то, что он приложил все силы своего таланта и энтузиазма к её изучению как теоретическому, так и практическому, дополняя и разъясняя всё недосказанное в трактатах личною беседою с самыми выдающимися её представителями и наблюдениями в школах за практическим применением их методов.

Изучение этой науки укрепило во Льве Николаевиче мысль о необходимости начать всё сначала, т. е. самому вполне самостоятельно приняться за дело народного образования, и он отдаётся ему со всей свойственной ему беззаветностью.

Немецкая наука не помогла Льву Николаевичу, потому что требования, предъявляемые им этой науке, были очень высоки, а он, как искренний человек, не мог их понизить и не мог потерпеть их лицемерного полупризнания. Несмотря на редкую добросовестность немецких учёных, деятельность их была не истинна в своём основании.

В основе деятельности этих, как и вообще европейских учёных, лежит редко признаваемое открыто стремление прежде всего добыть себе привилегированное положение и связанный с ними досуг, чтобы потом, в лучшем случае, употребить этот досуг на служение народу, который уже претерпел во время добывания этого досуга неисчислимыя и неизлечимыя страдания, вследствие чего общение с народом становится невозможным. Он, озлобленный или, в лучшем случае, кротко терпящий, — чуждается этих служителей, а эти служители, не понимая и снисходительно оскорбляя его, в лучшем случае, могут только различными паллиативами залечить нанесённые ему ими самими жестокие физические и моральные раны.

Какого рода новый толчок дал Толстой педагогической науке, мы постараемся разъяснить в одной из следующих глав.

ГЛАВА 13.

Толстой и Тургенев. Освобождение крестьян. Посредничество

Возвратившись из-за границы, Лев Николаевич проехал через Петербург и в начале мая был уже в Москве и вскоре потом в Ясной Поляне.

Россия праздновала наступление новой эры — освобождения крестьян от крепостной зависимости.

Всё, что было в России передового, интеллигентного, честного, бросилось в общественную деятельность. Одним из первых пошёл туда и Лев Николаевич.

Однако мы должны оговориться, чтобы не ввести читателя в заблуждение: Л. Н. не был увлечён общим потоком возбуждённой общественной жизни. Его самобытная, непокорная природа не позволяла ему идти по течению и заставляла его выбирать новые, особые пути.

Боясь ошибиться в этой трудной оценке отношения Льва Николаевича к так называемой «эпохе 60-х годов» и проводя параллель с теперешним общественным настроением, мы запросили об этом Льва Николаевича и получили следующий ответ:

«Что касается до моего отношения тогда к возбуждённому состоянию всего общества, то должен сказать (и это моя хорошая или дурная черта, но всегда мне бывшая свойственной), что я всегда противился невольно влияниям извне, эпидемическим, и что если тогда я был возбуждён и радостен, то своими особенными, личными, внутренними мотивами, теми, которые привели меня к школе и общению с народом.

Вообще я теперь узнаю в себе то же чувство отпора против всеобщего увлечения, которое было и тогда, но проявлялось в робких формах».

Со вступлением его в общественную деятельность, жизнь его становится столь многосторонней, что нам приходится несколько уклониться от принятого нами строго хронологического порядка изложения и перейти в параллельному описанию главнейших родов его одновременной деятельности. Каждый род общественной деятельности переплетается, конечно, с фактами его личной и семейной жизни.

Общественная деятельность Льва Николаевича проявлялась в начале 60-х годов главным образом в двух сферах: в сфере административной — в должности мирового посредника, и в сфере педагогической как учителя, устроителя народных школ и педагога-писателя.

Мы намерены рассказать отдельно о каждой из этих деятельностей, но прежде приведём некоторые факты из его личной жизни.

По приезде домой Лев Николаевич поспешил навестить своих добрых соседей, Фета и Тургенева. По этому поводу у них завязалась переписка. Тургенев писал Фету из Спасского:

«Fetti carissime! (1) [(1) Дражайший Фет!] Посылаю вам записку от Толстого, которому я сегодня же написал, чтобы он непременно приехал сюда в начале будущей недели для того, чтобы совокупными силами ударить на вас в вашей Степановке, пока ещё поют соловьи и весна улыбается "светла, блаженно равнодушна". Надеюсь, что он услышит мой зов и прибудет сюда. Во всяком случае, ждите меня в конце будущей недели, а до тех пор будьте здоровы, не слишком волнуйтесь, памятуя слова Гёте: «Ohne Hast, Ohne Rast», и хотя одним глазом поглядывайте на вашу осиротелую Музу».

В письмо была вложена следующая записка Л. Толстого:

«Обнимаю вас от души, любезный друг Афан. Афан., за ваше письмо, и за вашу дружбу, и за то, что вы есть Фет. Ивана Сергеевича мне хочется видеть, а вас в десять раз больше. Так давно мы не видались, и так много с нами обоими случилось с тех пор. Вашей хозяйственной деятельности я не нарадуюсь, когда слышу и думаю про неё. И немножко горжусь, что и я хоть немного содействовал ей. Не мне бы говорить, не вам бы слушать. Друг — хорошо; но он умрёт, он уйдёт как-нибудь, не поспеешь как-нибудь за ним; а природа, на которой женился посредством купчей крепости или от которой родился по

наследству, ещё лучше. Своя собственная природа. И холодная она, и несговорчивая, и важная, и требовательная, да зато уж это такой друг, которого не потеряешь до смерти, а и умрёшь — всё в неё же уйдёшь.

Я, впрочем, теперь меньше предаюсь этому другу. — У меня другие дела, втянувшие меня; но всё, без этого сознания, что она тут, как повихнулся, есть за кого ухватиться — плохо бы было жить. Дай вам Бог успеха, успеха, чтобы радовала вас ваша Степановка. Что вы пишете и будете писать, в этом я не сомневаюсь. Марье Петровне жму руку и прошу меня не забывать. Особенное будет несчастье, ежели я не побываю у вас нынче летом, а когда, не знаю».

«Невзирая на любезные обещания, — рассказывает Фет в своих воспоминаниях, — показавшаяся из-за рощи коляска, быстро повернувшая с просёлка к нам под крыльцо, была для нас неожиданностью; и мы несказанно обрадовались, обнимая Тургенева и Толстого. Неудивительно, что при тогдашней скудости хозяйственных строений Тургенев с изумлением, раскидывая свои громадные ладони, восклицал: “все мы смотрим, где же это Степановка, и оказывается, что есть только жирный блин и на нём шиш, и это и есть Степановка”.

Когда гости оправились от дороги, и хозяйка воспользовалась двумя часами, оставшимися до обеда, чтобы придать последнему более основательный и приветливый вид, мы пустились в самую оживлённую беседу, на какую способны бывают только люди, ещё не утомлённые жизнью».

В это посещение Толстым и Тургеневым Фета произошло печальное событие, ссора между Тургеневым и Толстым. Описание этого события довольно подробно изложено в воспоминаниях Фета, откуда мы заимствуем большую часть этого описания, дополняя некоторые

пробелы и исправляя неточности по другим собранным нами материалам.

«Утром, в наше обыкновенное время, — рассказывает Фет, — т. е. в восемь часов, гости наши вышли в столовую, в которой жена моя занимала верхний конец стола за самоваром, а я, в ожидании кофея, поместился на другом конце. Тургенев сея по правую руку хозяйки, а Толстой по левую. Зная важность, которую Тургенев в это время придавал воспитанию своей дочери, жена моя спросила его, доволен ли он своей английской гувернанткой. Тургенев стал изливаться в похвалах гувернантке и, между прочим, рассказал, что гувернантка с английской пунктуальностью просила Тургенева определить сумму, которою дочь его может располагать для благотворительных целей.

— Теперь, — сказал Тургенев, — англичанка требует, чтобы моя дочь забирала на руки худую одежду бедняков и, собственноручно вычинив оную, возвращала по принадлежности.

— И вы это считаете хорошим? — спросил Толстой.

— Конечно, это очень сближает благотворительницу с насущною нуждою.

— А я считаю, что разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю, театральную сцену.

— Я вас прошу этого не говорить! — воскликнул Тургенев с раздувающимися ноздрями.

— Отчего же мне не говорить того, в чём я убеждён, — отвечал Толстой.

Тургенев сказал: «Стало быть, вы находите, что я дурно воспитываю дочь?» Лев Николаевич отвечал на это, что он

думает то, что говорит, и что, не касаясь личностей, просто выражает свою мысль».

— Не успел Фет крикнуть Тургеневу: перестаньте! — как, бледный от злобы, он сказал: «А если вы будете так говорить, я вам дам в рожу». С этими словами он вскочил из-за стола и, схватившись руками за голову, взволнованно зашагал

в другую комнату. Через секунду он вернулся и сказал, обращаясь к жене Фета: «Ради Бога, извините мой безобразный поступок, в котором я глубоко раскаиваюсь». С этим вместе он снова ушёл. После этого гости разъехались.

Толстой, отъехав станцию, из имения П. Н. Борисова, Новоселок, написал Тургеневу письмо с требованием удовлетворения. Затем поехал дальше в Богослов, на станцию, находившуюся на полдороге между имением Фета и имением Толстого, Никольским. Оттуда он послал в Никольское за ружьями и пулями, а Тургеневу, не дождавшись ответа на первое письмо, послал второе уж с вызовом за оскорбление.

В письме этом он писал Тургеневу, что не желает стреляться пошлым образом, т. е. чтобы два литератора приехали с третьим литератором, с пистолетами, и дуэль бы кончилась шампанским, а желает стреляться по настоящему, и просил Тургенева приехать в Богослов к опушке леса с ружьями.

Всю ночь Лев Николаевич не спал и ждал. Наконец пришло письмо, ответ от Тургенева на первое письмо. Тургенев писал:

«Милостивый государь, Лев Николаевич!

В ответ на ваше письмо я могу повторить только то, что я сам своей обязанностью почёл объявить вам у Фета: увлечённый чувством невольной неприязни, в причины которой теперь входить не место, я оскорбил вас без всякого положительного повода с вашей стороны и попросил у вас извинения. Происшедшее сегодня утром доказало ясно, что всякие попытки сближения между такими противоположными натурами, каковы ваша и моя, не могут повести ни к чему хорошему; а потому тем охотнее исполняю мой долг перед вами, что настоящее письмо есть, вероятно, последнее проявление каких бы то ни было отношений между нами. От души желаю, чтобы оно вас удовлетворило, и заранее объявляю согласие на употребление, которое вам заблагорассудится сделать из него.

С совершенным уважением имею честь оставаться, милостивый государь, ваш покорнейший слуга

Ив. Тургенев».

27 мая 1861 г. Спасское.

Тут же следует приписка:

10 час. ноч.

«Иван Петрович сейчас привез мне моё письмо, которое мой человек по глупости отправил в Новоселки, вместо того, чтобы отослать его в Богослов. Покорнейше прошу вас извинить эту нечаянную неприятную оплошность;

надеюсь, что мой посланный застанет вас ещё в Богослове».

Вероятно, в тот же день Толстой писал Фету:

«Я не удержался, распечатал ещё письмо от г. Тургенева в ответ на моё. Желаю вам всего лучшего в отношении с этим человеком, но я его презираю, я ему написал и тем прекратил все сношения, исключая, ежели он захочет, удовлетворения. Несмотря на всё моё видимое спокойствие, в душе у меня было неладно, и я чувствовал, что мне нужно было потребовать более положительного извинения от г. Тургенева, что я и сделал в письме из Новоселок. Вот его ответ, которым я удовлетворился, ответив только, что причины, по

которым я извиняю его, не противоположности натур, а такие, которые он сам понять может.

Кроме того, по промедлению, я послал другое письмо довольно жесткое и с вызовом, на которое не получил ответа; но ежели и получу, не распечатав возвращу назад. Итак, вот конец грустной истории, которая, ежели перейдёт порог вашего дома, то пусть перейдёт и с этим дополнением.

А. Толстой».

А между тем Тургенев так отвечал на вызов:

«Ваш человек говорит, что вы желаете получить ответ на ваше письмо; но я не вижу, что бы я мог прибавить к тому, что я написал. Разве то, что я признаю за вами

право потребовать от меня удовлетворения вооружённой рукой: вы предпочли удовольствоваться высказанным и повторенным моим извинением. Это было в вашей воле. Скажу без фразы, что охотно бы выдержал ваш огонь, чтобы тем загладить моё действительно безумное слово. То, что я его высказал, так далеко от привычек всей моей жизни, что я могу приписать это ничему иному, как раздражению, вызванному крайним и постоянным антагонизмом наших воззрений. Это не извинение, я хочу сказать не оправдание, а объяснение. И потому, расставаясь с вами навсегда, — подобные происшествия неизгладимы, невозвратимы, — считаю долгом повторить ещё раз, что в этом деле правы были вы, а виноват я. Прибавляю, что тут вопрос не в храбрости, которую я хочу или не хочу показывать, а в признании за вами права привести меня на поединок, разумеется, в принятых формах (с секундантами), так и права меня извинить. Вы избрали, что вам было угодно, и мне остаётся покориться вашему решению. Снова прошу вас принять уверение в моём совершенном уважении.

Ив. Тургенев.

Вероятно, Фет, от души желая примирения своих друзей, делал к этому какие-нибудь попытки, так как в своих воспоминаниях он рассказывает следующее:

«А. Толстой прислал мне следующую записку:

"Тургенев — ..., что я прошу вас передать ему так же аккуратно, как вы передаёте мне его милые изречения, несмотря на мои неоднократные просьбы о нём не говорить.

Гр. А. Толстой.

И прошу вас не писать ко мне больше, ибо я ваших, так же как и Тургенева, писем распечатывать не буду"».

«Нечего говорить, — продолжает Фет, — что, отправившись в Спасское, я употребил все усилия привести дело, возникшее, к несчастью, в нашем доме, к какому бы то ни было ясному исходу.

Помню, в какое неописанно ироническое раздражение пришёл незабвенный здравомысл Ник. Ник. Тургенев. "Что за неслыханное баловство, — восклицает он, — требовать, чтобы все были нашего мнения! А попался, так доводи дело до конца, с пистолетами в руках требуй формального извинения". Так говорил дядя мне, а что он говорил Ивану Сергеевичу — мне неизвестно. Все

же мои попытки уладить дело кончились, как видно, формальным моим разрывом с Толстым, и в настоящую минуту я даже не могу припомнить, каким образом возобновились наши дружеские отношения».

«Прошло несколько времени, — рассказывает гр. С. А. Толстая. — Лев Николаевич, живя в Москве, как-то раз пришёл в одно из тех прелестных расположений духа, которые в жизни его находили на него иногда, — смирения, любви, желания и стремления к добру и всему высокому. И в этом расположении ему стало невыносимо иметь врага. И вот 25 сентября 1861 г. он написал Тургеневу письмо, в котором жалел, что их отношения враждебны. Писал, что "если я оскорбил вас, простите меня, мне невыносимо грустно думать, что я имею врага".

Письмо было послано в Петербург, книгопродавцу Давыдову, у которого были дела с Тургеневым. Письмо это почему-то не тотчас же было переслано Тургеневу, а он тем временем был встревожен какими-то нелепыми слухами, о чём так рассказывает в своём письме к Фету от 8-го ноября из Парижа:

«Кстати, "ещё одно последнее сказание" о несчастной истории с Толстым. Проезжая через Петербург, я узнал от "верных людей" (ох, уж эти мне верные люди), что по Москве ходят списки с последнего письма Толстого ко мне (того письма, где он меня "презирает"), списки, будто бы распущенные самим Толстым. Это меня взбесило, и я послал ему отсюда вызов на время моего возвращения в Россию. Толстой отвечал мне, что это распространение списков — чистая выдумка, и тут же прислал мне письмо, в котором, повторив, что и как я его оскорбил, *просит у меня извинения и отказывается от вызова*. Разумеется, на этом дело и должно покончиться, и я только прошу вас сообщить ему (так как он пишет мне, что всякое новое обращение к нему от моего лица он сочтёт за оскорбление), что я сам отказываюсь от всякого вызова и т. п. и надеюсь, что всё это похоронено навек. Письмо его (извинительное) я уничтожил, а другое письмо, которое, по его словам, было послано ко мне через книгопродавца Давыдова, я не получил вовсе. А теперь всему этому делу *de profundis*».

Об этом письме к Толстому, упоминаемом в письме к Фету, мы находим такую запись в дневнике Льва Николаевича:

«Октябрь. Вчера получил письмо от Тургенева, в котором он обвиняет меня в том, что я рассказываю, что

он трус, и распространяю копии с моего письма. Написал ему, что это вздор, и послал сверх того письмо:

«Вы называете мой поступок бесчестным, вы прежде хотели мне дать в рожу, а я считаю себя виноватым, прошу извинения и от вызова отказываюсь».

Письмо это, — прибавляет гр. Толстая в своих записках, — было написано под влиянием чувства, что если у Тургенева нет личной настоящей чести, а нужна честь для публики, то вот ему для этого это письмо; но что Лев Николаевич стоит выше этого и мнение публики презирает. И на это Тургенев сумел быть слаб; он отвечал, что считает себя удовлетворённым».

В другом письме к Фету, от 7-го января 1862 года, Тургенев снова пишет о том же:

«А теперь без пунктов: видели ли вы Толстого? Я сегодня только получил письмо, посланное им в сентябре через книжный магазин Давыдова (хороша исправность гг. купцов русских) ко мне. В этом письме он говорит о своем намерении оскорбить меня, извиняется и т. д. А я почти в то же самое время, вследствие других сплетен, о которых я, кажется, писал вам, послал ему вызов

и т. д. Из всего этого должно вывести заключение, что наши созвездия решительно враждебно двигаются в эфире, и потому нам лучше всего, как он сам предлагает, избегать свидания. Но вы можете написать ему или сказать (если вы увидите), что я (без всяких фраз и каламбуров) издали его очень люблю, уважаю и с участием

слежу за его судьбой, но что вблизи всё принимает другой оборот. Что делать! нам следует жить, как будто мы существуем на различных планетах или в различных столетиях».

Вероятно, Фет что-нибудь говорил Толстому по поручению Тургенева и вызвал в нём снова раздражение даже против себя, о чём и сообщил Тургеневу, потому что тот писал ему, между прочим, следующее:

14 января 1862 года. Париж.

«Любезнейший Афанасий Афанасьевич, прежде всего я чувствую потребность извиниться перед вами в той совершенно неожиданной черепице (tuile, как говорят французы), которая вам свалилась на голову по милости моего письма. Одно, что меня утешает несколько, это то, что я никак не мог предвидеть подобную выходку Толстого и думал всё устроить к лучшему; оказывается, что это такая рана, до которой уже лучше не прикасаться. Ещё раз прошу у вас извинения в моём невольном грехе».

Этим мы и закончим рассказ о печальном событии, которое, подобно грозовому удару, разрядило напряжённую атмосферу между двумя великими людьми и потом, быть может, послужило к их более искреннему и более правдивому сближению.

Прибавим к этому, что рассказ об этом же событии, помещённый в воспоминаниях Е. Гаршина о Тургеневе, напечатанных в «Историческом вестнике» за ноябрь 1883 года, изобилует искажениями и места, и времени и, вероятно, был слышан им не из первых рук.

Прежде чем перейти к рассказу о деятельности Льва Николаевича Толстого как мирового посредника, скажем несколько слов об отношении Льва Николаевича к крестьянам до освобождения. На наш запрос Льву Николаевичу, были ли им приняты какие-либо меры по облегчению участи его крестьян до освобождения и во время надела землей, мы получили от него следующий ответ:

«До освобождения, года за четыре или за три, я отпустил крестьян на оброк. При составлении уставной грамоты я оставил у крестьян, как следовало по положению, ту землю, которая была в их пользовании, — это было несколько менее трёх десятин на душу, и, к стыду своему, ничего не прибавил. Одно, что я сделал, или не сделал дурного, это то, что не переселял крестьян, как мне советовали, и оставил в их пользовании выгон; вообще не проявил тогда никаких бескорыстных чувств на деле».

В 1861 и 1862 гг. Лев Николаевич Толстой состоял мировым посредником четвертого участка Крапивенского уезда. Деятельность Толстого в должности мирового посредника мало известна в литературе; к счастью, память о ней ещё жива среди некоторых старожилов, близко стоявших в то время к Толстому. Отзывы этих лиц, несомненно, представляют собою значительный интерес.

Репутация Толстого как человека, ведущего хозяйство на новых началах, т. е. попросту не угнетающего и не обирающего своих крестьян, чуть было не стала сразу препятствием к назначению его мировым посредником. Возникла

переписка и доносы на него по этому делу. Мы помещаем здесь наиболее характерные выдержки из доставленного нам по этому делу материала.

Губернский предводитель дворянства, В. П. Минин, писал об этом министру внутренних дел Валуеву, жалуясь на тульского губернатора Дарагана по поводу назначения мировым посредником Л. Н. Толстого, в таких выражениях:

«Зная несочувствие к нему крапивенского дворянства за распоряжения его в своём собственном хозяйстве, г. предводитель опасается, чтобы при вступлении графа в эту должность не встретились какие-либо неприятные столкновения, могущие повредить мирному устройству столь важного дела».

Затем он указывает на нарушение губернатором некоторых формальностей процесса назначения, желая тем самым кассировать это назначение.

Министр внутренних дел отвечал предводителю дворянства, что тут, вероятно, есть какое-нибудь недоразумение, и что он напишет об этом губернатору.

На запрос министра внутренних дел губернатор отвечал следующим интересным конфиденциальным донесением, показывающим, что в то время высшие правительственные сферы шли впереди ещё не проснувшегося среднего русского общества:

Конфиденциально.

«К этому считаю долгом присовокупить, что поводом к возбуждению настоящей переписки может служить назначение в мировые посредники Крапивенского уезда отставного поручика графа Льва Николаевича Толстого,

вопреки мнению как губернского, так и уездного предводителя дворянства, которые отстраняли его под предлогом несочувствия к нему местных дворян.

Зная лично графа Толстого как человека образованного и горячо сочувствующего настоящему делу и приняв в соображение изъявленное мне некоторыми помещиками Крапивенского уезда желание иметь графа Толстого посредником, я не мог заменить его другим, мне не известным лицом. Тем более, что граф Толстой был указан мне и предместником вашего высокопревосходительства (1) в числе некоторых других лиц, пользующихся лучшей известностью.

Генерал-лейтенант *Дараган*».

(1) Ланским.

Затем последовало утверждение сенатом Льва Николаевича Толстого в должности мирового посредника.

Недавно опубликованы интересные материалы, касающиеся деятельности Льва Николаевича Толстого в качестве мирового посредника.

Эти материалы бросают новый свет на характер личности Льва Николаевича, который во всех делах, копии с которых приводятся в материалах, является истинным народным заступником от грубого произвола помещиков и полицейских чинов, и позволяют думать, что опасения предводителя дворянства были небезосновательны.

Из 15 дел, приведённых в этих материалах, мы выбираем наиболее характерные.

Так, например, помещица Артюхова жаловалась на своего бывшего дворового, Марка Григорьева, что он ушёл

от неё, считая себя человеком "совершенно свободным". Толстой, между прочим, писал помещице:

«Марк немедленно, по моему приказанию, уйдёт с женою, куда ему угодно, вас же я покорнейше прошу: 1) удовлетворить его за прослуженные у вас противозаконно со времени объявления положений три месяца с половиной и 2) за побои, нанесённые его жене, ещё более противозаконно. Ежели вам не нравится моё решение, то вы имеете право жаловаться в мировой съезд и в губернское присутствие. Я же по этому предмету более объясняться не буду. С совершенным почтением имею честь быть ваш покорный слуга гр. Л. Толстой».

Помещица жаловалась в съезд; так как съезд состоял из мировых посредников, которым не по нутру была деятельность Толстого, то в этом случае, как и во многих других, решение Толстого отменялось, съезд брал сторону помещицы, и затем дело переносилось в губернское присутствие. К счастью, в губернском присутствии к деятельности Толстого относились сочувственно, и во многих случаях, как и в этом, оно утверждало постановленные Толстым решения.

Таким образом, Марк Григорьев был освобождён, и жена его получила удовлетворение за нанесённые ей Артюховой побои. Интересно дело о потраве луга крестьянами у помещика Михайловского. Крестьяне пахали помещичье поле и во время отдыха потравили своими лошадьми соседний помещичий луг. Помещик пожаловался Толстому. Толстой прежде всего предложил

помещику простить крестьянам этот проступок, надеясь, вероятно, этим самым несколько уладить отношения между помещиком и крестьянами, имевшими повод быть им очень недовольными. Помещик не соглашался простить и требовал оценки потравы и взыскания штрафа. И сам назначил цену штрафа 80 рублей.

По этому делу возникла целая литература. Помещик Михайловский, жалуюсь в съезд, так описывал действия Толстого:

«Вслед за сим гр. Толстой прибыл в село Панино, собрал трёх крестьян ближайшего села Бородина в качестве добросовестных и с ними отправился на место потравленного луга. Добросовестные, коим гр. Толстой предложил оценить луг, объявили, что потравленного луга должно быть десятины 3, и что цену потравы они полагают назначить за каждую десятину по 10 рублей серебром. Гр. Толстой с оценкою этою не согласился и предложил добросовестным ценить десятину в 5 рублей, не более. Добросовестные гр. Толстому не противоречили в этом. Таким образом, дело о набеге крестьян села Панино на господские луга порешилось гр. Толстым тем, что крестьяне должны заплатить помещице, г-же Михайловской, за 3 десятины по 5 руб. за каждую».

Признавая это и другие действия гр. Толстого незаконными, Михайловский говорит:

«Смело уверен в том, что правосудное правительство, озабоченное улучшением быта крестьян, не потерпит, чтобы улучшение это, обогащение крестьян шло путём, указываемым мировым посредником гр. Толстым».

Уездный мировой съезд по прошению Михайловского потребовал было от гр. Толстого сведения, но Толстой, от 16 сентября 1861 года No 323, ответил съезду, что «не

считает нужным давать никаких сведений по жалобе г. Михайловского на основании ст. 29, 31 и 32 Полож. о губерnsk, и уездн. по крестьянским делам учреждений». Последовавшее за сим по настоящему делу представление уездного съезда в губернское присутствие последним, без всякого письменного доклада, помечено: «к делу».

Ещё одно, хотя и незначительное, дело ясно показывает нам, насколько чужд был Л. Н-ч в этих делах всякого честолюбия, готовый всегда признать

свою ошибку, руководясь в своих поступках только самым искренним желанием справедливости.

Помещица Заслоница пожаловалась в съезд на Толстого за его незаконную выдачу увольнительного паспорта её дворовому человеку. Толстой, присутствуя на съезде при разборе этого дела, сознался в сделанной им ошибке и предложил вознаградить помещицу за понесённые убытки. Но не все дела кончались так благополучно. Толстому, отстаивавшему права народа, приходилось вести борьбу с целой компанией крепостников, всеми силами отстаивавших свои старые права и произволы. Так, между помещиком Осиповичем и его бывшими крестьянами возникло следующее дело: часть деревни сгорела, и помещик не позволял крестьянам строиться на прежних местах, требовал перенесения их усадеб, не давал им достаточно пособия на постройку и не освобождал их от обязательных работ на время восстановления их разорённых хозяйств.

Толстой, с одной стороны, находил законными требования крестьян, с другой стороны, видел бедственное положение разорившегося мелкого помещика и не считал его в состоянии удовлетворить все требования крестьян. Тогда он обратился к дворянам с просьбой помочь своему разорившемуся собрату, чтобы он мог выручить из беды крестьян или просто оказать пособие крестьянам помимо помещика. И в том, и другом ему было отказано, а крестьян стали принуждать выполнить все требования помещика.

Долго тянулось дело, переходя из одной инстанции в другую. Толстой заметил, что дело клонится не в пользу крестьян и что его мнением хотят пренебречь. Тогда он заявил снова свой протест, и на заседании съезда, когда снова разбиралось это дело, он, видя, что члены съезда намеренно извращают дело и что он уже не имеет силы дать делу надлежащий ход, демонстративно оставляет заседание, не подписав постановления по делам, которые слушались в его присутствии. Съезд жаловался на него в губернское присутствие, но жалоба эта была оставлена без последствий.

Далее видим, как помещик Костомаров оттягал у крестьян наделы, переименовывая их из крестьян в дворовых, т. е. безземельных. Толстой заступился за них и, после многих мытарств, настоял на том, чтобы крестьяне остались при земле.

Помещики, стесненные в средствах, придумывали всякие хитрости, чтобы дать крестьянам земли как можно меньше и как можно хуже. Как только Толстой замечал подобные стремления, он не утверждал уставных грамот и добивался их уничтожения.

Конечно, симпатии Толстого к крестьянам были крайне неприятны для помещиков. Помещики заявляли, что Толстой бросил между крестьянами и помещиками "семя раздора" и окончательно разрушил "патриархальные" отношения между ними, что он производит волнения среди крестьян, которые допускают массу незаконных действий по его внушению и приказанию; будто бы и должностные лица крестьянского управления, с целью приобрести благоволение Толстого, не исполняют обязанностей, возложенных на них законом, и поэтому в деревне воцаряется совершенное безначалие и развитие беспорядков в виде воровства, своеволия и т. д.

Конечно, подобное поведение мирового посредника вызывало в народе большое доверие к нему, и это отношение к нему народа ещё больше злило дворян-помещиков. Толстому становилось всё труднее и труднее вести свою линию, и вскоре он должен был сложить оружие в этой непосильной борьбе.

И сам Толстой чувствовал крайнее неудовлетворение. Ещё в июле 1861 года он уже писал в своём дневнике:

«Посредничество дало мало материала, поссорило меня со всеми помещиками окончательно и расстроило здоровье».

От 12 февраля 1862 г. Толстой писал в губернское по крестьянским делам присутствие:

«Так как представленные на меня в губернское присутствие жалобы: г. Костомарова о перечислении его людей в крестьяне, г. Заслонина о невведении в действие

его уставных грамот, г. Бранд и г-жи Артюховой о магазинном хлебе и купца Борхунова о проданном быке и другие — не имеют никакого законного основания, а вместе с тем дела эти и многие другие продолжают быть решёнными противно моим постановлениям, так что почти каждое постановление во вверенном мне участке отменяется, и даже старшины сменяются мировым съездом, — и так как, при таких условиях, возбуждающих недоверие к мировому посреднику как крестьян, так и помещиков, деятельность мирового посредника не только не может быть успешна, но становится невозможна, я покорно прошу губернское присутствие поспешить произведением дознания чрез одного из своих членов о вышеупомянутых жалобах и вместе с тем считаю нужным уведомить губернское присутствие, что до произведения такого дознания я не считаю удобным вступать в исправление сданной старшему кандидату должности».

Хотя девятого марта Толстой и вступил в исправление должности, но исправлял таковую лишь до 30 апреля, когда он, под предлогом болезни, передал исправление должности старшему кандидату мирового посредника по 4-му участку. Наконец, правительствующий сенат, от 26 мая 1862 г. за № 24124, дал знать тульскому губернатору, что "он определил артиллерии поручика графа Льва Толстого по болезни уволить от предоставленной ему по утверждению правительствующего сената должности мирового посредника Крапивенского уезда» (1).

(1) Д. П. Успенский. Архивные материалы дня биографии Л. Н. Толстого. «Русская мысль», 1903 г., кн. IX.

Как неосновательны были заявления помещиков о несправедливом пристрастии Л. Н-ча к крестьянам, мы видим из следующего рассказа, приводимого биографом Лёвенфельдом. Из этого рассказа видно, что Л. Н-ч с одинаковой добросовестностью защищал и требования помещиков, если находил их справедливыми:

«Очевидец деятельности Толстого в качестве мирового посредника, управляющий одного помещика Тульской губернии, балтийский немец, рисует нам наглядным образом его обхождение с людьми. Г. Т. в качестве представителя своего патрона навестил по делу Льва Николаевича в его Ясной Поляне. Причиной этого визита послужили спорные вопросы о наделе крестьян землей. Этот деловой вопрос мог разрешиться только на месте; и поэтому мировой посредник в апреле месяце отправился в имение своего соседа, в сопровождении, 12-летнего крестьянского мальчика, его маленького землемера, как называл его в шутку граф, потому что он всюду возил с собою межевую цепь. Толстой принял крестьянскую депутацию, состоявшую из двух волостных старшин и одного члена схода. Все они пришли к мировому посреднику переговорить с ним о крестьянском наделе землѣй.

— Ну, ребята, что же вы хотите? — приветствовал их граф.

Выборный изложил просьбу сельского схода. Они хотели вместо предназначенного для них выгона получить другой клочок земли для увеличения их надела.

— Мне очень жалко, что я не могу исполнить вашей просьбы, — сказал граф, — если бы я так сделал, то причинил бы большой ущерб вашему помещику.

И тут начал он ясно излагать им сущность дела.

— Ну, как-нибудь сделайте, батюшка, — сказал выборный.

— Нет, я сделать ничего не могу, — подтвердил граф. Мужики переглянулись, почесали затылки и упрямо твердили свое: "уж как-нибудь, батюшка!"

— Если захочешь, батюшка, — снова заговорил выборный, — то уже непременно сделаешь!

Остальные депутаты в знак одобрения закивали головами.

Граф перекрестился и сказал:

— Как Бог свят, клянусь вам всем, что я ни в чем вам помочь не могу.

Но когда и после этого мужики твердили свое: "уж как-нибудь сделай, батюшка, смилуйся!" — граф гневно обернулся к управляющему и сказал ему:

— Можно быть Амфионом и скорее двинуть горы и леса, чем убедить в чем-нибудь крестьян!

В продолжение всей беседы, тянувшейся почти час, — говорит рассказчик, — граф был воплощением терпения и дружественной ласки. Упорство крестьян не вызвало у него ни одного жёсткого слова» (1).

(1) «Гр. А. Н. Толстой, его жизнь и сочинения» Р. Лёвенфельда. С. 228.

К этому же времени относятся и воспоминания приятеля А. Н., кн. Дмитрия Дмитриевича Оболенского:

«В 1861 г. в Туле были вновь выборы, и состоялся большой обед в честь мировых посредников, находившихся на выборах. И вот, в той же зале, где так недавно Волоцкой и князь Черкасский поссорились и должны были стреляться из-за крестьянского вопроса, первый Волоцкий выразил сочувствие князю Черкасскому как собрату по службе, тоже мировому посреднику... Обед этот мне был очень памятен. Мой дядя И. А. Раевский, как старший, председательствовал. На обед подписались некоторые из помещиков, и я, конечно, в том числе. Пришлось мне сидеть возле графа Льва Николаевича Толстого, тогда мирового посредника, с которым уже в то время я был близко знаком. Первый тост был, конечно, за царя-освободителя и принят с большим энтузиазмом.

— Пью этот тост с особенным удовольствием, — сказал мне граф Лев Николаевич, — Больше бы и не нужно, так как, в сущности, государю одному мы обязаны эмансипацией...

Но пошли и другие тосты. Особенно был удачен тост, предложенный П. Ф. Самариным, за *русский народ*, — вопрос тогда весьма щекотливый; но Пётр Федорович провел очень ловко в своей речи то положение, что почти всюду, в нашей Тульской губернии, отношения к крестьянам установились добровольно и хорошо, потому что помещики умеренно пользовались своею властью, так что отношения были добрые, а теперь сделались ещё лучше. И это верно: сравнительно с другими губерниями у нас реформа прошла благополучно.

В год освобождения крестьян Лев Николаевич завёл у себя яснополянскую школу, которая меня очень интересовала, — продолжает Оболенский. — Я стал часто посещать графа, а затем иногда осенью ездил с ним и на охоту, в отъездное поле. Чудное время я проводил тогда! Кто бы узнал теперь в маститом философе дикого охотника, которому было ни по чём перескакивать рвы и канавы, и с которым приходилось полевать целыми днями? Такого собеседника представить себе трудно... Но мировым посредником граф, думается мне, был плохим, именно по своей рассеянности. Я, как теперь, помню первую уставную грамоту, поступившую от него. Подпись на ней буквально была следующая:

«К сей уставной грамоте, по просьбе таких-то, за безграмотностью их, такой-то дворовый человек руку приложил». Ни единого имени!.. Как граф диктовал, что, мол, пиши — за таких-то руку приложил, — так дворовый человек дословно и написал, не обозначив имён ни крестьян, ни своего собственного. А граф и не прочёл, что там написал дворовый человек, и отослал грамоту, скрепив её, в тульское губернское присутствие. Грамоту эту получил мой отчим, который был членом губернского по крестьянским делам присутствия и у которого я жил; он только пожимал плечами, получая такие бумаги» (1).

(1) Кн. Дм. Дм. Оболенский. «Воспоминания». «Русский архив», 1894 г.

Л. Н. оказался малоспособным к канцелярской работе, но сердце и разум его в деле посредничества работали превосходно, и потому деятельность его в этой области

оставила по себе добрую память. С большим успехом, хотя и с не меньшими препятствиями, Л. Н. подвизался на поприще педагогическом, к описанию которого мы приступаем в следующих главах.

ГЛАВА 14.

Педагогическая деятельность Л. Н. Толстого.

Теории

Педагогическая деятельность Льва Николаевича подробно описана им самим в его педагогических статьях, собранных и напечатанных в 4-м томе полного собрания его сочинений. И нам остаётся только резюмировать содержание этих статей, дополнив наше изложение несколькими известными нам фактами, заимствованными нами из других источников.

Мы начнём с изложения теоретических взглядов Льва Николаевича на педагогику, поражающих читателя своей смелостью, оригинальностью и правдивостью и положенных Л. Н-чем в основу своей педагогической деятельности.

Главные основания своих педагогических воззрений Лев Николаевич развивает преимущественно в четырёх своих статьях: 1) «О народном образовании», 2) «О методах обучения грамоте», 3) «Воспитание и образование» и 4) «Прогресс и определение образования».

Постараемся изложить вкратце сущность этих теорий.

«Народное образование всегда и везде представляло и представляет одно непонятное для меня явление, — так начинает Лев Николаевич свою первую статью, — Народ хочет образования, и каждая отдельная личность бессозна-

тельно стремится к образованию. Более образованный класс людей — общества, правительства — стремится передать свои знания и образовать менее образованный класс народа. Казалось, такое совпадение потребностей должно было бы удовлетворить как образующий, так и образующийся класс. Но выходит наоборот. Народ постоянно противодействует тем усилиям, которые употребляет для его образования общество или правительство как представители более образованного сословия, и усилия эти большею частью остаются совершенно безуспешными.

Одним из проявлений этого противоречия служит закон обязательного начального образования, существующий теперь в большей части европейских государств, т. е. принудительное обучение народа грамоте. Закон, который, к сожалению, стремятся ввести и у нас в России.

Если есть принуждение, стало быть, есть сопротивление. Почему же существует это сопротивление, если в народе, несомненно, существует потребность образования, и он сам собой везде учится и считает образование благом?

Как при каждом столкновении, — продолжает Лев Николаевич, — так и при этом нужно было решить вопрос: что более законно — противодействие или самое действие? Нужно ли сломить противодействие или изменить действие?»

И вопрос почему-то всегда решался в пользу насилия. Но для совершения этого насилия нужны какие-нибудь разумные основания. Какие же они? На этот вопрос Лев Николаевич отвечает так: «Основания могут быть:

религиозные, философские, опытные и исторические», и затем он разбирает каждое из этих оснований отдельно.

«В наше время, когда образование религиозное составляет только малую часть образования, вопрос о том, какое имеет основание школа принуждать учиться молодое поколение известным образом, остаётся нерешённым с религиозной точки зрения».

Философские доводы также не могут служить основанием к принуждению:

«Все философы, — говорит Лев Николаевич, — начиная от Платона и до Канта, стремятся к одному — освободить школу от исторических уз, тяготеющих над нею, хотят угадать то, что нужно человеку, и на этих более или менее верно угаданных потребностях строят свою новую школу. Лютер заставляет учить в подлиннике Священное Писание, а не по комментариям святых отцов. Бэкон заставляет изучать природу из самой природы, а не из книг Аристотеля. Руссо хочет учить жизни из самой жизни, как он её понимает, а не из прежде бывших опытов. Каждый шаг философии педагогики вперёд состоит только в том, чтоб освобождать школу от мысли обучения молодых поколений тому, что старые поколения считали наукою, к мысли обучения тому, что лежит в потребностях молодых поколений. Одна эта общая и вместе с тем противоречащая сама себе мысль чувствуется во всей истории педагогики: общая потому, что все требуют большей меры свободы школ, противоречащая потому, что каждый предписывает законы, основанные на своей теории, и тем самым стесняет свободу.

Педагогический опыт ещё менее может нас убедить в законности педагогического насилия. Кроме того, что самый опыт плачевен, школа одуряет детей, искажая

умственные способности, отрывает ребёнка от семьи в самое драгоценное время его развития, лишает его жизнерадостной свободы и превращает его в «измученное, сжавшееся существо, с выражением усталости, страха и скуки, повторяющее одними губами чужие слова на чужом языке».

ке», — кроме всего этого, опыт школьного дела, в сущности, не даёт ничего, так как он совершается в несвободных условиях, уничтожающих самую возможность опыта.

Школа, нам бы казалось, — говорит Лев Николаевич, — должна быть и орудием образования, и вместе с тем опытом над молодым поколением, дающим постоянно новые выводы. Только когда опыт будет основанием школы, только тогда, когда каждая школа будет, так сказать, педагогической лабораторией, — только тогда школа не отстанет от всеобщего прогресса, и опыт будет в состоянии положить твёрдые основания для науки образования».

Исторические основания не менее шатки. Прогресс жизни, техники, науки совершается быстрее прогресса школы, и потому школа отстаёт всё более и более от общественной жизни, и потому делается всё хуже и хуже.

На возражение о том, что школы существовали и существуют и потому хороши, Лев Николаевич отвечает описанием своего личного опыта исследования школьного дела в Марселе, Париже и других западноевропейских городах, приведшего его к заключению, что главная часть

образования народа приобретает не из школы, а из жизни, и что уличное, свободное образование, путём публичных лекций, зрелищ, собраний, книжек, выставок и т. д., побеждает образование школьное.

Наконец, Лев Николаевич обращается специально к русским педагогам, говоря, что если даже признать, несмотря на все их недостатки, что существование, например, немецких народных школ желательно, как имеющих исторический опыт, то всё-таки остается вопрос: на каком основании нам, русским, защищать народную школу, которой у нас нет? Какое мы имеем историческое право говорить, что наши школы должны быть такие же, как европейские школы?

«Что же нам, русским, делать в настоящую минуту? Сговориться ли всем и взять за основание английский, французский, немецкий или североамериканский взгляд на образование и какой-нибудь из их методов? Или, углубившись в философию и психологию, открыть, что вообще нужно для развития души человека и для приготовления из молодых поколений наилучших людей, по нашим понятиям? Или воспользоваться опытом истории — не в смысле подражания тем формам, которые вырабатывала история, а в смысле уразумения тех законов, которые страданиями выработало человечество, — сказать себе прямо и честно, что мы не знаем и не можем знать того, что нужно будущим поколениям, но что мы чувствуем себя обязанными и хотим изучить эти потребности, не хотим обвинять в невежестве народ, не принимающий нашего образования, а будем себя обвинять в невежестве и гордости, ежели вздумаем образовать народ по-своему. Перестанем же смотреть на противодействие народа нашему образованию как на

враждебный элемент педагогики, а, напротив, будем видеть в нём выражение воли народа, которою одной должна руководиться наша деятельность. Сознаем, наконец, тот закон, который так ясно говорит нам из истории педагогики и из истории всего образования, что для того, чтобы образовывающему знать, что хорошо и что дурно, образовывающийся должен иметь полную власть выразить своё неудовольствие или, по крайней мере, уклониться от того образования, которое по инстинкту не удовлетворяет его, что критериум педагогики есть только один — свобода».

Статья заканчивается следующим признанием:

«Мы знаем, что доводы наши убедят немногих. Мы знаем, что основные убеждения наши в том, что единственный метод образования есть опыт, а

единственный критериум его есть свобода, для одних прозвучит избитою пошлостью, для других — неясною отвлечённостью, для третьих — мечтою и невозможностью. Мы бы не дерзнули нарушать спокойствие педагогов-теоретиков и высказать столь противные всему свету убеждения, ежели бы должны были ограничиться рассуждениями этой статьи, но мы чувствуем возможность шаг за шагом и факт за фактом доказать приложимость и законность наших столь диких убеждений, и только этой цели посвящаем издание журнала *"Ясная Поляна"*».

Этот журнал *"Ясная Поляна"*, представляющий также интересный педагогический опыт, существовал один год.

Вышло двенадцать книжек. Первая книжка начиналась следующим обращением:

К публике.

«Выступая на новое для меня поприще, мне становится страшно и за себя, и за те мысли, которые годами вырабатывались во мне и которые я считаю за истинные. Я наперёд убеждён, что многие из этих мыслей окажутся ошибочными. Как бы я ни старался изучать предмет, я невольно смотрел на него с одной стороны. Надеюсь, что мои мысли вызовут противные мнения. Всем мнениям я с удовольствием дам место в своём журнале. Одного я боюсь: чтобы мнения эти не выражались желчно, чтоб обсуждение столь дорогого и важного для всех предмета, как народное образование, не перешло в насмешки, в личности, в журнальную полемику. Я не скажу, что насмешки и личности не могут меня затронуть, что я надеюсь стоять выше их. Напротив, я признаюсь, что боюсь за себя одинаково, как боюсь и за самое дело; боюсь увлечения полемикой личной, вместо спокойной и упорной работы над своим делом.

Поэтому я прошу всех будущих противников моих мнений выражать свои мысли так, чтобы я мог объясняться и приводить доказательства там, где несогласие будет зависеть от недоразумений, и мог бы соглашаться там, где мне будет доказана несостоятельность моих мнений.

Гр. А. Н. Толстой».

В каждой книжке помещалась одна или две теоретические статьи, затем отчёты о деятельности школ,

находившихся под ближайшим руководством Льва Николаевича, библиография, описания школьных библиотек, отчёты о пожертвованиях, и в приложениях давались книжки для чтения.

Эпиграфом журнала было изречение: «Glaubst du zu schieben, und wirst geschoben», т. е. «Думаешь подвинуть, а тебя самого толкают вперёд», — афоризм, принадлежащий Гёте (1).

(1) Слова Мефистофеля («Фауст». Вальпургиева ночь).

Журнал этот уже давно составляет библиографическую редкость. Хотя главные статьи Льва Николаевича, помещавшиеся там, и включены в 4-й том полного собрания сочинений, но, кроме этих статей, в журнале было много разных мелких заметок, описаний и отчётов, представляющих огромный интерес для учителей как в теоретическом, так и в практическом смысле.

Прилагавшиеся к каждому номеру журнала книжки для чтения были впоследствии изданы отдельной серией под общим заглавием «Из Ясной Поляны»; эти книжки могут служить прекрасным образцом народной литературы.

В своей статье «О методах обучения грамоте» Лев Николаевич прежде всего проводит ту мысль, что *грамотность* не есть *первая* ступень образо-

вания, а лишь одна из посредствующих. А если она не первая, то и не самая главная.

«Ежели мы хотим отыскать, — говорит Лев Николаевич, — начало, первую ступень образования, то почему нам отыскивать её непременно в грамоте, а не гораздо глубже? Почему останавливаться на одном из бесконечного числа орудий образования и видеть в нём альфу и омегу образования, тогда как это только одно из случайных, мало значащих обстоятельств образования?

Понятие "образование" не совпадает с понятием "грамотность".

Мы видим людей, хорошо знающих все факты, необходимые для агрономии, и большое число отношений этих фактов, не знающих грамоты; или прекрасных военных распорядителей, прекрасных торговцев, управляющих, смотрителей работ, мастеров, ремесленников, подрядчиков и просто образованных жизнью людей с большими знаниями и здравым суждением, основанным на этих знаниях, не знающих грамоты, и, наоборот, видим знающих грамоту и не приобретших вследствие этого искусства никаких новых знаний».

Как на одну из причин противоречия между жизненными потребностями народа и навязываемой ему интеллигенцией грамотностью, Толстой указывает на исторический ход развития учебных заведений.

«Прежде основались не низшие, а высшие школы: сначала монастырские, потом средние, потом народные...

Грамота есть последняя ступень образования в этой организованной иерархии заведений, или первая ступень с конца, и потому низшая школа отвечала при теперешнем порядке только на те потребности, которые заявляет

высшая школа. Но есть другая точка зрения, с которой народная школа представляется самостоятельным учреждением, не обязанным нести на себе недостатки устройства высшего учебного заведения, но и имеющим свою независимую цель народного образования».

Школа грамоты существует в народе как мастерская и удовлетворяет своей ограниченной потребности, и потому грамотность для него есть особого рода ремесло или искусство.

Выяснив эту сущность грамотности и указав присущее ей место в народной жизни, Лев Николаевич переходит к рассмотрению различных методов обучения грамотности.

Разобрав достоинства и недостатки старинной методы буки-аз-ба, метод гласных и метод звуковой, остановившись несколько дольше на комизме немецкой педантической *Lautiranchau und sunterrichts methode*, он выводит заключение, что все методы хороши и все дурны, что искусство и талант учителя есть основание всякой методы, и, наконец, обращается к учителю со следующим советом:

«Всякий учитель грамоты должен твёрдо знать и опытом своим проверить одну выработанную в народе методу; должен стараться узнавать наибольшее число метод, принимая их как вспомогательные средства; должен, принимая всякое затруднение понимания ученика не за недостаток ученика, а за недостаток своего учения, стараться развивать в себе способность изобретать новые приемы. Всякий учитель должен знать, что каждая изобретенная метода есть ступень, на которую должно становиться для того, чтобы идти дальше; должен знать, что ежели он сам того не сделает, то другой, усвоив себе эту методу, на основании ее пойдёт дальше, и что, так как

дело преподавания есть искусство, то оконченность и совершенство недостижимы, а развитие и совершенствование бесконечны».

Ещё более подробно и ясно развивает Лев Николаевич свои педагогические понятия в своей статье «Воспитание и образование».

Прежде всего Толстой констатирует факт смешения этих двух понятий у большей части педагогов как русских, так и европейских. И затем он старается восстановить разницу этих понятий, давая свои определения трем главным педагогическим терминам: образование, воспитание и преподавание.

«*Образование* в обширном смысле, по нашему убеждению, составляет совокупность всех тех влияний, которые развивают человека, дают ему более обширное мирозерцание, дают ему новые сведения. Детские игры, страдания, наказание родителей, книги, работы, учение, насильственное или свободное, искусства, науки, жизнь — все образует.

Воспитание есть воздействие одного человека на другого с целью заставить воспитываемого усвоить известные нравственные привычки.

Преподавание есть передача сведений одного человека другому (преподавать можно шахматную игру, историю, сапожное мастерство). Учение, оттенок преподавания, есть воздействие одного человека на другого с целью заставить ученика усвоить известные физические привычки (учить петь, плотничать, танцевать, грести веслами, говорить

наизусть). Преподавание и учение суть средства образования, когда они свободны, и средства воспитания, когда учение насильственно, и когда преподавание ведется исключительно, то есть преподаются только те предметы, которые воспитатель считает нужными».

Воспитание насильственно, образование свободно. Но где же право на это насилие?

«Право воспитания не существует. Я не признаю его, — говорит Толстой, — не признаёт, не признавало и не будет признавать его всё воспитываемое молодое поколение, всегда и везде возмущающееся против насилия воспитания».

Где же причины такого не признаваемого человечеством насилия? На этот вопрос Лев Николаевич отвечает так:

«Если существует веками такое ненормальное явление, как насилие в образовании — воспитание, то причины этого явления должны корениться в человеческой природе. Причины эти я вижу: 1) в семействе, 2) в религии, 3) в государстве и 4) в обществе (в тесном смысле — у нас, в кругу чиновников и дворянства)».

Не оправдывая первых трёх причин насилия, Толстой говорит, что они понятны. Трудно воспрепятствовать родителям стараться воспитывать детей такими, каковы они сами, трудно верующему человеку не стремиться к тому, чтобы ребёнок рос в вере его руководителя, наконец, трудно требовать от правительства, чтобы оно не воспитывало нужных ему чиновников.

Но какое право имеет привилегированное, либеральное общество воспитывать чуждый ему народ по своему шаблону — этого нельзя объяснить ничем иным, как

грубым, эгоистическим заблуждением. Отчего же происходит это заблуждение?

«Я думаю, — говорит Толстой, — только оттого, что мы не слышим голоса того, кто нападает на нас, не слышим, потому что он говорит не в печати и не с кафедры. А это могучий голос народа, — надо прислушиваться к нему».

И вот Толстой приступает к рассмотрению орудий этого воспитательного насилия, т. е. учебных заведений, от низших до высших, и не видит в них ни-

чего отрадного. Особенной критике подвергает он устройство наших университетов. Не отвергая в принципе университетского образования, Толстой говорит:

«Понятен университет, соответствующий своему названию и своей основной идее — собранию людей с целью взаимного образования. Такие университеты, неизвестные нам, возникают и существуют в разных уголках России; в самых университетах, в кружках студентов собираются люди, читают, толкуют между собой, и, наконец, постановляется правило, как собираться и толковать между собой. Вот настоящий университет. Наши же университеты, несмотря на все пустые толки о мнимой либеральности их устройства, суть заведения, ничем не отличающиеся по своей организации от женских учебных заведений и кадетских корпусов».

Кроме отсутствия свободы, самостоятельности, один из главных недостатков наших университетов — это абсолютная оторванность их от жизни:

«Посмотрите, как сын крестьянина приучается быть хозяином, сын дьячка, читая на клиросе, быть дьячком, сын киргиза-скотовода быть скотоводом: он смолоду уже становится, в прямые отношения с жизнью, с природой, с людьми, смолоду учится, плодотворно работая, и учится, обеспеченный с материальной стороны жизни, т. е. обеспеченный куском хлеба, одеждой и помещением; и посмотрите на студента, оторванного от дома, от семьи, брошенного в чужой город, наполненный искушениями для его молодости, без средств к жизни (потому что средства рассчитываются родителями только на необходимое, а все уходит на увлечение), в кругу товарищей, своим обществом только усиливающим его недостатки, без руководителей, без цели, отстав от старого и не пристав к новому. Вот положение студентов за малыми исключениями. Из них выходит то, что должно выходить: или чиновники, только удобные для правительства, или чиновники-профессора, или чиновники-литераторы, удобные для общества, или люди, бесцельно оторванные от прежней среды, с испорченной молодостью и не находящие себе места в жизни, так называемые люди *университетского образования*, развитые, т. е. раздражённые, больные либералы. Университет есть первое и главное наше воспитательное заведение. Он первый присваивает себе право воспитания и первый по результатам, которых достигает, доказывает незаконность и невозможность воспитания. Только с точки зрения общественной можно оправдывать плоды университета. Университет готовит не таких людей, каких нужно человечеству, а каких нужно испорченному обществу».

На эту радикальную постановку вопроса Толстой предвидит робкое возражение людей, боящихся перемены, и тут же отвечает на это возражение, заключая этим ответом свою статью:

«Но что же нам делать? Неужели так и не будет уездных училищ, так и не будет гимназий, не будет кафедры истории римского права? Что же станется с человечеством? — слышу я. Так и не будет, коли их не понадобится ученикам, и вы не сумеете их сделать хорошими. Но ведь дети не всегда знают, что им нужно, дети ошибаются и т. д., — слышу я. Я не вхожу в такой спор. Этот спор привёл бы нас к вопросу: права ли перед судом человека природа человека и проч. Я этого не знаю и на это поприще не становлюсь; я только говорю, что, если мы можем знать, чему учить, то не мешайте мне учить насильно русских детей французскому языку, средневековой генеалогии и искусству

красть. Я всё докажу так же, как и вы. Так и не будет гимназий и латинского языка? Что же я буду делать? — опять слышу я.

Не бойтесь, будет и латынь, и риторика, будут ещё сотни лет, и будут только потому, что “лекарство куплено — надо его выпить” (как говорил один больной). Едва ли ещё через сто лет мысль, которую я, может быть, неясно, неловко, неубедительно выражаю, сделается общим достоянием; едва ли через сто лет отживут все готовые заведения: училища, гимназии, университеты, и вырастут

свободно сложившиеся заведения, имеющие своим основанием свободу учащегося поколения».

Конечно, такие *дерзкие* мысли не могли быть приняты педагогами, руководившими в 60-х годах в России общественным и народным образованием. Оскорблённая наука даже не удостоила этих мыслей серьёзным возражением. В «Сборнике критической литературы о Толстом» Зелинского, составленном очень тщательно, находятся только две серьёзные статьи, посвящённые журналу «Ясная Поляна» и яснополянской школе, помещённые одна в «Современнике» в 1862 году (1), другая в «Русском вестнике» в 1862 году.

(1) Впоследствии, в 70 и 80-х годах, по возобновлении педагогической деятельности Л. Н-ча, о ней было много писано, и обсуждение её продолжается и до сих пор. (*Примеч. П. Б.*)

На одну из них, статью Е. Маркова, Лев Николаевич ответил в своём журнале статьёй «Прогресс и определение образования».

Сущность возражения Маркова, резюмированная им в конце его статьи, заключается в том, что Марков открыто признаёт за обществом право педагогического насилия и, стало быть, отрицает свободное образование; затем он признаёт современные системы образования удовлетворительными, в практике же яснополянской школы, к которой он относился с восторгом, видит противоречие с теориями ее основателя и руководителя Л. Н. Толстого.

Толстой, возражая Маркову и повторяя и разъясняя сказанное уж им в предыдущих статьях, приходит к

заклучению, что главное разногласие его с Марковым основано на том, что Марков верит в прогресс, а у него этой веры нет.

И, объясняя свое отрицание прогресса, он говорит следующее:

«Во всём человечестве, с незапамятных времён, происходит процесс прогресса, говорит историк, верующий в прогресс, и доказывает это положение, сравнивая, положим, Англию 1685 года с Англией нашего времени. Но если бы даже и можно было доказать, сравнивая Россию, Францию и Италию нашего времени с древним Римом, Грецией, Карфагеном и т. д., что благосостояние новых народов более благосостояния древних, меня при этом всегда поражает одно непонятное явление — выводят общий закон для всего человечества из сравнения одной малой части человечества Европы в прошедшем и настоящем. Прогресс есть общий закон для человечества, говорят они, только кроме Азии, Африки, Америки, Австралии, кроме миллиарда людей. Нами замечен закон прогресса в герцогстве Гогенцоллерн—Зигмарингенском, имеющем 3000 жителей. Нам известен Китай, имеющий 200 миллионов жителей, опровергающий всю нашу теорию прогресса, и мы ни на минуту не сомневаемся, что прогресс есть общий закон всего человечества и что мы, верующие в прогресс, правы, а неверующие в него виноваты, и мы с пушками и ружьями идем внушать китайцам идею прогресса. Здравый смысл говорит

мне, что ежели большая часть человечества, весь так называемый Восток, не подтверждает закона прогресса, а, напротив, опровергает его, то закона этого не существует для всего человечества, а существует только верование в него известной части человечества. Я, как и все люди, свободные от суеверия прогресса, вижу только, что человечество живет, что воспоминания прошедшего так же увеличиваются, как и исчезают; что труды прошедшего часто служат основой для новых трудов настоящего, часто служат и преградой для них; что благосостояние людей то увеличивается в одном месте, в одном слое и в одном смысле, то уменьшается; что, как бы мне ни желательно было, я не могу найти никакого общего закона в жизни человечества, а что подвести историю под идею регресса так же легко, как подвести ее под идею прогресса или под какую хотите историческую фантазию. Скажу более: я не вижу никакой необходимости отыскивать общие законы в истории, не говоря уже о невозможности этого. Общий вечный закон написан в душе каждого человека. Закон прогресса, или совершенствования, написан в душе каждого человека, и только вследствие заблуждения переносится в историю. Оставаясь личным, этот закон плодотворен и доступен каждому; перенесенный в историю, он делается пустою, праздною болтовнею, ведущей к оправданию каждой бессмыслицы и фатализма. Прогресс вообще в человечестве есть факт недоказанный и несуществующий для всех восточных народов, и потому сказать, что прогресс есть закон человечества, столь же неосновательно, как сказать, что все люди бывают белокурые, за исключением черноволосых».

Положения, высказанные в этой цитате, подробно развиваются Львом Николаевичем в его статье, но это уже выходит несколько из рамок нашего обзора.

Мы закончим наше изложение, упомянув ещё об одной статье, под названием «Проект общего плана устройства народных училищ». Статья эта представляет остроумную критику и беглый обзор вышедшего в 1862 году нового правительственного положения об училищах.

Общие критические замечания Льва Николаевича на это положение можно резюмировать в следующих пунктах: 1) В основу этого положения легла американская система: обложение народа школьной податью и содержание правительством всех школ на эту собранную подать. Но то, что хорошо в демократической республике, то может быть очень плохо в деспотическом государстве, где закон, выражающий "волю народа", обращается в грубое насилие над ним. 2) Общая несостоятельность проекта — это непригодность его к народным потребностям, основанная на полном незнании русской народной жизни его составителями, и, наконец, 3) Регламентация народного образования, утверждаемая этим положением, послужит тормозом уже существующего и распространяющегося свободного народного образования.

Заканчивая этим беглый обзор педагогических взглядов Льва Николаевича, мы выскажем наше заключение, совершенно противоположное заключению г-на Маркова, а именно, что практика яснополянской школы несколько не является противоречием этим взглядам, а, напротив, их непосредственным приложением, проведённым с неподражаемым и блестящим успехом. Мы воспользуемся описаниями, сделанными самим Львом Николаевичем, как автобиографическим материалом.

ГЛАВА 15.

Устройство и практика яснополянской школы

Лев Николаевич несколько раз принимался за педагогическую деятельность.

Ещё в 1849 году, когда он возвратился в Ясную Поляну из Петербурга, он завел народную школу, вместе с другими учреждениями и реформами, посредством которых он пытался сблизиться с народом. Мы знаем из его "Утра помещика", как неудачно кончилась эта первая попытка. С его отъездом на Кавказ школа, конечно, закрылась. Он возобновил ее, возвратясь в Ясную Поляну по выходе в отставку и после первой заграничной поездки. Мы упоминали об этом в своем месте.

Возобновив свои педагогические занятия, Лев Николаевич почувствовал недостаток теоретических знаний и поспешил пополнить этот пробел своего образования чтением, заграничной поездкой, личными сношениями с выдающимися педагогами и практическими занятиями в разных школах. Почувствовав себя в силах, он с новым рвением в третий раз принялся за школьное дело и довел его до небывалой высоты.

Вот как он сам рассказывает в одной из педагогических статей об этих своих попытках и подготовке к школьному делу:

"15 лет тому назад (1), когда я взялся за дело народного образования без всяких предвзятых теорий и взглядов на дело, с одним только желанием прямо, непосредственно содействовать этому делу, будучи учителем в своей школе, я тотчас же столкнулся с двумя вопросами: 1) чему нужно учить? и 2) как нужно учить?"

(1) Статья, из которой мы цитируем, написана в 1874 году, и потому время, о котором он говорит, относится к 1859 г. (*Примеч. П. Б.*)

...Во всей массе людей, заинтересованных образованием, существует, как и прежде существовало, величайшее разноречие. В то время, как и теперь, одни, отвечая на вопрос: чему надо учить? — говорили, что, кроме грамоты, самые полезные для первоначальной школы знания суть знания естественные; другие, как и теперь, говорили, что это не нужно и даже вредно; так же, как и теперь, одни предлагали историю, географию, другие отрицали их необходимость, одни предлагали славянский язык и грамматику, закон Божий, другие находили и это излишним и приписывали главную важность развитию. По вопросу: как учить? — было и есть еще большее разногласие. Предлагались и предлагаются самые противоположные один другому приемы обучения грамоте и арифметике.

Встретившись с этими вопросами и не найдя на них никакого ответа в русской литературе, я обратился к европейской. Прочтя то, что было писано об этом предмете, познакомившись лично с так называемыми лучшими представителями педагогической науки в Европе, я нигде не только не нашел какого-нибудь ответа на занимавший меня вопрос, но убедился, что вопроса этого для педагогики как науки даже не существует, что каждый педагог известной школы твердо верит, что те приемы, которые он употребляет, суть наилучшие, потому что они основаны на абсолютной истине, и что относиться к ним

критически было бы бесполезно. Между прочим, потому ли, что, как я сказал, я взялся за дело народного образования без всяких предвзятых теорий, или потому что я взялся за это дело, не издалека предписывая законы, как надо учить, а сам стал школьным учителем в глухой деревенской народной школе, — я не мог отказаться от мысли, что необходимо должен существовать критериум, по которому решается вопрос, чему и как лучше учить: учить ли наизусть псалтырь или классификацию организмов, учить ли по звуковой, переведенной с немецкого азбуке, или по часовнику? В решении этих вопросов мне помогли: некоторый педагогический такт, которым я одарен, и в особенности то близкое и страстное отношение, в которое я стал к делу. Вступив сразу в самые близкие непосредственные отношения с теми 40 маленькими мужичками, которые составляли мою школу (я их называю маленькими мужичками, потому что я нашел в них те самые черты сметливости, огромного запаса сведений из практической жизни, шутливости, простоты, отвращения от всего фальшивого, которыми вообще отличается русский мужик), увидав эту восприимчивость, открытость к приобретению тех знаний, в которых они нуждались, я тотчас же почувствовал, что старинный, церковный способ обучения уже отжил свой век и не годится для них. И я стал испытывать другие предлагаемые методы обучения; но так как принуждение при обучении и по убеждению моему, и по характеру мне противно, я не принуждал и, как скоро замечал, что что-нибудь неохотно принимается, я не насиловал и отыскивал

другое. Из этих опытов оказалось для меня и тех учителей, которые вместе со мною в Ясной Поляне и других школах, на тех же основаниях свободы, занимались преподаванием, что почти все то, что пишется в педагогическом мире для школ, отделяется неизмеримою пучиною от действительности, и что из предлагаемых методов многие приемы, как, например, наглядное обучение, естественные науки, звуковые приемы и другие, вызывают отвращение и насмешку и не принимаются учениками. Мы стали отыскивать то содержание и те приемы, которые охотно воспринимались учениками, и напали на то, что составляет мой метод обучения. Но этот метод становился наряду со всеми другими методами, и вопрос о том, почему он лучше других, оставался точно так же не решенным.

...В то время я не нашел в педагогической литературе не только сочувствия, не нашел даже и противоречий, но совершеннейшее равнодушие к поставленному мною вопросу. Были нападки на некоторые подробности, мелочи, но самый вопрос, очевидно, никого не интересовал. Я тогда был молод, — и это равнодушие огорчало меня. Я не понимал, что я со своим вопросом: почем вы знаете, чему и как учить? — был подобен тому человеку, который бы, положим, хоть бы в собрании турецких пашей, обсуждающих вопрос о том, как бы побольше с народа собрать податей, предложил бы им следующее: гг., чтобы знать, с кого сколько податей, надо разобрать вопрос, на чем основано наше право взимания? Очевидно, все паши продолжали бы свое обсуждение о мерах взыскания и только молчанием отозвались бы на неуместный вопрос".

В 1860 г. Л. Н-ч задумывал основать общество народного образования. Мысли свои по поводу этого он изложил в своем письме к Егору Петровичу Ковалевскому, брату тогдашнего министра народного просвещения, своему севастопольскому сослуживцу и, очевидно, близкому ему по душе человеку. Приводим здесь целиком это интересное письмо:

"Вы, может быть, помните, любезный Егор Петрович, что я уж 3-й год живу в деревне и занимаюсь хозяйством. Нынешний год (с осени), кроме

хозяйства, я занимаюсь ещё школой для мальчиков, девочек и больших, которую я завёл для всех желающих. У меня набралось около 50 учеников, и всё прибавляются. Успехи учеников и успех школы в мнении народа неожиданны. Но всего не расскажешь, как и почему; надо или книгу написать, или самому посмотреть. Дело вот в чем. Мудрость во всех житейских делах, мне кажется, состоит не в том, чтобы узнать, что нужно делать, а в том, чтобы знать, что делать прежде, а что после. В деле прогресса России, мне кажется, что как ни полезны телеграфы, дороги, пароходы, штуцера, литература (со всем своим фондом), театры, академии художеств и т. д., а все это преждевременно и напрасно до тех пор, пока из календаря будет видно, что в России, включая всех будто бы учащихся, учится 1/100 доля всего народонаселения. Все это полезно (академии и т. д.), но полезно так, как полезен обед Английского клуба, который весь съест эконо́м и повар. Все эти вещи производятся всеми

70000000 русских, а потребляются тысячами. Как ни смешны славянофилы со своей народностью и оторванностью et tout le tremblement, они только не умеют называть вещи по имени, а они, нечаянно, правы. Не только нам, русским, но каждому иностранцу, проехавшему 20 верст по русской земле, должна в глаза кинуться численная непропорциональность образованных и необразованных, или, вернее, диких и грамотных. А нечего и говорить, ежели сравнить отчеты разных европейских государств. Впрочем, ежели бы в Англии приходился 1 дикий на сто, и тогда, наверно, общественное зло происходило бы только от этого процента диких. Общественное зло, которое у нас в привычку вошло сознать и называть разными именами, большею частью — насилием, деспотизмом, что это такое, как не насилие преобладающего невежества? Насилие не может быть сделано одним человеком над многими, а только преобладающим большинством, единомышленным в невежестве. Только кажется, что Наполеон III заключил Виллафранкский мир и запрещает журналы и хочет захватить Савойю, а все это делают Феликсы и Викторы, которые не умеют читать газеты. Однако мои педагогические привычки увлекли меня, и мне самому смешно, что я вам пресерьезно доказываю, что $2 \times 2 = 4$, т. е. что насущнейшая потребность русского народа есть народное образование. Образования этого *нет*. Оно еще не начиналось и никогда не начнется, ежели правительство будет заведовать им. Что его нет, этого доказывать нельзя, а ежели бы вы были здесь, то мы бы сейчас обошли всю деревню и посмотрели бы и послушали. Чтобы доказать, что оно не начиналось, мы бы тоже сейчас прошли в школу, и я бы вам показал грамотных,

учившихся прежде у попов и дьяконов. Это одни ученики, которые совершенно безнадежны. Над спорами: полезна ли грамотность или нет, не следует смеяться. Это очень серьезный и грустный спор, и я прямо беру сторону отрицательную. *Грамота*, процесс чтения и писания, вредна. Первое, что они читают, — славянский символ веры, псалтырь, заповеди (славянские), второе — гадательную книгу и т. п. Не проверив на деле, трудно себе представить ужасные опустошения, которые это производит в умственных способностях, и разрушения в нравственном складе учеников. Надо побывать в сельских школах и в семинариях (я исследовал это дело), в семинариях, которые доставляют педагогов в училища от правительства, чтобы понять, отчего ученики этих школ выходят глупее и безнравственнее неучеников. Чтобы народное образование пошло, нужно, чтобы оно было передано в руки общества. Не стану приводить пример Англии, самой образованной страны, — самая сущность дела говорит за себя. Ежели бы правительство бросило все дела, закрыло бы все

департаменты и комиссии (и прекрасно бы сделало) и занялось бы одним народным воспитанием, и тогда едва ли бы оно успело, — потому что механизм, усвоенный правительством, помешал бы ему, и, главное, потому что интересы его кажутся отдаленными (в сущности, это один его интерес) от народного образования. Общество же должно успеть, потому что интересы его непосредственно связаны со степенью образования народа, потому что

лишенные всех насильственных средств действия общества будут сообразоваться только с потребностью народа, которая выразится в филантропическом или денежном успехе предприятия, в степени удовлетворения народной потребности будут постоянно иметь поверку своих действий. Но я опять, кажется, доказываю дважды два. Вопрос может быть только в том, существует ли потребность образовывать и образовываться. Для меня этот вопрос решенный. Полгода моей школы породили три таких же в околоте, и везде успех был одинаковый. Дело вот в чем: что скажет правительство, ежели ему представить следующий проект:

"Общество народного образования (или более скромные название) имеет целью распространение образования в народе.

Средства Общества будут состоять из вноса членов по 100 или более рублей, из платы учеников (где это возможно), из выручки за издания Общества и из пожертвований.

Действия Общества будут состоять:

1) В издании журнала, состоящего из отдела собственно педагогического (о законах и способах первоначального преподавания), отдела первоначальных руководств для учителей и чтений для учеников и отдела сведений о действиях Общества.

2) В учреждении школ в тех местах, где их нет и где чувствуется в них потребность.

3) В составлении курса преподавания, в назначении учителей, в надзоре за преподаванием, за хозяйственным учетом, вообще за управлением таких школ.

4) В надзоре за преподаванием в тех школах, где учредители того пожелают.

До сих пор Общество это составляю я один. Но говорю вам без фразы, что, возможно будет или нет такое Общество, я положу все, что могу, и все свои силы на исполнение этой программы. Нечего говорить, что наверно мои мысли односторонни, и что общество, занявшись им, многое изменит и прибавит, но ежели бы это могло только собрать силы многих к одной цели. Вы-то помогите мне, любезный друг Егор Петрович. Я на дурном счету у правительства. От меня это никак не должно идти, а поговорите или составьте из этого лучше записку и покажите Евграфу Петровичу. (Я вам прямо задаю дело, потому что знаю вперед, что не можете всей душой не сочувствовать этому). Ежели бы я узнал наверно, что правительство разрешит это Общество, то я бы поработал серьезнее над составлением самого проекта и подал бы его от другого лица. Есть в Туле директор гимназии Гаярин (ваш брат его знает), замечательный человек, которому я нонче сказал о моем намерении. Я надеюсь, что он не отказался бы подать от себя. Во всяком случае, у вас дело в хороших руках. Подайте ли прямо, переписав и переделав эту записку (об Обществе), иди позондируйте, где следует, и напишите мне, рассказав, как надо поступать; одно только, на обыкновенную удочку правительства, заставить подробно изложить проект, курс преподавания и т. д. и потом сказать — нельзя, я на эту удочку не поддамся. Мне мое время дорого (и с гордостью

могу сказать, дорого и для 100 мальчиков). Кроме школы у себя, у брата, я готовлю большую статью о педагогии,

которая не будет годиться в проект для правительства. Позволят или нет, а я хоть один, а все буду составлять тайное общество народного образования. Нет, без шуток, ежели бы Общество оказалось невозможным, то я все-таки намерен издавать журнал, о котором пишу в проекте Общества. Позондируйте почву и об этом напишите, пожалуйста: разрешат ли журнал с моим именем как редактора. И как, в какой форме, кому нужно подать об этом, и что такое. Как мне ни нужно быть здесь, я бы приехал в Петербург, ежели для успеха дела мое присутствие могло бы быть необходимым. И как подумаешь, что почти наверно вы мне ответите: "видно, что вы, Лев Николаевич, сидите в деревне, что с такими проектами суетесь". Как подумаешь, отчаяние находит. И чего может бояться правительство? Разве можно в свободной школе учить тому, чего не следует знать? У меня бы ни одного человека не было в школе, ежели бы я заикнулся о том, что мощи не есть такая же святыня, как сам Бог. Но это не мешает им знать, что земля — шар и что $2 \times 2 = 4$. Ну, что будет, то будет; только поскорее, как можно поскорее известите меня. Будьте здоровы, не грустите и дай бог вам всего лучшего. От души жму вашу руку.

Ваш Л. Толстой.

Адрес мой: в Тулу.

12 марта 1860 г. Ясная Поляна" (1).

(1) Рукописное отделение Гос. публ. библиотеки.

К сожалению, нам не удалось найти ответ Ковалевского на это письмо. По всей вероятности, он был таким, каким и предполагал его Л. Н-ч, т. е. отрицательным, так как Общества этого Л. Н-ч не основал. Кроме того, вторая заграничная поездка, вызванная болезнью брата, прервала его школьные занятия.

Мы видим из заграничных писем Льва Николаевича, как он заботится о состоянии своей школы в его отсутствие. За все это время занятия в школе не прекращались. С большой правильностью они начались по его возвращении в Ясную Поляну весной 1861 года, а в 1862 году, как говорит Лев Николаевич в той же статье: "в участке в 10000 душ, когда я был посредником, было уже открыто 14 школ; кроме того, существовало школ 10 в том же участке у причетников и в дворах между дворниками. В других трех участках уезда, сколько мне известно, существовало школ 15 больших и 30 мелких у причетников и дворников".

"...Школы все тогда, за самым малым исключением, были основаны на свободном договоре учителя или с родителями учеников, платившими помесечно за учение, или на уговоре учителя со всем обществом крестьян, платившим огульно за всех... Всякий согласится, что, оставив в стороне вопрос о качестве учения, такое отношение учителя к родителям и крестьянам есть самое справедливое, натуральное и желательное".

Здесь кстати сообщить дошедшие до нас имена учителей десяти подведомственных Льву Николаевичу школ, в которых более или менее проводились взгляды Льва Николаевича на народное образование: в Головеньковском уч-ще учителем был воспитанник казанской гимназии Александр Сердобольский, в

Трасненском — воспитанник пензенской гимназии Иван Аксентьев, в

Ломинцевском — воспитанник калужской гимназии Алексей Шумилин, в Богучаровском — воспитанник тульской духовной семинарии Петр Морозов, в Кобелевском — воспитанник тульской духовной семинарии Борис Головин, в Бабуринском — воспитанник кишиневской гимназии Альфонс Эрленвейн, в Ясенском — воспитанник кишиневской гимназии Митрофан Бутович, в Колпенском — окончивший курс в саратовской гимназии Анатолий Томашевский, в Городненском — окончивший курс в пензенской гимназии Владимир Токашевич, в Плехановском — окончивший курс в пензенском дворянском институте Николай Петерсон; Богучаровское же сельское общество в свое училище, вместо прежнего учителя Морозова, приняло бывшего студента Казанского университета Сергея Гудима.

Быть может, кому-нибудь из этих людей попадет в руки составленная нами биография, и чтение ее вызовет в них желание записать свои воспоминания об их сотрудничестве с великим педагогом.

Об устройстве своей яснополянской школы Лев Николаевич сам подробно рассказывает в одной из педагогических статей:

"Школа помещается в двухэтажном каменном доме. Две комнаты заняты школой, одна — кабинетом, две — учителями. На крыльце, под навесом, висит колокольчик с привешенною за язычок веревочкою, в сенях внизу стоят

бары и рек (гимнастика), наверху — в сенях — верстак. Лестница и сени истоптаны снегом или грязью; тут же висит расписание. Порядок учения следующий: часов в восемь учитель, живущий в школе, любитель внешнего порядка и администратор школы, посылает одного из мальчиков, которые почти всегда ночуют у него, звонить.

На деревне встают с огнем. Уже давно виднеются из школы огни в окнах, и через полчаса после звонка, в тумане, в дожде или в косых лучах осеннего солнца, появляются на буграх (деревня отделена от школы оврагом) темные фигурки по две, по три и поодиночке. Табунное чувство уже давно исчезло в учениках. Уже нет необходимости ему дожидаться и кричать: "эй, ребята, в училищу!" Он уже знает, что училище среднего рода, многое кое-чего другого знает и, странно, вследствие этого не нуждается в толпе. С собой никто ничего не несет — ни книг, ни тетрадок. Уроков на дом не задают.

Мало того, что в руках ничего не несут, им нечего и в голове нести. Никакого урока, ничего, сделанного вчера, он не обязан помнить нынче. Его не мучает мысль о предстоящем уроке. Он несет только себя, свою восприимчивую натуру и уверенность в том, что в школе нынче будет весело так же, как вчера. Он не думает о классе до тех пор, пока класс не начался. Никогда никому не делают выговоров за опоздание, и никогда не опаздывают, нешто старшие, которых отцы другой раз задержат дома какой-нибудь работой. И тогда этот большой, рысью, запыхавшись, прибегает в школу. Пока учитель еще не пришел, они собираются кто около крыльца, толкаясь со ступенек или катаясь на ногах по ледочку раскатанной дорожки, кто в школьных комнатах. Когда холодно, ожидая учителя, читают, пишут или

возятся. Девочки не мешаются с ребятами. Когда ребята затевают что-нибудь с девочками, то никогда не обращаются к одной из них, а всегда ко всем вместе: "эй, девки, что не катаетесь?" или: "девки-то, вишь, замерзли", или: "ну, девки, выходи все на меня одного". Только одна из девочек, дворовая, с огромными и всесторонними способностями, лет десяти, начинает выходить из табуна девок. И с

этою только ученики обращаются, как с равною, как с мальчиком, только с тонким оттенком учтивости, снисходительности и сдержанности" (1).

(1) "Яснополянская школа за ноябрь и декабрь 1861 г.". Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого, т. IV, с. 239.

В своих педагогических статьях практического характера Лев Николаевич дает художественное изображение нескольких моментов школьной жизни, в которой он принимал такое искреннее и горячее участие не как строгий учитель-педант, требующий себе повиновения, а как большое дитя, жившее одними радостями и горестями со своими товарищами-школьниками, отдавая им всю свою душу и делаясь с ними всем своим несметным духовным богатством.

Если сопоставить эти несколько изображенных им моментов, то гигантская фигура гениального педагога предстанет пред нами во всем своем величии.

1. ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГУЛКА

На дворе было не холодно — зимняя безмесячная ночь с тучами на небе. На перекрестке мы остановились; старшие, трехлетние школьники остановились около меня, приглашая проводить их еще; маленькие поглядели и закатились под гору. Младшие начали учиться при новом учителе, и между мной и ими уже нет того доверия, как между мной и старшими. "Ну, так пойдем в Заказ" (небольшой лес, шагах в 200 от жилья), — сказал один из них. Больше всех просил Федька, мальчик лет 10, нежная, восприимчивая, поэтическая и лихая натура. Опасность для него составляет, кажется, самое главное условие удовольствия. Теперь он знал, что в лесу есть волки, поэтому ему хотелось в Заказ. Все подхватили, и мы вчетвером пошли в лес. Другой — я назову его Семка — здоровенный и физически, и морально, малый лет 12, прозванный Вавило, шел впереди и все кричал и аукался с кем-то заливистым голосом. Пронька — болезненный, кроткий и чрезвычайно даровитый мальчик, сын бедной семьи, болезненный, кажется, больше всего от недостатка пищи — шел рядом со мной. Федька шел между мной и Семкой и все заговаривал особенно мягким голосом, то рассказывая, как он летом стерег здесь лошадей, то говоря, что ничего не страшно, а то спрашивая: "что, ежели какой-нибудь выскочит?" и непременно требуя, чтоб я что-нибудь сказал на это. Мы не вошли в средину леса: это было бы уж слишком страшно, но и около леса стало темнее: дорожка чуть виднелась, огни деревни скрылись из виду. Семка остановился и стал прислушиваться. — "Стой, ребята! Что такое?" — вдруг

сказал он. Мы замолкли, но ничего не было слышно; все-таки страху еще прибавилось, "Ну, что же мы станем делать, как он выскочит... да за нами?" — спросил Федька. Мы разговорились о кавказских разбойниках. Они вспомнили кавказскую историю, которую я им рассказывал давно, и я стал опять рассказывать об абреках, о казаках, о Хаджи—Мурате. Семка шел впереди, широко ступая своими большими сапогами и мерно раскачивая здоровой спиной. Пронька попытался было идти рядом со мной, но Федька сбил его с дорожки, и Пронька, должно быть, по своей бедности всегда всем покоряющийся, только в самых интересных местах забежал сбоку, хотя и по колено утопая в снегу.

Всякий замечал, кто немного знает крестьянских детей, что они не привыкли и терпеть не могут всяких ласк — нежных слов, поцелуев, троганий рукой и т. п. Потому-то меня особенно поразило, когда Федька, шедший рядом со мной, в самом страшном месте рассказа, вдруг дотронулся до меня

слегка рукавом, потом всею рукою ухватил меня за два пальца и уже не выпускал их. Только что я замолкал, Федька уже требовал, чтоб я говорил еще, и таким умоляющим, взволнованным голосом, что нельзя было не исполнить его желания. — "Ну, ты, суйся под ноги!" — сказал он раз сердито Проньке, забежавшему вперед; он был увлечен до жестокости, ему было так жутко и хорошо, держась за мой палец, и никто не должен был сметь нарушать его удовольствие. — "Ну, еще, еще! Вот хорошо—

то!". Мы прошли лес и стали с другого конца подходить к деревне. — "Пойдем еще, — заговорили все, когда уже стали видны огни, — еще пройдемся". Мы молча шли, кое-где проваливаясь по рыхлой, плохо наезженной дорожке; белая темнота как будто качалась перед глазами; тучи были низкие, как будто на нас что-то наваливало их; конца не было этому *белому*, в котором только мы одни хрустели по снегу; ветер шумел по голым макушкам осин, а нам было тихо за лесом. Я кончил рассказ тем, как окруженный абрек запел песню и потом сам бросился на кинжал. Все молчали. — "Зачем же он песню запел, когда его окружили?" — спросил Семка. — "Ведь тебе сказывали, умирать собрался!" — отвечал огорченно Федька. — "Я думаю, что молитву он запел!" — прибавил Пронька. Все согласились. Мы остановились в роще за гумнами, под самым краем деревни. Семка поднял хворостинку из снега и бил ею по морозному стволу липы. Иней сыпался с сучьев на шапку, и звук одиноко раздавался по лесу. — "Лев Николаевич, — сказал Федька, — для чего учиться пению? Я часто думаю, право, зачем петь?.."

...Мне странно повторить, что мы говорили тогда, но я помню, мы переговаривали, как мне кажется, все, что сказать можно о пользе, о красоте пластической и нравственной".

Пишущему эти строки выпало на долю редкое счастье. Подобно Федьке, державшемуся за пальцы Льва Николаевича и замиравшему от восторга, приходилось и мне не раз гулять со Львом Николаевичем по этому самому "Заказу". Слушая его рассказы, я испытывал чувство, которое нельзя выразить лучше, чем его выразил Федька словами: "Ну, еще, еще, вот хорошо-то!".

2. УРОК СОЧИНИТЕЛЬСТВА

Один раз, прошлою зимою, я зачитался после обеда книгой Снегирёва (сборник пословиц) и с книгой же пришёл в школу. Был класс русского языка.

— Ну-ка, напишите кто на пословицу, — сказал я.

Лучшие ученики — Федька, Семка и другие — навестили уши.

— Как на пословицу: что такое, скажете нам? — посыпались вопросы.

Открылась пословица: ложкой кормит, стеблем глаз колет.

— Вот вообрази себе, — сказал я, — что мужик взял к себе какого-нибудь нищего, а потом, за свое добро, его попрекать стал, и выйдет к тому, что "ложкой кормит, стеблем глаза колет".

— Да как ее напишешь? — сказал Федька и все другие, наострившие было уши, но вдруг отшатнулись, убедившись, что это дело не по их силам, и принялись за свои, прежде начатые работы.

— Ты сам напиши, — сказал мне кто-то.

Все были заняты делом; я взял перо и чернильницу и стал писать.

— Ну, — сказал я, — кто лучше напишет? и я с вами...

Я начал повесть, напечатанную в 4-й книжке "Ясной Поляны", и написал первую страницу. Всякий, не предупрежденный человек, имеющий чувство художественности и народности, прочтя эту первую, писанную мною, и сле-

дующие страницы повести, писанные самими учениками, отличит эту страницу от других, как муху в молоке, — так она фальшива, искусственна и написана таким плохим языком. Надо заметить, что в первоначальном виде она была ещё более уродливая и много исправлена благодаря указанию учеников.

Федька из-за своей тетрадки всё поглядывал на меня и, встретившись с моими глазами, улыбаясь, подмигивал и говорил: "пиши; пиши, я те задам". Его, видимо, занимало, как большой тоже сочиняет. Кончив свое писание хуже и скорее обыкновенного, он взлез на спинку моего кресла и стал читать из-за плеча. Я не мог уже продолжать. Другие подошли к нам, и я прочел им вслух написанное: им не понравилось, никто не похвалил. Мне было совестно и, чтобы успокоить свое литературное самолюбие, я стал рассказывать им свой план последующего. По мере того, как я рассказывал, я увлекался, поправлялся, и они стали подсказывать мне: кто говорил, что старик этот будет колдун; кто говорил: нет, не надо, он будет просто солдат; нет, лучше пускай он их обокрадет; нет, это будет не к пословице и т. п., говорили они.

Все были чрезвычайно заинтересованы. Для них, видимо, было ново и увлекательно присутствовать при процессе сочинительства и участвовать в нем. Суждения их были большей частью одинаковы и верны, как в самой постройке повести, так и в самых подробностях и характеристиках лиц. Все принимали участие в сочинительстве; но с самого начала в особенности резко выделились положительный Семка — резкою художественностью описания, и Федька — верностью поэтических представлений и в особенности пылкостью и поспешностью воображения. Требования их были до такой

степени неслучайны и определены, что не раз я начинал с ними спорить и должен был уступать. У меня крепко сидели в голове требования правильности постройки и верности отношения мысли пословицы к повести; у них, напротив, были только требования художественной правды. Я хотел, например, чтобы мужик, взявший в дом старика, сам бы раскаялся в своем добром деле, — они считали это невозможным и создали сварливую бабу. Я говорил: мужику стало сначала жалко старика, а потом хлеба жалко стало. Федька отвечал, что это будет нескладно: "он с первого начала бабы не послушался, и после уж не покорится".

— Да какой он, по-твоему, человек? — спросил я.

— Он как дядя Тимофей, — сказал Федька, улыбаясь, — так, бородка реденькая, в церковь ходит и пчелы у него есть.

— Добрый, но упрямый, — сказал я.

— Да, — сказал Федька, — уж он не станет бабы слушать.

С того места, как старика внесли в избу, началась одушевленная работа. Тут, очевидно, они в первый раз почувствовали прелесть запечатления слогом художественной подробности. В этом отношении особенно отличался Семка: подробности самые верные сыпались одна за другою. Единственный упрек, который можно было ему сделать, был тот, что подробности эти обрисовывали только минуту настоящего без связи к общему чувству повести. Я не успевал записывать и только просил их подождать и не забывать сказанного. Семка, казалось, видел и описывал находящееся перед его глазами: заоченелые, замерзлые лапти и грязь, которая стекла с них, когда они растаяли, и сухари, в которые они

превратились, когда баба бросила их в печку; Федька, напротив, видел только те подробности, которые вызывали в нем то чувство, с которым он смотрел на известное лицо. Федька видел снег, засыпавшийся старику за онучи, чувство сожаления, с которым мужик сказал: "Господи, как он шел!" (Федька даже в лицах представил, как это сказал мужик, размахнув-

ши руками и покачавши головой.) Он видел из лоскутьев собранную шинелишку и прорванную рубашку, из-под которой виднелось худое, омоченное растаявшим снегом тело старика; он придумал бабу, которая ворчливо, по приказанию мужа, сняла с него лапти, и жалобный стон старика, сквозь зубы говорящего: "тише, матушка, у меня тут раны". Семке нужны были преимущественно объективные образы: лапти, шинелишка, старик, баба, почти без связи между собой. Федьке нужно было вызвать чувство жалости, которым он сам был проникнут.

Он забежал вперед, говорил о том, как будут кормить старика, как он упадет ночью, как будет потом в поле учить грамоте мальчика, так что я должен был просить его не торопиться и не забывать того, что он сказал. Глаза у него блестели почти слезами; черные, худенькие ручки судорожно корчились; он сердился на меня и беспрестанно понукал: — написал, написал? — все спрашивал он меня. Он деспотически сердито обращался со всеми другими, ему хотелось говорить только одному, и не говорить, как рассказывают, а говорить, как пишут, т. е. художественно запечатлевать словом образы чувства; он не позволял,

например, перестанавливать слова, — скажет: *у меня на ногах раны*, то уж не позволит сказать: *у меня раны на ногах*. Размягчённая и раздражённая его в это время душа чувством жалости, т. е. любви, облакала всякий образ в художественную форму и отрицала все, что не соответствовало идее вечной красоты и гармонии. Как только Сёмка увлекался высказыванием непропорциональных подробностей о ягнятах в конике и т. п., Федька сердился и говорил: "Ну тебя, уж наладил". Стоило мне только намекнуть о том, например, что делал мужик, когда жена убежала к куму, и в воображении Федьки тотчас же возникала картина с ягнятами, бякующими в конике, со вздохами старика и бредом мальчика Сережки; стоило мне только намекнуть на картину искусственную и ложную, как он тотчас же сердито говорил, что этого не надо. Я предложил, например, описать наружность мужика, — он согласился; но на предложение описать то, что думал мужик, когда жена бегала к куму, ему тотчас же представился оборот мысли: "эх, напала бы ты на Савоську-покойника, тот бы те космы-то повыдергал". И он сказал это таким усталым и спокойно привычно-серьезным и вместе добродушным тоном, облокотив голову на руку, что ребята покатались со смеху. Главное свойство во всяком искусстве — чувство меры — было развито в нем необычайно. Его коробило от всякой лишней черты, подсказываемой кем-нибудь из мальчиков. Он так деспотически и с правом на этот деспотизм распоряжался постройкою повести, что скоро мальчики ушли домой, а остался только он с Семкою, который не уступал ему, хотя и работал в другом роде. Мы работали с 7 до 11 часов; они не чувствовали ни голода, ни усталости, и еще рассердились на меня, когда я перестал

писать; взялись сами писать по переменкам, но скоро бросили; дело не пошло. Тут только Федька спросил у меня, как меня звать. Мы засмеялись, что он не знает.

— Я знаю, — сказал он, — как вас звать, да двор-то ваш как зовут? Вот у нас Фоканычевы, Зябревы, Ермилины.

Я сказал ему.

— А печатывать будем? — спросил он.

— Да.

— Так и напечатывать надо: сочинения Макарова, Морозова и Толстого.

Он долго был в волнении и не мог заснуть, и я не могу передать того чувства волнения, радости, страха и почти раскаяния, которые я испытывал в

продолжение этого вечера. Я чувствовал, что с этого дня для него раскрылся целый мир наслаждений и страданий — мир искусства; мне казалось, что я подсмотрел то, что никто никогда не имеет право видеть, — зарождение таинственного цветка поэзии. Мне и страшно, и радостно было, как искателю клада, который увидал бы цвет папоротника, — радостно мне было, потому что вдруг, совершенно неожиданно, открылся тот философский камень, которого я тщетно искал два года, — искусство учить выражению мыслей; страшно, потому что это искусство вызывало новые требования, целый мир желаний, несоответственный среде, в которой жили ученики, как мне казалось в первую минуту. Ошибиться

нельзя было. Это была не случайность, но сознательное творчество.

...Я оставил урок, потому что был сильно взволнован.

— Что с вами, отчего вы так бледны, вы, верно, нездоровы? — спросил меня мой товарищ.

Действительно, я два-три раза в жизни испытывал столь сильное впечатление, как в этот вечер, и долго не мог дать себе отчета в том, что я испытывал. Мне смутно казалось, что я преступно подсмотрел в стеклянный улей работу пчел, закрытую для взора смертного; мне казалось, что я развратил чистую, первобытную душу крестьянского ребенка. Я смутно чувствовал в себе раскаяние в каком-то святотатстве... и вместе с тем мне было радостно, как радостно должно быть человеку, увидавшему то, чего никто не видал прежде его" (1).

(1) "Кому у кого учиться писать?" Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого, т. IV, с. 2.

3. ПЕРВЫЙ УРОК ИСТОРИИ

Я имел намерение в первом уроке объяснить, чем Россия отличается от других земель, ее границы, характеристику государственного устройства, сказать, кто царствует теперь, как и когда император взошел на престол.

Учитель. Где мы живем, в какой земле?

Один ученик. В Ясной Поляне.

Другой ученик. В поле.

Учитель. Нет, в какой земле и Ясная Поляна, и Тульская губерния?

Ученик. Тульская губерния на 17 верст от нас; где же она губерния — губерния и есть.

Учитель. Нет. Это город губернский, а губерния другое. Ну, какая же земля?

Ученик (слушавший прежде географию). Земля круглая, как шар.

Посредством вопросов о том, в какой земле прежде жил знакомый их немец, и о том, что ежели ехать все в одну сторону, куда приедешь? — ученики были наведены на ответ, что они живут в России. Некоторые сказали, однако, на вопрос, что ежели ехать все вперед, в одну сторону, то куда приедешь? — никуда не приедешь. Другие сказали, что приедешь на конец света.

Учитель (повторяя ответ ученика). Ты сказал, что приедешь в другие земли; когда же кончится Россия и начнутся другие земли?

Ученик. Когда немцы пойдут.

Учитель. Что ж, ежели ты встретишь в Туле Густава Ивановича и Карла Федоровича, ты скажешь, что пошли немцы и, стало быть, другая земля?

Ученик. Нет, когда сплошные немцы пойдут.

Учитель. Нет, и в России есть такие земли, где сплошные немцы. Вот Иван Фомич оттуда, а земли эти все-таки Россия. Отчего же так? (Молчание.)

Учитель. Оттого, что они одного закона с русскими слушаются.

Ученик. Как же одного закона? Немцы в нашу церковь не ходят и скоромное едят.

Учитель. Не того закона, а одного царя слушаются.

Ученик (скептик Семка). Чудно!.. Отчего ж они другого закона, а нашего царя слушаются?

Учитель чувствует необходимость объяснить, что такое закон, и спрашивает, что такое значит: закона слушаться, быть под одним законом?

Ученица (самостоятельная дворовая девочка, торопливо и робко). Закон принять — значит, жениться.

Ученики вопросительно смотрят на учителя: так ли? Учитель начинает объяснять, что закон в том, что ежели кто украдет или убьет, так его сажают в острог и наказывают.

Скептик Семка. А разве у немцев этого нет?

Учитель. Закон в том еще состоит, что у нас есть дворяне, мужики, купцы, духовенство (слово "духовенство" порождает недоумение).

Скептик Семка. А там нету?

Учитель. В иных землях есть, а в иных нет. У нас русский царь, а в немецких землях другой — немецкий царь.

Ответ этот удовлетворяет всех учеников и даже отъявленного скептика Семку.

Учитель, видя необходимость перейти к объяснению сословий, спрашивает, какие они знают сословия. Ученики начинают пересчитывать: дворяне, мужики, попы, солдаты.

— Ещё? — спрашивает учитель.

— Дворовые, казюки (1), самоварщики.

(1) Казюками называются тульские мещане — оружейники, самоварщики и др.

Учитель спрашивает о различии этих сословий.

Ученики. Крестьяне пахут, дворовые господам служат, купцы торгуют, солдаты служат, самоварщики самовары делают, попы обедни служат, дворяне ничего не делают.

Затем таким же порядком и с такими же затруднениями следует объяснение понятий *сословие*, *границы* и других государственных терминов.

Урок продолжается часа два; учитель уверен, что дети удержали много из сказанного, и в таком же роде продолжает в следующие уроки, но только впоследствии убеждается, что приемы эти были неверны и что все, что он делал, был совершенный вздор.

4. ВТОРОЙ УРОК ИСТОРИИ

Этот класс остался памятным часом в нашей жизни. Я никогда не забуду его. Давно было обещано детям, что я буду им рассказывать с конца, а другой учитель с начала, что так мы и сойдемся. Мои вечерние ученики разбрелись; я пришел в класс русской истории, где рассказывалось о Святославе. Им было скучно. На высокой лавке, как всегда, рядом сидели три крестьянские девочки, обвязанные платками. Одна заснула. Мишка толкнул меня:

— Глянь-ка, кукушки наши сидят, одна заснула.

— И точно, кукушка.

— Расскажи лучше с конца, — сказал кто-то, и все привстали.

Я сел и стал рассказывать. Как всегда, минуты две продолжалась возня, стоны, толкотня. Кто лез под стол, кто на стол, кто под лавки, кто на плечи и на колени другому, и все затихло. Я начал с Александра I, рассказал о французской революции, об успехах Наполеона, о завладении им властью и о войне, окончившейся Тильзитским миром. Как только дело дошло до нас, со всех сторон слышались звуки и слова живого участия:

— Что ж, он и нас завоюет?

— Небось, Александр ему задаст, — сказал кто-то, знавший про Александра, но я должен был их разочаровать — не пришло еще время — и их очень обидело то, что хотели за него отдать царскую сестру и что с ним, как с равным, Александр говорил на мосту.

— погоди же ты! — проговорил Петька с угрожающим жестом.

— Ну, ну, рассказывай!

Когда не покорился ему Александр, т. е. объявил войну, все выразили одобрение. Когда Наполеон с двенадцатью языками пошел на нас, взбунтовал немцев, Польшу — все замерли от волнения.

Немец, мой товарищ, стоял в комнате.

— А, и вы на нас! — сказал ему Петька (лучший рассказчик).

— Ну, молчи! — закричали другие.

Отступление наших войск мучило слушателей так, что со всех сторон спрашивали объяснений: зачем? и вовсю ругали Кутузова и Барклая.

— Плох твой Кутузов.

— Ты погоди, — говорил другой.

— Да что ж он сдался? — спрашивал третий.

Когда пришла Бородинская битва и когда в конце ее я должен был сказать, что мы все-таки не победили, мне жалко было их; видно было, что я страшный удар наношу всем.

— Хоть и не наша, да и не ихняя взяла!

Как пришел Наполеон в Москву и ждал ключей и поклонов, все загрохотало от сознания непокоримости. Пожар Москвы, разумеется, одобрен. Наконец, наступило торжество — отступление.

— Как он вышел из Москвы, тут Кутузов погнал его и пошел бить, — сказал я.

— Окарячил его! — поправил меня Федька, который, весь красный, сидел против меня и от волнения корчил свои тоненькие черные пальцы. Это его привычка.

Как только он сказал это, так вся комната застонала от гордого восторга. Какого-то маленького придушили сзади, и никто этого не замечал.

— Так-то лучше! Вот-те и ключи! и т. п.

Потом я продолжал, как мы погнали француза. Больно было ученикам слышать, что кто-то опоздал на Березине и мы упустили его. Петька даже крикнул:

— Я бы его расстрелял, зачем он опоздал!

Потом немножко мы пожалели даже мерзлых французов. Потом, как перешли мы границу, и немцы, что против нас были, повернули за нас, кто-то вспомнил немца, стоявшего в комнате.

— А вы так-то: то на нас, а как сила не берет, так с нами? — и вдруг все поднялись и начали ухать на немца, так что гул на улице был слышен.

Когда они успокоились, я продолжал, как мы проводили Наполеона до Парижа, посадили настоящего короля, торжествовали, пировали, только воспоминание крымской войны испортило нам все дело.

— Погоди же ты! — проговорил Петька, потрясая кулаками. — Дай, я вырасту, я же им задам. Попался бы нам теперь Шевардинский редут или Малахов курган, мы бы его отбили.

Уж было поздно, когда я кончил. Обыкновенно дети спят в это время. Никто не спал, даже у кукушек глазенки горели. Только что я встал, из-под моего кресла, к величайшему удивлению, вылез Тараска и оживленно и вместе серьезно посмотрел на меня.

— Как ты сюда залез?

— Он с самого начала, — сказал кто-то.

Нечего было и спрашивать, понял ли он, — видно было по лицу.

— Что ты расскажешь? — спросил я.

— Я-то? — он подумал: — все расскажу.

— Я дома расскажу.

— И я тоже.

— И я.

— Больше не будет?

— Нет.

И все полетели под лестницу, кто обещаясь задать французу, кто укоряя немца, кто повторяя, как Кутузов его окарячил. "Sie haben ganz russisch erzählt (вы совершенно по-русски рассказывали), — сказал мне вечером немец, на которого ухали. — Вы бы послушали,

как у нас рассказывают эту историю, Вы ничего не сказали о немецких битвах за свободу. Sie haben nichts gesagt von den deutschen Freiheitskämpfen".

Я совершенно согласился с ним, что мой рассказ — не была история, а сказка, возбуждающая народное чувство.

Стало быть, как *преподавание истории*, и эта попытка была неудачна еще более, чем первые.

Прибавим теперь для полноты педагогической картины мнение Льва Николаевича о преподавании музыки. Он резюмирует свои выводы в 5 пунктах:

"Из того небольшого опыта, — говорит он, — который я имел в преподавании музыки народу, я убедился в следующем:

1) что способ писания звуков цифрами есть самый удобный способ;

2) что преподавание такта отдельно от звуков есть самый удобный способ;

3) что для того, чтобы преподавание музыки оставило следы и воспринималось охотно, необходимо учить с первого начала искусству, а не уменью петь или играть. Барышень можно учить играть экзерсисы Бургмюллера, но народных детей лучше не учить вовсе, чем учить механически;

4) что ничто так не вредно в преподавании музыки, как то, что похоже на знание музыки, — исполнение хоров на экзаменах, актах и в церквях;

5) что цель преподавания музыки народу должна состоять только в том, чтобы передать ему те знания об общих законах музыки, которые мы имеем, но отнюдь не в передаче ему того ложного вкуса, который развит в нас".

Рисованию также отводилось немало места, но этим занимался не сам Лев Николаевич, не чувствовавший в

себе достаточной подготовки к этому и умения, а его товарищ-учитель.

Весной 1862 года Лев Николаевич, утомленный усиленной деятельностью по посредничеству я по школам, почувствовал серьезное нездоровье и, опасаясь чахотки, решил отправиться лечиться на кумыс.

Он взял с собою слугу своего Алексея и двух школьников и отправился в Самарскую губернию в половине мая.

Из Москвы он писал тетушке Татьяне Александровне, извещая ее, что все едущие здоровы, и давал некоторые советы и поручения по управлению школой.

Они поехали по железной дороге до Твери и там сели на пароход, чтобы спуститься вниз по Волге до Самары.

Вероятно, на пароходе Льва Николаевича охватило то радостное настроение, которое знакомо каждому путешественнику по Волге. Великая река в весеннем разливе, плавный шум парохода, чудные весенние ночи с опрокинутым звездным небом в зеркальной реке и с береговыми и пароходными огнями, на пароходе пестрые толпы рабочих, странников, татар, монахов и других пассажиров, несмотря на все разнообразие типов, сословий, национальностей и исповеданий, — носящая особый, чисто великорусский отпечаток, быть может, мысли об историческом прошлом этой реки и орошаемых ею местностей — все это производит неопишемое, радостное, умилительное впечатление и наводит на многие мысли и грезы.

Вероятно, нечто подобное испытал и Лев Николаевич, потому что 20 мая записал в своем дневнике:

"На пароходе. Как будто опять возрождаюсь к жизни и к знанию ее. Мысль о нелепости прогресса преследует. С умным и глупым, со стариком и ребенком — беседую об одном".

По дороге Лев Николаевич остановился в Казани у своего родственника, Владимира Ивановича Юшкова. Затем уже из Самары он пишет тётке:

27 мая 1862.

"Я нынче еду из Самары за 130 верст в Каралык, Николаевского уезда. Адрес мой: в Самару, Юрию Федоровичу Самарину для передачи Л. Н. Т.

Путешествие я сделал прекрасное, место мне очень нравится, здоровье лучше, т. е. меньше кашляю. Алексей и ребята живы и здоровы, что можете сообщить их родным. Пожалуйста, напишите мне о Сереже или он сам. Всем дорогим товарищам поклон и прошу их писать мне, что и как у них делается и живется. Влад. Ив. Юшков молодцом еще. С места напишу подробнее. Целую ваши руки".

Затем он пишет уже с места своего лечения:

28 июня 1862.

"Вот уже месяц, как я без всяких сведений о вас и из дома; пожалуйста, напишите мне о всех, во-1), родных, во-2), студентах и т. д. Мы с Алексеем потолстели, в особенности он, но кашляем немного, тоже в особенности он. Живем мы в кибитке, погода прекрасная, я нашел

приятеля Столыпина атаманом в Уральске, ездил к нему и привез оттуда писаря, но диктую и пишу мало. Ленъ одолевает при кумысе. Через две недели я намерен отсюда выехать и потому к Ильину дню думаю быть дома. Меня мучает неизвестность в этой глуши и еще мысль о том, что я безобразно отстал в издании журнала. Целую ваши ручки. Пожалуйста, пишите подробно о Сереже, Маше, студентах, которым кланяюсь.

При сем письма ребят родителям".

Между тем во время его столь благодушного пребывания на кумысе, в башкирских степях, в яснополянской школе произошло неожиданное событие.

Весьма понятно, что сильная проповедь свободы словом и делом в школьных занятиях не могла не обратить внимания подлежащего начальства, и на Ясную Поляну было кому следует указано как на источник преступной пропаганды. И летом 1862 года туда нагрянули жандармы с обыском.

Подробный рассказ об этом мы находим в воспоминаниях Евг. Маркова, в его статье, напечатанной в "Вестнике Европы".

"Не могу не привести, — говорит Марков, — здесь кстати характерного эпизода, который очень мало кому известен, но который послужил причиною прекращения педагогической деятельности гр. Л. Н. Толстого. Как мировой посредник первого призыва, горячо сочувствовавший делу освобождения крестьян, гр. Л. Толстой действовал, разумеется, в таком духе, который

страшно ожесточил против него огромное большинство помещиков. Он получал множество писем с угрозами всякого рода: его собирались и побить, и застрелить на дуэли, на него писали доносы. Как нарочно, в то самое время, когда он стал издавать журнал "Ясная Поляна", в Петербурге появились прокламации разных тайных противогосударственных партий, и тогдашняя полиция деятельно разыскивала, где скрывается печатающая их типография. Кто-то из озлобленных на Толстого местных обывателей тонко сообразил, что где же и печататься тайным листкам и подметным воззваниям, как не в типографии журнала, издаваемого — *horribile dictu!* — не в городе, как у всех честных людей, а в деревне, позабыв, однако, взглянуть на обертку журнала, где достаточно четким шрифтом было изображено, что журнал печатается вовсе не в деревне, а в самой благонамеренной типографии М. Н. Каткова в Москве. Тем не менее донос произвел целую бурю.

В отсутствие Льва Николаевича в доме его проживала хозяйкой старушка тетка, да гостила с детьми родная сестра графа, Мария Николаевна, по мужу тоже графиня Толстая. Я и наш общий приятель, Г. А. Ауэрбах, проводили это лето со своими семьями в верстах пяти от Ясной Поляны, сняв внаймы дом одного помещика в той же Малиновой Засеке, среди которой была и Ясная Поляна. Вдруг рано утром к нам верховой из Ясной Поляны. Нас просят поскорее приехать по важному делу. Мы с Ауэрбахом садимся в шарабан и катим что есть духу. Въезжаем на двор, смотрим — там целое нашествие! Почтовые тройки с колокольчиками, обывательские подводы, исправник, становые, сотские, понятые и в довершение всего — жандармы. Жандармский полковник

во главе этой грозной экспедиции, со звоном, шумом и треском подкатившей вдруг к мирному дому Льва Николаевича, к бесконечному изумлению деревенского люда. Нас едва пропустили в дом. Бедные дамы лежат чуть не в обмороке. Везде кругом сторожа, все разрыто, раскрыто, перевернуто, ящики столов, шкапы, комоды, сундуки, шкатулки. В конюшне поднимают ломом полы; в прудках парка стараются выловить сетью преступный типографский станок, вместо которого попадают только одни невинные караси да раки. Понятно, что злополучную школу и подавно вывернули вверх дном, но, не найдя ничего, отправились таким же людным и шумным свадебным поездом, гремя колоколами и гремушками, по всем, кажется, 17-ти школам мирового участка, перевортывая столы и шкапы, забирая тетради и книги, арестовывая учителей и поселяя, конечно, в темной мужицкой толпе, без того не особенно дружелюбной к школе и учению, самые нелепые предположения" (1).

(1) Евг. Марков. «Живая душа в школе». Мысли и воспоминания старого педагога». Вестник Европы. Февраль 1900, с. 584.

Об этом эпизоде вспоминает также в своих записках кн. Д. Д. Оболенский, дополняя некоторыми интересными подробностями:

"Яснополянская школа шла великолепно. Но так как в ней учили все студенты, то свыше не особенно благоприятно смотрели на нее и полагали, что непременно

есть что-нибудь политически неблагонадежное в Ясной Поляне. Туда являлся даже жандармский офицер, но, конечно, ничего не нашел, так как ничего и не было. Только в одной из комнат яснополянского дома, обращенного в школу, внимание жандармского офицера остановилось на фотографическом аппарате. В 1862 году это было еще редкостью, особенно в провинции, в деревне.

— Что это такое? — строго спросил офицер. — Кого тут снимают?

Студенты, конечно, не были довольны незваному гостю, и один шутник быстро отвечал:

— Герцена в натуре.

— Как Герцена?.. — переспросил офицер.

Но смех объяснил ему шутку, и, кусая губы, офицер уехал" (1).

(1) Наброски и воспоминания кн. Д. Д. Оболенского. "Русский архив", книга 10, 1894.

Захарьин—Якунин в своих воспоминаниях о графине А. А. Толстой рассказывает ещё следующее:

"Передавая об этом оскорбительном событии графине А. А. Толстой, Лев Николаевич добавлял: "Я часто говорю себе: какое огромное счастье, что меня не было дома! Ежели бы я был, то теперь, наверно бы, уж судился как убийца". Эту резкую фразу Льва Николаевича, сказанную 42 года тому назад, легко объяснить себе, если припомнить все оскорбительные перипетии, которым подверглись самые близкие к нему в то время лица — его тетушка и родная сестра. Достаточно сказать, что частный пристав города Тулы Кобеяцкий позволил выйти из кабинета в

гостиную и позволил лечь спать сестре Льва Николаевича только тогда, когда перечитал вслух, в ее и двух жандармов присутствии, все те интимные письма, о которых упоминалось выше, а также дневник и все то, что писал — и тщательно хранил от всех — сам Лев Николаевич с 16-летнего своего возраста...

Яснополянский хозяин не пожелал оставить безнаказанным такое тяжкое, нанесенное ему без всякого повода оскорбление, эту ненужную относительно него жестокость, заставившую его уехать с кумыса, не долечившись до конца. Он обратился тотчас же по получении известия о бывшем у него в доме погроме к покойной графине А. А. и просил ее сообщить все обстоятельства дела тем лицам, власть имущим, которые хорошо его знали и на заступничество которых он мог рассчитывать, — графу В. А. Перовскому, гр. А. Д. Блудовой и др.; главное — Лев Николаевич просил не о наказании своих оскорбителей, а лишь о восстановлении своего доброго имени в глазах окружающих его крестьян и об ограждении себя от подобных событий на будущее время.

"Дела этого оставить я никак не хочу и *не могу*, — писал он. — Вся моя деятельность, в которой я нашел счастье и успокоение, испорчена. Тетенька от испуга так больна, что, вероятно, не встанет. Народ смотрит на меня уже не как на честного человека — мнение, которое я заслуживал годами, — а как на преступника, поджигателя или делателя фальшивой монеты, который только по плутоватости увернулся...

— Что, брат, попался!.. Будет тебе толковать нам о честности, справедливости, — самого чуть не заковали.

О помещиках что и говорить: это стон восторга. Напишите мне, пожалуйста, поскорее, посоветовавшись с Перовским и Алексеем Толстым, или с кем хотите, как мне написать и как передать письмо государю? Выхода мне нет другого — как получить такое же гласное удовлетворение, как и оскорбление (поправить дело уже невозможно), или экспатриироваться, на что я твердо решился. К Герцену я не поеду; Герцен сам по себе — и я сам по себе. Я и прятаться не стану, а громко объявляю, что продаю имение, чтобы ехать из России, где нельзя узнать минутой вперед, что тебя ожидает..."

Письмо это очень длинно, на восьми больших страницах. В конце, сообщая о том, что жандармский полковник, уезжая, пригрозил новым обыском, пока не найдут, "ежели что спрятано", Лев Николаевич добавляет: "У меня в комнате заряжены пистолеты, и я жду, чем всё это разрешится..." (1)

(1) Ив. Захарьин (Якунин). "Воспоминания о гр. А. А. Толстой". "Вестник Европы", Июнь 1904, с. 458.

Мне помнится также, Лев Николаевич рассказывал мне, что он чувствовал себя чрезвычайно оскорбленным этим вмешательством полиции в его дела, тем более, что это посещение полиции и обыск, который она произвела, были сделаны в его отсутствие. Лев Николаевич решил жаловаться и в Москве во время приезда туда государя Александра II лично подал ему просьбу об удовлетворении,

встретив его гуляющим в Александровском саду. Государь принял просьбу и потом, кажется, прислал ко Льву Николаевичу флигель-адъютанта с извинением.

Но власти не успокоились, и вот осенью того же года возникает комичная переписка между двумя министерствами, внутренних дел и народного просвещения, о журнале "Ясная Поляна". Приводим выдержку из этой переписки, напечатанной в воспоминаниях профессора Усова.

"Министр, внутренних дел сообщил министру народного просвещения 3 октября 1862 года:

"Внимательное чтение педагогического журнала "Ясная Поляна", издаваемого графом Толстым, приводит к убеждению, что этот журнал, проповедующий совершенно новые приемы преподавания и основные начала народных школ, нередко распространяет такие идеи, которые, независимо от их неправильности, по самому направлению своему оказываются вредными. Не входя в подробный разбор доктрины этого журнала и не указывая на отдельные статьи и выражения, что, впрочем, не представило бы затруднений, я считаю нужным обратить внимание вашего превосходительства на общее направление и дух этого журнала, нередко низвергающие основные правила религии и нравственности. Продолжение журнала в том же духе, по моему мнению, должно быть признано тем более вредным, что издатель, обладая замечательным и, можно сказать, увлекательным литературным дарованием, не может быть заподозрен ни в злоумышленности, ни в недобросовестности своих убеждений. Зло заключается именно в ложности и, так сказать, в эксцентричности этих убеждений, которые, будучи изложены с особенным красноречием, могут увлечь

на этот путь неопытных педагогов и сообщить неправильное направление делу народного образования. Имею честь сообщить о сем вам, милостивый государь, в том предположении, что не изволите ли вы признать полезным обратить особое внимание цензора на это издание".

Получив это отношение, министр народного просвещения поручил рассмотреть все вышедшие книги журнала "Ясная Поляна" и сообщил министру

внутренних дел от 24 октября того же года, что как по собственному наблюдению министерства, так и по содержанию представленного ему, министру, отчета о "Ясной Поляне" в направлении помянутого журнала нет ничего вредного и противного религии, но встречаются крайности педагогических воззрений, которые подлежат критике в ученых педагогических журналах, а никак не запрещению со стороны цензуры.

"Вообще, — писал далее министр народного просвещения, — я должен сказать, что деятельность графа Толстого по педагогической части заслуживает полного уважения, и министерство народного просвещения обязано помогать ему и оказывать содействие, хотя не может разделить всех его мыслей, от которых, после многостороннего обсуждения, он и сам, вероятно, откажется" (1).

(1) П. Усов. "Из моих воспоминаний". "Исторический вестник". 1884. III.

Но либеральное министерство народного просвещения ошиблось, — Толстой не отказался от своих мыслей, хотя все эти нападки и остановили дальнейшее развитие школьного дела в Ясной Поляне.

ГЛАВА 16.

Женитьба. Краткий обзор произведений

Несмотря на видимый успех своего педагогического дела, Лев Николаевич не мог быть вполне удовлетворен им; несмотря на величественность здания, столь искусно построенного, он не был уверен в прочности его основания. Для него этого основания вовсе не существовало. Его аналитический ум не позволял ему успокоиться на основаниях эфемерных, а прочного он не находил.

И вот это-то неудовлетворение он и выразил в словах своей "Исповеди", относящихся к этому периоду:

"Мне казалось, что я этому выучился за границей, и, вооруженный всей этой премудростью, я в год освобождения крестьян вернулся в Россию и, заняв место посредника, стал учить и необразованный народ в школах, и образованных людей в журнале, который я начал издавать. Дело, казалось, шло хорошо, но я чувствовал, что я не совсем умственно здоров и долго это не может продолжаться. И я бы тогда, может быть, пришел к тому отчаянию, к которому я пришел через пятнадцать лет, если бы у меня не было еще одной стороны жизни, неизведанной еще мною и обещавшей мне спасение, — это была семейная жизнь.

В продолжение года я занимался посредничеством, школами и журналом и так измучился, от того особенно, что запутался, так мне тяжела стала борьба по посредничеству, так смутно проявлялась моя деятельность в школах, так противно стало мое влияние в журнале, состоящее все в одном и том же — в желании учить всех и скрыть то, что я не знаю, чему учить, что я заболел более духовно, чем физически, — бросил все и поехал в степь к башкирам — дышать воздухом, пить кумыс и жить животною жизнью. Вернувшись оттуда, я женился".

К этому же времени относится следующее происшествие в жизни Льва Николаевича.

Все еще страстный игрок, он часто делался жертвой своего увлечения; и вот в начале 1862 года Лев Николаевич проиграл на китайском бильярде какому-то пехотному капитану 1000 рублей.

Он не мог заплатить этого долга и в уплату его продал известному публицисту Каткову для напечатания в издаваемом им "Русском вестнике" свою неоконченную повесть "Казачи". Она появилась в январе 1863 года в неоконченном виде, и после, вследствие неприятного воспоминания, связанного с нею, Лев Николаевич бросил ее и больше не писал.

И. С. Тургенев, сообщая об этом событии Фету, со слов Боткина, писал:

"Толстой написал Боткину, что он в Москве проигрался и взял у Каткова 1000 р. в задаток своего кавказского романа. Дай-то Бог, чтобы он хоть таким путем

возвратился к своему настоящему делу. Его "Детство" и "Юность" появились в английском переводе и, сколько слышно, нравятся. Я попросил одного знакомого написать об этом статью для "Revue des deux Mondes". Знаться с народом необходимо, но истерически льнуть к нему, как беременная женщина, бессмысленно".

В это время Лев Николаевич усердно посещал семейство доктора Берса, с которым вскоре пришлось ему соединиться семейными узами.

"Мы были еще девочками, — рассказывала графиня Толстая биографу Лёвенфельду, — когда Толстой стал бывать в нашем доле. Он был уже известным писателем и вел в Москве веселый, шумный образ жизни. Однажды Лев Николаевич вбежал в нашу комнату и радостно сообщил нам, что только что продал Каткову своих "Казаков" за тысячу рублей. Мы нашли цену очень низкой. Тогда он объявил нам, что его заставила нужда; он накануне проиграл как раз эту сумму в "китайский бильярд", и для него было делом чести немедленно же погасить этот долг. Он намеревался написать вторую часть "Казаков", но никогда не выполнил этого. Его сообщение так расстроило нас, девочек, что мы ходили по комнате и плакали".

К этому времени Лев Николаевич снова сошелся с Фетом, размолвка с которым была уже следствием ссоры с Тургеневым. О возобновлении с ним дружеских отношений Фет рассказывает так:

"Если память моя, так верно хранящая не только события, важные по отношению к дальнейшему течению моей жизни, но даже те или другие слова, в данное время сказанные, тем не менее не удержала обстоятельств, возобновивших мои дружеские с Толстым отношения

после его раздражительной приписки, то это только доказывает, что его гнев по отношению ко мне явился крупной градиной в июле, которая должна была сама растаять, хотя предполагаю, что дело произошло не без помощи Борисова. Как бы то ни было, но Лев Николаевич снова появился на нашем горизонте и со свойственным ему увлечением стал говорить мне о своем знакомстве в доме доктора Берса.

Воспользовавшись предложением графа представить меня семейству Берса, я нашел любезного и светски обходительного старика доктора и красивую, величавую брюнетку, жену его, которая, очевидно, главенствовала в доме. Воздерживаюсь от описания трех молодых девушек, из которых младшая обладала прекрасным контральто. Все они, несмотря на бдительный надзор матери и безукоризненную скромность, обладали тем привлекательным оттенком, который французы обозначают словом "du chien". Сервировка стола и самый обед повелительной хозяйки дома были совершенно безукоризненны".

Об отношении Льва Николаевича к семейству Берс и о постепенной подготовке его к женитьбе мы приводим рассказ свояченицы Льва Николаевича, сообщённый нам в частном письме.

"Его отношения к нашему дому идут издавна: дед наш Исленев и отец Льва Николаевича были соседи по имению и дружны. Семьи их постоянно виделись, и потому мать моя со Львом Николаевичем в детстве была на "ты". Он

ездил к нам, еще бывши офицером. Мать моя была уже замужем и дружна очень с Марией Николаевной, сестрой Льва Николаевича, и у Марии Николаевны я, бывши ребенком, видала часто Льва Николаевича. Он затевал всякие игры с племянницами и со мною. Мне было лет 10, и я его мало помню. Затем несколько лет он не бывал у нас и, возвратившись из-за границы и приехавши к нам на дачу в Покровское (под Москвою), он нашел двух старших сестер моих взрослыми. Из-за границы он привез учителя Келлера и призывал еще других в Москве для своей школы, которой он очень увлекался.

В Покровское он ходил к нам всегда почти пешком (12 верст). Мы делали с ним большие прогулки. Он очень вникал в нашу жизнь и стал нам близким человеком. Затем мы в августе поехали в Тульскую губернию, в имение деда, на две недели, — мать и мы, три сестры, на лошадях, конечно. Он тоже поехал с нами. Мы заехали дорогою в Ясную Поляну. Жил он со своей тетушкой, Татьяной Александровной Ергольской, и с сестрой, Марией Николаевной. И вот к ним-то и заехала моя мать. В Ясной Поляне устроили на другой день пикник в Засеке с семьею Ауэрбах и Марковым. В Засеке убирали сено, и мы влезли все на стог. Затем он вслед за нами отправился в Ивицы, имение деда, и там произошло объяснение за ломберным столом первоначальными буквами, как описано в "Анне Карениной". В сентябре мы переехали в Москву, куда и он приехал, и 17-го сентября 1862 г. объявили его свадьбу в Москве. Во все время его пребывания в Москве, где бы он ни был, он бывал оживлен, весел, остроумен — от него, как от вулкана, летели во все стороны Божий искры и исходил священный огонь. Помню его часто за роялью. Он привозил нам ноты, разучивал "Херувимскую"

Бортнянского с нами и многое другое, аккомпанировал мне ежедневно и называл "мадам Виардо", заставляя петь без конца".

А вот как рассказывает об этом событии сама графиня Толстая в разговоре с Лёвенфельдом, — мы дополняем и исправляем этот рассказ, лично слышанный от графини:

"Граф тогда постоянно бывал в нашем доме. Мы думали, что он интересовался нашей старшей сестрой, и отец мой был в этом вполне уверен до самой той минуты, когда Лев Николаевич попросил у него моей руки. Это было в 1862 году. Мы поехали с матерью в августе месяце через Ясную Поляну к нашему деду. Мать наша хотела навестить сестру графа, и поэтому мы, три сестры, и наш меньшой брат пробыли несколько дней здесь. Никого не удивило, что граф был необыкновенно приветлив с нами; наше знакомство, как я вам уже сказала, было очень старое, и граф всегда был чрезвычайно мил с нами. Ивицы, имение нашего деда, отстояло в 50 верстах от Ясной Поляны. Через несколько дней туда приехал вслед за нами и Лев Николаевич, и, одним словом, здесь разыгралась сцена, подобная той, которая описана в "Анне Карениной", когда Левин пишет на столе свое объяснение в любви одними только начальными буквами, и Китти сразу угадывает его. И до сих пор ещё, — заметила графиня с улыбкой, из которой можно было видеть, что одно только воспоминание об этом доставляло ей искреннее удовольствие, — я не могу

понять, как я разобрала тогда эти буквы. Должно быть, правда, что одинаково настроенные души дают один и тот же тон, подобно одинаково настроенным струнам".

Фразы, которыми обменялись Лев Николаевич и Софья Андреевна и которые были написаны одними начальными буквами, были следующие: "В В. с. с. л. в. н. м. и н. В. с. Л. р. е. В. с. Т."

Это означало: "В Вашем семействе существует ложный взгляд на меня и на вашу сестру Лизу; разрушьте его Вы с Танечкой". Софья Андреевна отгадала эту фразу и дала утвердительный знак.

Тогда он написал еще: "В. м. и п. с. с. ж. н. н. м. м. с. и н. с."

Что означало: "Ваша молодость и потребность счастья слишком живо напоминают нынче мне мою старость и невозможность счастья".

Больше между ними ничего не было сказано, они понимали и были уверены друг в друге.

Берсы поехали в Москву, Лев Николаевич и туда приехал вместе с ними. Он жил в городе, а Берсы проводили время на даче, в Покровском—Глебове, в 12-ти верстах от Москвы, Семья их уж 20 лет жила там каждое лето. Лев Николаевич был ежедневно их гостем. Все в доме были твердо уверены, что он в самое короткое время посватается к старшей дочери.

Но вот 17-го сентября, в день именин Софьи Андреевны, Лев Николаевич передал ей письмо, в котором делал ей предложение. Конечно, в ней он встретил только радостное согласие; но старик отец был недоволен, — ему, по старым обычаям, не хотелось отдавать младшую дочь раньше старшей, и сначала он отказал. Но настойчивость

Льва Николаевича и твердость Софьи Андреевны заставили старика согласиться.

В дневнике Льва Николаевича мы находим такое яркое отражение этих событий.

После одного из посещений Берсов, 23 августа, он записал:

"Я боюсь себя; что ежели и это *желание* любви, а не любовь? Я стараюсь глядеть только на ее слабые стороны и все-таки люблю".

В то же время он чувствует полное одиночество в общественной жизни.

"Встал здоров, с особенно светлой годовою, писалось хорошо, но содержание бедно. Потом так грустно, как давно не было. Нет у меня друзей, нет. Я один. Были друзья, когда я служил Мамону, и нет, когда я служу правде".

Наконец, 26-го августа он пишет:

"Пошел к Берсам в Покровское пешком. Покойно, уютно. Соня дала прочесть повесть. Что за энергия правды и простоты! Ее мучает неясность. Все я читал без замиранья, без признаков ревности или зависти, но "необычайно непривлекательной наружности и переменчивость суждений" задела славно. Я успокоился; все это не про меня".

К сожалению, эта повесть не дошла до нас: она уничтожена была самой С. А-ной.

28-го августа, в день своего рождения, когда ему минуло 34 года, в его записи видно снова колебание — самоосуждение и борьба; он пишет:

"Встал с привычной грустью. Придумал общество для учеников мастерских. Сладкая, успокоительная ночь.

Скверная рожа, не думай о браке, твое призвание другое и дано зато много".

Но потребность семейного счастья взяла вверх, и *желание* любви перешло, наконец, в настоящую, страстную любовь, которая уже не знала никаких преград. И все-таки, несмотря на силу этой страсти, Лев Николаевич и тут

сумел проявить свою честность, свою любовь к правде. Уже сделав предложение и получив согласие, он дал своей невесте прочесть свои дневники холостой жизни, в которых с самообличением и голою искренностью описаны были все увлечения молодости, все падения и все душевные бури, пережитые Львом Николаевичем.

Чтение этого дневника было ударом и невыразимым страданием для молодой девушки, видевшей в своем герое идеал всех добродетелей. Страдание это было так сильно и борьба пережитая была так трудна, что она минутами колебалась, не порвать ли уже установившуюся связь. Но любовь разрушила все эти колебания, и она, выплакав ночами свои страдания, отдала Льву Николаевичу дневник, и он прочел в ее взоре прощение и еще более сильную, уже закаленную любовь.

Свадьба была назначена очень скоро, через неделю после формального предложения, 23-го сентября.

Венчались в Кремле, в придворной церкви, а после венца на лошадях в дормезе уехали в Ясную Поляну, где их встретил брат, Сергей Николаевич, и тетка, Татьяна Александровна.

Брат графини Толстой, С. А. Берс, в своих воспоминаниях так характеризует свою сестру:

"Мой покойный отец отрицал воспитание в женских учебных заведениях; поэтому жена Льва Николаевича получила воспитание и образование дома, но подвергалась экзамену и удостоена диплома, дающего право домашней учительницы. В девушках она вела дневник, пыталась писать повести и обнаруживала способность к живописи" (1).

(1) С. А. Берс. "Воспоминания о гр. Л. Н. Толстом". С. 13.

Вскоре после женитьбы Лев Николаевич писал Фету:

"Фётушка, дяденька и просто милый друг Афанасий Афанасьевич! Я две недели женат и счастлив, и новый, совсем новый человек. Хотел я сам быть у вас, но не удастся. Когда я вас увижу? Опомнившись, я дорожу вами очень и очень, и между нами слишком много близкого, незабываемого — Николенька, да и кроме того. Заезжайте познакомиться со мной. Целую руку Марьи Петровны. Прощайте, милый друг. Обнимаю вас от души".

Женившись, Лев Николаевич вступил в новый фазис жизни, семейный, еще им "не изведанный и обещающий спасение", как говорит он в "Исповеди". Мы увидим из дальнейшего изложения, насколько ожидания Льва Николаевича оправдались. Дух анализа не пощадил и этой спасительной пристани, разрушил и эту иллюзию. А всемогущий разум поднял его на высшую ступень. Мы надеемся заглянуть в этот таинственный процесс, насколько он нам доступен, в следующем томе нашего изложения.

За этот период, кроме упомянутых в своем месте, были написаны Львом Николаевичем следующие произведения: "Метель", "Записки маркера", "Два гусара", "Семейное счастье", "Поликушка", и начата повесть "Холстомер".

"Метель" — это зимний пейзаж; читая его, вы не только видите самую метель, занесенную дорогу, заблудившихся ямщиков со своими тройками, но слышите все звуки этой метели и чувствуете какую-то тихую, замирающую стихийную жизнь...

В "Записках маркёра" изображена погибающая в городском разврате чистая, кроткая человеческая душа.

В "Двух гусарах" изображены два поколения: старое, кутящее напропалую, но цельное, искреннее и потому живое и стихийно гармоничное, и рядом поколение молодое — развратное в своей сдержанности, расчетливости и лицемерии. Стихийная гармония нарушена, а гармония сознательная еще не найдена, и звучит страшный диссонанс души, испорченной пороком.

"Семейное счастье" — это тихая, грациозная история любви, отражение пережитого автором романа.

«Поликушка» -- трагедия крепостного права, издевательство чувствительного барства над мужицкой душой, скрывающей под грубой оболочкой самые тонкие нравственные черты, ломающиеся при одном прикосновении к ним изуродованного, изолгавшегося барства.

Критики 60-х годов мало занимались этими замечательными произведениями. Они искали шаблонной

общественности и не были достаточно чутки к высшей, нравственной красоте, которой проникнуты эти произведения.

Это молчание критиков заставило одного из них написать статью, озаглавленную так: "Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой. Граф Лев Толстой и его сочинения".

Мы не считаем уместным вдаваться в подробную критическую оценку этих произведений и говорим о них только как о жизненных фактах, свидетельствующих о неустанной внутренней и творческой работе Толстого.

Заключение к 1-му тому биографии Льва Николаевича Толстого

Перед нами в этом беглом описании прошла почти половина жизни Льва Николаевича Толстого.

Опасаясь неумелою рукой исказить оригинальные мысли и свидетельства, мы старались везде, где только возможно, дать слово самому Льву Николаевичу или его близким, родным и друзьям, знакомым и товарищам, излагать эти мысли и свидетельства, ограничивая свою роль лишь показыванием этого интересного ряда картин.

Тем не менее, несмотря на сырость этого материала, мы полагаем, что характер личности Льва Николаевича за эту половину его жизни должен ярко выступить перед глазами читателя. И мы намерены указать здесь, в заключении, на некоторые выдающиеся черты этого характера, которые бросились нам в глаза и которые, по нашему мнению, обусловили его дальнейшее развитие.

Одна из таких выдающихся черт есть необыкновенно страстное увлечение всяким предметом, который попадал в область его влияния. Было ли то псовая охота или картежная игра, музыка, чтение, педагогика, хозяйство — он исчерпывал до конца каждый взятый сосуд новых впечатлений, перерабатывал его в своей художественной лаборатории и давал его миру в прекрасных формах, проникнутых высоким морально-философским смыслом.

С тою же страстностью он шел и в искании истины, смысла человеческой жизни, и с тою же силой своего гения переработал и дал миру в прекраснейшей форме добытый им результат.

Другой чертой его характера была правдивость, искренность, ничего не боящаяся, часто приводившая его в неприятные столкновения, но еще чаще приводившая и окончательно приведшая его к тому Богу Истины, которому

он служил, часто бессознательно для себя, затемняя его разными временными увлечениями.

Наконец, третьей чертой характера была любовь добра, наслаждение им и неустанная работа над собой с целью расширения этой области добра, завлечения других на путь добра, стремление показать другим красоту его.

Мы видим, что уже этих трех указанных черт, при его природных дарованиях, вполне достаточно для достижения того мирового влияния, которое ему свойственно теперь.

Но, обозревая первую половину жизни, мы замечаем еще одну замечательную черту — это постоянное неудовлетворение самим собой, своей деятельностью, своей литературной работой. Эта неудовлетворенность поддерживалась в нем постоянным самоанализом, не дававшим ему успокоиться ни на одной из представляющихся ему красивых иллюзий.

И эта неудовлетворенность не была болезненным, беспричинным нытьем. У нее были глубокие реальные причины. При всех огромных средствах его духовного развития, ему не хватало прочного основания, синтеза всех волновавших его идей. Часто он близко подходил к решению великой задачи, но не мог ухватить ее, проходил мимо и снова глубоко и сильно страдал.

Эти колебания его около одного, единственно возможного, необходимого и достаточного (как говорят математики) решения объясняют все кажущиеся противоречия его суждений и самоосуждений.

В следующем томе мы надеемся изложить ход событий в жизни Льва Николаевича, приведший его к тому моменту, когда жажда истины и страдания от ненахождения её достигли высшей степени и в силу неизбежности привели его к единому решению, к единой основе жизни и к единому руководству в дальнейшей деятельности, к *религии*.

ТОМ ВТОРОЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Как и перед писанием первого тома, я снова остановился в нерешительности, когда принялся за перо. Меня пугала непропорциональность моих сил с громадностью и важностью предпринятой работы. Только поборов в себе все соблазны самолюбия, готовый на всяческое осуждение, я, наконец, решился продолжать начатую работу. Я знаю, что, несмотря на все недостатки ее, я совмещаю в себе несколько благоприятных условий, которые, быть может, более не повторятся.

Описывать этот период правильной, честной семейно-эгоистической жизни чрезвычайно трудно. Мало или вовсе нет выдающихся фактов. То, что в материалах (письмах, заметках, рассказах) описывается как интересный факт, то большею частью носит характер чисто семейный, интимный, и при выборе его всегда остается колебание, нужно ли опубликовывать этот факт или отнести его к области частной, интимной жизни, не подлежащей опубликованию. Конечно, никто не проведет резкой границы между двумя группами такого рода явлений. И проведенная мною черта далеко не безошибочна. Очень буду рад, если меня кто-нибудь исправит в интересах

самого дела, в интересах красоты и правды изображения всем нам дорогого лица.

Художественная творческая работа выводит художника из области личной жизни и приобщает его к жизни мировой, и она ускользает от взоров биографа. С другой стороны, и внутренняя субъективная работа художника не может быть вполне доступна биографу; большею частью ему бывает открыта только подготовительная работа художника, самый же процесс творчества навсегда и для всех остается тайной.

Я сделал попытку рассматривать эти факты как явления жизни самого Льва Николаевича, осветив их и с его личной точки зрения, насколько она мне была доступна, и как явления общественного характера, указав на главнейшие черты того брожения, которое вызывало в обществе читателей и критиков появление этих великих произведений. Конечно, и тут не обошлось без промахов, но я сделал, что мог.

Переходя к периоду духовного кризиса, я остановился в недоумении перед громадностью предстоящей мне задачи, перед тою ответственностью, которую я беру на себя выставлением этого огромного и глубокого события

тою лишь стороною, которая видна моему несовершенному взору; но, не имея перед собой более опытного предшественника, я опять был поставлен в необходимость действовать по способности и готов вперед признать большое несовершенство моей работы.

Я постарался из имевшегося у меня под руками материала выбрать всё наименее известное, которое бы дополнило то, что уже известно, что поведал сам автор в своей неподражаемой "Исповеди", чтобы картина душевной жизни со всеми ее страданиями и радостями стала, если возможно, еще ярче, еще рельефнее, и самый момент, изображаемый ею, осветился бы с самых разнообразных сторон. И тут я, конечно, остановился в бессилии объективного наблюдателя, которому закрыты тайны субъективного сознания, и только лишь большая, сердечная близость предмета исследования могла дать мне некоторый ключ к пониманию тайны этого процесса.

Наконец, едва ли не самой трудной задачей этого тома было изображение ближайших моментов жизни Л. Н-ча 80-х годов отчасти вследствие свежести их в воспоминаниях всех живущих людей, отчасти вследствие того, что как раз в эти годы началась борьба Л. Н-ча с окружающей его обстановкой прежней жизни, — борьба, вызванная его душевным переломом.

Пользуясь разрешением графини и близких Л. Н-чу родственников и друзей, я получил доступ к их семейным архивам и прочел всю переписку за эти годы. И тут опять я много раз останавливался в недоумении перед тем, где провести черту между тем, что можно и чего нельзя опубликовывать. Много подводных камней пришлось мне обходить в моих изысканиях. Но я надеялся на моего надежного руководителя: любовь к правде и любовь к тем, чьи отношения мне приходилось изображать. И теперь я верю, что эта любовь благополучно вывела меня из опасностей и дала мне возможность сказать правду, не причинив боли тем, кто с душевными страданиями принимал живое участие в описываемых событиях.

Я не отчаиваюсь докончить свою работу и постараюсь решить еще более трудную задачу, — довести жизнеописание великого старца до наших дней, и, окончив второй том, приступаю к составлению третьего.

Я прилагаю дополнительный список источников и литературы, которыми мне пришлось пользоваться специально для этого II тома, кроме уже поименованных в I-ом. Принимая то же деление библиографии на три отдела, я отношу к третьему отделу все литературно-критические статьи, как не имеющие непосредственного биографического значения.

Иностранцами источниками, как и при составлении первого тома, мне пришлось пользоваться очень мало. Только с начала 80-х годов имя Л. Н-ча Толстого начинает занимать видное место в европейской литературе. И потому список иностранной библиографии я намерен приложить к третьему тому.

Да будет образ 80-летнего старца, зовущего нас к обновлению жизни, тем источником света и тепла, который согреет и осветит холодные и тёмные углы нашего тяжёлого времени, хотелось бы сказать уже пережитого.

П. Бирюков

Кострома.

11-го января 1908 г.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Кроме книг и статей, поименованных в библиографическом указателе, приложенном к первому тому, были использованы для второго тома ещё следующие материалы.

I разряд

- 1) Архив Л. Н-ча Толстого: дневники, письма, записные книжки, воспоминания.
- 2) Архив гр. С. А. Толстой; переписка с Л. Н. Толстым и воспоминания.
- 3) Архив Т. А. Кузминской: письма к ней гр. С. А. Толстой и воспоминания.
- 4) Архив В. Гр. Черткова: письма Л. Н-ча к Н. Н. Страхову и другие материалы.
- 5) Полное собр. соч. Л. Н. Толстого. Изд. 10. Москва 1907 г.
- 6) Полное собрание соч. Л. Н. Толстого, запрещенных русской цензурой Изд. "Свободного слова".
- 7) Сочинение Л. Н. Толстого, изд. Эльпидина. Женева. "Соединение и перевод 4-х Евангелий".
- 8) Азбука Л. Н-ча Толстого. Изд. 1872 г. С. — Петербург.
- 9) "Новая азбука" Л. Н. Толстого. Изд. 1-е. 1875 г. Москва.

10) Речь А. Н. Толстого на военно-полевом суде. Журнал "Право", 1903, с 2016.

11) Письмо А. Н. Толстого о самарском голоде. "Московские ведомости" 17 авг. 1873 г.

12) Письмо А. Н. Толстого о народн. журнале. "Тобольские ведомости".

13) Письмо А. Н. Толстого к Фету (не вошедшее в воспоминания) "Русское обозр.", 1896.

14) Письмо А. Н. Толстого к Шатилову об опыте преподавания по двум методам. "Отеч. зап.", 1874.

15) Личные воспоминания.

II разряд

16) Арбузов С. П. "Гр. А. Н. Толстой". Воспом. бывшего слуги. М., 1904.

17) Е. М. "Воспоминания об И. С. Тургеневе в Ясной Поляне". "Тобольские губ. вед.", 1893, 28.

18) Захарьин (Якунин) И. "Гр. А. А. Толстая". "Вестн. Европы". Апрель, 1905.

19) Михайловский, Н. К. "Литературные воспоминания и современная смута".

20) "Моск. епарх. ведом.", 1874 г., 10. Стеногр. отч. о заседании Моск. комит. грам. 15 дек. 1874 г.

21) Овсянников. Н. В. "Эпизод из жизни А. Н. Толстого". "Русское обозрение", 1896.

22) Пругавин А. С. "Гр. А. Н. Толстой в голодовку 1873–74 гг.". "Образование". Ноябрь 1902 г.

23) Сергеев, П. А. "Тургенев и Толстой". Литературное приложение к "Ниве", 1906.

24) Стасов, В. В. "Ник. Ник. Ге. Его жизнь, произв. и переписка". Изд. "Посредник". М., 1904.

25) Страхов. Н. Н. Письма к Н. Я. Данилевскому. "Русский вестник", 1901, No 1.

26) Сухотина, Т. А. "Гости Ясной Поляны".

27) Чайковский. М. И. "Жизнь П. И. Чайковского". Т. I и II. Изд. Юргенсона. М., 1896 г.

III разряд

28) Богословский Евгений. "Тургенев о Л. Н. Толстом". Тифлис, 1894 г.

29) Достоевский, Ф. М. "Дневник писателя", 1877 г.

30) Драгомиров, М. "Война и мир" с военной точки зрения". "Оруж. сборник". 1868, 69.

31) Кареев. "Философия истории в романе "Война и мир".

32) Мережковский. "Достоевский и Толстой".

33) Михайловский Н. К. "Записки профана".

34) Овсянко—Куликовский. "Л. Н. Толстой как художник".

35) Об опыте преподавания в моск. школах по способу Л. Н. Толстого по звуковому. "Отеч. записки", 1874, 9.

36) "Русский инвалид" 1902 г. (Военные типы "Войны и мира").

37) "Русские ведомости", 1874 г., 31. Отчет о заседании Моск. ком. грамот.

38) Соловьев, В. "Гр. Л. Н. Толстой". Очерк. "Нива", 1879.

39) Станкевич (об "Анне Карениной"), "В. Евр.", 1878 г., 4–5.

40) Страхов, Н. Н. "Критич. статьи о Тургеневе и Толстом". Изд. 3–е. Спб., 1895 г.

41) Чуйко, В. 8–я часть "Анны Карениной". "Отеч. зап.", 1877, кн. 8.

42) Мелкие газетные заметки и статьи.

Часть I. ПЕРИОД «ВОЙНЫ И МИРА»

ГЛАВА 1. До «Войны и мира»

Мы оставили Льва Николаевича и Софью Андреевну в Ясной Поляне, куда они удалились после свадьбы, веселых, бодрых, жизнерадостных. Судя по письму Льва Николаевича к Фету, уже приведенному нами, он чувствовал действительное возрождение и полной грудью вдыхал новую, охватившую его атмосферу семейной жизни.

Эта перемена условий жизни самого Льва Николаевича ведет за собой некоторые перемены в окружающей его среде. Так, 15 октября он прекращает школьные занятия. Издание журнала "Ясная Поляна" тяготит его, журнал опаздывает, и наконец он решается его прекратить.

18-го октября 1862 года он пишет брату Сергею:

"На журнал чуть-чуть тянется подписка, но по общему счету, который я сделал на днях, журнал принесет мне 3.000 убытку. К несчастью, получил я на днях две статьи недурные, которые можно напечатать, так что с небольшим трудом я дотяну до 63 года, но подписки на будущий год не делаю и продолжать не буду журнала, а ежели будут набираться материалы, то буду издавать сборником, просто книжками, без всякого обязательства..." (1)

(1) Архив Льва Николаевича Толстого.

19 декабря он кончает 1-ую часть «Казаков» и сдаёт её по уговору Каткову, который и помещает эту чудную повесть в январской книжке «Русского вестника» за 1863 год.

5-го января Лев Николаевич записывает в своём дневнике: "Счастье семейное поглощает меня".

Одного этого выражения достаточно, чтобы охарактеризовать всё тогдашнее состояние Льва Николаевича.

Софья Андреевна также была вполне счастлива и так выражала это в письме своему другу молодости, А. М. Кузминскому, будущему мужу её сестры. Ей казалось почему-то удобнее высказать это по-французски, хотя всё письмо написано по-русски:

«...Mariez vous, rendez votre epouse heureuse, et demandez lui ce qu'elle pense et ce qu'elle sent, alors vous comprendrez ma vie et mon bonheur...» (2)

(2) Женитесь, сделайте счастливой вашу жену и спросите у ней, что она думает и чувствует, тогда вы поймете мою жизнь и мое счастье. *Архив Т. А. Кузминской.*

Но это "поглощение счастьем" не могло продолжаться долго именно в силу той интенсивности, с которой Л. Н. отдавался всякому чувству. Вскоре счастье омрачается несколькими, правда, мимолетными, несогласиями, и гармония снова восстанавливается.

15-го января Л. Н-ч записывает в своём дневнике:

"...Мы дружны. Последний раздор оставил маленькие следы (незаметные) или, может быть, время. Каждый такой раздор, как ни ничтожен, — есть надрыв любви.

Минутное чувство увлечения, досады, самолюбия, гордости — пройдет, а хоть маленький надрез останется навсегда и в лучшем, что есть на свете — в любви.

8 февраля. Мне так хорошо, так хорошо, так её люблю!"

(*)

(1) Архив Льва Николаевича Толстого.

Мы видим из этих беглых заметок, как бережно, как сознательно относился Л. Н-ч к своему новому чувству, как будто он боялся потерять его, стать недостойным этого священного огня, загоревшегося в нем и осветившего своим светом всю его внутреннюю жизнь и окружающую обстановку.

И всё-таки во всём этом увлечении постоянно слышится нотка анализа, сомнения, не дающая ему испытать полного счастья — самозабвения, которого ему так хотелось, и в обладании которым он так старался уверить себя.

И это сомнение, это неудовлетворение, помимо его воли, быть может, выразилось в его художественных творениях.

Вскоре после женитьбы Л. Н-ч начал писать "Войну и мир". В 6-ой главе 1-ой части, написанной в конце 63 г. или в начале 64 года, т. е. через год с небольшим после свадьбы, князь Андрей так говорит Пьеру:

— Никогда, никогда не женись, мой друг! Вот тебе мой совет: не женись до тех пор, пока ты не скажешь себе, что ты сделал все, что мог, и до тех пор, пока ты не перестанешь любить ту женщину, какую ты выбрал, пока ты не увидишь ее ясно, а то ты ошибешься жестоко и непоправимо. Женись стариком, никуда не годным... А то пропадет все, что в тебе есть хорошего и высокого. Все истратится по мелочам. Да, да, да! Не смотри на меня с таким удивлением. Ежели ты ждешь от себя чего-нибудь впереди, то на каждом шагу ты будешь чувствовать, что для тебя все кончено, все закрыто, кроме гостиной, где ты будешь стоять на одной доске с придворным лакеем и идиотом... Да что...

Он энергически махнул рукой.

Пьер снял очки, от чего лицо его изменилось, ещё более выказывая доброту, и удивлённо глядел на друга.

— Моя жена, — прибавил князь Андрей, — прекрасная женщина. Это одна из тех редких женщин, с которою можно быть покойным за свою честь. Но, Боже мой.. чего

бы я не дал теперь, чтобы не быть женатым! Это я тебе одному и первому говорю, потому что я люблю тебя (2).

(2) Полн. собр. соч. Льва Николаевича Толстого. Изд. 10-е, т. V, с. 48.

Чувство органической зависимости от жены, от семьи Л. Н-ч прекрасно выражает в "Анне Карениной", описывая первое время женитьбы Левина и Китти.

Когда Китти сделала ему сцену ревности, потому что он опоздал на полчаса домой, Левин, говорит Л. Н-ч, "тут только в первый раз ясно понял, чего

он не понимал, когда после венца повёл её из церкви. Он понял, что она не только близка ему, но что он теперь не знает, где кончается она и начинается он. Он понял это по тому мучительному чувству раздвоения, которое он испытывал в эту минуту. Он оскорбился в первую минуту, но в ту же секунду он почувствовал, что он не может быть оскорблен ею, что она была он сам. Он испытывал в первую минуту чувство, подобное тому, какое испытывает человек, когда, получив вдруг сильный удар сзади, с досадой и желанием мести оборачивается, чтобы найти виновного, и убеждается, что это он сам нечаянно ударил себя, что сердиться не на кого и надо перенести и утишить боль".

В другой раз Левин, раздосадованный тем, что Китти увязалась за ним в его поездке к умирающему брату, в ужасе восклицает:

— Нет, это ужасно. Быть рабом каким-то!

...Но в ту же минуту он почувствовал, что он бьёт сам себя.

Таким образом, минуты счастья перемежались с минутами сознания и сожаления об утраченной свободе.

В то же время Л. Н-ча не оставляют и литературные планы и мечты. Он в своём дневнике записывает сюжет нового романа. Вот два намеченные типа: "профессор-западник, взявший себе усидчивой работой в молодости диплом за умственную праздность и глупость — в противоположность человеку, до зрелости удержавшему в себе смелость мысли и нераздельность мысли, чувства и дела".

Эти типы отчасти были изображены в "Анне Карениной". Попадаются в дневнике того времени и мысли общего критического, философского характера:

"...Открытие новых законов в науке есть только открытие нового способа воззрения, при котором то, что прежде было неправильным, кажется правильным и последовательным, вследствие которого (нового воззрения) другие стороны становятся темнее".

В половине декабря Л. Н-ч с молодой женой едет ненадолго в Москву.

Пребывание Л. Н-ча с женой в Москве, конечно, обратило на себя внимание их друга Фета, и он делает заметку об этом в своих воспоминаниях:

"В скором времени я с восторгом узнал, — пишет Фет, — что Лев Николаевич с женой в Москве и остановились в

гостинице Шеврие, бывшей Шевалье. От нас не ускользнула эта перемена, столь идущая в данном случае к прелестной идиллии молодых Толстых. Несколько раз мне при проездах верхом по Газетному переулку удавалось посылать в окно поклоны дорогой мне чете".

Но это продолжалось недолго. Вскоре молодые супруги снова в Ясной Поляне, где Л. Н-ч отдается опять семейно-хозяйственной жизни.

"Вероятно, молодым Толстым, — продолжает Фет, — невзирая на очарование первого московского сезона недавних супругов, недолго ложилось у Шеврие, и мы на пути из Москвы направились в давно знакомую нам Ясную Поляну, где нам предстояло увидеть новую ее хозяйку.

Часов в 8 вечера, в морозную месячную ночь, почтовая тройка, свернув с шоссе, повезла нас по проселку, ведущему к вороту между двумя башнями, от которых старая березовая аллея ведет к яснополянскому дому. Когда мы стали подыматься рысцой на изволок к этому вороту, то заметили бойко выезжающую из ворот навстречу нам тройку. "Вот, — подумал я, — как кстати. Тульские не знакомые нам гости со двора, а мы как раз подъедем". Но вот бойкая тройка, наехав на нас, вынуждена, подобно нам, шагом сворачивать в субой с дороги, на которой двум тройкам нет места рядом.

— Возьми поправее-то! — кричит своему кучеру седок, лица которого я не могу рассмотреть в тени от высокой спинки саней.

— Это вы, граф? — крикнул я, узнав голос Льва Николаевича — Куда вы?

— Боже мой, Афанасий Афанасьевич... мы с женой выехали прокатиться. А Марья Петровна здесь?

— Здесь.

— Ах, как я рада! — воскликнул молодой и серебристый голос.

— Выбирайтесь на дорогу! — воскликнул граф, — а мы сейчас же завернем за вами следом.

Не буду описывать отрадной встречи нашей в Ясной Поляне, — встречи, которой много раз суждено было повториться с той же отрадой. Но на этот раз я невольно вспомнил дорогого Николая Николаевича Толстого, прослушавшего в Новоселках всю ночь прелестную птичку. Такая птичка оживляла яснополянский дом своим присутствием" (1).

(1) А. Фет. "Мои воспоминания", т. II, с. 412.

Выход в свет "Казаков" и затем "Поликушки" снова обращает внимание литературных друзей Л. Н-ча, но он, увлеченный иным, практическим делом, смотрит как-то издали на свою прежнюю литературную деятельность и так выражает это в своем письме к Фету весной 1863 года:

"...Ваши оба письма одинаково были мне важны, значительны и приятны, дорогой Афанасий Афанасьевич... Я живу в мире, столь далеком от литературы и критики, что, получая такое письмо, как ваше, первое чувство мое — удивление. Да кто же такой написал "Казаки" и "Поликушку"? Да и что рассуждать о

них? Бумага все терпит, а редактор за все платит и печатает. Но это только первое впечатление, а потом вникнешь в смысл речей, покопаешься в голове и найдешь там где-нибудь в углу, между старым забытым хламом, найдешь что-то такое неопределенное, под названием художественное. И, сличая с тем, что вы говорите, согласишься, что вы правы, и даже удовольствие найдешь покопаться в этом старом хламе и в этом когда-то любимом запахе. И даже писать захочется. Вы правы, разумеется. Да ведь таких читателей, как вы, мало. "Поликушка" — болтовня на первую попавшуюся тему человеку, который "и владеет пером", а "Казаки" — "с сукровицей", хотя и плохо. Теперь я пишу историю пегого мерина, к осени, я думаю, напечатаю. Впрочем, теперь как писать? Теперь незримые усилия даже зримые, и притом я в юхванстве по уши. И Соня со мной, управляющего у нас нет. Есть помощник по полевому хозяйству и постройкам, а она одна ведет контору и кассу. У меня и пчелы, и овцы, и новый сад, и винокурня. И все идет понемножку, хотя, разумеется, плохо сравнительно с идеалом. Что вы думаете о польских делах? Ведь дело-то плохо, не придется ли нам с вами и с Борисовым снимать меч с заржавленного гвоздя?"

А вот мнение Тургенева о тех же литературных произведениях, выраженное в его письмах к Фету того же времени:

"Казаков" я читаю и пришел от них в восторг (и Боткин также). Одно лицо Оленина портит общее великолепное впечатление. Для контраста цивилизации с первобытной, нетронутой природой не было никакой нужды снова выводить это возящееся с самим собою скучное и

болезненное существо. Как это Толстой не сбросит с себя этот кошмар".

И далее в другом письме:

"Прочел я "Поликушку" Толстого и удивлялся силе этого крупного таланта. Только материалу уж больно много потрачено, да и сынишку он напрасно

утопил. Уж очень страшно выходит. Но есть страницы, поистине, удивительные. Даже до холода в спинной кости пробирает, а ведь она у нас и толстая, и грубая. Мастер, мастер".

Как резко выражается в этих отзывах об одних и тех же литературных произведениях — самого Л. Н-ча и его друга Тургенева — разность их характеров и взглядов на литературное искусство!

"Поликушку" Л. Н. считает "болтовней", а Тургенев не находит слов для похвалы и только упрекает в излишней силе впечатления. "Казаков" Толстой считает "с сукровицей", т. е. с идеей, составляющей силу этого рассказа, Тургенев хотя и приходит в восторг от "Казаков", но самую эту сукровицу, т. е. идею, выражаемую типом Оленина, считает скучным, болезненным кошмаром.

Но возвратимся к яснополянской идиллии.

В письме к Фету Л. Н-ч употребляет такую фразу: "Что вы думаете о польских делах? Ведь дело-то плохо, не придется ли нам с вами и с Борисовым снимать меч с заржавленного гвоздя?"

Очевидно, дело идет о польском восстании 1863 года. Из дневника Софьи Андреевны того времени мы видим,

что Л. Н. действительно собирался на войну; на ней, очевидно, болезненно отзывались эти сборы.

Вот что она пишет:

"22-го сентября... почти правда. На войну. Что за странность. Взбалмошный, нет, неверно, а просто непостоянный... Все у них шутка. Минутная фантазия. Нынче женился, понравилось, родил детей, завтра захотел на войну, бросил. Надо теперь желать смерти ребенка, потому что я его не переживу. Не верю я в эту любовь к отечеству, в этот энтузиазм в 35 лет. Разве дети не то же отечество, не те же русские. Их бросить, потому что весело скакать на лошади, любоваться, как красива война и слушать, как летают пули.

...Войны еще нет, он еще тут".

Это ограничилось, к общему благополучию, одними мечтами. Порой Лев Николаевич, как бы отрываясь от своей кипучей деятельности, закрывая на все глаза, снова уходит в самого себя и хотя издали, но уже замечает своего страшного, тогда еще редко посещавшего его призрака — дракона смерти.

1-го марта в дневнике его кратко, но ясно выражено это состояние: "мысль о смерти".

В своём неумолимом стремлении анализа и раскапывания жизни до ее основания Толстой не дает себе покоя даже при полном благополучии. При (отсутствии) препятствия он воображает его и нападает на него, как Дон—Кихот на ветряные мельницы. Так, на него находят припадки ревности. Он записывает в дневнике, что он чувствует "ревность к человеку, который бы вполне стоил ее". Но зато дальше он пишет:

"...А малейший проблеск понимания и чувства, и я опять счастлив и верю, что она понимает вещи, как и я".

При его страстности, способности увлекаться, и вместе с тем подозрительности, неизбежны были огорчения и семейные бури, но зато неизбежны и порывы счастья, любви, с такою же силою чувствуемых, как и предшествующие страдания.

Запись дневника 6-го октября 1863 года кратко, но ясно отражает нам эти периоды борьбы с самим собою.

"...Всё это прошло и все неправда. Я ею счастлив, но я собою недоволен страшно. Я качусь, качусь под гору смерти и едва чувствую в себе силы остановиться. А я не хочу смерти, я хочу и люблю бессмертие. Выбирать незачем.

Выбор давно сделан — литература, искусство, педагогика, семья. Непоследовательность, робость, лень, слабость — вот мои враги" (1).

(1) Архив Льва Николаевича Толстого.

Юный возраст супруги Льва Николаевича возбуждал иногда шутки его друзей, от которых приходилось отбиваться Льву Николаевичу. Так, от 15 мая 1863 года он пишет Фету:

"Чуть-чуть мы с вами не увидались, и так мне грустно, что "чуть-чуть", столько хотелось бы с вами переговорить. Нет дня, чтобы мы о вас несколько раз не вспоминали. Жена моя совсем не играет в куклы. Вы не обижайте. Она мне серьезный помощник. Да еще с тяжестью, от которой

надеется освободиться в начале июля. Что же будет после? Мы юхванствуем понемножку. Я сделал важное открытие, которое спешу вам сообщить. Приказчики, управляющие и старосты есть только помеха в хозяйстве. Попробуйте прогнать все начальство и спать до десяти часов, и все пойдет, наверно, не хуже. Я сделал этот опыт и остался им доволен вполне. Как бы, как бы нам с вами свидеться? Ежели вы поедете в Москву и не заедете к нам с Марьей Петровной, то это будет даже обидно. Эту фразу подсказала мне жена, читавшая письмо. Некогда. Хотел много писать. Обнимаю вас от всей души, жена очень кланяется, и я очень кланяюсь вашей жене.

Дело: когда будете в Орле, купите мне пудов 20 разных веревок, вожжей, тяжей и пришлите мне с извозчиками, ежели с провозом обойдется дешевле двух рублей тридцати копеек за пуд. Деньги немедленно вышлю".

А вот ещё одна лишняя картинка яснополянской жизни, принадлежащая перу того же друга — поэта Фета, восторженного поклонника молодой четы:

"Несмотря на самое серьезное и нетерпеливое расположение духа, я не мог отказать себе в удовольствии заехать в Ясную Поляну. Едва только я повернул между башнями по березовой аллее, как наехал на Льва Николаевича, распоряжающегося вытягиванием невода во всю ширину пруда и, очевидно, принимающего всевозможные меры, чтобы караси не ускользнули, прячась в ил и пробегая мимо крыльев невода, невзирая на яростное щелканье веревками и даже оглоблями.

— Ах, как я рад! — воскликнул он, очевидно деля свое внимание между мною и карасями. — Мы вот, сию

минуту. Иван, Иван! круче заходи левым крылом. Соня, ты видела Афанасия Афанасьевича?

Но замечание это явно опоздало, так как, вся в белом, графиня давно уже подбежала ко мне по аллее и тем же бегом, с огромной связкой тяжелых амбарных ключей на поясе, невзирая на крайне интересное положение, бросилась тоже к пруду, перескакивая через слегу невысокой загороди.

— Что вы делаете, графиня! — воскликнул я в ужасе — Как же вы неосторожны!

— Ничего, — ответила она, весело улыбаясь, — я привыкла.

— Соня, вели Нестерке принести мешок из амбара, и пойдёмте домой.

Графиня тотчас же отцепила от пояса огромный ключ и передала его мальчику, который бросился бегом исполнять поручение.

— Вот, — сказал граф, — вы видите полное применение нашей методы держать ключи при себе, а исполнять все хозяйственные операции при посредстве мальчишек.

Вечер этого дня можно бы по справедливости назвать исполненным надежд. Стоило посмотреть, с какою гордостью и светлою надеждою глаза

добрейшей тетушки Татьяны Александровны озирали дорогих племянников и, обращаясь ко мне, ясно говорили: «вы видите? у mon cher Léon, конечно, не может быть иначе».

Что касается до молодой графини, то, конечно, у прыгающей в ее положении через слегу жизнь не может не быть озарена самыми радостными надеждами. Сам граф, прошедший всю жизнь в усиленных поисках новизны, в этот период, видимо, вступил в неведомый дотоле мир, в могучую будущность которого верил со всем увлечением молодого художника".

Краткую, но характерную заметку об этом времени мы находим в воспоминаниях свояченицы Л. Н-ча, тогда еще молодой девушки, младшей сестры графини, Т. А. Берс:

"Весной я поехала к ним в Ясную Поляну. Он увлекался тогда двумя вещами: тягой вальдшнепов и пчельником. На тягу я почти каждый день ходила с ним, т. е. он шел, а я верхом. Мы становились в Засеке около пчельника; я помню, как он восхищался весной, пролетом птиц, закатом солнца, а слов его не помню. С ним всегда бежал желтый сеттер Дора. Не раз, возвращаясь домой, он заставлял у себя приехавшего или своего друга молодости Дм. Алекс. Дьякова, или Фета, или П. Ф. Самарина. За чаем или за ужином происходили беседы самые оживленные; но я содержания их не помню. Пчельником он много занимался. У него жил там седой дед. Л. Н-ч надевал сетку на голову и по целым часам изучал жизнь пчел" (*).

(1) Из частного письма.

В июне Л. Н-ч записывает в дневнике: "Читаю Гете, и роятся мысли".

28-го июня последовало рождение первого сына, Сергея. А вместе с этим начался целый ряд новых семейных забот, горестей и радостей.

Об этом первом годе семейной жизни у нас, к сожалению, нет никаких сведений, за исключением нескольких беглых заметок дневника. В это время он, вероятно, уже занимался собиранием и разработкой материала для будущего большого романа.

Из литературных опытов этого года следует упомянуть о двух малоизвестных неизданных произведениях Льва Николаевича.

Он написал шуточную комедию под заглавием «Нигилист». Содержание такое: муж и жена, у них учитель «нигилист». Муж ревнует жену, и выходят разные *qui pro quo* [недоразумения; запутанные ситуации]. Кончается благополучно. Они мирятся, и жена поет мужу куплет, последние строчки которого такие:

Я консерватор совершенно
И занята одними вами.

Эта комедия была поставлена на домашнем спектакле и прошла с блестящим успехом. Мужа играла графиня С. А., жену — ее сестра Т. А. На сцене является богомолка-странница, которую играла сестра Л. Н-ча, гр. Марья Николаевна, так вошедшая в свою роль, что на сцене импровизировала целые тирады.

Кроме того, Л. Н-ч тогда же написал комедию "Зараженное семейство" и в январе 1864 года повез ее в Москву, желая поставить на казенном театре. Но так как сезон уже подходил к концу, то ему это не удалось. Л. Н-ч

читал эту комедию Островскому и выразил ему сожаление, что ему придется отложить

постановку, тогда как сюжет комедии современный, на что Островский отвечал ему: "Разве ты думаешь, что люди скоро поумнеют?"

Комедия эта до сих пор лежит неизданной, в рукописи. Перескакивая целый год, мы находим Л. Н-ча уже погруженным в семейные тяготы и заботы. Так, он писал Фету 15-го июля 1864 года:

"Милый друг Афанасий Афанасьевич! Только два слова.

Жена диктует: весь дом болен. А я от себя прибавлю: и начинает выздоравливать. Ваше приглашение всех порадовало. Мы переглянулись с женой и Таней-свояченицей, улыбнулись все: а вот бы славно! поедem к Фетушке, ей-богу! И поехали бы, кабы не горловая болезнь Тани, от которой она была в опасности и теперь лежит, и не болезнь Сережи, и не восьмой месяц беременности Сони, при чем, обдумав здраво, не следует предпринимать такие поездки. Я же желаю и надеюсь быть".

Несмотря на сильное, страстное увлечение семьей и хозяйством, Л. Н-ч испытывал в то же время еще одну страсть, иногда затмевавшую первые две. Страсть эта была охота. Он сам признается в этом жене своей, вероятно, получив от нее упрек за долгую отлучку, и пишет ей, между прочим, в августе 1864 года, т. е. на второй год женитьбы:

"...Ты говоришь, я забуду. Ни минуты, особенно с людьми. На охоте я забываю, помню об одном дупеле, но с людьми при всяком столкновении, слове я вспоминаю о тебе, и все мне хочется сказать тебе то, что я никому, кроме тебя, не могу сказать".

В одну из таких поездок, тоже в августе того же года, Л. Н-чу пришлось быть свидетелем страшного и странного несчастья. Он пишет жене:

"...Страшный там случай, поразивший меня ужасно. Баба-скотница упустила бадью в колодец на конном дворе. Колодец всего 12 аршин. Села на палку и велела себя спустить мужику. Мужик, староста-пчеловод, единственный мне знакомый и милый в Никольском; баба слезла вниз и упала с палки. Мужик-староста велел себя спустить, долез до половины, упал с палки вниз. Побежали за народом, вытащили через полчаса, оба мертвые. В колодце было всего три четверти воды, вчера хоронили" (*).

(1) Архив гр. С. А. Толстой.

Этот случай послужил для Л. Н-ча темой рассказа "Вредный воздух", помещенного в 4-й книге для чтения.

Но вот его увлекает новая страсть творчества, и он начинает писать "Войну и мир". К истории этого великого произведения мы и приступаем в следующей главе.

ГЛАВА 2.

История "Войны и мира"

Само собой разумеется, что мы будем говорить о "Войне и мире" не в смысле критическом, литературном, а как о

важном жизненном факте, дающем нам ценный биографический материал. И потому, если мы и будем касаться критики, то опять-таки только как характерных черт описываемой эпо-

хи, как данных для изображения среды, окружавшей Л. Н-ча, его отношения к ней и их взаимного влияния. Наконец, мы считаем своим долгом высказать и наше собственное отношение к "Войне и миру" как факту художественному, историческому, моральному и философскому, считая более подробную критическую оценку этого произведения неуместной для биографии и требующей специального обширного труда, который отлагаем до более благоприятного времени.

Как ни странно это сказать, это великое произведение явилось на свет как бы случайно, или, выражаясь юридически, "без заранее обдуманного намерения".

Многим читателям, вероятно, известно, что раньше "Войны и мира" Л. Н-ч задумывал написать роман "Декабристы". Отрывки этого романа, напечатанные в 3-м томе полного собрания сочинений, снабжены следующим примечанием:

"Печатаемые здесь три главы романа под заглавием "Декабристы" были написаны еще прежде, чем автор принялся за "Войну и мир". В то время он задумывал роман, которого главными действующими лицами должны быть декабристы, но не написал его, потому что, стараясь создать его, он невольно переходил мыслью к предыдущему времени, к прошлому своих героев.

Постепенно перед автором раскрывались все глубже и глубже источники тех явлений, которые он задумывал описывать: семья, воспитание, общественные условия и проч. избранных им лиц; наконец, он остановился на времени войн с Наполеоном, которое и изобразил в "Войне и мире". В конце этого романа видны уже признаки того возбуждения, которое отразилось в событиях 14-го декабря 1825 года" (1).

(1) Полное собр. соч. Т. III, с. 535.

Время наполеоновских войн недаром привлекло внимание Л. Н-ча. Исторический и психологический анализ этих событий привел его к созданию особого философского взгляда на историю, и весь роман является как бы дивной иллюстрацией к этому взгляду. Для детальной разработки этой картины послужили, с одной стороны, семейные и исторические предания; с другой стороны, особое отношение автора к жизни и духу русского народа, явившегося главным действующим лицом в этой эпопее.

Вот те данные, которые, по нашему мнению, легли в основу "Войны и мира". Первое упоминание о работе над "Войной и миром" мы встречаем в дневнике Софьи Андреевны:

"28 октября 1863 г... Где он? *История 12-го года*, бывало, всё рассказывал — теперь недостойна".

В конце 64-го года в письмах Л. Н-ча появляются уже сообщения о том, что работа идёт. Так, 17-го ноября 1864 года он пишет Фету:

"Я тоскую и ничего не пишу, а работаю мучительно. Вы не можете себе представить, как мне трудна эта предварительная работа глубокой пахоты того поля, на котором я принужден сеять. Обдумать и передумать все, что может случиться со всеми будущими людьми предстоящего сочинения, очень большого, и обдумать миллионы возможных сочетаний для того, чтобы выбрать из них $1/1000000$ — ужасно трудно, и этим я занят".

Вскоре затем он писал еще:

"Я довольно много написал нынешнюю осень своего романа. *Ars longa, vita brevis* (2), — думаю я всякий день. Коли можно бы было успеть $1/100$ долю ис-

(2) Искусство длинно, а жизнь коротка.

полнить того, что понимаешь, но выходит только $1/1000000$ часть. Всё-таки это сознание, что могу, составляет счастье нашего брата. Вы знаете это чувство. Я нынешний год с особенной силой его испытываю".

Писание "Войны и мира" было прервано самым неожиданным трагическим образом. В сентябре 1864 года со Львом Николаевичем на охоте произошёл случай, едва не стоивший ему жизни. Вот как сообщает об этом несчастье гр. С. А. своей сестре:

1-го октября 1864 года.

«...Лева поехал в ненавистные тебе Телятники с борзыми и на Машке, которая давно уже стояла. Вдруг выскочил русак. Лева кричит: "ату его!" — и пускается во

весь дух его травить. Машка, непривычная к охоте, ужасно быстрая в скаку, натывается на очень узкую, но глубокую рытвину, перепрыгнуть не в состоянии, спотыкается и падает. Лева падает с нее, ушибается, и рука его вывихнулась. Конечно, лошадь убежала, а Лева почти без памяти, с ужасной болью в руке, остается на месте. Кое-как собрался он с силами, встал и поплелся; до шоссе было с версту; как он дошел, одному богу известно; говорит, что ему все казалось очень давно. Что "когда-то" он ехал, "когда-то давно" травил зайца, и точно как будто давно-давно он упал. В таком состоянии дошел до шоссе, там и лег. Ехали мужики, он кричал, они не обратили внимания, наконец, пешеход остановил телегу, мужики его подняли, положили и привезли не домой, а он велел на деревню, в избу, чтобы не испугать меня. А я, между тем, сижу с Сережей и мамашей и ворчу, что никто не едет к обеду. Вдруг Машенька является, закутанная и со странным лицом. Они переглядываются и начинают меня готовить, и как надо быть рассудительной, не пугаться... Я кричу: "что с Левой, говорите скорей!" Мне говорят, что он в избе; я бегу туда и вижу его раздетым, в страшных страданиях, стонет, и руку держит мужик, баба-старуха растирает. Агафья Михайловна делает чай, и тетенька там, и дети кричат. Послали за Шмигиро, он 8 раз принимался ломать руку, т. е. править, ничего не сделал, а только измучил Леву. Мама одна все время присутствовала. Он провел страшную ночь, я его не покидала ни минуты, и на другой день приехал ловкий молодой доктор Преображенский, который с хлороформом отлично вправил ему руку» (1).

(1) Архив Т. А. Кузминской.

Дополняем описание этого случая по воспоминаниям его слуги Сергея Петровича Арбузова:

"Графа тем временем перевезли с деревни в свой дом. В доме никто не спал. Доктор разделся, прошел наверх в кабинет, куда я подал и лекарства. Софья Андреевна сейчас же послала меня за двумя работниками, чтобы держать графа, когда доктор будет править руку. Я позвал работников Семена и Владимира, которых граф очень любил; по приказанию графини они были введены в кабинет и по указанию доктора стали сзади графа. Доктор дал что-то понюхать, и Лев Николаевич заснул, а доктор начал править руку.

Но граф скоро очнулся и сказал:

— Не стыдно ли вам так со мной поступать?

Тогда доктор дал графу понюхать еще больше, и граф так лишился сознания, что доктор даже испугался. Работники тянули руку по указаниям доктора, а сам он только правил плечо. Граф всё не приходил в себя, так что

доктор поспешил положить ему на голову холодный компресс, после чего Лев Николаевич очнулся.

— Как вы себя чувствуете? — спросил доктор.

— Чувствую очень хорошо.

Всё время старая няня, Агафья Михайловна, которую очень любят и граф, и графиня, не отходила от них и утешала их:

— Вы, матушка Софья Андреевна, не очень огорчайтесь; с живым человеком все может случиться. Бог даст, все пройдет.

В это время приехал другой доктор, Кнерцер, за которым посылали. Оба доктора о чем-то между собой поговорили и решили, что рука вправлена хорошо, но только графу шесть недель придется пролежать в постели. Доктора после обеда уехали в Тулу.

Добрая няня Агафья Михайловна все шесть недель не отходила от графа и тут же спала, сидя в кресле. После шести недель граф попробовал выстрелить, чтобы удостовериться, укрепились ли рука или нет, но тотчас же после выстрела почувствовал ужасную боль. Граф тотчас же послал письмо в Москву своему тестю, придворному доктору, Андрею Астафьевичу Берс; тот немедленно ответил, чтобы граф приезжал в Москву больше чем на месяц, так как ему надо делать ванны, растирать руку и снова её поправлять" (1).

(1) "Гр. Л. Н. Толстой". Воспоминания С. П. Арбузова. М., 1904, с. 40.

Приехав в Москву, Л. Н-ч остановился у родных своей жены и стал советоваться с московскими знаменитостями о том, что делать ему с худо вправленной рукой, которой он не мог как следует владеть и при движении которой чувствовал сильную боль.

Советы докторов были разнообразны, и это разноречие усиливало нерешительность Л. Н-ча делать трудную операцию.

Одни советовали переправить, руку; другие советовали лечить массажем. Одни обнадеживали, что операция легкая, и обещали полное выздоровление; другие, наоборот, предупреждали, что операция трудна, что рука может остаться одна короче другой и что на полное владение нет никакой надежды. В этой нерешительности Л. Н-ч провел целую неделю. Это была первая продолжительная отлучка Л. Н-ча от своей молодой семьи, конечно, вызвавшая немало огорчений и в то же время послужившая поводом обмена самыми дружескими письмами. Вот некоторые из них, наиболее характерные и рисующие отношения молодых супругов:

25-го ноября 1864 г.

"Расстались-таки мы с тобой, — пишет Софья Андреевна, — пришлось и горя испытать, не все же радоваться. А это настоящее горе, серьезное, которое тоже надо уметь перенести. Как-то вы все там поживаете? Хорошо ли тебе? Ты обо мне не думай, ты все делай, что тебе весело. В клуб езди и к знакомым, к кому хочешь, я теперь насчет всего так покойна, так счастлива тобой и так в тебе уверена, что ничего в мире не боюсь. Это я тебе говорю искренно, и самой приятно в себе это чувствовать. У нас все по-старому, без малейших перемен. Я все сижу внизу, тут мое царство, мои дети, мои занятия и жизнь. Когда приду наверх, мне кажется, что я пришла в гости. Сережа, когда я приду, встает, без меня шутит и врет, а при мне все церемонии и натянутость, хотя он и любезен, и хорош со мной. Чувствуется мне, что я им всем чужая: странно, чужая твоим родным, что все они любят и дороги

друг другу, а на меня смотрят снисходительно и ласково, как на воспитанницу в доме. Все

очень добры, участие большое принимают во мне, но все это как-то не то. Без тебя я тут не при чём, — такие уж у меня дикие мысли; при тебе я чувствую себя царицей, без тебя — лишней. Все, кто меня любят, теперь в Кремле, и я постоянно с вами живу, вся моя жизнь — исключая детей — вся там. Тетенька самая родственная и самая добрая. Она никогда не меняется, всё та же".

Конечно, и Л. Н-ч отвечал ей тем же. Вот какое впечатление произвело на него предыдущее письмо; описывая свое времяпрепровождение в Москве, он, между прочим, пишет:

"За обедом позвонили — газеты, Таня все бегала; позвонили другой раз — твое письмо. Просили все у меня читать, но мне жалко было давать его. Оно слишком хорошо, и они не поймут и не поняли. На меня же оно подействовало, как хорошая музыка: и весело, и грустно, и приятно — плакать хочется" (1).

(1) Архив гр. С. А. Толстой.

Но вот из Ясной стали приходить более тревожные известия. Гр. С. А. в это время кормила второго ребенка — Таню, а старший, Сережа, заболел оспой и сильным поносом, который он едва перенес. Сообщая Л. Н-чу эти

печальные вести, Софья Андреевна, тем не менее, прибавляет:

"...А ты, душенька, напротив, живи в Москве, не приезжай, покуда у нас все опять не будет совершенно хорошо и исправно. Теперь все равно ты для меня не существовал бы. Я все в детской со своими беспокойными детьми. И на ночь, и на день мне их оставить никак нельзя."

Можно думать, что беспокойство о доме заставило Л. Н-ча решиться на операцию, чтобы жертвы, принесённые им, не пропадали даром.

23-го ноября доктора Попов и Гаак сделали ему операцию под хлороформом, они сломали прежнее сращение, вправили снова и наложили повязку. Л. Н-ч долго не поддавался хлороформу. Вскикивал, бредил. Операция кончилась благополучно, и выздоровление пошло обычным путем.

На другой день Л. Н-ч, не владея правой забинтованной рукой, диктовал письмо своей жене, которое писала под его диктовку его свояченица, меньшая сестра графини, Татьяна Андреевна Берс. В этом письме, описывая в комическом виде приготовление дома к операции, он говорит в заключение, что не чувствовал никакого страха перед операцией и чувствовал боль после операции, которая скоро прошла от холодных компрессов.

С. А. писала ему почти каждый день: сообщая о здоровье детей, она старалась успокоить его, чтобы облегчить ему дни разлуки. Так, 2-го декабря она, между прочим, пишет:

"Чем же ты теперь занимаешься, милый Левочка? Верно, нашел писаря и диктуешь ему, если только рука не очень болит, и если ты сам весь здоров. А у меня-то нет

работы, сижу и себя обшиваю теперь, чтобы к твоему приезду быть опять свободной и переписывать для тебя".

3-го декабря.

"...Всё про именины вы хорошо описали, и в день операции суматохи было немало. Я, читая, совсем перенеслась в ваш мир. А мне теперь мой яснополянский милее. Видно, гнездо, которое сама совьешь, лучше того, из которого вылетишь".

Порой ее охватывает грусть, и в письме слышится меланхолическая нотка. Так, в письме от 7-го декабря она пишет:

"...Музыка, которую я так давно не слыхала, разом вывела меня из моей сферы — детской, пеленок, детей, — из которой я давно не выходила ни на один шаг, и перенесла куда-то далеко, где все другое. Мне даже страшно стало, я в себе давно заглушила все эти струнки, которые болели и чувствовались при звуках музыки, при виде природы и при всем, чего ты не видел во мне, за что тогда тебе бывало досадно. А в эту минуту я все чувствую, и мне больно и хорошо. Лучше не надо всего этого нам, матерям и хозяйкам.

...Оглядываю твой кабинет и все припоминаю, как ты у ружейного шкапа одевался на охоту, как Дора прыгала и радовалась около тебя, как сидел у стола и писал, и я приду, со страхом отворю дверь, взгляну, не мешаю ли я

тебе, и ты видишь, что я робею, и скажешь: войди. А мне только этого и хотелось. Вспоминаю, как ты больной лежал на диване; вспоминаю тяжелые ночи, проведенные тобой после вывиха, и Аг. Мих. на полу, дремлющую в полусвете, и так мне грустно, что и сказать тебе не могу".

Как только Л. Н-ч немного оправился от операции, он снова взялся за свой роман. Но, не будучи в состоянии владеть рукой, он диктовал его Татьяне Андреевне. Вскоре он заключил условие с Катковым о напечатании его романа в "Русском вестнике"; Катков платил ему по 300 руб. за печатный лист. В декабре Л. Н-ч вернулся домой.

В январе 1865 года Л. Н-ч пишет Фету в шутовском тоне о двух важных событиях своей жизни: о сломанной руке и о скором появлении начала своего романа.

"Как вам не совестно, милый мой друг Фёт, так жить со мной, как будто вы меня не любите или как будто все мы проживем Мафусаиловы годы. Зачем вы никогда не заезжаете ко мне? И не заезжаете так, чтобы прожить два-три дня, спокойно прожить. Так хорошо поступать с другими. Ну, не увиделись в Ясной, встретимся где-нибудь на Подновинском; а со мной не встретитесь на Подновинском. Я тем счастлив, что прикован к Ясной Поляне; а вы человек свободный. А глядишь, умрет кто-нибудь из нас, вот как умер на днях сестрин муж Вал. Петрович, тогда и скажете: "что это я за дурак, все о мельнице хлопотал, а к Толстому не заехал. Мы бы с ним поговорили". Право, это не шутка.

...А знаете, какой я вам про себя скажу сюрприз: как меня стукнула об землю лошадь и сломала руку, когда я после дурмана очнулся и сказал себе, что я литератор. И я литератор, но уединенный, потихонечку литератор. На днях выйдет первая половина первой части 1805 года.

Пожалуйста, подробнее напишите свое мнение. Ваше мнение, да еще мнение человека, которого я не люблю тем более, чем более я вырастаю большой, мне дорого, — Тургенева. Он поймет. Печатанное мною прежде я считая только пробой пера; печатанное теперь мне хотя и нравится более прежнего, но слабо кажется, без чего не может быть вступления. Но что дальше будет — беда... Напишите, что будут говорить в знакомых вам местах, и, главное, как на массу. Верно, пройдет незамечено. Я жду этого и желаю; только бы не ругали, а то ругательства расстраивают... Я рад, что вы любите мою жену: хотя я ее меньше люблю моего романа, а все-таки, вы знаете, жена. Приезжайте же ко мне". (1)

(1) А. Фет. "Мои воспоминания", т. II, с. 69.

Сдав начало своего романа в печать, Л. Н-ч продолжал усиленно работать над его продолжением, читая и разбирая исторические материалы, беседуя со многими людьми, у которых были или личные воспоминания того времени, или были живы в памяти рассказы современников. В дневнике того времени записано им интересное впечатление от чтения материалов, — впечатление, которое впоследствии легло в основание его романа:

19 марта 1865 года.

"Я зачитался историей Наполеона и Александра. Сейчас меня облаком радости сознания возможности сделать великую вещь охватила мысль написать психологическую историю: роман Александра и Наполеона. Всю подлость, всю фразу, все безумие, все противоречие людей их окружавших и их самих. Наполеон как человек — путается и готов отречься 18 брюмера перед собранием.

"De nos jours les peuples sont trop eclaires pour produire quelque chosde grand" (1).

(1) В наши дни народы слишком просвещенны, чтобы создать что-либо великое.

Александр Македонский называет себя сыном Юпитера, ему верили. Вся египетская экспедиция — французское тщеславное злодейство. Ложь всех bulletins — сознательная. Пресбургский мир — escamote. На Аркольском мосту упал в лужу, вместо знамя. Плохой ездок. В итальянской войне увозит картины, статуи. Любит ездить по полю битвы. Трупы и раненые — радость. Брак с Жозефиной — успех в свете. Три раза поправлял реляцию сражения Риволи — все лгал. Еще человек, первое время сильный своей односторонностью, потом нерешителен — чтоб было! как? Вы, простые люди, а я вижу в небесах мою звезду. Он не интересен, а толпы, окружающие его и на которые он действует. Сначала односторонность и beau jeu в сравнении с Мюратами и Баррасами, потом ошущью самонадеянность и счастье и потом сумасшествие — faire entrer dans son lit la fille des Cesars (2). Полное сумасшествие, расслабление и ничтожество на св. Елене. Ложь и величие потому только,

что велик объем, а мало стало поприще и стало ничтожество. И позорная смерть.

(2) Припятъ в своё ложе дочь кесарей.

Александр, умный, милый, чувствительный, ищущий с высоты величия объема, ищущий высоты человеческой. Отрекающийся от престола и дающий одобрение (не мешающий) убийству Павла (не может быть). Планы возрождения Европы. Аустерлицкие слезы, раненый. Нарышкина изменяет. Сперанский, освобождение крестьян. Тильзит — одурманение величием. Эрфурт. Промежуток до 12 года — не знаю. Величие человека, колебания. Победа, торжество, величие, *grandeur*, пугающие его самого, и отыскивания величия человека — души. Путаница во внешнем, а в душе ясность. А солдатская косточка — маневры, строгости. Путаница наружная, прояснение в душе. Смерть. Ежели убийство, то лучше всего" (3).

(3) Архив Л. Н. Толстого.

Кроме исторических документов и бесед с людьми, помнящими описываемую эпоху, Л. Н-чу приходилось изучать и те места, где происходили великие события.

Так, он осмотрел местность Бородинского сражения и сам составил план его, который приложен к роману.

Шурин Л. Н-ча, С. А. Берс, ездивший с ним в эту поездку на Бородинское поле, так рассказывает в своих воспоминаниях об этом путешествии:

"В 1865 году осенью Лев Николаевич приехал в Москву с целью съездить и осмотреть Бородинское поле, на котором происходило знаменитое сражение в 1812 году. Он приехал один и остановился у нас. Он просил отпустить меня с ним. Родители отпустили меня, и восторг мой был неописанный. Мне было тогда одиннадцать лет. Мой отец предоставил Льву Николаевичу свою охотничью коляску и погребец. Дорога, не считая десяти верст по шоссе от горо-

да, была по гати, и Лев Николаевич очень беспокоился за экипаж. Отъехавши несколько станций, мы намеревались закусить и тут увидели, что погребец и провизия были забыты, а сохранилась только маленькая корзинка с виноградом, которая была поручена мне. Лев Николаевич говорил: "мне жаль не то, что мы забыли погребец и провизию, а то, что твой отец будет волноваться и сердиться за это на своего человека".

На почтовых лошадях мы доехали в один день и остановились около поля сражения, в монастыре, основанном в память войны.

Два дня Лев Николаевич ходил и ездил по той местности, где за полстолетия до того пало более ста тысяч человек, а теперь красуется великолепный памятник с золотыми надписями. Он делал свои заметки и рисовал план сражения, напечатанный впоследствии в романе "Война и мир"... Хотя он и рассказывал мне кое-что и объяснял, где стоял во время сражения Наполеон, а где Кутузов, я не сознавал тогда всей важности его работы и с увлечением предавался игре с собачкой, хозяин которой

был сторож памятника. Я помню, что на месте и в пути мы разыскивали стариков, еще живших в эпоху Отечественной войны и бывших свидетелями сражения. По дороге в Бородино нам сообщили, что сторож памятника на Бородинском поле был участником Бородинской битвы и как заслуженный солдат получил это место. Оказалось, что старик скончался за несколько месяцев до нашего приезда. Лев Николаевич досадовал. Вообще наши поиски были неудачны. На обратном пути на последней станции нам попался веселый и старый ямщик с лошадьми громадного роста. Когда мы выехали на шоссе, он мчал нас в карьер, между тем был очень лунный вечер, а туман был так силен, что такая езда была довольно рискованна. Я был в возбужденном состоянии, вероятно, от этой езды, и Лев Николаевич, заметив это, спросил меня, чего бы я хотел в моей жизни. Я ответил: мне очень жаль, что я не сын его. Он этому нисколько не удивился, вероятно, потому что привык к этому, так как все дети любили его, и сказал: "а мне хочется..." И дальше я смутно припоминаю, что желание его — быть понятым другими, потому что он осуждал всех историков за неверное и внешнее описание фактов и доказывал, что он описывает эти факты справедливо, потому что угадывает внутреннюю их сторону". (1)

(1) С. А. Берс. "Воспоминания о гр. А. Н. Толстом", с. 49.

Сам Лев Николаевич был очень доволен поездкой; вероятно, в это время его творческая фантазия, освеженная созерцанием самого места великого события,

работала усиленно и создавала один за другим чудные образы, проникнутые новыми глубокими идеями.

"Только бы Бог дал здоровья и спокойствия, — пишет он своей супруге, — а я напишу такое Бородинское сражение, какого еще не было".

Он целые дни проводил в библиотеке Румянцевского музея, роясь в ценных архивах того времени, изучая масонские книги, акты и рукописи.

Трудно себе представить всю ту гигантскую работу, которую пришлось выполнить Л. Н-чу при собирании, разработке и облечении в художественную форму всего этого материала.

Многие типы, кажущиеся нам чудным произведением художественной фантазии, являются портретами, списанными с натуры, после глубокого и серьезного изучения источников.

Приведем для примера характеристику двух военных типов, послуживших оригиналами для художественного воспроизведения в романе. Так, основани-

ем рассказа о партизанском набеге Долохова послужили Л. Н-чу рассказы о подвигах известного Фигнера во время Отечественной войны. Приведем здесь некоторые из них, чтобы показать, из какого материала автор создал свой тип партизана.

"Известный впоследствии партизан, артиллерии капитан Фигнер с самого начала Отечественной войны отличался фанатической ненавистью к Наполеону, имевшею даже мистический оттенок, что было тогда в

моде; он ежедневно ходил по церквам и со слезами молился богу об избавлении России от чудовища. По занятии неприятелем Москвы Фигнер, с разрешения главнокомандующего, отправился в оставленную столицу и, переодеваясь в различные костюмы, днем выведывал, что ему было нужно, а ночью, собрав жителей, нападал на французов и производил беспорядок и суматоху в местах их расположения. По открытии партизанских действий Фигнер получил небольшой отряд, с которым он и действовал в тылу французской армии, отличаясь необычайной смелостью нападения, доходившею до дерзости, и жестокостью, с которой он обращался с французами. О его подвигах было много рассказов после кампании 12-го года" (1).

(1) В. Зелинский. "Критическая литература о Толстом", ч. V, с. 225.

А вот что известно о прототипе бессмертного капитана Тушина, героя Шенграбенского сражения. Один военный историк дает о нем такие сведения:

"Каждый, кто читал описание этого сражения, сделанное великим романистом, наверное, с большим интересом остановился на симпатичном типе артиллериста, изображенном в лице штабс-капитана Тушина.

Простота, безыскусственность, доброта и величайшая скромность, доходящая до застенчивости, наряду с чрезвычайной мощью духа, — все эти качества штабс-капитана Тушина представляют собою отличительную черту не только прежнего типа артиллериста, но и вообще

русского человека. Эта национальность типа Тушина вызывает особенную к нему симпатию. Но если Тушин представляет интерес для каждого читателя, то для военного, и особенно артиллериста, интерес этот достигает крайних пределов. И здесь сам собою рождается вопрос: был ли в действительности такой артиллерист, который изображен гр. Толстым в лице Тушина, и какая батарея счастлива тем, что может считать в своих рядах такого богатыря?

В ответ на это, на основании неоспоримых архивных документов, можем сказать, что артиллерист такой действительно был. Это — штабс-капитан Яков Иванович Судаков, состоящий в списках 5-й батареи 10-й артиллерийской бригады, именовавшейся в 1805 году "легкой ротой вакантной 4-го артиллерийского полка" (2).

(2) "Русский инвалид". No 91, 1902 г.

Сам Л. Н-ч говорит о своей исторической работе так:

"Везде, где в моем романе говорят и действуют исторические лица, я не выдумывал, а пользовался материалами, из которых у меня во время моей работы образовалась целая библиотека книг, заглавия которых я не нахожу надобности выписывать здесь, но на которые всегда могу сослаться".

Мы уже упоминали в 1-м томе биографии, что две главные семьи романа представляют много общего с предками Л. Н-ча как со стороны матери, так и со стороны отца.

Наташа, и та почти списана Л. Н. с натуры. Много черт в нее вошло из типа его свояченицы, меньшей сестры графини, теперь Татьяны Андреевны

Кузминской; вошли также в нее и черты графини С. А. По ее словам, Л. Н-ч так выражался про Наташу: "Я взял Таню, перетолок ее с Соней, и вышла Наташа".

Эта самая Таня писала нам в одном из недавних писем:

"...Как я хорошо их обоих помню, когда он писал "Войну и мир"! У него было вечное поднятие духа, "high spirit", как называют англичане. Бодр, здоров, весел. В те дни, когда он не писал, он ездил на охоту со мной и часто с соседом Бибиковым, с борзыми...

...Помню, как всегда по его расположению духа видно было, насколько удачно шло "его писание, он был оживлен и весел и говорил, что он кусочек жизни своей оставил в чернильнице, когда шло удачно. Вечером раскладывал пасьянс у тетеньки в комнате: он загадывал всегда почти что-нибудь о своем писании".

Верной сотрудницей его была графиня Софья Андреевна, переписывавшая ему его черновики. Работа Л. Н-ча требовала постоянных поправок и новой переписки. Так что работа, сделанная Софьей Андреевной, громадна, — подсчитать все эти поправки и переписки невозможно.

И на нее самое эта переписка действовала возвышающим душу образом. Вот что она пишет, между прочим, об этом своему мужу:

"...А нравственно меня с некоторого времени очень поднимает твой роман. Как только сяду переписывать,

унесусь в какой-то поэтический мир, и даже мне покажется, что это не роман твой так хорош (конечно, инстинктивно покажется), а я так умна".

Набросав этот краткий очерк происхождения и писания "Войны и мира", мы перейдем теперь к краткому обзору критической литературы, что и составит предмет следующей главы.

ГЛАВА 3.

«Война и мир»

(обзор критической литературы)

Наша биографическая точка зрения заставляет нас держаться особой системы при обозрении критических статей, посвященных этому великому произведению. Для нас "Война и мир" есть событие в жизни Л. Н-ча. Мы хотим оценить, описать это событие, и вот после сделанного нами в предыдущей главе исторического очерка этого произведения мы считаем своим долгом изобразить то впечатление, которое произвело это событие на читающую публику вообще и в частности на представителей и руководителей этой публики, литературных критиков.

Во-первых, взглянем на впечатление, произведенное "Войной и миром" на литературных друзей Л. Н-ча. Мы выделяем эти критические отзывы в особое место, так как мы берем их из частных писем самого Л. Н-ча и его друзей, а не из специальных критических статей, и потому эти отзывы носят особый интимный, непринужденный и несистематический характер.

Роман, как известно, стал появляться в книжках "Русского вестника" с января 1865 г. Первые две части, напечатанные в 1865 и 1866 гг. и потом вышедшие отдельною книжкой, первоначально были названы автором «Тысяча

восемьсот пятый год». Критические статьи стали появляться после выхода отдельной книжки, но отзывы друзей начались ещё во время печатания его в журнале; так, В. П. Боткин писал Фету уже 14 февраля 1865 года:

"Начал читать роман Толстого. Как тонко подмечает он разные внутренние движения, — просто поразительно! Но, несмотря на то, что я прочёл больше половины, нить романа нисколько не начинает уясняться, так что до сих пор подробности одни преобладают. Кроме того, к чему это излишнее обилие французского разговора? Довольно сказать, что разговор шёл на французском языке. Это совершенно лишнее и действует неприятно. Вообще в русском языке большая небрежность. Это, очевидно, вступление, фон будущей картины. Как ни превосходна обработка малейших подробностей, а нельзя не сказать, что этот фон занимает слишком большое место" (1).

(1) А. Фет. "Мои воспоминания", т. II, с. 60.

Тургенева не сразу покорило это неожиданное, непривычное его организованному уму произведение. 25 марта 1866 года он пишет Фету:

«Вторая часть "1805 года" слаба: как это всё мелко и хитро, и неужели не надоели Толстому эти вечные рассуждения о том, трус, мол, я или нет? Вся эта патология сражения? Где тут черты эпохи? Где краски исторические? Фигура Денисова бойко начерчена; она была бы хороша, как узор на фоне, а фона-то и нет».

Читатели замечают, что Боткин упрекает Толстого в обилии фона, а Тургенев — в отсутствии его.

Позднее, в письме к Фету от 8 июня 1866 года, Тургенев выражается еще более резко:

«Роман Толстого плох не потому, что он также заразился "рассудительством", этой беды ему бояться нечего: плох он потому, что автор ничего не изучил, ничего не знает и под именем Кутузова и Багратиона выводит нам каких-то рабски списанных с современных генеральчиков».

Сам Толстой прекрасно признавал некоторые недостатки своего произведения и писал об этом своему другу Фету, мнение которого он ценил более других. В письме от 7 ноября 1866 года он говорит следующее:

«Милый друг Афанасий Афанасьевич, я не отвечал на ваше последнее письмо сто лет тому назад и виноват за это тем более, что, помню, в этом письме вы мне пишете *irritabilis poetarum gens* (1). [(1) Поэтам свойственно сердиться.] Но уж не я. Я помню, что порадовался, напротив, вашему суждению об одном из моих героев — князе Андрее — и вывел для себя поучительное из вашего суждения. Он однообразен, скучен и только *un homme comme il faut* во всей первой части. Это правда, но виноват в этом не он, а я. Кроме замысла характеров и движения их, кроме замысла столкновений характеров, есть у меня еще замысел исторический, который чрезвычайно усложняет мою работу, с которою я не справляюсь, как кажется. И от

этого в первой части я занялся исторической стороной, а характер стоит и не движется. И это недостаток, который я ясно понял вследствие вашего письма и надеюсь, что исправил. Пожалуйста, пишите мне, милый друг, все, что вы думаете обо мне, т. е. о моем писании, дурного. Мне всегда это в великую пользу, а кроме вас, у меня никого нет".

Но по мере выхода следующих частей романа он побеждал все более и более своих читателей, и отзывы друзей Л. Н-ча меняются. Тургенев пишет Фету 12 апреля 1868 года:

"Я только что кончил 4-й том "Войны и мира". Есть вещи невыносимые и есть вещи удивительные, и удивительные эти вещи, которые, в сущности, преобладают, так великолепно хороши, что ничего лучшего у нас никогда не было написано никем, да вряд ли и было написано что-нибудь столь хорошее. 4-й и 1-й тома слабее 2-го и особенно 3-го. 3-й том почти весь *chef d'oeuvre*".

Боткин в письме Фету от 26 марта 1868 года из Петербурга говорит следующее:

"Между тем успех романа Толстого, действительно, необыкновенный. Здесь все читают его, и не только читают, но и приходят в восторг. Как я рад за Толстого. Но от литературных людей и военных специалистов слышатся критики. Последние говорят, что, например, Бородинская битва описана совсем неверно, и приложенный Толстым план ее произволен и не согласен с действительностью. Первые находят, что умозрительный элемент романа очень

слаб, что философия истории мелка и поверхностна, что отрицание преобладающего влияния личности в событиях есть не более как мистическое хитроумие, но помимо всего художественный талант автора вне всякого спора. Вчера у меня обедал и был Тютчев, и я сообщаю отзыв компании".

По поводу критической статьи Анненкова о "Войне и мире" Тургенев пишет самому Анненкову следующее:

Баден—Баден, 1868 года 2 февраля.

...Я прочел роман Толстого и вашу статью о нем. Скажу вам без комплиментов, что вы давно ничего умнее и дельнее не писали; вся статья свидетельствует о верном и тонком критическом чутье автора, и только в двух-трех фразах заметна неясность и как бы спутанность выражений. Сам роман возбудил во мне весьма живой интерес: есть целые десятки страниц сплошь удивительных, первоклассных, — все бытовое, описательное — охота, катанье ночью и т. д.; но историческая прибавка, от которой, собственно, читатели в восторге, — кукольная комедия и шарлатанство. Как Ворошилов в "Дыме" бросает пыль в глаза тем, что цитирует последние слова науки, не зная ни первых, ни вторых, чего, например, добросовестные немцы и предполагать не могут, так Толстой поражает читателя носком сапога Александра, смехом Сперанского, заставляя думать, что он все об этом знает, коли даже до этих мелочей дошел, а он и знает только эти мелочи. Фокус и больше ничего, но публика на него-то и попалась. И насчет так называемой "психологии" Толстого можно многое сказать; настоящего развития нет ни в одном характере (что, впрочем, вы отлично заметили), а есть старая

замашка передавать колебания, вибрации одного и того же чувства, положение, то, что он столь беспощадно вкладывает в уста и сознание каждого из своих героев: люблю, мол, я, а в сущности — ненавижу и т. д. Уж как приелись и надоели эти quasi-тонкие рефлексии и размышления и наблюдения за собственными чувствами! Другой психологии Толстой словно не знает или с намерением ее игнорирует. И как мучительны эти преднамеренные, упорные повторения одного и того же штриха — усики на верхней губе княжны Волконской и т. д. Со всем тем есть в этом романе вещи, которых, кроме Толстого, никому в целой Европе не написать, и которые возбудили во мне озноб и жар восторга" (1).

(1) Евг. Богословский. "Тургенев о Л. Толстом". Тифлис, 1894. с. 41.

Тургенева захватывала и восторгала внешняя художественная сторона "Войны и мира", самая же идея, которой это произведение служило вопло-

щением, была ему настолько чужда, что он не переставал осуждать её. Тому же Анненкову он, например, пишет:

Из Баден—Бадена. 1868 года 13 апреля.

"Доставили мне 4-й том Толстого... Много там прекрасного, но и уродства не оберёшься. Беда, коли

автодиктат, да еще во вкусе Толстого, возьмется философствовать: непременно оседлает какую-нибудь палочку, придумает какую-нибудь систему, которая, по-видимому, все разрешает очень просто, как, например, исторический фатализм, да и пошел писать. Там, где он касается земли, он, как Антей, снова получает свои силы: смерть старого князя, Алпатыч, бунт в деревне, — все это удивительно..."

Наконец, по окончании 5-го тома, Боткин пишет Фету в июне 1869 года:

"Мы только на днях кончили "Войну и мир". Исключая страниц о масонстве, которые малоинтересны и как-то скучно изложены, этот роман во всех отношениях превосходен. Но неужели Толстой остановится на 5-й части? Мне кажется, это невозможно. Какая яркость и вместе глубина характеристики! Какой характер Наташи и как выдержан! Да, все в этом превосходном произведении возбуждает глубочайший интерес. Даже его военные соображения полны интереса, и мне в большей части случаев кажется, что он совершенно прав. И потом, какое это глубокое русское произведение!"

Как всякое значительное событие, появление "Войны и мира" вызвало некоторую полярность в общественном мнении и в представителях его в критической литературе. Критики разделились на хвалителей и озлобленных ругателей этого произведения. Этому способствовало известное удаление Л. Н-ча от так называемых прогрессивных современных общественных течений. Руководители этих течений не могли простить Льву Николаевичу его равнодушия к тем вопросам, которые волновали их, и уже одно печатание "Войны и мира" в

"Русском вестнике" (с которым по своим убеждениям Л. Н. ничего не имел общего) в глазах их накладывало клеймо позора на это произведение и лишало их той проницательности, с которой они относились к другим явлениям жизни.

Так, Н. В. Шелгунов писал об этом романе, между прочим, следующее:

"...Еще счастье, что гр. Толстой не обладает могучим талантом, что он живописец военных пейзажей и солдатских сцен. Если бы к слабой опытной мудрости гр. Толстого придал силу таланта Шекспира или даже Байрона, то, конечно, на земле не нашлось бы такого сильного проклятия, которое бы следовало на него обратить" (1).

(1) Сочинения Н. В. Шелгунова. Спб., 1895, т. II, с. 392.

В его полемическом увлечении Шелгунову казалось, что это произведение будет скоро забыто, что оно уже забывается. В той же статье он пишет:

"Когда явился в свет последний том романа "Война и мир", то первые тома были почти забыты; по крайней мере, интерес, возбужденный произведением графа Л. Толстого в самом начале, под конец упал. Что это значит? Чем это объясняется? Это объясняется отсутствием глубоко жизненного содержания, которое одно может дать литературному произведению долговечность и постоянно возрастающий интерес во мнении критики и публики. Такого содержания нет у гр. Толстого. А между тем гр. Толстой претендует в своем последнем романе на философские воззрения".

Конечно, это была ошибка. "Война и мир" с тех пор выдержала около 15 изданий (причём несколько последних изданий печаталось по 15 000 экз.). С конца 70-х годов роман этот стал появляться на европейских языках и сразу занял передовое, если не первенствующее положение в общеевропейской литературе.

Рядом с этим крайним принижением "Войны и мира" мы, ради контраста, можем поставить и его крайнее превознесение.

Закljučая одну из своих критических статей, Н. Н. Страхов говорит так:

"Полная картина человеческой жизни.

Полная картина тогдашней России.

Полная картина всего того, что называется историей и борьбой народов.

Полная картина всего, в чём люди полагают своё счастье и величие, своё горе и унижение.

Вот что такое "Война и мир". (1)

(1) Н. Страхов. "Крит. статьи". 1895, с. 348.

Некоторые критики до того были увлечены, помимо своей воли, жизненной правдой произведения, что неблагоприятный оборот в жизни его героев принимали за личное оскорбление и обрушивались на Толстого бурными потоками осуждений и обличений за то, что он смел, например, не женить Ростова на Соне и т. д. Или что

Ростов не так совсем должен был сделать предложение княжне Марье. В той страсти, с которой эти критики нападают на автора "Войны и мира", я вижу наивысшую похвалу ему.

Приведём ещё несколько образцов озлобленной критики, характеризующей настроение известной части тогдашнего общества.

Так, А. П. Пятковский в газете "Неделя", еще не дождавшись конца романа, уже объявляет его слишком длинным и скучным и так заканчивает свою статью о "Войне и мире":

"Не поймав главной характеристической черты александровского времени, не оценив значения важнейших исторических лиц, гр. Толстой, естественно, не мог сконцентрировать своего романа и разобраться в мелочах и деталях, не связанных никакою общою идеей. Он принялся описывать баталии, московские сплетни, салонные интриги и любовные приключения. Эпоха 12-го года заняла уже целый том, а читатель все-таки не понимает, в чем дело. Только одна сценка, невзначай рассказанная гр. Толстым (она приведена в начале статьи), бросает луч света на закулисную историю народной войны. Остальное все как в режиссурах: Кутузов, Багратион, Шевардинский редут и проч. Благодаря отсутствию всякого плана и всякой логической концепции между рассказываемыми событиями, роман Толстого можно разогнать не на четыре, а на двадцать четыре тома. Хватит ли только у публики терпения дожидаться конца? А гр. Толстой, кажется, не намерен церемониться и, как слышно, написал уже пятый том. Конца же все нет и нет".

Некий Навалихин в журнале "Дело" (1868, 6), в статье с язвительным заглавием "Изящный романист и его изящные критики", дает такие отзывы о "Войне и мире":

"В том же виде, как роман написан, он представляет ряд возмутительных грязных сцен, которых смысл и значение явно не понимаются автором и которые поэтому равносильны ряду фальшивых нот. Он в таком умилении от

своих героев, что ему кажется каждый их поступок, каждое их слово интересным: на этих страницах видишь уж не героев, а умиление самого автора, восхищающегося людьми, которых вид заставляет содрогаться от ужаса и негодования".

Далее он говорит:

"С начала до конца у гр. Толстого восхваляются буйства, грубость и глупость. Читая военные сцены романа, постоянно кажется, что ограниченный, но речистый унтер-офицер рассказывает о своих впечатлениях в глухой и наивной деревне. Невозможно не чувствовать, однако же, что тут и рассказчик, и слушатели совсем другие, поэтому рассказ непрерывно больно и неловко задевает, как те фальшивые ноты, которые заставляют судорожно искажать лица и скрежетать зубами".

Конечно, подобные дикие выходы не имеют критического значения, а лишь психологическое. Читая их, мы невольно вспоминаем слова Н. Н. Страхова в одной из его критических статей:

"И такие люди судили, судят и будут судить о "Войне и мире!"

В другом месте по поводу этих критиков Н. Н. Страхов говорит следующее:

"Критиков же наша литература не столько занимает, сколько беспокоит своим существованием: они вовсе не желают о ней помнить и думать, а только досадуют, когда она напоминает им о себе новыми произведениями.

Таково действительно было впечатление, произведённое появлением "Войны и мира". Для многих, с наслаждением занимавшихся чтением последних книжек журналов и в них своих собственных статей, было чрезвычайно неприятно убедиться, что есть какая-то другая область, о которой они не думали и думать не хотели и в которой, однако же, созидаются явления огромных размеров и блистательной красоты. Каждому дорого свое спокойствие, самолюбивая уверенность в своем уме, в значении своей деятельности, и отсюда объясняются те озлобленные вопли, которые у нас поднимаются в частности на поэтов и художников, и вообще на все, что уличает нас в невежестве, забвении и непонимании".

Но обратимся к тем серьезным ценителям, которые своими мыслями, изложенными ими по поводу "Войны и мира", что-нибудь прибавляют к содержанию этого произведения и могут до некоторой степени разъяснить недосказанное в нем. Чтобы вывести некоторые общие заключения из множества критических статей, до сих пор, т. е. в течение сорока лет, не перестающих появляться в печати по поводу "Войны и мира", мы должны принять некоторую систему.

При самом беглом обозрении этого произведения мы замечаем в нем три части: художественную, историческую и философскую.

Художественная часть представляет нам разного рода характеры, типы, движение чувств и событий.

Историческая часть распадается на общую историческую и военно-историческую.

Философская часть изображает нам общую основную идею произведения, которую иллюстрируют и подтверждают первые две части.

Эти три части переплетаются между собой, почти совмещаются в некоторых ярких чертах и изображениях — иногда же они распадаются и идут одна за другой, независимо и параллельно.

Постараемся дать лучшие образцы критических суждений по каждой из этих трех частей "Войны и мира".

Чтобы лучше ориентироваться в этом обширном и сложном материале, мы сделаем еще очень важное ограничение. Мы рассмотрим только современные самому произведению критические отзывы 60-х годов, т. е. такие, которые вызваны самим романом, а не общео литературной деятельностью Л. Н-ча. Есть много прекрасных критических статей, написанных в позднейшее время и трактующих о "Войне и мире" с точки зрения теперешнего мировоззрения Толстого. Хотя подобные критические статьи представляют сами собою большой интерес для нас, с биографической точки зрения они имеют иное значение и будут нами рассмотрены в

своем месте. Нам нужно изобразить жизненное событие в тех условиях, в которых оно действительно совершилось.

В художественной области мы дадим образцы суждений двух крайних литературных партий.

Д. И. Писарев в "Отечественных записках" в статье "Старое барство" (1868) говорит следующее:

"Новый, ещё не оконченный роман гр. Толстого можно назвать образцовым произведением по части патологии русского общества. В этом романе целый ряд ярких и разнообразных картин, написанных с самым величественным и невозмутимым эпическим спокойствием, ставит и решает вопрос о том, что делается с человеческими умами и характерами при таких условиях, которые дают людям возможность обходиться без знаний, без энергии и без труда.

Очень может быть, и даже очень вероятно, что гр. Толстой не имеет в виду постановки и решения такого вопроса. Очень вероятно, что он просто хочет нарисовать ряд картин из жизни русского барства во времена Александра I. Он видит сам, старается показать другим, отчетливо, до мельчайших подробностей и оттенков, все особенности, характеризующие тогдашние времена и тогдашних людей, людей того круга, который всего более ему интересен или доступен его изучению. Он старается только быть правдивым и точным: его усилия не клонятся к тому, чтобы поддержать или опровергнуть создаваемыми образами какую бы то ни было теоретическую идею: он, по всей вероятности, относится к предмету свою продолжительных и тщательных исследований с тою невольною и естественною нежностью, которую обыкновенно чувствует даровитый историк к далекому или близкому прошедшему, воскресающему под его

руками; он, быть может, находит даже в особенностях этого прошедшего, в фигурах и характерах выведенных личностей, в понятиях и привычках изображенного общества многие черты, достойные любви и уважения. Все это может быть, все это даже очень вероятно. Но именно оттого, что автор потратил много времени, труда и любви на изучение и изображение эпохи и ее представителей, именно поэтому созданные им образы живут своею собственною жизнью, независимо от намерения автора, вступают сами в непосредственные отношения с читателями, говорят сами за себя и неудержимо ведут читателя к таким мыслям и заключениям, которых автор не имел в виду и которых он, быть может, даже не одобрил бы".

Поняв с такою серьёзностью художественный характер "Войны и мира", Писарев прекрасно резюмирует черты двух героев, представляющих два противоположные психологические типы — Бориса Друбецкого и Николая Ростова. С одной стороны холодный расчет, с другой — непосредственное чувство.

"Николай Ростов — это совершенная противоположность Борису. Друбецкой — расчётлив, сдержан, осторожен, всё измеряет и взвешивает и во всем действует по заранее обдуманному плану. Ростов, напротив того, смел,

пылок, не способен и не любит соображать, всегда поступает очертя голову, всегда весь отдается первому влечению и даже чувствует некоторое презрение к тем

людям, которые умеют сопротивляться воспринимаемым впечатлениям и перерабатывать их в себе.

Борис, без всякого сомнения, умнее и глубже Ростова. Ростов, в свою очередь, гораздо даровитее, отзывчивее и многостороннее Бориса. В Борисе гораздо больше способности внимательно наблюдать и осторожно обобщать окружающие факты. В Ростове преобладает способность откликаться всем своим существом на все, что просит, и даже на то, что не имеет права просить у сердца ответа. Борис, при правильном развитии своих способностей, мог бы сделаться хорошим исследователем. Ростов, при таком же правильном развитии, сделался бы, по всей вероятности, недюжинным художником, поэтом, музыкантом или живописцем.

Существенное различие между обоими молодыми людьми обозначается с первого их шага на жизненном поприще. Борис, которому нечем жить, протискивается по милости своей пресмыкающейся матери в гвардию и живет там на чужой счет, чтобы только быть на виду и почаще приходить в соприкосновение с высокопоставленными особами. Ростов, получающий от отца по 10000 рублей в год и имеющий полную возможность жить в гвардии не хуже других офицеров, идет, пылая воинственным и патриотическим жаром, в армейскую кавалерию, чтобы поскорее побывать в деле, погарцевать на ретивой лошади и удивить себя и других подвигами лихого наездничества. Борис ищет прочной и осязательной выгоды. Ростов желает прежде всего и во что бы то ни стало шума, блеска, сильных ощущений, эффектных сцен и ярких картин. Образ гусара, как он летит в атаку, машет саблей, сверкает очами, топчет трепещущего врага стальными копытами неукротимого

коня, образ гусара, как он размахисто и шумно пирует в кругу лихих товарищей, прокопченных пороховым дымом, образ гусара, как он, закручивая длинные усы, звеня шпорами, блистая золотыми снурками венгерки, своим орлиным взором посеивает тревогу и смятение в сердцах молодых красавиц, — все эти образы, сливаясь в одно смутное, обаятельное впечатление, решают судьбу юного и пылкого графа Ростова и побуждают его, бросив университет, в котором он, без сомнения, находил очень мало для себя привлекательного, кинуться стремглав и окунуться с головою в жизнь армейского гусара.

Борис вступает в свой полк спокойно и хладнокровно, держит себя со всеми прилично и кротко, но ни с полком вообще, ни с кем-либо из офицеров в особенности не завязывает никаких тесных и задушевных отношений. Ростов буквально бросается в объятия Павлоградского полка, пристращается к нему, как в своей новой семье, сразу начинает дорожить его честью, как своею собственною, из восторженной любви к этой чести делает опрометчивые поступки, ставит себя в неловкие положения, ссорится с полковым командиром, кается в своей неосторожности пред синклитом старых офицеров и при всей своей юношеской обидчивости и вспыльчивости покорно выслушивает дружеские замечания стариков, поучающих его уму-разуму и преподающих ему основные начала павлоградской гусарской нравственности.

Борис норовит улизнуть как можно скорее из полка куда-нибудь в адъютанты. Ростов считает переход в адъютанты какой-то изменою милому и родному Павлоградскому полку. Для него это почти все равно, что бросить любимую женщину, чтобы по расчету жениться на

богатой невесте. Все адъютанты, все «штабные молодчики», как он их презрительно называет, в его

глазах какие-то бездушные и недостойные отступники, продавшие своих братьев по оружию за блюдо чечевицы. Под влиянием этого презрения он без всякой уважительной причины, к ужасу и досаде Бориса, в квартире последнего заводит ссору с адъютантом Болконским, ссору, которая остаётся без кровопролитных последствий только благодаря спокойной твёрдости и самообладанию Болконского".

У нас нет возможности делать более длинные выписки, но нам кажется, этого достаточно для указания на характер критики.

Совсем с другого конца берётся за ту же работу литературный антипод Писарева Н. Н. Страхов.

Сначала критик выставляет на вид общие художественные достоинства "Войны и мира" и говорит о силе психологического анализа и о способности автора в живых образах передавать результаты этого анализа. Вот несколько характерных выписок, говорящих об этом:

"Художник ищет следов красоты души человеческой, ищет в каждом изображаемом лице той искры божией, в которой заключается человеческое достоинство личности, — словом, старается найти и определить со всею точностью, каким образом и в какой мере идеальные стремления человека осуществляются в действительной жизни.

В каждом лице автор изображает все стороны душевной жизни — от животных поползновений до той искры героизма, которая часто таится в самых малых и извращенных душах.

Какое бы чувство ни владело человеком, это изображается у Л. Н. Толстого со всеми его изменениями и колебаниями, — не в виде какой-то постоянной величины, а в виде только способности к известному чувству, в виде искры, постоянно тлеющей, готовой вспыхнуть ярким пламенем, но часто заглушаемой другими чувствами. Вспомните, например, чувство злобы, которое князь Андрей питает к Куракину, доходящее до странности; противоречия и перемены в чувствах княжны Марьи, религиозной, влюбчивой, безгранично любящей отца и т. д.

Видеть то, что таится в душе человека под игрою страстей, под всеми формами себялюбия, своекорыстия, животных влечений, — вот на что великий мастер гр. Л. Н. Толстой".

От этой частной психологии критик переходит к психологии рациональной. Опираясь на мысль, высказанную современным критиком Аполлоном Григорьевым о преобладании в нарождающейся русской литературе особого национального типа — смирного, простого, берущего верх над типом блестящим и хищным, мысль, высказанную А. Григорьевым до появления "Войны и мира", Н. Н. Страхов усматривает в "Войне и мире" именно это торжество национального типа и подтверждает это следующими указаниями:

"Война и мир" — эта огромная и пёстрая эпопея — что она такое, как не апофеоз смирного русского типа? Не тут ли рассказано, как, наоборот, хищный тип спасовал перед

смирным, как на Бородинском поле простые русские люди победили все, что только можно представить себе самого героического, самого блестящего, страстного, сильного, хищного, т. е. Наполеона I и его армию?

Все фальшивое, блестящее только по внешности, — беспощадно разоблачается художником. Под искусственными, наружно изящными отношениями высшего общества он открывает нам целую бездну пустоты, низких страстей и чисто животных влечений. Напротив, все простое и истинное, в каких бы низменных и грубых формах оно ни проявлялось, находит в художнике глубоко-

кое сочувствие. Как ничтожны и пошлы салоны Анны Павловны Шерер и Элен Безуховой, и какой поэзией облечен смиренный быт дядюшки!

Художник изобразил со всей ясностью, в чем русские люди полагают человеческое достоинство, в чем тот идеал величия, который присутствует даже в слабых душах и не оставляет сильных даже в минуты их заблуждений и всяких нравственных падений. Идеал этот состоит, по формуле, данной самим автором: в простоте, добре и правде. Простота, добро и правда победили в 1812 году силу, не соблюдавшую простоты, исполненную зла и фальши. Вот смысл "Войны и мира".

Наконец, критик такими словами заключает свою оценку "Воины и мира":

"Кто умеет ценить высокие и строгие радости духа, кто благоговеет перед гениальностью и любит освежать и

укреплять свою душу созерцанием ее произведений, тот пусть порадуется, что живет в настоящее время".

В середине между этими двумя крайними критиками можно поставить Скабичевского, который в своих критических очерках дает основательное и добросовестное обозрение художественной части "Войны и мира". При этом впадает в ту ошибку, что преждевременно уподобляет Л. Н-ча Гоголю, "свихнувшемуся" на 2-й части "Мертвых душ". Скабичевскому кажется, что 2-я часть "Войны и мира" напоминает своим уклонением от философии печальный конец Гоголя. Если в последовавшем за большими романами религиозном кризисе Толстого и можно найти некоторую аналогию с кризисом Гоголя, то уподобление Толстого Гоголю со стороны художественного творчества уже не выдерживает ни малейшей критики. Все мы, пережившие период кризиса Толстого, можем засвидетельствовать то, что творчество Толстого не ослабло ни в количественном, ни в качественном отношении, оно приобрело лишь новую непоколебимую силу, ясность и твердость убеждения.

Историческая критика распадается на два отдела, соответственно содержанию романа, дающего эпизоды общеисторические и собственно события, касающиеся военной истории. "Война и мир" с исторической точки зрения вызвала также весьма разноречивые толки. Начиная с Тургенева, видевшего в исторической части "Войны и мира" лишь "фокус и больше ничего" и до Пятковского, употребляющего в своей статье "Историческая эпоха в романе Л. Н. Толстого" такие выражения: "Чтобы выдержать свою теорию исторического бессмыслия и применить ее к целому ряду фактов, гр. Толстой нарочно старается напутать и

нагородить как можно больше в своем романе". Мы можем найти целый ряд критических статей того времени, не видящих никакого исторического значения за романом "Война и мир".

Но рядом с этим мы видим другой ряд критиков, во главе с Овсянником—Куликовским, который в одной из своих позднейших статей возвеличивает историческое значение "Войны и мира" до степени народного эпоса, называет "Войну и мир" русскими Илиадой и Одиссеей.

Хотя "история" затронута в романе во всей ее широте, но, собственно, "исторической" критики было мало. Так как наиболее яркие картины надо отнести к "военной истории" или, по крайней мере, к той части истории, в которой фигурируют военные события и военные люди, то и наиболее интересные критики можно найти в военной среде.

Из них мы опять приведем как наиболее яркие отрицательные отзывы, так и наиболее серьезные из положительных оценок.

А. Н. Попов, автор замечательной, но, к сожалению, до сих пор еще не появившейся в печати "Истории Отечественной войны 1812 года", сказал однажды в разговоре с В. Скабичевским:

"В числе очень важных исторических материалов, найденных мною, заключается и "Война и мир" Толстого. Конечно, я не пишу историю по роману, но очень часто, при освещении известного события, советуюсь с "Войной и миром". В моих руках много совершенно никому не

известных, новых документов, о которых, очевидно, не имел понятия и Толстой. Документы эти проливают новый свет на очень важные минуты, на основании их я объясняю события совершенно иначе, чем объясняли их мои предшественники, военные историки. И в "Войне и мире" нахожу описание этого события и объяснения его совершенно тождественными с моими описаниями и объяснениями. Очень часто я рассказываю на основании непреложных исторических данных; гр. Толстой, не знакомый с этими данными, рассказывал на основании своего творческого прозрения, а выводы наши выходят одни и те же — так как же мне не советоваться с "Войной и миром"?

Но далеко не все военные были довольны тем, как Л. Н. Толстой изобразил войну 1805–1812 года.

Были такие критики "Войны и мира", которые считали себя лично оскорбленными тем правдивым тоном, которым написаны Л. Н.-чем картины военных событий. Таковы были старые генералы, участники и очевидцы событий. Так, А. С. Норов написал большую критическую статью в этом оскорбленном тоне и поместил ее в "Военном сборнике" под заглавием "Война и мир" с исторической точки зрения и по воспоминаниям современников" (1).

(1) Г. П. Данилевский рассказывает один эпизод, позволяющим сличать оценку критики А. С. Норова. Данилевский, увлеченным красотами произведения Толстого, был очень удивлен, встретив в беседе с Норовым его оскорбление отрицательное отношение к роману. "Более всего, — говорит Данилевский, — Норов нападает на одно место в романе.

— Граф Толстой, — говорил он мне, — рассказывает, как князь Кутузов, принимая в Царёве-Займище армию, был более занят чтением романа Жанлис "Les chevaliers du Cygne", чем докладом дежурного генерала. И есть ли какое вероятие, что Кутузов, видя перед собой все армии Наполеона и готовясь принять решительный ужасный с ним бой, имел время не только читать роман Жанлис, но и думать о нем.

На возражение Данилевского о возможности такого развлечения хотя бы для виду Норов между прочим отвечал: "До Бородина, под Бородином и после него, мы все, от Кутузова до последнего подпоручика артиллерии, каким был я, горели одним высоким и священным огнем любви к отечеству и, вопреки графу Толстому, смотрели на свое призвание, как на некое священнодействие. И я не знаю, как посмотрели бы товарищи на того из нас, кто бы в числе своих вещей дерзнул тогда иметь книгу для легкого чтения, да еще французскую, вроде романов Жанлис".

А. С. Норов через два месяца после напечатания своего отзыва о романе гр. Толстого скончался. В январе 1869 года после его похорон мне было поручено составить, — говорит далее Данилевский, — для одной из газет его некролог. Каково же было мое удивление, когда, собирая источники для некролога, я, в семействе В. П. Поливанова, родного племянника покойного, случайно увидел крошечную французскую книжку из библиотеки Норова: "Похождения Родерика Рандома", и на ее внутренней обертке прочел следующую собственноручную надпись А. С. Норова по-французски: "Читал в Москве раненый и взятый в плен французами, в сентябре 1812 года".

То, что было с подпоручиком артиллерии в сентябре 1812 года, забылось через пятьдесят семь лет престарелым сановником в сентябре 1869 года, так как не подходило под понятие, невольное составленное им в течение времени, о временах двенадцатого года".

(Поездка в Ясную Поляну Г. П. Данилевского. "Историч. вестник", т. XXIII).

Одним из серьёзных военных критиков Толстого является генерал Драгомиров, написавший ряд очерков под названием: "Война и мир" с военной точки зрения". Общий характер критики Драгомирова выясняется из первых слов его очерка:

"Роман Толстого интересен для военного в двояком смысле: по описанию военных и войскового быта и по стремлению сделать некоторые выводы относительно теории военного дела. Первые, т. е. сцены, неподражаемые и, по нашему крайнему убеждению, могут составить одно из самых полезнейших прибавлений к любому курсу теории военного искусства, вторые, т. е. выводы, не выдерживают самой снисходительной критики по своей односторонности, хотя они интересны как переходная ступень в развитии воззрения автора на военное дело" (*).

(1) Драгомиров. ""Война и мир" с военной точки зрения". Спб., 1868, No 4.

Мы не считаем возможным следовать за автором в его восхищениях от описаний военного быта, так как считаем, что чувства эти общи всем читателям "Войны и мира", за самыми малыми исключениями. Не считаем себя также компетентными становиться судьей между критиком и автором для определения, кто из них прав во взглядах на "военную науку". Мы можем только сказать, что

возражения Драгомирова грешат тем, что они разбирают военные взгляды Л. Н-ча как таковые, без их соотношения к основным взглядам автора и к основной идее всего произведения, откуда "военные взгляды" являются неизбежным последствием. Большинство военных критиков сходятся на том убеждении, что из художественных очерков Л. Н. Толстого военные историки могут многому научиться.

Философская, идейная часть "Войны и мира" встретила мало сочувствия в публике, ещё меньше понимания.

Даже Н. Н. Страхов, больше комментировавший, чем критиковавший "Войну и мир", и тот, отнесясь сочувственно к выраженным в романе идеям, говорит, что было бы лучше, если бы философия истории была выделена в отдельный трактат, отчего выиграла бы ясность выраженных мыслей.

Только один проф. Овсяннико—Куликовский в своих недавних очерках признал единство всех элементов (художественного, исторического и философского) "Войны и мира", их взаимно дополняющее значение и с этой точки зрения написал прекрасный анализ национальных и великосветских типов "Войны и мира".

Проф. Кареев в своей публичной лекции в 80-х годах сделал большую ошибку при разборе философии истории в "Воине и мире", выделив этот элемент и подвергнув его критике независимо от связи его со всем произведением. Результат его исследования, конечно, получился отрицательный; отдавая дань художественному реализму автора, он упрекает его в социальном индифферентизме (2).

(2) Кареев. Сочинения.

То отношение автора к известным общественным явлениям, которое Кареев окрестил именем "социального индифферентизма", есть одно из проявлений тех общих идей, которые проходят через весь роман, отражаются в каждом событии, и упрекать автора за это, не подвергнув критике основные его положения, все равно, что упрекать строителя, зачем он сделал на здании квадратную крышу, не сказав, почему не следовало закладывать квадратного фундамента.

Да послужат все эти взаимно уничтожающиеся в своих противоречиях критические курьезы поучением последующим авторам и да предохранят они их от слишком большой чувствительности к этим нападкам и похвалам.

Сам Л. Н-ч не читал критики на свои произведения. Только немногие отзывы его личных друзей, как мы видели, интересовали его. К числу этих дру-

зей можно отнести и Страхова, хотя Л. Н-ч познакомился с ним уже гораздо позже окончания "Войны и мира" и, стало быть, после его критических статей. Из личных сношений со Страховым Л. Н-ч мог знать его отношение к своему произведению и выражал это отношение так:

"Н. Н. Страхов поставил "Войну и мир" на высоту, на которой она и удержалась".

Некоторые иностранные критики касаются идейной стороны "Войны и мира", но критики эти большею частью стали появляться лишь в 80-х годах, когда за границей

уже были распространены "Исповедь", "В чем моя вера?" и др. религиозно-философские произведения Л. Н. Толстого, и потому иностранные критики редко касаются отдельных произведений Л. Н. Толстого, а говорят о его общих идеях, смешивая различные стадии его мировоззрения. Принимая во внимание скудность этой идейной критики, мы с помощью всего имеющегося у нас материала постараемся в кратких словах выяснить идейное значение "Войны и мира" с интересующей нас биографической точки зрения. Другими словами, мы постараемся вкратце описать тот момент идейной жизни Л. Н-ча, который соответствует времени написания "Войны и мира", и посмотрим, как выразилось его тогдашнее мировоззрение в созданных им типах, в описанных им событиях и в изложенных им идеях.

Кипящая страстями бурная природа Л. Н-ча редко когда находила покой. А между тем творческая работа возможна была только при некотором успокоении. И вот мы можем заметить эти периоды покоя по проявлявшейся силе творчества. После бурного периода яснополянской жизни в конце 40-х годов Л. Н-ч едет на Кавказ с братом, и его захватывают впечатления от чудной новой кавказской природы, дикой кавказской военной жизни. Большая часть душевных сил фиксируется, таким образом утоляется ненасытная жажда впечатлений и наступает период успокоения и творчества, появляются "Детство", "Отрочество", "Юность", кавказские, севастьяпольские рассказы. Но вот обстоятельства меняются, меняются люди, и снова бушуют страсти и не находят себе удовлетворения, и в творчестве наступает затишье.

Петербургская литературная жизнь, хозяйство, заграничные поездки — всё это развлекает, но не

успокаивает его. Но вот он возвращается из второго путешествия и отдаётся педагогической деятельности. Снова фиксируется большая часть его душевных сил, и педагогическое творчество выливается из него обильным потоком. Он создает целую систему, дает массу образцов, пишет ряд статей, издаёт журнал.

Конечно, душевная жизнь его шла более сложным, глубоким путём, трудно изобразимым. Мы набрасываем только схему её.

Страдая от мучивших его страстей, он ещё более страдает от мучивших его сомнений. Одним из сильных душевных свойств его был неумолимый анализ всех окружавших его явлений. И этот самый анализ, сжигавший душу его, вызывал неутолимую жажду синтеза, общего вывода, смысла жизни, который дал бы ему равновесие душевных сил. И он не мог найти его.

Припомним его отчаянные слова в "Исповеди", относящиеся к началу 60-х годов:

"В продолжение года я занимался посредничеством, школами и журналами и так измучился, от того особенно, что запутался... что заболел более духовно, чем физически, — бросил все и поехал в степь к башкирам — дышать воздухом, пить кумыс и жить животною жизнью. Вернувшись оттуда, я женился".

Потребность женитьбы, семейной жизни давно беспокоила Л. Н-ча, и, наконец, он у тихой пристани. Семейная жизнь захватывает его с необычайною силою, снова фиксирует его страсти и освобождает его

творческие силы. И в течение первых пяти лет он создает небывалое по силе и могуществу произведение — "Войну и мир".

Какому же моменту его душевного развития соответствовало это произведение?

Посредничество, педагогические занятия, хозяйство — всё это с той или другой стороны сближало Л. Н-ча с народом. Он приходил с ним в самые разнообразные столкновения, изучал его внешний быт и с особым увлечением и умилением проникал в народную душу; нет и не было и не скоро будет еще человека, который бы с такой силой художественного анализа и синтеза, т. е. творчества, воссоздал тип русской народной души во всем разнообразии и во всем его величественном единстве.

Вот это созерцание души народа и неудержимое стремление изобразить ее было, по нашему мнению, одною из сил, создавших "Войну и мир". Но над этим народом, к которому всегда тянулась душа Л. Н-ча, стоял другой класс, так называемый высший, правящий, привилегированный, к которому принадлежал сам Л. Н-ч, носивший в себе наследие многих поколений. Он знал и любил его, как свою родную стихию, как любят семью, дом, родной угол, И к изображению этой части русских людей также влекла душа его. Он искал такое явление русской жизни, в котором бы проявились наиболее ярко характерные черты того и другого класса. Он нашел это явление в наполеоновских войнах начала прошлого столетия.

К интересу характерных положений русского народа и русского высшего общества присоединился еще интерес исторический, и работа эта увлекла все его творческие силы.

Жизнь народа изображена им как могучая стихия, как океан, то отражающий небо, то с всесокрушающей силой смывающий все на своем пути.

Она выразилась и в массовых народных движениях и трогательных отдельных типах, из которых один Платон Каратаев уже составляет эпоху в понимании и изображении русского народа, и в удивительном типе Кутузова, каким-то особенным инстинктом чуявшим направление этой стихийности и умевшим отдавать свои силы не на помеху, а во благо ей.

Жизнь высшего общества изображена им с необычайной психологической глубиной, так сказать, с анатомическим или химическим анализом его элементов. Беспощадно обличая пустоту, тщеславие, всякого рода преступность этого класса, он в то же время дает типы с проявлением высшего морального сознания, до которого только мог он сам подняться в лучшие сильнейшие минуты своей духовной жизни.

Князь Андрей и Пьер Безухов, эти психологические антитезы холодного скептика и наивного мечтателя, с двух противоположных сторон приходят, или, вернее, приводятся жизнью к богу. С необычайной правдивостью и искренностью изображает в них автор разные стороны, разные моменты своей души. Всегда стремившийся к самой высокой религиозной правде, Л. Н-ч в то время еще не признавал ее ясно, не признают ее и его герои. Один страданием, смертью, другой прикосновением к всегда правдивой и потому божественной стихийной народной жизни — приводятся к радостному ощущению, к близости божества, но оно остается для них все же подернутым какою-то неразгаданною тайной.

К этим внутренним идеям, выраженным в "Войне и мире", надо присоединить еще идеи более внешнего, объективного, исторического характера.

В своей статье "Несколько слов по поводу книги "Война и мир" он говорит, между прочим, перечисляя различные пункты, по которым он дает объяснение:

"Наконец, шестое и важнейшее для меня соображение касается того малого значения, которое, по моим понятиям, имеют так называемые великие люди в исторических событиях. Изучая эпоху столь трагическую, столь богатую громадностью событий и столь близкую к нам, о которой живо столько разнороднейших преданий, я пришел к очевидности того, что нашему уму недоступны причины совершающихся исторических событий.

Такое событие, где миллионы людей убивали друг друга и убили половину миллиона, не может иметь причиной волю одного человека: как один человек не может подкопать гору, так не может один человек заставить умирать 500 тысяч".

Развивая такие мысли более подробно в особых и философских главах, Л. Н-ч подвергает критике прежние и новые исторические методы, от Гиббона до Бокля. Давая новые определения свободе воли и закону необходимости, он ставит исторической науке требования изучения и определения законов, по которым совершается движение человечества.

Если же ко всему этому придать художественность изображения всех явлений человеческой жизни, от едва уловимого внутреннего движения души человеческой до

изображения сотысячных армий, смешавшихся в адской битве на Бородинском поле, то получится впечатление необъятности этого произведения, которое, думаем мы, составляет одно из крупнейших событий в жизни Л. Н-ча Толстого.

Но жизнь эта была так полна, так разнообразна и всеобъемлюща, что, несмотря на большую трату ее, ушедшую на создание этого произведения, она проявлялась в то же время еще и во многих менее значительных фактах, к описанию которых мы теперь и приступим.

ГЛАВА 4.

Из частной жизни Льва Николаевича 60-х годов

В нашем кратком историческом очерке "Войны и мира" мы оставили личную жизнь Л. Н-ча на том моменте, когда он, вылечив свою вывихнутую руку, вернулся домой, т. е. в декабре 1864 года.

В 1865 году он ещё продолжает вести свой дневник. 7-го марта он кратко описывает: "Начинаю любить сына".

В сентябре 1864 г. со своею всегдашнею искренностью он записал: "Сын мало близок". Очевидно, что чувства Левина к новорожденному сыну, описанные к "Анне Карениной", списаны Л. Н-чем с натуры, с самого себя. Но малейший проблеск человеческого образа — и Лев Николаевич уже чувствует в себе зарождение отеческой любви.

Весной 1865 года, независимо от работ по писанию "Войны и мира", Л. Н-ч опять читал Гете. В его дневнике того времени есть заметка о "Фаусте" Гете: "Поэзия мысли

и поэзия, имеющая предметом то, что не может выразить никакое другое искусство".

Осенью того же года мы находим такую интересную заметку о чтении:

"Читал Тrolлопа — хорошо. Есть поэзия романиста: 1) в интересе сочетания событий — Бреддон, мои "Казакк" (будущие) (1); в картине нравов, построенных на историческом событии — "Одиссея", "Илиада", "1805 год"; 3) в красоте и весёлости положения — Пиквик, "Отъезжее поле" (2); в характерах людей — Гамлет — мои будущие... А. Г. — распущенность, Ч. — тупой ум, С. — ограниченность успеха, Н. — лень, С. Л. — строгость, честность, тупоумие" (3).

(1) Напечатанная часть "Казаков" есть только начало большого романа, задуманного Л. Н-чем, но никогда не написанного.

(2) "Отъезжее поле" — неоконченная повесть Л. Н-ча, хранится в рукописи в Историческом музее.

(3) Архив Д. Н. Толстого.

Таким образом, Л. Н-ч сам поставил свои произведения на подобающие им места, рядом с известными произведениями всемирной литературы.

Порой Л. Н-ча охватывала жажда любви к себе и другим. Очевидно, благополучная семейная жизнь не могла удовлетворить его. Она отвлекала его своей суетой

от его внутренней работы, но не могла подавить в нем жившего в нем строгого судьи, который нет-нет, да и даст знать о себе.

Так, в феврале 1865 года Л. Н-ч писал Т. А. Берс:

"Да, вот я рассуждаю уж 2-ой день, что очень грустно оттого, что на свете все эгоисты, из которых первый я сам. Я не упрекаю никого, но думаю, что это очень скверно, и что нет эгоизма только между мужем и женой, когда они любят друг друга. Мы живём теперь 2 месяца одни-одиёшеньки с детьми, которые первые эгоисты, и никому до нас дела нет. В Пирогове нас забыли и в Москве, думаем, тоже. И сам понемножку забываешь. Я не могу рассказать, что я хочу, но ты очень молода и потому, может быть, поймешь, а мне два дня все это одно в голове. И особенно Феты навели меня на эту мысль. Как хорошо тому жить и с тем жить, кто умеет любить! Ты, пожалуйста, напиши (все равно, правда или неправда ли), что ты нас любишь — для нас. Я Лорку (собачку) полюбил за то, что она не эгоистка. Как бы это выучиться так жить, чтобы всегда радоваться другому счастью. Ты никому не читай, что я пишу, а то подумают, что я с ума сошел. Я только проснулся и в голове сумбур и раздражение, как будто мне 15 лет, и все хочется понять, чего нельзя понять, и ко всем чувствуешь нежность и раздражение" (4).

(4) Архив Т. А. Кузминской.

Февраль и часть марта они проводили в Москве. Л. Н-ч в заботах о хозяйстве пишет своей тётушке Татьяне Александровне, жившей в Ясной:

"Мы живём по-старому. Соня и дети, слава Богу, здоровы. У Берсов тоже всё хорошо. Мы видаемся с ними каждый день и каждый день кто-нибудь у нас или мы у кого-нибудь бываем — Перфильевы, Горчаковы, Оболенский маленький с женою. Нынче у меня будет Чичерин, которого вы так любите и который всё такой же. Я думаю, Соня вам припишет еще, я же признаюсь, тороплюсь, и пишу с тем, чтобы попросить вас о милости. Я послал вчера на ваше имя семян. Будьте так добры, отдайте их садовнику и скажите, чтобы семена оранжерейных растений, как-то: азалий, камелий, акаций и т. п., не сеял до моего приезда, ежели он не знает верно, в какой земле и как их надо сеять. Мы еще не получили от вас ничего; пожалуйста, напишете нам два слова, чтобы только мы знали, что вы здоровы. Что Сережа и Машенька с детьми?"

При первой возможности они возвращаются в Ясную. Там снова идет семейная суета, родные, гости, хозяйство, охота.

В мае Л. Н-ч пишет интересное письмо Фету, выражая в нем свое настроение:

"Простите меня, любезный Афанасий Афанасьевич за то, что долго не отвечал вам. Не знаю, как это случилось. Правда, в это время был болен один из детей, и я сам едва удержался от сильной горячки и лежал три дня в постели. Теперь у нас все хорошо и даже очень весело.

У нас Таня, потом сестра со своими детьми, и наши дети здоровы и целый день на воздухе. Я все пишу

понемножку и доволен своею работою. Вальдшнепы все еще тянут, и я каждый вечер стреляю по ним, т. е. преимущественно мимо. Хозяйство мое идет хорошо, т. е. мало тревожит меня, — все, что я от него требую. Вот все про меня. На ваш вопрос упомянуть о Ясной Поляне — школе, я отвечаю отрицательно. Хотя ваши доводы и справедливы, но про нее журналы забыли, и мне не хочется напоминать, не потому чтобы я отрекался от выраженного там, но, напротив, потому что не перестаю думать об этом, и ежели бог даст жизни, надеюсь еще из всего этого составить книгу с тем заключением, которое вышло для меня из моего трехлетнего страстного увлечения этим делом. Я не понял вполне то, что вы хотите сказать в статье которую вы пишете, тем интереснее будет услышать от вас, когда свидимся. Наше дело земледельческое теперь подобно делам акционера, который бы имел акции, потерявшие цену и не имеющие хода на бирже. Дело очень плохо. Я для себя решаю его только так, чтобы оно не требовало от меня столько внимания и участия, чтобы это участие лишало меня моего спокойствия. Последнее время я своими делами доволен, но общий ход дел, т. е. предстоящее народное бедствие голода, с каждым днем мучает меня больше и больше. Так странно и даже хорошо и страшно. У нас за столом редиска розовая, желтое масло, подрумяненный мягкий хлеб на чистой скатерти, в саду зелень, молодые наши дамы в кисейных платьях рады, что жарко и тень, а там этот злой черт, голод, делает уже свое дело, покрывает поля лебедой, разводит трещины по высохнувшей земле и обдирает мозольные пятки мужиков и баб и трескает копыта у скотины. Право, страшные у нас погода, хлеба и луга. Как у вас? Напишите повернее и поподробнее.

Боткин у вас. Пожмите ему от меня руку. Зачем он ко мне не заезжает? Я на днях еду в Никольское еще один, без семьи, и потому ненадолго и к вам приеду. Но то-то хорошо было бы, коли бы в это же время судьба принесла вас к Борису. Кланяюсь от себя и жены Марье Петровне. Мы в июне намерены со всею семьей переехать в Никольское, тогда увидимся, и я уж, наверное, буду у вас. Что за злая судьба на вас? Из ваших разговоров я всегда видел, что одна только в хозяйстве была сторона, которую вы сильно любили и которая радовала вас, — это коннозаводство, и на него-то и обрушилась беда. Приходится вам опять перепрягать свою колесницу, а "юхванство" перепрячь из оглобель на пристяжку, а мысль и художество уж давно у вас переезжены в корень. Я уж перепряг и гораздо покойнее поехал. "Довольно" мне не нравится. Личное, субъективное хорошо только тогда, когда оно полно жизни и страсти, а тут субъективность, полная безжизненного страдания" (1).

(1) А. Фет. "Мои воспоминания", т. II, с. 67.

В конце мая Л. Н-ч едет в Никольское, свое второе имение (бывшее имение брата Николая), и делает распоряжение о ремонте, чтобы можно было переехать туда с семьей. Они действительно переезжают туда в июне.

В Никольском Л. Н-ч продолжает писать "Войну и мир". Они жили тихо. Посетителей было очень мало, лишь

соседями за 15 верст были Дьяковы, и они довольно часто виделись с ними.

В Никольском же навестили Толстых супруги Феты. С присущим ему юмором Фет рассказывает об этом посещении:

"Невзирая на некоторую тесноту помещения, мы были приняты семейством графа с давно испытанною нами любезностью и радушием. С приезжими хозяевами был двухлетний сынок, требовавший постоянного надзора, и девочка у груди. Кроме того, у них гостила прелестная сестра хозяйки. К приятным воспоминаниям этого посещения у меня присоединяется и неприятное. Я вообще терпеть не могу кислого вкуса или запаха, а тут, как нарочно, Л. Н. задавался мыслью о целебности кумыса, и в просторных сенях за дверью стояла большая кадка с этим продуктом, покрытая рядиной, и распространяла самый едкий кислый запах. Как бы не довольствуясь самобытной кислотой кумыса, Лев Николаевич восторженно объяснял простоту его приготовления, при котором в прокислое кобылье молоко следует только подливать свежего, и неистощимый целебный источник готов.

При этом граф брал в руки торчащее из кадки весло и собственноручно мешал содержимое, прибавляя: "Попробуйте, как это хорошо!" Конечно, распространявшийся нестерпимый запах говорил гораздо сильнее приглашения.

Когда вечером детей уложили, я по намекам дам упросил графа прочесть что-либо из "Войны и мира". Через две минуты мы были унесены в волшебный мир поэзии и поздно разошлись, унося в душе чудные образы романа.

На другой день мы заранее просили графиню поторопить с обедом, чтобы не запоздать в дорогу.

— Ах, как это будет хорошо! — сказал граф. — Мы все вас проводим в большой линейке. Обвезём вас вокруг фатального леса и возвратимся домой с уверенностью вашего благополучного прибытия в Новосёлки.

Но вот обед кончился, и я попросил слугу приказать запрягать.

— Да, да, всем запрягать! — восклицал граф. — Тройкой долгушу, и мы все пятеро поедem вперёд, а ваш тарантас за нами.

Прошло более часа, а экипаж не подают. Я выбежал в сени и, услышав от слуги обычное "сейчас", — на некоторое время успокоился. Однако через полчаса я снова вышел в сени с вопросом: "что же лошади?" На новое "сейчас" я воскликнул:

— Помилуй, брат, я уже два часа жду! Узнай, пожалуйста, что там такое?

— Дьякона дома нет, — горестно ответил слуга.

Я не без робости посмотрел на него.

— Извольте видеть, их сиятельство приехали сюда четверней, а тут, когда нужен коренной хомут, то берут его на время у дьякона, а сегодня, как на грех, дьякона дома нет.

Не разыскавшийся дьякон положил предел всем нашим веселым затеям, и мы, простившись с радушными хозяевами, еще заблаговременно оказались в Новоселках, откуда на другой же день уехали в Степановку".

Дом Л. Н-ча, несмотря на все претерпенные им пертурбации за 40 с лишком лет, до сих пор сохранил этот характер наивной простоты и отсутствия дорогого комфорта и роскоши.

Среди лета Л. Н-ч был приглашен на большую, роскошно составленную охоту к соседнему помещику

Киреевскому. Не желая оставить свою молодую семью без присмотра, он на это время перевез ее к своей сестре Марье Николаевне. Так как у сестры в доме было тесно, то Софью Андреевну с детьми и

прислугой поместили в бане, где они и прожили благополучно во время двухнедельного отсутствия Л. Н-ча.

От Киреевских Л. Н-ч писал С. А-не, что обстановка охоты была чрезвычайно роскошная, выезжали на несколько дней целым домом, делали привалы в лесу с обедами, шампанским и т. д. Все охотники были в особой форме и составляли нечто вроде конных отрядов.

Вообще, писал он, его интересует не столько охота, сколько типы старого, отживающего и нового, нарождающегося барства.

Поздно осенью вся семья вернулась в Ясную Поляну. Вероятно, Л. Н-ч заезжал в Ясную в течение лета, так как мы находим в его записной книжке того времени следующую замечательную запись:

"1865 г. августа 18-го. Ясная Поляна. Всемирно-историческая задача России состоит в том, чтобы внести в мир идею общественного устройства поземельной собственности.

"La propriete — c'est vol" (1) [(1) Собственность есть воровство.] останется больше истиной, чем истина английской конституции, до тех пор пока будет существовать род людской. Эта истина абсолютная, но есть и вытекающие из неё истины относительные — приложения. Первая из этих относительных истин есть

воззрение русского народа на собственность. Русский народ отрицает собственность самую прочную, самую независимую от труда, и собственность, более всякой другой, стесняющую право приобретения собственности другими людьми, собственность поземельную. Это не есть мечта — она факт, выразившийся в общинах крестьян, в общинах казаков. Эту истину понимает одинаково ученый русский и мужик, который говорит: пусть запишут нас в казаки, и земля будет вольная. Эта идея имеет будущность. Русская революция только на ней может быть основана. Революция не будет против царя и деспотизма, а против поземельной собственности. Она скажет: с меня, с человека, бери и дери, что хочешь, а землю оставь всю нам. Самодержавие не мешает, а способствует этому порядку вещей.

Всё это видел во сне 13-го августа" (2).

(2) Архив Л. Н-ча Толстого.

Мы видим, таким образом, что великая идея уничтожения земельной собственности, распространяемая Л. Н-чем в настоящее время и вызвавшая его симпатии к проекту Джорджа, зародилась еще сорок лет тому назад. Сон есть, несомненно, отражение действительности. И если Л. Н-ч мог видеть или, вернее, думать во сне с такою ясностью, то это служит нам доказательством того, как напряженно занимала его эта мысль наяву. Затем попадаетеся снова заметка о чтении:

"23-го сентября читал *Consuelo* (Жорж Санд). Что за превратная дичь с фразами науки, философии, искусства

и морали — пирог с затхлым тестом и на гнилом масле с трюфелями, стерлядями и ананасами!"

В этом году он также читал Мольера.

1-го ноября 1865 года Л. Н-ч прекращает писать дневник и делает перерыв на 13 лет. Мы полагаем, что причиной тому отчасти семейно-хозяйственные заботы, отчасти его увлечение литературным творчеством, поглощавшим всё его духовное существо.

Мы уже упомянули, что в это время одним из любимых занятий Л. Н-ча была охота. Вот один из эпизодов охоты, записанный Т. А. Кузминской, частой спутницей Л. Н-ча в его охотничьих поездках:

316

"...Он был неугомоним, и его увлечение на охоте было так сильно, что, помню, раз я заехала немного вперёд его и чувствую, что седло подо мною ползёт понемногу вбок, и, боясь упасть и запутаться в стремях, я остановила лошадь в ожидании Бибикова или Л. Н-ча; вдруг слышу топот и вижу: летит заяц, за ним все борзые, и мои две туда же присоединяются, за ними Л. Н-ч. Я кричу ему: "Левочка, падаю, седло свернулось". Он мне кричит на скаку: "Душенька, сейчас, подожди". Я, конечно, поняла его вполне, что он не остановился, и с нетерпением ожидала его, висая на боку. К счастью, лошадь Белогубка, на которой я всегда ездила, остановилась, как врытая в землю, и Л. Н-ч через несколько секунд вернулся, но без зайца. Заяц же ушел в кусты.

...В первые года я помню, как мы ходили с ним ловить щук. Выбирали узкие места в Воронке, он вставлял сеть на

палке, а мы с сестрою, и кто еще бывал, болтали воду, и таким образом рыба шла в сеть, которую он держал, и этим он увлекался".

В тихой яснополянской жизни были особые, местные увеселения. Съезжались родные, соседи, и праздник Рождества проводили особенно весело.

Порой эти увеселения принимали буйный, неудержимый характер, особенно когда в них принимал участие Сергей Николаевич Толстой, со своей страстной, веселой, артистической натурой.

Вот что пишет об одном из таких веселий гр. С. А. своей сестре в январе 1865 года:

"...Решили, что будет великолепный бал и маскарад в Крещение, с пирогом с бобом, с ряжеными, и Сережа взялся сам одеть своих и привезти. Такая пошла суета, весь дом пошел вверх дном. Лева и я устраивали трон. На большом столе из столовой поставили два кресла с золотыми двуглавыми орлами, все — и стены, и столы, и ступеньки на столе — обтянули зеленым сукном, сверху сделали вроде крыши из белого одеяла с красными цветами, положили короны, ордена. Поставили цветы, лавровые и померанцевые деревья — просто великолепно! Это устроили в гостиной, перед стеклянной дверью, лишнюю мебель вынесли, сделали просторно. Варю одели пажом, в буклях, черная бархатная шапочка с малиновым пером и золотым околышком, белая куртка, малиновый жилет, белые панталоны и сапожки с малиновыми отворотами. Она была чудно как хороша! Лиза была одета, как одеваются в Алжире: на ней было столько напутано, что я уже и не припомню всего. Душку Лева одел старым отставным майором. Чудо как хорошо! Сережу — его женой. Работника — кормилицей; Ваську Белку, сына

повара, спеленали и дали ему на руки. Потом устроили лошадь из двух людей, а на лошади Душка. Уже наши все были одеты; 7-ой час, а Сережи нет. Мы уже стали отчаиваться, как вдруг колокольчики — и ввалился Сережа с огромной компанией, сундуком и разными штуками. Их повели в мою спальню, они там одевались; Лева одевал своих в кабинете, Машенька своих — у тетеньки в комнате. Я заботилась об освещении, угощении и, главное, о детях. Потом приехали музыканты, скрипка и бандура, вроде огромной, очень звучной, круглой гитары. Музыканты заиграли, двери отворили, вышли наши пары, впереди карлик, одетый чертом, потом пары Сережины. Гриша с медными тарелками, одетый арлекином, весь в бубенчиках, потом два мальчика Пьеро, два брата Бабуринские, потом его горничная и кучерова жена — барин с барыней, потом мальчик пастушкой. Все это с бубнами, шумом, хлопушками и тарелками, и сзади всех огромный почти до потолка великан, отлично сделанный. Под великаном был Кел-

лер, который и заставлял его плясать. Эффект был такой, что и сказать тебе не могу. Пришло пропасть дворовых, Арина, одетая немцем, начали есть пирог. Боб попался Брандту, и он выбрал Вареньку, и их посадили на трон, а потом уж пошел такой хаос, что и описать нельзя. Песни, пляски, игры, драки пузырями, хлопушки, жгуты, хороводы, угощения и, наконец, бенгальский огонь, от которого у всех была головная боль и рвота. Я все больше сидела внизу, с детьми, меня, признаюсь, не радовала вся

эта суета. Целые дни заботы об обедах, ужинах, постелях, угощении и проч. Только ужасно я радовалась за девочек, которые были на верху блаженства. Пропировали до третьего часу. На другой день все остались у нас, мы ездили на двух тройках кататься и все перегоняли друг друга, тоже с большим азартом".

Вообще это время в середине 60-х годов было одно из безмятежных и веселых периодов семейной жизни Толстых. Супруги были соединены самой тесной привязанностью. А. Н-ч в письмах к друзьям называл шутя это время "медовым месяцем", играл на гитаре и пел нежные песни: "Скажите ей, что пламенной любовью". После рождения второго ребенка, Тани (в сентябре 1864 г.), когда С. А. оправилась от болезни, в ней, по ее собственным словам явилась потребность интеллигентной, эстетической жизни. Она отдалась изучению английского языка. Много читала, увлекалась стихами Фета, рисованием. А. Н-ч нашел в ней способность к рисованию и хотел взять учителя, но это не удалось, и художественный талант С. А. так и остался без развития. Но среди всего этого веселья, идиллии и эстетики у С. А. проявлялись минуты грусти. Так, рассказывала она, что среди бурного веселья, вызванного маскарадом, ей стало грустно, веселье это показалось диким, непривычным для ее воспитанной в скромной городской обстановке души. Она ушла от этого веселья вниз к детям и отпустила наверх свою няню.

Зимой, в январе 1866 г. со всей семьей А. Н-ч отправился в Москву, где они и прожили около шести недель на Б. Дмитровке. В это время А. Н-ч печатал в "Русском вестнике" 2-ую часть "1805 года". Он читал ее в корректуре своим приятелям: Перфильеву, Оболенскому,

Аксакову и др. В эту же зиму Л. Н-ч стал заниматься скульптурой и посещал рисовальную школу, но это увлечение продолжалось недолго, 7-го марта Толстые снова вернулись в Ясную Поляну, прожив в Москве шесть недель.

Там Л. Н-ч продолжал заниматься скульптурой и лепил бюст своей жены. Вероятно, он не кончил этой работы, так как она в Ясной Поляне не сохранилась.

Из Москвы Л. Н-ч писал своей тетке Татьяне Александровне:

"Мы вчера переехали на квартиру, где намерены прожить до 23-го. До сих пор наш переезд и наше пребывание в Москве совершенно удачны и приятны. Мы и дети здоровы, наши родные тоже. Квартиру мы нашли на Дмитровке, в доме Хлудова, бельэтаж в 6 комнат, прекрасно меблированных, с дровами, самоваром, водой, всей посудой, серебром и бельем столовым, за 155 руб. в месяц, наняли повара за 10 р. в месяц, так что мы проживем это время как дома, со всеми удобствами.

Мы от вас не получили еще ни одного письма. Напишите нам, пожалуйста. Мы разберем, как бы вы ни написали. Соня вам, верно, напишет в этом письме и отпишет все о Сереженьке, что вас, мы знаем, больше всего интересует. Он дня три тому назад было закашлялся, и надо было видеть испуг дедушки и бабушки. Они не меньше нас любят наших детей. Для больной Тани призывали специалиста доктора, и он утешил нас, уверяя, что у ней нет ещё

грудной болезни. Но он сказал, что ее надо беречь. Она было очень ослабела от лихорадки, которая у нее продолжалась и здесь, но теперь уже третий день, как ее нет" (1).

(1) Архив Л. Н. Толстого.

22 мая 1866 г. родился сын Илья. Увеличение семейства заставляет их взять, кроме няни, к старшим детям бонну и англичанку, и это незначительное обстоятельство как-то сразу меняет весь домашний режим.

Л. Н-ч в это время усердно занимался хозяйством, выписывал породистых производителей, улучшая породу скота, свиней, птиц.

Товарищем и советчиком его в этом деле был его друг и сосед Дм. Алекс. Дьяков. Л. Н-ч очень любил его и считал хорошим хозяином. Дьяков часто приезжал в Ясную и всегда оживлял всех своими рассказами. У него было много юмора, он был добродушен, весел и приятен. В 1866 г. Л. Н-ч, между прочим, занимался посадкой березовой рощи, представляющей теперь прекрасный березовый лес.

В ноябре Л. Н-ч ездил в Москву и работал там в Румянцевском музее, разбирая масонские рукописи.

С. А. скучает одна в Ясной, как это видно из ее писем, но радуется на детей и поглощена заботами о них.

В это время в 1866 году осенью была уже открыта Московско—Курская жел. дорога, и сношения с Москвой стали легче и потому чаще.

В марте 1867 года в ночь с 14-го на 15-ое в Ясной Поляне произошел пожар, уничтоживший старинную оранжерею, находившуюся в саду Л. Н-ча. Вот как записывает об этом в своем дневнике Софья Андреевна:

"...Вчера ночью, часов в 10, загорелись наши оранжереи и сгорели все дотла. Я уже спала, Лева разбудил меня, в окно я увидела яркое пламя. Левочка вытащил детей садовника и их имущество; я бегала на деревню за мужиками. Ничего не помогло, все эти растения, заведенные еще дедом и которые росли и радовали три поколения, — все сгорело".

Первые годы семейной жизни Толстых, при всем их благополучии и взаимном счастье, были омрачены нравственными страданиями двух близких им людей — гр. Сергея Николаевича Толстого, старшего брата Л. Н-ча, и Татьяны Андреевны Берс, младшей сестры гр. С. А. Толстой. И он, и она, тесно привязанные к новой семье Л. Н-ча, не замедлили сблизиться в их доме, и между ними зародилось сильное чувство любви. Трагизм этого чувства заключался, с одной стороны, в том, что между ними было более 20 лет разницы. Для 17-летней девушки это было первое сильное чувство, а для почти 40-летнего Серг. Ник., уже сильно и страстно пожившего, это было последнее увлечение его пылкой натуры. С другой стороны, трагизм был в том, что Т. А. отдавалась своему чувству вполне свободно, а Сергей Никол, уже был давно женат, хотя и не венчан, имел детей и был привязан к своей семье. Но эта так называемая "незаконная связь" не признавалась светским крутом его знакомых, а родным Татьяны Андреевны казалось весьма естественно порвать с этой "незаконной связью" и заключить новый, прочный и законный союз.

Но Сергей Ник. Толстой, человек с рыцарски-благородной душой, глубоко страдал от этого положения, долго колебался, и нравственное чувство заставило его остаться верным своей первой и потому самой законной семье.

Но увлечение его было сильно, и потому страдания от разрывания его существа на две части были очень велики. Новое чувство охватило его с не-

обычайной силой. Когда гр. Толстая сообщила ему из письма своей сестры, что она его любит, он воскликнул: "Она нищему подарила миллион!"

Разумеется, и со стороны девушки были страдания от той нерешительности и колебаний, которые она замечала в предмете своей любви.

Года два тянулось это нерешительное и напряженное состояние. Но Серг. Ник. удержал за собою нравственную позицию, а Татьяна Андреевна, поддерживаемая всевозможной лаской и самой нежной любовью С. А. и Л. Н-ча Толстых, сумела стойко пережить и залечить эту первую рану и затем избрать себе, уже с более серьезным чувством, достойного спутника на всю жизнь.

Серг. Ник. Толстой для устройства гражданских прав своих детей решил повенчаться со своей женой, и, по странной игре судьбы, обе четы встретились летом 1867 года на перекрестке близ Тулы, когда они ехали в подгородные села назначать священникам дни их венчаний.

Все эти передраги семейной, родственной жизни вызвали целый ряд самых душевных писем между участниками событий и особенно со стороны Л. Н-ча, который со своим обычным тактом и мудростью, не насилуя ничьей совести, сумел направить эти чувства в их нормальные русла. Интимный характер этой переписки не дает нам права на ее опубликование.

Но мирная устойчивая яснополянская жизнь не могла быть нарушена этими прошедшими над ее горизонтом грозowymi тучами, и она шла все тем же порядком.

В июне 1867 года Л. Н. писал своему другу Фету интересное письмо:

"Ежели бы я вам писал, милый Афанасий Афанасьевич, всякий раз, как я о вас думаю, то вы бы получали от меня по два письма в день. А всего не выскажешь и, кроме того, то лень, то слишком занят, как теперь. На днях я приехал из Москвы и предпринял строгое лечение под руководством Захарьина, и, главное, печатаю роман в типографии Риса и готовлю и посылаю рукопись и корректуры, и должен делать так день за днем под страхом штрафа и несвоевременного выхода. Это и приятно, и тяжело, как вы знаете. О "Дыме" я вам хотел писать давно и, разумеется, то самое, что вы мне пишете. От этого-то мы и любим друг друга, что одинаково думаем умом сердца, как вы называете. (Еще за это письмо спасибо вам большое: ум ума и ум сердца, — это многое мне объяснило). Я про "Дым" думаю то, что сила поэзии лежит в любви; направление этой силы зависит от характера. Без силы любви нет поэзии, ложно направленная сила, неприятный слабый характер поэта претит. В "Дыме" нет ни к чему почти любви и нет почти поэзии. Есть любовь только к прелюбодеянию легкому и

игривому, и потому поэзия этой повести противна. Я боюсь только высказывать это мнение, потому что я не могу трезво смотреть на автора, личность которого не люблю, но, кажется, мое впечатление общее всем. Еще один кончил. Желаю и надеюсь, что никогда не придет мой черед. И о вас то же думаю. Я от вас все жду, как от двадцатилетнего поэта, и не верю, чтобы вы кончили. Я свежее и сильнее вас не знаю человека. Поток ваш все течет, давая то же известное количество ведер воды — силы. Колесо, на которое он падал, сломалось, расстроилось, принято прочь, но поток все течет, и ежели он ушел в землю, он где-нибудь опять выйдет и завертит другие колеса. Ради бога, не думайте, чтобы я вам говорил потому, что долг платежом красен, и что вы мне всегда говорите подбадривающие вещи, нет, я всегда и об одном вас так думаю".

Последующие годы протекают без особо выдающихся событий.

Зиму 1868 г. (январь–февраль) Л. Н-ч проводит со всей семьей в Москве на Кисловке.

В этом году его посещает и гостит у него Скайлер, американский консул, о котором мы уже упоминали и о котором будем еще упоминать при изложении педагогического периода.

В 1869 г., 20-го мая, рождается третий сын, Лев. В этом 69 году, 30-го августа, Л. Н-ч писал Фету:

"Получил ваше письмо и отвечаю не столько на него, сколько на свои мысли о вас. Уж верно я не менее вашего

тужу о том, что мы так мало видимся. Я сделал планы приехать к вам и делаю еще. Но до сих пор вот не готов шестой том, который я думал кончить месяц тому назад, — до сих пор, хотя весь давно набран, — не кончен.

Знаете ли, что было для меня нынешнее лето? — Не перестающий восторг пред Шопенгауэром и ряд духовных наслаждений, которых я никогда не испытывал. Я выписал все его сочинения и читал и читаю (прочел и Канта). И верю, ни один студент в свой курс не учился так много и столь многого не узнал, как я в нынешнее лето. Не знаю, переменю ли я когда мнение, но теперь я уверен, что Шопенгауэр — гениальнейший из людей. Вы говорили, что он так себе кое-что писал о философских предметах. Как кое-что? Это весь мир в невероятно ясном и красивом отражении. Я начал переводить его... Не возьметесь ли и вы за перевод его? Мы бы издали вместе. Читая его, мне непостижимо, каким образом может оставаться имя его неизвестным. Объяснение только одно, то самое, которое он так часто повторяет, что кроме идиотов, на свете почти никого нет. Жду вас с нетерпением к себе. Иногда душит неудовлетворенная потребность в родственной натуре, как ваша, чтобы высказать все накопившееся.

Уже написав это письмо, решил окончательно свою поездку в Пензенскую губернию для осмотра имения, которое я намерен купить в тамошней глуши. Я еду завтра, 31-го, и вернусь около 13-го. Вас же жду к себе и прошу вместе с женой к ее именинам, т. е. приехать 15-го и пробыть у нас, по крайней мере, дня три".

В эту поездку для осмотра пензенского имения, наивно описанную в воспоминаниях его слуги С. П. Арбузова, со Л. Н-чем произошел следующий эпизод, описанный им самим в письме к графине С. А.:

"Что с тобой и детьми? Не случилось ли что? Я второй день мучаюсь беспокойством. Третьего дня в ночь я ночевал в Арзамасе, и со мной было что-то необыкновенное. Было два часа ночи, я устал страшно, хотелось спать и ничего не болело. Но вдруг на меня напала тоска, страх, ужас, такие, каких я никогда не испытывал. Подробности этого чувства я тебе расскажу впоследствии, но подобного мучительного чувства я никогда не испытывал и никому не дай бог испытать. Я вскочил, велел закладывать. Пока закладывали, я заснул и проснулся здоровым. Вчера это чувство в гораздо меньшей степени возвратилось во время езды, но я был приготовлен и не поддавался ему, тем более, что оно и было слабее. Нынче чувствую себя здоровым и веселым, насколько могу быть без семьи. В эту поездку я в первый раз почувствовал, до какой степени сросся с тобой и с детьми. Я могу оставаться один в постоянных занятиях, как я бываю в Москве, но как теперь, без дела, я решительно чувствую, что не могу быть один" (1).

(1) Архив гр. С. А. Толстой.

ГЛАВА 5.

Казнь рядового Шибунина

Летом 1866 г. произошло событие, в котором Л. Н-чу пришлось принимать участие и на котором следует подольше остановиться. Это событие была казнь солдата

пехотного полка, расположенного близ Ясной Поляны. Конечно, Л. Н-ч участвовал в этом деле как защитник подсудимого. Вот краткая характеристика этого несчастного, по описанию одного из свидетелей совершенного злодеяния.

Ротным писарем во 2-й роте числился только что переведенный туда, находившийся в разряде штрафованных, рядовой Василий Шибунин, поступивший в военную службу "охотником", т. е. нанявшийся за другого рекрута. Ему было 24 года. Роста он был небольшого, коренастый, с толстой красной шеей и несколько рыжеватыми волосами, — вообще, фигура его не производила особенно приятного впечатления. Незаконнорожденный сын, по слухам, какого-то довольно значительного барина, Шибунин начал помнить себя в деревне в одной из центральных губерний, куда он был отдан двухлетним ребенком на воспитание. В ноябре 1862 года он появился в Н-ском рекрутском присутствии в качестве "охотника". Если выдавалась свободная минута, любимым времяпрепровождением Шибунина было лечь в постель и, потягивая из горлышка деревенскую сивуху, помечтать об "отце", на ночь почитать требник или евангелие, которые он давно знал наизусть. Ротный командир, академист, поляк, за какую-то неисправность по службе и за пьянство посадил Шибунина в карцер. По выходе оттуда Шибунин получил приказание ротного командира составить очень нужную бумагу для командира батальона. Для храбрости он выпил еще изрядное количество водки, и когда пришедший за рапортом ротный командир спросил его: "Ты приготовил рапорт батальонному командиру?" Шибунин, не отвечая, бледный, трясущимися руками подал требуемую начисто

переписанную бумагу. Ротный командир посмотрел на него, но, очевидно, не заметив ничего особенного, принялся читать приготовленный рапорт. Шибунин воспользовался этой минутой и, выскользнув из избы, в сенях прямо из горлышка влил в себя еще новую бутылку водки и вернулся в канцелярию. Рапорт не понравился ротному командиру, он его смял и швырнул в писаря. Возбужденный вином, озлобленный, Шибунин наговорил своему начальнику дерзостей, на что тот, обращаясь к фельдфебелю, сказал:

— Фельдфебель, он опять пьян... Отправь его сейчас в карцер, а после ученья приготовь розог.

И командир, спокойно надевая на ходу свою белую замшевую перчатку, круто повернулся и вышел из избы. Его догнал Шибунин и с искаженным тобою лицом проговорил:

— За что, за что вы меня мучаете?

Командир, конечно, не удостоил его ответом.

— Молчите! — хрипло крикнул ему Шибунин. — Меня розгами? Так вот же тебе, поляцкая харя!.. — И звонкая пощечина громко раздалась по улице.

Капитан Н. подал в этот же день два рапорта: один о преступлении Шибунина, другой о своей болезни, а командир полка донес по начальству, и через пять дней было получено предписание командующего войсками Мос-

ковского военного округа генерал-адъютанта Гильденштубе; на основании 604 ст. военно-полевых законов предать Шибунина военно-полевому суду. Один

из офицеров, некто Стасюлевич, принял к сердцу интересы обвиняемого и немедленно отправился вместе с подпоручиком Колокольцевым в Ясную Поляну ко Льву Николаевичу Толстому.

Рассказав Льву Николаевичу всю суть этого происшествия, оба молодых офицера обратились к нему с просьбою принять на себя защиту несчастного Шибунина.

А. Н-ч выслушал их очень внимательно и с полной готовностью изъявил свое согласие принять все зависящие от человека меры если не к оправданию, то хотя бы к некоторому облегчению участи подсудимого.

Военно-полевой суд, как известно, не ожидает сроков, и дело ведется быстро, а потому, когда на другой день граф поехал к командиру полка, обвинительный акт Шибунина был уже готов, но еще не вручен обвиняемому. Нечего и говорить, что полковник Юноша с величайшим удовольствием изъявил свое согласие на предложение графа принять на себя защиту Шибунина.

А. Н-ч Толстой отлично сознавал отчаянное положение дела Шибунина как солдата, но он верил в возможность его защиты как человека, и если не оправдания, то значительного смягчения наказания. Заседание суда было назначено в 11 часов утра, но А. Н-ч прибыл туда целым часом раньше. Час этот был нужен ему. Он желал ободрить и подкрепить дух подсудимого. Небольшой зал маленького помещичьего дома квартиры полкового командира наскоро превратили в зал судебных заседаний, и вот здесь-то было назначено разбирательство дела Шибунина. Председателем военно-полевого суда был назначен командир полка, полковник Юноша, а прочие судьи были местные полковые офицеры. Прокурор прибыл из Москвы. Немногие из окружающих помещиков знали о дне

заседания полевого суда, об участии в процессе в качестве защитника подсудимого гр. А. Н. Толстого, да и время было жаркое для земледельца — разгар рабочей поры, но кто знал, воспользовался случаем и приехал в суд. Было несколько приехавших из Тулы, но, в общем, "публики" было немного. Председатель объявил о предстоящем разборе дела и приказал ввести подсудимого. Прочитали определение о предании Шибунина военно-полевому суду, заменявшее собою обычный обвинительный акт, удостоверявшее, что подсудимый, питая злобу к ротному командиру, давно задумал свое намерение и осуществил только в тот злополучный день 6-го июня, для чего умышленно натошак выпил полтора штофа водки.

Судебное следствие скоро окончилось. Слово было предоставлено представителю обвинения. Прокурор сказал сухую, совершенно формальную речь, всю пересыпанную статьями закона, ссылкой на них и пр.

Прошло несколько мгновений общего напряженного внимания, и граф А. Н-ч поднялся.

Речь его, уверенная, спокойная, ясная, сразу настолько овладела общим вниманием, что задние ряды привстали и придвинулись к передним.

А. Н-ч сказал следующее:

"Рядовой Василий Шибунин, обвиняемый в умышленном и сознательном нанесении удара в лицо своему ротному командиру, избрал меня своим защитником, и я принял на себя эту обязанность, несмотря на то, что преступление, в котором обвиняется Шибунин, есть одно из тех, которые, нарушая связь военной дисциплины, не могут быть рассматриваемы с точки зрения соразмерности вины с наказанием и всегда должны быть наказываемы. Я при-

нял на себя эту обязанность, несмотря на то, что сам обвиняемый написал свое сознание, и потому факт, устанавливающий его виновность, не может быть опровергнут, и несмотря на то, что он подвергается 604 ст. воен. угол. закон., которая определяет только одно наказание за преступление, совершенное Шибуниным.

Наказание это — смерть, и потому казалось бы, что участь его не может быть облегчена. Но я принял на себя его защиту, потому что наш закон, написанный в духе предпочтительного помилования десяти виновных пред наказанием одного невинного, предусматривает все в пользу милосердия, и не для одной формальности определяет, что ни один подсудимый не входит в суд без защитника, следовательно, без возможности ежели не оправдания, то смягчения наказания. В этой уверенности на формальность я приступаю к своей защите.

По моему убеждению, обвиняемый подлежит действию ст. 109 и 116, определяющих уменьшение наказания по доказанности тупости и глупости преступника и невменяемости по доказанному умопомешательству.

Шибунин не подвержен постоянному безумию, очевидному при докторском освидетельствовании, но душевное состояние его находится в ненормальном положении: он душевнобольной, лишенный одной из главных способностей человека, способности соображать последствия своих поступков. Ежели наука о душевных болезнях не признала этого душевного состояния болезнью, то я полагаю, прежде чем произносить смертный приговор, мы обязаны взглянуть пристальнее на

это явление и убедиться, есть ли то, что я говорю, пустая отговорка или действительный, несомненный факт. Состояние обвиняемого есть, с одной стороны, крайняя глупость, простота и тупость, предвиденная в ст. 109 и служащая к уменьшению наказания. С другой стороны, в известные минуты, под влиянием вина, возбуждающего к деятельности, — состояние умопомешательства, предвиденное 116 ст. Вот он стоит перед вами с опущенными зрачками глаз, с равнодушным, спокойным и тупым лицом, ожидая приговора смерти, ни одна черта не дрогнет на его лице ни во время допросов, ни во время моей защиты, как не дрогнет он и во время объявления смертного приговора и даже в минуту исполнения казни. Лицо его неподвижно не вследствие усилия над собою, но вследствие полного отсутствия духовной жизни в этом несчастном человеке. Он душевно спит теперь, как он и спал всю свою жизнь, он не понимает значения совершенного им преступления, так же как и последствий, ожидающих его.

Шибунин — мещанин, сын богатых, по его состоянию, родителей; он был отдан учиться сначала, как он говорит, к немцу, потом в рисовальное училище. Выучился ли он чему-нибудь, нам неизвестно, но надо предполагать, что учился он плохо, потому что ученье его не помогло ему дать средства откупиться от военной службы. В 1855 г. он поступил на службу и вскоре, как видно из послужного списка, бежит, сам не зная куда и для чего, и вскоре так же бессознательно возвращается из бегов. Через несколько лет Шибунин производится в унтер-офицеры, как надо предполагать, единственно за свое умение писать, и в продолжение всей своей службы занимается только по канцеляриям. Вскоре после своего производства в унтер-

офицеры Шибунин вдруг без всякой причины теряет все выгоды своего положения на службе вследствие своего ничем не объясненного поступка: он тайно уносит у своего товарища не деньги, не какую-либо ценную вещь, даже не такую вещь, которая может быть скрыта, но казенный мундир и тесак и пропивает их. Не пола-

гаю, чтобы эти поступки, о которых мы узнаём из послужного списка Шибунина, могли служить признаками нормального душевного состояния подсудимого. Подсудимый не имеет никаких вкусов и пристрастий, ничто не интересует его. Как только он имеет деньги и время, он пьет вино, и не в комнате товарищей, а один, как мы видим это из самого обвинительного акта. Он делает привычку к пьянству со второго года своей службы и пьет так, что, выпивая по два штофа водки в день, не делается оживленнее и веселее обыкновенного, а остается таким же, каким вы его теперь видите, только с потребностью большей решительности и предприимчивости и еще с меньшей способностью сообразительности. Два месяца тому назад Шибунин переводится в Московский полк и определен писарем во вторую роту. Болезненное душевное состояние его с каждым днем ухудшается и доводит его до теперешнего состояния. Он доходит до совершенного идиотизма, он носит на себе только облик человека, не имея никаких свойств и интересов человечества; целые дни в 30-градусные жары эта физически здоровая сангвиническая натура сидит безвыходно в душной избе и пишет

безостановочно целые дни какие-нибудь один-два рапорта и вновь переписывает их. Все интересы Шибунина сосредоточиваются на словах рапортов и на требованиях ротных командиров. Бессмысленно для него тянущиеся целые дни не дают ему иногда времени пообедать и выспаться, работа не тяготит его, но только приводит в большее и большее состояние отупения. Но он доволен своим положением и говорит своим товарищам, что ему значительно легче и лучше служить здесь, чем в Лейб-Екатеринославском гренадерском полку, из которого он переведен. Он тоже не имеет причины жаловаться на своего ротного командира, который говорил ему не раз (так передал мне сам Шибунин): "коли не успеваешь, так возьми еще одного, двух писарей". Дни его проходят в канцелярии или в сенях у ротного командира, где он подолгу дожидается, или в одиноком пьянстве. Он пишет и пьет, и душевное состояние его доходит до крайнего расстройств. В это-то время в его отуманенной голове возникает одинокая мысль, относящаяся до той узкой сферы деятельности, в которой он вращается, и получает силу и упорство пункта помешательства. Ему вдруг приходит мысль, что ротный командир ничего не понимает в делах, в искусстве написать рапорт, которым гордится каждый писарь, что он знает лучше, как написать, что он пишет хорошо, отлично напишет, а ротный командир, не зная дела, заставляет переправлять и переписывать и, портя само дело, прибавляет ему работы, не дающей иногда времени и заснуть, и пообедать. И эта одинокая мысль, запавшая в расстроенную вином, отупевшую голову, под влиянием раздражения, оскорбленного самолюбия, беспрестанных повторений тех же требований со стороны ротного командира и

постоянного сближения с ним, — эта мысль и вытекающее из нее озлобление получает в больной душе подсудимого силу страстного пункта помешательства.

Спросите у него, почему и для чего он сделал свой поступок. Он скажет вам (и это единственный пункт, о котором он, приговаривающийся к смерти человек, говорит с одушевлением и жаром), он скажет вам, как написал в своем показании, что побудительными причинами к его поступку были частые требования ротного командира переделывать бумаги, в которых будто бы он, ротный командир, менее понимал толку, чем сам Шибунин, или скажет, как он сказал мне на вопрос, почему он совершил свое преступление, — он скажет: "по здравому рассудку я решил, потому что они делов не знают, а требуют, мне и обидно показалось".

"Итак, мм. гг.! единственная причина совершенного преступления, наказываемого смертью, была та, что подсудимому казалось обидно и оскорбительно переделывать писанные им бумаги по приказаниям начальства, понимавшего в делах менее, чем он. Ни следствие, ни суд, ни наивное показание Ш. не могли открыть других побудительных причин. А потому возможно ли предположить, чтобы человек, находящийся в обладании своих душевных способностей, из-за того, что ему обидно показалось переписывать рапорты, решился на тот страшный поступок как по существу своему, так и по последствиям. Такой поступок и вследствие таких причин мог совершать человек, только одержимый душевной

болезнью, и таков обвиняемый. Ежели медицинское свидетельство не признает его таковым, то только потому, что медицина не определила этого состояния отупения в соединении с раздражением, производимым вином. Разве в здоровом уме находится человек, который, перед судом, ожидая смертного приговора, с увлечением говорит только о том, что его писарское самолюбие оскорблено ротным командиром, что он не знает, а велит переписывать? Разве в здоровом уме находится тот человек, который, зная грамоту и зная закон, пишет на себя то сознание от 6 и 7 числа, которое мы сейчас слышали, — сознание, в котором как бы умышленно он безвыходно отдается смерти? Сознание это, очевидно, бессмысленно списано его рукой с тех слов, которые за него говорили следователи и которые он подтверждал словами: "точно так, ваше благородие", которыми он и теперь готов бессмысленно и бессознательно подтвердить все то, что ему будет предложено. Во всей Российской империи не найдется, верно, ни одного не только писаря, но безграмотного мужика, который бы на другой день преступления дал такое показание.

И что могло побудить грамотного человека дать это показание? Ежели бы он был не идиот, он бы понимал, что сознание его не может уменьшить его наказания. Раскаяние тоже не могло вызвать это сознание, так как преступление его такого рода, что оно не могло произвести в нем тяжелых мучений совести и потребности облегчения чистосердечным признанием. Подобное сознание мог сделать только человек, вполне лишенный способности соображения последствий своих поступков, т. е. душевнобольной. Сознание Ш. служит лучшим доказательством болезненности его душевного состояния.

Наконец, разве в здравом уме тот человек, который совершает свое преступление при тех условиях, при которых совершил его Ш.? Он писарь, он знает закон, казнящий смертью за поднятие руки против начальства, тем более должен бы знать этот закон, что за несколько дней перед совершением преступления он собственноручно переписывает приказ по корпусу о расстрелянии рядового за поднятие руки против офицера, и, несмотря на то, он в присутствии фельдфебеля, солдат и посторонних лиц совершает свое преступление. В поступке подсудимого не видно ни только умышленности, ни только сознательности, но очевидно, что поступок совершен при отсутствии душевных способностей, в припадке бешенства или безумия. Постоянно занятый одним делом переписки и связанной с ним мыслью о сильной обиде и незнании порядков ротным командиром, он после бессонной ночи и выпитого вина сидит один в канцелярии над бумагами и дремлет с тою же неотступною мыслью, равняющейся пункту помешательства, об оскорбительной требовательности и незнании дела ротным командиром, как вдруг входит сам ротный командир, лицо, с которым связан ближе всего его пункт помешательства, лицо, против которого направлено его озлобление, усиленное в одиночестве

выпитым вином, и лицо это делает ему вновь упреки и подвергает его наказанию. Шибунин встает, еще не очнувшись от дремоты, не зная, где он и что он, и

совершает поступок, в котором он отдает себе отчет уже гораздо позже его совершения.

Прошедшее Шибунина, его вид и разговор доказывают в нем высшую степень тупоумия, еще усиленного постоянным употреблением вина; показание же его, как бы умышленно увеличивающее его вину, а главное, самое преступление, совершенное при свидетелях и в сопровождении бессмысленности, доказывает, что в последнее время к общему состоянию идиотизма присоединилось еще состояние душевного расстройства, которое, ежели не подлежит докторскому освидетельствованию как безумие, тем не менее не может не быть принято как обстоятельство, значительно уменьшающее виновность.

По ст. 109 Шибунин подлежит уменьшению наказания вследствие своего очевидного идиотизма.

Сверх того, по исключительному состоянию душевного расстройства, хотя в строгом смысле и не подходящего под статью 126, Шибунин по общему смыслу этой статьи подлежит облегчению наказания. Но ст. 604 определяет за преступление, совершенное Шибуниным, только одно наказание — смерть. Итак, суд поставлен в необходимость либо, безусловно применив к настоящему случаю ст. 604, тем самым отступить от смысла ст. 109 и 116, полагающих облегчение наказания при нахождении преступника в тех ненормальных душевных условиях, в которых находится Шибунин, либо, применив ст. 109 и 116, уменьшающие наказания, тем самым изменить смысла ст. 604. Последний выход из этого затруднения я полагаю более справедливым и законным на том основании, что уменьшение наказания в случаях, определенных ст. 109, относится ко всем

последующим статьям и потому и к ст. 604, об исключении которой ничего не сказало.

Суд в настоящем случае противоречия между статьями 109, уменьшающей наказание, и 604, полагающей только одно наказание, имеет только два выбора — отступить от буквы ст. 109 или от буквы ст. 604.

Для решения в этом выборе суд может руководствоваться только духом всего нашего законодательства, заставляющим всегда весы правосудия склоняться на сторону милосердия, и смыслом ст. 81, которая говорит, что суд должен оказывать себя более милосердным, нежели жестоким, памятуя, что и судьи — человеки.

С этим высоким и строгим напоминанием закона подсудимый предоставляет свою участь решению правосудия" (1).

(1) "Право" 1903 г., с. 2016.

Несмотря на всю силу этих аргументов, рядовой Шибунин был приговорен к смертной казни.

Окрестное население сел и деревень с быстротою телеграфа разнесло весть о приговоренном к расстрелу.

К узнику вскоре начали собираться целые толпы, слезно умолявшие караульного унтера "хоть одним глазком взглянуть на несчастенького".

Но просьбы их были напрасны, и "несчастенького" не показывали им. Но они не огорчались этой неудачей и оставляли у караульного для Шибунина кто что мог, по

силе своих средств и достатков. Кто горшок молока, кто яи-

чек, кто ржанных сдобных лепёшек. Были и такие, которые приносили большие куски домашнего деревенского холста. Казнь была совершена 9-го августа. Шибунин все время стоял с потупленными глазами, ни один мускул на лице его не дрогнул; он шел твердым шагом, не говоря ни одного слова. Собралась около столба, к которому был привязан Шибунин, масса народа. Женщины рыдали и падали в обморок.

По совершении казни народ неудержимою волной бросился к свежей могиле. Через час явился кем-то приглашенный деревенский священник, и началось почти непрерывное служение заказных панихид. К вечеру на могилу были накинаны восковые свечи, куски холста и медные гроши. На завтра история с панихидами повторилась. Даже из дальних деревень стал собираться на эти панихиды народ и нес свою лепту. Дошла весть и до местного станового пристава. Он приехал лично и приказал сравнять могилу казненного. Около опушки леса поставили деревенский караул с приказом "отнюдь не допускать любопытных", а служение панихид было "наистрожайше" воспрещено.

Можно себе представить, что делалось в душе Л. Н-ча при виде этого совершившегося перед его глазами зверства.

Он употребил свое влияние в высших сферах, чтобы остановить совершение приговора, телеграфировал своей

тетке гр. А. А. Толстой, придворной даме, прося доложить военному министру. Она говорила с министром, но тот ответил каким-то формальным доводом и очевидно не расположен был к отмене приговора.

По словам Л. Н-ча, у него осталось впечатление, что высшее начальство хотело во что бы то ни стало привести в исполнение этот приговор как меру устрашения, так как в это время в войсках стали довольно часто повторяться случаи нарушения дисциплины.

Этим эпизодом, выделенным нами в виду его важности в особую главу, мы и заканчиваем описание первого периода семейной жизни Л. Н-ча.

У читателя, прочитавшего эту главу, знающего и понимающего Л. Н-ча Толстого, должно остаться чувство неудовлетворения от той бледной роли, которую пришлось играть в этом деле Льву Николаевичу. Такое чувство неудовлетворения испытал и я, когда описывал этот факт по имевшимся у меня документам. Зная отношение Л. Н-ча к такому ужасному явлению, как смертная казнь, я попросил его высказать его теперешнее отношение к своему участию в деле защиты казненного солдата. И Л. Н-ч, со всею присущею ему искренностью, восстановил в своей памяти это дело, вновь пережил все чувства, волновавшие его и волнующие его всегда при мысли об этом злодеянии, и записал их в форме письма ко мне, которым я с радостью и пополняю рассказанное мною в этой главе:

"Милый друг Павел Иванович!

Очень рад исполнить ваше желание и сообщить вам более подробно то, что было передумано и перечувствовано мною в связи с тем случаем моей защиты

солдата, о котором вы пишете в своей книге. Случай этот имел на всю мою жизнь гораздо более влияния, чем все кажущиеся более важными события жизни: потеря или поправление состояния, успехи или неудачи в литературе, даже потеря близких людей.

Расскажу, как все это было, а потом уже постараюсь высказать те мысли и чувства, которые тогда вызвало во мне это событие и теперь воспоминание о нем.

Чем особенно я занимался и увлекался в это время, я не помню, — вы это лучше меня знаете; знаю только, что жил я в это время спокойной, самодовольной и вполне эгоистичной жизнью. Летом 1866 года нас посетил совершенно неожиданно Гриша Колокольцев, кадетом еще ходивший в дом Берсов и знакомый моей жены. Оказалось, что он служит в пехотном полку, расположенном в нашем соседстве. Это был веселый, добродушный мальчик, особенно занятый в это время своей верховой казачьей лошадкой, на которой он любил гарцевать и часто приезжал к нам.

Благодаря ему мы познакомились и с его полковым командиром, полковником Ю., и с разжалованным или отданным в солдаты по политическим делам (не помню) А. М. Стасюлевичем, родным братом известного редактора, служившим в этом же полку. Стасюлевич был уже немолодой человек. Он только недавно из солдат был произведен в прапорщики и поступил в полк к бывшему своему товарищу Ю., теперь его главному начальнику. И тот, и другой, Ю. и Стасюлевич, тоже изредка езжали к

нам. Ю. был толстый, румяный, добродушный, холостой еще человек. Он был один из тех, так часто встречающихся людей, в которых человеческого совсем не видно из-за тех условных положений, в которых они находятся и сохранение которых они ставят высшей целью своей жизни. Для полковника Ю. условное положение это было положение полкового командира. Про таких людей, судя по-человечески, нельзя сказать, добрый ли, разумный ли он человек, так как неизвестно еще, каким бы он был, если бы перестал быть полковником, профессором, министром, судьей, журналистом, а стал бы человеком. Так это было и с полковником Ю. Он был исполнительный полковой командир, приличный посетитель: но каким он был человеком, нельзя было знать. Я думаю, не знал и он сам, да и не интересовался этим. Стасюлевич же был живой человек, хотя и изуродованный с разных сторон, более же всего теми несчастьями и унижениями, которые он, как честолюбивый и самолюбивый человек, тяжело переживал. Так мне казалось, но я недостаточно знал его, чтобы поглубже вникнуть в его душевное состояние. Одно знаю, что общение с ним было приятно и вызывало смешанное чувство сострадания и уважения. Стасюлевича я потом потерял из виду, но недолго после этого, когда полк их стоял уже в другом месте, я узнал, что он без всяких, как говорили, личных причин лишил себя жизни и сделал это самым странным образом. Он рано утром надел в рукава ваточную тяжелую шинель и в этой шинели вошел в реку и утонул, когда дошел до глубокого места, так как не умел плавать.

Не помню, кто из двух, Колокольцев или Стасюлевич, в один день летом, приехав к нам, рассказал про

случившееся у них — для военных людей самое ужасное и необыкновенное — событие: солдат ударил по лицу ротного командира, капитана, академика. Стасюлевич особенно горячо, с чувством к участи солдата, которого ожидала, по словам Стасюлевича, смертная казнь, рассказывал про это и предложил мне быть защитником на военном суде этого солдата.

Должен сказать, что приговоры одними людьми других к смерти и еще других к совершению этого поступка — смертная казнь — всегда не только возмущала меня, но представлялась мне чем-то невозможным, выдуманым, одним из тех поступков, в совершение которых отказываешься верить, несмотря на то, что знаешь, что поступки эти совершались и совершаются

людьми. Смертная казнь как была, так и осталась для меня одним из тех людских поступков, сведения о совершении которых в действительности не нарушают во мне сознания невозможности их совершения.

Я понимаю, что под влиянием минуты раздражения, злобы, мести, потери сознания своей человечности человек может убить, защищая близкого человека, даже себя; может под влиянием патриотического, стадного внушения, подвергая себя смерти, участвовать в совокупном убийстве на войне. Но то, чтобы люди спокойно, в должном обладании своих человеческих свойств могли обдуманно признавать необходимость убийства такого же, как они, человека и могли бы заставлять совершать это противное человеческой природе дело других людей, —

этого я никогда не понимал. Не понимал и тогда, когда в 1866 году жил своей ограниченной, эгоистической жизнью, и потому как это ни было странно, с надеждой на успех взялся за это дело.

Помню, что, приехав в деревню Озерки, где содержался подсудимый (не помню хорошенько, было ли это в особом помещении или в том самом, в котором и совершился поступок), и войдя в кирпичную низкую избу, я был встречен маленьким скуластым, скорее толстым, чем худым, что очень редко в солдате, человеком с самым простым, не переменяющимся выражением лица. Не помню, с кем я был, кажется, что с Колокольцевым. Когда мы вошли, он встал по-солдатски. Я объяснил ему, что хочу быть его защитником, и просил рассказать, как было дело. Он от себя мало говорил и только на мои вопросы неохотно отвечал: "так точно". Смысл его ответов был тот, что ему очень скучно было и что ротный был требователен к нему. "Уж очень на меня налегал", — сказал он.

Дело было так, как описано у вас, но то, что он тут же выпил, чтобы придать себе храбрости, едва ли справедливо.

Как я понял причину его поступка, она была в том, что ротный командир, человек всегда внешне спокойный, в продолжение нескольких месяцев своим тихим, ровным голосом, требующим беспрекословного повиновения и повторения тех работ, которые писарь считал правильно выполненными, довел его до последней степени раздражения. Сущность дела, как я понял его тогда, была в том, что, кроме служебных отношений, между этими людьми установились очень тяжелые отношения человека к человеку — отношения взаимной ненависти. Ротный командир, как это часто бывает, испытывал антипатию к

подсудимому, усиленную еще догадкой о ненависти к себе этого человека за то, что офицер был поляк, ненавидел своего подчиненного и, пользуясь своим положением, находил удовольствие быть всегда недовольным всем, что бы ни сделал писарь, и заставлять его переделывать по нескольку раз то, что писарь считал безукоризненно хорошо сделанным. Писарь же, со своей стороны, ненавидел ротного и за то, что он поляк, и за то, что он оскорбляет его, не признавая за ним знания его писарского дела, и, главное, за его спокойствие и за неприступность его положения. И ненависть эта, не находя себе выхода, все больше и больше с каждым новым упреком разгоралась. И когда она дошла до высокой степени, она разразилась самым для него же самого неожиданным образом. У вас сказано, что взрыв был вызван тем, что ротный командир сказал, что накажет его розгами. Это неверно. Ротный просто вернул ему бумагу и приказал, исправив, опять переписать.

Суд скоро состоялся. Председателем был Ю., двумя членами были Колокольцев и Стасюлевич. Привели подсудимого. После, не помню, каких-то формальностей я прочел свою речь, которую мне не скажу — странно, но

просто стыдно читать теперь. Судьи, с очевидно скрываемой только приличием скукой, слушали все те пошлости, которые я говорил, ссылаясь на такие-то статьи такого-то тома, и когда все было выслушано, ушли совещаться. На совещании, как я после узнал, один Стасюлевич стоял за применение той глупой статьи,

которую я приводил, т. е. за оправдание подсудимого вследствие признания его невменяемым. Колокольцев же, добрый, хороший мальчик, хотя и наверное желал сделать мне приятное, все-таки подчинился Ю., и его голос решил вопрос. И был прочтен приговор смертной казни через расстреляние. Тотчас же после суда я написал, как это у вас и написано, письмо близкой мне и близкой ко двору фрейлине Александре Андреевне Толстой, прося ее ходатайствовать перед государем — государем тогда был Александр II — о помиловании Шибунина. Я написал Толстой, но по рассеянности не написал имени полка, в котором происходило дело. Толстая обратилась к военному министру Милютину, но он сказал, что нельзя просить государя, не указав, какого полка был подсудимый. Она написала это мне, я поторопился ответить, но полковое начальство тоже поторопилось, и когда не было уже препятствий для подачи прошения государю, казнь была уже совершена.

Все остальные подробности в вашей книге и христианское отношение народа к казненному совершенно верны.

Да, ужасно возмутительно мне было перечесть теперь эту напечатанную у вас мою жалкую, отвратительную защитительную речь. Говоря о самом явном преступлении всех законов божеских и человеческих, которое одни люди готовились совершить над своим братом, я ничего не нашел лучшего, как ссылаться на такие-то, кем-то написанные, глупые слова, называемые законами.

Да, стыдно мне теперь читать эту жалкую, глупую защиту. Ведь, если только человек понимает то, что собираются делать люди, севшие в своих мундирах с трех сторон стола, воображая себя, что вследствие того, что они так

сели и что на них мундиры, и что в разных книгах напечатаны и на разных листах бумаги с печатным заголовком написаны известные слова, что вследствие всего этого они могут нарушить вечный, общий закон, записанный не в книгах, а во всех сердцах человеческих, то ведь одно, что можно и должно сказать таким людям, это — то, чтобы умолять их вспомнить о том, кто они и что они хотят делать. А никак не доказывать разными хитростями, основанными на тех лживых и глупых словах, называемых законами, что можно и не убивать этого человека. Ведь доказывать то, что жизнь каждого человека священна, что не может быть право одного человека лишать жизни другого, — это знают все люди и этого доказывать нельзя, потому что не нужно. А можно, и нужно, и должно только одно: постараться освободить людей-судей от того одурения, которое могло привести их к такому дикому, нечеловеческому намерению. Ведь доказывать это — все равно, что доказывать человеку, что ему не надо делать то, что противно, несвойственно его природе; не надо зимою ходить голому, не надо питаться содержимым помойной ямы, не надо ходить на четвереньках. То, что это несвойственно, противно природе человеческой, давно уже показано людям в рассказе о женщине, подлежащей побиению камнями.

Неужели с тех пор появились люди настолько праведные: полковник Ю. и Гриша Колокольцев со своей лошадкой, что уже им не страшно бросить первый камень?

Я не понимал этого тогда. Не понимал я этого и тогда, когда через Толстую ходатайствовал у государя о помиловании. Шибунина. Не могу не удив-

ляться теперь на то заблуждение, в котором я был, о том что все, что совершилось над Шибуниным, было вполне нормально и что так же нормально было и участие, хотя и не прямое, в этом дело того человека, которого называли государем. *И я просил* этого человека помиловать другого человека, как будто такое помилование от смерти могло быть в чьей-нибудь власти. Если бы я был свободен от всеобщей одури, то одно, что я мог сделать по отношению Александра II и Шибунина — это то, чтобы просить Александра II не о том, чтобы он помиловал Шибунина, а о том, чтобы он помиловал себя, ушел бы из того ужасного положения, в котором он находился, невольно участвуя во всех совершающихся преступлениях "по закону" уже тем, что, будучи в состоянии прекратить их, он не прекращал их.

Тогда я еще ничего не понимал этого. Я только смутно чувствовал, что совершилось что-то такое, чего не должно быть, не может быть, и что это дело — не случайное явление, а в глубокой связи со всеми другими заблуждениями и бедствиями человечества, и что оно-то и лежит в основе всех заблуждений и бедствий человечества.

Я смутно чувствовал еще тогда, что смертная казнь, сознательно рассчитанное, преднамеренное убийство, есть дело, прямо противоположное тому закону христианскому, который мы будто бы исповедуем, и дело, явно нарушающее возможность и разумной жизни, и какой бы то ни было нравственности, потому что ясно, что если один человек или собрание людей может решить, что необходимо убить одного или многих людей, то нет

никакой причины, по какой другой человек или другие люди не найдут той же необходимости для убийства других людей. А какая же может быть разумная жизнь и нравственность среди людей, которые могут по своим решениям убивать друг друга?

Я смутно чувствовал тогда уже, что оправдание убийства церковью и наукой, вместо достижения своей цели — оправдания насилия, напротив того, показывает лживость церкви и лживость науки. В первый раз я смутно почувствовал это в Париже, когда видел издалека смертную казнь; яснее, гораздо яснее почувствовал это теперь, когда принимал участие в этом деле; но мне все еще было страшно верить себе и разойтись с суждениями всего мира. Только гораздо позднее я был приведен к необходимости веры себе и к отрицанию тех двух страшных обманов, держащих людей нашего времени в своей власти и производящих все те бедствия, от которых страдает человечество: обман церковный и обман научный.

Только гораздо позднее, когда я стал внимательно исследовать те доводы, которыми церковь и наука стараются поддерживать и оправдывать существование государства, я увидел все явные и грубые обманы, которыми и церковь, и наука скрывают от людей злодеяния, совершаемые государством. Я увидел те рассуждения в катехизисах и научных книгах, распространяемых миллионами, в которых объясняется необходимость, законность убийства одних людей по воле других.

Так, в катехизисе, по случаю шестой заповеди: — не убий — люди с первых же строк научаются убивать.

Вопрос. Что запрещается в шестой заповеди?

Ответ. Убийство или отнятие жизни у ближнего каким бы то ни было образом.

В. Всякое ли отнятие жизни есть законопреступное убийство?

О. Не есть незаконное убийство, когда отнимают жизнь *по должности*, как-то: 1) когда преступника наказывают по правосудию; 2) когда убивают неприятеля *на войне*, за государя и отечество.

В. Какие случаи относиться могут к законопреступному убийству?

О. Когда кто *укрывает или освобождает* убийцу.

В научных же сочинениях двух сортов — в сочинениях, называемых юриспруденцией, со своим уголовным правом, и в сочинениях, называемых чисто научными, доказывається то же самое еще с большею ограниченностью и смелостью. Об уголовном праве нечего и говорить: оно все есть ряд самых очевидных софизмов, имеющих целью оправдать всякое насилие человека над человеком и самое убийство. В научных же сочинениях, начиная с Дарвина, ставящего закон борьбы за существование в основу прогресса жизни, это самое подразумевается. Некоторые же *enfants terribles* этого учения, как знаменитый профессор Иенского университета Эрнест Геккель, в своем знаменитом сочинении "Естественная история миротворения", евангелие для неверующих, прямо высказывает это:

"Искусственный подбор оказывал весьма благотворное влияние на культурную жизнь человечества. Как велико в

сложном ходе цивилизации, например, влияние хорошего школьного образования и воспитания! Как искусственный подбор и смертная казнь оказывает такое же благодетельное влияние, хотя в настоящее время многими горячо защищается, как "либеральная мера", отмена смертной казни, и во имя ложной гуманности приводится ряд вздорных аргументов.

Однако на самом деле смертная казнь для громадного большинства неисправимых преступников и негодяев является не только справедливым возмездием для них, но и великим благодеянием для лучшей части человечества подобно тому, как для успешного разведения хорошо культивированного сада требуется истребить вредные сорные травы. И точно так же, как тщательное удаление зарослей принесет полевым растениям больше света, воздуха и места, неослабное истребление всех закоренелых преступников не только облегчит лучшей части человечества "борьбу за существование", но и произведет выгодный для него искусственный подбор, так как таким образом, будет отнята у этих выродившихся отбросов человечества возможность наследственно передать человечеству их дурные качества".

И люди читают это, учат, называя это наукой, и никому в голову не приходит сделать естественно представляющийся вопрос о том, что если убивать дурных полезно, то кто решит: кто вредный. Я, например, считаю, что хуже и вреднее г-на Геккеля я не знаю никого. Неужели мне и людям одних со мною убеждений приговорить г-на Геккеля к повешению? Напротив, чем грубее заблуждения г-на Геккеля, тем больше я желал бы ему образумиться и ни в каком случае не желал бы его лишить этой возможности.

Вот эти-то лжи церкви и науки и довели нас теперь до того положения, в котором мы находимся. Уже не месяцы, а годы проходят, во время которых нет ни одного дня без казней и убийств, и одни люди радуются, когда убийств правительственных больше, чем убийств революционных, другие же люди радуются, когда больше убито генералов, помещиков, купцов, полицейских; с одной стороны раздаются награды за убийства по 10 и по 25 р., с другой стороны революционеры чествуют убийц, экспроприаторов и восхваляют их как великих подвижников.

Вольным палачам платят по 50 рублей за казнь. Я знаю случай, когда к председателю суда, в котором к казни было приговорено 5 человек, пришёл

человек с просьбой передать ему дело исполнения казней, так как он возьмет сделать это дешевле: по 15 рублей с человека. Не знаю, согласилось или не согласилось начальство на предложение.

Да, не бойтесь тех, кто губит тело, а тех, кто губит и тело, и душу...

Всё это я понял гораздо позже, но смутно чувствовал и тогда, когда так глупо и постыдно защищал этого несчастного солдата. От этого-то я и сказал, что случай этот имея на меня очень сильное и важное для моей жизни влияние.

Да, случай этот имел на меня огромное, благотворное влияние. На этом случае я в первый раз почувствовал, первое — то, что каждое насилие для своего исполнения

предполагает убийство или угрозу его, и что поэтому всякое насилие неизбежно связано с убийством; второе — то, что государственное устройство, немислимое без убийств, несовместимо с христианством, и третье — что то, что у нас называется наукой, есть только такое же лживое оправдание существующего зла, каким было прежде церковное учение.

Теперь это для меня ясно, тогда же это было только смутное сознание той неправды, среди которой шла моя жизнь.

Лев Толстой

Ясная Поляна, 24 мая 1908 года.

334

Часть II.

ВТОРОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРИОД. САМАРСКОЕ ИМЕНИЕ. ГОЛОД

ГЛАВА 6.

Второй педагогический период. Азбука

Осенью 1869 года Лев Николаевич закончил и сдал в печать 6-й том "Войны и мира" и почувствовал себя снова свободным для новой деятельности.

На этот раз он обратился снова к педагогике и со всей своей энергией отдался этому делу и снова создал "великое". Второй период его педагогической деятельности

имел характер вывода и приложения тех данных, которые он добыл в первом периоде этой деятельности.

Занимаясь в начале 60-х годов народными школами, Л. Н-ч должен был прекратить эту деятельность по многим причинам. Во-первых, его оригинальная и свободолоббивая деятельность вызвала подозрение полиции и местных властей, и у него в Ясной Поляне и в других подведомственных ему школах были сделаны жандармами обыски. Это произвело такой разгром, от которого Лев Н-ч и близкие ему люди долго не могли опомниться. Во-вторых, переутомленный усиленной деятельностью, Л. Н-ч заболел и должен был уехать лечиться, и, наконец, по возвращении из мест лечения он женился, и новые условия жизни не позволили ему отдавать столько времени школьным делам, и вся его организация распалась. Школы продолжали существовать, но великий дух, оживлявший их, отошел от них и направил свою деятельность на другую область.

Так продолжалось до конца 60-х годов. За это время Л. Н-ч, занятый другими делами, хотя и не проявлял активного участия в школьном деле, тем не менее внимательно следил за всем, что делалось в области народного образования, и был далеко не удовлетворен всем происходившим. Это обстоятельство вызвало его к новой критической переоценке практиковавшихся методов преподавания, а также возбудило в нем желание дать свое руководство к преподаванию, основанное на его личных опытах.

Первым делом его было составление азбуки и хрестоматии, т. е. полного учебника русского языка для детей и народа. В его записной книжке 68-го года мы уже

находим первые наброски плана азбуки в следующем виде:

ПЕРВАЯ КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ

Азбука

(для семьи и школы)

С наставлением учителю

Графа Л. Н. Толстого.

1863 г.

335

Затем в той же записной книжке набросан весь план азбуки первого издания, составленный по буквослагательному способу, с арифметикой, и даже приведен один рассказ, не вошедший ни в какое издание, а между тем представляющий несомненный педагогический интерес по легкости слога и применимости его к детскому пониманию и указывающий также на характер литературно-педагогической работы Л. Н-ча того времени, почему мы его здесь и приводим целиком.

Когда ученик будет свободно соединять двухсложные слова, — пишет Л. Н-ч, — он может читать следующее:

"Был один мальчик, его звали Ваня. У него была мать, и отец, и маленькая сестра. Один раз Ваня вышел на двор и слышит, что в саду что-то пищит. Ваня пошел в сад посмотреть и видит — в канаве лежат три маленьких щенка. Два белых и один белый с черными пятнами. Белые щенки уже были мертвые, а пестрый еще был жив. Он пищал. Ваня взял этого щенка и понес домой. А у Вани был отец. Отец увидел щенка и говорит: "Зачем ты принес

щенка?" А Ваня говорит отцу: "Позволь мне, пожалуйста, этого щенка держать в этом доме. Мне его жалко. Его братья умерли, и он умрет, если его бросить. Я его буду кормить". И отец сказал: "Ну, хорошо". Ваня стал щенка кормить и назвал его Буян. Щенок скоро вырос и стал большая собака, сильная и добрая.

Один раз все пошли спать, а Буян был на дворе. А воры пришли во двор и хотели украсть лошадей. Никто не видал воров, и они вошли в конюшню. Вдруг Буян залаял страшным голосом и бросился в конюшню. В доме все проснулись, воры испугались и убежали.

Отец позвал Ваню и говорит ему: "Я рад, что ты взял Буяна. Без него лошади бы наши пропали. Я теперь ему позволю жить дома".

И Ваня был очень рад.

Потом пошли один раз все в лес и взяли с собой маленькую сестрицу Ванину и положили ее в лесу спать. Вдруг пришел волк и хотел схватить девочку из люльки. А Буян услышал, что идет волк, и спрятался за куст. Он не испугался, он хотел волка поймать. Волк думал, что его никто не видит. Вдруг Буян выскочил из куста и стал грызть волка. Все прибежали и избили волка. А волк укусил Буяна. Отец посмотрел и говорит: "Он укушен". И Ваня стал плакать. Отец позвал Ваню и говорит: "Я прежде любил Буяна за то, что он воров прогнал, а теперь еще больше люблю: волк бы заел нашу девочку, если бы Буян его не загрыз". И все стали Буяна ласкать. И Ваня очень был рад.

Потом пришла зима, и поехали все на санях в город. Вдруг пошел снег, сделался ветер и мороз, и они все заблудились и не знали, что им делать. Стало темно, и они искали дорогу и не могли отыскать. Отец говорит: "Мы все

замерзнем. Надо богу молиться". Ваня стал плакать. А Буян пришел к Ване и стал ему руки лизать. "Буян, надо нам дорогу, а то мы пропадем". Буян замахал хвостом и побежал вперед по снегу. Они поехали за ним и ехали-ехали, и Буян нашел дорогу и прямо привел их в город. И отец позвал Ваню и говорит:

"Если бы Буян нам не показал дорогу, мы бы пропали. Вот твой Буян какая добрая, хорошая собака". И Ваня был очень рад. "Теперь мы его будем кормить самым лучшим и класть Буяна спать..."

Затем опять в записной книжке Л. Н-ча следуют указания на постепенное усваивание учениками различных грамматических форм, правил правописания и т. п.

Первое издание "Азбуки" в 1872 г. представляет собою ничто иное, как подробное развитие плана, набросанного еще в 1868 году, со включением в него славянского чтения и арифметики.

Мы останавливаемся несколько дольше на истории этого труда, так как сам Л. Н-ч придавал ему большое значение.

В 1868 году у Л. Н-ча гостил американский консул Скайлер, написавший интересные воспоминания о знакомстве своем с Толстым. Мы уже приводили некоторые выдержки из этих воспоминаний в первом томе биографии.

В этих воспоминаниях Скайлер говорит про Льва Николаевича:

"Он много расспрашивал меня о разных методах, употребляемых в Америке, и, по его просьбе, я мог доставить ему — я думаю, благодаря любезности г. Гаррисона — из "Nation" хороший выбор американских начальных и элементарных способов обучения чтению. В одном из них я помню, что произношение различных гласных и некоторых согласных было представлено наглядно буквами, в общем виде похожими на обыкновенные буквы, но с особенными отличительными переменами, которые тотчас бросались в глаза. Эти книги Толстой пробовал применять при изготовлении своей азбуки, на что он употребил много времени". (1)\

(1) Евг. Скайлер. Воспоминания о Толстом. "Русская старина", октябрь 1899 г.

После вышеприведенного конспекта "Азбуки", записанного в 1868 г., мы ни в записных книжках, ни в письмах не находим никаких следов работы до осени 1871 г.

В 70 году он принялся за изучение драмы, читает Шекспира, Гете, Мольера и собирается читать Софокла и Эврипида. Кроме того, он начинает изучать греческий язык, в несколько месяцев одолевает его настолько, что читает *à livre ouvert* Ксенофонта, и, наконец, переутомляется и заболевает. Летом совершает поездку на кумыс, в Самарскую губернию, и только вернувшись оттуда, осенью принимается за выполнение задуманного плана азбуки и книги для чтения.

Графиня Софья Андреевна пишет своей сестре 20 сентября 1871 года:

"Мы теперь опять занялись детскими книжками. Лёвочка пишет, а я с Варей переписываю, идёт очень хорошо".

С этих пор он уже не прекращает напряженного труда над азбукой в течение целого года. Работа предстояла огромная. Кроме чисто литературной части, переводов, переделок и оригинальных рассказов, Л. Н-ч задумал дать целый ряд научно-популярных рассказов из естественных наук и для этого просматривал массу учебников, советовался со специалистами по каждому отделу, сам проделывал большую часть опытов, которые описывал.

Особенно увлекался он арифметикой, придумывая новые упрощённые объяснения разных действий.

Предполагая поместить в книгах для детей астрономические сведения, он занялся астрономией, увлекся ею и проводил целые ночи, наблюдая звездное небо.

Он изучал различные варианты былин, и результатом этого изучения явились прекрасные переложения наиболее известных былин, помещенных в книжках для чтения. Л. Н-ч особенно ценил сочинение о былинах Голохвастова.

Чтобы дать образцы славянского чтения, он делал выборки из летописей и Четьи—Миней.

Все эти образцы, объяснения и новые приёмы проверялись, кроме того, на практике, так как он с этою целью завёл снова школу, на этот раз уже у себя дома. В этой школе обучались до 30 детей, а учителями были он сам и почти все члены его семьи, даже старшие дети, которым было тогда 7 и 8 лет.

Вот что пишет об этой школе Софья Андреевна в письме к своей сестре Т. А.:

2-го февраля 1872 г.

"Мы вздумали после праздников устроить школу, и теперь каждое послеобеда приходит человек 35 детей, и мы их учим. Учит и Серёжа, и Таня, и дядя Костя, и Лёвочка, и я. Это очень трудно учить человек 10 вместе, но зато довольно весело и приятно. Мы учеников разделили, я взяла себе 8 девочек и 2 мальчика. Таня и Сережа учат довольно порядочно, в неделю все знают уже буквы и склады на слух. Учим мы их внизу, в передней, которая огромная, в маленькой столовой под лестницей и в новом кабинете. Главное то побуждает учить грамоте, что это такая потребность и с таким удовольствием и охотой они учатся все".

10 марта 1872 г.

"У нас всё продолжается школа, идет хорошо, ребята детям носят разные деревенские штучки: то деревяшки какие-то, правильно нарезанные, то жаворонки, сделанные из черного теста; после классов таскают Таню на руках, иногда шалят, но почти все выучились читать довольно бойко по складам".

6 апреля 1872 г.

"Каждое утро своих детей учу, каждое послеобеда школа собирается. Учить трудно, а бросить теперь уже жалко: так хорошо шло учение, и все читают и пишут,

хотя не совсем хорошо, но порядочно. Ещё поучить немного, и на всю жизнь не забудут" (1).

(1) Архив Т. А. Кузминской.

Наконец, с таким трудом и увлечением составленная "Азбука" была готова, по крайней мере вчерне, и Л. Н-ч начал её печатать. Ему хотелось самого широкого публичного обсуждения предлагаемого им метода, и он намеревался представить свою "Азбуку" на предстоящей педагогической выставке в Москве, которая должна была открыться 30-го мая 1872 года.

Но этот план не удался. Типография задерживала печатание, в нём приходилось преодолевать множество технических трудностей, как, напр., надстрочные буквы, смешанные шрифты в одном и том же слове, арифметические таблицы и т. п. Так что за два месяца работы, к началу выставки, было набрано лишь 7 листов вместо предполагавшихся 25–30.

Л. Н-ч был в большом горе. Трудность работы увеличивалась, а между тем он снова стал чувствовать переутомление, ему необходим был отдых, и никто не мог заменить его в этом деле.

Из этой беды его выручил Ник. Ник. Страхов, взявшийся продолжать печатание "Азбуки" в Петербурге и держать её корректуру, руководясь советами в инструкциях Льва Николаевича.

По этому делу между ними возникла обширная переписка, из которой мы приводим наиболее интересные выдержки.

3-го марта 1872, Ясная.

"Как мне жалко, многоуважаемый Николай Николаевич, что мы так давно с вами замолчали. Я, кажется, виною этого. Получив ваше письмо, мне так захотелось побеседовать с вами. И статей ваших не было до нынешней прекрасной о Дарвине. Что вы делаете? О себе не могу написать, что я делаю, —

слишком длинно. Азбука занимала и занимает меня, но не всего. Вот этот остаток-то и есть то, о чём я не могу написать, а хотелось бы побеседовать. Азбука моя кончена и печатается очень медленно и скверно у Риса, но я по своей привычке всё мараю и переписываю по 20 раз" (1).

(1) Архив В. Г. Черткова.

Этот «остаток», как мы увидим ниже, был посвящён разработке материалов для задуманного им, но, к сожалению, не напечатанного романа из времен Петра Великого. О том же Л. Н-ч сообщает и Фету:

"Азбука моя не дает мне покою для другого занятия. Печатание идет черепашьими шагами, и черт знает, когда кончится, а я все еще прибавляю и изменяю. Что из этого выйдет — не знаю, а положил я в него всю душу".

При составлении книг для чтения Л. Н-чу захотелось дать образцы содержательных, простых, художественных и доступных детям рассказов, и он исполнил это

блестящим образом; об этом прослышали редакторы журналов и стали одолевать Л. Н-ча, выпрашивая дать что-нибудь напечатать. Л. Н-ч обещал некоторым и сейчас же почувствовал на себе тяжесть этого обязательства. Один рассказ он обещал "Заре", сотрудником которой был Страхов, и он в том же письме выражает ему свои сомнения насчет этого:

"Между нами будь сказано, это обещание меня стесняет, а пользы для "Зари" не будет. Это так ничтожно и оговорка, что из Азбуки, уничтожит все, что даже мог бы значить ноль. Если можно выхлопотать мне свободу — очень одолжите. Если будет какое-нибудь достоинство в статьях Азбуки, то оно будет заключаться в простоте и ясности рисунка и штриха, т. е. языка; а в журнале это странно и неприятно будет, точно не законченное, как в картинной галерее какой бы ни было рисунки карандашом без теней".

Конечно, получив для "Зари" рассказ Л. Н-ча, Страхов не замедлил выразить ему свой восторг, на что Л. Н-ч отвечал ему:

15-го апреля 1872 года, Ясная.

"Письмо ваше очень порадовало меня, многуважаемый Николай Николаевич. Будет с меня и того, что вы меня так понимаете. А от публики я не только не жду суждений, но боюсь, как бы не раскусили. Я нахожусь в положении лекаря, старательно скрывшего в сладеньких пилюлях полезительное, по его мнению, касторовое масло и только желающего, чтобы никто не разболтал, что это лекарство, чтобы проглотил, не думая о том, что там есть. А оно уж подействует".

Рассказы из Азбуки, которые Л. Н-ч дал напечатать, были: "Кавказский пленник" в "Заре" (1872, 2) и "Бог правду видит" в "Беседе" (1872, 3).

На новое предложение Страхова поместить один из рассказов в "Семейных вечерах" Кашперовой Л. Н-ч отвечает уже с раздражением:

"Что касается до Кашперовой, то я не только давать что-нибудь в "Вечера" не намерен, чтобы выручить свои деньги по 400 руб. за лист, но только радуюсь уроку никогда не отвечать на редакторские письма и прятать бумажник и серебряные ложки в присутствии редакторов. Не обвиняйте меня за раздражение. Я раздражен на себя за то, что изменил своему правилу — не иметь дела с журналами и литературой. Я жду и желаю для полного своего пристыжения, чтобы оба рассказа, которыми я дал повод рассуждать о себе

умникам журналистам и за которые я ничего не получил, были бы напечатаны в хрестоматиях, а моя бы Азбука не вышла. Так и будет".

Наконец в мае Л. Н-ч обращается к Страхову с просьбой избавить его от тяготевшей над ним издательской работы, принять на себя его дело; вот что он пишет:

19-го мая 1872 г.

"Любезный Николай Николаевич! Великая к вам просьба. Хочется сделать кучу предисловий о том, как мне совестно и т. д., но дело само за себя скажет. Если вам возможно и вы хотите мне сделать большое дело, вы сделаете. Вот в чем дело. Я давно кончил свою Азбуку, отдал печатать, и в 4 месяца печатание не только не кончилось, не началось и, видно, никогда не начнется и не кончится. Зимой я всегда зарабатываю и летом кое-как оправляюсь, если не работаю. Теперь же корректуры, ожидание, вранье, поправки типографские и свои измучили меня и обещают мучить все лето. Я вздумал теперь взять это от Риса и печатать в Петербурге, где, говорят, большие типографии и они лучше. Возьметесь ли вы наблюдать за этой работой, т. е. приискать человека, который держал бы черновые корректуры (тоже за вознаграждение). Только вам я бы мог поручить эту работу так, чтобы самому уже не видать ее. Вознаграждение вы определите сами, такое, которое бы равнялось тому, что зарабатываете в хорошее время. Время, когда печатать, вы определите сами. Для меня чем скорее, тем лучше. Листов печатных будет около 50-ти. Если вы согласитесь, то сделаете для меня такое одолжение, значения которого не могу вам описать. Умственная и душевная работа моя по делу этому кончилась, но пока это не напечатано, я не могу спокойно взяться за другое дело, и оттого это мучает, томит меня. Благодарю вас очень за корректуру статьи. Она мне не понравилась в печати, и я жалею, что напечатал и ту, и другую. И забавно то, что ни тот, ни другой журналы не платят мне денег. Выгода та, что уж вперед, наверное, никогда не отвечу ни на одно редакторское письмо. Не будете ли проезжать опять мимо

Ясной? И нет ли надежды опять увидеть нас, хорошо бы было"

После некоторых колебаний, разъяснительных и дополнительных писем Страхов согласился наблюдать за изданием. На что Л. Н-ч отвечал ему радостным письмом:

"...Письмо ваше, дорогой Ник. Ник., так обрадовало меня, что жена уверила, что я вдруг сделался совсем другой и веселый. Мне теперь верится в возможность окончания этого дела".

Затем следует целый ряд писем с подробными описаниями, инструкциями, поправками, посредством которых Л. Н-ч издали лично руководил в высшей степени добросовестной работой Н. Н. Страхова.

В одном из этих писем (7-го августа 1872 г.) Л. Н-ч пишет:

"Я до одурения занимаюсь эти дни окончанием арифметики. Умножение и деление кончены и кончаю дроби. Вы будете смеяться надо мною, что я взялся не за свое дело, но мне кажется, что арифметика будет лучшее в книге".

В своих письмах к Страхову Л. Н-ч не скрывал от него, что, кроме особой любви и интереса к этому делу, он преследует и чисто материальные цели, надеясь, что Азбука эта принесёт ему доход, в котором он нуждается, так как заботился о доставлении средств всё увеличивающейся семье.

Впрочем, больших иллюзий на этот счёт он не питал: так, в одном из писем, когда дело шло о продаже и назначении цены, он писал:

"Огромных денег я не жду за книгу и даже уверен, что, хотя и следовало бы, их не будет; первое издание разойдётся сейчас же, а потом особенности книги рассердят педагогов, всю книгу растащат по хрестоматиям, и книга не пойдёт. Имеют свои судьбы книги, и авторы чувствуют эти судьбы. Так и вы знаете, что ваша книга хороша, и я это знаю, но вы чувствуете, что она не пойдёт. Издавая "Войну и мир", я знаю, что она исполнена недостатков, но знаю, что она будет иметь тот самый успех, какой она имела, а теперь вижу очень мало недостатков в Азбуке, знаю ее огромное преимущество над всеми такими книгами и не жду успеха, именно того, который должна иметь учебная книга".

Сдав последние листы Азбуки в печать, Л. Н-ч чувствует себя снова свободным и пишет Страхову благодарственное письмо:

30-го сентября 1872 г., Ясная.

"Вы не можете себе представить, как я счастлив теперь, спихнув с себя эту работу, казавшуюся мне столь важною. Боюсь, что покажется вам длинно. Как мне ни жалко, даю вам *carte blanche* сократить в отделе примеров сложения и вычитания. Напишите, как и когда теперь кончится все и вы будете свободны, меня не будет мучить совесть за вас, и я — главное — вас увижу. Дня не проходит, чтобы я по нескольку раз не благословлял вас за то, что вы для меня делаете. Особенно теперь, когда я все эти последние дни насилиу удерживал потребность начать свою настоящую

работу. Теперь, благодаря вам, я могу начать и забыть про Азбуку".

Приводим здесь интересный проект объявления об Азбуке, составленный самим Л. Н-чем, который вместе с тем даёт нам представление о её содержании:

"1-го ноября выйдет Азбука гр. Л. Н. Толстого в 4-х отдельных книгах в 160–180 страниц каждая, содержащих: 1) азбуку и руководство для обучения чтению и письму; 2) статьи для русского чтения: басни, описания, сказки, повести и статьи научного содержания (за исключением новых переводов Эзопа и Геродота и некоторых басен, рассказов и сказок, содержание которых заимствовано с индийского, арабского, немецкого, английского и народного, все статьи русского чтения написаны автором для настоящей книги); 3) руководство к правописанию и грамматике посредством напечатания особым шрифтом различных грамматических форм; 4) некоторые былины, изложенные правильным, по мнению автора, русским стихом; 5) руководство для обучения славянскому языку с объяснениями главных грамматических форм; 6) статьи для славянского чтения с русским переводом: выбранные места из летописи, житии из Четьи—Миней Макария и Дмитрия Ростовского и из Священного Писания; 7) арифметику, от счисления до дробей включительно, и 8) руководство для учителя".

Наконец Азбука вышла, и вот отзыв самого Л. Н-ча о ней в письме к Страхову от 12-го ноября 1872 г.:

"Азбука не идёт и её разбранили в "Петербургских ведомостях", это меня почти не интересует. Я так уверен, что я воздвиг памятник этой Азбукой. От Буняковского получил на 20 страницах письмо об арифметике. Он

хвалит и критикует, дельно в том отношении, что я напрасно в дробях исключил все прежние приемы".

То значение, которое придает сам Л. Н-ч своему труду, что с ним случается очень редко, побуждает нас дать краткое описание этого оригинального

произведения, представляющего к тому же теперь библиографическую редкость. Азбука и хрестоматия 1-го издания состоят из 4-х книг. Каждая книга разделена на части и каждая часть — на отделы. 1-я книга состоит из четырех частей, 1-ю часть составляет азбука в собственном смысле слова, т. е. алфавит с таблицей картинок на каждую букву, склады, фразы, составленные из слов, разложенных на склады, и, наконец, коротенькие рассказы, загадки, пословицы и поговорки, служащие упражнением той или другой буквы, которая произносится не так, как пишется.

Особенность алфавита, предложенного Толстым, заключается в том, что он дает особый, упрощенный рисунок букв, без утолщений и тонких штрихов, для того чтобы сложность рисунка не затрудняла запоминание главной фигуры.

2-я часть книги состоит из целого ряда рассказов, разделенных на четыре параграфа: рассказы первого параграфа служат упражнением в произведении некоторых букв и слогов. Рассказы второго параграфа подобраны так, что дают упражнения отдельно на каждый из знаков препинания. В третьем параграфе помещены упражнения в чтении стихов. Содержание всех этих

рассказов очень разнообразно. Там есть и пересказы басен Эзопа, рассказы из индийской, еврейской и арабской мудрости, рассказы исторические, русские народные легенды, бытовые картины и т. д.

3-я часть книги содержит в себе упражнения в церковно-славянском языке, обязательном для учеников русской школы как язык богослужебный, и состоит из образцов, заимствованных из древних летописей, из Четьи—Миней, из Библии, Ветхого и Нового Завета, и, наконец, несколько употребительнейших молитв.

4-я часть первой книги посвящена началам арифметики и знакомит учеников с различными способами изображений чисел: с названием цифр и чисел по древнеславянской системе, по римскому, арабскому и по русскому способу счета, с помощью "счетов".

Затем следуют упражнения в сложении, в уме и на счетах. Наконец, в конце 1-й части помещены несколько указаний для учителя, из которых мы приводим здесь статью "Общие замечания".

Общие замечания для учителя

Для того, чтобы ученик учился хорошо, нужно, чтобы он учился охотно; для того, чтобы он учился охотно, нужно:

1) чтобы то, чему учат ученика, было понятно и занимательно и

2) чтобы душевные силы его были в самых выгодных условиях.

Чтобы ученику было понятно и занимательно то, чему его учат, избегайте двух крайностей: не говорите ученику о том, чего он не может знать и понять, и не говорите о том, что он знает не хуже, а иногда и лучше

учителя. Для того, чтобы не говорить того, чего ученик не может понять, избегайте всяких определений, подразделений и общих правил. Все учебники состоят только из определений, подразделений и правил, а их-то именно и нельзя сообщать ученику.

Избегайте грамматических и синтаксических определений и подразделений частей и форм речи и общих правил. А заставляйте ученика видоизменять формы слов, не называя этих форм и — главное — больше читать, понимая то, что он читает, и больше писать из головы, и поправляйте его не на том основании, что то или другое противно правилу, определению или подразделению, а на том основании, что не понятно, не складно и не ясно.

По естественным наукам избегайте классификации, предположений о развитии организмов, объяснений строения их, а давайте ученику как можно более самых подробных сведений о жизни различных животных и растений.

По истории и географии избегайте общих обзоров земель и исторических событий и подразделений тех и других. Ученику не могут быть занимательны исторические и географические обзоры тогда, когда он не верит еще хорошенько в существование чего-нибудь за видимым горизонтом, а о государстве, власти, войне и законе, составляющих предмет истории, не может составить себе ни малейшего понятия. Для того, чтобы он поверил в географию и историю, давайте ему географические и исторические впечатления.

Рассказывайте ученику с величавой подробностью про те страны, которые вы знаете, и про те события исторические, которые вам хорошо известны.

По космографии избегайте сообщения ученику объяснения (столь любимого в педагогии) солнечной системы и вращения и обращения земли. Для ученика, ничего не знающего о видимом движении небесного свода, солнца, луны, планет и затмениях, о наблюдениях тех же явлений с различных точек земли, толкование о том, что земля вертится и бежит, не есть разъяснение вопроса и объяснение, а есть без всякой необходимости доказываемая бессмыслица. Ученик, полагающий, что земля стоит на воде и рыбах, судит гораздо здравее, чем тот, который верит, что земля вертится, и не умеет этого понять и объяснить. Сообщайте как можно больше сведений о видимых явлениях неба, о путешествиях и давайте ученику только такие объяснения, которые он сам может проверить на видимых явлениях.

В арифметике избегайте сообщения определений и общих правил, упрощающих счет. Ни на чем так не заметен вред сообщения общих правил, как на математике. Чем короче тот путь, посредством которого вы научите ученика делать действие, тем хуже он будет понимать и знать действие.

Самое короткое счисление есть десятичное — оно и самое трудное. Самый короткий приём сложения — начинать с меньших разрядов и приписывать одну из полученных цифр к следующему разряду — есть вместе и самый непонятный приём: нет ничего легче, как научить ученика при вычитании считать за 9 всякий 0, через который он перескочит занимая, или научить приведению к одному знаменателю посредством помножения крест-

накрест, но ученик, выучивший эти правила, уже долго не поймет, почему это так делается.

Избегайте всех арифметических определений и правил, а заставляйте производить как можно больше действий и поправляйте не потому что сделано не по правилу, а потому что сделанное не имеет смысла.

Избегайте весьма любимого (особенно в иностранных книгах для школ) помещения необычайных результатов, до которых дошла наука, — вроде того: сколько весит земля, солнце, из каких тел состоит солнце, как из ячеек строится дерево и человек, и какие необыкновенные машины выдумали люди. Не говоря уже о том, что, сообщая такие сведения, учитель внушает ученику мысль, что наука может открыть человеку много тайн, — в чем умному ученику слишком скоро придется разочароваться, не говоря об этом, голые результаты вредно действуют на ученика и приучают его верить на слово.

Избегайте непонятных русских слов, не соответствующих понятию или имеющих два значения, и особенно иностранных. Старайтесь заменять их словами, хотя и длиннейшими, хотя даже и не столь точными, но такими, которые в уме ученика возбуждали бы соответствующие понятия.

Вообще избегайте таких оборотов: это так-то называется, это так-то, а старайтесь называть каждую вещь именно так, как ей следует называться.

Вообще давайте ученику как можно больше сведений и вызывайте его на наибольшее число наблюдений по всем

отраслям знания, но как можно меньше сообщайте ему общих выводов, определений, подразделений и всякой терминологии.

Сообщайте определение, подразделение, правило, название только тогда, когда ученик имеет столько сведений, что сам в состоянии проверить общий вывод, — когда общий вид не затрудняет, а облегчает его.

Другая причина, по которой урок бывает неприятен и незанимателен, заключается в том, что учитель объясняет слишком длинно и сложно то, что давно уже понял ученик. Ученику так просто, что ему сказали, что он ищет особенного, другого значения, и понимает ошибочно или уж вовсе не понимает.

Такого рода толкования обыкновенны, в особенности, когда предметы уроков взяты из жизни. Например, когда учитель начнет толковать ученику, что такое стол, или какое животное лошадь, или чем отличается книга от руки, или: одно перо и одно перо — сколько будет перьев?

Вообще толкуйте ученику то, чего он не знает, и то, что вам самим было бы интересно узнать, если бы вы не знали. При соблюдении всех этих правил часто случится, что ученик все-таки не будет понимать. На это будут две причины. Или ученик уже думал о том предмете, о котором вы толкуете, и объяснил его себе по-своему. Тогда старайтесь вызвать ученика на объяснение его взгляда и, если он неверен, опровергайте его, а если верен, то покажите ему, что вы и он видите предмет одинаково, но с различных сторон.

Или же ученик не понимает оттого, что ему ещё не пришло время. Это особенно заметно в арифметике. То, над чем вы тщетно бились по целым часам, становится вдруг ясно в минуту через несколько времени. Никогда не

торопитесь, переждите, возвращайтесь к тем же толкованиям. *Для того, чтобы душевные силы ученика были в наивыгоднейших условиях, нужно:*

1) Чтобы не было новых, непривычных предметов и лиц там, где он учится.

2) Чтобы ученик не стыдился учителя или товарищей.

3) (Очень важное). Чтобы ученик не боялся наказания за дурное учение, т. е. за непонимание. Ум человека может действовать только тогда, когда он не подавляется внешними влияниями.

4) Чтобы ум не утомлялся. Определить число часов или минут, после которого ум ученика утомляется, — невозможно ни для какого возраста. Но для внимательного учителя всегда есть верные признаки утомления; как скоро ум утомлен, заставьте ученика делать физическое движение. Лучше ошибиться и отпустить ученика, когда он еще не утомлен, чем ошибиться в обратном смысле и задержать ученика, когда он утомлен.

Тупик, столбняк, упрямство происходят только от этого.

5) Чтобы урок был соразмерен силам ученика, не слишком легкий, не слишком труден.

Если урок будет слишком труден, ученик потеряет надежду исполнить заданное, займется другим и не будет делать никаких усилий; если урок слишком легкий, будет то же самое. Нужно стараться, чтобы все внимание ученика могло быть поглощено заданным уроком. Для этого давайте ученику такую работу, чтобы каждый урок чувствовался ему шагом вперед в учении.

Чем легче учителю учить, тем труднее ученикам учиться. Чем труднее учителю, тем легче ученику. Чем больше будет учитель сам учиться, обдумы-

вать каждый урок и соразмерять с силами ученика, чем больше будет следить за ходом мысли ученика, чем больше вызывать на ответы и вопросы, тем легче будет учиться ученику.

Чем больше будет ученик предоставлен самому себе и занятиям, не требующим внимания учителя: переписыванию, диктованию, чтению вслух без понимания, заучиванию стихов, — тем труднее будет ученику.

Но если учитель положит и все силы на своё дело, то всё-таки он не только со многими учениками, но и с одним учеником будет постоянно чувствовать, что он ещё далеко не исполняет того, что нужно.

Для того, чтобы, несмотря на это всегдашнее недовольство собою, иметь сознание приносимой пользы, нужно иметь одно качество. Это же качество восполняет и всякое искусство учительское и всякое приготовление, ибо с этим качеством учитель легко приобретет недостающее знание.

Если учитель во время трёхчасового урока не чувствовал ни минуты скуки, он имеет это качество.

Качество это есть любовь. Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, как мать, он будет много лучше того учителя, который прочёл все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам.

Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он — совершенный учитель. (1)

(1) "Азбука гр. Л. Н. Толстого. Спб. 1872 г. Кн. I. с. 180.

2-я, 3-я и 4-я книги расположены по тому же плану, как и первая, за исключением азбуки, составляющей 1-ю часть первого тома, и состоят поэтому каждая из трех частей: 1-я часть включает в себе статьи для постепенного чтения, 2-я — упражнения в чтении на церковно-славянском языке и 3-я — арифметику. Каждая книга заключается наставлениями для учителей; наиболее интересны наставления по преподаванию арифметики.

Мы считаем своим долгом остановить внимание читателя на арифметическом методе Л. Н-ча, так как в нём есть много оригинального.

Главная цель преподавания арифметики, преследуемая Л. Н-чем, — это сознательное отношение ученика к числу во всех его комбинациях и разложении и составлении его всевозможными способами, как наглядными, так и умственными. Для наглядного обучения Л. Н-ч широко пользуется русскими счетами, производя на них всевозможные примеры счисления, сложения и вычитания. Для умственного упражнения и для полного сознательного усвоения состава числа Л. Н-ч вводит в преподавание начальной арифметики различные системы счисления, кроме десятичной, производя все четыре действия с помощью этих различных систем.

Дав понятие о десятичных дробях, как о продолжении десятичного счисления после запятой, и пройдя затем целый ряд упражнений в различных системах счисления, Л. Н-ч подходит к простым дробям, рассматривая их как частные случаи различных систем счисления, подходя,

таким образом, к ним с совершенно новой, неожиданной стороны и давая новое обобщение целых и дробных чисел.

Вот этот замечательный переход:

"Целые числа всегда считаются в десятичном счислении и редки в другом счислении, а дроби редко считаются в десятичном счислении и почти всегда в разных счислениях.

345

Дроби в десятичном счислении пишут так: 0,35 (35 сотых), 1,017 (одна целая и 17 тысячных) и т. д. А дроби в разных счислениях пишут так: наверху пишут числа, а внизу то, в каком оно счислении, и это нижнее число зовётся знаменателем. А самое число, что пишется наверху, зовётся числителем".

Тот же метод различных систем счисления проведен Л. Н-чем с большой последовательностью и в действиях над дробями, и в приведении дробей к одному знаменателю. Способы эти, даваемые Л. Н-чем, заслуживают, по нашему мнению, большого внимания.

Азбука Л. Н-ча, конечно, вызвала немало критических статей; как всегда, в этих статьях было много противоречивых суждений, часто взаимно уничтожающих, но почти все они сходились на одном осуждении предложенного Львом Николаевичем способа обучения чтению, который они считали допотопным, способом азов и т. д., и негодовали за отвержение нового звукового метода, который в то время уже начал распространяться в русских школах.

Эти нападки заставили Л. Н. обратиться с открытым письмом к издателям "Московских ведомостей", в котором он разъясняет свои отношения к этому вопросу. Приводим это письмо целиком:

"Прошу вас дать место в уважаемой вашей газете моему заявлению, относящемуся до изданных мною четырёх книг под заглавием Азбука.

Я прочёл и слышал с разных сторон упрёки моей Азбуке за то, что я будто бы, не зная или не хотя знать вводимого нынче повсеместного звукового способа, предлагаю в своей книге старый и трудный способ азов и складов. В этом упреке есть очевидное недоразумение. Звуковой способ мне не только хорошо известен, но едва ли не я первый привез его и испытал в России 12 лет тому назад, после своей поездки по Европе с целью педагогического изучения. Испытывая тогда и несколько раз потом обучение грамоте по звуковому методу, я всякий раз приходил к одному выводу — что этот метод, кроме того, что противен духу русского языка и привычкам народа, и кроме того, что требует особо составленных для него книг, и кроме огромной трудности его применения и многих других неудобств, о котором говорить здесь не место, — неудобен для русских школ, что обучение по нему трудно и продолжительно, и что метод этот легко может быть заменен другим. Этот-то другой метод, состоящий в том, чтобы называть согласные с гласной буквой и вкладывать на слух без книги, и был мною придуман еще 12 лет тому назад, употребляем мною лично во всех моих школах и по собственному их выбору всеми учителями школ, находившимися под моим руководством. И всегда с одинаковым успехом. Этот-то прием я и предлагаю в своей Азбуке. Он имеет только внешнее сходство со

способом азов и складов, в чем легко убедится всякий, кто даст себе труд прочесть руководство для учителя к моей Азбуке. Способ этот отличается от всех других известных мне приемов обучения грамоте особенно тем, что по нему ученики выучиваются грамоте гораздо скорее, чем по всякому другому: способный ученик выучивается в 3–4 урока, хотя медленно, но правильно читать, а неспособный — не более как в 10 уроков. Поэтому всех тех, которые утверждают, что звуковой способ есть самый лучший, быстрый и разумный, я прошу сделать только то, что я делал неоднократно, что я также предложил московскому Комитету грамотности сделать публично, т. е. сделать опыт обучения нескольких учеников по тому и другому способу.

Дело обучения грамоте есть дело практическое, и показать лучший и удобнейший прием обучения грамоте может только опыт, а не рассуждения,

а потому всех тех, кого должно интересоваться и интересуется дело грамотности, я прошу, до произнесения решения, сделать опыт.

Самый процесс обучения грамоте есть одно из ничтожнейших дел во всей области народного образования, как я это уже высказал и в издаваемом мной журнале 12 лет тому назад, и в наставлении для учителя в изданной недавно Азбуке, но и в этом ничтожном относительно деле для чего идти хитрым и трудным путем звукового способа, когда того же самого можно достигнуть проще и скорее" (1).

(1) Зелинский. "Русская критическая литература о Толстом", ч. 7, с. 66.

Закончив этот краткий исторический очерк Азбуки Л. Н-ча и описание её содержания, мы переходим к другим отделам его педагогической деятельности 70-х годов, к опытам и проектам, большею частью не осуществлённым, но тем не менее ценным по своей оригинальности и серьёзности, с которой Л. Н-ч затрагивает в них самые существенные черты народной жизни.

ГЛАВА 7.

Другие педагогические опыты

В своих педагогических занятиях второго периода Лев Николаевич не ограничился изданием "Азбуки"; создав свою систему обучения, он решил проводить ее в практику и, кроме домашней школы, где, как мы видели, эта система практиковалась успешно, ему хотелось распространить ее и на соседние школы. Для этого он собирает учителей к себе в усадьбу, и в том самом флигеле, где помещалась первая яснополянская школа, осенью 1873 г, происходили заседания кружка созданных Львом Н-чем учителей, которым он объяснял свою систему и тут же проверял ее на собранных из соседних деревень неграмотных детях.

Вот что пишет по этому поводу гр. Софья Андреевна своей сестре от 16 октября 1872 года:

"В том доме у нас целая толпа учителей народных школ, человек 12, приехали на неделю. Лёвочка им показывает

свою методу учить грамоте ребят, и что-то они там обсуждают; навезли ребят из Телятинок и Грумонта, таких, которые еще не начинали, и теперь вопрос о том, как скоро они выучиваются по Лёвочкиной методе. Роман совсем заброшен, и это меня огорчает".

Мы полагаем, что из всего вышеизложенного читателю должна быть ясна сущность системы Л. Н-ча. Мы отметим еще одну характерную особенность ее. Во всем, что Л. Н-ч делал для народа, он ставил себе один важный и неопровержимый критерий — это понятность этого дела для народа. Эту мысль он особенно ярко высказал в письме к г-же П., обратившейся к Л. Н-чу в 1873 году за советом и помощью в деле издания задуманного ею журнала "Русский рабочий". Вот что ответил ей Лев Николаевич:

"Я потому только мало сочувствую народному журналу, что я слишком ему сочувствую: я убежден, что те, которые за него возьмутся, будут а *cent lieues* от того, что нужно для народа. Мои требования, льщу себя надеждою, одинаковые с требованием народа, это — чтобы журнал был понятен. А этого-то и не будет. Понятливость, доступность есть не столько необходимое усло-

вие для того, чтобы народ читал охотно, но есть, по моему убеждению, узда для того, чтобы не было в журнале глупого, неуместного, бездарного. Если бы я был издатель народного журнала, я бы сказал своим сотрудникам: пишите, что хотите. Проповедуйте коммунизм, хлыстовскую веру, протестантизм, — что хотите, но только

так, чтобы каждое слово было понятно тому ломовому извозчику, который будет везти экземпляры из типографии, и я уверен, что, кроме честного, здорового и хорошего, ничего не будет в журнале. Я не шучу и не желаю говорить парадоксов, а твердо знаю это из опыта. *Совершенно понятным и простым языком ничего дурного нельзя будет написать.* Всё безнравственное представится столь безобразным, что сейчас будет отброшено, все сектаторское — протестантское ли, хлыстовское ли — явится столь ложным, если будет высказано без непонятных фраз, все сколько-нибудь поучительное, популярно-научное, но не серьезное и, большею частью, ложное, чем всегда переполняются народные журналы, тоже без фраз, а выраженное понятным языком, покажется столь глупо и бедно, что тоже откинется. Если народный журнал серьезно хочет быть народным журналом, то ему надо только стараться быть понятным и достигнуть этого нетрудно. С одной стороны, стоит только пропускать все статьи через цензуру дворников, извозчиков, черных кухарок. Если ни на одном слове чтец не остановится, не поняв, то статья прекрасна. Если же, прочтя статью, никто из них не может рассказать, про что прочел, статья никуда не годится.

Я истинно сочувствую народному журналу и надеюсь, что вы отчасти согласитесь со мною, и потому говорю все это. Но знаю тоже, что 0,999 сочтут мои слова или просто глупостью, или желанием оригинальничать, тогда как я, напротив, в издании дамами журнала для народа — дамами, и думающими, и говорящими не по-русски без желания справиться с тем, понимает ли их народ — вижу самую странную и забавную шутку.

Я сказал: понятности достигнуть очень легко, с одной стороны — стоит только в рукописях читать и давать читать народу, но, с другой стороны, издавать журнал понятный — очень трудно. Трудно, потому что окажется очень мало материала. Будет беспрестанно оказываться то, что статья, признанная *charmant* в кругу редакции, как скоро прочтется в кухне, будет призвана никуда не годной, или что из 10-ти листов слов окажется дела 10 строк" (1).

(1) «Тобольские губ. ведомости» 1893 года, No 26.

Редакция "Тобольских ведомостей", печатая это письмо, прибавляет от себя, что Л. Н-ч оказался совершенно прав: журнал вышел ниже всякой критики; в нем большею частью печатались статейки, переведённые с английского, на безграмотном русском языке, и журнал просуществовал недолго.

Следующий документ показывает нам, что Л. Н-ч в то время серьезно задумывался о реформе русского языка в смысле народности.

В марте 1873 г. он пишет Н. Н. Страхову:

"Вы меня задели за живое, любезный Николай Николаевич. Мне стало грустно после того, как я прочел. Как и всегда, вы попали прямо на узел вопроса и указали его. Вы правы, что у нас нет свободы для науки и литературы, но вы видите в этом беду, а я не вижу. Правда, что ни одному французу, немцу, англичанину не придет в голову, если он не сумасшедший, остановиться на моем месте и задуматься о том — не ложный ли прием, не ложный ли язык тот, которым мы пишем и я писал, а

русский, если он не безумный, должен задуматься и спросить себя: продолжать ли писать поскорее свои драгоцен-

ные мысли, стенографировать или вспомнить, что и "Бедная Лиза" читалась с увлечением кем-то и хвалилась, и поискать других приёмов языка. И не потому что так рассудил, а потому что противен этот наш теперешний язык и приемы, а к другому языку и приемам (он же получился народный) влекут мечты невольные. Замечание Данилевского очень верно, особенно в отношении науки и литературы так называемой, но поэт, если он поэт, не может быть несвободен, находится ли он под выстрелами или нет. Всякий человек так же свободен встать или не встать с постели в безопасности в своей комнате, как и под выстрелами. Можно оставаться под выстрелами, можно уйти, можно защищаться, нападать. Под выстрелами нельзя строить, надо уйти туда, где можно строить. Вы заметьте одно. Мы под выстрелами, но все ли? Если бы все, то и жизнь была бы так же нерешительна, дрянна, как и науки и литература, а жизнь тверда и величава, и идет своим путем, и знать не хочет никого. Значит, выстрелы-то попадают только в одну башню нашей дурацкой литературы. А надо слезть и пойти туда ниже, там будет свободно. И опять случайно это "туда ниже" есть народность. "Бедная Лиза" выжимала слезы, и ее хвалили, а ведь никто никогда уже ее не прочтет, а песни, сказки, былины, весьма простые, будут читать, пока будет русский язык. Я изменил приемы своего

писания и языка, но, повторяю, не потому что рассуждаю, что так надобно, а потому что даже Пушкин мне смешон, не говоря уже о наших... а язык, которым говорит народ и в котором есть звуки для выражения всего, что только может сказать поэт, мне мил. Язык этот, кроме того, — и это главное — есть лучший поэтический регулятор. Захоти сказать лишнее, напыщенное, болезненное — язык не повторит, а наш литературный язык без костей, так на нем что хочешь мели — все похоже на литературу. Народность славянофилов и народность настоящая — две вещи столь же разные, как эфир серный и эфир всемирный, источник тепла и света. Я ненавижу все эти хоровые начала и строи жизни, и общины, и братьев славянских, кем-то выдуманных, а просто люблю определенное, ясное, красивое и умеренное и все это нахожу в народной поэзии, языке и жизни и обратное в нашем" (1).

(1) Архив В. Г. Черткова.

Другое письмо к Страхову того же времени снова поднимает этот важный вопрос о народности, который Л. Н-ч разрешает совершенно оригинальным, ему одному свойственным путем.

"Заметили ли вы в наше время в мире русской поэзии связь между двумя явлениями, находящимися между собой в обратном отношении: упадок поэтического творчества всякого рода — музыки, живописи, поэзии и стремление к изучению русской народной поэзии всякого рода — музыки, живописи и украшения и поэзии. Мне кажется, что это даже не упадок, а смерть с залогом

возрождения в народности. Последняя волна, поэтическая параболa, была при Пушкине на высшей точке, потом Лермонтов, Гоголь, мы, грешные, и ушла под землю. Другая линия пошла в изучение народа и выплывает, бог даст, а Пушкина период умер, совсем сошел на нет.

Вы понимаете, вероятно, что я хочу сказать. Счастливы те, кто будет участвовать в выплывании. Я надеюсь".

Народное образование, умственная и духовная пища, даваемая народу, всегда самым глубоким и серьезным образом занимала Льва Николаевича. Доводя до известной практической цели свою систему начального образования, Л. Н-ч решил идти дальше, чтобы дать возможность тем людям из наро-

да, которые имели к тому способности, охоту и материальную возможность, продолжать приобретение полезных знаний.

Занимаясь преподаванием, Л. Н-ч заметил в некоторых своих учениках жажду знания и стремление продолжать ученье. Ему помогал в преподавании его шури́н, Степан Андреевич Берс. Они начинали с некоторыми из крестьян-учеников, окончивших начальную школу, изучение алгебры, и дело шло очень успешно. И вот у Л. Н-ча возникла мысль основания высшего училища для народа, но такого, чтобы поступление в него и обучение в нем нисколько не требовало изменения в условиях жизни учеников. "Пускай это будет *университет в лаптях*", — говорил Л. Н-ч. Главными предметами предполагалось

сделать математику и один из иностранных языков. Была выработана программа и главные пункты устава. Оставалось найти средства для осуществления этого дела. Тогда был предводителем дворянства в губернии приятель Л. Н-ча, Дм. Фед. Самарин. Он, узнав о проекте Л. Н-ча и отнесясь к нему весьма сочувственно, рассказал, что в земстве имеется капитал в 30.000 р., предназначенный на народное образование и которому еще не дано назначение. Он предложил Л. Н-чу сделать на земском собрании доклад с просьбой дать эту сумму на учреждение высшего народного училища, нечто вроде учительской семинарии, и обещал поддержку.

Всегда отказываясь прежде от участия в выборах и выборной службе, на этот раз Л. Н-ч баллотировался в гласные и был единодушно выбран в члены училищного совета.

Степ. Андр. Берс говорит в своих воспоминаниях по поводу этого проекта следующее:

"В педагогических статьях Л. Н-ча неоднократно высказывалось, что наш образованный класс не в состоянии образовать простого народа так, как это нужно народу, потому что видит благо народа в прогрессе и цивилизации. Поэтому он полагал создать учителей для народных школ из среды того же народа".

И далее там же:

"Я прочел и слышал с разных сторон упреки моей методе, которая заключалась в том, чтобы будущего учителя-селянина удержать в той обстановке, в которой живут все крестьяне, и чтобы образование не развило в нем новых внешних потребностей, кроме душевных" (1).

(1) С. А. Берс. "Воспоминания о Толстом".

Можно назвать эту цель более общим именем — создание народной деревенской интеллигенции.

Но проекту этому не было суждено осуществиться. Доклад был сделан, и во время прений по этому вопросу, вначале весьма сочувственных, встал один старик и заявил, что в этот год Тула празднует столетие учреждения губернии Екатериной II, и что так как в то же время по всей России шла подписка на памятник Екатерине II, то не лучше ли в знак памяти и благодарности за оказанное Тульской губ. благодеяние пожертвовать этот капитал на памятник великой императрице-благодетельнице.

Собрание присоединилось к его просьбе, а Толстому постановили отказать. Неудача этой попытки не остановила Л. Н-ча в его дальнейшей педагогической деятельности.

Он был так поглощен этой деятельностью, что забросил все остальные дела. В это время он писал своей родственнице графине А. А. Толстой:

"Дело воспитания очень важное. Я только о нём и думаю. Я опять в педагогике, как 14 лет тому назад; пишу роман, но часто не могу оторваться от живых людей для воображаемых".

Это увлечение давало ему такое удовлетворение, что он чувствовал себя счастливым и, между прочим, писал гр. А. А. Толстой, что ему нечего писать о себе, потому что "les peuples heureux n'ont pas d'histoire" (1).

(1) У счастливых народов нет истории.

Льву Николаевичу хотелось заинтересовать в этом деле широкий круг педагогов, и вот он решил выступить с защитой своей методы в Московском комитете грамотности.

"Заседание Комитета грамотности 15 января 1874 г., — пишет один рецензент, — в котором граф А. Толстой защищал буквослагательный метод обучения грамоте и опровергал звуковой, поистине может быть названо необычайным во всех отношениях. Во-первых, очень большой зал, в котором происходит заседание Комитета, был буквально битком набит публикой, так что многим пришлось сидеть на окнах, а некоторые принуждены были даже стоять — явление весьма редкое". (2)

(2) "Русские ведомости" 1874 г. No 31.

На заседание был приглашён стенограф, и все прения были дословно записаны.

Льву Николаевичу предложено было председателем изложить свой метод преподавания; но он отказался, прося предлагать ему вопросы, на которые он будет отвечать.

Председательствовал Шатилов, говорили Н. П. Малинин, Д. И. Тихомиров, М. А. Протопопов, Мазинг, Бронзов — все, приводя доводы в пользу звукового способа; в пользу буквослагательного говорили учителя Королев, Егоров и председатель Шатилов.

А. Н-ч отвечал на возражения ораторов, причем спор перешел с узкого вопроса о способе обучения грамоте на более широкий вопрос о направлении начального образования вообще. А. Н-ч, оставаясь на почве своих взглядов на свободу образования, порицал современную систему начального образования за навязывание народу особого развития "с направлением" и признавал в начальном обучении целесообразным лишь преподавание русского языка и арифметики, находя, что преподавание естественных наук и истории извращает здравые народные понятия. (3)

(3) См. стеногр. отч. об этом засед., помещ. в "Моск. епарх. вед." 1874 г., No 10.

Споры были горячие, как всегда не приведшие ни к какому осязательному результату.

В подтверждение своих доводов А. Н-ч предложил лично демонстрировать свой способ на одной из московских фабричных школ. Опыт был назначен на фабрике Ганешина, на Девичьем Поле, 16 и 17 января вечером. 16 января А. Н-ч чувствовал себя нездоровым и не мог явиться, и демонстрация состоялась только вечером 17 января в присутствии членов Комитета грамотности и посторонней публики.

После этой демонстрации было решено произвести опыт в более широких размерах.

По предложению И. Н. Шатилова были учреждены в Москве при Комитете грамотности две первоначальные школы. В одной из них учение ведено было по звуковому способу г. Протопоповым, учителем, избранным

сторонниками звукового способа, в другой учил учитель Петр Васильевич Морозов по способу гр. А. Н. Толстого. Ученики были разделены в обе школы по равенству лет и способностей. Учение продолжалось равное время в той и другой школе, и обе школы были открыты для посетителей. После семи недель была назначена экзаменационная комиссия для произведения экзамена и заседание Комитета для заключения о преимуществах того и другого способа. Но члены экзаменационной комиссии разделились во мнениях, каждый почти подал отдельное мнение, заседание комитета грамотности не пришло ни к какому заключению, и вопрос оставлен открытым" (1).

(* "Отечественные записки" 1874 г., No 9, с. 147.

Прения по этому вопросу происходили на заседании комитета грамотности 13 апреля 1874 г.

Вследствие большого разногласия присутствовавших на заседании и невозможности ясно изложить свои взгляды А. Н-ч решил сделать это в печати и, по просьбе председателя Моск. ком. грамотн., Иосифа Ник. Шатилова, обратился с открытым письмом к нему, которое и было напечатано в "Отечественных записках" в No 9 за 1874 г.

Вот как рассказывает историю этой статьи Н. К. Михайловский в своих воспоминаниях:

"В 1874 г. гр. Толстой обратился к Некрасову с письмом (оно у меня сохранилось), в котором просил "Отечественные записки" обратить внимание на его, гр. Толстого, пререкания с профессиональными педагогами в Моск. комитете грамотности. Граф выражал лестную для нашего журнала уверенность, что мы внесем надлежащий

свет в эту педагогическую распрю. Письмо это, совершенно неожиданное, возбудило в редакции большой интерес. Собственно, Некрасов не особенно высоко ценил спор о приемах преподавания грамоты в народных школах, но гр. Толстой обещал отплатить за услугу услугой, разумея свое сотрудничество по беллетристическому отделу, и Некрасов как опытный журналист хорошо понимал значение сотрудничества автора "Войны и мира". Впечатление, произведенное этим гигантским творением, было еще тогда очень свежо, и ему нисколько не мешали некоторые рискованные подробности философско-исторической части романа. Известно, что философско-исторические взгляды гр. Толстого были первоначально вплетены в самый текст "Войны и мира", а затем выделены в прибавление, или в особую часть. Читатели мысленно совершили эту операцию гораздо раньше самого автора: наслаждались несравненными красотами художественной части и пропускали, так сказать, сквозь пальцы часть философско-историческую. В связи с рассказами о гр. Толстом Некрасова, который его давно и хорошо знал, как-то сама собой установившаяся плохая репутация философско-исторической части "Войны и мира" заставляла опасаться, что в педагогической распре мы окажемся, пожалуй, не на стороне графа (за самой распрей никто из нас не следил). В конце концов, порешили на том, чтобы предложить самому гр. Толстому честь и место в "Отечественных записках"; он, дескать, достаточно крупная и притом вне литературных партий стоящая фигура, чтобы отвечать самому за себя, а редакция оставляет за собой свободу действий. Но гр. Толстому этого было мало. В новом письме к Некрасову он повторял уверенность, что у него с "Отечественными

записками" никакого разногласия быть не может, и, выражая готовность прислать статью по предмету спора, настаивал на том, чтобы наш журнал предварительно сам выиска-

зался. Я взял на себя труд познакомиться с делом, отнюдь не обязываясь писать о нём, и взялся не потому чтобы очень интересовался вопросом о методах преподавания грамоты, а просто в качестве горячего почитателя гр. Толстого как художника, который вдобавок завоевал себе новое право на общую симпатию напечатанным в "Московских ведомостях" письмом о самарском голоде. Но ни красоты "Войны и мира", ни прочувствованные строки о голодном мужике не могли, конечно, служить ручательством за правильность педагогических взглядов гр. Толстого. Притом же и мне самому приходилось еще только знакомиться с педагогическими вопросами. Я откровенно изложил гр. Толстому свое положение: так и так, преподавательским делом никогда не занимался, с литературой предмета совершенно не знаком, но постараюсь изучить ее, а для этого нужно время. Действительно, я добросовестно принялся за разные учебники, методики, статьи, посвященные вопросам о методе звуковом, буквослагательном и пр., в том числе и за старые педагогические статьи гр. Толстого, составляющие четвертый том его сочинений. На все это при обилии других занятий потребовалось столько времени, что граф Толстой меня не дождался: статья его "О народном образовании" была напечатана в

сентябрьской книжке "Отечественных записок" 1874 г. и вызвала целую бурю как в общей, так и специально-педагогической литературе. Я же мог утилизировать плоды своего педагогического изучения только в январе 1875 г. Да и то я решился говорить только от лица и имени «профана». (1)

(1) Н. К. Михайловский. "Литерат. воспомин. и современная смута", с. 199–200.

Первая часть этой замечательной статьи "О народном образовании" касается произведённого опыта с двумя школами, и так как эта часть письма не вошла в полное собрание сочинений, а между тем она имеет, по нашему мнению, важное значение как для истории педагогики, так и для характеристики самого Л. Н-ча, то мы и приводим её здесь целиком.

Эта статья изложена в форме письма на имя председателя Московского комитета грамотности Иосифа Николаевича Шатилова.

"Милостивый государь Иосиф Николаевич!

Постараюсь исполнить ваше желание, т. е. написать то, или приблизительно то, что было высказано мною в последнем заседании комитета. Исполняю это с особенным удовольствием еще и потому, что в прежнем протоколе заседания, в котором напечатаны мои слова (я только что прочел его), я нашел много не имеющих ясного смысла фраз, которых, я помнится, не говорил. Если то, что было говорено мною в последнем заседании, должно быть напечатано, то настоящее письмо или может быть

напечатано вместо стенографического отчета, или может служить ему поверкою.

Опыт испытания преимущества того или другого метода посредством учреждения двух школ и экзамена был столь неудачен, что после испытания оказались возможными самые противоположные суждения. Были сделаны ошибки в самом устройстве школ. Первая ошибка состояла в том, что взяты в школы дети слишком малые, ниже того возраста и зрелости, при котором дети бывают способны к учению. Очевидно, что на детях, не способных ещё учиться, нельзя делать опыта, каким образом легче и труднее учиться. Трёхлетний ребенок одинаково не выучится ничему ни по какому способу, пяти- и шестилетний почти ничему не выучится; только на детях 10–11 лет можно видеть, по какому способу они выучатся скорее. Большинство же учеников

обеих школ были дети 6, 7 и 8 лет, не достигшие ещё возраста школьной зрелости, и потому только на старших учениках могло выказаться преимущество того или другого способа. В обеих школах было только по трое таких, и потому, сравнивая успехи той и другой школы, я буду говорить преимущественно о трех старших учениках.

Вторая ошибка состояла в том, что допущены были в школу посетители. В напечатанном в моей "Азбуке" кратком руководстве для учителя сказано, что одно из главных условий для успеха учения состоит в том, чтобы там, где учатся, не было предметов и лиц, развлекающих внимание учеников. Казалось бы, что условие это должно

быть одинаково невыгодно как для той, так и для другой школы; но оно было невыгодно только для моей школы, потому что главное основание обучения по моему способу состоит в отсутствии принуждения и в свободном интересе ученика к тому, что ему предлагает учитель; тогда как обучение в звуковой школе основано на принуждении и весьма строгой дисциплине. Понятно, что учителю легче заинтересовать ученика там, где нет ничего развлекающего внимание учеников, а там, где постоянно входят и выходят новые лица, привлечь внимание ученика будет очень трудно, и что, напротив, в принудительной школе влияние развлечения будет менее ощутительно.

Третья ошибка состоит в том, что г. Протопопов отступил при обучении в своей школе от приемов, которые я считаю вредными, но которые считаются необходимым условием обучения при звуковом методе. Отступление это, без сомнения, было очень выгодно для обучавшихся детей, и если бы сторонники звукового метода признали, что это отступление не случайно, то одна из главных сторон моего разногласия с ними не существовала бы. Отступление г. Протопопова от своего метода состояло, во-первых, в том, что он не исполнил требования так называемого наглядного обучения, которое, по мнению педагогов, должно быть нераздельно связано с обучением грамоте и предшествовать ему. Бунаков и все столпы новой педагогики советуют большую часть времени употреблять на наглядное обучение.

На известных педагогических курсах прошлого года, как я слышал, все учёные педагоги, учителя учителей, показывали на учениках, что надо три четверти времени проводить в описании комнаты, стола и т. д. Это не было делаемо г. Протопоповым в тех размерах, в которых

предписывается педагогами. Правда, я видел один раз, что, прочтя слово "дрозд", г. Протопопов хотел показать ученикам в лицах дрозда, но в картинах дрозда не оказалось, и г. Протопопов, попросив их поверить на слово, что дрозд — птица (что они очень хорошо знали), поспешил перейти к занятию чтением. Я повторяю, что отступление это очень выгодно для учеников и для дела, но надо признать его. И тогда, повторяю, я почти не спорю.

Другое отступление, сделанное г. Протопоповым от своего метода, состояло в том, что, противно общему правилу педагогов, что книги надо читать только в школе с объяснением каждого слова, г. Протопопов давал своим ученикам книги читать и на дом. Я считаю главной целью школы доводить учеников до того, чтобы они, интересуясь книгой, брали ее читать на дом и понимали бы ее, как они хотят, и поэтому г. Морозов давал ученикам книги на дом; но, сколько мне известно, по руководствам педагогов звукового метода, так как при нем дети считаются дикарями, которых надо месяца два учить правой и левой стороне и тому, что вверх, что вниз, то книг им давать не надо, и всякое слово должно быть объяснено. Опять, если мы и в этом согласны, убавляется еще одна важная часть спора.

Третье отступление состоит в том, что г. Протопопов давал читать своим ученикам не исключительно руководства педагогов звуковой школы, которые я считаю дурными. Для самого важного отдела чтения, того, которое

производилось учениками дома для личного интереса, он употреблял именно мои книги — "Азбуку" и "Ясную Поляну". Эти две книги были им постоянно даваемы ученикам на дом. Опять повторяю, что и на это я совершенно согласен, но надо признать это.

Четвёртая и самая главная ошибка в устройстве школы было их соседство из двери в дверь и то, что дети вместе ходили в школу и уходили из неё. Многие ученики даже жили вместе на одних квартирах. Невыгодное влияние соседства и сближения учеников состояло в том, что ученики г. Протопопова научились от учеников г. Морозова моему способу складывания и, по моему убеждению, благодаря этому знанию выучились читать у г. Протопопова. Все мальчики школы г. Протопопова умеют складывать на слух и умели это делать с первых же дней, научившись этому от учеников Морозова. На экзамене мы видели, как они называли буквы — бе, ре и т. д. Способ складывания на слух так легок, что в моих прежних школах меньшой брат ученика всегда приходил в школу уже со знанием складов, которому он научился на слух от брата. В нынешнем году в яснополянской школе хозяйский мальчик 6-ти лет, считавшийся слишком молодым для учения, лежал на полатах во время учения и после нескольких уроков слез и стал хвастаться, что он все знает, — и действительно знал. Так и ученики г. Протопопова, перебегая через школу, возвращаясь вместе домой, научились складывать, и в классе г. Протопопова складывали собственно по моему способу, и, только удовлетворяя требованиям г. Протопопова, называли бе — б, в сущности же читали по буквослагательному способу. Должен сказать, что г. Протопопов с чрезвычайной добросовестностью требовал от учеников, чтобы они

забывали бе и называли б, и ученики старались делать то, что велит учитель. Я сам видел в классе г. Протопопова, как мальчик, давно прочтя слово "груша" и зная, что оно состоит из ге-ре-у-ше-а, бился и не мог выговорить г, р, чего требовал учитель. Итак, вследствие соседства школ, по моему мнению, ученики г. Протопопова выучились не благодаря звуковому методу, но скорее несмотря на него. Этот взаимный невольный обман, состоящий в том, что ученики выучиваются, в сущности, по буквослагательному, более естественному и легкому способу, а в угоду учителю притворяются, что они учатся по звуковому, был замечаем мною не раз во многих школах, в которых предписывается звуковой способ, Все опытные люди, наблюдавшие самый ход дела обучения грамоте в народных школах, как-то: инспектора, члены училищных советов, подтверждают, что в большинстве школ, где введен звуковой способ, он ведется только номинально, в сущности же дети обучаются по буквослагательному, называя согласные бы, вы, гы и т. д. Только этому взаимному обману можно приписать и то, что в обществах городских, где грамотность распространена, звуковой способ дает лучшие результаты, чем в деревнях.

В городах, где знают дети буквы и склады, переучиваясь по звуковому, они учатся, собственно, по буквослагательному, но приучаются откидывать ненужное при складах уки, еди или е.

В последнем заседании комитета, на котором я был, у меня спрашивали, что я разумею под словами, что мой способ народен. Вот это самое. Я разумею то, что учитель с добросовестным усилием старается выучить детей русской грамоте по немецкому способу и против своей воли учит

их по народному способу, и что ученики выучиваются ему бессознательно.

Таковы были ошибки в учреждении школ для испытания. Но, несмотря на самые противоречивые суждения, выраженные членами экзаменационной комиссии о результатах испытания, мне кажется, что результат испытания совершенно ясен, если рассматривать только тех учеников, которые могли учиться, т. е. 3 старших в той и другой школе. Определяя по знанию, я вижу, что старшие ученики г. Протопопова умеют читать и писать по-русски и больше ничего. Ученики школы Морозова умеют также читать по-русски (по-моему, лучше), но, кроме того, знают нумерацию, сложение, вычитание и отчасти умножение и деление и еще читают по-славянски. Следовательно, знают гораздо больше. Определяя же по времени, я вижу, что ученики г. Морозова знали то, что знают теперь ученики г. Протопопова (я говорю про трех), чрез две недели после начатия учения, и справедливость этого могут подтвердить все посещавшие школу и видевшие, что 3 старшие ученика Морозова уже после двух недель читали так же, как теперь читают ученики г. Протопопова. Остальное время было употреблено г. Морозовым на славянский язык, арифметику и на те медленные шаги в улучшении чтения и письма, которые не могли быть заметны на экзамене.

Итак, ученики г. Морозова знают гораздо более того, что знают ученики г-на Протопопова, и менее чем в

половину того времени, которое было употреблено г. Протопоповым, знали то, что знают ученики г. Протопопова. Вот, но моему мнению, ясный и очевидный результат испытания, доказывающий, что способ, по которому учил г. Морозов, несмотря на те ошибки, которые я указал, — что способ этот вдвое легче и быстрее, чем звуковой способ.

Если же рассматривать и меньших учеников, то и относительно их общий результат испытания будет тот, что все без исключения ученики г. Морозова умеют читать по складам, писать и знают цифры и нумерацию, ученики же г. Протопопова знают читать и писать, и больше ничего. И то из меньших учеников г. Протопопова надо исключить двоих, которые не знают даже и читать.

Но мы слышали в прошлом заседании и услышим от всякого педагога звукового метода и прочтём во всяком руководстве педагогов этой школы, что обучение грамоте ничего не значит, что главное дело — развитие" (1).

(1) "Отеч. записки" 1874 г. No 9.

Перейдем теперь к краткому изложению второй части статьи, вошедшей в полное собрание сочинений.

Л. Н-ч полагает, что одним из главных тормозов к истинному образованию служит изобретенное интеллигенцией и навязываемое народу понятие "развитие". Развитие есть движение, и его главное условие, цель, направление, конечный результат, которого должно достичь движение, должно быть ясно известно и определено, чтобы движение или развитие было осмысленно, а между тем этого-то и нет; цели развития

ставятся неясные, произвольные и часто противоречащие одна другой.

Л. Н-ч приводит выдержки из методики Бунакова и Евтушевского и критикует их изложение. Главный мотив этой критики заключается в том, что эти системы основаны на заимствованных западных теориях и принципах и применяются к народному образованию без соображения о том, соответствует ли это мировоззрению народа, обычаю, экономическим условиям и степени развития той или другой местности, слоя населения или деревни.

От этого незнания народа, пренебрежения к его потребностям, от этого желания навязать ему свою науку происходит, по мнению Л. Н-ча, большая часть ошибок новейших педагогических систем. То они толкуют о том, что должно быть известно всякому деревенскому мальчику с двухлетнего возраста, как, напр., что потолок вверх, а пол вниз, то о самых простых вещах они говорят таким языком, который непонятен детям, и только запутывают их понятия вместо развития их. То же можно сказать и о преподавании арифметики; сидение в продолжение целого года на числах от 1 до 10, годное разве только для идиотов, решение задач, имеющих претензию на бытовое содержание и которое в то же время совершенно недоступно, по своей искусственности, пониманию ученика, делает из интересного предмета нечто среднее между каторжной работой и толчением воды.

"По захолустьям уже можно найти учителей, — говорит Л. Н-ч, — в особенности учительниц, которые, разложив перед собой руководство Евтушевского и Бунакова, прямо по ним спрашивают, сколько будет одно перо и одно перо и чем покрыта курица. Да, все это было бы смешно, если бы это был только вымысел историка, а не указание для практического дела, и указание, которому уже следуют некоторые, и если бы это дело не касалось одного из самых важных людских дел в жизни — воспитания детей. Мне было смешно, когда я читал это как теоретические фантазии; но когда я узнал и увидал, что это делается над детьми, мне стало и жалко, и стыдно". (1)

(1) "О народном образовании" 1874 г. Полн. собр. соч., т. IV, с. 316.

Протестуя против этой постоянной опеки над народом, против этого насилия над душой ребёнка, Л. Н-ч говорит далее:

"Педагогика находится в том же положении, в каком бы находилась наука о том, как должно ходить человеку; и люди стали бы искать правил, как учить детей, предписывать им сокращать тот мускул, вытянуть другой и т. д. и т. д. Такое положение новой педагогики прямо вытекает из двух ее основных положений: 1) что цель школы есть развитие, а не наука, и 2) что развитие и средства достижения его могут быть определены теоретически. Из этого последовательно вытекло то жалкое и часто смешное положение, в котором находится школьное дело. Силы тратятся напрасно; народ, в настоящую минуту жаждущий образования, как иссохшая

трава жаждет воды, готовый принять его, просящий его, вместо хлеба получает камень и находится в недоумении: он ли ошибался, ожидая образования, как блага, или что-нибудь не так в том, что ему предлагают? Что дело стоит так, не может быть ни малейшего сомнения для всякого человека, который узнает нынешнюю теорию школьного дела и знает действительное состояние его среди народа. Но невольно представляется вопрос: каким образом люди честные, образованные, искренно любящие свое дело и желающие добра, каковыми я считаю огромное большинство моих оппонентов, могли стать в такое странное положение и так глубоко заблудиться?"

Немного дальше Л. Н-ч говорит:

"Педагоги немецкой школы и не подозревают той сметливости, того настоящего жизненного развития, того отвращения от всякой фальши, той готовой насмешки над всем фальшивым, которые так присущи русскому крестьянскому мальчику, — и только потому так смело (как я сам видел), под огнем 40 пар умных детских глаз, на посмешище их выделывают свои штуки. Только от этого настоящий учитель, знающий народ, как бы строго ему ни

предписывали учить крестьянских детей тому, что низ, что верх и что два и три будет пять, — ни один настоящий учитель, знающий тех учеников, с которыми он имеет дело, не будет в состоянии того делать".

Одной из главных ошибок новой педагогики Л. Н-ч считает также то, что ее главная исходная точка есть критика старых приемов и придумывание новых, сколь

возможно больше противоположных старым, но отнюдь не постановка новых оснований педагогики, из которых могли бы вытекать новые приемы.

Окончив критику заимствованных от немцев педагогических систем, Лев Николаевич приступает снова к изложению своей системы; при этом он оговаривается, что ему придётся повторять те же доводы, которые он высказал уже в 1862 г. в своём журнале "Ясная Поляна".

Первыми в его системе, как тогда, так и теперь, являются вопросы: 1) чему нужно учить? и 2) как нужно учить? — и как тогда, так и теперь, вопросы эти остаются в учёном педагогическом мире без определенного ответа.

"А между тем — продолжает Л. Н-ч, — вопрос этот совсем не так труден, если мы только совершенно отрешимся от предвзятых теорий. Я пытался разъяснить и разрешить этот вопрос и, не повторяя тех доводов, которые желающий может прочесть в статье, выскажу результаты, к которым я был приведен. Единственный критериум педагогики есть свобода, единственный метод есть опыт.

При условии свободы в деле образования мы, несомненно, дадим возможность самому народу высказаться, что ему нужно, и сделать выбор из предлагаемых ему нами знаний. Опытный же метод даст нам возможность найти наилучший способ передачи этих знаний.

Всякое движение вперёд педагогики, если мы внимательно рассмотрим историю этого дела, состоит только в большем и большем приближении к естественности отношений между учителем и учениками, в меньшей принудительности и в большей облегчённости учения.

Та школа, в которой меньше принуждения, лучше той, в которой больше принуждения. Тот прием, который при своем введении в школу не требует усиления дисциплины, хорош, тот же, который требует большей строгости, наверное дурен. Возьмите, например, более или менее свободную школу, такую, каковы мои школы, и попробуйте начать в ней беседы о столе и потолке или переставлять кубики, — посмотрите, какая каша сделается в школе, как почувствуется необходимость строгостью привести учеников в порядок; попробуйте рассказать им занимательную историю, или задавать задачи, или заставьте одного писать на доске, а других поправлять за ним ошибки, и спустите всех с лавок — увидите, что все будут заняты, шалостей не будет, и не нужно будет усиливать строгость, — и смело можно сказать, что прием хорош".

Рассматривая положение школьного дела за 10-летнее существование земской школьной деятельности (1864–1874 гг.), Л. Н-ч замечает регресс самостоятельного народного обучения, начавшегося развиваться после освобождения крестьян от крепостной зависимости.

В административном и экономическом отношении земско-министерская опека оказывается также вредящей, а не способствующей развитию народного образования. Слишком высокие требования в устройстве школы и найме учителей не позволяют увеличивать числа школ, которые вследствие этого, по своей разбросанности и дальности расстояний, перестают обслуживать данный район, и тяжелая школьная подать обращается в прямое и бессмысленное насилие для той части населения, которая не пользуется школой.

Вот главные отличия взглядов народа и земства на ведение школьного дела:

"1) Земство обращает большое внимание на помещение и тратит на него большие деньги, — народ обходит эти затруднения домашними экономическими средствами и смотрит на школы грамотности как на преходящие временные учреждения; 2) земско-министерское ведомство требует ученья круглый год, за исключением июля и августа, и нигде не вводит вечерних классов, — народ требует ученья только зимою и любит вечерние классы; 3) земско-министерское ведомство имеет определенный тип учителей, ниже которых оно не признает школы, и имеет отвращение к церковникам и вообще местным грамотеям; народ никакой нормы не принимает и избирает учителей преимущественно из местных жителей; 4) земско-министерское ведомство распределяет школы случайно, т. е. руководствуясь тем только, чтобы могло составиться нормальное училище, и не заботится о той большой половине населения, которая при этом распределении остается вне школьного образования, — народ не знает не только определенной внешней формы школы, а самыми разнообразными путями приобретает себе на всякие средства учителей, устраивает школы худшие и дешевые на маленькие средства, хорошие и дорогие на большие средства, и при этом преимущественно обращает внимание на то, чтобы все местности пользовались на свои деньги ученьем; 5) земско-министерское ведомство определяет одну меру вознаграждения, довольно высокую, и произвольно

увеличивает прибавку от земства, — народ требует наивозможнейшей экономии и распределяет вознаграждение так, чтобы оно платилось прямо теми, чьи дети учатся".

Изложив план целой сети мелких школ грамотности с учителями, нанятыми самим народом, Л. Н-ч задает себе вопрос:

"Но как же контролировать их, следить за ними, учить их, если их расплодится сотни по уезду?"

В каждом земстве, если оно взяло на себя обязанность распространения или содействия народному образованию, должно быть одно лицо, — будет ли то бесплатный член училищного совета или человек на жалованье не менее 1.000 руб., нанятый земством — одно лицо, заведующее педагогической стороной дела в уезде. Лицо это должно иметь общее свежее образование в пределах гимназического курса, т. е. основательно знать арифметику и алгебру, и быть учителем, т. е. знать практику педагогического дела. Лицо это должно быть свежееобразованное, потому что я замечал, что очень часто сведения человека, давно кончившего курс даже в университете, не освежавшего свое образование, бывают недостаточны не только для руководства учителей, но даже и для экзамена в сельской школе. Лицо это должно быть учителем в той же самой местности, для того чтобы в требованиях своих и наставлениях оно постоянно имело в виду тот педагогический материал, с которым имеют дело другие учителя, и поддерживало в себе то живое отношение к действительности, которое есть главное средство против заблуждений и ошибок. Если какое земство не имеет такого человека и не хочет нанять такого, то, по моим понятиям, такому земству делать

решительно нечего относительно народного образования, кроме как давать деньги, потому что всякое вмешательство в административную часть дела (что теперь повсеместно делается) только вредно".

Потом, изложив подробно, как при предлагаемой им системе при той же денежной затрате можно содержать до 400 пригодных для народа училищ

вместо 20, устроенных теперь по плану земства, Л. Н-ч так заключает свою статью:

"Если высказанное мною теперь не убедит никого, значит, я не умел выразить то, что хотел, и переспоривать никого не желаю. Я знаю, что нет безнадежно глухих, как те, которые не хотят слышать. Я знаю, как это бывает с хозяевами. Новая молотилка куплена дорого, поставлена, пустили молотить, Молотит дурно, как ни подвинчивай доску, нечисто молотит, и зерно идет в солому. Но хоть и убыток, хоть и ясный расчет бросить молотилку и молотить иначе, но деньги потрачены, молотилка налажена, "пускай молотит", — говорит хозяин. То же будет и с этим делом. Я знаю, еще долго будут процветать наглядные обучения, и кубики, и пуговицы вместо арифметики, и шипенье и гиканье для обучения букв, и 20 школ немецких дорогих вместо нужных 400 дешевых народных. Но я тоже твердо знаю, что здравый смысл русского народа не позволит ему принять эту навязываемую ему ложную и искусственную систему обучения.

Народ, главное заинтересованное лицо и судья, и ухом не ведет теперь, слушая наши более или менее остроумные

предположения о том, какими манерами лучше приготовить для него духовное кушанье образования; ему все равно, потому что он твердо знает, что в великом деле своего умственного развития он не сделает ложного шага и не примет того, что дурно, — и как стене горох будут попытки по-немецки образовывать, направлять и учить его".

Переходим теперь к краткому обзору главнейших критических отзывов об этой статье.

Н. А. Некрасов, бывший тогда редактором "Отечественных записок", писал Л. Н-чу по поводу этой статьи 12 окт. 1874 г. из Петербурга:

"Милостивый государь Лев Николаевич!

Статью вашу я напечатал и, выждав несколько времени, пишу вам, что все сотрудники отзываются о ней с сочувствием и единодушными похвалами. Публика петербургская не читает, а если читает, то молчит. Мне ваша статья очень по душе, и я думаю, что дело народного образования, которым вы занимаетесь, есть главное русское дело настоящего времени.

Н. К. Михайловский еще не покинул желания выступить в "О. З." по вопросам педагогическим и сделает это, как только представится случай.

Я очень доволен, что украсил журнал и хорошою статьею, и вашим именем.

Душевно вас уважающий *Н. Некрасов*". (1)

(1) Архив гр. С. А. Толстой.

Вслед за появлением статьи Л. Н-ча стали появляться во всех журналах и газетах критические отзывы о ней. Как всегда, эти отзывы были чрезвычайно разноречивы. Вот наиболее типичные из них:

Одним из первых появился ответ Бунакова в "Семье и школе" (№ 10, 1874), в котором он прямо и откровенно упрекает Л. Н-ча во лжи, невежестве, себялюбии и др. пороках. Во всех его упреках и обличениях слышится тон оскорбленного самолюбия.

В критической статье В. Авсеенко в "Русском мире" (№ 227, 1874) автор с большим одобрением относится ко взглядам Л. Н-ча относительно немецкой школы, опасаясь за слишком большую свободу и бесконтрольность народного образования, которую тот допускает.

Критик "Недели" (№ 42, 1874 г.) одобряет Л. Н-ча за его протест против Бунакова, Евтушевского и К°, но упрекает его за то, что Л. Н-ч смешивает этих неудачных представителей немецкой педагогики с самой наукой. Критик с большим сочувствием относится к требуемой Л. Н-чем свободе в образовании народа.

Критик "Одесского вестника", Семенюта, констатирует с удивлением и негодованием тот единодушный восторженный приём, который был оказан газетными рецензентами статье Л. Н-ча, и со своей стороны заявляет, что лучше бы Л. Н-ч совсем молчал, чем говорить такие бессмысленные вещи.

Г-н Ч. М. К. в "Семье и школе" (№ 12, 1874) высмеивает статью Льва Николаевича, его опыты в Москве и речи в

комитете грамотности, но констатирует большое влияние его статьи и приводит факт изгнания учебника Евтушевского из Московской учительской семинарии.

В "Гражданине" (№ 48 и 50, 1874) появился обстоятельный и, как всегда, сочувственный разбор статьи Страховым, в которой он развивает и дополняет главные положения Л. Н-ча.

Очень серьезная статья, замечательная по искренности и правдивости, была напечатана в "Новом времени" за подписью "Народный учитель". В этой статье автор, не делая никаких выводов, только сообщает впечатление, произведенное на него и на его товарищей, сельских учителей, этой статьей. "Лица второй категории (к первой категории он относит ученых педагогов), — говорит этот народный учитель, — прочитав статью гр. Толстого, свободнее вздохнули. Они как будто освободились от тяжелого гнета, давившего их некоторое время".

Скабичевский в "Биржевых ведомостях", относясь с большим сочувствием к статье Л. Н-ча, проводит параллель между его взглядами и взглядами Ушинского, находя в них то общее, что оба они признают педагогику искусством, а не наукой.

Во второй своей статье Скабичевский возражает Маркову, защищая Толстого от его нападок, и выражает свое сочувствие основному критерию Толстого — свободе.

В "Педагогическом листке" (1875), в статье, написанной в ироническом, несочувственном Л. Н-чу тоне, есть интересная заметка. Автор так начинает свою статью:

"Самым животрепещущим вопросом педагогики последних дней была статья гр. Толстого. Трудно было показаться куда-нибудь, не рискуя в сотый раз наткнуться на порядочно надоевший уже вопрос: а вы за кого — за

Толстого или за Евтушевского? Беспреданно приходилось наткаться на людей, которых привык считать безопасными относительно писательских поползновений и которые с таинственным шепотом говорили: "А я, батюшка, хочу статейку тиснуть". — "Насчет чего? — спрашивал я обыкновенно с самой невинной физиономией, — вероятно, насчет дороговизны..." — "Нет-с, насчет гр. Толстого!"

Да, много бумаги исписано по этому поводу и, вероятно, еще немало испишется её в будущем".

Наконец, на защиту взглядов Л. Н-ча Толстого против немецкой педагогики выступил в "Отечественных записках" Н. К. Михайловский, заявивший себя горячим сторонником педагогических воззрений Толстого. Вот как он говорит о впечатлении, произведенном статьей "О народном образовании" 1874 г. по сравнению с впечатлением, вызванным статьями Л. Н-ча в 1862 г.:

"Пятнадцать лет тому назад граф Л. Н-ч Толстой издавал специально-педагогический журнал. Этого журнала и в обществе, и в литературе не замечали или трунили над ним. Были (помнится, в журнале "Время", а может, и еще где-нибудь) отзывы, сочувственные как положительной, так и отрицательной стороне педагогической деятельности гр. Толстого. Но, в конце концов, его педагогические воззрения оказались все-таки "явлением, пропущенным нашей критикой". Влияния, я полагаю, они не имели никакого и ни в каком смысле. И во всяком случае, это влияние не может идти ни на какое

сравнение с впечатлением, произведенным статьей гр. Толстого "О народном образовании", напечатанной в № 9 "Отечественных записок" за прошлый год. В этой статье, как говорит сам автор, как говорят все его противники (его сторонники этого не говорят), как оно в действительности и есть, выражаются, в сущности, те же мысли, что выражались пятнадцать лет тому назад в журнале "Ясная Поляна". Но "Ясная Поляна", выражаясь языком школьников, "провалилась", а на долю статьи "Отечественных записок" выпал такой громадный успех, каким едва ли может похвалиться какое бы то ни было литературное явление прошлого года: силы наших известнейших педагогов напряженнейшим образом сосредоточились на опровержении или защите положений и отрицаний гр. Толстого; заседания педагогического общества никогда не привлекали такого огромного числа посетителей, как в дни пререканий гг. Страннолюбского и Евтушевского об "Азбуке" гр. Толстого и статье "Отечественных записок"; в обществе под влиянием этой статьи появилось, по свидетельству г. Евтушевского, "резкое порицание всего нового направления педагогики"; наконец, газеты всех партий, всех цветов и оттенков с небывалым единодушием стали на сторону педагогической ереси гр. Толстого. И надо еще заметить, что гр. Толстой не принадлежит отнюдь к числу баловней нашей критики".

В одной из следующих статей Михайловский говорит:

"Много лет тому назад гр. Толстой занялся педагогиею, и занялся так, как у нас очень редко кто занимается своим делом. Он не только не принимал на веру какой бы то ни было готовой теории образования и воспитания, но, так сказать, взрыл всю область педагогики вопросами: это зачем? какие основания такого-то явления? какая цель

такого-то? — вот с чем подходил гр. Толстой и к самой сути педагогики, и к разным ее подробностям. Делал он это с истинно замечательной смелостью. Смелость бывает разного рода. Есть смелость дикарей, подбегающих к самым жерлам направленных на них пушек, чтобы заткнуть их своими шляпами; это — смелость невежд, не имеющих понятия о трудностях предпринимаемого ими дела. Есть смелость Угрюм—Бурчеевых, смелость мраколюбцев, почерпаемая из беззаветной ненависти к свету. Есть смелость нравственно пустопорожних людей, готовых идти в любой поход без всякого умственного и нравственного багажа, без знаний и убеждений и не рассчитывающих на победу, но и в поражении не видящих чего-нибудь печального или позорного. Есть смелость отчаяния, когда человек сознает, что дело его проиграно, и бросается в самый пыл битвы, чтобы погибнуть. Есть смелость бретеров, жаждущих борьбы для процесса борьбы. Есть, наконец, смелость людей, глубоко преданных своему делу и верящих, что оно не сегодня завтра восторжествует, что оно должно восторжествовать. В виду идеала, который им так ясен и близок, им не приходится гнуться перед господствующими мнениями, не приходится в оставленном ими храме видеть все-таки храм и в низвержении ими внутри себя кумире всё-таки Бога. Педагоги-

ческие воззрения гр. Толстого налицо (они собраны в 4-м томе его сочинений), и всякий непредубежденный человек должен признать, что смелость его была последнего рода".

И вот Михайловский задаёт себе вопрос: почему так долго не обращали внимания на педагогические воззрения Толстого, почему он сам не заметил их, и ставит гипотезу, объясняющую ему это явление. Он замечает во Льве Н-че десницу и шуйцу. Педагогические воззрения его он целиком относит к "деснице", равно как и многие другие идеи Л. Н-ча, выраженные в его художественных произведениях, и даже некоторые основные положения его философии истории в "Войне и мире". Но рядом с этими идеями он замечает и "шуйцу", к которой он относит проявляющееся в некоторых его произведениях пристрастие к его сословию, к привилегированному классу, к консервативным основам существующего строя. Реакционная печать ухватывается за эту именно часть, раздувает ее, объявляет Л. Н-ча своим сторонником и отпугивает от Л. Н-ча прогрессивный общественный элемент.

Вот как выражает эту мысль Михайловский:

"Эти несчастные не понимают, что то, что им нравится в Толстом, есть только его шуйца, печальное уклонение, "невольная дань" культурному обществу, к которому он принадлежит. Они бы были рады из него левшу сделать, тогда как он, я думаю, был бы рад, если бы родился без шуйцы. Повторяю, я только предполагаю, что графу Толстому должно быть обидно слышать похвалы пещерных людей, которые (похвалы) относятся только к его шуйце. Но мне лично всегда бывает обидно за гр. Толстого, когда я вижу усилия, и небезуспешные, пещерных людей замарать его своим нравственным соседством. Обидно не потому, что я сам желал бы стоять рядом с гр. Толстым, хотя, разумеется, и это привлекательно, но потому, что, марая его своим нечистым прикосновением, они отняли у

общества чуть не всю его десницу. Почему читающей публике решительно неизвестны воззрения гр. Толстого? Отчего они не коснулись общественного сознания? Много есть тому причин, но одна из них, несомненно, есть нравственное соседство пещерных людей, холопски, т. е. с разными привираниями и умалчиваниями, лобызаящих шуйцу гр. Толстого. Я на себе испытал это. Я поздно познакомился с идеями гр. Толстого, потому что меня отгоняли пещерные люди, и был поражен, увидав, что у него нет с ними ничего общего. Полагаю, что это не исключение, а общее правило.

Драма, совершающаяся в душе гр. Толстого, есть тоже моя гипотеза, но гипотеза законная, потому что без нее нет никакой возможности свести концы его литературной деятельности с концами. Гипотеза же эта объясняет мне все".

В кратких, но метких словах Михайловский выражает разницу между педагогами и Л. Н-чем Толстым:

"Педагоги вполне уверены в безусловных достоинствах своих идеалов и вместе с тем смотрят на народ, как на грубую, глупую и невежественную толпу. Применяясь к этой грубости, глупости и невежеству, они делают известные урезки в своих идеалах и, например, вместо ряда наук в известной последовательности, предлагают народу какую-то педагогическую окрошку, составленную из бессвязных обрывков разнообразнейших знаний, или низводят наглядное обучение, представляющееся им последним словом науки, до уровня вопросов о полете лошади и количестве ног у ученика. Выходят и волки сыты, и овцы целы, и идеалы наилучшего образования сохранены, и сделано снисхождение к глупости мужика.

Гр. Толстой находится в ином положении. Не идеализируя мужика, не отрицая ни его грубости, ни его не-

вежества, он видит в нём задатки громадной духовной силы, которой нужно только дать толчок".

Нам нет возможности, конечно, делать много выписок из этих интересных статей. Мы закончим наш очерк следующими словами Н. К. Михайловского:

"Хотя я и профан в философии и в педагогике и пишу, собственно говоря, фельетон, но рекомендую читать этот фельетон с усиленным вниманием. Не ради меня, а ради Толстого, ради тех тонких оттенков мысли, которые я только комментирую".

Система Л. Н-ча, конечно, до сих пор не принята в наших школах. Но мы твердо убеждены, что если в них есть что живое, самобытное, то многим из этого живого они обязаны Толстому.

Эта усиленная педагогическая деятельность не встречала большого сочувствия в семье Л. Н-ча. Графине Толстой, хотя и с охотой занимавшейся в домашней школе с крестьянскими ребятами, была, очевидно, симпатичнее художественная деятельность Л. Н-ча. Это видно из следующего письма ее к своему брату С. А. Берсу от 20 ноября 1874 года:

"Наша серьёзная зимняя жизнь наладилась. Левочка весь ушел в народное образование, школы, учительские училища, т. е. где будут образовывать учителей для народных школ, и все это занимает его с утра до вечера. Я

с недоумением смотрю на все это, мне жаль его сил, которые тратятся на эти занятия, а не на писание романа, и я не понимаю, до какой степени полезно это, так как вся эта деятельность распространится на маленький уголок России — на Крапивенский уезд". (1)

(1) С. А. Берс. "Воспоминания о Толстом".

Немного позднее, 12 декабря того же года, Соф. Андр. писала своей сестре Т. А. Кузминской:

"Лёвочка выдумал писать еще "Азбуку" для детей, по примеру американских first, second and third reader. Ты, верно, видела у нас, где first reader начинается с очень коротких слов и так идет постепенно; и будет продаваться по 8 или 10 копеек. Роман не пишется, а из всех редакций так и сыплются письма: 10 тысяч вперед и по 500 р. за лист. Левочка об этом и не говорит, и как будто дело не до него касается. А мне бог с ними — с деньгами, а главное, просто то его дело, т. е. писание романов, я люблю и ценю и даже волнуюсь им всегда ужасно; а эти азбуки, арифметики, грамматики я презираю и претворяться не могу, что сочувствую. И теперь мне в жизни чего-то недостает, чего-то, что я любила, и это именно недостает Левочкиной работы, которая мне всегда доставляла наслаждение и внушала уважение. Вот, Таня, я настоящая писательская жена, как к сердцу принимаю наше авторское дело".

Скажем несколько слов об этой "Новой Азбуке". Сознавая некоторые недостатки своей первой "Азбуки", Л. Н-ч подвергнул ее сильной переработке и ввел особый

отдел постепенного чтения. В 1875 году была выпущена им "Новая Азбука".

В предисловии к этому изданию автор так определил его цель:

"Задача "Азбуки" состоит в том, чтобы за наименьшую цену дать учащимся наибольшее количество понятного материала, расположенного в такой правильной постепенности, от простого и легкого к сложному, чтобы постепенность эта служила главным средством обучения чтению и письму по какому бы то ни было способу. С этой целью сначала подобраны слова все понят-

ные, все произносящиеся так, как пишутся, и все расположенные по ударениям, для того чтобы ученик узнавал значение каждого прочитанного слова и мог бы писать под диктовку, потом более сложные слова и более сложные соединения из них, переходящие в басни, сказки и рассказы. Рассказы, басни и сказки составлены так, чтобы ученик мог без наводящих вопросов рассказать прочитанное, и потому статьи эти могли бы быть употребляемы для упражнения учеников в самостоятельном чтении и для диктовки.

Так как главная трудность в сознательном чтении состоит в длине самых слов, то вся первая часть "Азбуки" составлена из слов, не выходящих из двух слогов и шести букв. Во второй части употребляются слова, не выходящие из трех слогов, и только в последней — третьей — части поставлены слова четырех- и пятисложные". (1)

(1) "Новая Азбука" Л. Н. Толстого. Москва, изд. 25-е, 1903 г., с. 1.

Этот отдел постепенного чтения и составляет главное отличие "Новой Азбуки" от старой. Кроме того, в ней сделаны и некоторые значительные сокращения: так, арифметического отдела в новой азбуке уже нет.

Материал же для чтения, бывший в "Азбуке" первого издания, отделен в 4 книги для чтения на русском языке и в 4 книги для чтения на славянском языке.

Задача, поставленная себе автором, очевидно, была им достигнута с большим успехом, так как эта "Новая Азбука" выдержала уже 25 изданий. Причем последние пять изданий печатались в количестве 100000 каждое. Считая каждое издание в среднем около 60000, мы получим почтенную цифру 1500000, представляющую нам количество экземпляров азбуки, разошедшейся по России. А так как каждым экземпляром пользуются несколько учеников, то мы должны прийти к заключению, что с этой азбукой знакомы многие миллионы русских людей.

Принимая еще во внимание сравнительно небольшое распространение грамотности в России, мы должны допустить, что ее знает вся грамотная Россия.

Еще одно обстоятельство усиливает ее значение: как известно, в начальных училищах до последнего времени можно было употреблять только те учебники, которые одобрены министерством народного просвещения. "Новая Азбука" Л. Н-ча Толстого не заслужила этого одобрения, и, стало быть, она не имеет официального распространения.

Тот, кто ее покупает и распространяет, тот делает это не по приказанию начальства, а по собственному убеждению в ее неотъемлемых достоинствах.

Подобным же успехом и распространением пользуются и его 4 книги для чтения, служащие продолжением "Азбуки".

Перед таким успехом "Новой Азбуки" какие бы то ни были критические отзывы теряют всякое значение, и потому мы не приводим их.

Издав "Новую азбуку", Л. Н-ч снова принимается за осуществление своей заветной мечты — народной учительской семинарии, т. е. такого заведения, которое доставляло бы народу своих дешевых учителей.

Вот что пишет графиня С. А. в октябре 1876 года своей сестре:

"Впрочем, Лёвочка за писанье своё ещё не взялся, и меня это очень огорчает. Музыку он тоже бросил и много читает, гуляет и думает, собирается писать. Свою учительскую семинарию тоже он собирается устроить и уже нанял для этого кончившего курс в университете. Сегодня этот молодой человек приедет, и он будет учителем у Сережи. В том доме воздвигнуты лавки, столы, чинят и вставляют рамы, и, вместо милых вас, будут какие-то чуждые лица мужиков, семинаристов и проч."

И до следующего 1877 года Л. Н-ч все еще не оставляет своей мысли. В письме к Страхову от 6 марта 1877 г. Л. Н-ч справляется об одном лице, кандидате на место директора проектированной им семинарии. Он пишет так:

"Еще маленькая просьба: Николай Александрович Соколов, кончивший курс в Педагогическом институте, имевший частную гимназию в Петербурге, теперь

поступил в тульскую семинарию профессором физики и математики и предлагает себя в директоры моей предполагаемой семинарии. Что он за человек? как характер? Если его знают ваши знакомые, то разузнайте, пожалуйста, и напишите мне" (1).

(1) Архив В. Г. Черткова.

Но намерение это, очевидно, не осуществилось, и после этого документа мы, к сожалению, уже не встречаем нигде упоминания об этом замысле.

Переходим теперь к описанию фактов и событий за тот же период, но происходивших в других областях частной и общественной жизни Льва Николаевича.

ГЛАВА 8.

Поездка на кумыс в самарское имение.

Письмо о голоде

Тяготение Льва Николаевича к народу, к природе, к неиспорченной первобытной жизни выразилось отчасти в той симпатии, которую он почувствовал к обитателям заволжских степей, к кочующим башкирам и русским степным колонистам. Попад случайно, по совету врачей, для здоровья в 1862 г. на кумыс в Самарскую губернию, он был рад прикоснуться к этому нетронутому еще утолку природы. И с тех пор его заветной мечтой стало вернуться туда и основаться там более или менее прочно.

Ему удалось это сделать только в 1871 году.

Так как снова мотивом поездки его в Самарскую губернию было его нездоровье, причиненное, по мнению его жены и многих близких ему людей, его усиленными занятиями греческим языком, то мы и скажем несколько слов об этом увлечении.

Как кажется, поводом к этому увлечению были его занятия с его старшим сыном, которого он сам хотел готовить к гимназическому экзамену.

Так или иначе, но в декабре 70-го года Л. Н-ч взялся за классиков, стал быстро успевать и так увлекся этим делом, что забросил все остальные свои работы.

Вот что он пишет по этому поводу своему другу Фету:

"Получил ваше письмо уже с неделю, но не отвечал, потому что с утра до ночи учусь по-гречески. Я ничего не пишу, а только учусь. И судя по сведениям, дошедшим до меня от Борисова, ваша кожа, отдаваемая на пергамент для моего диплома греческого, находится в опасности. Невероятно и ни на что не похоже. Но я прочел Ксенофонта и теперь а *livre ouvert* читаю его. Для Гомера же нужен лексикон и немного напряжения. Жду с нетерпением случая показать кому-нибудь этот фокус. Но как я счастлив, что на меня бог наслад эту дурь. Во-первых, я наслаждаюсь, во-вторых, убедился, что из всего истин-

но прекрасного и простого прекрасного, что произвело слово человеческое, я до сих пор ничего не знал, как и все: и знают, но не понимают; в-третьих, тому, что я не пишу и

писать дребедени многословной никогда не стану. И виноват, и, ей-богу, никогда не буду.

Ради Бога объясните мне, почему никто не знает басен Эзопа, ни даже прелестного Ксенофонта, не говорю уже о Платоне, Гомере, которые мне предстоят. Сколько я теперь уж могу судить, Гомер только изгажен нашими с немецкого образца переводами. Пошлое, но невольное сравнение: отварная и дистиллированная вода и вода из ключа, ломящая зубы, с блеском и солнцем и даже соринками, от которых она еще чище и свежее. Все эти Фоссы и Жуковские поют каким-то медово-паточным, горловым и подлизывающим голосом. А тот черт и поет, и орет во всю грудь, и никогда ему в голову не приходило, что кто-нибудь его может слушать. Можете торжествовать; без знания греческого языка нет образования. Но какое знание? Как его приобретать? Для чего оно нужно? На это у меня есть ясные, как день, доводы" (1).

(1) А. Фет. "Мои воспоминания", т. II, с. 255.

Лев Николаевич осуществил свое намерение и показал свой "фокус" компетентному человеку. С. А. Берс рассказывает об этом так:

"После окончания романа "Война и мир" Льву Николаевичу вздумалось изучить древнегреческий язык и познакомиться с классиками. Я достоверно знаю, что он изучил язык и познакомился с произведениями Геродота в течение трех месяцев, тогда как прежде греческого языка совсем не знал. Побывав тогда в Москве, он посетил покойного профессора Катковского лицея, П. М. Леонтьева, чтобы передать ему свои впечатления о

древнегреческой литературе. Леонтьев не хотел верить возможности такого быстрого изучения древнего языка и предложил почитать вместе с ним *à livre ouvert*. В трех случаях между ними произошло разногласие в переводе. После уяснения дела профессор признал мнение Л. Н-ча правильным".

Эти усиленные занятия не замедлили отозваться на здоровье Л. Н-ча. Конечно, к расстройству его были и другие причины. В начало июня 1871 года он писал Фету:

"Любезный друг, не писал вам давно и не был у вас оттого, что был и есть болен, сам не знаю чем, но похоже что-то на дурное или хорошее, смотря по тому, как назвать конец. Упадок сил и ничего не нужно и не хочется, кроме спокойствия, которого нет. Жена посылает меня на кумыс в Самару или Саратов на два месяца. Нынче еду в Москву и там узнаю, куда".

В Москве он решил ехать на прежнее место, в Самарские степи. До Нижнего пришлось ехать по железной дороге, а от Нижнего на пароходе до Самары. Выехав из Москвы, с дороги Л. Н-ч писал С. А.:

"...Обежал выставку и немного опоздал. Я подъезжал к дебаркадеру, был второй звонок, и билетов не выдают. Первое лицо я встречаю растрепанного барина с барыней, который мне кричит: хотите взять билет? Я взял, но вещи мои не приехали, и билет пропадает. Я говорю: мне до Нижнего, он говорит: и я до Нижнего. Я говорю: мне нельзя один билет, мне два. Он говорит: у меня два. Я заплатил барину двадцать рублей, вскочил в вагон, третий звонок, и поехал.

К чему это? Не знаю. Но необыкновенно".

А. Н-ч поехал этот раз в сопровождении своего шурина С. А. Берса. О путешествии на пароходе С. А. Берс вспоминает так:

"На пароходе А. Н-ч интересовался бытом поволжских народностей. Лев Николаевич обладает замечательною способностью сходитья с незнакомыми пассажирами во всех классах. Когда он попадал на угрюмых и необщительных незнакомцев, он все-таки не затруднялся подойти к ним и, после нескольких попыток, удачно вызывал их на разговор. Его талант психолога и сердце подсказывали ему приемы, и он умел купить незнакомцев своим участием. В двое суток на пароходе он перезнакомился со всею палубою, не исключая и добродушных матросов, у которых на носу парохода мы проспали все ночи...

На Каралыке его встретили, как старого знакомого. Мы поселились в отдельной кочевке, нанятой у муллы, который жил с семьею в другой кочевке рядом. Не всякому в жизни случалось видеть кочевку. Она представляет собою деревянную клетку, имеющую форму приплюснутого полушария. Клетка эта покрывается большими войлоками и имеет деревянную расписную дверцу. Пол заменяет ковыль. Кочевка легко раскладывается и перевозится. Летом в степи это жилище весьма приятно.

Чтобы лечиться кумысом, надо, подобно башкирам, употреблять его как исключительную пищу и при этом оставить всё мучное, овощи и соль, а есть только мясо.

Само собой разумеется, что Лев Николаевич приноровился к этому образу жизни, и оттого кумыс вскоре принёс ему желанную пользу".

Но сначала, по приезде, Лев Н-ч чувствовал себя нехорошо и так писал об этом Софье Андреевне:

1871 года. 18 июня.

"...С тех пор, как приехал сюда, каждый день в шесть часов вечера начинается тоска, как лихорадка, тоска физическая, ощущение которой я не могу лучше передать, как то, что душа с телом расстается. Душевной тоски о тебе я не позволяю подниматься. И никогда не думаю о тебе и детях, и оттого не позволяю себе думать, что всякую минуту готов думать, а стоит раздуматься, то сейчас уеду. Состояния я своего не понимаю: или я простудился в кибитке в первые холодные ночи, или кумыс мне вреден, но в три дня, которые я здесь, мне хуже. Главное, слабость, тоска, хочется играть в милашку и плакать, а ни с башкирами, ни со Степой это неудобно.

...Больнее мне всего за себя то, что я от нездоровья своего чувствую себя одной десятой того, что есть. Нет умственных и, главное, поэтических наслаждений. На все смотрю, как мертвый, то самое, за что я не любил многих людей. А теперь сам только вижу, что есть, понимаю, соображаю, но не вижу насквозь с любовью, как прежде. Если и бывает поэтическое расположение, то самое кислое, плаксивое, хочется плакать.

...Ново и интересно многое: и башкиры, от которых Геродотом пахнет, и русские мужики, и деревни, особенно прелестные по простоте и доброте народа".

Как интересно для психологии художника это определение поэтического взгляда на мир: смотреть и видеть не только то, что есть, а смотреть с любовью и видеть насквозь.

Обеспокоенная нездоровьем Л. Н-ча, Соф. Андр. делает ему выговор и отвечает так:

"...Если ты все сидишь над греками, ты не вылечишься. Они на тебя нагнали эту тоску и равнодушие к жизни настоящей. Недаром это мёртвый язык,

он наводит на человека и мёртвое расположение духа. Ты не думай, что я не знаю, почему называются эти языки мертвыми, но я сама им придаю это другое значение".

Но вот силы Л. Н-ча понемногу восстанавливаются, он начинает входить в интересы окружающей его жизни и, по обыкновению, наблюдать. В письме к С. А. от 27 июня он дает такую бытовую картинку:

"...Башкирская деревня, зимовка, в двух верстах. На кочевке в поле у реки только три семейства башкир. У нашего хозяина (он мулла) четыре кибитки: в одной живут он с женой и сын с женой (сын Нагим, которого я оставил мальчиком тот раз), в другой — гости. Гости беспрестанно приезжают — муллы, и с утра до ночи дуют кумыс. В третьей кибитке два кумысника: таможенный чиновник, Петр Станиславович, которого очень уважает Иван, и болезненный богатый донской казак. В четвертой огромной кибитке, которая была мечеть прежде и которая протекает вся (что мы испытали вчера ночью) живем мы.

Я сплю на кровати, на сене и войлоке. Степа — на перине на полу. Иван — на кожане в другом углу. Есть стол и один стул, кругом висят вещи, в одном углу буфет и продукты, как, по выражению Ивана, называется провизия; в другом платя, уборная, в третьем библиотека и кабинет. Впрочем, так было сначала, теперь все смешалось. В особенности куры, которых мы купили и которых мне ни с того ни с сего подарил один поп, портят порядок. Зато тут же при нас несутся, по три яйца. Еще лежит овес для лошади и собака, прекрасный черный сеттер, называется Верным. Лошадь буланая и служит мне хорошо. Я встаю очень рано, часов в пять с половиной (Степа спит до десяти), пью чай с молоком — три чашки, гуляю около кибиток, смотрю на возвращающиеся с гор табуны, что очень красиво, лошадей тысячи, все разными кучками с жеребьятами. Потом пью кумыс, и самая обыкновенная прогулка, зимовка, т. е. деревня, там остальные кумысники, все, разумеется, знакомые. Первый управляющий гр. Уварова, в очках, с бородой, старый, степенный; московский студент, самый обыкновенный и потому скучный. Товарищ прокурора, маленький, в блузе, определенно говорит, оживляется, когда о суде речь, не неприятный. Его жена знает Томашевского и студентов, курит, и волосы короткие, но неглупая. Помещик Муромский, молодой, красивый, не окончивший курс в Москве. Все, даже Степа, зовут его Костей. Очень симпатичный. Все эти составляют компанию. Потом другая компания. Поп, почти умирающий (очень жалок), профессор семинарии греческого, — Степа его возненавидел, говорит, что он, верно, ставит единицы всем, — и буфетчик из Перми, все наши друзья. Потом брат с сестрой, кажется, купцы, смирные и, как купцы,

все равно, что их нет. Я со Степой правильно два раза в день отправляюсь ко всем и к башкирцам знакомым, не забывая буфетчика, и, кроме того, одну большую делаю поездку или прогулку. Обедаем мы каждый день баранину, которую мы едим из деревянной чашки руками. Для утешения Степы я купил в Самаре пастилы и мармелад, и он продукты эти употребляет в десерт".

"Тотчас по приезде Лев Николаевич перезнакомился со всеми кумысниками и разогнал их уныние. — говорит С. А. Берс. — Старик, учитель семинарии, стал прыгать с ним через веревочку, товарищ прокурора искал случая с ним побеседовать, а молодой помещик и охотник из Владимирской губернии вполне поддался его влиянию.

Вскоре была предпринята вчетвером поездка по башкирским деревням. Мы запаслись подарками и ружьями. В дороге мы охотились по озерам на уток

и останавливались у башкир в кочёвках, где отдыхали и пили кумыс. За наши посещения мы отплачивали подарками при удобном случае".

Л. Н-ч пишет С. А. об этой поездке следующее:

"Поездка наша продолжалась 4 дня и удалась прекрасно. Дичи пропасть, девать некуда, уток пропасть, и есть некому. И башкиры, и места, где мы были, и товарищи наши прекрасны. Принимали нас везде с гостеприимством, которое трудно описать. Куда приезжаешь, хозяин закалывает жирного курдютского барана, ставит огромную кадку кумыса, стелет ковры и подушки на полу, сажает на них гостей и не выпускает,

пока не съедят его барана и не выпьют его кумыса. Из рук поит гостей и руками (без вилки) в рот кладет гостям баранину и жир, и нельзя его обидеть. Много было смешного. Мы с Костенькой пили и ели с удовольствием, и это нам, очевидно, было в пользу, но Степа и барон были смешны и жалки, особенно барон. Ему хотелось не отставать, и он пил, но под конец его вырвало на ковры, и потом, когда мы на обратном пути намекнули, не заехать ли опять к гостеприимному башкиру, то он чуть не со слезами стал просить, чтобы не ездили".

Берс добавляет еще один характерный эпизод:

"В гостях у башкир Лев Николаевич как-то вышел в степь из кочевки, загляделся на лошадь, отделившуюся от табуна, и сказал мне: "Посмотри, какой прекрасный тип дойной кобылы". Когда через час мы уезжали, хозяин привязал похваленную лошадь к нашей бричке в подарок графу. На обратном пути пришлось отдарить за похвалу".

По свидетельству Берса, Лев Николаевич находил много поэтического в кочевой и беззаботной жизни башкир. Он знал их быт и обычаи, а они давно знали и любили "графа" и так называли его. На Каралыке Льва Николаевича больше всех развлекал шутник, худощавый, вертлявый и зажиточный башкирец, Хаджи—Мурат, а русские его звали Михаилом Ивановичем. Он удивительно играл в шашки и обладал несомненным юмором. От плохого произношения русского языка шутки его делались еще смешнее. Когда в игре в шашки требовалось обдумать несколько ходов вперед, он значительно поднимал указательный палец ко лбу и приговаривал: "большой думать надо". Это выражение заставляло смеяться всех окружающих, не исключая и башкир, и долго потом вспоминали его еще в Ясной Поляне.

Особенно ярко выражается отношение Л. Н-ча к этому краю в его письме к Фету от 18 июля 1871 г.:

"Благодарю вас за ваше письмо, любезный друг. Кажется, что жена сделала фальшивую тревогу, отослав меня на кумыс и убедив меня, что я болен. Как бы то ни было, но теперь, после четырех недель, я, кажется, совсем оправился. И как следует при кумысном лечении, — с утра до вечера пьян, потею и нахожу в этом удовольствие. Здесь очень хорошо, и если бы не тоска по семье, я был бы совершенно счастлив здесь. Если бы начать описывать, то я исписал бы сто листов, описывая здешний край и мои занятия. Читаю и Геродота, который с подробностью и большой верностью описывает тех самых галактофагов-скифов, среди которых я живу.

Вчера начал писать это письмо, и писал, что я здоров. Нынче опять болит бок. Сам не знаю, сколько я нездоров, но нехорошо уже то, что принужден и не могу не думать о моем боку и груди. Жара третий день стоит страшная. В кибитке накалено, как на полке, но мне это приятно. Край здесь прекрасный, по своему возрасту только что выходящий из девственности, по богатству, здоровью и, в особенности, по простоте и неиспорченности народа. Я, как и

езде, примериваюсь, не купить ли имение. Это мне занятие и лучший предлог для узнавания настоящего положения края. Теперь остается десять дней до шести недель, тогда напишу вам и устроимся, чтобы увидеться".

"В степи мы прожили, — продолжает рассказывать Берс, — шесть недель. В это время мы сделали еще одну поездку вдвоем на Петровскую ярмарку в г. Бузулук за 70 верст. Поехали мы на одной лошади в небольших дрогах и взяли с собой запас кумыса в небольшом турсуке. Ярмарка отличалась пестротой и разнообразием племен: русские мужики, уральские казаки, башкиры и киргизы. И в этой толпе Лев Николаевич расхаживал со свойственной ему любознательностью и со всеми заговаривал. Даже с пьяными он не боялся вступать в разговор. Какой-то пьяный мужик вздумал обнять его от избытка добродушия, но строгий и внушительный взгляд Л. Н-ча остановил его. Мужик сам опустил свои руки и сказал: "нет, ничаво, нябось".

Намерение Л. Н-ча осуществилось. Он успел убедить гр. С. А. в пользу покупки имения в Самарской губ., и эта покупка состоялась уже в Москве, по возвращении его с кумыса.

Разумеется, эта покупка установила более прочную связь Л. Н-ча с самарским краем, и почти каждый год с тех пор он посещает его. Более интересные из этих посещений мы теперь и опишем.

В 1872 году Л. Н-ч снова заработался, на этот раз над своей "Азбукой", и снова расстроил свое здоровье. Вся семья собиралась ехать на кумыс, но эта поездка расстроилась, и Л. Н-ч поехал один. Озабоченный ходом издания "Азбуки" и трудностью почтовых сношений с самарским хутором, он пробыл там недолго и к концу июля был уже в Ясной. За эту поездку он успел сделать распоряжение о необходимых постройках на вновь купленной земле и о первой запашке.

На другое лето вся семья поднялась из Ясной "на новые места".

11 мая 1873 года Л. Н-ч писал Фету:

"Стихотворение ваше прекрасно. Это новое, никогда не уловленное прежде чувство боли от красоты выражено прелестно. У вас весной поднимаются поэтические дрожжи, а у меня восприимчивость к поэзии. Я был в Москве, купил 43 нумера покупок на 450 руб., и уже не ехать после этого в Самару нельзя. Как уживается на новом гнезде ваша птичка? Не забывайте нас. До двадцатого мы не уедем, а после двадцатого адрес — Самара".

С. А. Берс снова сопровождает Толстых и рисует такую картину кумысной жизни этого лета:

"На это лето в имение был приглашен за плату башкир из той же деревни Каралыка с табуном дойных маток. Он привез свою жену и кочевку в небольшой тележке, а работник его пригнал табун наших кормилиц с их жеребятами, которых на целый день обыкновенно привязывали так, чтобы они не могли сосать, а только на ночь отвязывали их на свободу.

Старик-башкирец, Мухамед—Шах, а по отчеству и по-русски — Романович, отличался степенностью, вежливостью в обращении и аккуратностью, а потому выбор Льва Николаевича пал на него между всеми башкирами деревни Каралыка. Кочевка его внутри отличалась чистотой и изяществом, и все мы ходили к нему не только пить кумыс, но посидеть и побеседовать. Посредине кочевки на земле лежал ковер, а на нем подушки; сбоку стоял небольшой стол с двумя стульями. Все это предназначалось для нас. На решетчатой стене

висело разукрашенное седло. Один бок кочёвки был занавешен ярким ситцем со сборчатой оторочкой, и за этой занавеской скрывалась его жена, когда появлялись мужчины. Оттуда она подсовывала турсунок с кумысом и деревянную посуду. Лев Николаевич шуткой называл кочевку нашим салоном. Романович, как мы его звали, был всегда рад нашим посещениям, потому что, подобно всем зажиточным башкирам, никогда ничем не занимался. Кумыс мы пили все, кому он нравился".

Жизнь Толстых на новом хуторе ознаменовалась на этот раз важными последствиями для местного населения.

Несколько неурожайных годов значительно понизили благосостояние самарских крестьян, а сильный неурожай 73 года грозил настоящим бедствием. На помощь этому бедствию и пришел Лев Николаевич со своим могучим словом.

А. С. Пругавин, писавший о деятельности Л. Н-ча во время самарского голода 1873 года, в примечании к своей статье говорит следующее:

"Вообще нельзя не выразить удивления по поводу того, что корреспонденция графа Толстого, о которой идет речь в этой статье, до сих пор не вошла, сколько нам известно, ни в одно из изданий его произведений. Не говоря уже о том, что для русского общества имеет свое значение каждая заметка, вышедшая из-под пера великого писателя, — в данном же случае мы, без сомнения, имеем дело с одним из его писем, представляющим значительный интерес не только биографического, но и общественного характера" (1).

(1) "Образование", ноябрь 1902 г., с. 2.

Соглашаясь вполне с мнением А. С. Пругавина, мы приводим здесь существенную часть этого малоизвестного, или, вернее, забытого произведения Л. Н-ча:

Письмо к издателям.

"Прожив часть нынешнего лета в деревенской глуши Самарской губернии и будучи свидетелем страшного бедствия, постигшего народ вследствие трех неурожайных годов, в особенности нынешнего, я считаю своим долгом описать, насколько сумею правдиво, бедственное положение сельского населения здешнего края и вызвать всех русских к поданию помощи пострадавшему народу.

Надеюсь, что вы не откажетесь дать место моему письму в вашей газете.

О том, как собирать подписку и кому поручить распределение ее и выдачу, вы знаете лучше меня, и я уверен, что вы не откажете помочь этому делу своим содействием.

1871 год был в Самарской губернии неурожайный. Богатые крестьяне, делавшие большие посевы, стали только достаточными людьми. Достаточные крестьяне, также уменьшившие свои посевы, стали только нуждающимися, прежде не нуждавшиеся крестьяне стали нуждаться и продали часть скотины. Нуждавшиеся прежде крестьяне вошли в долги, и явились нищие, которых прежде не было.

Второй неурожайный год, 1873-й, заставил достаточных крестьян еще уменьшить посев и продать излишнюю скотину, так что цена на лошадей и рогатый скот упала вдвое. Ненуждавшиеся крестьяне стали продавать уже необходимую скотину и вошли в долги. Прежде нуждавшиеся крестьяне

стали бобылями и кормятся только заработками и пособием, которое им выдавали. Количество нищих увеличилось.

Нынешний, уже не просто неурожайный, но голодный год должен довести до нужды прежде бывших богатыми крестьян и до нищеты и голода почти 9/10 всего населения.

Едва ли есть в России местность, где бы благосостояние или бедствие народа непосредственнее зависело от урожая или неурожая, как в Самарской губернии.

Заработки крестьян заключаются только в земледельческом труде: пахоте, покосах, жнитве, молотьбе и извозе.

В нынешний же год, вследствие трехлетнего неурожая, посевы уменьшились и, уменьшаясь, дошли до половины прежних, и на этой половине ничего не родилось, так что у крестьянина своего хлеба нет и заработков почти нет, а за те, какие есть, ему платят 1/10 прежней цены, как, напр., за жнитво, которого средняя цена была 10 рублей за десятину, нынешний год платится 1 р. 20 к., так что крестьянин зарабатывает в день от 7-ми до 10 копеек.

Вот причина, почему в этот третий неурожайный год бедствие народа должно дойти до крайней степени.

Бедствие это уже началось, и без ужаса нельзя видеть народ даже в настоящее время, летом, когда только начинается самый бедственный год и впереди еще 12 месяцев до нового урожая, и когда еще есть кое-где заработки, хотя бы на время спасающие от голода.

Проехав по деревням, я, всегда живший в деревне и знающий близко условия сельской жизни, был приведен в ужас тем, что я видел: поля голые там, где сеяна пшеница, овес, просо, ячмень, лен, так что нельзя узнать, что посеяно, и это в половине июля! Там, где рожь, поле убрано или убирают пустую солому, которая не возвращает семян; где покосы, там стоят редкие стога, давно убранные, так как сена было в десять раз меньше против обычных урожаев, и желтые выгоревшие места. Такой вид имели поля. По дорогам везде народ, который едет или в Уфимскую губернию на новые места, или отыскивает работу, которой или вовсе нет, или плата за которую так мала, что работник не успевает выработать на то, что у него съедают дома.

По деревням, во дворах, куда я заезжал, везде одно и то же: не совершенный голод, но положение, близкое к нему, все признаки приближающегося голода. Крестьян нигде нет, все уехали искать работы, дома — худые бабы с худыми и больными детьми и старики. Хлеб еще есть, но в обрез; собаки, кошки, телята, куры худые и голодные, и нищие, не переставая, подходят к окнам, и им подают крошечными ломтиками или отказывают.

Но это общее впечатление, на котором нельзя основываться. Вот расчеты села Гавриловки, ближайшего ко мне. Я очень хорошо знаю, что можно, подобрав факты,

составить жалостливое описание положения крестьянских семей, из которого будет казаться, что все они на волоске от голодной смерти, и можно, с другой стороны, подобрать факты так, что будет повод говорить то, что, к несчастью и стыду своему, так любят говорить многие из нас, — что бедствия никакого нет, что все происходит только оттого, что крестьяне не работают, а пьянствуют и т. д., и потому я сделал опись каждого десятого двора в ближайшем ко мне селе Гавриловке, и верность этой описи подтверждается подписями старшин и священников.

В числе попавшихся под десятый номер есть и менее бедные крестьяне, как вы увидите, но большинство в самом бедственном положении".

Затем следует подворное описание экономического положения каждого десятого двора села Гавриловки. Таких дворов Л. Н-ч обошел 23. Список проверен и подписан священником села Гавриловки, сельским старостой и сельским писарем.

"Для каждого, кто потрудился вникнуть в эту вполне точную опись крестьянских семей и их средств, — продолжает Л. Н-ч., — должно быть ясно, что большая половина этих семей никак не может нынешний год прокормиться своими средствами, другая же половина, хотя, как мне кажется, и может прокормиться, отдав своих крестьян в работники, в сущности, находится точно в таком же плохом положении, как и первая половина, так

как 9/10 всех деревень должны идти в работники, а хозяева по неурожаю отпускают и тех работников, которых прежде держали.

Положение народа ужасно, когда взглядишься и подумаешь о предстоящей весне, но народ как бы не чувствует и не понимает этого.

Только как разговоришься с крестьянином и заставишь его учесть себя и подумать о будущем, он скажет: "и сами не знаем, как свои головы обдумаем", но вообще, кажется, он спокоен, как и обыкновенно: так что для человека, который бы поверхностно взглянул теперь на народ, рассыпанный по степи дощипывать по колоску чуть видную от земли, кое-где взошедшую пшеницу, увидел бы здоровый, всегда веселый рабочий народ, услышал бы песни и кое-где смех, тому бы даже странно показалось, что в среде этого народа совершается одно из ужаснейших бедствий. Но бедствие это существует, и признаки его слишком явны.

Крестьянин, несмотря на то, что сеет и жнет более всех других христиан, живет по евангельскому слову: "птицы небесные не сеют, не жнут, и отец небесный питает их", крестьянин верит твердо в то, что при его вечном тяжком труде и самых малых потребностях отец его небесный пропитает его, и потому не учитывает себя, и когда придет такой, как нынешний, бедственный год, он только покорно нагибает голову и говорит: "прогневали бога, видно, грехи наши".

Из приложенного отчета видно, что в 9/10 семей неостанет хлеба. Что же делают крестьяне? Во-первых, они будут мешать в хлеб дешевую и потому непитательную и вредную лебеду, мякину (как мне говорили, в некоторых местах уже начинают делать); во-вторых, сильные члены

семьи, крестьяне, уйдут осенью или зимой на заработки, и от голоду будут страдать старики, женщины, изнуренные родами и кормлением, и дети. Они будут умирать не прямо от голода, а от болезней, причиною которых будет дурная, недостаточно питательная пища; и особенно потому, что самарское население несколькими поколениями приучено к хорошему пшеничному хлебу.

Прошлый год еще встречался кое-где у крестьян пшеничный хлеб, матери берегли его для малых детей; нынешний год его уж нет, и дети болеют и мрут. Что же будет, когда не останется и чистого черного хлеба, что уже и теперь начинается?

Страшно подумать о том бедствии, которое ожидает население большей части Самарской губернии, если не будет подана ему государственная помощь. Подписка, по моему мнению, может быть открыта всякая: 1) подписка на пожертвования и 2) подписка на выдачу денег для продовольствия заимообразно без процентов на 2 года. Подписка второго рода, т. е. выдача денег заимообразно, я полагаю, может составить ту сумму, которая обеспечит по-

страдавшее население Самарской губернии, и, вероятно, земство Самарской губернии возьмет на себя труд раздачи хлеба на эти деньги и сбора долга в первый урожайный год.

Граф Лев Толстой (1).

28 июня. Хутор на Тананыке".

(1) "Моск. ведом". 17 авг. 1873 г.

"На этот раз, — говорит Пругавин в своей статье, — Лев Николаевич не ошибся в своей надежде на редактора "Московских ведомостей": последний не только напечатал его корреспонденцию, но и открыл в газете подписку в пользу голодающих крестьян Самарской губернии.

Значение этой корреспонденции, — продолжает Пругавин, — и впечатление, произведенное ею на общество, было огромно. До корреспонденции графа Л. Н. Толстого никому и ничего вне Самарской губернии не было известно, что в ней происходит. Даже есть основание предполагать и больше: что и в самой-то Самарской губернии ничего не знали или не хотели знать, что в ней делается и что ожидает ее население. Корреспонденция графа Толстого была громом, заставившим всех перекреститься".

Кроме того, Л. Н-ч написал частное письмо своей родственнице А. А. Толстой, прося ее заинтересовать этим делом императрицу. Пожертвование государыни было одним из первых и открыло путь многим другим.

"Яркая картина положения самарского населения, — говорит А. С. Пругавин, — нарисованная рукою гениального художника, обратившегося на этот раз в статистика, произвела сильное и глубокое впечатление на русское общество. Возникла мысль возможно скорее прийти на помощь голодающим.

Особенно горячо отнеслись к этому делу русские интеллигентные женщины. Так называемые "дамские комитеты" Общества попечения о раненых и больных воинах с необыкновенною ревностью принялись за сбор пожертвований. В некоторых городах, как, например, в Петербурге, Казани, Риге и др., образовались временные

комитеты со специальной целью сбора пожертвований для Самарской губернии. Особенно много сделал петербургский временный комитет, состоявший под председательством известной общественной деятельницы того времени Ан. Павл. Философовой.

18 сентября в Самарскую губернскую земскую управу поступило первое пожертвование в 2.300 рублей от Московской университетской типографии, находившейся и то время, как известно, в арендном содержании редактора "Московских ведомостей". Затем пожертвования полились со всех сторон, возрастая с каждым месяцем.

Так, в сентябре было получено 4980 р., в октябре — 7505 руб., в ноябре — 94949, в декабре — 384430 руб. С января месяца 1874 года сумма ежемесячных пожертвований начинает постепенно и мало-помалу убывать, а именно: в январе было получено 236956 р., в феврале — 116705 руб., в марте — 70373 руб., в апреле — 46004 руб., в мае — 33814 руб., июне — 24374 руб., в июле — 18480 руб. и в августе месяце — 3612 руб.

Пожертвования продолжали поступать и после, до 1876 года. Всего таким образом поступило в губернскую земскую управу свыше 1 миллиона рублей.

Всего же частных пожертвований в пользу населения Самарской губернии в голодовку 1873–1874 года было получено до 1887000 руб. деньгами и хлебом до 21 тыс. пудов.

Таким образом, графу Толстому пришлось сыграть в высшей степени важную роль в голодовку 1873–1874 г. Стоя всегда очень близко к народной массе, легко сходясь с народом, он не мог не заметить тяжелого, критического положения крестьян той округи, в которой ему пришлось побывать летом 1873 года (Патровская волость Бузулукского уезда).

Поразительная наблюдательность, которой всегда отличался талант графа Толстого в его художественных произведениях, его способность схватить своим пером наиболее существенные, хотя нередко скрытые и замаскированные черты и особенности того или другого жизненного явления, — ярко сказались и в его корреспонденции, посвященной описанию экономического положения самарских крестьян. Благодаря этому в сравнительно небольшой корреспонденции перед нами наглядно рисуется положение разных слоев крестьянского населения, картинно и отчетливо изображается влияние, которое оказали трехлетние неурожай на хозяйство каждого из этих слоев.

Но всем этим не ограничивается деятельность Толстого на пользу населения, пострадавшего от неурожая, так как во время своего пребывания в Бузулукском уезде в 1873 году Лев Николаевич принимал личное, непосредственное участие в оказании помощи голодающим.

Когда в 1881 году нам пришлось посетить Бузулукский уезд, то от крестьян Патровской волости мы слышали много рассказов о сердечной заботливости, которую проявлял граф Толстой, живя среди них во время голодовки 1873 г., как он лично обходил наиболее нуждающиеся крестьянские дворы, с каким вниманием

входил он в их интересы и нужды, как он помогал беднякам, снабжая их хлебом и деньгами, как он давал средства на покупку лошадей и т. д. Воспоминание об этой деятельности знаменитого писателя и до сих пор еще сохраняется в среде крестьянского населения Патровки, Гавриловки, Землянок и других сел того района".

Мы не можем не упомянуть об участии в этом деле графини С. А. Толстой и приведем ее собственное свидетельство об этом, как его передает г. Лёвенфельд:

"Вам известно "письмо" о самарском голоде, — сказала графиня, — Эту заслугу я сполна приписываю себе. Мы жили тогда, можно сказать, вдали от всякого человеческого жилья и вели совершенно замкнутый образ жизни, посвященный исключительно поправлению здоровья моего мужа. У нас было время наблюдать жизнь народа, и мы пришли к убеждению, что неурожай и сравнительно многочисленное население этой местности должны были привести к ужасному бедствию. Я убедила мужа основательно заняться этим вопросом. Он предпринял статистическое исследование всей местности, записывал число крестьянских хат, число едоков в каждой хате и количество имеющегося хлеба. Это исследование показало, что на каждую душу его приходилось так мало, что голод был неизбежен. Тогда-то он и опубликовал свое "письмо". Императрица дала первые деньги, хотя в правительственных кружках и очень недоброжелательно смотрели на это опубликование, потому что оно говорило не в пользу местного управления, но после того, как первая женщина в стране внесла свою лепту, пожертвования полились тысячами".

25 августа 1873 года, возвратясь уже в Ясную Поляну, А. Н-ч писал Фету:

"23 мы благополучно приехали из Самары и сгораем желанием вас видеть.

Спасибо, что не забываете нас. По-настоящему нет времени нынче писать вам, но так боюсь, чтобы вы не проехали мимо нас, что пишу хоть два слова. Несмотря на засуху, убытки, неудобства, мы все, даже жена, довольны поезд-

кой и ещё больше довольны старой рамкой жизни и принимаемся за труды респективные".

В 74-м году Л. Н-ч снова отправился на кумыс, со своим старшим сыном Сергеем, уже не столько для поправления здоровья, сколько для присмотра за хозяйством. Урожай был порядочный, и народ отдыхал от прошлогоднего бедствия.

На следующее лето, в 1875 году, в самарский хутор отправилась снова вся семья Толстых. Выдающимся событием за это лето были скачки, устроенные Л. Н-чем для местного населения. Заимствуем рассказ об этом из воспоминаний Берса.

"Через Мухамед—Шаха Романовича было разглашено, что граф Толстой устраивает у себя в имении скачку. Все местные и окрестные национальности: башкиры, киргизы, уральские казаки и русские мужики — все чрезвычайно любят скаковой спорт.

Мы сами выбрали ровную местность, опахали и измерили огромный круг в пять верст длиною и на нем расставили знаки. Для угощения были заготовлены бараны и даже одна лошадь. К назначенному дню съехались

несколько тысяч народа. Башкиры и киргизы приехали со своими кочевками, кумысом, котлами и даже баранами. Дикая степь, покрытая ковылем, уставилась рядом кочевков и оживилась пестрой толпой. На коническом возвышении, называемом по-местному "шишка", были разостланы ковры и войлок, и на нем кружком расселись башкиры с поджатыми под себя ногами. В середине кружка из большого турсука молодой башкир разливал кумыс и подавал чашку по очереди сидевшим. Это шла круговая. Песни, игра на дудке и на горле звучали грустно и заунывно для слуха европейца. Тут же любители состязались в борьбе. Башкиры — особенно искусные борцы. Глядя на все это, я представил себе татарское иго, тяготевшее в России".

Продолжаем описание скачек по письму гр. С. А. к ее сестре:

"Шестого у нас были скачки. Скакали 25 верст и проскакали в 39 минут, что очень быстро. Из 22-х лошадей пришли 4, остальные стали, не могли скакать. Первый приз был заграничное ружье и халат. Второй приз — глухие серебряные часы с портретом государя и халат, потом халаты, платки. В скачки съели в два дня 15 баранов и выпили страшное количество кумысу. Башкирцы плясали, пели свои национальные песни, играли на дудках и на горле, боролись и очень веселились. Все это было красиво и интересно; 4-х женщин, почетных башкирок, привезли в моей карете и крытом тарантасе, так как их мужчинам не показывают".

"Пир длился два дня, — заключает свой рассказ Берс, — и отличался замечательной чинностью, порядком и оживлением. К удовольствию Льва Николаевича, не было

никого из полиции. Все гости учтиво поблагодарили хозяина-графа и разъехались очень довольные. Даже в толпе, мне кажется, Лев Николаевич умел поселять entrain — и уважение к благопристойности".

По обыкновению, Л. Н-ч, на этот раз с семьей, посетил Петровскую ярмарку в Бузулуке и побывал в тамошнем монастыре, где спасался почитаемый народом отшельник. Он жил в подземной пещере. Выходя оттуда, он гулял по саду; посетителям показывали яблоню, посаженную им 40 лет тому назад, под которой он любил сидеть, принимая богомольцев. Он сам показывал Л. Н-чу и его семье свое пещерное жилище, гроб, в котором он спал, и большое распятие, перед которым он молился".

По свидетельству Л. Н-ча, уважение, которое народ питал к этому человеку, было проявлением серьезного религиозного чувства и показывало, что тот отшельник удовлетворял насущной потребности народа, служа примером чистой жизни, "не от мира сего".

По возвращении из Самары Л. Н. писал Фету:

26 августа 1875 года.

"Вот третий день, что мы приехали благополучно, и я только что опоминаюсь и спешу писать вам, дорогой Афанасий Афанасьевич, и благодарить вас за ваши два письма, которые больше чем всегда были ценны в нашей глуши. Надеюсь, что здоровье ваше лучше. Это было заметно по второму вашему письму, и надеюсь, что вы

преувеличивали. Дайте мне еще опомниться, тогда подумаю, как бы побывать у вас. Вы же, по старой, хорошей привычке, пожалуйста, как это вам ни трудно, не приезжайте в Москву, не заехав. Урожай у нас был средний, но цены на работу огромные, так что в конце только сойдутся концы. Я два месяца не пачкал рук чернилами и сердца мыслями. Как о многом и многом хочется с вами переговорить, но писать не умею! Надо пожить, как мы жили в самарской здоровой глуши, видеть эту совершающуюся на глазах борьбу кочевого быта (миллионов на громадных пространствах) с земледельческим первобытным, чувствовать всю значительность этой борьбы, чтобы убедиться в том, что разрушителей общественного порядка, если не один, то не более трех скоро бегающих и громко кричащих, что это болезнь паразита живого дуба, и что дубу до них нет дела. Что это не дым, а только тень, бегающая от дыма.

К чему занесла меня судьба туда (в Самару) — не знаю, я слушал речи в английском парламенте (ведь это считается очень важным), и мне скучно и ничтожно было; но что там — мухи, нечистота, мужики, башкирцы, а я с напряженным уважением, страхом вслушиваюсь, вглядываюсь и чувствую, что все это очень важно".

Дальнейшие поездки в Самарскую губернию мы относим уже к следующему периоду жизни Л. Н-ча, когда душа его уже была тронута начинающимся религиозным кризисом, клавшим на все его действия особый серьезный отпечаток.

Часть III.

ПЕРИОД «АННЫ КАРЕНИНОЙ»

ГЛАВА 9.

Происхождение "Анны Карениной"

и предшествовавшие литературные опыты

Увлечённый жизненным делом народной школы, системами обучения, "Азбукой", семинариями и другими педагогическими опытами в 70-х годах после окончания "Войны и мира", Л. Н-ч часто ощущал потребность художественного творчества. Нравственная ответственность перед народом, всегда стоявшая перед Л. Н-чем, стремление облегчить ему путь истинного самобытного прогресса заглушали в чем творческую потребность, отдаляя ее удовлетворение и накапливая творческую энергию, которая то там, то сям просачивалась через эту нравственную плотину.

И в его современных письмах мы встречаем указания на это. Так в письме к Фету осенью 1870 года Лев Николаевич, между прочим, пишет:

"Я охочусь, но уже сок начинает капать, и я подставляю сосуды. Скверный ли, хороший ли сок, все равно, а весело выпускать его по длинным, чудесным осенним вечерам". Сперва он пробует драматическую форму. Еще весной того же года он писал Фету:

"Многое, очень многое хочется вам сообщить. Я очень много читал Шекспира, Гете, Пушкина, Гоголя, Мольера, и обо всем этом многое хочется вам сказать".

Подробнее и яснее он выражает своё намерение в следующем письме:

"Вы мне хотите прочесть повесть из кавалерийского быта. Я жду от этого добра, если только просто, без замысла положений и характеров. А я ничего вам прочесть не хочу и ничего не пишу. Но поговорить о Шекспире и Гете и вообще о драме очень хочется. Целую нынешнюю зиму я занят только драмой вообще. И как это всегда случается с людьми, которые до сорока лет никогда не думали о каком-нибудь предмете, не составили себе о нем никакого понятия, вдруг с сорокалетней ясностью обратят внимание на новый ненанюханый предмет, им всегда кажется, что они видят в нем много нового. Всю зиму наслаждаюсь тем, что лежу, засыпаю, играю в безик, хожу на лыжах, на коньках бегаю и больше всего лежу в постели (больной), и лица драмы или комедии начинают действовать. И очень хорошо представляют. Вот про это-то мне с вами и хочется поговорить. Вы в этом, как и во всем, классик и понимаете сущность дела очень глубоко. Хотелось бы мне тоже почитать Софокла и Эврипида" (1).

(1) А. Фет. "Мои воспоминания", т. II, с. 213.

Льву Николаевичу хотелось создать историческое произведение, и, приступая к осуществлению этого намерения, он остановился на петровской эпохе. Им написано было несколько начал, — одно из них изображало собрание стрельцов. К сожалению, этим и

ограничился его драматический опыт. Одной из причин прекращения этого дела был недостаток в источниках.

Но петровская эпоха всё более и более интересовывала его. И в 1872 году, освободившись от "Азбуки", он принимается за большой роман. По многим письмам к родным и друзьям мы видим, с каким увлечением он работал.

Вот некоторые из этих писем.

В феврале 1872 г. он, между прочим, пишет Фету:

"Я кончил свои азбуки, печатаю и принимаюсь за задушевное сочинение, которое не только в письме, но и на словах едва ли расскажу, несмотря на то, что вы тот, кому можно рассказать".

С осени он принимается за это дело серьезно.

19 ноября 1872 года графиня С. А. пишет своему брату:

"...А теперь у нас очень, очень серьезная жизнь. Весь день в занятиях. Левочка сидит обложенный кучею книг, портретов, картин и нахмуренный читает, делает отметки, записывает. По вечерам, когда дети ложатся спать, рассказывает мне свои планы и то, что хочет писать, иногда разочаровывается, приходит в грустное отчаяние и думает, что ничего не выйдет, иногда совсем близок к тому, чтобы работать с большим увлечением, но до сих пор еще нельзя сказать, чтобы он написал, а только готовится. Выбрал он время Петра Великого..."

В следующем письме к брату в декабре графиня пишет:

"Лёвочка все читает исторические книги из времен Петра Великого и очень интересуется. Записывает разные характеры, черты, быт народа и бояр, деятельность Петра и пр. Сам он не знает, что будет из его работы, но мне кажется, что он напишет опять подобную "Войне и миру" поэму в прозе, но из времен Петра Великого".

Сам Л. Н-ч около этого времени пишет Страхову:

"12 декабря. До сих пор не работаю. Обложился книгами о Петре I и его времени, читаю, отмечаю, порываюсь писать и не могу. Но что за эпоха для художника! На что ни взглянешь, все задача, загадка, разгадка которой только и возможна поэзией. Весь узел русской жизни сидит тут. Мне даже кажется, что ничего не выйдет из моих приготовлений. Слишком уж долго я примериваюсь и слишком волнуюсь. Я не огорчусь, если ничего не выйдет".

В этой эпохе Л. Н-ча особенно интересовал тип Меньшикова, выходца из народа. Он должен был стать одним из героев романа.

Всю зиму Лев Николаевич проработал над этой эпохой. Из письма графини С. А. мы видим, что много этой подготовительной работы уже было закончено.

В марте 1873 года Софья Андреевна пишет сестре о работе Льва Николаевича:

"...А все лица из времен Петра Великого у него готовы, одеты, наряжены, посажены на своих местах, но еще не дышат. Я это ему вчера сказала, и он согласился, что правда. Может быть, и они задвигаются и начнут жить, но еще не теперь".

Записная книжка Л. Н-ча того времени заполнена всевозможными заметками, касающимися этой эпохи, набросками, планами. Мы приводим некото-

рые из них, представляющие ценный материал для истории и психологии творчества.

Вот набросок весенней картинке природы:

"Весна. Вечер. Низкие, тёмные, сплошные, разорванные на заре тучи. Тихо, глухо, сыро, темно, пахуче, лиловатый оттенок... Скотина лохматая, из-под зимних лохмотьев светятся полянки перелинявших мест...

Лист на березе во весь рост, как платочек мягкий. Голубые пригорки незабудок, желтые поля свербигуса... Пчела серо-чёрная гудит и вьётся и впивается. Лопухи, крапива, рожь в трубке, лезет по часам. Примрозы желтые. На острых травках, на кончиках, радуги в росе. Пашут под гречу. Черно, странно. Бабы тренькают пеньку и стелют серые холсты. Песни соловьев, кукушки и баб по вечерам. Дороги не накатаны еще...

...Дорог нет — травы на низах шелком. Чибисы. Шум ручьев. Птицы. Бабы, мальчишки босиком — ноги белые. Заходят Орион и Сириус.

Начало лета (июнь).

Синева — парит — грозы. Побег на деревьях, росы. Цветы — везде. Желтые поля свербигуса, голубые — незабудок. Птица — соловьи. Народ, песни. Волнуется рожь, начала только. Ягоды — грибы. Сено преет. Гречиха лопается. Навоз пахнет. Дороги накатаны в поля. В лесу теснота. Гул пчел. Рои бегут. Липа отяжелела от цвета. Шиповник. Нивы, луга стоят, серые от метелки, нескошенные.

Конец лета (август).

Дороги накатаны хлебом. Позднее сено на рядах, духи болотные. Синева вдали. Ночи темные, звездные. Птиц нет — тишина. Белые грибы. На репьях пчелы. Плод на липе. Запах яблока. Дым густой, пахучий. Густота и тяжесть в нем. Скирды недокладенные на гумнах. Вода стальная и тихая, густая. Запах льна, конопли, огородов. Красные

клоки в листве. Обьедки огурцов. Женщины в пышных рубахах, черно-загорелые, без панев. Жизни в избе нет. Поужинали и в ночное..."

А вот интересная заметка психологическая, черновая работа по изображению характеров:

15 января 1872 года:

"Главные характеры.

1. *Большой ум* — хорошая машина.

2. *Глуп* — дурная машина.

3. *Большая энергия*, влекущая к открытию тайн и к наслаждению.

4. *Апатия* — ничего не нужно.

Затем следуют сложные типы, комбинирующие в себе четыре первые элемента.

5. При равенстве первого и третьего ($1 = 3$) совершенство — Сократ.

6. При равенстве второго и четвертого ($2 = 4$) — тоже совершенство (т. е. гармония, удовлетворение) — тип *юродивый*.

7. Преобладание первого над третьим ($1 > 3$), но присутствие обоих — типы: *Меньшиков*, *Наполеон*.

8. Преобладание третьего над первым ($1 < 3$) — тип: *Апол. Григорьев* (критик), *Ф. Толстой* (художник).

9. Присутствие первого и четвёртого с преобладанием первого над четвёртым ($1 > 4$), т. е. ум без энергии, тип: *Дмитрий Ростовский*".

А вот интересная выписка из свидетельства современников иностранцев, характеристика Петра I.

"C'est un homme, d'un temperament violent, qui prend aisement feu et qui est brutal dans sa colere. Il augmente son ardeur naturelle en buvant beaucoup l'eau de vie. Il est sujet a des mouvements convulsifs par tout son corps et sa tete parait en etre affectee. Il ne manque pas de capacite et il a plus de connaissance, qu'on ne pourrait en attendre. Il parait etre destine plutot a etre charpentier, que grand prince. Il travaillait beaucoup lui meme et obligeait les autres. Il me dit, qu'il voulait etablir une grande flotte a Azoff et s'en servir centre les Turcs. Mais il ne me parait pas capable d'une telle entreprise, quoique plus tard...

Il entend peu ce qui concerne la guerre et a peu de curiosite a ce sujet" (1).

(1) «Это человек буйного темперамента, легко горячится и бывает груб в своем гневе. Свою естественную горячность он усиливает еще большим количеством водки. Он подвержен судорожным движениям всего тела, и даже голова его этим поражена. Он не лишен способностей и обладает большим количеством знаний, чем это можно предположить. Кажется, он более предназначен быть плотником, нежели правителем. Он много работал и заставлял других. Он сказал мне, что он хотел основать большой флот в Азове, чтобы им действовать против турок. Но мне кажется, он не способен на такое предприятие, хотя впоследствии...

Он мало понимает в военном деле и мало проявляет к этому любопытства». *Архив Л. Н. Толстого.*

Приводим здесь также для более полной характеристики работ Л. Н-ча список источников, которыми он пользовался для этого романа:

Голиков, Гордон, Устрялов, Пекарский, Посошков, Бантыш—Каменский, Олеар, Кабсон, Ровинский, Бюрнет, Гопсен, Крейч, Адлерфельд, Забелин, Долгоруков, Попов, Склабовский, Ушаков, Ямовский.

Эти имена очень часто попадают в заметках его записных книжек.

Все эти материалы показывают нам, как широка и глубока была задуманная им работа.

Тем с большим сожалением узнаём мы, что этому произведению не суждено было увидеть свет.

Л. Н-ч написал несколько начал, но всеми был недоволен и принужден был наконец оставить эту работу.

Он говорил: "Никак не могу живо восстановить в своем воображении эту эпоху, встречаю затруднения в незнании быта, мелочей в обстановке, и это тормозит мою работу".

С. А. Берс, гостивший в это время в Ясной Поляне, так рассказывает о причинах оставления Л. Н-чем этой работы:

"Летом 1873 года Лев Николаевич прекратил изучение этой эпохи. Он говорил, что мнение его о личности Петра диаметрально противоположно общему, и вся эта эпоха сделалась ему несимпатична. Он утверждал, что личность и деятельность Петра I не только не заключает в себе ничего великого, а напротив того, все качества его были дурные. Все так называемые реформы его отнюдь не преследовали государственной пользы, а клонились к личным его выгодам. Вследствие нерасположения к нему сословия бояр за его нововведения он основал город Петербург только для того, чтобы удалиться и быть, свободнее в своей безнравственной жизни. Сословие бояр имело тогда большое значение и, следовательно, было для него опасно. Нововведения и реформы почерпались из

Саксонии, где законы были самые жестокие того времени, а свобода нравов процветала в высшей степени, что особенно нра-

вилось Петру I. Этим объяснял Лев Николаевич и дружбу Петра I с курфюрстом саксонским, принадлежавшим к самым безнравственным личностям из числа коронованных особ того времени. Близость с пирожником Меншиковым и беглым швейцарцем Лефортом он объяснял презрительным отворачиванием к Петру I всех бояр, среди которых он не мог найти себе друзей и товарищей для разгульной жизни. Но более всего он возмущался гибелью царевича Алексея".

Изучение петровской эпохи невольно перенесло внимание Л. Н-ча и на последующие события правления разных императриц и их временщиков, и Л. Н-ч задумал было писать роман "Мирович". Но намерение это осталось без исполнения. Неудовлетворение в изучении материалов петровской эпохи вызвало в Л. Н-че потребность иного приложения своих творческих сил. Вероятно, одновременно с планом художественно-исторической работы в нем возникал и сюжет бытовой. Легкого повода было достаточно, чтобы новая работа увлекла его. Вот как рассказывают об этом, близкие Л. Н-чу люди:

В 1873 году, тихо слабея, кончала свой век любимая тетушка Л. Н-ча, Татьяна Александровна Ергольская. Она лежала в своей комнате на диване, и старший сын Л. Н-ча, 10-летний Сергей, читал ей вслух повести Пушкина. Софья Андреевна сидела тут же с работой. Старушка

задремала, и чтение остановилось. Книга Пушкина лежала на столе, открытая на той странице, где начинается рассказ "Отрывок". В это время вошел в комнату Лев Николаевич. Увидав книгу, он взял ее и прочел начало "Отрывка": *Гости съехались на дачу.*

"Вот как надо начинать, — сказал вслух Л. Н-ч. — Пушкин — наш учитель. Это сразу вводит читателя в интерес самого действия. Другой бы стал описывать гостей, комнаты, а Пушкин прямо приступает к делу".

Кто-то из присутствующих шутя предложил Льву Николаевичу воспользоваться этим началом и написать роман.

Л. Н-ч удалился в свою комнату и тут же набросал начало романа "Анна Каренина", которое в первом варианте начиналось так: "Все смешалось в доме Облонских", и потом уже Л. Н-ч приставил действительное начало романа, фразу, выражающую подмеченный им психологический закон: "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему".

Это произошло 19 марта 1873 года.

На другой день гр. С. А. писала своей сестре:

"Вчера Левочка вдруг начал неожиданно писать роман из современной жизни. Сюжет романа — неверная жена и вся драма, происшедшая от этого. Я этому рада".

Трагическая развязка романа, самоубийство Анны, имела своим прототипом истинное происшествие.

Гр. С. А. в письме к сестре от 18 января 1872 г. так описывает его:

"...Ещё у нас в Ясенках случилась драматическая история. Ты помнишь у Бибикова Анну Степановну? вот эта А. Ст. ревновала к Бибикову всех гувернанток.

Наконец, к последней она так ревновала, что Алекс. Никол. рассердился и поссорился с ней, следствием чего было то, что Анна Степановна уехала от него в Тулу совсем. Три дня она пропадала; наконец в Ясенках, на третий день, в 5 часов вечера она явилась на станцию с узелочком. Тут она дала ямщику письмо к Бибикову, просила его свезти и дала ему 1 руб. Письма Бибиков не принял, а когда ямщик вернулся опять на станцию, он узнал, что

Анна Степановна бросилась под вагоны, и ее раздавил поезд до смерти. Конечно, она это сделала нарочно. Приезжали следователи и проч., и письмо это читали. В письме было написано: "Вы мой убийца; будьте счастливы с ней, если убийцы могут быть счастливы. Если хотите меня видеть, вы можете увидеть мое тело на рельсах в Ясенках..." Левочка с дядей К. ездили посмотреть, как ее анатомировали.

Случилось это около Крещения".

Рядом с романом Анны и Вронского, идущим по закону "Мне отмщение, и аз воздам", контрастом ему служит идиллический роман Китти и Левина, в который Л. Н-ч вложил много автобиографического, и многие лица списаны с натуры, начиная с Агафьи Михайловны, действительно существовавшей под этим именем и только несколько лет тому назад умершей в Ясной Поляне, и кончая самим Левиным, психологический тип которого изображает нам самого автора, со всею его оригинальностью в мыслях, чувствах и действиях, а

главное, с его душевной борьбой и исканием правды в народной вере.

Тип Анны по внешности напоминает госпожу Гартунг, дочь Пушкина; в больной баронессе и Вареньке можно узнать одну княгиню Голицыну с ее воспитанницей Катенькой. Также и другие лица, как Облонский, Кознышев и т. п., заключают в себе много черт, присущих родственникам и знакомым Л. Н-ча.

В описании брата Левина, Николая, особенно в описании его смерти, можно легко узнать брата Л. Н-ча, Дмитрия.

Многие мелкие эпизоды, как, напр., рассказ Вронского в театре о шалостях гвардейских офицеров, гнавшихся за одной дамой, также списаны с натуры.

Наконец, весной 1874 года Л. Н-ч повез начало своего романа печатать в Москву, в редакцию "Русского вестника".

Вероятно, Л. Н-ч еще много поправлял в корректуре, так как роман начал печататься только с января 1875 года. Он печатался в четыре приема, в начале 1875, 1876 и 1877 годов (в первых четырех книжках каждого года), и затем 8-я часть с эпилогом вышла прямо отдельным изданием.

Такие большие перерывы происходили от многих причин. Во-первых, Л. Н-ч очень редко мог работать летом, а то, что он заготовлял за рабочую пору осени, только и хватало на четыре книги журнала. Во-вторых, как раз во время печатания "Анны Карениной" в 1874 и 1875 годах семью Толстых постиг целый ряд тяжелых страданий, смерть близких людей, как мы это увидим ниже, и наконец, в-третьих, потому что от писания романа

Л. Н-ча отвлекали педагогические занятия, как мы видели выше.

С конца 1876 года писание пошло быстрее. Графиня пишет сестре в начале декабря 1876 года:

"Анну Каренину" мы пишем наконец-то по настоящему, т. е. не прерываясь. Левочка, оживленный и сосредоточенный, всякий день прибавляет по целой главе, я усиленно переписываю, и теперь даже под этим письмом лежат листки новой главы, которую он вчера написал. Катков телеграфировал третьего дня, умоляя прислать несколько глав для декабрьской книжки, и Левочка сам на днях повезет в Москву свой роман. Я думаю, что теперь в декабре напечатают, и потом пойдет так далее, пока кончится все".

При печатании же эпилога вышло печальное, или, вернее, счастливое недоразумение между Л. Н-чем и Катковым, которое и завершилось их разрывом.

В последней части, как известно, Толстой, кроме изображения внутреннего переворота, совершившегося в Левине, рассказывает еще о дальнейшей

судьбе несчастного Вронского, в отчаянии отправившегося добровольцем в Сербию с целым отрядом кавалерии, сформированным на его счет. В глазах тогдашнего общества это был геройский, благородный поступок. Но в романе Л. Н-ча Левин, главный герой, относится с осуждением к этому добровольческому движению и даже с некоторой насмешкой, в которой выражается взгляд Толстого на добровольческое движение как на одно из

постоянно сменяющихся модных увлечений праздного так называемого высшего общества.

Катков, редактор "Русского вестника" и "Московских ведомостей", напротив, всеми имевшимися в его руках средствами раздувал это движение и старался втянуть Россию в войну с Турцией.

На этой почве у Толстого произошло столкновение с Катковым, и они окончательно разошлись.

22 мая 1877 года Л. Н-ч писал Страхову:

"Нынче получил ваше второе неотвеченное письмо и устыдился. Я мешкал писать вам и потому, что был занят писаньем, — и главное потому, что не хотелось ничего говорить вам, пока вы не прочитаете последнюю часть. Она набрана давно и два раза уже была мною поправлена, и на днях мне ее пришлют для окончательного пересмотра. Но я боюсь, что она все-таки не выйдет скоро. И об этом хочу с вами посоветоваться и просить вашей помощи. Оказывается, что Катков не разделяет моих взглядов, что и не может быть иначе, так как я осуждаю именно таких людей, как он, и, мямля, учтиво прося смягчить то, выпустить это, ужасно мне надоел, и я им уже заявил, что если они не напечатают в таком виде, как я хочу, то вовсе не напечатаю у них, и так и сделаю; но хотя и удобнее всего было бы напечатать брошюрой и продавать отдельно, неудобство в том, что надо пропустить сквозь цензуру. Как вы посоветуете, отдельно с цензурой или в какой-нибудь бесцензурный журнал — "Вестник Европы", "Нива", "Странник", мне все равно, только бы хотелось напечатать как можно скорее и не разговаривать про смягчения и выпущения. Но, пожалуйста, посоветуйте и помогите. Может быть, я еще улажусь с Катковым, но

очень бы хотелось узнать, что делать в случае несогласия".
(1).

(1) Архив В. Г. Черткова.

Следуя совету Н. Н. Страхова. Л. Н-ч решил выпустить 8-ю часть отдельной брошюрой, так как с Катковым у него дело окончательно разладилось.

Редакция же "Русского вестника" вместо откровенного заявления о том, что вследствие разницы ее взглядов и взглядов автора, выраженных в 8-й части романа, эта часть не может появиться в журнале, напечатала следующую краткую заметку, воспользовавшись тем, что рукопись побывала в редакции, и этою заметкою постаралась удовлетворить своих недоумевавших подписчиков.

Вот эта заметка, появившаяся в майской книжке 1877 г. "Русского вестника":

"От редакции. В предыдущей книжке под романом "Анна Каренина" выставлено: "окончание следует". Но со смертью героини, собственно, роман кончился. По плану автора следовал бы еще небольшой эпилог, листа в два, из коего читатели могли бы узнать, что Вронский, в смущении и горе после смерти Анны, отправляется добровольцем в Сербию, и что все прочие живы и здоровы, а Левин остается в своей деревне и сердится на славянские комитеты и на добровольцев. Автор, быть может, разовьет эти главы к особому изданию своего романа".

Принимая во внимание издательские нравы, этот поступок, конечно, нельзя назвать корректным, почему он и вызвал справедливое возмущение как самого Л. Н-ча, так и близких ему людей.

Появление "Анны Карениной" можно считать крупным литературно-общественным событием, и мы надеемся показать его значение и отношение к нему общества, сделав краткий обзор более выдающихся критических отзывов.

ГЛАВА 10.

Обзор критической литературы об "Анне Карениной"

Следуя порядку, принятому нами при обзоре критической литературы о "Войне и мире", мы рассмотрим сначала отзывы друзей Л. Н-ча, которым, собственно говоря, он только и придавал значение. Такими литературными друзьями его в это время были Фет и Страхов. Хотя самих отзывов друзей мы не можем привести за неимением их, но характер их виден из ответных писем Л. Н-ча, находящихся в нашем распоряжении.

Фет, вероятно, ещё в корректуре в редакции "Русского вестника" прочёл начало "Анны Карениной" и сообщил своё мнение Л. Н-чу, который отвечал ему так в марте 1874 года:

«Вы хвалите "Каренину", мне это очень приятно, да и как я слышу, ее хвалят; но, наверно, никогда не было писателя, столь равнодушного к своему успеху, как я. С одной стороны, школьные дела, с другой — странное дело — сюжет нового писания, овладевший мною именно в самое тяжелое время болезни ребенка, и самая эта болезнь и смерть...» (1)

(1) А. Фет. Мои воспоминания", т. II, с. 289.

Мы полагаем, что Л. Н-ч совершенно искренно писал эти слова, т. е. что он действительно мало придавал значения этому произведению, и мы вернемся еще к этому вопросу при общей оценке "Анны Карениной".

По выходе всей "Анны Карениной", в 1877 году, Фет написал критическую статью под псевдонимом Болгова и послал ее Л. Н-чу, которому она очень понравилась. Вот что пишет Л. Н-ч Фету об этой статье 2 сентября того же года:

"Как мало на свете настоящих умных людей, дорогой Афанасий Афанасьевич! Появился было г-н Болгов, и как я обрадовался ему, но и тот сейчас же обратился в вас. Можно не узнать произведение ума, к которому равнодушен, но произведение ума любимого, выдающее себя за чужое, так же смешно и странно видеть, как если бы я приехал к вам судиться и, глядя на вас во все глаза, уверял бы, что я адвокат Петров. Не могу хвалить вашей статьи, потому что она хвалит меня, но я вполне согласен с нею, и мне радостно было читать анализ своих мыслей, при котором все мои мысли, взгляды, сочувствия, затаенные стремления поняты верно и поставлены все на

настоящее место. Мне бы очень хотелось, чтобы она была напечатана, хотя я, обращая к вам то, что вы говорили мне, знаю, что почти никто не поймёт её".

Н. Н. Страхов после каждого выхода частей "Анны Карениной", прочитав их, писал Л. Н-чу своё впечатление, которое Л. Н-ч очень ценил. По этому

поводу возникла между ними целая переписка. К сожалению, у нас нет писем Страхова, но из писем Л. Н-ча мы можем привести некоторые, наиболее интересные.

В письме от 9 апреля 1876 г. Л. Н-ч высказывает свое отношение к критике вообще:

"Благодарю вас, дорогой Николай Николаевич, за присылку Григорьева. Я прочел предисловие Григорьева, но — не рассердитесь на меня — чувствую, что, посаженный в темницу, никогда не прочту всего. Не потому, что не ценю Григорьева, напротив, но критика для меня скучнее всего, что только есть скучного на свете. В критике искусства все правда, а искусство потому только искусство, что оно все. Я со страхом чувствую, что перехожу на летнее состояние: мне противно то, что я написал, и теперь у меня лежат корректуры на апрельскую книжку, и боюсь, что не буду в силах поправить их. Все в них скверно, и все надо переделать, все, что напечатано, и все перемарать, и бросить, и отречься, и сказать: виноват, вперед не буду, и постараться написать что-нибудь новое и уж не такое нескладное и ни то ни семное. Вот в какое я прихожу состояние, и это очень неприятно... И не хвалите мой роман. Паскаль завел себе пояс с гвоздями, который

он пожимал всякий раз, как чувствовал, что похвала его радует. Мне надо завести такой пояс. — Покажете мне искреннюю дружбу: или ничего не пишете про мой роман, или напишите мне только все, что в нем дурно. И если правда то, что я подозреваю, что я слабею, то, пожалуйста, пишете мне. Мерзкая наша писательская должность — развращающая. У каждого писателя есть своя атмосфера хвалителей, которую он осторожно носит вокруг себя и не может иметь понятия о своем значении и о времени упадка. Мне бы хотелось не заблуждаться и не развращаться дальше. Пожалуйста, помогите мне в этом. И не стесняйтесь только, что вы строгим осуждением можете помешать деятельности человека, имевшего талант. Гораздо лучше будет остановиться на "Войне и мире", чем писать "Часы" или т. п."

В следующем письме Лев Николаевич дает свое новое определение искусства:

26 апреля 1876 года. Ясная.

"У нас с вами раздвоилась переписка, дорогой Николай Николаевич, я только что ответил на ваше философское письмо, как получил радостный ответ на мое. — Вы пишете: так ли вы понимаете мой роман и что я думаю о ваших суждениях, разумеется, так. Разумеется, мне невыразимо радостно ваше понимание, но не все обязаны понимать так, как вы. Может быть, вы только охотник до этих делов, как и я, как и наши тульские голубятники. Он турмана ценит очень дорого, но есть ли настоящие достоинства в этом турмане — вопрос. Кроме того, вы знаете — наш брат беспрестанно без переходов прыгает от уныния и самоуничижения к непомерной гордости. Это я

к тому говорю, что ваше суждение о моем романе верно, но не на все, т. е. все верно, но то, что вы сказали, выражает не все, что я хотел сказать. Например, вы говорите о двух сортах людей. Это я чувствую — знаю, но этого я не имел в виду; но когда вы говорите, я знаю, что это одна из правд, которую можно сказать. Если же бы я хотел сказать словами все то, что имел в виду выразить романом, то я должен бы был написать роман тот самый, который я написал сначала. И если критики теперь уже понимают и в фельетоне могут выразить то, что я хочу сказать, то я их поздравляю и смело могу уверить qu'il en savent plus

long, que moi. Очень, очень благодарю вас. Когда я прочел свое унылое и смиренное письмо и понял, что я, в сущности, прошу похвалы, и вы мне ее прислали. Хотя ваша похвала, я знаю, искренняя, хотя признаюсь — охотничья — мне очень дорога. То, что я сделал ошибки в венчании, мне очень обидно, тем более, что я люблю эту главу. Боюсь, не будет ли тоже ошибок по специальности, которой я касаюсь в том, что выйдет теперь, в апреле. Пожалуйста, напишите, если найдете или другие найдут. Вы правы, что "Война и мир" растет в моих глазах. Мне странно и радостно, когда мне кто-нибудь напомним из нее, как это сделал недавно Истомин (он будет у вас); но странно, я помню из нее очень немного мест, остальное забываю.

И если близорукие критики думают, что я хотел описывать только то, что мне нравится, как обедает

Облонский и какие плечи у Карениной, то они ошибаются. Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собирания мыслей, сцепленных между собой для выражения себя; но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна и без того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами нельзя, а можно только посредственно — словами, описывая образы действия, положения. Вы все это знаете лучше меня, но меня занимало это последнее время. Одно из очевиднейших доказательств этого было для меня самоубийство Вронского, которое вам понравилось. Этого никогда со мной так ясно не бывало. Глава о том, как Вронский принял свою роль после свидания с мужем, была у меня давно написана. Я стал поправлять, и совершенно для меня неожиданно, но несомненно Вронский стал стреляться. Теперь же для дальнейшего оказывается, что это было органически необходимо. — Так вот почему такая милая умница, как Григорьев, для меня малоинтересен; правда, что если бы не было совсем критики, то тогда бы Григорьев и вы, понимающие искусство, были бы излишни. Теперь же правда, что когда 9/10 всего печатного есть критика искусства, нужны люди, которые бы показывали бессмыслицу отыскивания отдельных мыслей в художественном произведении и постоянно руководили бы читателей в том бесконечном лабиринте сцеплений, в котором и состоит сущность искусства, и по тем законам, которые служат основанием этих сцеплений. Написал вам это письмо уже несколько дней тому назад и хотел не посылать — так в нем и выпирает польщенное

авторское тщеславие. Но написал 7 писем сейчас, и надо писать вам новое, и решился послать это. Шила в метке не утаишь, и вы меня знаете насквозь.

Лев Толстой".

Столь же интересные мысли высказывает Л. Н-ч и еще в одном письме и попутно жалеет Тургенева, об ослаблении художественной деятельности которого до него доходили слухи.

"Успех последнего отрывка "Анны Карениной", признаюсь, порадовал меня. Я никак этого не ожидал и, право, удивляюсь и тому, что такое обыкновенное и ничтожное нравится, и еще больше тому, что, убедившись, что такое ничтожное нравится, я не начинаю писать сплеча, что попало, а делаю какой-то, мне самому почти непонятный выбор. Это я пишу искренно, потому что вам, и тем более, что, послав на январскую книжку корректуры, я запнулся на февральской книжке и мысленно только выбираюсь из этого запнутия. Тургенева я не читал, но искренно жалею, судя по всему, что слышал, что

этот ключ чистой и прекрасной воды засорился такой дрянью. Если бы он просто вспомнил какой-нибудь свой день подробно и описал бы его, все бы пришли в восхищение. Как ни пошло это говорить, но во всем в жизни, в особенности в искусстве, нужно только одно отрицательное качество — не лгать. В жизни ложь гадка, но она не уничтожает ее гадостью, под ней все-таки

правда жизни, потому что чего-нибудь всегда кому-нибудь хочется, от чего-нибудь больно и радостно, но в искусстве ложь совершенно уничтожает всю связь между явлениями, порошком все рассыпается".

Приведем отзывы И. С. Тургенева. Они не вполне благоприятны. Мы не можем причислить Тургенева к числу литературных друзей Л. Н-ча, так как именно в период писания Л. Н-чем "Анны Карениной" они были очень далеки друг от друга. Но тем не менее этот отзыв носит весьма интимный характер, мы заимствуем его из частных писем и потому выделяем из общего обзора критической литературы.

В письме к Суворину от 14 марта 1875 года Тургенев, между прочим, пишет:

"С нетерпением жду первого выпуска ваших очерков. Портрет Л. Н. Толстого (литературный) выйдет у вас наверно хорошо. Талант из ряду вон, но в "Анне Карениной" он, как здесь говорят, а *fait fausse route*, влияние Москвы, славянофильского дворянства, старых православных дев, собственного уединения и отсутствия настоящей художественной свободы" (1).

(1) Собрание писем И. С. Тургенева, с. 257.

Подобным же образом он выражается в своем письме к поэту Полонскому:

"Анна Каренина" мне не нравится, хотя попадаются истинно великолепные страницы (скачка, косьба, охота). Но все это кисло, пахнет Москвой, ладаном и старой девой, славянщиной, дворянщиной и т. д."

В этом отзыве сказывается недоброжелательное отношение Тургенева как "западника" ко всему, что имело связь с "Москвой" и в чем он подозревал славянофильские тенденции. На самом деле Л. Н-ч никогда не был славянофилом и часто очень отрицательно высказывался против славянофильства, что мы и увидим ниже.

Переходим теперь к краткому обзору профессиональных критических отзывов об "Анне Карениной", составляющих уже многотомную литературу, которую мы должны разбить на группы, чтобы быть в состоянии ориентироваться в ней; причем мы постараемся дать некоторые образцы крайних, характерных отзывов, чтобы возможно было составить себе суждение о том впечатлении, которое произвела "Анна Каренина" на различные круги русского общества. Мы напомним здесь то, что говорили про обзор критической литературы о "Войне и мире", что цель наша — не критика "Анны Карениной" и не ответ критикам этого произведения, наша частная цель, вытекающая из общей биографической, — это изображение отношения общества к Л. Н-чу, суждение о том, как реагировало общество на факт такого большого значения в жизни Л. Н-ча, как написание им второго большого романа. Как и следовало ожидать, общество ответило подчеркиванием тех партийных, сословных отношений, которые ничего не имеют общего как с критикой вообще, так и с романом в особенности. Так, дворянская аристократическая партия обрадовалась и стала восхищаться романом, потому что в нем по преимуществу изображены лица высшего общества. Славянофилы обрадовались тому, что, как говорил Тургенев, роман "пахнет славянофильством".

Либерально-радикальная партия именно за это и озлобилась на роман и забросала его

грязью или едва удостоила насмешливого, презрительного отзыва. Но истинное произведение искусства, каким было и останется это замечательное произведение, конечно, от этого не пострадало. Одним из неблагоприятных обстоятельств для серьезной критики было то, что роман печатался очень долго, с большими перерывами. Критика и публика были утомлены. Критические статьи писались после выхода каждой порции романа, делались всевозможные догадки и большею частью неверные предположения; читатели и критики иногда теряли терпение и выражали это самым странным образом.

Так, критик Скабичевский ("Заурядный читатель") заподозрил Л. Н-ча в сговоре с издателем "Русского вестника" и пишущим для того, чтобы заполнить чем-нибудь его журнал и получить побольше гонорара.

Тем не менее интерес, возбужденный в обществе этим романом, был огромный. Говорят, что, московские дамы засылали своих агентов в университетскую типографию, где печатался роман, чтобы выведать у наборщиков о дальнейшей судьбе героев романа.

Как и в главе о "Войне и мире", мы ограничимся современными роману критиками.

К числу положительных критиков "Анны Карениной" мы относим, во-первых, Соловьева, писавшего в "С. — Петербургских ведомостях" того времени фельетоны за

подписью "Sine ira", которого поражает художественная простота этого произведения.

Затем В. В. Чуйко в "Голосе" делает удачное сравнение таланта Л. Н. Толстого с талантом Стендаля (Бейля). Вот это сравнение:

"В этом отношении он может быть сравниваем только с другим великим психологом-беллетристом — Генрихом Бейлем (Стендалем). Предмет их исследования один и тот же, оба они одинаково глубоко заглядывают в тайники души, оба одинаково оригинальны, до такой степени оригинальны, что кажутся эксцентричны и парадоксальны, оба не любят протоптанных дорожек в искусстве, оба открывают новые области художественного анализа, у обоих, кроме таланта, громадная теоретическая подкладка систематического знания, потому-то оба они так мало похожи на большинство беллетристов нашего времени, которые до сих пор не могут порешить с рутинными приемами и рутинными взглядами. У Бейля теория и точное знание перевешивали над творчеством, у графа же Толстого наоборот, и что бы там ни говорили, он не только мыслитель, сколько художник, у него на первом плане творчество, как и у Достоевского, но творчество, сдержанное в пределах всегда присутствующей строго мыслию, не расплывающееся в неясных образах и болезненных влечениях. Творчество Бейля — чисто теоретическое, искусственное; из одного первичного психологического предрасположения он строит весь характер, и если этот характер кажется живым, то только благодаря необыкновенной логике, с которою Бейль развивает последовательно из этого одного общего предрасположения все неизбежности, определяемые жизнью и положением. У гр. Л. Толстого на первом плане

жизнь и люди, он любит эту жизнь и этих людей со всею страстью и впечатлительностью художника, его творчество — не теоретический процесс, а сама жизнь, как она отражается в его мысли. Но никогда мысль не дремлет, и потому нет-нет и вдруг встречается коротенькая, кажется, пустая фраза, которая освещает характер с совершенно новой стороны, указывает на такую психологическую особенность, которая могла бы быть подмечена только теоретическою мыслью. В этом граф Л. Толстой — неподражаемый мастер, и даже европейские литераторы

мало могут представить действительно великих художников, которые равнялись бы ему в этом отношении" (1).

(1) В. Зелинский. "Критическая литература о Толстом", ч. 3, с. 117.

Этот критический отзыв интересен тем, что критик признал родственность таланта Стендаля и Толстого. Как мы увидим ниже, Стендаль очень нравился Толстому и, вероятно, имел некоторое влияние на его творчество.

Первый из упоминаемых нами критиков. Б. С. Соловьев, разочаровывается в романе после следующих глав и ставит в упрек Л. Н-чу пошлость изображаемых им типов.

Что касается до В. Чуйко, то он и при дальнейших выпусках романа остается верен себе и защищает Л. Н-ча

от нападок других критиков, ставя им на вид, что они недостаточно оценили реализм изображения и недостатки, присущие типам, приписали самому Толстому. Только по выходе 8-й части В. Чуйко не выдержал своей роли и напал на Л. Н-ча за измененность идеалов Левина (2).

(2) "Отечественные записки" 1877 г., кн. 8.

Мы не приводим здесь слишком восторженных отзывов Авсеенко, подчеркивающего аристократическую тенденцию романа, которой, по нашему мнению, вовсе не существует. По этому поводу интересно припомнить слова Н. К. Михайловского, защищавшего Л. Н-ча от так называемых им "пещерных людей", т. е. консервативных критиков, старавшихся из всех сил сопричислить Л. Н-ча к числу "своих".

"Эти несчастные не подозревают, что то, что им нравится в гр. Толстом, есть только его шуйца, печальное уклонение, невольная дань культурному обществу, к которому он принадлежит. Они бы рады были из него левшу сделать, тогда как он, я думаю, был бы счастлив, если бы родился без шуйцы. Повторяю, я только предполагаю, что и гр. Толстому должно быть обидно слышать похвалы пещерных людей, которые (похвалы) относятся только к его шуйце. Но мне лично всегда бывает обидно за гр. Толстого, когда я вижу усилия, и небезуспешные, пещерных людей замарать его своим нравственным соседством. Обидно не потому, что я сам желал бы стоять рядом с гр. Толстым, хотя, разумеется, и это привлекательно, но потому что, марая его своим нечистым прикосновением, они отняли у общества чуть не

всю его десницу. Почему читающей публике решительно неизвестны истинные воззрения гр. Толстого? Отчего они не коснулись общественного сознания? Много есть тому причин, но одна из них, несомненно, есть нравственное соседство пещерных людей, холопски, т. е. с разными привираниями и умолчаниями, лобызаящих шуйцу гр. Толстого. Я на себе испытал это. Я поздно познакомился с идеями гр. Толстого, потому что меня отгоняли пещерные люди, и был поражен, увидав, что у него нет с ними ничего общего".

Странным кажется переходить от этих если не восторженных, то вполне уважительных критик к тем диким выходкам, от которых не могла удержаться партия озлобленных. Приведем некоторые выдержки хотя для курьеза.

Один из критиков насмешливо замечает, что "Анна Каренина" "имеет претензию на звание бытового романа, но претензии эти более чем смешны. Какая из выведенных личностей может быть названа живой, типичной, имеющей своего представителя в действительной жизни?"

И на все эти вопросы насмешливый критик отвечает отрицательно, как будто он живет на луне и никогда в жизни не видал живых людей.

Ужасно сердится на Л. Н-ча Скабичевский. Он утверждает, что весь роман пропитан "идиллическим запахом детских пеленок". Сцену падения Анны

называет «мелодраматическою дребеденью в духе старых французских романов, расточаемой по поводу заурядных

амуров великосветского хлыща и петербургской чиновницы, любительницы аксельбантов».

В дальнейших статьях своих тот же критик, возмущающийся скабрзностью и пошлостью описываемых сцен, иронически упрекает Л. Н-ча Толстого в том, что он не дал описания того, что Анна берет ванну, а Вронский моется в бане.

И все это несчастные читатели должны были проглотить под видом критики.

Но критик радикального журнала "Дело" П. Ткачев идет ещё далее. Разбирая и уничтожая целый ряд произведений Л. Н-ча, он находит, что основная идея "Войны и мира" такова: цель жизни и значение жизни каждого человека должны заключаться в узком эгоистическом услаждении себя половыми отношениями и в их венце — семейном счастье, понимаемом притом в самом грубом и почти циническом смысле.

Затем этот скромный критик, как бы пародируя стиль Л. Н-ча, предлагает ему написать новый роман, изображающий любовь Левина к его корове Паве, ревность Китти и т. д.

Кажется, этого довольно.

Из более серьёзных отрицательных критиков мы назовем Станкевича, поместившего обстоятельный критический этюд в "Вестнике Европы". Главный недостаток этого этюда — это его почти сплошной насмешливый издевательский тон, особенно по отношению к Левину, так мешающий видеть, быть может, и заключающиеся в этом этюде серьезные мысли.

Приведем теперь мнение об "Анне Карениной" единственного, по нашему мнению, русского человека, которого можно поставить рядом со Л. Н-чем Толстым.

Мнение его по этому самому уже приобретает огромную ценность. Мы говорим о Федоре Михайловиче Достоевском. Эти люди не знали лично друг друга, но всегда высказывали взаимное уважение. Здесь мы не считаем удобным делать какое-либо сближение или сравнение их. Это вопрос слишком важный, требующий специального времени и места для его изучения и изложения. Скажем только, что, по нашему глубокому убеждению, несмотря на внешнюю бросающуюся в глаза разницу таланта, характера, среды, карьеры и прочих условий жизни, эти два русских человека во многих самых главных жизненных пунктах бесконечно близки друг к другу.

Эта близость их выразилась и в понимании Достоевским "Анны Карениной". По какой-то странной психической аберрации этот великий ум и великое сердце, этот служитель Вечного был увлечен временными политическими событиями конца 70-х годов и защищал необходимость и благодетельность восточной войны. И вот только с этой точки зрения, которой касается и Л. Н-ч в конце романа, Достоевский не соглашается с ним. Но, относясь критически к тому, что Левин осуждает добровольческое движение, Достоевский, по своей высшей добросовестности, предпосылает этой критике такую замечательную оценку романа:

"Анна Каренина" есть совершенство как художественное произведение, подвернувшееся как раз кстати и такое, с которым ничто подобное из европейских литератур в настоящую эпоху не может сравниться, а во-вторых, и по идее своей это уже нечто наше, свое, родное, и именно то самое, что составляет нашу особенность перед европейским миром, что составляет уже наше

национальное "новое слово" или, по крайней мере, начало его, — такое слово,

которого именно не слышать в Европе и которое, однако, столь необходимо ей, несмотря на всю ее гордость. Я не могу пуститься здесь в литературную критику и скажу лишь небольшое слово. В "Анне Карениной" проведен взгляд на виновность и преступность человеческую. Взяты люди в ненормальных условиях. Зло существует прежде них. Захваченные в круговорот лжи, люди совершают преступление и гибнут неотразимо: как видно, мысль на любимейшую и стариннейшую из европейских тем. Но как, однако же, решается такой вопрос в Европе? Решается он там повсеместно двояким образом. Первое решение: закон дан, написан, формулирован, составлялся тысячелетиями. Зло и добро определено, взвешено, размеры и степени определялись исторически мудрецами человечества, неустанной работой над душой человека и высшей научной разработкой над степенью единительной силы человечества в общежитии. Этому выработанному кодексу повелевается следовать слепо. Кто не последует, кто преступит его, тот платит свободой, имуществом, жизнью, платит буквально и бесчеловечно. "Я знаю, — говорит сама их цивилизация, — что это и слепо, и бесчеловечно, и невозможно, так как нельзя выработать окончательную форму человечества в середине пути его, но так как другого исхода нет, то и следует держаться того, что написано, и держаться буквально и бесчеловечно, не будь этого, будет хуже". С тем вместе, несмотря на всю

ненормальность и нелепость устройства того, что называем мы нашей великой европейской цивилизацией, тем не менее пусть силы человеческого духа пребывают здоровы и невредимы, пусть общество не колеблется в вере, что оно идет к совершенству, пусть не смеет думать, что затемнился идеал прекрасного и высокого и что извращается и коверкается понятие о добре и зле, что нормальность беспрерывно сменяется условностью, что простота и естественность гибнут, подавляемые беспрерывно накапливающейся ложью. Другое решение обратное: так как общество устроено ненормально, то и нельзя спрашивать ответа с единиц людских за последствия. Стало быть, преступник безответствен, и преступления пока не существует. Чтобы покончить с преступлениями и людскою виновностью, надо покончить с ненормальностью общества и склада его. Так как лечить существующий порядок вещей долго и безнадежно, да и лекарств не оказалось, то следует разрушить все общество и снести старый порядок как бы метлой. Затем начать все новое, на иных началах, еще неизвестных, но которые все же не могут быть хуже теперешнего порядка, напротив, включают в себе много шансов успеха. Главная надежда на науку. Итак, вот это второе решение: ждут будущего муравейника, а пока зальют мир кровью. Других решений о виновности и преступности людской западноевропейский мир не представляет.

Во взгляде же русского автора на виновность и преступность людей ясно усматривается, что никакой муравейник, никакое торжество "четвертого сословия", никакое уничтожение бедности, никакая организация труда не спасут человечество от ненормальности, а следовательно, и от виновности и преступности. Выражено

это к огромной психологической разработке души человеческой со страшной глубиной и силой, с небывалым доселе у нас реализмом художественного изображения. Ясно и понятно до очевидности, что таится зло в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, что ни в каком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят из нее самой и что, наконец, законы духа человеческого столь еще неизвестны, столь неведомы науке, столь неопределенны и столь таинственны, что нет и не может быть еще ни

лекарей, ни даже судей окончательных, а есть тот, который говорит: «мне отмщение, и аз воздам». Ему одному лишь известна вся тайна мира сего и окончательная судьба человека. Человек же пока не может браться решать ничего с гордостью своей непогрешимости, не пришли еще времена и сроки. Сам судья человеческий должен знать о себе, что он грешен сам, что весы и мера в руках его будут нелепостью, если сам он, держа в руках меру и весы, не преклонится перед законом неразрешимой еще тайны и не прибегнет к единственному выходу — к Милосердию и Любви. А чтобы не погибнуть в отчаянии от непонимания путей и судеб своих, от убеждения в таинственной и роковой неизбежности зла, человеку именно указан выход. Он гениально намечен поэтом в гениальной сцене романа, в предпоследней части его, в сцене смертельной болезни героини романа, когда преступники и враги

преображаются в существа высшие, в братьев, все простивших друг другу, в существа, которые сами взаимным всепрощением сняли с себя ложь, вину и преступность и тем разом сами оправдали себя с полным сознанием, что получили право на то. Но потом, в конце романа в мрачной и страшной картине падения человеческого духа, прослеженного шаг за шагом, в изображении того неотразимого состояния, когда зло, овладев существом человека, связывает каждое движение его, парализует всякую силу сопротивления, всякую мысль, всякую охоту борьбы с мраком, падающим на душу вместо света, — в этой картине столько назидания для судьи человеческого и для держащего меру и вес, что, конечно, он воскликнет в страхе и недоумении: "нет, не всегда мне отмщение и не всегда аз воздам", и не поставит бесчеловечно в вину мрачно павшему преступнику того, что он пренебрег указанным вековечно светом исхода и уже сознательно отверг его" (1).

(1) Полн. собр. соч. Ф. М. Достоевского, т. II, с. 236.

Из более поздних критик упомянем о прекрасном этюде Громеки и, наконец, о недавних статьях Овсянико—Куликовского, основательность которых портит узкая, партийная точка зрения — классовой борьбы.

В своём интересном разборе "Анны Карениной" Овсянико-Куликовский по-прежнему рассматривает Л. Н. как изобразителя великосветского типа, и типы "Анны Карениной" считает продолжением типов "Войны и мира" и даже героев предшествующих повестей. Вот как выражает он эту мысль:

"Вспомним, что в отношении к великосветской среде Толстой (приблизительно до 80-х годов) не был посторонним наблюдателем, он принадлежал к ней по рождению и воспитанию, он ее изучил не столько как наблюдатель, сколько как самонаблюдатель, и, начиная с повестей "Детство", "Отрочество" и "Юность", его изображения этой среды были как бы род исповеди, попыткой вытравить из своей души известные черты великосветской психологии, отделаться от них с помощью их претворения в художественные образы, наподобие того как Лермонтов от своего "Демона" отделался стихами. После создания "Войны и мира" Толстой еще чувствовал или признавал, что еще не вполне отделался от "великосветского человека". Эта задача и была довершена романом "Анна Каренина". Вот в каком смысле это произведение примыкает ко всей предшествующей деятельности Толстого и завершает целую эпоху в ней".

И более специально о Левине он говорит в том же очерке:

"...Левин блистательно заканчивает эту художественную автобиографию, эту историю внутреннего развития Толстого, историю его стремлений выйти

из тисков великосветской жизни и создать себе независимую от нее душевную жизнь на основах широких общечеловеческих идеалов".

В общем, прочитав целый ряд критических статей об "Анне Карениной", мы приходим к заключению, что роман этот не понят, не оценен во всем его объеме, во всей его

глубине тех основных вопросов человеческой жизни, которых касается автор (за исключением Достоевского). Критика занялась более внешней стороной его — фабулой, а не идеей. Постараемся, насколько это возможно по имеющимся у нас данным, указать на основную идею этого произведения и определить ее место в общем развитии духовной личности Л. Н-ча.

Если в "Войне и мире" Л. Н-ч изображает нам картину европейского человечества в его стихийных движениях и затем дает типы того времени в детальной разработке, из которых каждый является как бы родовым понятием, то в "Анне Карениной" художник дает нам уже картину частной группы людей как бы случайных, со всеми их семейными дразгами. Если, читая "Войну и мир", вы чувствуете себя как бы на возвышенности, созерцающим величественную панораму, на которой искусной рукой художника перед вами в дивной пропорции проходят и несметные полчища, и отдельные лица, дорогие для вас, с глубокой психической жизнью, но тем не менее как бы подернутые облаком прошедшего, то в "Анне Карениной" вы чувствуете перед собой семейный очаг, великосветский салон, крестьянскую избу со всеми ее мельчайшими подробностями прямо перед глазами, и люди, изображенные на этой картине, — люди, сейчас с вами живущие (события в романе доведены до самого последнего дня текущей эпохи), и поэтому вся сила автора ушла, так сказать, в глубину, в разработку тех душевных движений человеческих, из которых складывается жизнь каждого человека, а стало быть и всего человечества.

Вот что касается внешней стороны романа. Из краткого исторического очерка написания романа, который мы предпослали настоящему обзору, читатели

знают, что "Анна Каренина" начата Л. Н-чем как бы неожиданно, по какому-то незначительному внешнему поводу. Разумеется, причины лежали гораздо глубже. Из того же очерка мы знаем, что Л. Н-ч долго работал над историческими материалами, имея намерение написать исторический роман из эпохи Петра I. Если бы это случилось, мы опять увидали бы себя на возвышенном месте, созерцающими, быть может, еще более грандиозную панораму, так как самый пейзаж был бы еще отдаленнее и поле зрения захватывало бы еще большее пространство. Но изучение эпохи не удовлетворило Л. Н-ча, и мы полагаем, что усилие, которое нужно было сделать Л. Н-чу для воспроизведения в своем воображении эпохи того времени с его добросовестностью, утомило его, и "Анна Каренина" явилась реакцией, отдыхом на современном и близком ему сюжете. Случайно подхваченная фабула — трагическая смерть женщины, бросившейся под поезд, пустота и низменность интересов хорошо знакомой ему светской среды и, наконец, идиллические картины своей собственной семейной жизни и жизни людей его круга с вплетающейся в нее жизнью народа — вот тот материал, та глина, из которой лепил Д. Н-ч свои образы. Но кроме всего этого, он жил, как всегда, всей своей сильной животной и духовной природой, и вот момент этой жизни наложил особый отпечаток и дал особое направление всему его произведению.

Он почувствовал потребность вложить в это произведение кусочек истории своей души и для этого взял тип Левина и заставил его перед читателями пережить все свои душевные муки и выбраться на путь света, куда он и сам

пришел еще с большей, в действительности, работой, с большими страданиями и с более широким сознанием ослепившего его света истины.

В изображении типа Левина поразительно много автобиографических черт. Прочтите ту главу, где появляется Левин в Москве. Характеристика, даваемая ему автором, есть характеристика Л. Н-ча, и в дальнейшем в романе разбросана масса автобиографических черт. Читатели 1-го тома биографии могут узнать в Агафье Михайловне живое лицо, горничную Гашу бабушки Л. Н-ча. Ясная Поляна со многими подробностями изображена в романе. Женитьба и первое время семейной жизни, конечно, также во многом списаны с натуры.

Но не следует всё-таки смешивать художественного вымысла с реальными фактами, и потому нельзя до конца проводить эти параллели. И Левин все-таки не есть Толстой. Это тип сродный, симпатичный ему. Обращение Левина, написанное в конце 76-го и начале 77-го года, не есть обращение Л. Н-ча.

Но здесь пророк-художник предсказал сам себе своё будущее и несколькими яркими штрихами набросал те пути, по которым повел его дальше пытливый, непримиримый, но всепримирающий разум.

В "Анне Карениной" мы видим две преобладающие идеи. Одна, общая, так хорошо понятая Достоевским, выражена эпиграфом романа "Мне отмщение, и аз воздам" и выражает мысль о непреложности высшего, нравственного закона, преступление против которого

неминуемо ведет к гибели, но судьей этого преступления и преступника не может быть человек.

И вот эта отрицательная, общая идея незаметно, художественным путем сцепляется и переходит в идею положительную, хотя столь общую по существу, но выраженную более частным, субъективным образом, идею о том, что человек, сознательно живущий, должен поставить себе цель жизни вне своего личного я, в служении Богу, в жизни для души. Иначе ему предстоит неизбежная гибель самоуничтожения как логической нелепости, не имеющей для своего существования никакой разумной причины и потому уничтожающейся.

Нетрудно видеть, что в этой идее изображен, так сказать, один из эпизодов той великой драмы, которую пережил автор и из которой, как мы знаем, вышел торжествующим, просветленным.

Подробный анализ этой драмы составит предмет следующей части, а в последних главах этой части мы постараемся в беглом очерке дать картину личной и семейной жизни Л. Н-ча в 70-х годах с теми мелкими эпизодами ее, которые неудобно было излагать в одно время с рассказом о главных родах его деятельности.

ГЛАВА 11.

Частная и семейная жизнь Льва Николаевича в начале 70-х годов

В четвертый раз мы возвращаемся к этому богатому по деятельности и напряженной энергии периоду жизни Л. Н-ча в 70-х годах, чтобы дополнить ее описанием различных мелких фактов личной и семейной жизни Л. Н-ча. Мы

выделяем их в особую главу, так как эти факты могли бы нарушить изложение тех главных событий в жизни Л. Н-ча, которым посвящены предыду-

щие главы этого периода. Перед нами протекут сами по себе неважные, малозначительные факты из жизни Льва Н-ча, но которые мы не находим возможным упустить, так как они создают общую картину его семенной жизни, той среды, в которой он жил, и подготавливают переход его к жизни в новой области его сознания.

Семейная жизнь Л. Н-ча именно в 70-х годах достигла своей определенной формы. В 60-х годах она еще не успела установиться. Детский вопрос еще только назревал, а все духовные интересы, оставшиеся свободными от удовлетворения первыми семейными радостями, поглощались гигантской работой над "Войной и миром".

К началу же 70-х годов назрел вопрос воспитания детей, литературные работы уже не поглощали его так без остатка, как прежде, и семейно-хозяйственные интересы и связанные с ними заботы и хлопоты создали целую новую область отношений. В конце 70-х годов во Л. Н-че снова поднимаются прежние вопросы, мучившие его еще до женитьбы, его внутренняя жизнь приближается к кризису, семейная жизнь надламывается, и 80-ые годы уже не представят нам той целостности и гармонии в жизни его семьи.

Вот почему мы дольше, подробнее останавливаемся на этой эпохе. Она даст нам факты, которые больше не могут повториться.

В мае 1870 года Л. Н-ч писал Фету:

"Я получил ваше письмо, любезный друг Афанасий Афанасьевич, возвращаясь потный с работы, с топором и заступом, следовательно, за тысячу верст от всего искусственного и в особенности от нашего дела. Развернув письмо, я первое прочитал стихотворение, и у меня защипало в носу; я пришел к жене и хотел прочесть, но не мог от слез умиления. Стихотворение — одно из тех редких, от которых ни слова прибавить, убавить или изменить нельзя, оно живое само и прелестно. Оно так хорошо, что мне кажется, это не случайное стихотворение, а что это первая струя давно задержанного потока. Грустно подумать, что после того впечатления, которое произвело на меня это стихотворение, оно будет напечатано на бумаге в каком-нибудь "Вестнике", и его будут судить С-ны и скажут: "А Фет все-таки мило пишет".

"Ты нежная..." Да и все прелестно. Я не знаю у вас лучшего. Прелестно всё.

Я только что отслужил неделю присяжным, и было очень, очень для меня интересно и поучительно.

Вы спрашиваете моего мнения о стихотворении, но ведь я знаю то счастье, которое оно вам дало сознанием того, что оно прекрасно, и что оно вылезло все-таки из вас, что оно — вы. Прощайте, до свиданья".

Летом 70-го года началась франко-прусская бойня. Мы знаем, что Л. Н-ч живо интересовался событиями войны, сочувствовал французам и был убежден в их победе. Ненависть к прусскому милитаризму давала и тут себя знать.

Мы упоминали уже, что зимой 70-71-го года он с увлечением занимался изучением греческого языка и,

расстроив свое здоровье, должен был предпринять поездку на кумыс.

Увеличение семьи потребовало, наконец, расширения дома. В конце 1871-го года была сделана к дому пристройка, которая составляет теперь наверху яснополянского дома залу, а внизу — прихожую и библиотеку. Окончание этой пристройки было отпраздновано на рождественских праздниках съездом родных и гостей и ознаменовалось маскарадом, в котором принимал участие и сам Л. Н-ч. В общество гостей явились внезапно ряженые: вожатый с двумя медведями и козой. Вожатым был Дм. Ал. Дьяков, медведями — Исла-

вин и родственник Толстой, а козой, к общему удивлению и восторгу, — сам Лев Николаевич.

Начало 1872 года застаёт Л. Н-ча в грустном, но глубоко серьёзном настроении. Вот одно из замечательнейших его писем к Фету, выражающих с необыкновенною ясностью его психологический момент, его ищущую, но ещё не просветлённую душу, сильную своей правдивостью, не боящуюся называть вещи своими именами:

"Уж несколько дней, как получил ваше милое и грустное письмо и только нынче собрался ответить.

Грустное, потому что вы пишете — Тютчев умирает, слух, что Тургенев умер, и про себя говорите, что машина стирается и хотите спокойно думать о нирване. Пожалуйста, известите поскорее, фальшивая ли это была

тревога. Надеюсь, что да, и что вы без Марьи Петровны маленькие признаки приняли за возвращение вашей страшной болезни.

О нирване смеяться нечего и тем более сердиться. Всем нам (мне, по крайней мере), я чувствую, она гораздо интереснее, чем жизнь, но я согласен, что сколько бы я о ней ни думал, я ничего не придумаю другого, как то, что эта нирвана — ничто. Я стою только за одно — за религиозное уважение, ужас к этой нирване.

Важнее этого всё-таки ничего нет.

Что я понимаю под религиозным уважением? — Вот что. Я недавно приехал к брату, а у него умер ребенок и хоронят. Пришли попы, и розовый гробик, и все, что следует. Мы с братом невольно выразили друг другу почти отвращение к обрядности. А потом я подумал: ну, а что бы брат сделал, чтобы вынести, наконец, из дома разлагающееся тело ребенка? Как вообще прилично кончить дело? Лучше нельзя (я, по крайней мере, не придумал), как с панихидой, ладаном и т. д. Как самому слабеть и умирать? Мочиться под себя, п... больше ничего? Нехорошо. Хочется вполне выразить значительность и нежность, торжественность и религиозный ужас перед этим величайшим в жизни каждого человека событием. И я тоже ничего не могу придумать более приличного для всех возрастов, всех степеней развития, как обстановка религиозная. Для меня, по крайней мере, эти славянские слова отзываются совершенно тем самым метафизическим восторгом, который ощущаешь, когда задумаешься о нирване. Религия уже тем удивительна, что она столько веков, стольким миллионам людей оказывала ту услугу, наибольшую услугу, которую может в этом деле оказать что-либо человеческое. С такой задачей как же ей быть

логической? Но что-то в ней есть. Только вам я позволяю себе писать такие письма. А написать хотелось, и что-то грустно, особенно от вашего письма.

Напишите, пожалуйста, поскорее о вашем здоровье.

Ваш Лев Толстой".

30 января 1872 года.

Я ужасно не в духе. Работа затеянная страшно трудна, подготовки изучения нет конца, план все увеличивается, а сил, чувствую, все меньше и меньше. День здоров, а три нет".

Конец зимы и весну, как мы видели. Л. Н-ч был занят школой и окончанием своей "Азбуки", которую он потом сдал для издания Н. Н. Страхову.

Расстроив свое здоровье, он съездил подкрепиться на кумыс, а по возвращении в Ясную Поляну узнал об ужасном событии, совершившемся без него. Бык забодал насмерть одного из его работников. Было возбуждено судебное следствие, и Л. Н-ч был привлечен к ответственности. Дело это, в котором Л. Н-ч юридически был только весьма отдаленной причиной, доставило Л. Н-чу много душевных страданий.

И страдания эти были двоякого рода. Кроме душевной тяжести, доставленной сознанием, что в его деле пострадал и умер рабочий человек, кормилец семьи,

местные судебные-полицейские власти доставили ему еще много страданий своею бестактностью, привлечением его к ответственности, обязав подпискою о невыезде, и долгой проволочкой этого дела, кончившегося, как и следовало ожидать, с судебной стороны ничем.

Об этом событии мы узнаем, между прочим, из переписки Л. Н-ча со своей теткой, гр. А. А. Толстой, воспоминания о которой сообщает Захарьин—Якунин. Л. Н-ч обращается к графине в письме с описанием своего горя и начинает это письмо так:

"Любезный друг Александрин! Вы одна из тех людей, которые всем существом своим говорят: "Я хочу разделить с тобой твои горести, а ты со мной — свои радости", и я вот, всегда рассказывающий вам о своем счастье, теперь ищу вашего сочувствия в моем горе. Нежданно-негаданно на меня обрушилось событие, изменившее всю мою жизнь".

Судебный следователь из молодых, явившийся производить дознание по этому делу, обязал Л. Н-ча подпиской о невыезде. В это же время Л. Н-ч был назначен присяжным, и его оштрафовали за неявку. Все это, конечно, не могло не расстроить Л. Н-ча. Он так заканчивает свое письмо к гр. А. А. Толстой:

"...Страшно подумать, страшно вспомнить о всех мерзостях, которые мне делали, делают и будут делать... С седой бородой, шестью детьми и с сознанием полезной и трудовой жизни, с твердой уверенностью, что я не виноват, с презрением, которого я не могу не иметь к новым судам, сколько я их видел, с одним желанием, чтобы меня оставили в покое, как я всех оставляю в покое... Невыносимо жить в России — со страхом, что каждый мальчик, которому лицо мое не понравилось,

может заставить меня сидеть на лавке перед судом, а потом в остроге..."

Вся эта тяжелая история кончилась тем, что Л. Н-ч был освобожден по этому делу от суда и следствия, а всю ответственность взвалили на его управляющего, которого эти "мальчики" и привлекли к делу в качестве обвиняемого... Относительно же Л. Н-ча было признано, что следователь привлек его к делу "по ошибке", что подписка о невыезде была взята тоже "ошибочно", равно как и самый штраф был наложен "по ошибке" же... Впоследствии оказалось, что управляющий имением был привлечен к делу зря, и оно, в конце концов, прекращено, — под большой шум, поднятый газетами того времени.

Об этом событии рассказывает в своих воспоминаниях о Льве Николаевиче кн. Д. Д. Оболенский, добавляя некоторые интересные подробности:

"Однажды Л. Н. Толстой опоздал на сборный пункт охоты, который был у меня в Шаховском (имение мое в 35 верстах от Ясной Поляны), и приехал крайне расстроенный: оказалось, что судебный следователь в это утро допрашивал его в качестве обвиняемого за неосторожное держание скота, так как его бык забодал пастуха, и следователь обязал Толстого невыездом из Ясной Поляны, т. е. отчасти лишил его свободы. Как человек горячий, Л. Н-ч был крайне возмущён действиями следователя, который всего несколько

дней перед этим найденное мертвое тело какого-то неизвестного отвез в ближайшую усадьбу какой-то

помещицы и стал мертвого вскрывать у нее на террасе. Лев Николаевич никак не мог успокоиться, ибо считал себя страшно стесненным подпискою, которую с него требовали, о невыезде. "Одного яснополянского крестьянина полтора года следователь продержал в остроге по подозрению в краже коровы, а после оказалось, что украл не он, — рассказывал Л. Н-ч. — Так и меня продержат теперь год. Это бессмысленно, это полнейший произвол этих господ. Я все продам в России и уеду в Англию, где есть уважение к личности всякого человека, а у нас всякий становой, если ему не кланяются в ноги, может сделать величайшую пакость". Самарин живо возражал Л. Н-чу, доказывая, что не только смерть человека, но и увечье, ему причиненное, настолько серьезный факт сам по себе, что не может остаться необследованным со стороны судебных властей, как в данном случае. Спорили долго, и, кажется, Самарин переубедил Толстого, который, ложась спать, мне сказал: "Удивительная способность П. Ф. Самарина успокаивать людей".

Наконец сам Л. Н-ч пишет об этом П. Страхову:

15 сентября 1872. Ясная.

"Вы, верно, сердитесь и досадуете на меня, дорогой Николай Николаевич, и имеете полное право, за то, что я не ответил, не посылал денег и не посылаю арифметики 4-й книги. Я виноват, но вы не можете себе представить, до чего я расстроен и взволнован все эти дни. Случилось во время моего отсутствия в Самаре, что молодой бык убил насмерть пастуха. И я узнал, что такое наши суды и под каким дамокловым мечом мы все живем. Я под

следствием, связан подпиской не выезжать из дома. Тут же мне привелось быть присяжным, и вы не можете себе представить всех мелких мерзостей, которые мне делает суд, и признаюсь, как это ни стыдно, что я еще не дошел до положения Аксенова. Может быть, дойду, когда меня посадят в острог, что очень возможно, но теперь я раздражен так, что болен физически и нравственно, и не могу ни о чем думать, кроме как о том, за что мучают человека, который всех оставляет в покое и только об одном и просит, чтобы его оставили в покое. Теперь я так раздражен, что решил уехать в Англию и продать все, что имею в России. Не буду описывать вам всего. Это скучно и меня раздражает".

Как всякий вспыльчивый человек, Л. Н-ч был отходчив. Через неделю он пишет тому же Страхову уже более спокойное письмо:

23 сентября 1872. Ясная.

"Тревога моя понемногу утихла. Я могу уже без злости любоваться на полноту того безобразия, которое называют самая жизнь. Можете себе представить, что меня промучили месяц, и до сих пор подписка о невыезде не снята, и нашли, что кто-то (следовательно) ошибся, что точно это дело до меня не касается и что если вместо того, чтобы по закону кончить всякое дело в 7-дневный срок, идет дело 2-й месяц и еще не кончилось, то это "маленькое несовершенство, свойственное человечеству". Точно как бы приставленный дворник убил бы своего хозяина и все дворники побили бы тех, кого они приставлены беречь, и сказали бы: что же делать, человеческое несовершенство.

Я было начал писать статью, но бросил: совестно сердиться на такую очевидно сознательную и самодовольно глупую и смешную штуку, т. е. все это

правосудие. В Англию тоже не еду, потому что дело не дошло до суда. А я решил, что в случае суда уеду, и уехал бы. Все расскажу вам — Бог даст".

В ноябре Л. Н-ч уже настолько успокоился, что мог написать Фету такое шуточное стихотворение:

Как стыдно луку перед розой,
Хотя стыда причины нет,
Так стыдно мне ответить прозой
На вызов ваш, любезный Фет.

Итак, пишу впервой стихами,
Но не без робости, ответ.
Когда? куда? решайте сами,
Но заезжайте к нам, о Фет!

Сухим доволен буду летом,
Пусть погибают рожь, ячмень.
Коль побеседовать мне с Фетом
Удастся вволю целый день.

Заботливы мы слишком оба,
Пускай в грядущем много бед,
Своя довлеет дневи злоба -

Так лучше жить, любезный Фет.

"Без шуток, пишите поскорее, чтобы знать, когда выслать за вами лошадей. Ужасно хочется вас видеть".

В ноябре же вышла "Азбука", и вскоре Н. Н. Страхов, освободившись от этого огромного труда, мог посетить Льва Николаевича, который уже давно звал его и ждал к себе.

В письме гр. С. А. к сестре ее Т. А. Кузминской от 14 ноября есть короткая заметка: "Был у нас Страхов, прожил 5 дней; с ним было приятно, он так умен и образован".

В письмах Л. Н-ча заметно, что это посещение оставило глубокий след. Мы воспользуемся этим поводом, чтобы сказать несколько слов об отношениях этих двух друзей, по характеру своему столь отличных друг от друга. Из приведенных нами цитат в обзоре критической литературы "Войны и мира" можно видеть то безмерное уважение, которое питал Страхов к Л. Н-чу. Н. К. Михайловский, говоря о Страхове, замечает, что он не может себе вообразить Страхова рядом с Толстым иначе как коленопреклоненным. И действительно, Страхов безмерно уважал и искренно любил Л. Н-ча. Михайловский, несмотря на эту шутку, отдает дань уважения Н. Н. Страхову, признает в нем проницательный критический ум и даже называет его в одном месте "русским Ренаном".

Из писем Л. Н-ча к Страхову видно отношение Толстого к этому еще так мало оцененному мыслителю. После

одного из посещений Страховым Ясной Поляны Лев Николаевич писал ему, между прочим, следующее:

"Знаете ли, что меня в вас поразило более всего? Это выражение вашего лица, когда вы раз, не зная, что я в кабинете, вошли из сада в балконную дверь. Это выражение, чуждое, сосредоточенное и строгое, объяснило мне вас (разумеется, с помощью того, что вы писали и говорили). Я уверен, что вы

предназначены к чисто философской деятельности. Я говорю "чисто" в смысле отрешения от поэтического, религиозного объяснения вещей. Ибо философия чисто умственная есть уродливое западное произведение, и ни грек Платон, ни Шопенгауэр, ни русские мыслители не понимали ее так. У вас есть одно качество, которое я не встречал ни у кого из русских: это — при ясности и краткости изложения мягкость, соединенная с силой: вы не зубами рвете, а мягкими сильными лапами. Я не знаю содержания вашего предполагаемого труда, но заглавие мне очень нравится, если оно определяет содержание в общем смысле. Но да не будет это статья, но, пожалуйста, сочинение. Но бросьте развратную журнальную деятельность. Я вам про себя скажу: вы, верно, испытываете то, что я испытывал тогда, когда жил, как вы (в суете), что изредка выпадают в месяцы часы досуга и тишины, все время которых вокруг тебя устанавливается понемногу ничем не нарушимая своя собственная атмосфера, и в этой атмосфере все жизненные явления начинают размещаться так, как они должны быть и суть

для тебя, и чувствуешь себя и свои силы, как измученный человек после бани. И в эти-то минуты для себя (не для других) истинно хочется работать и бываешь счастлив одним сознанием себя и своих сил, иногда и работы. Это-то чувство вы, я думаю, испытываете, и нередко, и я прежде, теперь же это мое нормальное положение, и только изредка я испытываю ту суету, в которой и вы меня застали и которая только изредка перерывает это состояние. Вот этого-то я бы желал вам".

В своё посещение в ноябре 1872 года Н. Н. Страхов привёз Л. Н-чу свою вновь вышедшую книгу "Мир как целое" и оставил Льву Николаевичу для прочтения. Л. Н-ч внимательно прочел ее и написал автору следующее критическое письмо:

12 ноября 1872 года.

"Дорогой и многоуважаемый Николай Николаевич!

Все время после вашего отъезда (4 дня) занимался исключительно вами, читал вашу книгу. И хоть, может быть, вовсе вам не нужно мое мнение, она произвела на меня такое сильное действие, что я чувствую потребность написать вам о ней. Я читал ее и не мог оторваться, и читал внимательно, с карандашом — делал отметки там, где был поражен, и перечитывал те места. Общее впечатление: 1) Я узнал много нового и не случайного, того самого, что нужно знать. 2) Много вопросов, смутно представляющихся мне, поставлены и разрешены ясно, ново и сильно. (Мне совестно вспоминать о том, как я попал на легкое мнение об этой книге только потому, что все статьи уже напечатаны. Я сделал ложнейшее

заключение: было напечатано. Ничего не слышно было, стало быть, ничего особенного. Как сильны привычки!) 3) Много, ужасно много вопросов неразрешенных. Чувствуется, в каком смысле должен разрешить их автор, и боишься за него. 4) Неприятное впечатление неровности тона и даже некоторой непоследовательности предметов всей книги. — Поймите меня. Есть такая глубина и ясность во многих местах, что она указывает на необходимую строгую последовательность в мирозерцании автора, а от этой последовательности отступает книга. Теперь частности — 1, 2, 3, 4, 5 письма. Все прекрасно, но в 5 письме, стр. 75 и 74, автор говорит о духе, о том, что постижение должно быть начато с духа. Почему? Человек отличается от остального мира, на мои глаза, вовсе не духом, который я совершенно не понимаю, но тем, что он судит о самом себе, когда судит о чело-

веке, и судит не о себе, когда судит о вещах. Судить о самом себе, вернее — иметь себя предметом своим, мы называем сознание. Поэтому разница должна быть резкая, но она основана не на объективном чем-то — духе, но на том отношении, в котором стоит человек к предметам вне себя и в себе. С выводом я согласен, что человек должен начинать постижение с себя, а не с вне себя, но не согласен с объективным духом, противопоставляемым объективному миру как какой-то дух. И не согласен потому, что дальше различие это становится существенным. Далее, на 76-й стр., отличая круговорот от жизни, автор опровергает смешение этих двух понятий не

духом, а сознанием жизни. И это место прекрасно. Вся эта глава прекрасна, но на 89 стр. и до конца опять являются понятия, вытекающие только из веры в дух — совершенствование. Для сознания человека, т. е. для мысли человека, устремленной на самого себя, может быть совершенство только относительное, но не абсолютное. Это вопрос ужасно сложный, о котором я жалею, что не поговорил с вами. В письме невозможно сказать. Попробую коротко сказать свои убеждения. Совершенство зоологическое, на котором вы настаиваете, даже умственное, которое вытекает из зоологического, есть совершенство только относительное, вытекающее из того, что человек сам на себя смотрит. Муха — такой же центр и апогей всего создания. Но есть совершенство нравственное, религиозное (буддизм, христианство), которое ничем не доказывается, которое несомненно и которое даже не может быть сравниваемо ни с чем, почему не может быть называемо совершенством (понятие совершенства вытекает из понятия степеней), короче, это — понятие добра. И понятие это таково, что нельзя про него сказать, что оно есть больше или меньше, что оно есть у человека, но его нет у животных. — Оно есть у человека, оно — сущность всей жизни, и потому его не может быть ни больше, ни меньше. В 4-м письме, стр. 92, 93, вы прекрасно говорите о непогрешимости ума, убеждений. Я представляю вместо ума убеждения, сознание жизни, которого сущность есть добро. Следовательно, чем более сознана эта сущность, тем она более совершенна. Прекрасно об инфузориях (98 стр.), прекрасно проведено понятие организма из совершенствования и о смерти, но посылка, что цель человеческой жизни есть совершенствование, совпадающее с совершенствованием

организма, умаляет значение человеческой жизни. И факт недовольства жизнью, выражающийся не в одних поэтах, но в миллионах людей (христианство, буддизм), есть факт, который нельзя объяснить заблуждением. Он имеет самый законный корень. Он имеет основанием сущность жизни. И как объяснение и материалистов недостаточно (что и доказывает автор) именно потому, что они упускают из расчета способность сознания (духа), так и объяснение автора недостаточно, потому что он упускает из виду сущность жизни. Письмо 8-е прелестно, особенно кристаллы: это гениальное определение основ деления на неорганическое, органическое и животное. Письмо 9-е мне все не нравится и по форме, и по содержанию, я бы его все выбросил. Жители планет и птицы не нравятся, несмотря на обилие интересных данных, с вашей ясностью и умелостью изложенных, не нравятся жители планет и по содержанию, и обе главы — по совершенно другому и нестроному тону. Чем отличается человек от животного, — эти две главы опять прежний тон и опять превосходны. Мысль о пределе поразительна. Опровержение мнимого места человека, даваемого натуралистами, превосходно. Я только для своего удобства подставляю: натуралисты хотят найти место человеку, не пользуясь сознанием, т. е. взглядом на самого себя. Точно так, как (грубое сравнение) я

бы захотел узнать своё место в комнате, измерив расстояние между всеми предметами в комнате, а не от себя до предметов. Вторая часть, насколько могу судить,

вся превосходная. Я нашел в ней в первый раз ясное изложение смысла физики и химии. Я нашел с ясностью (будто бы), легкостью разрешенными часть тех сомнений и вопросов, которые занимали меня, но, кроме того, я нашел ясное указание на точно существенное в этих науках. Эта вся часть исчерчена мною карандашом, и не знаю, что лучше.

Поразительнее же всего для меня не только критика химии, но и изложение возможно нового взгляда. Прекрасно тоже объяснение сущности материалистического взгляда, состоящего в представлении. Два только пятна нашел я в этом солнце. И все это Гегель. На 380 стр. выписка из Гегеля, которая, может быть, прекрасна, но в которой я не понимаю, прочтя несколько раз, ни единого слова. Эта моя судьба с Гегелем и на стр. 451: "Чистая мысль эфирна" и т. д. до точки. Я ничего не понимаю. Менее всего понимаю, как с вашей ясностью может уживаться этот сумбур. Не знаю, пошлю ли это письмо. Во всяком случае скажу, что хотел сказать. Мое мнение о вас очень высоко, но я не совсем доверял ему (я боялся, что подкуплен), но теперь, по прочтении вашей книги, я не имею более недоверия, и мнение о вашей силе еще увеличилось. Дай вам бог спокойствия и духовного досуга.

Вы бы меня очень порадовали, если бы написали мне так же искренно, как я вам, своё мнение о моей критике вашей книги".

Осенью 1873 года был сделан первый живописный портрет со Льва Николаевича художником Крамским.

Еще в 1869 году Фет написал Льву Николаевичу, прося позволить списать с него портрет. На это Л. Н-ч отвечал ему:

"Насчёт портрета я прямо говорил и говорю: нет. Если это вам неприятно, то прошу прощения. Есть какое-то чувство сильнее рассуждения, которое мне говорит, что это не годится".

Художнику Крамскому, которому Третьяков поручил сделать портрет Л. Н-ча в 1873 г., предстояла трудная задача.

С. А. Берс рассказывает о том, каким путем Крамскому удалось это сделать:

"Лев Николаевич не любил фотографию, очень редко снимался и сам уничтожал потом негатив. Он предпочитал самого плохого художника самой лучшей фотографии.

Известному портретисту Крамскому было поручено, если не ошибаюсь, г. Третьяковым написать портрет Льва Николаевича. Знаменитый художник тщетно разыскивал его фотографию. По скромности он не решался просить сеанса, потому что не был знаком и слышал о замкнутой жизни в Ясной Поляне. Тогда он поселился в пяти верстах от Ясной Поляны на даче, мимо которой Лев Николаевич иногда проезжал верхом. Тут он и возымел намерение написать портрет его в кафтане на лошади. Вскоре все это обнаружилось, и он был любезно приглашен в Ясную Поляну".

Лев Николаевич в письме к Фету, которому он раз уже отказал, как бы извиняется, что согласился на этот раз.

25 сентября 1873 года он пишет:

"У меня каждый день, вот уже с неделю, живописец Крамской делает мой портрет в Третьяковскую галерею, и я сижу и болтаю с ним и из петербургской стараюсь

обращать в крещеную веру. Я согласился на это, потому что сам Крамской приехал, согласился сделать другой портрет очень дешево для нас, и жена уговорила".

Гр. С. А. сообщает об этом в письме к своей сестре Т. А. следующие подробности:

"У нас теперь всякий день бывает художник, живописец Крамской, и пишет два Левочкиных портрета масляными красками. Ты, верно, прежде слышала, что Третьяков собирает галерею портретов русских замечательных людей. Он давно присылал просить позволить списать с Левочки портрет, но он не соглашался. Теперь же сам живописец уговорил, и Левочка согласился с тем, чтобы он взял на себя заказ портрета другого, который остается у нас и будет стоить около 250 руб. Теперь пишутся оба сразу и замечательно похожи, смотреть страшно даже".

С конца 1873 г. наступает скорбный период в Ясной Поляне, продолжавшийся два года и принесший семейству Толстых пять смертей.

18 ноября умер маленький мальчик Петя, полуторагодовалый ребенок.

А. Н-ч писал об этом Фету:

"У нас горе: Петя меньшей заболел крупом и в два дня умер. Это первая смерть за 11 лет в нашей семье, и для жены очень тяжелая. Утешаться можно, что если бы выбирать одного из нас восьмерых, эта смерть легче всех и для всех, но сердце, и особенно материнское — это

удивительное высшее проявление божества на земле, — не рассуждает, и жена очень горюет".

Мы не можем удержаться, чтобы не привести здесь и письма гр. С. А. к ее сестре Т. А. о том же событии:

"9 ноября умер у нас маленький Петя болезнью горла. Что это было, бог знает! Более всего похоже на круп. Началось хрипотой, которая усиливалась все более и через двое суток унесла его. Последний час хрипота уменьшилась и, наконец, лежа в постельке, не просыпаясь, не метаясь даже, тихо, как будто заснул, умер этот веселый, толстенький мальчик и остался такой же полный, кругленький и улыбающийся, каким был прежде.

Страдал он, кажется, мало, спал много во время болезни, и не было ничего страшного, ни судорог, ни мучений, и за то слава богу. И даже и то я считаю милостью, что умер меньшей, а не один из старших. Нечего вам говорить, до чего все-таки тяжела эта потеря. Вы испытали хуже и знаете всю боль, какую испытываешь, когда отрывается от своей жизни частица, ничем не заменимая. Прошло уже десять дней, а я хожу все как потерянная, все жду услышать, как бегут быстрые ножки и как кличет его голосок меня еще издалека. Ни один ребенок не был ко мне так привязан и ни одни не сиял таким весельем и такой добротой. Во все грустные часы, во все минуты отдыха после ученья детей я брала его к себе и забавлялась им, как никем из других детей не забавлялась прежде. И теперь все осталось, но пропала вся радость, все веселье жизни... И пошла опять теперь наша жизнь по-старому, и только для меня одной потух радостный свет в нашем доме — свет, который давал мне веселый, любящий добряк Петя и которым освещались все мои самые грустные минуты".

И вот, только что успела семья Толстых оправиться от этого горя, как постигло их новое горе, хотя и не столь острое. 20 июня 1874 г. тихо отошла в вечность любимая всеми и всех любившая тетушка Л. Н-ча, Татьяна Александровна Ергольская.

Мы уже приводили в воспоминаниях Льва Николаевича его описание последних дней жизни, смерти и похорон ее. Через два дня после похорон Л. Н-ч писал об этом Фету:

405

Мы третьего дня похоронили тетушку Татьяну Александровну. Она медленно и равномерно умирала, и я привык к умиранию ее, но смерть ее была, как и всегда смерть близкого и дорогого человека, совершенно новым, единственным и неожиданно-поразительным событием. Остальные здоровы и дом наш так же полон".

И вот опять через полгода, в феврале 1875 года, умирает 10-месячный ребенок Николушка.

"У нас горе за горем; вы с Марьей Петровной, верно, пожалеете нас, главное Соню. Меньшой сын, 10-ти месяцев, заболел недели три тому назад той страшной болезнью, которую называют головною водянкой, и после страшных 3-недельных мучений третьего дня умер, а нынче мы его схоронили. Мне это тяжело через жену, но ей, кормившей самой, было очень трудно".

"Да, ей действительно было трудно. Описывая в письме к своей сестре со всеми подробностями, от чтения которых сжимается сердце, всю эту непонятную по своим мучительным страданиям смерть и похороны с зимней вьюгой, она заключает свое описание словами:

"Теперь, Таня, я свободна, но как тяжела мне эта свобода, как я чувствую себя потерянной, ненужной, ты себе представить не можешь. Этого мальчика я любила за двух: и за умершего Петю, и за него самого. С какой любовью и старанием я выхаживала его, и наряжала, и радовалась на него, и все его воспитание я вела добросовестнее, чем всех других. Но мне часто казалось, что он жив не будет, — я всегда говорила: нет, и этот не настоящий".

Большая часть 1875 года прошла благополучно; мы уже знаем, что летом вся семья ездила в самарское имение, где были башкирские скачки, и вообще старые горести стали понемногу сглаживаться. Но в конце ноября Софья Андреевна, заразившись от детей коклюшем, преждевременно родила девочку, которая через полчаса умерла. Конечно, эта маленькая смерть не произвела на окружающих большого впечатления. Но вот через месяц, 22 декабря, еще новая смерть — тетушки Пелагеи Ильинишны Юшковой.

Хотя с этой тетушкой и не было столь нежных отношений, но сила привычки, воспоминания юности, проведенной в ее доме, наконец, ее постоянная жизнь последние два года в семье Толстых, — все это заставило еще раз перечувствовать все жало смерти и наложило новую тень грусти на этот жизнерадостный в обычное время яснополянский семейный кружок.

ГЛАВА 12.

Продолжение

1876 год начинается тоже невесело.

1 марта Л. Н-ч пишет Фету:

"...У нас все не совсем хорошо. Жена не оправляется с последней болезни, кашляет, худеет, — то лихорадка, то мигрень. А потому и нет у нас в доме благополучия и во мне душевного спокойствия, которое мне особенно нужно теперь для работы. Конец зимы и начало весны всегда мое самое рабочее время..." (1)

(1) А. Фет. "Мои воспоминания", т. II, с. 313.

Мы знаем, что в этот период начавшихся уже в нем религиозных исканий Л. Н-ч увлекался музыкой, вероятно, находя в ней некоторое успокоение.

К этому же году следует отнести знакомство Л. Н-ча с одним замечательным русским человеком, известным композитором Петром Ильичем Чайковским. Хотя знакомство это и было непродолжительно и не дало видимых результатов, но мы полагаем, что невидимые результаты были и, кроме того, в сношениях этих двух людей были характерные для них обоих черты, которые мы и приведем здесь, заимствуя их из дневника и писем П. И. Чайковского, изданных его братом М. И. Чайковским.

Вот как рассказывает П. И. о своем знакомстве со Л. Н-чем в Москве в своем письме к А. Давыдовой от 23 декабря 1876 г.:

"На днях здесь провел несколько времени граф Л. Н. Толстой. Он у меня был несколько раз, провел два

целых вечера. Я ужасно польщен и горд интересом, который ему внушаю, и со своей стороны вполне очарован его идеальной личностью".

Брат П. И. комментирует так эти сведения:

"Еще молодым правоведом, с первого появления в печати произведений Льва Николаевича Толстого, Петр Ильич полюбил этого писателя больше всех остальных. Любовь эта росла по мере возрастания значительности творений великого романиста и обратилась в настоящий культ этого имени. Впечатлительности и воображению Петра Ильича свойственно было всему, что он любил, но чего, так сказать, не осязал, придавать фантастические размеры, поэтому творец "Детства" и "Отрочества", "Казаков" и "Войны и мира" ему представлялся не человеком, а, по его выражению, "полубогом". В то время личность Льва Николаевича, его биография, частная жизнь, даже портреты почти не были известны массе, и это обстоятельство еще больше способствовало представлению Петра Ильича о нем, как о существе почти волшебном. И вот этот таинственный чародей вдруг спустился с недостижимых своих высот и первый пришел протянуть ему руку".

"Когда я познакомился с Толстым, — говорит Петр Ильич десять лет спустя в дневнике 1886 г., — меня охватил страх и чувство неловкости перед ним. Мне казалось, что этот величайший сердцеведец одним взглядом проникнет во все тайники моей души. Перед ним, казалось мне, уже нельзя скрывать всю дрянь, имеющуюся на дне души, и выставять лишь казовую сторону.

Если он добр (а таким он должен быть, конечно), думал я, то он деликатно, нежно, как врач, изучающий рану и

знающий все наиболее болезненные места, будет избегать задеваний и раздражать их, но тем самым и даст мне почувствовать, что ничего для него не скрыто. Если он не особенно жалостлив, он прямо пальцем ткнет в центр боли. И того, и другого я страшно боялся. Но ни того, ни другого не было. Глубочайший сердцеведец в писании оказался в своем обращении с людьми простой, цельной, искренней натурой, весьма мало обнаруживающей то всеведение, которого я боялся; он не избегал задеваний, но и не причинял намеренной боли. Видно было, что он совсем не видел во мне объекта для своих наблюдений, просто ему хотелось поболтать о музыке, которую он в то время интересовался. Между прочим, он любил отрицать Бетховена и прямо выражал свое сомнение в его гениальности. Это уже черта, совсем не свойственная великим людям. Низводить до своего непонимания всеми признанного гения — свойство ограниченных людей".

Но Лев Толстой не только хотел "поболтать о музыке" с Петром Ильичом. Он также хотел высказать ему тот интерес, который ему внушили его

композиции. Польщённый, по собственным словам, "как никогда в жизни", Пётр Ильич просил Н. Рубинштейна устроить в консерватории музыкальный вечер исключительно для великого писателя. На этом вечере, между прочим, было исполнено анданте из D-дурного квартета, и при звуках его Лев Николаевич разрыдался при всех. "Может быть, никогда в жизни я не был так польщен, — говорит Петр Ильич в том же дневнике, — и

тронут в моем авторском самолюбии, как когда Лев Толстой, слушая анданте моего квартета и сидя рядом со мною, залился слезами" (1).

(1) "Жизнь П. И. Чайковского", т. I, с. 519.

А. Н-ч, всегда в своём сердце и мыслях носивший желание послужить развитию самобытных народных сил, сам много потрудившись для этого, искал и в других сильных людях сотрудников себе в этом деле. И вот, познакомившись с Чайковским и оценив силу его таланта, он захотел и его притянуть к дорогому для него делу народного искусства.

Результатом этого желания была посылка Чайковскому сборника записанных народных песен при следующем письме:

"Посылаю вам, дорогой Пётр Ильич, песни. Я их еще пересмотрел. Это удивительное сокровище в ваших руках. Но, ради бога, обработайте их и пользуйтесь в моцартовско-гайдовском роде, а не в бетховено-шумано-берлиозо-искусственном, ищущем неожиданного, роде. Сколько я не договорил с вами! Даже ничего не сказал из того, что хотел. И некогда было. Я наслаждался. И это мое последнее пребывание в Москве останется для меня одним из лучших воспоминаний. Я никогда не получал такой дорогой для меня награды за мои литературные труды, как этот чудный вечер. И какой милый Рубинштейн! Поблагодарите его еще раз за меня. Он мне очень понравился. Да и все эти жрецы высшего в мире искусства, заседавшие за пирогом, оставили во мне такое

чистое и серьезное впечатление. А уж о том, что происходило для меня в круглой зале, я не могу вспомнить без содрогания. Кому из них можно послать мои сочинения, т. е. у кого нет их и кто их будет читать?

Вещи ваши не смотрел, некогда, примусь, буду, нужно ли вам или не нужно, писать свои суждения, потому что я полюбил ваш талант. Прощайте, дружески жму вашу руку.

Ваш Лев Толстой.

Про какой портрет мне говорил Рубинштейн? Ему я рад прислать, попросив его о том же, но для консерватории это что-то не то..."

На это письмо П. И. Чайковский отвечал А. Н-чу так:

"Граф! Искренно благодарен вам за присылку песен. Я должен вам сказать откровенно, что они записаны рукой неумелой и носят на себе разве лишь одни следы своей первобытной красоты. Самый главный недостаток — это, что они втиснуты искусственно и насильственно в правильный, размеренный ритм. Только плясовые русские песни имеют ритм с правильным и равномерным акцентированным тактом, а ведь былины с плясовой песнью ничего общего иметь не могут. Кроме того, большинство этих песен, и тоже, по-видимому, насильственно, записано в торжественном Д-дуре, что опять-таки не согласно со строем настоящей русской песни, почти всегда имеющей неопределённую

тональность, ближе всего подходящую к древним церковным ладам. Вообще присланные мне вами песни не могут подлежать правильной и систематической обработке, т. е. из них нельзя сделать сборника, так как для этого необходимо, чтобы песнь была записана, насколько возможно, согласно с тем, как её исполняет народ. Это необычайно трудная вещь и требует самого тонкого музыкального чувства и большой музыкально-исторической эрудиции. Кроме Балакирева и отчасти Прокунина, я не знаю ни одного человека, сумевшего быть на высоте своей задачи. Но материалом для симфонической разработки ваши песни служить могут и даже очень хорошим материалом, которым я непременно воспользуюсь так или иначе.

Как я рад, что вечер в консерватории оставил в вас хорошее воспоминание. Наши квартетисты играли в этот вечер как никогда. Вы можете из этого вывести заключение, что пара ушей такого великого художника, как вы, способна воодушевить артиста во сто раз больше, чем десятки тысяч ушей публики.

Вы — один из тех писателей, которые заставляют любить не только свои сочинения, но и самих себя. Видно было, что, играя так удивительно хорошо, они старались для очень любимого и дорогого человека. Что касается меня, то я не могу выразить, до чего я был счастлив и горд, что моя музыка могла вас тронуть и увлечь.

Я передам ваше поручение Рубинштейну, как только он приедет из Петербурга. Кроме Фитценгагена, не читающего по-русски, все остальные, участвующие в квартете, читали ваши сочинения. Я полагаю, что они вам будут очень благодарны, если вы пришлете каждому из них какое-нибудь сочинение.

Что касается до меня, то я бы просил вас подарить мне "Казаки", если не теперь, то в другой раз, когда вы опять побываете в Москве, чего я буду ожидать с величайшим нетерпением.

"Если вы будете посылать портрет Рубинштейну, то и меня не забудьте".

На этом прекратились навсегда отношения А. Толстого и П. Чайковского.

"Странно сказать, — продолжает свой рассказ брат П. И-ча, — но случилось это если не по инициативе, то вполне согласно с желанием самого Петра Ильича. Из конца вышеприведенного дневника внимательный читатель заметит, что сближение это привело к некоторого рода разочарованию со стороны последнего. Ему было неприятно, что "властитель его дум", существо, умевшее поднимать из глубочайших недр его души самые чистые и пламенные восторги, говорит иногда "обыкновенные вещи, и притом недостойные гения". Не знать, не видеть этих будничных и мелких черт в образе, который он в воображении своем украсил всеми добродетелями и достоинствами, было отраднее. Петр Ильич слишком привык поклоняться своему кумиру издали, для того чтобы сохранить нетронутым свой культ, держа своего божка в руках и рассматривая как и из чего он сделан, какие имеет недостатки. Петру Ильичу было больно при ближайшем знакомстве потерять веру в него, разлюбить его творения, доставлявшие столько светлых и радостных минут высокого настроения. Он сам говорил мне, что, несмотря на всю гордость и счастье, которое он испытал при этом знакомстве, любимейшие произведения Толстого временно утратили для него свое очарование.

"Анна Каренина", которая вскоре после стала появляться в "Русском вестнике", сначала решительно не нравилась ему, и в сентябре 1877 г. он писал мне:

"После твоего отъезда я еще кое-что прочел из "Анны Карениной". Как тебе не стыдно восхищаться этой возмутительной пошлой дребеденью, прикрытой претензией на глубину психического анализа? Да черт его побери, этот психический анализ, когда в результате остается впечатление пустоты и ничтожества, точно будто присутствовал при разговоре Alexandrine Долгоруковой с Ник. Дм. Кондратьевым о разных Китти, Алинах и Лили... Что интересного в этих барских тонкостях?"

Но само собою разумеется, стоило Петру Ильичу перечитать роман, когда он вышел целиком, чтобы эта бутада заставила его покраснеть, и "Анна Каренина" стала в его мнении наряду со всем великим, что Л. Н. Толстой написал до этого.

Говорил Петр Ильич также, что, кроме этого разочарования в личности, тяготило его еще и то, что, несмотря на простоту, ласковость и прелесть обращения Льва Николаевича, он смущал его. Из желания понравиться, угодить, из жажды и вместе с тем из страха выразить чувство поклонения и восторга, Петр Ильич признавал, что становился "сам не собою" в присутствии своего собеседника, невольно то рисовался, то, наоборот, таил очень искренние порывы, боясь покоробить "сердцеведа", показаться ему искусственным. Словом, Петр Ильич чувствовал, что все время играет какую-то

роль, а это всегда было источником самых тяжелых ощущений для его правдивой натуры. Результатом всего этого было, что Петр Ильич стал "бояться" встреч со Львом Николаевичем и, вернув свое божество на подобающее ему место священной таинственности и неприступности, остался поклонником его до смерти".

Религиозным взглядам Л. Н-ча Чайковский не сочувствовал. Это может показаться странным, читая такое правдивое и серьезное выражение религиозных взглядов Чайковского, которое мы находим в его письме из Кларана к Н. Ф. фон Мекк от 30 октября 1877 г.:

"Нужно вам сказать, что относительно религии натура моя раздвоилась, и я еще до сих пор не могу найти примирения. С одной стороны, мой разум упорно отказывается от признания истины догматической стороны как православия, так и всех других христианских исповеданий. Например, сколько я ни думал о догмате возмездия и награды, смотря по тому, хорош или дурен человек, я никогда не мог найти в этом веровании никакого смысла... Как провести резкую границу между овцами и козлищами? за что награждать, да и за что казнить? Столь же недоступна моему разумению и твердая вера в вечную жизнь. В этом отношении я совершенно пленен пантеистическим взглядом на будущую жизнь и на бессмертие...

С другой стороны, воспитание, привычка с детства, вложенные поэтические представления о всем, касающемся Христа и его учения, — все это заставляет меня невольно обращаться к нему с мольбою в горе и с благодарностью в счастье".

Но, вдумываясь в эти выражения, мы поймем, конечно, что именно эта некоторая близость, но нерешительность и

вместе с тем искренность П. И-ча и не позволяли ему дать себя привести к вере авторитетным голосом Л. Н-ча. Он искал своего решения. Мы не знаем, нашел ли он его и с каким чувством перешел в иную жизнь.

1877 год начался опять беспокойно для Л. Н-ча вследствие продолжавшейся болезни Софьи Андреевны. У ней появились признаки какой-то серьезной внутренней болезни, и она решила поехать в Петербург для совета с Боткиным. К общей радости всей семьи Боткин не нашел ничего опасного, и графиня благополучно возвратилась домой.

13 апреля 1877 года была объявлена война Турции. На этот раз Л. Н-ч остался сторонним зрителем, с отрицательной критической оценкой событий, которые тем не менее сильно волновали его.

15 апреля гр. С. А. писала своей сестре:

"Левочка странно относился к сербской войне; он почему-то смотрел не так, как все, а со своей личной, отчасти религиозной точки зрения; теперь он говорит, что война настоящая и трогает его".

Мы знаем уже из эпилога "Анны Карениной" отрицательное отношение Л. Н-ча к добровольческому движению.

В ноябре 1876 года он пишет Фету:

"Ездил я в Москву узнавать про войну. Все это волнует меня очень. Хорошо тем, которым все это ясно, но мне странно становится, когда я начинаю вдумываться во всю сложность тех условий, при которых совершается история,

как дама какая-нибудь А-ва, со своим тщеславием и фальшивым сочувствием чему-то неопределенному, оказывается нужным винтиком во всей машине".

Через четыре месяца русско-турецкой войны, в августе, Л. Н-ч писал Страхову:

"И в дурном, и в хорошем расположении духа мысль о войне застилает для меня все. Не война самая, но вопрос о нашей несостоятельности, который вот-вот должен решиться, и о причинах этой несостоятельности, которые мне становятся все яснее и яснее. Нынче Степа разговаривал с Сергеем (1) о войне, и Сергей сказал: 1) что на войне хорошо молодым солдатам попользоваться насчет турчанок, и когда Степа сказал, что это нехорошо, он сказал: да что, ведь ей ничего не убудет. Черт с ней. — Это говорит тот Сергей, который сочувствовал сербам и которого приводят в доказательство народного сочувствия. А задушевная мысль о войне только турчанка, т. е. разнузданность животных инстинктов. 2) Когда Степа рассказал, что дела идут плохо, он сказал, что ж не возьмут Михаила Григорьевича Черняева (он знает имя и отчество), он бы их размайорил. Турчанка и слепое доверие к имени новому народному. Мне кажется, что мы находимся на краю большого переворота. Пишите мне, пожалуйста, о том, что делается и говорится в Петербурге".

(1) Прислуга в доме Л. Н-ча.

В Тулу, как и в другие города, стали приходить пленные турки. Л. Н-ч ездил к пленным, помещавшимся на окраине Тулы, на бывшем сахарном заводе. Помещение и содержание их было сносно, но Л. Н-ча интересовало

больше всего их душевное состояние, и он спросил, есть ли у них коран и кто мулла, и тогда они окружили его, завязалась беседа, и оказалось, что у всякого есть коран в сумочке. Л. Н-ча это очень поразило.

Летом 1877 года Л. Н-ч совершил вместе с Н. Н. Страховым свое первое путешествие в Оптиную пустынь.

Они поехали по железной дороге до Калуги, оттуда на лошадях до Оптиной пустыни и остановились в гостинице. Утром они были очень удивлены посетителями, заставшими их еще в кроватях. Это были князь Оболенский, имение которого было по соседству, и Н. Г. Рубинштейн, гостивший в то время у Оболенского. Они пригласили Л. Н-ча посетить их на обратном пути, что Л. Н-ч и исполнил. Конечно, Л. Н-ч и Н. Н. Страхов посетили старца Амвросия. Но свидание это, несмотря на то что Л. Н-ч в это время был православный, не удовлетворило ни того, ни другого. Со старцем у Л. Н-ча вышли пререкания по поводу одного евангельского текста, а Н. Н. Страхова о. Амвросий,

слышавший, что Страхов — писатель-философ, стал разубеждать насчет материализма, в чем Н. Н. совсем не был грешен.

Затем Л. Н-ч посетил архимандрита Ювеналия, бывшего гвардейского офицера Половцева; он вспомнил, что на этом свидании произошел комичный эпизод во время обычных в таких случаях разговоров: в присутствии светских гостей отец Пимен, один из старцев пустыни,

присутствовавший на этом приеме, преспокойно, сидя на стуле, уснул. Сознывая пустоту разговора, Л. Н-ч позавидовал о. Пимену, избравшему "благую часть". Впоследствии Л. Н-ч не раз вспоминал это обличительное равнодушие о. Пимена и приводил его в пример кроткого обличения мирской суеты.

Наиболее чистое, приятное впечатление оставил во Л. Н-че секретарь-келейник о. Амвросия, о. Климент, в миру Зедерхольм, умный, образованный и искренно религиозный человек.

На обратном пути Л. Н-ч вместе со Страховым посетил князя Оболенского в его имении Березино, где наслаждался прекрасной игрой Н. Г. Рубинштейна.

На другой день он тем же путем возвратился через Калугу и Тулу в Ясную Поляну.

Интересным фактом этого времени было появление в доме Л. Н-ча известного рассказчика былин, архангельского крестьянина Щегленкова, привеченного Львом Николаевичем из Москвы от профессора Тихонравова.

Л. Н-ч очень увлекался его старинным поэтическим народным языком и, кроме того, записал с его слов несколько старинных легенд, которые потом послужили для него темой, переработанной им в народных рассказах. Таковы были легенды о сапожнике Михаиле — "Чем люди живы", о трех старцах, спасавшихся на острове, и др.

Приведём теперь несколько сведений об образе жизни самого Л. Н-ча, несколько черт его характера, которые дополняют общее очертание его фигуры.

В воспоминаниях С. Берса о Льве Николаевиче находится много сведений о личной и семейной жизни Л. Н-ча. Мы берем только наиболее характерные.

Вот что говорит, между прочим, С. Берс о распределении времени дня Л. Н-ча и о его отношениях к домашним:

"Утром он приходил одеваться в свой кабинет, где я спал постоянно под гравированным портретом известного философа Шопенгауэра. Перед кофе мы шли вдвоем на прогулку или ездили верхом купаться. Утренний кофе в Ясной Поляне — едва ли не самый веселый период дня. Тогда собирались все. Оживленный разговор с шуточками Льва Николаевича и планами на предстоящий день длился довольно долго, пока он не встанет со словами "надо работать", и уходит в особую комнату со стаканом крепкого чая.

Никто не должен был входить к нему во время занятий. Даже жена никогда не делала этого. Одно время такую привилегией пользовалась старшая дочь его, когда была еще ребенком.

Откровенно говоря, я был всегда рад тем дням, когда он не работал, потому что весь день находился в его обществе.

Нельзя передать с достаточной полнотой того веселого и привлекательного настроения, которое постоянно царило в Ясной Поляне. Источником его был всегда Лев Николаевич. В разговоре об отвлеченных вопросах, о воспитании детей, о внешних событиях его суждение было всегда самое интересное. В игре в крокет, в прогулке он оживлял всех своим юмором и участием,

искренно интересуясь игрой и прогулкой. Не было такой простой мысли и самого простого действия, которым бы Л. Н-ч не сумел придать интереса и вызвать к ним хорошего и веселого отношения в окружающих.

Дети дорожили его обществом, наперерыв желали играть с ним в одной партии, радовались, когда он затеет для них какое-нибудь упражнение. Подчиняясь его влиянию и настроению, они без затруднения совершали с ним длинные прогулки, напр., пешком в Тулу, что составляет около 15 верст.

Мальчики с восторгом ездили ним на охоту с борзыми собаками. Все дети спешили на его зов, чтобы с ним делать шведскую гимнастику, бегать, прыгать, что сам он делал опять же искренно и весело, а потому и все делали так же. Зимой все катались на коньках, но с большим еще удовольствием расчищали каток от снега, потому что эта инициатива принадлежала Льву Николаевичу. Со мной он косил, веял, делал гимнастику, бегал вперегонки и изредка играл в чехарду, городки и т. д. Далеко уступая его большей физической силе, так как он поднимал до пяти пудов одной рукой, я легко мог состязаться с ним в быстроте бега, но редко обгонял его, потому что я всегда в это время смеялся. Это настроение всегда сопровождало наши упражнения. Когда нам случалось проходить там, где косили, он непременно подойдет и попросит косу у того, кто казался наиболее усталым. Я, конечно, следовал его примеру. При этом он всегда предлагал мне вопрос, отчего же мы, несмотря на хорошо развитую мускулатуру, не можем косить целую неделю подряд, а крестьянин при

этом и спит на сырой земле, и питается одним хлебом. "Попробуй-ка ты так", — заключал он свой вопрос. Уходя с луга, он вытащит из копны клочок сена и, восхищаясь запахом, нюхает его.

Лев Николаевич всегда любил музыку. Он играл только на рояле и преимущественно из серьезной музыки. Он часто садился за рояль перед тем как работать, вероятно, для вдохновения. Кроме того, он всегда аккомпанировал моей младшей сестре и очень любил ее пение. Я замечал, что ощущения, вызываемые в нем музыкой, сопровождались легкой бледностью лица и едва заметной гримасой, выражавшей нечто похожее на ужас. Почти не проходило дня летом без пения сестры и игры на рояле. Изредка пели все хором, и всегда аккомпанировал он же".

"Я видел графа Л. Н-ча Толстого, — говорит кн. Д. Д. Оболенский в своих воспоминаниях, — во всех фазисах его деятельности, творчества и никогда не прощу себе, что не записывал бесед с ним и бесед, бывших в моем присутствии. Много поучительного вынес я. Чем бы ни увлекался Лев Николаевич, все делал он с убеждением, твердо веруя в то, что делает, а увлекался он всегда вовсю. Я помню гр. Л. Н-ча светским человеком, видал его на балах, и помню как-то его замечание: "Посмотрите, сколько поэзии в бальном туалете женщины, сколько изящества, сколько мысли, сколько прелести хотя бы в приколотых к платью цветах". Я помню его страстным охотником, пчеловодом и садоводом, помню его увлечение сельским хозяйством, сажающего леса и плодовые сады, занятого коневодством и многим другим" (1).

(1) Кн. Д. Д. Оболенский. "Воспоминания", "Русский архив", 1893 г.

К семейной жизни, конечно, относится и воспитание детей. Но в этой области мы ничего не можем отметить выдающегося. Конечно, педагогические принципы Л. Н-ча не остались без влияния на первый детский период воспитания в смысле свободы, отсутствия наказаний, физических упражнений и т. д. Сам Лев Николаевич принимал участие в обучении своих детей, преподавая им арифметику, устраивая французские чтения по вечерам иллюстрированных романов Жюль Верна.

Но с увеличением числа детей, с осложнением семейной жизни постепенно воспитание и обучение сбивалось на обычные протоптанные дорожки, и влияние Л. Н-ча ослабевало. Гувернеры, гувернантки, французы, немцы, англичанки, потом гимназии, лицеи и все остальные атрибуты школьного и домашнего обучения достаточных классов. Отсутствие в этом дальнейшем воспитании влияния Л. Н-ча можно объяснить себе несколькими соображениями. Во-первых, поглощенный литературной работой, он никогда не мог поставить дело воспитания детей на первое место. Во-вторых, как раз к этому времени, т. е. ко времени подрастания старших детей до школьного возраста, во Л. Н-че стали возникать новые вопросы и сомнения о правильности своего взгляда на мир, которые не могли не отдалить его от решения текущих практических вопросов. В-третьих, наконец, быть может, несогласие в этом важном деле между мужем и женой, столь пагубно действующее на молодое поколение, заставило уступить одну сторону, чтобы дать возможность применить в известном порядке взгляды другой стороны.

Читатель поймет то деликатное положение, какое мы занимаем, рассказывая факты из личной и семейной жизни еще, к счастью, благополучно живущих супругов, и простит нас, что мы не входим в большие подробности их внутренней жизни. Подробное изображение этого есть дело будущего.

Чтобы покончить с этими чертами личного характера Л. Н-ча, укажем на те литературные произведения, которые из многого прочитанного Л. Н-чем за этот период 60-х и 70-х годов произвели на него наиболее сильное впечатление:

Название произведений:

Сила впечатления:

Одиссея и Илиада по-гречески.

Очень большое.

Былины.

Очень большое.

Ксенофонта "Анабазис".

Очень большое.

Виктор Гюго. "Misérables"

Огромное.

Miss Wood. Романы

Большое.

Заметим, что усиленное чтение древнехристианских подлинников в конце 70-х годов мы относим к следующему периоду его религиозного кризиса.

Кончая "Анну Каренину", Л. Н-ч часто в письмах и разговорах со своими друзьями жаловался на то, что он, так сказать, уже пережил свою прежнюю работу, что она тяготит его и ему хочется поскорее развязаться с ней, "опростаться" для новой работы, все более и более захватывавшей его душевные интересы.

В январе 1876 года Софья Андреевна писала сестре своей:

"Лёвочка собирается писать что-то историческое из времен Ник. Павл. и теперь читает много материалов".

Его записная книжка за 1877 год вся заполнена различными заметками под общим заглавием "К следующему после "А. Кар."

Заметки впечатлений картин природы, разных работ на деревне и в поле, черты характеров будущих героев, — все эти прелестные мимолетные наброски заставляют нас искренно пожалеть о не увидевшем свет произведении, которое должно было быть полно всяческими красотами. Интерес Льва Николаевича к эпохе царствования Николая Павловича снова вскоре сосредото-

чился на декабристах, и он скоро снова взялся за этот роман и написал два последние варианта первой главы, которые помещены в полном собрании его сочинений.

В это время Л. Н-ч снова углубился в чтение исторических материалов того времени, знакомился с людьми, помнящими то время, беседовал с участниками декабрьского дела.

В письме своем к Софье Андреевне из Петербурга в марте 1878 г. Л. Н-ч пишет:

"...Нынче был у двух декабристов, обедал в клубе, а вечер был у Бибикова, где Софья Никитична (урожд. Муравьева) мне пропасть рассказывала и показывала... Потом поехал к Свистунову, у которого умерла дочь, и просидел у него 4 часа, слушая прелестные рассказы его и другого декабриста, Беляева.

...Потом поехал к нотариусу, в библиотеку, к Страхову и в крепость".

А. Н-ч получил разрешение на осмотр Петропавловской крепости, видеть которую ему нужно было для верного описания жизни заключенных в ней декабристов.

Разрабатывая материалы николаевской эпохи, А. Н-ч наткнулся на видную фигуру графа В. А. Перовского, бывшего в царствование Николая Павловича оренбургским генерал-губернатором и пользовавшегося полным доверием царя.

А. Н-ч обратился за сведениями об этом человеке к своей тетке и другу, гр. А. А. Толстой, бывшей в переписке с Перовским и хорошо знавшей его.

В первом письме А. Н-ч пишет:

"У меня давно бродит в голове план сочинения, местом которого должен быть Оренбургский край и время Перовского. Теперь я привез из Москвы целую кучу материалов для этого. Все, что касается В. А. Перовского, мне ужасно интересно, и должен вам сказать, что это лицо как историческое лицо и характер мне очень симпатично. Что бы сказали вы и его родные? дадите ли вы и его родные мне бумаг и писем, с уверенностью, что никто, кроме меня, их читать не будет?.."

Графиня А. А. поспешила ответить А. Н-чу в желаемом для него смысле и в январе получила от него письмо, в котором он, между прочим, писал:

"Очень, очень вам благодарен за ваше обещание дать мне все сведения о Перовском... Личность его вы совершенно верно определяете *a grand traits*, таким и я его представляю себе, и такая фигура — одна, напоминающая картину. Биография его была бы груба, но с другими, противоположными ему, тонкими, мелкой работы,

нежными характерами, как, например, Жуковский, которого вы, кажется, хорошо знали, а главное, — с декабристами. Эта крупная фигура, составляющая тень (оттенок) к Николаю Павловичу, самой крупной и a grand traits фигуры, выражает вполне то время... Я теперь весь погружен в чтение из времени двадцатых годов и не могу вам выразить то наслаждение, которое я испытываю, воображая себе это время. Странно и приятно думать, что то время, которое я помню, — тридцатые годы, — уже история... так и видишь, что колебание фигур на этой картине прекращается, и все останавливается в торжественном покое истины и красоты.

Молюсь Богу, чтобы Он позволил мне сделать, хоть приблизительно, то, что я хочу. Дело это для меня так важно, что, как вы ни способны понимать все, вы не можете представить, до какой степени это важно: так важно, как важна для вас ваша вера, и еще важней, мне бы хотелось сказать, но важнее ничего не может быть. И оно — то самое и есть".

Вероятно, многие, из друзей Л. Н-ча, в том числе и Фет, задавали себе, а может быть, и ему, вопрос: каким образом Л. Н-ч, всегда относившийся отрицательно к насильственной революционной деятельности, мог увлекаться декабристами, и каким образом будет он со своей точки зрения трактовать этот сюжет, к которому он относился с несомненной любовью? В одном из писем к Фету Л. Н-ч отвечает на эти вопросы. Хотя письмо это написано тогда, когда Л. Н-ч уже оставил свой план, но

оно живо передает его отношение к этому историческому событию.

Вот что он, между прочим, пишет Фету в апреле 1879 года:

"Декабристы мои Бог знает где теперь, я о них и не думаю, а если бы и думал, и писал, то льщу себя надеждой, что мой дух один, которым пахло бы, был бы невыносим для стреляющих в людей для блага человечества".

Причин тому, что роман этот не был написан, несколько. Упомянем главные, известные нам. Одной из внешних причин было то, что Л. Н-чу не удалось добыть всех нужных ему сведений из государственных архивов, к которым его не допустили. Другой причиной было то, что, углубляясь в изучение этого декабристского движения, несмотря на всю его увлекательность, Л. Н-ч пришел к заключению, что оно не вполне народное, русское, и это отчасти охладило его к нему. Наконец, третьей и главной причиной, по нашему мнению, было общее охлаждение Л. Н-ча к литературно-художественной работе вследствие начавшегося у него в то время религиозного кризиса.

ГЛАВА 13.

Примирение Тургенева с Толстым

Закончим эти главы важным эпизодом, послужившим переходом самого Л. Н-ча в новую эпоху смирения, мягкости и терпимости ко всем людям, чего прежде ему часто не доставало.

Внутренняя работа над самим собою, над уяснением важнейших вопросов о смысле человеческой жизни, религиозное настроение, порою охватывавшее его, хотя

еще и под видом старой, православной формы, — все это, как всегда, стояло для Л. Н-ча в связи с самосовершенствованием, с очищением души своей от всякой приставшей к ней душевной грязи.

Холодные, почти враждебные отношения, которые, несмотря на обмен примирительными письмами, существовали между Тургеневым и Львом Николаевичем, давно тяготили его. И более искреннее примирение с ним было одним из первых дел его души, жаждавшей обновления. Весной 1878 г. Л. Н-ч написал Тургеневу в Париж письмо, в котором просил его забыть, если было что-либо враждебное в их отношениях, вспомнить только их хорошие отношения, которые существовали между ними во время вступления Л. Н-ча на литературное поприще, когда Л. Н-ч любил его искренно. Л. Н-ч писал ему:

"Простите меня, если в чем я был виновен перед вами".

Тургенев ответил таким же душевным письмом. Вот оно:

"Любезный Лев Николаевич, я только сегодня получил ваше письмо, которое вы отправили *poste-restante*, оно меня очень обрадовало и тронуло. С величайшей охотой готов возобновить нашу прежнюю дружбу и крепко жму протянутую мне вами руку. Вы совершенно правы, не предполагая во мне враждебных чувств к вам: если они и были, то давным-давно исчезли, — оста-

лось одно воспоминание о вас, как о человеке, к которому я был искренно привязан, и о писателе, первые шаги

которого мне удалось приветствовать раньше других, каждое новое произведение которого всегда возбуждало во мне новейший интерес. Душевно радуюсь прекращению возникших между нами недоразумений.

Я надеюсь нынешним летом попасть в Орловскую губернию, — тогда мы, конечно, увидимся. А до тех пор желаю всего хорошего — и еще раз дружески жму вам руку".

Слух об этом примирении распространился между друзьями Л. Н-ча. Первый на него откликнулся Фет, отношения которого с Тургеневым тоже были натянуты. И он поспешил последовать за Л. Н-чем. Вот как он рассказывал об этом в своих воспоминаниях:

"В июне, к величайшей моей радости, к нам приехал погостить Н. Н. Страхов, захвативший Толстых еще до отъезда их в Самарскую губ. Конечно, с нашей стороны поднялись расспросы о дорогом для нас семействе, и я, к немалому изумлению, услышал, что Толстой помирился с Тургеневым.

— Как, по какому поводу? — спросил я.

— Просто по своему теперешнему религиозному настроению он признаёт, что смиряющийся человек не должен иметь врагов, и в этом смысле написал Тургеневу.

Событие это не только изумило меня, но и заставило обернуться на самого себя. Между Толстым и Тургеневым, подумал я, была хоть формальная причина разрыва, но у нас с Тургеневым и этого не было. Его невежливые выходки всегда казались мне более забавными, чем оскорбительными, хотя я не решился бы отнести к ним так же, как покойный Кетчер, который в подобном случае расхохотался бы своим громовым хохотом и сказал бы дурака. Смешно же людям, интересующимся, в сущности,

друг другом, расходиться только на том основании, что один — западник без всякой подкладки, а другой — такой же западник, только на русской подкладке из ярославской овчины, которую при наших морозах покидать жутко. Все эти соображения я написал Тургеневу".

В августе Тургенев пишет Льву Н-чу уже из Москвы:

"Любезнейший Л. Н-ч, я приехал сюда вчера, выезжаю в воскресенье вечером и понедельник пробуду в Туле, где у меня есть дела. Мне самому хочется вас видеть, и к тому же у меня есть поручение до вас, — то как хотите: приедете ли вы в Тулу, или я заеду к вам в Ясную Поляну, откуда отправлюсь далее. Я не знаю, какая есть в Туле гостиница (я приеду в ночь с воскресенья на понедельник и займу номер), но вы можете прислать записку или телеграмму либо на станцию, либо на дом нашего общего знакомого, губернского предводителя Самарина, я так и распоряжусь".

Л. Н-ч только что вернулся со всей семьей своей из самарского имения. Через несколько дней была получена телеграмма о том, что Тургенев будет у Толстых. 3 августа Л. Н-ч выехал встречать его в Тулу в сопровождении своего шурина, С. А. Берса. Мы заимствуем описание этого свидания отчасти из его воспоминаний, отчасти из записок С. А. Толстой, пополняя сведениями из других источников.

"Тургенев очень сед, — пишет Соф. Андр., — очень смирен, всех нас прельстил своим красноречием и картинностью изложения самых простых и вместе возвышенных предметов. Так, он описывал статую Христа Антокольского, точно мы все видели его, а потом рассказывал о своей любимой собаке Жаке с

одинаковым мастерством. В Тургеневе теперь стала видна слабость, даже детски наивная слабость характера. Вместе с тем видна мягкость и доброта. Вся ссора его со Л. Н-чем мне объяснилась этой слабостью. Например, он наивно сознается, что боится страшно холеры. Потом нас было 13 за столом, мы шутили о том, на кого падет жребий смерти и кто ее боится. Тургенев, смеясь, поднял руку и говорит: "que celui, qui craint la mort, leve la main" (1). Никто не поднял, и только из учтивости Л. Н-ч поднял и сказал: "eh bien, moi aussi, je ne veux pas mourir" (2).

(1) Пусть тот, кто боится смерти, поднимет руку.

(2) Ну и я тоже не хочу умереть.

С. А. Берс прибавляет:

"За обедом Ив. Серг. много рассказывал и мимически копировал не только людей, но и предметы с необыкновенным искусством; так, напр., он действиями изображал курицу в супе, подсовывая одну руку под другую, потом представлял охотничью собаку в раздумье и т. д."

"Тургенев пробыл у нас два дня, — продолжает графиня С. А. — О прошлом речи не было, были отвлеченные споры и разговоры, и на мой взгляд Л. Н. держал себя слегка почтительно и очень любезно, не переходя никакие границы. Тургенев, уезжая, сказал мне: "До свиданья, мне было очень приятно у вас". Он сдержал слово "до свиданья" и опять приехал в начале сентября".

Вот как описывает пребывание Тургенева в Ясной Поляне г-жа Е. М., одна из немногих посторонних свидетельниц этого свидания:

"В 1878 году я видела в последний раз Тургенева в Ясной Поляне, у гр. Льва Николаевича Толстого; они лет 16 не видели друг друга по случаю какого-то недоразумения. Лев Николаевич сделал первый шаг к сближению, и Тургенев поспешил ответить на него: они съехались в Туле и поехали вместе в Ясную Поляну, имение гр. Толстого, верст 12 от Тулы. Тургенев провел там два дня. Большую часть времени они проводили в философских и религиозных разговорах в кабинете Льва Николаевича: любопытно было бы послушать рассуждения этих двух самых замечательных наших писателей, но тайна их прений не проникла за дверь кабинета; когда они приходили в гостиную, разговор делался общим и принимал другой оборот. Тургенев с удовольствием рассказывал про только что купленную им виллу Буживаль около Парижа, про ее удобства и устройство, говоря: мы выстроили прелестную оранжерею, которая стоила десять тысяч франков, мы отделали то-то и то-то, разумея под словом "мы" семейство Виардо и самого себя.

— Мы по вечерам часто в винт играем, а вы? — спросил он Льва Николаевича.

— Нет, мы никогда не играем в карты, — отвечал граф, — и жизнь наша совершенно иная, чем за границей. Это такая резкая противоположность, что вам должно быть все очень странным казаться, когда вы приезжаете в Россию и находитесь в совершенно другой обстановке?

— Первые дни точно меня все поражает и кажется странным, — отвечал Иван Сергеевич, — но эти впечатления скоро изглаживаются, и я привыкаю ко

всему, ведь это все свое родное, я вырос, провел детство и часть молодости в этой обстановке.

Зная, что он любит шахматы, гр. Толстая предложила ему вечером сыграть партию с ее старшим сыном, пятнадцатилетним мальчиком, говоря: он будет всю жизнь помнить, что играл с Тургеневым.

Иван Сергеевич снисходительно согласился и начал партию, продолжая разговаривать с нами.

— Я в Париже часто играл и считался хорошим игроком: меня называли *le chevalier du fou* — это был мой любимый ход. А знаете ли вы новое слово в ходу у французов — "*vioux jeu*!" Что ни скажешь, француз отвечает: "*vioux jeu*!" Э, да с вами шутить нельзя! — воскликнул он, обращаясь к своему молодому партнеру. — Вы чуть-чуть не погубили меня.

И он стал со вниманием играть и с трудом выиграл партию, потому что молодой Толстой тоже прекрасно играл в шахматы.

— Отчего вы не курите? — опросил Лев Николаевич. — Вы прежде курили.

— Да, — отвечал Тургенев, — но в Париже есть две хорошенькие барышни, которые мне объявили, что если от меня будет пахнуть табаком, они мне не позволят их целовать, и я бросил курить.

За вечерним чаем Иван Сергеевич рассказывал, как он в Баден—Бадене играл лешего в домашнем спектакле у *me* Виардо, и как некоторые из зрителей смотрели на него с недоумением. Мы знали, что он сам написал пьесу, вроде

оперетки, для этого спектакля, знали, что русские за границей, да и в России, были недовольны, что он исполнял шутовскую роль для забавы m-me Виардо, и нам всем сделалось неловко. В своем рассказе он точно старался оправдаться, но он скоро перешел к другой теме, и мы успокоились.

Он имел дар слова и говорил охотно, плавно, любил, кажется, больше рассказывать, чем разговаривать. Он рассказывал нам, как сидел в 1852 г. на гауптвахте в Спасской части, в Петербурге, за статью о смерти Гоголя: "Ужасно скучно было, ко мне никого не пускали, да и в то время город был пуст, друзей моих никого не было. Мне позволили было раз в день прогуливаться по тесному двору, но и там меня сторожил угрюмый унтер-офицер; я было пробовал заискать в нем, подходил с улыбкой — ну, ничего не берет, — ни ответа, ни привета. Это был старый, рослый, широкоплечий солдатина, лицо суровое, неподвижное, — видно было, что ни лаской, ни деньгами ничего не добьешься и подкупить совершенно невозможно".

Гр. Толстой тоже рассказывал, и его рассказы мне больше нравились: они были сильнее очерчены, часто юмористичны, всегда оригинальны, в них было много простоты, неожиданности и задушевности. На него Запад не имел никакого влияния, он чисто русский человек, образованный и осмысленный. И. С. Аксаков сказал про него, что у него "медвежий талант" по исполинской силе, а я прибавлю, что душа его кроткая, как "голубица," восторженная, как у юноши, и соединение этих двух качеств объясняет его новое направление, которое так огорчает Тургенева.

В одиннадцать часов Иван Сергеевич встал.

— Пора мне на железную дорогу, — сказал он.

Мы все поднялись. Станция железной дороги была за две версты, гр. Лев Николаевич провожал Ивана Сергеевича. Мне надо было ехать в Тулу. Мы выехали вместе. Ив. Сергеевич и гр. Толстой ехали впереди, я с дочерью моею в другом экипаже за ними.

На большой дороге мы простились с нашими спутниками и повернули налево к городу. Ночь была теплая, тихая, звездная, вдали слышался звук удаляющегося колокольчика; золотой рог месяца поднимался из-за рощи.

— Какой прелестный день мы провели! — сказала я дочери.

— Да, прелестный, — отвечала она.

И обе мы тогда не подозревали, что в последний раз видели Тургенева" (1).

(1) "Тобольские губернские ведомости", 1893 год, No 28.

Одним из поручений ко Л. Н-чу, о котором ему писал Тургенев, была просьба А. Н. Пыпина, издававшего тогда "Русскую библиотеку", т. е. сборники, посвященные выдающимся русским писателям и составленные из краткой биографии писателя и лучших образцов его произведений.

Поручение это Тургеневу удалось исполнить вполне удачно, о чем он сообщил А. Н. Пыпину в следующем письме:

"Любезнейший Александр Николаевич! Я заезжал к гр. Л. Н. Толстому, в его имение около Тулы, и говорил с ним о "Русской библиотеке". Он изъявил полное согласие на помещение его сочинения, предоставляет выбор редакции "Вестника Европы", — пришлет краткий биографический очерк. Принимает те условия денежные, на которых состоялось издание мое, салтыковское и т. д. Что касается до портрета, то предлагает снестись с живописцем Крамским, который живет в Петербурге и который написал два превосходных портрета Толстого. Можно бы с одного из них снять фотографию. Словом, Толстой показал самую предупредительную готовность. Я ему сказал, что вы спишетесь с ним, что вы и сделаете. Что же касается до большого его романа, то, по его словам, он даже не начат, но во всяком случае в "Русском вестнике" не явится, так как Толстой уже не желает более иметь дела с этим журналом".

Возвратившись в Спасское, Тургенев писал Толстому:

"Любезнейший Лев Николаевич! Я благополучно прибыл сюда в прошлый четверг и не могу не повторить вам еще раз, какое приятное и хорошее впечатление оставило во мне мое посещение Ясной Поляны, и как я рад тому, что возникшие между нами недоразумения исчезли так бесследно, как будто их никогда и не было. Я почувствовал очень ясно, что жизнь, состарившая нас, прошла и для нас не даром, и что и вы, и я — мы оба стали лучше, чем 16 лет тому назад, и мне было приятно это почувствовать.

Нечего и говорить, что на возвратном пути я снова всенепременно заверну к вам".

Через несколько дней Тургенев снова пишет Л. Н-чу, отвечая на его письмо и извещая о своем обратном проезде в Москву и о намерении посетить снова Л. Н-ча.:

"Итак, 1 сентября я к обеду у вас... если только вы в тот день не отозваны куда-нибудь на охоту. (Я сегодня своими глазами видел жеребенка, пораненного волком прошлой ночью. Их у нас много по лесам, да никто не едет травить их).

Мне очень приятно узнать, что все в Ясной Поляне взглянули на меня дружелюбным оком. А что между нами существует та связь, о которой вы говорите, это несомненно, и я очень этому радуюсь, хоть и не берусь разобрать все нити, из которых она составлена. Одной художественной — мало. Главное то, что она есть. Фет—Шеншин написал мне очень милое, хоть и не совсем ясное письмо, с цитатами из Канта; я немедленно отвечал ему. Вот, стало быть, я и не даром приехал в Россию, хотя, собственно, то, что я и имел в виду, окончилось, как и следовало ожидать, *fiasco*'м.

Итак, до скорого свидания, поклонитесь всем вашим. Крепко жму вам руку".

Несмотря на этот дружеский обмен писем, на сердечность отношений с обеих сторон, несмотря на искреннее желание также с обеих сторон сблизиться, — этого полного сближения все-таки не произошло.

После второго свидания, в сентябре того же года, Л. Н-ч писал Фету:

"Тургенев на обратном пути был у нас и радовался получению от вас письма. Он все такой же, и мы знаем ту степень сближения, которая между нами возможна".

Менее чуткий к душевным отношениям, Тургенев продолжал писать Л. Н-чу, стараясь в чем-то убедить его:

"Радуюсь тому, что вы все физически здоровы, и надеюсь, что и умственная ваша хворь, о которой вы пишете, прошла. Мне и она была знакома: иногда она являлась в виде внутреннего брожения перед началом дела; полагаю, что такого рода брожение совершалось и в вас. Хоть вы и просите не говорить о ваших писаниях, однако не могу не заметить, что мне никогда не приходилось "даже немножко" смеяться над вами; иные ваши вещи мне нравились очень, другие очень не нравились, иные, как, напр., "Казак", доставляли мне большое удовольствие и возбуждали во мне удивление. Но с какой стати смех? Я полагал, что вы от подобных "возвратных" ощущений давно отделались. Отчего они знакомы только литераторам, а не музыкантам, живописцам и прочим художникам? Вероятно, оттого, что в литературное произведение все-таки входит больше той части души, которую не совсем удобно показывать. Да, но в наши уже немолодые сочинительские годы пора к этому привыкнуть".

Это письмо вызвало еще более резкое суждение Л. Н-ча, которое он и сообщил Фету, в письме от 22 ноября того же года:

"Вчера получил от Тургенева письмо. И знаете, решил лучше подальше от него и от греха. Какой-то задира неприятный".

Но сам Тургенев не замечал этих задираний и писал после этого Фету в том же восторженном тоне:

"Мне было очень весело снова сойтись с Толстым, и я у него провел три приятных дня; все семейство его очень симпатично, а жена его — прелесть. Он сам очень утих и вырос. Его имя начинает приобретать европейскую известность. Нам, русским, давно известно, что у него соперника нет".

Но, несмотря на сознание невозможности полного сближения, Л. Н-ч старается и ищет случая выразить сочувствие Тургеневу, чтобы смягчить эти отношения и отдалить опасность нового разрыва. Поводом к такому сочувствию явился какой-то пасквиль "Московских ведомостей" по адресу Тургенева.

На это выражение сочувствия Тургенев, как будто почувствовавший некоторое напряжение связующих их душевных нитей, ответил длинным, благодарным письмом, в котором старается показать, как он, со своей стороны, ценит произведения Л. Н-ча и старается о их распространении в Европе.

28 декабря 1879 года он пишет:

"Через неделю с небольшим я выезжаю отсюда и наверно знаю, что мы скоро увидимся, хотя еще не знаю, где именно. Меня очень тронуло сочувствие, выраженное вами по поводу статьи в "Московских ведомостях", и я, со своей стороны, почти готов радоваться ее появлению, так как она побудила вас сказать мне такие хорошие, дружелюбные слова. Когда я отошел от "Русского вестника", Катков велел меня предупредить, что я, дескать, не знаю, что значит иметь его врагом; вот он и старается мне доказать. Пускай его, моя душа не в его власти.

Княгиня Паскевич, переведшая вашу "Войну и мир", доставила, наконец, сюда 500 экземпляров, из которых я

получил 10. Я роздал их здешним влиятельным критикам (между прочим, Тэну, Абу и др.). Должно надеяться, что они поймут всю силу и красоту вашей эпопеи. Перевод несколько слабоват,

но сделан с усердием и любовью. Я на днях в 5 и 6 раз с новым наслаждением перечел это ваше поистине великое произведение. Весь его склад далек от того, что французы любят и чего они ищут в книгах, но правда, в конце концов, берет свое. Я надеюсь если не на блестящую победу, то на прочное, хотя медленное завоевание.

Вы ничего мне не говорите о новой вашей работе, а между тем ходят слухи, что вы прилежно трудитесь. Воображаю вас за письменным столом в той уединенной избе, которую вы мне показывали. Впрочем, обо всем этом я скоро буду иметь известие из первых рук. Радуюсь вашему домашнему благополучию и прошу передать всем вашим мой усердный привет и поклон. Точно тяжелые и темные времена переживает теперь Россия, но именно теперь и совестно жить чужаком. Это чувство во мне все становится сильнее и сильнее, и я в первый раз еду на родину, не размышляя вовсе о том, когда я сюда вернусь, да и не желая скоро вернуться.

Крепко жму вашу руку, благодарю вас за то, что вы приблизились ко мне и знаю, что я плачу вам тем же. Будьте здоровы и до свиданья".

Рассказ об отношениях двух великих писателей привел нас к 1879 году, — году "Исповеди", которой и разрешился душевный кризис Л. Н-ча Толстого.

Описанию всех тяжелых и радостных перипетий его и будет посвящена 4-ая часть второго тома биографии.

422

Часть IV. КРИТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

ГЛАВА 14. Кризис

Мы сказали в одной из предыдущих глав, что 1876 год мы считаем началом кризиса и что конец 70-х годов представляет самый острый период его, завершившийся просветлением.

Конечно, можно считать 1876 г. началом кризиса только в узком, эпизодическом смысле. Можно сказать и иначе. Кризис начался со дня его сознательной жизни: но то и другое будет верно. Рассмотрим оба эти утверждения. В одном из своих автобиографических произведений Лев Николаевич сам заявляет, что собственно кризиса, перелома в его жизни и не было, что он всегда стремился к отысканию смысла жизни, и только сложные внешние явления и события и его собственные страсти и увлечения отодвигали это решение вопросов жизни и сконцентрировали таившиеся силы в один могущественный внутренний порыв, который и опрокинул ветхое здание.

В этом смысле и можно принять эти два объяснения: 1-ое, что Л. Н-ч был всегда таким, каков он есть, и 2-ое, что

в конце 70-х годов с ним произошёл душевный переворот, круто изменивший его жизнь. Мы рассмотрим хронологически первое утверждение и остановимся с большим вниманием на этом поворотном пункте.

Ранее мы уже старались приводить все те места из его художественных произведений, статей, писем и дневника, в которых выражается его внутренняя жизнь.

Мы намерены теперь сделать беглый обзор этих проявлений внутренней жизни, чтобы, имея, таким образом, в своём распоряжении важнейшие координаты, быть в состоянии построить кривую его духовного развития.

В период бессознательного и полусознательного детства Л. Н-ча мы видим только некоторую повышенную чувствительность, нервность, неровность характера, часто эксцентричность — первые признаки, выделявшие его из среды, его окружавшей. В отрочество его уже появляются первые черты его нравственной душевной физиономии. У него уже появляются первые стремления к идеалу, первые страстные, восторженные влечения к нему. Эти идеалы различны и часто меняются, потому что ни один не удовлетворяет пылкую душу ребенка. Этим идеалом становится то его старший брат Сергей, то он благоговееет перед братом Николаем, то мечтает о каком-то смутном "счастье" вообще, то старается графически выразить идею бессмертия, то

мысли его принимают скептическое направление, — он сомневается в реальности внешнего мира и ищет

сущность, пустоту, небытие. И к концу отрочества эти идеалы уже начинают очерчиваться более определенно и выражаются в искании пути к добродетели, к моральному, общему благу.

С такими недетскими стремлениями он переходит в юность, и сложный мыслительный процесс уже вступает в свои права и оказывает поддержку его идеальным стремлениям. Он начинает философствовать.

Сам Л. Н-ч уже может разобраться, классифицировать свои душевные порывы; герой его повести "Юность", отражающий на себе душевный мир Л. Н-ча, говорит, что в это время общий характер его стремлений — было стремление к нравственному совершенствованию. Но рядом с этим шли более частные стремления: "любовь к ней", "любовь любви", жажда славы и, как реакция его, раскаяние, самоуничтожение, эти два последние противоречивые чувства, тщеславие и смирение, часто переходили друг в друга.

"Раскаяние, — говорит он, — было до такой степени слито с надеждой на счастье, что оно не имело в себе ничего печального. Я даже наслаждался в отвращении к прошедшему и старался видеть его мрачнее, чем оно было. Чем чернее был круг воспоминаний прошедшего, тем чище и светлее выдавалась из него светлая, чистая точка настоящего и развивались радужные цвета будущего".

В 18 лет он начинает писать дневник. В нем видна уже внутренняя работа над самим собою. Он пишет себе правила жизни, распределяет занятия, задается самыми широкими и благими целями. Значение, которое он уже тогда придавал своему внутреннему, душевному миру, видно из следующего выражения дневника:

"Перемена в образе жизни должна произойти, но нужно, чтобы эта перемена не была произведением внешних обстоятельств, но произведением души".

С такими мыслями Л. Н-ч выходит из университета, едет в Ясную Поляну и вступает в самостоятельную жизнь.

Взглянем теперь на те источники, которые питали душу Толстого в эти юные годы.

Уже в первые дни своей жизни он испытал на себе могучее чувство материнской любви. В воспоминаниях о своей матери Л. Н-ч говорит: "четвертое сильное чувство, которое, может быть, было, как мне говорили тетушки, и которое я так желал, чтобы было, была любовь ко мне, заменившая ей любовь к Коко, во время моего рождения уже отлепившегося от матери и поступившего в мужские руки".

С полуторагодовалого возраста он остается на руках своей тетушки Татьяны Александровны Ергольской.

"Тетенька Татьяна Александровна, — говорит Л. Н-ч в воспоминаниях о ней, — имела самое большое влияние на мою жизнь. Влияние это было во-первых, в том, что еще в детстве она научила меня духовному наслаждению любви. Она не словами учила меня этому, а всем своим существом заражала меня любовью".

В детстве он испытал еще одно доброе влияние немца-гувернёра Фёдора Ивановича Рёсселя. По верному выражению его в "Детстве", видно, что влияние это было хорошее; несчастная, одинокая, сиротская жизнь этого человека зародила в нем чувство сострадания к людям. Влияние отца, постоянно занятого разными делами, не могло быть очень сильно, но мы видим по не-

скольким характерным черточкам его воспоминаний, что авторитет отца был силен в семье, и влияние его было доброе.

Когда отец похвалил его за прочтенное стихотворение Л. Н-ч говорит:

"Я понял, что он что-то хорошее видит в моем чтении, и был очень счастлив этим".

Рассказывая, как отец добродушно отнесся к тому, что старый камердинер таскал у него табак. Л. Н-ч прибавляет:

"Я восхищаюсь добротой отца и, прощаясь с ним, с особенной нежностью целую его белую, жилистую руку. Я очень любил отца, но не знал еще, как сильна была эта моя любовь к нему до тех пор, пока он не умер".

Особенно сильно было влияние доброго, вдумчивого брата, Николая, затевавшего с младшими братьями особые игры, в которых затрагивались самые важные вопросы людских отношений и разрешались всегда с любовью и единением. Достаточно вспомнить игру в муравейных братьев, Фанфаронову гору и зеленую палочку, о которых Л. Н-ч говорит в своих воспоминаниях, чтобы понять, какое важное влияние имел старший брат на Л. Н-ча.

"Идеал муравейных братьев, — заключает так Л. Н-ч свои воспоминания о брате Николае, — льнувших любовью друг к другу, только не под двумя креслами, завешенными платками, а под всем небесным сводом всех людей мира, остался для меня тот же. И как я тогда верил, что есть та зеленая палочка, на которой написано то, что должно уничтожить все зло в людях и дать им великое благо, так я

верю и теперь, что есть эта истина и что будет она открыта людям и даст им то, что она обещает".

Хотя брат Дмитрий и возбуждал насмешки в среде своих братьев и сверстников своим религиозным настроением и набожностью, но мы уверены, что он бессознательно для Л. Н-ча сеял в его душе семена религиозности.

Мать и тётушка Л. Н-ча любили принимать странников, юродивых и других, так называемых, "людей божьих", и они сделали своё дело, заронили свои искорки простой, наивной, народной веры, которую душа будущего великого художника и мыслителя возвеличила, окрасила радужными цветами поэзии и дала ей разумный смысл.

"Много воды утекло с тех пор, — пишет Л. Н-ч в своем "Детстве", — много воспоминаний о былом потеряли для меня значение и стали смутными мечтами. Даже и странник Гриша давно окончил свое последнее странствование, — но впечатление, которое он произвел на меня, и чувство, которое он возбудил, никогда не умрут в моей памяти".

В своих заметках при просмотре рукописи первого тома биографии Л. Н-ч прибавляет:

"Юродивых много разных бывало в нашем доме, и я — за что глубоко благодарен моим воспитателям — привык с великим уважением смотреть на них. Если и были среди них неискренние, самая задача их жизни была, хотя и практически нелепая, такая высокая, что я рад, что с детства бессознательно научился понимать высоту их подвига. Они делали то, что говорит Марк Аврелий:

"Нет ничего выше того, как то, чтобы сносить презрение за свою добрую жизнь". Так вреден, так неустрашим соблазн славы людской, примешивающийся

всегда к добрым делам, что нельзя не сочувствовать попыткам не только избавиться от похвалы, но вызвать презрение людей".

Вот, кажется нам, главные струи того доброго влияния, которые питали молодую душу Л. Н-ча и делали ее чувствительной к добру и возбуждали в нём идеальные мечты и стремления.

Но уже в раннем детстве он увидел и иную, темную сторону жизни. Он испытал препятствия, останавливался в недоумении при столкновении мечты и действительности, мира идеального и реального, и это реальное больно кололо его и заставляло задумываться над разрешением жизненного противоречия.

В своих воспоминаниях он припоминает несколько случаев нанесенной ему обиды. И в его детской голове зарождалось сознание, что не все и не всегда его любят, не все и не всегда удастся ему, что в жизни есть препятствия, с которыми ему, с его слабыми детскими силами, нельзя бороться и приходится покоряться им, терпеть лишения, разочарования.

Наиболее крупным событием такого рокового непобедимого препятствия была смерть отца, потом бабушки, тетки. Эти смерти, кроме сознания неизбежности в жизни каких-то непоправимых несчастий, оставляли еще впечатление торжественной таинственности, к которому пылкое воображение присоединяет различные мистические образы.

Рано пришлось узнать Л. Н-чу чувство долга. В своих "Первых воспоминаниях" он говорит так:

"При переводе меня вниз, к Федору Ивановичу и мальчикам, я испытывал в первый раз, и потому сильнее, чем когда-либо после, то чувство, которое называют чувством долга, называют чувством креста, который призван нести каждый человек.

...Много раз потом в жизни мне приходилось переживать такие минуты на распутьях жизни, вступая на новые дороги. Я испытывал тихое горе о безвозвратности утраченного".

Сильное и благодетельное впечатление оставило во Л. Н-че его столкновение с гувернером-французом.

"Не помню за что, — говорит Л. Н-ч в своих воспоминаниях, — но за что-то самое не заслуживающее наказания, St. — Thomas, во-первых, запер меня в комнате, а потом угрожал розгой. И я испытал ужасное чувство негодования, возмущения и отвращения не только к St. — Thomas, но и к тому насилию, которое он хотел употребить надо мной. Едва ли этот случай не был причиной того ужаса и отвращения перед всякого рода насилием, которое испытываю всю свою жизнь".

Вот в беглом обзоре те психологические данные, из которых складывалась в юные годы душа Льва Николаевича. Разумеется, все перечисленные факты и влияния представляют только типические явления из целого ряда подобных, оставшихся незамеченными или не записанными, и, наконец, вся жизнь заполнялась, кроме того, целым рядом полусознательных влияний. Но так как большая часть приведенных фактов записана самим Львом Николаевичем, то мы видим, что он именно им придавал особое значение, и, стало быть, его сознание

было особенно чувствительно к подобного рода явлениям, и именно из такого рода впечатлений слагался, главным образом, его душевный мир.

И вот со всем этим духовным имуществом, со всеми привычками воспитания, руководившими внешними формами проявления всех этих стремлений, он вступает в жизнь.

Он становится помещиком и берётся сам управлять доставшимся ему по разделу имением — Ясной Поляной. В то время управление имением было неразрывно связано с управлением и опекою над людьми-крестьянами. И вот

мы видим, как сразу сталкиваются мечты и действительность, и как мечты эти разбиваются вдребезги. В душе Л. Н-ча должен зародиться вопрос: как согласовать мечты, стремления, которые он чувствует добрыми, с действительностью, которая как бы не хочет признавать право существования за этими стремлениями. Но от своих стремлений он отказаться не может, ими полна его молодая душа, он ими живет; остается одно — признать действительность ложью. И вот зарождается мысль о реформе. Но решение этой задачи еще не под силу ему, и она остается в каком-то уголке души, ожидая, когда наступит. ее час.

Затем идут годы беспорядочной, хаотической жизни с борьбой и часто разнузданностью страстей, счастливым окончанием которых является отъезд на Кавказ.

Душа Л. Н-ча нашла там успокоение на лоне дикой природы. От прикосновения к ней, этому вечному

источнику силы, Л. Н-ч воспрянул духом, и снова все стремления поднимают свой голос и снова требуют приложения.

Стремление к истине, искание её, жажда найти общую основу жизни и руководство в ней, после скептического и распущенного душевного периода, уже в то время достигло во Л. Н-че сильного напряжения. И тогда уже он ухватился за самую сущность духовной жизни, за самоотверженную любовь, Но его молодое сознание не могло еще развить широко эту основу и свести к ней все явления жизни. Можно только сказать, что тогда был положен первый камень фундамента его сознательного религиозного храма.

Герой "Казаков" Оленин произносит такую формулу:

"Счастье в том, чтобы жить для других. И это ясно. В человеке вложена потребность счастья, стало быть, она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, т. е. отыскивая для себя богатства, славу, удобства жизни, любви, может случиться, что обстоятельства так сложатся, что невозможно будет удовлетворить этим желаниям. Следовательно, эти желания незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какие же желания всегда могут быть удовлетворены, несмотря на внешние условия? Какие? Любовь, самоотвержение..."

Здесь мы видим, как идеальные стремления сталкиваются уже не с внешними общественными условиями, а с личными страстями, эгоизмом, — очевидно, это был уже жизненный опыт, и опять решение в том, что эгоизм, страсть должны быть побеждены, они незаконны, они должны уступить, дать место, освободить к деятельности любовь и самоотвержение. Там же, на Кавказе, пускает росток будущее могучее дерево —

художественное творчество. Ощущение этой скрытый еще, но уже дающей знать о себе силы вызывает первое сознание своего призвания.

"Есть во мне что-то, — записывает он в своем дневнике того времени, — что заставляет меня верить, что я рожден не для того, чтобы быть как все".

Могучий росток творческой силы стал быстро расти, и первый плод его был оценен людьми, для которых эксплуатация этой силы составляет профессию, — литераторами. И они позвали его к себе. Но Л. Н-ч никогда не мог вступить в их профессиональный союз и остался навсегда свободным художником жизни в самом широком значении этого слова.

А события вокруг него шли своею чередой. Он попадает в Севастополь. Опять роковое столкновение самых высоких стремлений с самой ужасной действительностью.

Добрые, умные, героически-самоотверженные люди тратили громадные духовные и материальные силы и средства на взаимное истребление.

И на новый вопрос: как быть? — он отвечает внутренне уже не мыслью о реформе общественных отношений, не мыслью об укрощении страстей — какие страсти, какой эгоизм у умирающих героев Севастополя? — у него зарождается мысль о реформе самой основы жизни, реформе христианской религии.

"Осуществлению этой великой, громадной мысли, — говорит он, — я чувствую себя способным посвятить жизнь".

Так сама жизнь учила его, и он черпал силы из этой жизни, накапливал и перерабатывал их в своем сознании, чтобы потом их же направить на реформу и управление жизнью.

Но как и прежние решения, так и это осталось до поры, до времени лежать в тайниках души его.

Он является в общество, пожиная славу; соблазны мира увлекают его, и он снова крутится в вихре страстей.

Вкусивши эти соблазны прогресса и цивилизации, он чувствует неутолимую жажду знания, новых сильных впечатлений, стремление допить до дна этот манящий к себе напиток.

И это новое увлечение было сильнее прежних, так как вместе с этими соблазнами он воспринял теорию, оправдывающую их, теорию прогресса и учительства.

Он никогда не мог целиком принять эти теории: "На второй и, в особенности, на третий год такой жизни я стал сомневаться в непогрешимости этой веры и стал ее исследовать", — говорит он в "Исповеди". Но вот он едет в Европу, в Париж, в тот центр, откуда разливается на весь мир этот страшный, привлекательный, сжигающий свет цивилизации, и попадает на смертную казнь.

"Когда я увидал, — говорит он об этом в "Исповеди", — как голова отделилась от тела, и то и другое враз застучало в ящике, я понял — не умом, а всем существом, — что никакие теории разумности существующего, прогресса не могут оправдать этого поступка, и что если бы все люди в мире по каким бы то ни было теориям с сотворения мира находили, что это нужно, — я знаю, что это не нужно, что

это дурно, и что поэтому судья тому, что хорошо и что дурно, не то, что говорят и делают люди, и не прогресс, а я со своим сердцем".

Каким-то роковым образом шел он к решению вопросов жизни.

Стоило ему на время забыться и увлечься каким-нибудь делом, как новый удар отрезвлял его и напоминал ему.

Таким отрезвляющим ударом, расчистившим ему путь к восприятию высшей истины, была для него смерть его брата Николая в 1860 году,

Влияние этой смерти было благотельно, но отрицательно. Она разрушила все иллюзии жизни и потому привела его прямо к основе ее.

"Ничто в жизни, — пишет он Фету, — не делало на меня такого впечатления".

И дальше в том же письме:

"Нельзя уговаривать камень, чтобы он падал кверху, а не книзу, куда его тянет. Нельзя смеяться шутке, которая наскучила. Нельзя есть, когда не хочется. К чему все, когда завтра начнутся муки смерти, со всею мерзостью лжи, самообмана, и кончится нулем для тебя".

Ноль "меня" еще не значит абсолютный ноль. Напротив, только после устранения моего "я" остается одна вечная правда. В тот момент Л. Н-ч дошел только до отрицания своего "я" и не видал дальше. Но путь был расчищен, и, отдохнув на перепутье, он мог продолжать свое движение вперед.

Эта смерть дала ему ещё нечто большее: она подтвердила ему его отрицательное отношение к теории прогресса и цивилизации.

"Другой случай, — говорит он в "Исповеди", — сознания недостаточности для жизни суеверия прогресса была смерть моего брата. Умный, добрый, серьезный человек, он заболел молодым, страдал более года и мучительно умер, не понимая, зачем он жил, и еще менее понимая, зачем он помирает. Никакие теории ничего не могли ответить на эти вопросы ни мне, ни ему во время его медленного и мучительного умирания".

"Но надо же, — говорит Л. Н-ч в письме к Фету, — куда-нибудь девать силы, которые еще есть. Покуда есть желание знать и говорить правду, стараешься знать и говорить. Это одно я и делаю и буду делать, только не в форме вашего искусства. Искусство есть ложь, а я уже не могу любить ложь".

И он отдается со всею присущею ему страстностью педагогической деятельности.

Параллельно с этой душевной работой, иногда мешавшей ей, иногда направлявшей ее на иной путь, во Л. Н-че жило еще неудовлетворенное стремление к семейной жизни.

Несколько раз в письмах к родным он жалуется на это неудовлетворенное чувство, с грустью смотрит на уходящие годы и на все уменьшающиеся шансы такой семейной жизни, о которой он страстно мечтал.

И вот он, наконец, женат, счастливо женат, и, порвав с педагогическими занятиями, он снова весь уходит в новое для него дело семейной жизни.

И рядом с этим идет ещё одно поглощающее все его силы дело — художественное творчество. 60-е годы и

половина 70-х проходят в этих двух разделяющих и поглощающих все его душевные силы занятиях: семья с хозяйством и писательство.

"Так прошло еще пятнадцать лет, — пишет Л. Н-ч в своей "Исповеди".

Несмотря на то, что я считал писательство пустяками, в продолжение этих пятнадцати лет я все-таки продолжал писать. Я вкусил уже соблазна писательства, соблазна огромного денежного вознаграждения и рукоплесканий за мой ничтожный труд, и предавался ему как средству к улучшений своего материального положения и заглушению в душе всяких вопросов о смысле жизни моей и общей".

И все это не могло заглушить того ростка духовной жизни, который был зарожден еще материнской любовью, взлелеян в юные годы, который оберегала судьба, разрушая своими ударами соблазны, едва не задавившие его, и росток этот пророс сквозь кучу наваленного на него мусора.

"Так я жил, — говорит Л. Н-ч в "Исповеди", — но пять лет тому назад мной стало случаться что-то странное: на меня стали находить минуты сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние. Но это проходило, и я продолжал жить по-прежнему.

Потом эти минуты недоумения стали повторяться чаще и чаще и все в той же самой форме. Эти остановки жизни выражались всегда одинаковыми вопросами: зачем? ну, а потом?

Я понял, что это не случайное недомогание, а что-то очень важное, и что если повторяются все те же вопросы, то надо ответить на них".

Это были первые серьезные признаки приближающегося так называемого кризиса, но, в сущности, это было прорастание все той же духовной жизни, рост которой во Льве Николаевиче никогда не останавливался и только вре-

менами замирал, чтобы потом возродиться с новой силою, с новой победою над внешними обстоятельствами.

И вот в конце 70-х годов, мы видим этот новый расцвет ростка духовной жизни, с такой силой пробившегося сквозь давившие его внешние условия, что задавить его снова не смогли уже силы мира сего. Этот важный момент своей жизни Л. Н-ч сам описал в своей "Исповеди". Это значительно облегчает нашу задачу. Но "Исповедь" — все-таки литературное произведение, обращенное ко всем людям, и в нем, как во всяком литературном произведении, подвергшемся значительной переработке, исчезли некоторые драгоценные черты сырого материала и прибавились те места, которые написаны в виду впечатления, которое они должны производить на публику.

Наша задача будет взять из этого произведения ту сущность его, без которой неясен ход этого процесса, и добавить то, что имеется в наших руках из сырого, частного материала, чтобы как можно сильнее оживить самый жизненный процесс этого времени, показать его биографическую сторону.

По-видимому, еще в 1874 году Л. Н-ч задумал писать нечто подобное "Исповеди", т. е. произведение,

выражающее мысль о необходимости религии как основы жизни. В его записной книжке 1874 года мы находим такой набросок предисловия к задуманной книге:

"Есть язык философии, я им не буду говорить. Я буду говорить языком простым. Интерес философии общий всем и судьи все. Философский язык выдуман для противодействия возражению. Возражений я не боюсь, я ищу. Я не принадлежу ни к какому лагерю. И прошу читателей не принадлежать. Это первое условие для философии. Материалистам я должен возразить в предисловии. Они говорят, что кроме земной жизни ничего нет. Я должен возразить, потому что если бы это было так, то мне бы и не о чем писать. Проживя под 50, я убедился, что земная жизнь ничего не дает, и тот умный человек, который вглядится в земную жизнь серьезно: труды, страх, упреки, борьба, — зачем? род сумасшествия, тот сейчас застрелится, и Гартман... Шопенгауэр прав. Но Шопенгауэр давал чувствовать, что есть что-то, отчего он не застрелился. Вот это-то "что-то" есть задача той книги. Чем мы живем? — Религия" (1).

(1) Архив Л. Н. Толстого.

Можно думать, что именно на это произведение намекает Лев Николаевич в письме к Фету в марте 1874 года по поводу смерти своего маленького сына; он говорит о сюжете нового писания, овладевшем им именно в самое тяжелое время болезни ребенка. Но это был лишь проблеск сознания. С тех пор они становятся чаще и чаще, и в письмах Л. Н-ча к своим друзьям все чаще и чаще

попадают слова, указывающие на начавшуюся уже в нем и все разгорающуюся душевную работу.

Из следующего письма к Фету видно, как мысль о смерти начинает овладевать Л. Н-чем:

30 апреля 1876 года.

"Получил ваше письмо, дорогой Афанасий Афанасьевич, и из этого коротенького письма, и из разговоров М. П., переданных мне женой, и из одного из последних писем ваших, в котором я пропустил фразу "хотел звать вас посмотреть, как я уйду", написанную между соображениями о корме лошадям и которую я понял только теперь, я перенесся в ваше состояние, мне очень

понятное и близкое, и мне стало жалко вас. И по Шопенгауэру, и по нашему сознанию, сострадание и любовь — одно и то же, и захотелось вам писать. Я благодарен вам за мысль позвать меня посмотреть, как вы будете уходить, когда вы думали, что близко. То же сделаю я, когда соберусь туда, если буду в силах думать. Мне никого в эту минуту так не нужно было бы, как вас и моего брата. Перед смертью дорого и радостно общение с людьми, которые в этой жизни смотрят за пределы ее, и вы, и те редкие настоящие люди, с которыми я сходилась в жизни, несмотря на здоровое отношение к жизни, всегда стоят на самом краешке и ясно видят жизнь только оттого, что глядят то в нирвану, в беспредельность, в

неизвестность, то в сансару, и этот взгляд в нирвану укрепляет зрение. А люди житейские, сколько они ни говори о боге, неприятны нашему брату и должны быть мучительны во время смерти, потому что они не видят того, что мы видим, именно того бога, более неопределенного, более далекого, но более высокого и несомненного, как говорится в этой статье.

Вы больны и думаете о смерти, а я здоров и не перестаю думать о том же и готовиться к ней. Посмотрим, кто прежде. Но мне вдруг из разных незаметных данных так ясна стала ваша глубоко родственная мне натура-душа (особенно по отношению к смерти), что я вдруг оценил наши отношения и стал гораздо больше, чем прежде, дорожить ими. Я многое, что я думал, старался выразить в последней главе апрельской книжки "Русского вестника" (1).

(1) А. А. Фет. "Мои воспоминания."

В этой последней главе апрельской книжки "Русского вестника" помещено описание смерти Николая Левина.

Вот заключительные слова этой главы, очевидно выражавшие его тогдашнее настроение:

"Вид брата и близость смерти возобновили в душе Левина то чувство ужаса перед неразгаданностью и вместе близостью и неизбежностью смерти, которое охватило его в тот осенний вечер, когда приехал к нему брат. Чувство это теперь было еще сильнее, чем прежде: еще менее, чем прежде, он чувствовал себя способным понять смысл смерти, и еще ужаснее представлялась ему ее

неизбежность; но теперь, благодаря близости жены, чувство это не приводило его в отчаяние: он, несмотря на смерть, чувствовал необходимость жить и любить. Он чувствовал, что любовь спасла его от отчаяния, и что любовь эта под угрозой отчаяния становилась еще сильнее и чище".

Религиозные вопросы теперь все чаще и чаще захватывают его интерес.

В письме к Н. Н. Страхову в мае 1876 года он пишет следующее:

"На днях П. Самарин был у меня и читал мне немецкую статью брата своего Юрия о религии. Вы прочтете ее в "Православном обозрении"; пожалуйста, напишите мне свое мнение. В ней хорошо доказательство, основанное на воздействии бога на человека (хотя гегельянское) и на важности, которую человек приписывает своей личности. Поразительна тоже в том же роде важность и несомненность, которую приписывает человек веществу, материи. Он про это не говорит. Но не правда ли, что нет более важных, простых и несомненных знаний, как знание своей личности и вещества? И оба знания одинаково отрицаются. И что значительность, которую имеют эти два камня знания, надо принимать в соображение и объяснить".

В сентябре того же года Л. Н-ч ненадолго съездил в самарское имение в сопровождении своего племянника Николая Толстого. Оттуда он проехал в Оренбург. В области сельского хозяйства Л. Н-ч увлекался в то время

разведением лошадей, за ними он и поехал в Оренбург. Там он встретил своего старого приятеля и севастопольского сослуживца генерала Крыжановского (бывшего тогда оренбургским генерал-губернатором) и очень приятно провел время в воспоминаниях давно пережитого.

В сентябре он писал жене своей, видимо о трудом отпустившей его в эту поездку:

"Я знаю, что тебе тяжело и страшно, но я видел то усилие, которое ты делала над собой, чтобы не помешать мне, и если можно, то еще больше люблю тебя за это. Если бы только бог дал тебе хорошо, здорово и энергично, деятельно провести это время, господи помилуй тебя и меня".

Опять эта религиозная нотка, не попадавшаяся раньше в его письмах. Характерна также следующая заметка в письме графини С. А. к ее сестре, писанном в сентябре того же года:

"Левочка постоянно говорит, что все кончено для него, скоро умирать, ничто не радует, нечего больше ждать от жизни".

То же настроение видно и из следующего письма Л. Н-ча к Страхову, в котором он, несмотря на это тяжелое настроение, высказывает глубокие философские мысли.

13 ноября 1876 года. Ясная Поляна.

"Вы истинный друг, дорогой Николай Николаевич. Несмотря на мое молчание и молчание на важное письмо ваше, вы все-таки радуете меня своими письмами. Не могу выразить, как я благодарен вам за последнее, не заслуженное мною, письмо ваше. Чтобы объяснить и

оправдать мое молчание, должен говорить о себе. Приехав из Самары и Оренбурга, вот скоро два месяца (я делал чудесную поездку), я думал, что возьмусь за работу, окончу давящую меня работу, окончание романа, и возьмусь за новое, и вдруг вместо этого всего ничего не сделал. Сплю духовно и не могу проснуться. Нездоровится, уныние. Отчаяние в своих силах. Что мне суждено судьбой — не знаю, но доживать жизнь без уважения к ней — а уважение к ней дается только известного рода трудом — мучительно. Думать даже — и к тому нет энергии. Или совсем худо, или сон перед хорошим периодом работы. Думать не могу сам, но понимать могу, особенно вас, и понял и оценил ваше первое письмо и всей душой желаю, чтобы вы окончили этот труд. Я перечел его несколько раз и читал Фету, и мы с ним поняли и одобрили ваши мысли, насколько мы их поняли. Одно, вопрос о том, что есть настоящее познание, требует невольно ответа. Настоящее, по-моему — и я уверен, по-вашему будет так же, но вы лучше меня это выразите — дается сердцем, т. е. любовью. Мы знаем то, что любим только. Последний вопрос ваш в нашей философской переписке был: что есть зло? Я могу ответить на него для себя. Разъяснение на этот ответ я вам дам в другой раз, и надеюсь на Рождестве. Мы с женой мечтаем, что вы приедете. Пожалуйста, приезжайте. Так ответ следующий: зло есть то, что разумно с мирской точки зрения. Убийство, грабеж, наказание, все разумно — основано на логических выводах, Самопожертвование, любовь — бессмыслица. Был я на днях в Москве только за тем, чтобы узнать новости о войне. Все это очень волнует меня. Теперь вся ерунда сербского движения, ставши ис-

торией прошедшего, получила значение. Та сила, которая производит войну, выразилась преждевременно и указала направление" (1).

(1) Архив В. Г. Черткова.

Признание мирской разумности злом и мирской нелепости добром — вот где начало критического отношения ко всему окружающему и зарождение религиозного сознания.

Старая жизнь для него действительно кончилась. Он нес ее только уже по инерции, но нужна была большая встряска душевная, чтобы быть в состоянии сбросить ее.

Это заглядывание "за пределы жизни" стало скоро для Л. Н-ча почти постоянным настроением души.

Через год он пишет Фету:

"Вы в первый раз говорите мне о божестве — Бога. А я давно уже не перестаю думать об этой главной задаче. И не говорите, что нам нельзя думать; не только можно, но должно. Во все века лучшие, т. е. настоящие люди думали об этом. И если мы не можем так же, как они, думать об этом, то мы обязаны найти как. Читали ли вы "Pensees de Pascal", т. е. недавно, на большую голову, Когда, Бог даст, вы приедете ко мне, мы поговорим о многом, и я вам дам эту книгу".

С отрицательной стороны настроение Л. Н-ча в это время отражается в его письме к Страхову в том же году:

"Мучительно и унижительно жить в совершенной праздности и противно утешать себя тем, что я берегу себя и жду какого-то вдохновения. Все это пошло и ничтожно. Если бы я был один, я бы не был монахом, я бы был юродивым, т. е. не дорожил бы ничем в жизни и не делал бы никому вреда. Пожалуйста, не утешайте меня, и в особенности тем, что я — писатель. Этим и уже давно и лучше вас себя утешаю, но это не берет и только внемлет моим жалобам, и это уже меня не утешает. На днях слушал урок священника детям из катехизиса. Все это было так безобразно. Умные дети так очевидно не только не верят этим словам, но и не могут не презирать этих слов, что мне захотелось попробовать изложить в катехизической форме то, во что я верю, и я попытался. И попытка эта показала мне, как это для меня трудно и — боюсь — невозможно: И от этого мне грустно и тяжело".

В это время Л. Н-ч был ещё православным. Урок православного закона Божия уже вызывает в нём отвращение к "такому" православию, и он пытается изложить "своё православие". Но так как его вера была совсем не православие, которое только случайно, временно прикрывало внешним образом его веру, то он, конечно, и не мог изложить его.

Каким же образом пришел Л. Н-ч к этой вере, которую он называет православной потому только, что ему страстно хотелось быть в духовном единении с массой рабочего народа, творящего, как он выражался, жизнь?

Он пришел к ней мучительным многолетним путем, который описывает в "Исповеди".

Внутренняя жизнь его и внешние толчки, напоминающие ему о том, что есть что-то неразрешенное в этой жизни, привели его к остановке жизни, к желанию

убить себя. Его жизнь стала казаться ему насмешкой кого-то злого над ним; состояние его было подобно состоянию того человека, про которого говорится в восточной сказке:

"Спасаясь от зверя, путник вскакивает в безводный колодец, но на дне колодца видит дракона, разинувшего пасть, чтобы пожрать его. И несчастный, не смея вылезть, чтобы быть пожранным драконом, ухватывается за ветки растущего в расщелине колодца дикого куста и держится на нем. Руки его ослабевают, и он чувствует, что скоро должен будет отдаться гибели, с обеих сторон ждущей его; но он держится и видит, что две мыши, одна черная, другая белая, равномерно обходя стволину куста, на котором он висит, подтачивают ее. Вот-вот сам собой обрушится и оборвется куст, и он упадет в пасть дракону. Путник видит это и знает, что он неминуемо погибнет; но пока он висит, он ищет вокруг себя и находит на листьях куста капли меда, достает их языком и лижет их. Так и я держусь за ветви жизни, зная, что неминуемо ждет дракон смерти, готовый растерзать меня, и я не могу понять, зачем я попал на это мучение. И я пытаюсь сосать тот мед, который прежде утешал меня, но этот мед уже не радует меня, а белая и черная мыши день и ночь подтачивают ветку, за которую я держусь. Я ясно вижу дракона и мышей, — и не могу отвести от них взоров. И это не басня, а это истинная, неоспоримая всякому понятная правда" (1).

(1) "Исповедь". Изд. "Свободное слово", с. 18.

Он метался от ужаса и, боясь конца, хотел приблизить его. Жизнь его держалась на волоске, но какая-то сила еще удерживала его, ему смутно казалось, что есть еще надежда найти разумный выход, и вот он обращается к науке опытной и науке умозрительной, ища ответа на мучающие его вопросы.

Но ни в той, ни в другой науке он ответа не находит.

Опытное знание игнорирует вопросы о конечных целях существования мира и человека.

Добросовестные же умозрительные науки ставят эти вопросы, но ответа на них не дают.

Тогда он обращается к классической мудрости, вопрошает Сократа, Шопенгауэра, Соломона и Будду, и ответы их только подтверждают безнадёжность его положения.

"Жизнь тела есть зло и ложь. И потому уничтожение этой жизни тела есть благо, и мы должны желать его", — говорит Сократ.

"Жизнь есть то, чего не должно быть, — зло, и переход в ничто есть единственное благо жизни", — говорит Шопенгауэр.

"Всё в мире — и глупость, и мудрость, и богатство, и нищета, и веселье, и горе, — всё суета и пустяки. Человек умрёт, и ничего не останется. И это глупо", — говорит Соломон.

"Жить с сознанием неизбежности страданий, ослабления, старости и смерти нельзя, — надо освободить себя от жизни, от всякой возможности жизни", — говорит Будда.

Итак, искание ответа в знаниях не дало ему удовлетворения, и его мучения продолжались. Тогда он

обращается к жизни и смотрит на жизнь окружающих. Как же живут они? И он видит четыре выхода, которые находят окружающие его люди из этих неразрешимых для него жизненных вопросов:

Первый выход — это неведение. Это люди, которые еще не поняли тех ужасных вопросов, которые мучат его, и потому у них ему нечему было учиться.

Второй выход — эпикурейство. Это те, кто не хотят сознательно видеть опасности и лижут мед, находящийся близко от них. Но для того, чтобы стать в это положение, нужно, во-первых, некоторые благоприятные обстоятель-

ства, а во-вторых, некоторую нравственную тупость, позволяющую не видеть как своей гибели, так и гибели тех, кто служит их прихотям. И этот второй выход Л. Н-ч не мог принять.

Третий выход был самоубийство. Многие сильные люди, поняв неизбежность гибели, сознательно кончали с собою. Л. Н-ч часто был близок к тому, но у него еще не было той полной безнадежности, которая может привести к этому.

Четвертый выход был выход слабости. Знать все и не иметь сил покончить с собой, тянуть жизнь...

"Это, — говорит Л. Н-ч, — было для меня отвратительно, мучительно, но я оставался в этом положении".

Нерешительность эта, как думает Л. Н-ч, происходила не только от слабости, трусости его. Причины ее лежали глубже. Ему смутно чувствовалось сомнение в истинности всех доводов, приводящих к такой безнадежности, такому отчаянию. К сомнению приводили такого рода

рассуждения: "Если мой разум — творец жизни, то как же он приводит меня к отрицанию ее? Если же разум есть сын жизни, последствие ее, то, тем более, как может он отрицать то, что породило его?"

Наконец, жизнь миллионов живущих и знающих рассуждение о тщете жизни и вместе с тем видящих смысл в ней, не дает права легко решиться на последнее, отчаянное средство — самоубийство. Все эти смутные доводы Л. Н-ч объединяет под одним названием "сознания жизни". Эта сила спасла его. Она не дала ему убить себя и обратила его взоры на жизнь рабочего народа.

И когда он вгляделся в жизнь народа, он увидал, что смысла жизни ему давала вера.

"И я оглянулся — говорит Л. Н-ч в "Исповеди", — на огромные массы отживших и живущих простых, неученых и небогатых людей и увидел совершенно другое. Я увидел, что все эти миллиарды живших и живущих людей, все, за редкими исключениями, не подходят к моему делению, что признать их не понимающими вопроса я не могу, потому что они сами ставят его и с необыкновенною ясностью отвечают на него. Признать их эпикурейцами тоже не могу, потому что жизнь их слагается больше из лишений и страданий, чем наслаждений; признать же их неразумно доживающими бессмысленную жизнь могу еще меньше, так как всякий акт их жизни и самая смерть объясняется ими. Убивать же себя они считают величайшим злом. Оказывалось, что у всего человечества есть какое-то не признаваемое и презираемое мною знание смысла жизни. Выходило то, что знание разумное не дает смысла жизни, исключает жизнь; смысл же, придаваемый жизни миллиардами людей, всем человечеством, зиждется на каком-то презренном ложном знании".

Из этого видимого противоречия Л. Н-чу представлялось два выхода. Он предполагал, что он ошибся в своих изысканиях по одному из двух направлений и что ему нужно или признать что-то, что он считал разумным, не столь разумным, или что-то, что ему казалось неразумным, не столь неразумным. И, проверяя выводы своего разума, он нашел ошибку в том, что в его рассуждениях понятие конечного и бесконечного смешивались им и не ставились на свойственное им место.

Жизнь человека выражается в отношении конечного к бесконечному и это отношение определяется и объясняется верою. Вера придает конечному существованию смысла бесконечного. Вера не основана на выводах разума, но она всеобща: где вера, там жизнь. И потому она истинна. Вера есть знание жизни. Вера есть сила жизни.

Если человек не видит призрачность конечного, он верит в конечное. Если видит призрачность конечного, он должен верить в бесконечное, чтобы жить. Но Л. Н-чу нужно было верить сознательно, избрать то вероучение, которое соответствовало бы его сознанию. И он принимается за изучение различных вер. Он читает Ренана, Штрауса, Макса Мюллера, Бюрнуфа, он изучает талмуд и ислам, увлекается буддизмом, но все-таки душа его тянет к христианству, он особенно долго останавливается на нем и знакомится с различными школами теоретического и практического христианства.

И он снова замечает, что когда он знакомится с вероучением своего круга, он снова теряет надежду найти

ответы на вопрос о смысле жизни. Он заметил, что для высшего круга людей вера была одним из эпикурейских утешений. И снова он обращается к народу, творящему жизнь, и видит, что для него вера есть основа жизни. Жизнь верующих высшего круга была противоречием их вере; жизнь верующих из народа была подтверждением их вере, последствием ее. И среди них он не видел боязни страдания и смерти, а напротив, спокойную и даже радостную покорность им.

"Я полюбил этих людей, — говорит Л. Н-ч. — Чем больше я вникал в их жизнь, живых людей, и в жизнь умерших людей, про которых я читал и слышал, тем больше я любил их и тем легче мне самому становилось жить. Я жил так года два, и со мной случился переворот, который давно готовился во мне и задатки которого всегда были во мне. Со мной случилось то, что жизнь нашего круга — богатых, ученых — не только опротивела мне, но потеряла всякий смысл. Все наши действия, рассуждения, науки, искусства, — все это предстало мне в новом значении. Я понял, что все это — одно баловство; что искать смысла в этом нельзя. Жизнь же всего трудящегося народа, всего человечества, творящего жизнь, представилась мне в ее настоящем значении. Я понял, что это — сама жизнь, и что смысл, придаваемый этой жизни, есть истина, и я принял его".

Л. Н-ч понял, что он заблудился, что его жизнь была зло, а не жизнь вообще. Он полюбил хороших людей, возненавидел себя и признал истину. Чтобы понять жизнь, надо творить ее.

Этот момент жизни Л. Н-ча следует отнести к 1878 году. Мир сошел в его душу, но процесс еще не был

закончен. Он пристал к народной вере. Но главная основа веры — Бог не был для него ясен, он искал его.

"В это же время, — пишет Л. Н-ч в "Исповеди", — со мной случилось следующее. Во все время этого года, когда я почти всякую минуту спрашивал себя: не кончить ли петлей или пулей, — во все это время, рядом с теми ходами мыслей и наблюдений, о которых я говорил, сердце мое томилось мучительным чувством. Чувство это я не могу назвать иначе, как исканием бога".

В этих исканиях он доходил до того, что начинал молиться тому, которого искал, о том, чтобы помог ему. Но молитву его никто не слышал, и отчаяние продолжалось.

Во время этих исканий Л. Н-ч заметил в душе своей колебание от полного отчаяния к неизмеримой радости бытия; он заметил, кроме того, что эти колебания совпадали с решением его разума и чувства об отвержении бога или принятии его. И он сказал себе:

"Что же такое эти оживления и умирания? Ведь я не живу, когда теряю веру в существование бога; ведь я бы уже давно убил себя, если бы у меня не было смутной надежды найти его. Ведь я живу, истинно живу только тогда, когда чувствую его и ищу его. Так чего же я ищу еще? — воскликнул во мне

голос. Так вот он. Он есть то, без чего нельзя жить. Знать бога и жить — одно и то же. Бог есть жизнь".

И он спасся от отчаяния, жизнь вернулась к нему, та самая сила жизни, которая влекла его на первых порах его жизни, только теперь она в нем стала сознательной. Вера

была найдена, оставалось очистить ее от наростов времени и невежества.

Мы видели выше, что Л. Н-ч принял народную веру, нашел своего бога. Мы видели также, что многое в этой вере не удовлетворяло его: были, собственно, не в народной, но в церковной вере догматы, обряды, молитвы, отталкивавшие Л. Н-ча от себя. И он употреблял все усилия ума и чувства, чтобы как-нибудь приспособиться к ним, с терпением и смирением переносить их. Дело было для него слишком важно, чтобы позволить себе легкомысленное отношение к ним.

Если человеку, спасенному от смерти, дадут неудобную одежду, несовершенную пищу, плохое жилище, он будет рад и им, потому что главное — жизнь — даровано ему, остальное можно потерпеть, изменить, улучшить, лишь бы главная сила жизни была налицо. Так было и со Л. Н-чем. Это свое состояние и свое отношение к народной вере он в таких словах изображает в "Исповеди":

"Я отрёкся от жизни нашего круга, признав, что это не есть жизнь, а только подобие жизни, что условия избытка, в которых мы живем, лишают нас возможности понимать жизнь, и что для того, чтобы понять жизнь, я должен понять жизнь не исключений, не нас, паразитов жизни, а жизнь простого трудового народа, — того, который делает жизнь, и тот смысл, который он придает ей. Простой трудовой народ вокруг меня был русский народ, и я обратился к нему и к тому смыслу, который он придает жизни. Смысл этот, если можно так выразиться, был следующий. Всякий человек, произошел на этот свет по воле бога. И бог так сотворил человека, что всякий человек может погубить свою душу или спасти ее. Задача человека

в жизни — спасти свою душу; чтобы спасти свою душу, нужно жить по божьи, а чтобы жить по божьи, нужно отречься от всех утех жизни, трудиться, смиряться, терпеть и быть милостивым. Смысл этот народ черпает из всего вероучения, передаваемого ему пастырями и преданиями, живущими в народе. Смысл этот мне ясен и близок моему сердцу".

Отношение Л. Н-ча к вере совершенно изменилось.

Прежде он полагал, что жизнь сама по себе имеет смысл, и что вера является каким-то ненужным придатком, и он, не терпевший ничего фальшивого, бросил ее. Теперь же он увидал, что жизнь без веры не имеет смысла. Он хотел бросить жизнь, но вера спасла его, и он всем существом своим ухватился за нее. И он готов был на всякие жертвы, чтобы только иметь возможность остаться в той тихой пристани, к которой он пришел после стойких мучений, — в народной вере.

Но тот высший разум, который привел его сюда, указывал ему, что и здесь оставаться нельзя. Сделки с разумом, смирение перед величием главных основ веры имело предел, и Л. Н-ч вскоре почувствовал, что ему надо идти дальше.

Он говорит, что он бы скорее бросил ложь, но ему помогли некоторое время держаться в этом неустойчивом положении новые богословские сочинения, так называемое новое православие, определяющее церковь как общество верующих, соединенных любовью. Но и это искусственное оживление умирающего организма не могло долго действовать.

И для него скоро ясно раздвоилось его отношение к православной вере.

Сближение с народом, странниками, сектантами, раскольниками, чтение житий святых, прологов — давало смысл. Беседа же с богословами вызвала только дурное чувство осуждения их, отталкивала его от исповедуемой им веры, и жизнь снова начинала для него терять смысл.

Он понял, что тогда как для него и для народа вера есть смысла жизни, для богословов и верующих высшего круга вера есть исполнение перед людьми известных человеческих обязанностей, не затрагивающих основы жизни.

В двух вопросах он коренным образом разошелся с представителями церкви:

1) Отношение к людям других вер, в которых он видел своих братьев, лишь иным путем пришедших к исповедуемой ими истине, тогда как представители церкви видели в них злейших врагов своих.

2) Отношение к насилию, казням и войнам. Для него это были преступления. Церковь благословляла их. И он отпал от церкви.

Но чтобы с полным сознанием выйти из неё, отделить в христианском учении золото от песка, он подвергнул снова тщательному исследованию и учение церкви, и самый источник христианского учения — Евангелие.

ГЛАВА 15.

Влияние кризиса на отношение Льва Николаевича к окружающей среде

Рассмотрим теперь несколько документов, дающих нам понятие о том, что думал, говорил и писал Л. Н-ч в это время в своей среде, как вся эта внутренняя борьба отражалась на его отношениях к окружающим людям.

Конечно, одним из первых, кто знал все перемены, происходившие во Л. Н-че, был Н. Н. Страхов. И письма Л. Н-ча к нему за это время полны глубокого интереса. Мы приводим некоторые из них, наиболее существенные.

Страхов был скептик, не имел твёрдых, ясных религиозных убеждений и откровенно признавался в этом Л. Н-чу.

В январе 1878 года Лев Николаевич, между прочим, пишет ему следующее:

"Об искании веры... Вы пишете, что всякие сделки с мыслью вам противны, мне тоже. Ещё пишете, что для верующих всякая бессмыслица хороша, лишь бы пахло благочестием (я бы заметил: лишь бы проникнуто было верою, надеждою и любовью). Они в бессмыслицах, как рыба в воде, им противно ясное и определенное. И я тоже. Я об этом начал писать и написал довольно много, но теперь оставил, увлекшись другими занятиями, но рассчитываю на вашу способность (необычайную) понимать других, попытаюсь в этом письме сказать, почему я думаю, что то, что вам кажется странным, вовсе не странно. Разум мне ничего не говорит и не может сказать на три вопроса, которые легко выразить одним: что я такое? Ответы на эти вопросы дает мне в глубине сознания какое-то чувство. Те ответы, которые мне дает это чувство, смутны, неясны, невыразимы словами (орудием мысли); но я не один искал и ищу ответы на эти вопросы. Все жившее человечество в каждой душе мучимо было теми же вопросами и получало те же смутные ответы

в своей душе. Миллиарды смутных ответов однозначных дали определённую отве-

там. Ответы эти — религия. На взгляд разума ответы бессмысленны. Бессмысленны даже по одному тому, что они выражены словами, но они все-таки одни отвечают на вопросы сердца. Как выражение, как форма они бессмысленны, но как содержание они одни истинны. Смотрю всеми глазами на форму — содержание ускользает; смотрю всеми глазами на содержание — мне дела нет до формы. Я ищу ответа на вопросы по существу своему, во имя разума и требую, чтобы они выражены были словом, орудием разума, и поэтому удивляюсь, что форма ответов не удовлетворяет разум. Но вы скажете: поэтому и ответов не может быть. Нет, вы не скажете этого, потому что вы знаете, что ответы есть, что этими ответами только живут, жили все люди, и вы сами живете. Сказать, что этих ответов не может быть, — все равно, что сказать, ехавши по льду, что реки не могут замерзнуть, потому что от холода тела сжимаются, а не расширяются. Сказать, что эти ответы бессмысленны — то же, что сказать, что я чего-то в них не умею понимать. И не умеете вы понимать, как мне кажется, вот чего: ответы спрашиваются не на вопросы разума, а на вопросы другие. Я называю их вопросами сердца. На эти вопросы с тех пор, как существует род человеческий, отвечают люди не словами, орудием разума, частью проявления жизни, а всею жизнью, действиями, из которых слово есть одна только часть. Все те верования, которые я имею, и вы, и

весь народ, основаны не на словах и рассуждениях, а на ряде действий, жизни людей, непосредственно (как зевота) влиявших одни на других, начиная с жизнью Авраамов, Моисеев, Христов, святых отцов, их жизнями и внешними даже действиями — коленопреклонениями, постом, соблюдением дней и т. д. Во всей массе бесчисленных действий этих людей почему-то известные действия выделялись и составляли одно целое предание, служащее единственным ответом на вопросы сердца. И потому для меня в этом предании не только нет ничего бессмысленного, но я даже и не понимаю, как к этим явлениям прилагать проверку смысленного и бессмысленного. Одна проверка, которой я подвергаю и всегда буду подвергать эти предания, это то, согласны ли даваемые ответы со смутным одиночным ответом, начертанным у меня в глубине сознания (о котором я говорил раньше). И потому, когда мне это предание говорит, что я должен хоть раз в год пить вино, которое называется кровью бога, я понимаю по-своему или, вовсе не понимая этого акта, исполняю его. В нем нет ничего такого, что бы противоречило смутному сознанию. Также я в известные дни ем капусту, а в другие — мясо; но когда мне предание (изуродованное борьбой разумения с различными толкованиями) говорит; "будемте все молиться, чтобы побить побольше турок", или даже говорит, что тот, кто не верит, что это настоящая кровь и т. п., тогда, справляясь не с разумением, но хоть со смутным, но несомненным голосом сердца, я говорю, это предание — ложное. Так что я вполне плаваю, как рыба в воде, в бессмыслицах и только не покоряюсь тогда, когда предание мне передает осмысленные им действия, не совпадающие с основной бессмыслицей смутного

сознания, лежащего в моем сердце. Если вы поймете, несмотря на неточность моих выражений, мою мысль, напишите, пожалуйста, согласны ли вы с ней или нет, и тогда почему. Совестно мне говорить, но говорю, что чувствую. Я так убежден в том, что я говорю, и убеждение это так для меня отрадно, что я не для себя желаю вашего суждения, но для вас. Мне бы хотелось, чтобы вы испытывали то же спокойствие и ту же свободу духовную, которую испытываю я. Знаю, что пути постигновения даже формальных математических истин для каждого ума — свои, тем более они должны быть свои особенные для

постигновения метафизических истин, но мне так ясно (как фокус, который вам показан), что не могу понять, в чем для других может быть еще непонятен этот фокус. Знаю тоже, что если мне в Москву надо ехать на север и сесть на машину в Туле, то это никак не может служить общим правилом для всех людей, находящихся на разных концах света и желающих приехать в Москву, тем более для вас, потому что знаю, что у вас с собой много поклажи (ваше знание и прошедшие труды), а я налегке, но я могу вас уверить, что я в Москве, больше никуда не могу желать ехать и что в Москве очень хорошо" (1).

(1) Архив В. Г. Черткова.

Страхов снабжал Л. Н-ча книгами, между прочим прислал ему "Жизнь Иисуса Христа" Ренана, книгу,

которой Страхов, по-видимому, сочувствовал. Во Л. Н-че эта книга вызвала удивление, почти отвращение. Вот как он выражает это чувство и эти мысли в письме к Н. Н. Страхову в апреле того же 1878 года:

"Другое это то, что я ныне говел и стал читать Евангелие и Ренана, "Жизнь Иисуса", всю прочел, и все время читал и удивлялся на вас. Могу объяснить ваше пристрастие к Ренану только тем, что вы были очень молоды, когда читали его. Если у Ренана есть какие-нибудь свои мысли, то это две следующие: 1) что Христос не знал *l'evolution et le progres*, и в этом отношении Ренан старается поправлять его и с высоты этой мысли критикует его (стр. 314, 315, 316). Это ужасно, для меня по крайней мере; прогресс, по мне, есть логарифм времени, т. е. ничего, констатизм факта, что мы живем во времени, и вдруг это-то становится судьей высшей степени, которую мы знаем. Легкомысленность или недобросовестность этого воззрения удивительны. Христианская истина, т. е. наивысшее выражение абсолютного добра есть выражение самой сущности вне формы, времени и др. Ренаны же смешивают ее выражение абсолютное с выражением ее в истории и сводят ее на временное проявление, и тогда обсуждают. Если христианская истина высока и глубока, то только потому, что субъективна абсолютно. Если же рассматривать ее объективное проявление, то она наравне с *Code Napoleon* и т. п. Другая новая у Ренана мысль — это то, что если есть учение Христа, то был какой-нибудь человек, и этот человек непременно потел и ходил на час. Для нас из христианства все человеческие унижающие реалистические подробности исчезли потому же, почему исчезли все подробности обо всех, живших когда-нибудь

жидах и др., потому, почему все исчезает, что не вечно, т. е., песок, который не нужен, промыт, осталось золото, по неизменяемому закону: кажется, что же делать людям, как не брать это золото? Нет, Ренан говорит, если есть золото, то был и песок, и он старается найти, какой был песок. И все это с глубокомысленным видом. Но что еще более забавно бы было, если бы не было так ужасно глупо, это то, что и песку этого они не находят никакого и только утверждают, что он должен был быть. Я прочел все и долго искал и спрашивал себя: ну, что же из этих исторических подробностей я узнал нового? И вспомните и сознайтесь, что ничего, ровно ничего. Я предполагаю дополнить Ренана, сделать соображения о том, какие и как были физические отправления. Всё прогресс, всё evolution. Может быть, что для того, чтобы узнать растение, надо знать среду, и даже чтобы узнать человека как государственное животное, надо узнать среду и движение, развитие, но чтобы понять красоту, истину и добро, никакое изучение среды не поможет, да и не имеет ничего общего с рассматриваемым. Там идет по плоскости, а тут совсем другое направление — вглубь и вверх. Нравственную истину можно и

должно изучать и конца ее изучения нет, но это изучение идет вглубь, как ведут его люди религиозные, а это детская, пошлая и подлая шалость".

В том же 1878 году Л. Н-ч начинает снова писать дневник, после 13-летнего перерыва. Вот первые записи его:

"22 мая. Окончил Болотова. Читал Парфения. Раскол наводит меня сильнее и сильнее на важность мысли о том, что признак истинности церкви есть единство ее (всеобщее единство), но что единство это не может быть достигнуто тем, что я или В. обратил всех других к своему взгляду на веру (так делалось до сих пор, и все расколы, папство, Лютер и др. — плод этого), но только тем, что каждый, встречаясь с несогласным, отыскивая в себе причины несогласия, отыскивает в другом те основы, в которых они согласны. Осмиконечный и четвероконечный крест и пресуществление вина или воспоминание — разве не то же ли самое?

Был у обедни в воскресенье. Под всё в службе я могу подвести объяснение, меня удовлетворяющее. Но "многие лета" и "одоление на врагов" есть кощунство. Христианин должен молиться за врагов, а не против их.

Читал Евангелие. Везде Христос говорит, что все временное ложно, одно вечное, т. е. настоящее, "птицы небесные" и др. И на религию смотреть исторически есть разрушение религии.

3 июня. Был Бобринский. Измучил меня своими разговорами о религии, о слове. Его страсть говорить. Самообольщение удивительное. Для меня он важен был тем, что на нем с ужасной очевидностью ясно заблуждение основания веры на слове, на одном слове. Вчера писал довольно много в маленькую книжку — сам не знаю зачем — о вере".

У нас сохранилась эта удивительная запись в "маленькую книжку"; приводим ее целиком:

"1878 года 2 июня. Человек хочет и любит все телесные блага приобрести для себя одного, а духовные блага приобретать для других, чтобы хвалили его. Человек

должен все телесные блага отбросить от себя и предоставить другим, а духовные блага приобретать только для себя одного.

С Богом нельзя иметь дело, вмешивая посредника и зрителя; только с глаза на глаз начинаются настоящие отношения, только когда никто другой не знает и не слышит, Бог слышит тебя.

Не доказательство, но объяснение форм моей веры.

1) Если я не удовлетворяюсь и, главное, не увлекаюсь изучением частным, а желаю узнать, понять хоть что-нибудь вполне, я вижу, что я ничего не могу знать, что ум мой для жизни временной, орудие для настоящего знания — игрушка, обман (Паскаль). Если я попытаюсь объяснить себе значение моих чувств, я увижу, что ум даже и не берется обмануть меня (Страхов). Если я попытаюсь обобщить и назвать те места, где для меня открывается мое незнание и невозможность знания, то я найду следующие безответные вопросы:

а) Зачем я живу? б) какая причина моему и всякому существованию? в) какая цель моего и всякого существования: г) что значит и зачем то раздвоение добра и зла, которые чувствую в себе? д) как мне надо жить? е) что такое смерть? Самое же общее выражение этих вопросов и полное есть: как мне спастись? Я чувствую, что погибаю. Живу и умираю, люблю жизнь и боюсь смерти — как мне спастись?

2) Разумная мысль не только моя, но всего человечества не дает на этот вопрос никакого ответа. Даже когда она трезва и хочет быть точна, она говорит, что не понимает даже этого вопроса. А всё-таки я и все человечество

спрашивает: как нам спастись? Разумная мысль не даёт ответа. Но плод деятельности человеческой же, похожей по внешности на разумную мысль, похожей, потому что выражается (отчасти) так же, как и разумная мысль, словом, дает эти ответы. Ответ этот религия. И ответ этот не такой, который бы надо с трудом искать, который бы был скрыт от людей и который бы получался особенным трудным, искусственным путем. Если бы ответ этот был таков, что, имея в виду ту ответственность, которую мы видим во всем, можно бы было усомниться в нем; но ответ таков, что он сопутствует постоянно вопросу, что нет человека, который бы был лишен его. Лишены его только те люди, которые или не делают вопроса, молодые, страстные, любящие жизнь, или те, которые, принимая ответы веры (словесные) за разумные ответы, требуют от них разумной доказательности, забывая, что разум бессилен дать ответы и прямо отрицает самый вопрос. Но все человечество и теперь живет и всегда жило и умирало с ответами на эти вопросы.

Но может быть, ответы эти — суеверия? Одно доказательство бы было, что можно и без них жить, — жить полной жизнью. Исключения мыслителей и испорченных не доказывают. Другое доказательство, что в них нет единства. Единство есть, оно-то и истина. Третье доказательство, что они неразумны, но ответы и не хотели быть разумны. Если предполагается, что они хотят быть разумны, то только оттого, что ответы отчасти выражены словом, орудием разума. Все же ответы выражены преданием, действием, жизнью.

3) Какой же ответ или какие ответы дает им религия? За исключением тех случайных людей, которые на разумный вопрос "как спастись?" ищут разумного ответа, все остальные, т. е. все видят ясные и точные ответы в религиях: "приноси в жертву людей для бога", "иди в Мекку и Медину для бога", "ставь свечи и целуй мощи для бога", "отрекись от себя, убей свою плоть, люби врагов, отдай имение нищим — для бога", т. е. делай наилучшее из того, что ты понимаешь таким для бога, т. е. для непостижимого. Это общий ответ на то, что надо делать, но раньше, кроме того, дают и ответы на то, как надо делать, и дают ответы неразумные, но самые понятные и доступные для самых низших существ (доступные для обезьян), ответы в примерах, в которых выражено, как убивать жертву, как идти в Мекку, в каком платье, что есть.

Во всякой религии есть ряд последователей главного примера учителя, и нужно только подражать им.

4) Таковы ответы верований, глядя на них независимо от своего личного отношения к вере. Человек чувствует опасность и ищет спасения, и вера примером, действием и словом дает ему средство спасения. Для дикого человеческая жертва есть спасение от опасности этой жизни, грома, пожара, войны, для некоторых и спасение от гневного бога после смерти. Для буддистов спасение в отречении от жизни. Для магометан, христиан это тоже спасение от смерти.

Вот тут-то как естественно и разумно, кажется, сказать: если для дикого убийство представляется истиной, для буддиста — аскетизм, для христианина — самопожертвование, то так как истина одна, то очевидно, что вера не имеет истины, а потому ложна. Но вера ищет

не внешней истины, а спасения, и различные формы спасения не исключают единства содержания.

Единство в том, что каждый ищет спасения и находит его только в отречении от себя.

5) Каждого человека лично вера, какая бы она ни была, вполне удовлетворяет, не проявляя никакого противоречия. Если она являет противоречие,

он изменяет ее. Дикий, пока не знает ничего противного идолу, отрицается своею волею, спасается идолом. Но если магометанин сказал ему о Боге, невидимом Творце, он оставляет его, и нет противоречия. Я — христианин и откинул противоречия икон, и не могу себе представить средством спасения христианского, так как не знаю и не могу себе представить другого высшего начала, подобного началу отречения себя и любви".

И недовольный той случайной формой, в которой вылились эти мысли, Л. Н-ч приписывает в конце: "все это очень плохо". Затем следуют краткие заметки, конспекты будущих рассуждений:

"1) Страх Божий есть начало премудрости. В чем выражается этот страх? Гром, смерть, пророки.

2) Вера выражается и передается не словом, а делом, примером. То были патриархи, потом Христос.

3) Что есть вера? Людское или божественное? Если людское, то неразумное. Людское, но жизнью всей и смертью по отношению к богу. Так как же его назвать, как не божественным, если не божеским?

4) Вера, включающая в себя все (известные) веры, без противоречия, — божественна, истинна, сколько может быть что-либо истинно. Чувства личные и верования не истинны, но одно верование, включающее все, одно истинно. Господи, даруй мне его и дай мне помочь другим познать его". (1)

(1) Архив Л. Н-ча Толстого.

На следующий день Л. Н-ч делает философскую запись, представляющую интересный критический взгляд на материализм:

"3-го июня. Материалисты совершенно правы, говоря, что каждая моя мысль есть следствие воздействия на меня материальных частиц. Так же они правы, говоря это о каждом моем чувстве, даже говоря то же о каждом моем желании — они правы. Пускай сознание свободы моей — заблуждение. Но что же они говорят этим? То, что волос не спадет с головы и что ничто — ни мысли, ни чувства, ни желания не могут возникнуть без воли бога. Что все происходящее происходит в пределах этой воли и что воля эта разумна, и непостижима. Они говорят то самое, что говорят христиане. Они говорят, что мысль, чувство, желание не беспричинно, бессмысленно возникает, но по строгому, мудрому закону. Закон же самый только с одной, ничтожнейшей стороны представляется смутно доступным постигновению, т. е. в самом высшем развитии своем наука дошла до догадки о том, что все совершается по мудрому закону.

Всякий серьезный мыслящий материалист должен признать: 1) что переход в действие материи, ощущения —

в мысль, чувство и желание не только непонятно, но тем становится таинственнее, чем дальше идет изучение по этому пути, что ясное знание этого перехода никогда не может быть приобретено человеком, что все изучение на этом пути приводит только к убеждению, что мысли, чувства и желания находятся в зависимости от ощущения, но что зависимость эта неизвестна, т. е. что они не случайны, но непостижимы, т. е. что они находятся в премудрой власти божией;

и 2) то, что если даже зависимость мыслей, чувств и желаний от ощущений была бы ясно определена, если бы было доказано, что сознание есть только цвет организма (и доказано, что организм есть необходимая форма жизни) (2). Одним словом, признавая всё то, что признают самые крайние мате-

(2) Я говорю для себя бессмысленные слова, но говорю их, зная, что материалисты связывают с ними какое-то значение.

риалисты, всякий мыслящий материалист должен сознаться, что те материальные причины воздействия на человека, производящие его мысли, чувства и желания, взяты слишком тесно, что всякая материальная причина имеет по самому свойству своему в основе другую причину, раздвояющуюся в пространстве и времени. И всякая другая причина имеет в основе третью и т. д. до бесконечности, и что поэтому отыскивать зависимость или причины на этом пути не только ведет далеко, но по

самому свойству своему, очевидно, невозможно. Чтобы объяснить то, что я пишу теперь, необходимо показать, что ряд впечатлений и ощущений произвел во мне мысли, которые я излагаю, то чувство волнения, которое испытываю, и то желание писать, которое я привожу в исполнение. Положим, что все ощущения были бы найдены и указаны. Но невольно следует другой ряд вопросов, что произвело эти ощущения?

Что образовало мою личность, мои прирожденные способности? И очевидно, что, восходя от причины к причине, я дохожу до вертящегося куска в пространстве. Но вертящийся кусок точно так же, как и рефлекс, требует своего объяснения. И очевидно, что я тотчас же утыкаюсь в бесконечность безразличного пространства и времени и в беспричинную причину, т. е. прихожу к признанию вездесущего, вечного, беспричинного бога.

Заблуждение материалистов в первом случае, когда они хотят и надеются изучением нервов и мозга показать переход ощущения в мысль, чувство и волю, зиждется на введении величины бесконечно малого в уравнение. Они надеются, что микроскопическое изучение откроет им истину. То же, что не откроет, то предполагается бесконечно малым.

Во втором случае, объясняя все причины, они говорят о бесконечно великих периодах времени. Искренний, мыслящий и не упрямый материалист должен признать, что он, расходясь с учением идеалистов, утверждающих, что есть один дух, ни на волос не расходится с учением религии и только подтверждает то, что говорит религия: что мы все находимся во власти божией, что волос не спадет и чувство не придет без воли божией, и что воля бога непостижимая и мудрая. Непостижимость ее

очевиднее для ученого, мыслящего материалиста, чем для неученого, ибо, исследуя путь своего изыскания, материалист не может не видеть невозможность постигновения всего, так как перед ним всегда открыта бесконечность. Мудрость этой воли он знает не по догадке и инстинкту, только как видит неученый, но по той разумной зависимости, которую он находит в той, хотя и бесконечно малой, но все-таки определенной области, которую он мог исследовать.

Самое же присутствие этой воли он не может не признавать, ибо она одна есть цель его изысканий — причина".

Через день в той же книжке Л. Н-ч набрасывает поэтическую картинку летней природы:

"5 июня. Жаркий полдень, 2-й час. Иду по высокому жирному лугу. Тихо, запах сладкий и душистый — зверобой, каша — стоит и дурманит. К лесу в лощине еще выше трава и тот же дурман; на дорожках лесных запах теплицы.

Кленовые листья огромные. Пчела на срубленном лесе обирает мед по очереди с куртины желтых цветов. С 13-го не задумавшись зажужжала и полетела — полна.

Жар на дороге, пыль горячая и деготь".

В том же году Л. Н-ч пишет, между прочим, Страхову:

"Встретился Москве с Бакуниным. Он пишет сочинение о знании и вере. У меня живет учителем математики кандидат петербургского университета, проживший два года в Канзасе, в Америке, в русских колониях

коммунистов. Благодаря ему, я познакомился с тремя лучшими представителями крайних социалистов, тех самых, которых теперь судят. Ну и эти люди пришли к необходимости остановиться в преобразовательной деятельности и прежде поискать религиозные основы. Со всех сторон (не вспомню теперь, кто) все умы обращаются на то самое, что мне не дает покоя".

Приводим здесь краткий рассказ этого самого учителя математики, Василия Ивановича Алексеева, поступившего в 1877 году ко Л. Н-чу в дом в качестве учителя к его старшему сыну Сергею, — рассказ, записанный нами с его слов.

"Я был в кружке Чайковского книгоношей, набирал умных книжек, вроде Спенсера, Льюиса, Милля, и распространял их между студентами, рабочими, комментировал и вообще мирно просвещал свой круг знакомых. Эта деятельность, однако, нас не удовлетворяла; с другой стороны, полиция не давала нам делать наше дело свободно, мы жаждали более широкого приложения наших сил. Мы думали, что если мы освободимся от всяких внешних препятствий, то тотчас и сотворим новую жизнь. С этими мыслями мы отправились в Америку, в Канзас, основали земледельческую интеллигентную общину и вскоре увидали, что препятствием к свободной жизни были не внешние условия, а наши собственные недостатки. Колония распалась, и мы вернулись в Россию. Я буквально голодал. Через каких-то знакомых мне предложили место учителя у графа Толстого. Я так испугался графского титула, что сначала наотрез отказался. Но меня уговорили. Я отправился в Ясную Поляну и поместился на деревне, в избе одного из дворовых, и приходил в дом Л. Н-ча для

занятий. Потом я переехал уже во флигель, в самую усадьбу. С первых же дней приветливость Л. Н-ча победила во мне всякий страх, и между нами установились самые дружеские отношения. Я застал Л. Н-ча в периоде искреннего православия. Я же был тогда атеистом, и тоже откровенным и искренним. Как мне казалось, одним из главных мотивов этого православия было народничество Л. Н-ча, желание участвовать в народной жизни, изучать, понимать ее и помогать ей. Тем не менее в беседах со Л. Н-чем я нередко выражал ему мое удивление, как он со своим развитием, пониманием и искренностью мог посещать церковь, молиться, соблюдать обряды. Помню, как один из таких разговоров происходил в гостинной яснополянского дома в один ясный морозный день. Л. Н-ч сидел против окна, замерзшего и пропускавшего сквозь узоры мороза косые лучи заходящего солнца. Выслушав меня, Л. Н-ч сказал: "Вот посмотрите на эти узоры, освещенные солнцем. Мы видим только изображение солнца на этих узорах, но знаем вместе с тем, что за этими узорами есть где-то далекое, настоящее солнце, источник того света, который и производит видимую нами картину. Народ в религии видит только это изображение, а я смотрю дальше и вижу, или, по крайней мере, знаю, что есть самый источник света. И эта разница нашего отношения не мешает нашему общению: мы оба смотрим на это изображение солнца, только разум наш до различной глубины проникает его".

Но я замечал, что время от времени в его душу закрадывалось чувство неудовлетворения. Раз, возвратясь из церкви, он, обращаясь ко мне, сказал: "Нет, не могу, тяжело; стою я между ними, слышу, как хлопают их пальцы по полушубку, когда они крестятся, и в то же

самое время сдержанный шепот баб и мужиков о самых обыденных предметах, не имеющих никакого отноше-

ния к службе. Разговор о хозяйстве мужиков, бабьи сплетни, передаваемые шепотом друг другу в самые торжественные минуты богослужения, показывают, что они совершенно бессознательно относятся к нему". Я, конечно, относился к совершавшемуся в нем процессу со всевозможнейшей деликатностью и только тогда, когда он спрашивал меня, откровенно выражал свое мнение.

Иногда у нас заводились разговоры и на экономические и социальные темы. У меня было евангелие, сохранившееся от времени пропаганды социализма в народе. В нем были подчеркнуты все места, касающиеся социальных вопросов, и я нередко указывал Л. Н-чу на эти места евангелия.

Постоянная внутренняя работа не давала Л. Н-чу покоя и, наконец, довела его до кризиса.

Помню один эпизод, бывший проявлением этой внутренней душевной борьбы. Будучи православным, Л. Н-ч соблюдал посты. Графиня С. А. тоже соблюдала и заставляла есть постное и своих детей. Когда она стала замечать во Л. Н-че колебание, она усилила строгость поста, так что все в доме ели постное, кроме меня и гувернера француза Mr. Niefa. Я говорил графине, что хотя я и не соблюдаю постов, но могу есть все, что подают, но она всегда приказывала готовить нам, двум учителям, скромное. И вот раз всем подали постное, а нам какие-то вкусные скромные котлеты. Мы взяли, и лакей отставил

блюдо на окно. Л. Н-ч., обращаясь к сыну, сказал: "Ильюша, а дай-ка мне котлет". Сын подал, и Л. Н-ч с аппетитом съел скоромную котлету и с этих пор совсем перестал поститься".

По свидетельству самого Л. Н-ча, по приводимым ниже письмам его к В. И. Алексееву, мы можем смело утверждать, что В. И. имел сильное благотворное влияние на Л. Н-ча и, конечно, взаимно испытал такое же влияние на себе.

Летом 1878 года Л. Н-ч совершил снова со всей семьёй поездку в Самарское имение.

Сначала он уехал со старшими детьми, мальчиками и гувернером, а потом туда поехала и Софья Андреевна с младшими детьми. С дороги Л. Н-ч писал С. А-не:

"...Но не забывай, однако, что, чтобы ты ни решила, оставаться или ехать, и чтобы ни случилось независящего от нас, я никогда, ни даже в мыслях, ни себя, ни тебя упрекать не буду. Во всем будет воля божия, кроме наших дурных или хороших поступков. Ты не сердись, как ты иногда досадуешь при моем упоминании о боге, я не могу этого не сказать, потому что это самая основа моей мысли.

Опять пишу вечером с того же парохода. Дети здоровы, спят и были милы. Десять часов вечера, и завтра в четыре часа, бог даст, будем в Самаре, а к вечеру на хуторе. День прошел также тихо, спокойно и приятно. Интересное было для меня беседа с раскольниками-беспоповцами Вятской губ., мужики, купцы очень простые, умные, приличные и серьезные люди. Прекрасный был разговор о вере".

Зимой 1878–79 года Л. Н-ч, уже просвещенный верою, писал свою "Исповедь".

Вот как изображает его настроение того времени графиня С. А. в письмах к своей сестре:

446

8 ноября.

"...Левочка же теперь совсем ушел в свое писание. У него остановившиеся странные глаза, он почти ничего не разговаривает, совсем стал не от мира сего и о житейских делах решительно не способен думать".

5 марта 1879 г.

"...Лёвочка читает, читает, читает... пишет очень мало, но иногда говорит: теперь уясняется, или: ах, если бог даст, то то, что я напишу, будет очень важно!"

Летом 1879 года Л. Н-ч ездил в Киев и посетил Киево—Печерскую лавру. В письмах к С. А., писанных с дороги, попадаются такие отзывы об этой поездке:

"13 июня. Киев очень притягивает меня.

14. Все утро до 3-х ходил по соборам, пещерам, монахам и очень недоволен поездкой. Не стоило того. В 7 час. пошел в лавру, к схимнику Антонию, и нашел мало поучительного. Что даст бог завтра".

Но и завтра повторилось то же разочарование. Очевидно, поездка эта не удовлетворила его и, по всей вероятности, способствовала скорейшему отпадению его от православной церкви.

Как только Л. Н-ч круто повернул свою жизнь, или, вернее, стал по мере своих сил осуществлять те основы жизни, которые всегда жили в его душе, так его более слабые друзья стали отставать от него и смотреть на него уже издали. Одним из первых отстал Фет.

Л. Н-ч, не прерывая, конечно, дружеских сношений с ним, должен был уже объяснить ему значение своего поведения, которое, очевидно, удивляло Фета и не соответствовало его умеренной натуре.

Так, на одно из писем Фета в июле 1879 года Л. Н-ч отвечает так:

"Благодарю вас за ваше последнее хорошее письмо, дорогой Афанасий Афанасьевич, и за аналог о соколе, который мне нравится, но который я желал более пояснить. Если я этот сокол и если, как выходит из последующего, залегание мое слишком далеко состоит в том, что я отрицаю реальную жизнь, то я должен оправдаться. Я не отрицаю ни реальной жизни, ни труда, необходимого для поддержания этой жизни, но мне кажется, что большая доля моей и вашей жизни наполнена удовлетворениями не естественных, а искусственно привитых нам воспитанием и самими нами придуманных и перешедших в привычку потребностей, и что девять десятых труда, полагаемого нами на удовлетворение этих потребностей, — праздный труд. Мне бы очень хотелось быть твердо уверенным в том, что я даю людям больше того, что получаю от них; но так как я чувствую себя очень склонным к тому, чтобы высоко ценить свой труд и низко ценить чужой, то я не надеюсь увериться в безобидности для других расчета со мной одним усилением труда и избранием тяжелейшего (я непременно уверю себя, что любимый мною труд есть самый нужный и трудный); я

желал бы как можно меньше брать от других и как можно меньше трудиться для удовлетворения своих потребностей, и я думаю, так легче не ошибиться".

В следующем письме к Фету Л. Н-ч делится с ним впечатлениями от прочитанных книг, выражая это впечатление своим оригинальным, парадоксальным языком:

"Мне удалось вам рекомендовать чтение "1001-й ночи" и Паскаля: и то, и другое вам не то что понравилось, а пришлось по вас. Теперь имею предложить книгу, которую еще никто не читал, и я на днях прочел в первый раз и

продолжаю читать и ахать от радости; надеюсь, что и эта придется вам по сердцу, тем более, что имеет много общего с Шопенгауэром: это Соломона Притчи, Экклезиаст и книга Премудрости, — новее этого трудно что-нибудь прочесть; но если будете читать, то читайте по-славянски. У меня есть новый русский перевод, но уж очень дурной. Английский тоже дурен. Если бы у вас был греческий, вы бы увидели, что это такое".

Летом того же года Л. Н-ча снова посетил Страхов; в письме к своему другу Н. Я. Данилевскому Страхов так изображает Л. Н-ча того времени:

"Толстого я нашёл на этот раз в отличном духе. С какою живостью он увлекается своими мыслями! Так горячо ищут истины только молодые люди, и могу положительно сказать, что он в самом расцвете своих сил. Всякие планы он оставил, ничего не пишет, но работает ужасно много. Однажды он повел меня с собою и показал, что он делает

между прочим. Он выходит на шоссе (четверть версты от дома) и сейчас же находит на нем богомолки и богомольцев. С ними начинаются разговоры, и если попадутся хорошие экземпляры и сам он в духе, он выслушивает удивительные рассказы. Верстах в двух есть небольшие поселки, и там есть два постоянные двора для богомольцев (содержатся не для выгоды, а для спасения души). Мы зашли в один из них. Человек восемь разного народа, старики, бабы, и делают, что кому нужно: кто ужинает, кто богу молится, кто отдыхает. Кто-нибудь непременно спорит, рассказывает, толкует, и послушать очень любопытно. Толстого, кроме религиозности, которой он очень предан (он и посты соблюдает, и в церковь ходит по воскресениям), занимает еще язык. Он стал удивительно чувствовать красоту народного языка, и каждый день делает открытия новых слов и оборотов, каждый день все больше бранит наш литературный язык, называя его не русским, а испанским. Все это, я уверен, даст богатые плоды. Были мы с ним также на волостном суде, часа три слушали, и я вынес оттуда величайшее уважение к этому делу, тогда как из суда над Засулич вынес глубокое омерзение.

Главная тема мыслей Толстого, если не ошибаюсь, противоположность между старою Русью и новою, европейскою. Он повторяет как новое много такого, что сказали славянофилы, но он это так проживет и поймет, как никто".

В это время, несмотря на зародившееся уже сомнение в истине православия, Л. Н-ч до такой степени был предан ему, что даже в личном поведении своем признавал авторитет церковных лиц, и когда, почувствовав нездоровье, он хотел по совету врача перестать есть

постное, то не решается этого сделать без разрешения церкви и идет к Троице и испрашивает там разрешение от поста у тамошнего старца Леонида.

Но это были уже последние попытки следования церковному учению.

30 сентября в записной книжке он уже набрасывает план будущего сочинения:

"Церковь, начиная с конца и до III века, — ряд лжи, жестокостей, обманов. В III веке скрывается что-то высокое. Да что же такое есть? Посмотрим Евангелие. Как мне быть? Вот вопрос души — один. Как были другие? Как? Заповеди?"

28 октября он делает следующую замечательную запись:

"Есть люди мира, тяжелые, без крыл. Они внизу возятся. Есть из них сильные — Наполеон, пробивают страшные следы между людьми, делают сумятицу в людях, но все по земле. Есть люди, равномерно отращивающие себе крылья и медленно поднимающиеся и взлетающие. Монахи. Есть легкие люди, воскрыленные, поднимающиеся легко от тесноты и опять спускающиеся — хорошие идеалисты. Есть с большими сильными крыльями, для похоти спускающиеся в

толпу и ломающие крылья. Таков я. Потом бьется со сломанным крылом, вспорхнет сильно и упадет. Заживут крылья, воспарю высоко. Помоги Бог.

Есть с небесными крыльями, нарочно из любви к людям спускающиеся на землю (сложив крылья), и учат людей летать. И когда не нужно больше, улетят. Христос".

Через день он пишет:

30 октября.

"Проповедовать правительству, чтобы освободило веру, — все равно, что проповедовать мальчику, чтобы он не держал птицы, когда он будет посыпать ей соли на хвост.

1) Вера, пока она вера, не может быть подчинена власти по существу своему — птица живая та, которая летает.

2) Вера отрицает власть и правительство

И потому правительству нельзя не желать насилловать веру. Если не насилловать, птица улетит".

В этом году Л. Н-ч приходит к невозможности совместить требования своего разума и совести с церковным учением, а изучение богословия подтверждает ему это решение теоретически.

В ноябре 1879 года С. А. пишет своей сестре:

"...Лёвочка всё работает, как он выражается: но — увы — он пишет какие-то религиозные рассуждения, читает и думает до головных болей, и всё это, чтобы показать, как церковь несообразна с учением Евангелия. Едва ли в России найдётся десяток людей, которые этим будут интересоваться. Но делать нечего, я одно желаю, чтобы уж он поскорее это кончил, и чтобы прошло это, как болезнь.

Им владеть или предписывать ему умственную работу такую или другую никто в мире не может, даже он сам в этом не властен".

Жизнь рассудила иначе. Миллионы людей интересуются теперь тем, что тогда писал Л. Н-ч. И мы постараемся в следующей главе, в сжатом очерке, дать понятие о самой сущности этой гигантской работы.

ГЛАВА 16.

Критическая работа

Л. Н-ч взял наиболее распространенное изложение православного богословия, а именно Макария, митрополита московского, выдержавшее уже много изданий и принятое за руководство в духовных училищах, даже переведенное на французский язык.

Это авторитетное изложение православных догматов Л. Н-ч подверг не так называемой научной критике, а критике простого, нравственного, здравого смысла и пришел к совершенно неожиданному заключению.

Вот как рассказывает он об этом в предисловии к своей книге "Критика догматического богословия":

"Я был приведен к исследованию учения о вере православной церкви неизбежно. В единении с православной церковью я нашел спасение от отчаяния. Я был твердо убежден, что в учении этом единая истина, но многие и

многие проявления этого учения, противные тем основным понятиям, которые я имел о Боге и Его законе, заставили меня обратиться к исследованию самого учения.

Я не предполагал еще, чтобы учение было ложное, я боялся предполагать это, ибо одна ложь в этом учении разрушала все учение. И тогда я терял ту главную точку опоры, которую я имел в церкви как носительнице истины, как источнике того знания смысла жизни, которого я искал в вере. И я стал изучать книги, излагающие православное вероучение. Во всех этих сочинениях, несмотря на различие подробностей и некоторое различие в последовательности, учение одно и то же, одна и та же связь между частями, одна и та же основа.

Я прочел и изучил эти книги, и вот то чувство, которое я вынес из этого изучения: если бы я не был приведен жизнью к неизбежному признанию необходимости веры, если бы я не видел, что вера служит основой жизни всех людей, если бы в моем сердце это расшатанное жизнью чувство не укрепилось вновь и если бы основой моей веры было только доверие, если бы во мне была только та самая вера, о которой говорится в богословии (научены верить), — я бы, прочтя эти книги, не только стал бы безбожником, но сделался бы злейшим врагом всякой веры, потому что я нашел в этих учениях не только бессмысленность, но сознательную ложь людей, избравших веру средством для достижения каких-то своих целей.

Я понял, и отчего это учение там, где оно преподается, — в семинариях — производит наверное безбожников, понял и то странное чувство, которое я испытывал, читая эти книги. Я читал так называемые кощунственные сочинения Вольтера, Юма, но никогда я не испытывал того несомненного убеждения в полном безверии человека, как то, которое я испытывал относительно составителей катехизисов и богословия. Читая в этих сочинениях

приводимые из апостолов и так называемых отцов церкви те самые выражения, из которых слагается богословие, видишь, что это выражение людей верующих, слышишь голос сердца, несмотря на неловкость, грубость, иногда даже ложность выражений; когда же читаешь слова составителя, то ясно видишь, что оставителю и дела нет до сердечного смысла приводимого им выражения, он не пытается даже понимать его. Ему нужно только случайно попавшееся слово, для того чтобы прицепить к этим словам мысль апостола к выражению Моисея или нового отца церкви. Ему нужно только составить свод такой, при котором бы казалось, что все, написанное в так называемых священных книгах и у всех отцов церкви, написано только затем, чтобы оправдать символ веры. И я понял, наконец, что все это не только ложь, но обман людей неверующих, сложившийся веками и имеющий определенную и неизменную цель" (1).

(1) "Критика православных догматов богословия" Л. Н. Толстого. Изд. "Свободное слово".

Мы приводим здесь несколько цитат, указывающих, с одной стороны, на характер критики, с другой стороны, дающих легкий намек на ту драму, которая происходила в душе Л. Н-ча во время этой работы.

Чтобы не быть заподозренным в предвзятом, отрицательном отношении к церкви, Л. Н-ч, приступая к рассмотрению догматов, говорит так:

"Я не говорю того, что я не верю в святость и непогрешимость церкви. Я даже в то время, как начал это

исследование, вполне верил в нее, в одну ее (казалось мне) верил".

Но он приступил к учению церкви со слишком чистыми требованиями. И она, торгующая в храме, конечно, не могла удовлетворить его.

Вот какую высокую задачу поставил он себе, начав исследование догматов:

"Я человек; Бог и меня имеет в виду. Я ищу спасения: как же я не приму того единого, чего ищу всеми силами души. Я не могу не принять их, наверно их приму. Если единение мое с церковью закрепит их, тем лучше. Скажете мне истины так, как вы знаете их, скажите хоть так, как они сказаны в том символе веры, который мы все учили наизусть. Если вы боитесь, что по затемненности и слабости моего ума, по испорченности моего сердца я не пойму их, помогите мне (вы знаете эти истины божии, вы, церковь, учете нас), помогите моему слабому уму, но не забываете, что, что бы вы ни говорили, вы будете говорить все-таки разуму. Вы будете говорить истины божии, выраженные словами, а слова надо понимать опять-таки только умом. Разъясните эти истины моему уму, покажите мне тщету моих возражений, размягчите мое зачерствелое сердце неотразимым сочувствием и стремлением к добру и истине, которые я найду в вас, а не ловите меня словами, умышленным обманом, нарушающим святыню предмета, о котором вы говорите. Меня трогает молитва трех пустынных, про которых говорит народная легенда, они молились богу: "трое вас, трое нас, помилуй нас". Я знаю,

что их понятие о боге неверно, но меня тянет к ним, хочется подражать им. Так хочется смеяться, глядя на смеющихся, и зевать, — на зевающих, потому что я чувствую всем сердцем, что они ищут бога и не видят ложности своего выражения. Но софизмы, умышленный обман, чтобы поймать в свою ловушку неосторожных и нетвердых разумом людей, отталкивают меня".

Углубляясь в исследование догматов, Л. Н-ч натыкается на догмат о Троице. Возмущенный массой нагроможденных богословами софизмов и малопонятных молитвенных возгласов, приводимых в доказательство очевидной нелепости, что $1 = 3$, Л. Н-ч в таких горячих словах изливает свое протестующее чувство:

"Положим, утверждалось бы, что бог живет на Олимпе, что бог золотой, что бога нет, что богов 14, что бог имеет детей или сына. Все это странные, дикие утверждения, но с каждым из них связывается понятие: с тем же, что бог 1 и 3, никакого понятия не может быть связано. И потому, какой бы авторитет ни утверждал этого, не только все живые и мертвые патриархи александрийские и антиохийские, но если бы с неба непрерывающий голос взывал ко мне: "я — один и три", я бы остался в том же положении не неверия (тут верить не во что), а недоумения, что значат эти слова и на каком языке, по каким законам могут они получить какой-нибудь смысл.

Для меня же, человека, воспитанного в духе веры христианской, удержавшего после всех заблуждений своей жизни смутное сознание того, что в ней истина; мне, ошибками жизни и увлечениями ума дошедшему до отрицания жизни и ужаснейшего отчаяния; мне, нашедшему спасение в присоединении к духу той веры, которую я чувствовал единственной движущей

человечество божественной силой; мне, отыскивающему наивысшее доступное мне выражение этой веры; мне, верующему прежде всего в бога, отца моего, того, по воле которого я существую, страдаю и мучительно ищущего его откровения, — мне допустить, что эти бессмысленные, кощунственные слова суть единственный ответ, который я могу получить от моего отца на мою мольбу о том, как понять и любить его, — мне это невозможно.

Бог, тот непостижимый, тот, по воле которого я живу! Ты же вложил в меня это стремление познать себя и меня. Я заблуждался, я не там искал истины, где надо было. Я знал, что я заблуждался. Я потворствовал своим дурным страстям и знал, что они дурны, но я никогда не забывал тебя: я чувствовал тебя всегда и в минуты заблуждений моих. Я чуть было не погиб, потеряв тебя, но ты подал мне руку, я схватился за нее, и жизнь осветилась для меня. Ты спас меня, и я ищущий теперь одного, приблизиться к тебе, понять тебя, насколько это возможно мне. Помоги мне, научи меня. Я знаю, что я добр, что я люблю, хочу любить всех, хочу любить правду. Ты бог любви и правды, приблизь меня еще к себе, открой мне все, что я могу понять о тебе.

И Бог благой, Бог истины отвечает мне устами церкви: божество единица и троица есть. О преславного обращения".

Продолжая дальше свое исследование, Л. Н-ч дает интересный пересказ библейской истории грехопадения Адама:

"Связанный смысл всей этой истории по книге Бытия, — говорит он, — прямо противоположный церковному рассказу, будет такой: бог сделал человека, но хотел его оставить таким же, как животные, не знающим отличия доброго от злого, и потому запретил ему есть плоды древа познания добра и зла. При этом, чтобы напугать человека, бог обманул его, сказав, что он умрет, как скоро съест. Но человек с помощью мудрости (змия) отличил обман бога, познал добро и зло и не умер. Но бог испугался этого и загородил от него доступ к дереву жизни, к которому, по этому самому страху бога, чтобы человек не вкусил этого плода, можно и должно предполагать, по смыслу истории, что человек найдет доступ, как он нашел к познанию добра и зла.

Хороша ли, дурна ли эта история, но так она написана в Библии. Бог по отношению к человеку в этой истории есть тот же бог, как и Зевес по отношению к Прометею. Прометей похищает огонь, Адам — познание добра и зла. Бог этих первых глав есть не бог христианский, не бог даже пророков и Моисея, бог, любящий людей, но это — бог, ревнующий свою власть к людям, бог, боящийся людей. И вот эту-то историю про этого бога богословию понадобилось свести с догматом искупления, и потому бог, ревнивый и злой, сведен в одно с богом-отцом, которому учил Христос. Только это соображение дает какой-нибудь ключ к кощунству этой главы".

Затем он разбирает догмат божественности Христа.

И таким образом, исследуя один догмат за другим, он переходит к их полному отрицанию.

Заключение Л. Н-ча к его критике богословия резюмирует всё учение православной церкви, как его понял Л. Н-ч при его исследовании. Пересказав его

вкратце, он снова задает тот вопрос, который привел его к исследованию христианской веры и в частности церковно-православной:

"Какой смысл имеет жизнь в этом мире?"

Но церковное учение не дало ему ответа на этот вопрос.

Таким образом, разрыв Л. Н-ча с церковью явился неизбежным последствием произведённого им исследования церковного учения. И в противоположность этому отрицаемому им церковному учению Л. Н-ч в небольшом дополнении к заключению под вопросительным заглавием "Православная церковь?", высказывая свое возмущенное чувство по отношению к церковному обману, в таких кратких словах излагает свое понимание учения Христа в то время:

"Для того, кто понял учение Иисуса, оно в том только состоит, что мне, моему свету дано идти к свету, мне дана моя жизнь. И кроме нее и больше ее ничего нет, кроме источника всякой жизни — бога.

Всё учение смирения, отречение от богатства, любовь к ближнему имеет только тот смысл, что я эту жизнь могу сделать жизнью в самой себе бесконечной. Всякое мое отношение к чужой жизни есть только вознесение моей, общение, единение с нею в мире и в боге. Собою только я могу постигнуть истину, и мои дела суть последствия вознесения моей жизни.

Я могу сам собою выразить эту истину. Какой же для меня, понимающего так жизнь (а иначе я не понимаю ее), может быть вопрос о том, что другие думают, как другие

живут? Любя их, я не могу не желать сообщить им мое счастье, но одно орудие, данное мне, — это сознание моей жизни и дела ее. Я не могу желать, думать, верить за другого. Я возношу свою жизнь, и это одно может вознести жизнь другого, да и другой — я же; так что, если я вознесу себя, я вознесу всех.

Я в них, и они во мне.

И что же будет, если не будет церкви?

Будет то, что есть и теперь, то, что сказал Иисус. Он сказал: сотворите добрые дела, чтобы люди, видя их, прославляли бога. И только это одно учение было и будет с тех пор, как стоял и будет стоять мир. В делах нет разногласия, а в исповедании, в понимании, во внешнем богопочитании если есть и будет разногласие, то оно не касается веры и дел и никому не мешает. Церковь хотела соединить эти исповедания и внешние богопочитания, а сама распалась на бесчисленное количество толков, и одно отвергло другое и тем показало, что ни исповедание, ни богопочитание не есть дело веры. Дело веры есть только жизнь по вере. И жизнь одна выше всего и не может быть подчинена ничему, кроме бога, познаваемого только жизнью".

Итак, Л. Н-ч расстался с православной церковью. Но ведь он был в ней только потому, что считал ее хранительницей учения Христа, в которое поверил и которому стал следовать в жизни. Где же оно? В церкви, при тщательном исследовании ее учения, Л. Н-ч нашел столько противоречий с главной основой Христова учения, что ему пришлось совсем откинуть церковное учение.

Но без учения Христа он жить не мог; мало того, ему хотелось подробнее, полнее изучить его, чтобы осветить им всю свою жизнь. Где искать его?

Все в той же, отрицаемой им, церкви, пронесшей через века и сохранившей нам каким-то непонятным чудом Евангелие, изложение учения Христа, сущность которого разрушает всё церковное учение.

И Л. Н-ч принимается за усердное чтение Евангелия.

Это чтение вызвало в нём снова напряжённую работу мысли и чувства, и результатом этой работы явилось замечательное произведение, названное им так: "Соединение и перевод 4-х Евангелий".

В предисловии к этому труду Л. Н-ч сам рассказывает о тех обстоятельствах его жизни, которые натолкнули его на этот труд. Мы приведем здесь существеннейшие места из этого предисловия.

"Приведённый разумом без веры к отчаянию и отрицанию жизни, я, оглянувшись на живущее человечество, убедился, что это отчаяние не есть общий удел людей, но что люди жили и живут верою. Я видел вокруг себя людей, имеющих эту веру и из нее выводящих такой смысл жизни, который давал им силы спокойно и радостно жить и так же умирать. Я не могу разумом выяснить себе этого смысла. Я постарался устроить свою жизнь так, как жизнь верующих, постарался слиться с ними, исполнять все то же, что они исполняют в жизни и во внешнем богопочитании, думая, что этим путем мне откроется смысл жизни. Чем более я сближался с народом и жил так же, как он, и

исполнял все те внешние обряды богопочитания, тем более я чувствовал две противоположно действовавшие на меня

силы. С одной стороны, мне всё более и более открывался удовлетворявший меня смысл жизни, не разрушаемый смертью, с другой стороны, я видел, что в том внешнем исповедании веры и богопочитания было много лжи. Я понимал, что народ может не видеть этой лжи по безграмотности, недосугу и неохоте думать, и что мне нельзя не видеть этой лжи и, раз увидав, нельзя закрыть на нее глаза, как это мне советовали верующие образованные люди. Чем дальше я продолжал жить, исполняя обязанности верующего, тем более эта ложь резала мне глаза и требовала исследования того, где в этом учении кончается ложь и начинается правда. То, что в христианском учении была сама истина жизни, в этом я уже не сомневался. Внутренний разлад мой дошел, наконец, до того, что я не мог уже умышленно закрывать глаза, как я делал это прежде, и должен был неизбежно рассмотреть то вероучение, которое я хотел усвоить.

Каждая христианская церковь, — говорит он далее, — т. е. вероучение, несомненно происходит из учения самого Христа, но не оно одно происходит, от него происходят и все другие учения. Они все выросли из одного семени, и то, что соединяет их, что обще всем им, это — то, из чего они вышли, т. е. семя. И потому, чтобы понять истинно Христово учение, не нужно изучать его, как это делает единое вероучение, от ветвей к стволу; не нужно также и так же бесполезно, как это делает наука, история религий, изучать это учение, исходя от ствола к ветвям. Ни то, ни другое не даст смысла учения. Смысл дается только познанием того семени, того плода, из которого все они вышли и для которого они все живут. Все вышли из жизни и дел Христа, и все живут только для того, чтобы

производить дела Христа, т. е. дела добра. И только в этих делах они все сойдутся.

Меня самого к вере привело отыскание смысла жизни, т. е. искание пути жизни — как жить. И увидав дела жизни людей, исповедовавших учение Христа, я прилепился к ним. Таких людей, исповедующих делами учение Христа, я одинаково и безразлично встречаю и между православными, и между раскольниками всяких сект, и между католиками, и между лютеранами, так что, очевидно, общий смысл жизни, даваемый учением Христа, почерпается не из вероучений, но из чего-то другого, общего всем вероучениям. Я наблюдал добрых людей не одного всем вероучения, а разных, и во всех видел один и тот же смысл, основанный на учении Христа. Во всех тех разных сектах христиан я видел полное согласие в воззрении на то, что есть добро, что есть зло, и на то, как надо жить. И все эти люди это воззрение свое объявляли учением Христа. Вероучения разделились, основа их одна, стало быть, в том, что лежит в основе всех вер, есть одна истина. Вот эту-то истину я и хочу узнать теперь. Истина веры должна находиться не в определенных толкованиях откровений Христа, тех самых толкованиях, которые разделили христиан на 1000 сект, а должна находиться в самом первом откровении самого Христа. Откровение это самое первое — слово самого Христа — находится в Евангелиях. И потому я обратился к изучению Евангелия".

Для того, чтобы понять содержание писания, принадлежащего к вере христианской, надо прежде всего решить вопрос: какие из 27 книг, выдаваемых за св. писание, более или менее существенны, важны, и начать именно с более важных. Такие книги, несомненно, суть четыре Евангелия. Все предшествующие им, может быть,

по большей мере только исторический материал для понимания Евангелия, все последующее — только объяснение этих же

книг. И потому не нужно, как это делают церкви, неизбежно соглашать все книги (мы убедились, что это более всего привело церковь к проповедованию непонятных вещей), а отыскивать в этих 4-х книгах, излагающих, по учению же церкви, самое существенное откровение, отыскивать самые главные основы учения, не сообразуясь ни с каким учением других книг, и это не потому что я не хочу этого, а потому что я боюсь заблуждения других книг, которые имеют такой яркий и очевидный пример.

Отыскивать я буду в этих книгах: 1) то, что мне понятно, потому что непонятному никто не может верить, и знание непонятного равно незнанию; 2) то, что отвечает на мой вопрос о том, что такое я, что такое бог, и 3) какая главная единая основа всего откровения? И потому я буду читать непонятные, ясные и полупонятные места не так, как мне хочется, а так, чтобы они были наиболее согласны с местами вполне ясными и сводились бы к одной основе. Читая таким образом не раз, не два, а много раз как самое писание, как и писанное о нем, я пришел к тому выводу, что все предание христианское находится в 4-х Евангелиях, что книги Ветхого Завета могут служить только объяснением той формы, которую избрало учение Христа, могут лишь затемнить, но никак не объяснить смысл учения Христа, что послания Иоанна, Иакова суть

вызванные особенностью случая частные разъяснения учения, что в них можно иногда найти с новой стороны выраженное учение Христа, но ничего нельзя найти нового. К несчастью же, весьма часто можно найти, особенно в посланиях Павла, такое выражение учения, которое может вовлекать читающих в недоразумения, затемняющие самое учение. Деяния же апостольские, как и многие послания Павла, часто не только не имеют ничего общего с Евангелием и посланиями Иоанна, Петра и Иакова, но часто противоречат им. Апокалипсис прямо уже ничего не открывает. Главное же то, что как ни разновременно они написаны, Евангелие составляет изложение всего учения, все остальное же есть толкование их. Читал я по-гречески, на том языке, на котором оно есть у нас, и переводил так, как указывал смысл и лексиконы, изредка отступая от переводов, на новых языках существующих, составленных уже тогда, когда церковь своеобразно поняла и определила значение предания. Кроме перевода, я неизбежно был приведен к необходимости свести четыре Евангелия в одно, так как все они излагают, хотя и разноречиво, одни и те же события и одно и то же учение" (1).

(1) "Соединение и перевод Евангелий". Изд. Эльпидина.

Мы уже упомянули в одной из предыдущих глав о том, что Л. Н-ч с увлечением изучал в начале 70-х годов греческий язык. Это знание как нельзя более пригодились ему. А его исключительные филологические способности дали ему особую проницательность при переводе греческих текстов.

С полной серьезностью и с редким увлечением работал Л. Н-ч над изучением Евангелий. Он пользовался трудами самых лучших экзегетов того времени — Рейса, Гризбаха, Тишендорфа, сопоставляя их мнения с трудами православных исследователей: архимандрита Михаила, Грегулевича и др. Расположив евангельскую историю в хронологическом порядке, соединяя в одну связную систему всех четырех евангелистов, Л. Н-ч текст за текстом переводит, сличает, толкует, обобщает и находит связующий смысл. Все свое соединение Евангелий он разделяет на введение, двенадцать глав и заключение.

В конце каждой главы в свободном изложении он резюмирует содержание этой главы.

Центральным местом Евангелия в объяснении Л. Н-ча следует считать его изложение беседы с Никодимом "о новом рождении" и толкование притчи о сеятеле, где решается вопрос о том, что такое зло.

"Со словами "кончено" кончено и Евангелие", — так начинает Л. Н-ч свое заключение к этой книге, показывая тем, что все чудесное, а тем более чудо из чудес — воскресение, им опускается.

Истина евангельского учения, — говорит Л. Н-ч, — не нуждается в доказательствах.

Существование его 1800 лет среди миллиардов людей достаточно показывает нам его важность. Может быть, нужно было говорить, что лес посажен богом и чудовище его стережет, а бог защищает; может быть, это было нужно, когда леса не было, но теперь я живу в этом 1800-

летнем лесу, когда он вырос и во все стороны окружает меня. Доказательств того, что он есть, мне не нужно: он есть. Так и оставим все то, что когда-то нужно было для произрастания этого леса — образования учения Христа".

Этот огромный труд был окончен около 1881 года.

Исследование Евангелий Л. Н-ча, как и большая часть его религиозно-философских произведений, не предназначалось им самим для печати, он предоставлял это делать друзьям. Он сам говорит об этом в конце своей исповеди, излагая план своих религиозных сочинений:

"Что я нашел в этом учении ложного, что я нашел истинного и к каким выводам я пришел, составляет следующие части сочинения, которое, если оно того стоит и нужно кому-нибудь, вероятно, будет когда-нибудь и где-нибудь напечатано".

Не встречая в семье своей сочувствия этому новому роду своих произведений, Л. Н-ч отложил написанную с большим трудом работу и принялся за дальнейшее изложение своих мыслей.

Но как «не может укрыться город, стоящий наверху горы», так не могло остаться в безызвестности и его великое произведение, и оно вскоре увидело свет.

Первое полное издание "Соединения и перевода 4-х Евангелий" было сделано нами в Женеве у Эльпидина на средства К. М. С.

Мы уже упоминали о присутствии в доме Льва Николаевича учителя В. И., со вниманием и любовью следившего за религиозным процессом, совершавшимся во Л. Н-че, отчасти кротко влиявшего на него и самого воспринимавшего на себя его могучее влияние.

В. И., прочитав работу над Евангелием, был поражён новым открывшимся ему смыслом учения Христа.

Первым, непосредственным желанием В. И. было переписать себе это удивительное произведение и увезти его с собой, чтобы поделиться этими новыми мыслями со своими друзьями, так как срок пребывания его в доме Л. Н-ча уже кончался. Но, сообразив размеры этого труда и остающееся ему время, В. И. решил, что он не может успеть переписать всего Евангелия, и тогда он решил списать только перевод самих евангельских текстов. Сделав эту работу, В. И. дал ее на просмотр Л. Н-чу, который снова прочел и проредактировал эти тексты и написал новое предисловие и заключение к этому списку. Таким образом появилось новое произведение Л. Н-ча под заглавием "Краткое изложение Евангелия", получившее едва ли не наибольшее распространение из всех его религиозных произведений и известное в читающей публике и в критике под именем "Евангелия Толстого".

В предисловии к этому краткому изложению Евангелия Л. Н-ч так определяет место этого произведения в ряду других религиозных сочинений:

"Это краткое изложение Евангелия есть извлечение из большого сочинения, которое лежит в рукописи и не может быть напечатано в России".

Сочинение состоит из 4-х частей:

1) Изложение того хода личной жизни и моих мыслей, которые привели меня к убеждению в том, что в христианском учении находится истина ("Исповедь").

2) Изложение христианского учения по толкованиям церкви вообще, апостолов, соборов и так называемых

отцов церкви и доказательства ложности этих толкований ("Критика догматического богословия").

3) Исследование христианского учения не по этим толкованиям, а только по тому, что дошло до нас из учения Христа, приписываемого ему и записанного в Евангелиях, перевод 4-х Евангелий и соединение их в одно ("Соединение и перевод 4-х Евангелий").

4) Изложение настоящего смысла христианского учения, причин, по которым оно было извращено, и последствий, которые должна иметь его проповедь ("В чем моя вера").

Это краткое изложение Евангелий есть сокращение третьей части. Все краткое изложение, подобно полному, разбито Л. Н-чем на 12 глав, хотя названия глав даны несколько иные, чем в полном изложении.

"Окончив свою работу, — говорит Л. Н-ч в предисловии, — я, к удивлению и радости своей, нашел, что так называемая молитва господня ("Отче наш") есть ничто иное, как в самой сжатой форме выраженное все учение Иисуса в том самом порядке, в котором были расположены мною главы, и что каждое выражение молитвы соответствует смыслу и порядку глав:

Слова молитвы

Название глав

- | | |
|------------------------------|--|
| 1) Отче наш. | Человек — сын Бога. |
| 2) Иже еси на небесех! | Бог есть бесконечное
духовное начало жизни. |
| 3) Да святится имя твоё, | Да будет свято
это начало жизни. |
| 4) Да приидет царствие твоё, | Да осуществится его власть
во всех людях. |
| 5) Да будет воля твоя | И да совершится воля |

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| яко на небеси | этого бесконечного начала |
| | как в самом себе, |
| 6) И на земли. | Так и во плоти. |
| 7) Хлеб наш насущный | Жизнь временная |
| даждь нам | есть пища жизни истинной. |
| 8) Днесь, | Жизнь истинная в настоящем. |
| 9) И остави нам долги наша, | И да не скрывают от нас этой |
| якоже и мы оставляем | истинной жизни ошибки |
| должником нашим; | и заблуждения прошедшего. |
| 10) И не введи нас | И да не вводят нас в обман |
| во искушение,. | |
| 11) Но избави нас от лукавого. | И потому не будет зла. |
| 12) Яко твоё есть царство | А будет твоя власть, |
| и сила и слава. | и сила, и разум. |

В этом предисловии Л. Н-ч снова вкратце повторяет описание того пути, который его привёл к изучению Евангелия и к признанию за ним полной истины.

И кончает его словами, в которых, обращаясь к читателю, с новою силою подчёркивает и объясняет значение своего труда:

"Дело не в том, чтобы доказать, что Иисус не был Бог и что потому учение его не божественное, и не в том, чтобы доказать, что он не был католиком, а в том, чтобы понять, в чём состояло то учение, которое было так высоко и дорого людям, что проповедника этого учения люди признали и признают богом. Вот это-то я пытался сделать, и для себя, по крайней мере, сделал это. И вот это-то я и предлагаю моим братьям.

Если читатель принадлежит к огромному большинству образованных, воспитанных в церковной вере людей, но отрекшихся от нее вследствие ее несообразностей со здравым смыслом и совестью (остались ли у такого человека любовь и уважение к духу христианского учения или он, по пословице: "осердясь на блох, и шубу в печь", считает все христианство вредным суеверием), я прошу такого читателя помнить, что то, что отталкивает его, и то, что представляется ему суеверием, не есть учение Христа, что Христос не может быть повинен в том безобразном предании, которое приплели к его учению и выдавали за христианство; надо изучать только одно учение Христа, как оно дошло до нас, т. е. те слова и действия, которые приписываются Христу и которые имеют учительное значение. Читая мое изложение, такой читатель убедится, что христианство не только не есть смешение высокого с низким, не только не есть суеверие, но есть самое строгое, чистое и полное метафизическое и этическое учение, выше которого не поднимался до сих пор разум человеческий и в кругу которого, не сознавая того, движется вся высшая человеческая деятельность: политическая, научная, поэтическая, философская. Если читатель принадлежит к тому ничтожному меньшинству образованных людей, которые держатся церковной веры, исповедуя ее не для внешних целей, а для внутреннего спокойствия, я прошу такого читателя, прежде чем читать, решить в душе вопрос о том, что ему дороже: душевное спокойствие или истина? Если спокойствие, то прошу его не читать, если же истина, то прошу его помнить, что учение Христа, изложенное здесь, несмотря на одинаковость названия, есть совершенно другое учение, и что поэтому отношение его, исповедующего церковную веру, к этому изложению

есть то же, как отношение магометанина к проповеди христианства, что вопрос для него не в том, согласно ли или не согласно предлагаемое учение с его верою, а только в том, какое учение согласнее с его разумом и сердцем: его ли, церковное, учение или одно учение Христа. Вопрос для него только в том — хочет ли он принять новое учение или оставаться в своей вере. Если же читатель принадлежит к людям, внешне исповедующим церковную веру и дорожающим ею не потому, что они верят в истину ее, а по внешним соображениям, потому что они считают исповедание и проповедование ее выгодным для себя, то пусть такие люди помнят, что сколько бы у них ни было единомышленников, как бы сильны они ни были, на какие престолы ни садились, какими бы ни называли себя высокими именами, они не обвинители, а обвиняемые — не мною, а Христом. Такие читатели пусть помнят, что им доказывать нечего, что они уже сказали, что имели сказать, что если бы даже они и доказали то, что доказывают каждые для себя, все сотни отрицающих друг друга исповеданий церковных вер, что им не доказывать нужно, а оправдываться. Оправдываться в кощунстве, по которому они учение Иисуса-бога приравняли к учению Ездры, соборов, Феофилактов и позволили себе слова бога перетолковывать и изменять на основании слов люден. Оправдываться в клевете на бога, по которой они все те изуверства, которые были в их сердцах, свалили на бога-Иисуса и выдали их за его учение. Оправдываться в мо-

шенничестве, по которому они, скрыв учение Бога, пришедшего дать благо миру, подставили на его место свою "свято-духовскую" веру и этою подстановкою лишили и лишают миллиарды людей того блага, которое принес людям Христос, и вместо мира и любви, принесенных им, внесли в мир секты, осуждения и всевозможные злодейства, прикрывая их именем Христа.

Для этих читателей только два выхода: смиренное покаяние и отречение от своей лжи или гонение тех, которые обличают их за то, что они делали и делают.

Если они не отрекутся от лжи, им остается одно: гнать меня, на что я, оканчивая своё писание, готовлюсь с радостью и со страхом за свою слабость" (1).

(1) "Краткое изложение Евангелии" Л. Н. Толстого. Изд. Эльпидина, Женева.

Н. Н. Страхов, внимательно следивший за всеми работами Л. Н-ча, сообщает Н. Я. Данилевскому об этой работе следующее:

"Этою зимою он составил ещё новое изложение евангельского учения (не самого Евангелия). Если будете здесь, то всем этим я вас угощу досыта, да и поспорю с вами, если вы вздумаете, по вашему обычаю, упорствовать".

В том же письме Страхов говорит о первых появившихся французских переводах религиозных произведений Л. Н-ча:

"...О Л. Н-че Толстом вот что знаю наверное. Его приятель, князь Урусов, ездил в Париж; он величайший поклонник новых мыслей Толстого и перевёл для "Revue

Nouvellee" "Исповедь" (2), которая печаталась в "Русской мысли" и сожжена, и вступление к изложению Евангелия. Это вступление там напечатали, давши ему другое заглавие, вовсе не подходящее, а "Исповедь" считают ненужным печатать, так как поместили статью Циона "Un pessimiste russe", довольно неглупую. Вышел из всего неясный вздор. Все это сделано без всякого почина со стороны Толстого, но и препятствовать он не думает" (3).

(2) По-видимому, Н. Н. здесь ошибается. Нам известно, что князь Урусов перевел не "Исповедь", а "В чём моя вера?". Этот труд его издан в Париже Фишбахером.

(3) "Русский вестник" 1901 г. "Письма Н. Н. Страхова к Н. Я. Данилевскому".

Свободное обращение Л. Н-ча с евангельскими текстами, очевидно, не нравилось этим расположенным к нему, но консервативным людям. В одном из следующих писем к Данилевскому Н. Н. Страхов пишет:

"...Я рассказал ему о нашем чтении его изложения, и что мы его бранили. Он согласился, что приведение стихов из Евангелия должно вводить в недоумение, и объяснил, что эта работа сделана им для себя, которую в этом виде не следовало бы публиковать. Сказал он при этом, что уже переведены по-английски три его сочинения: 1) "Исповедь", 2) "В чем моя вера?" и 3) "Изложение", но в "Изложении" оставлены только его введение, а измененный евангельский текст с ссылки на стихи откинут, очень это правильно сделано. По-немецки и по-французски "В чем моя вера?" давно вышла".

Это "Краткое изложение Евангелия" служило камнем преткновения для многих искренних друзей Л. Н-ча. Вот как относился к нему И. С. Аксаков.

Н. Н. Страхов пишет об этом Данилевскому 5 июля 1885 года:

"...В Москве я видел Аксакова в банке, и мы говорили, то есть он говорил все о том же, о "Кратком изложении Евангелия". — Увы! — Ник. Як., только с вами наслаждался я разговорами в настоящем смысле этого слова. Впрочем, я все еще не готов для свободной речи об этом предмете, и часто сам становился в тупик, когда пытался говорить о нем. Ну, словом, чем речистее был Аксаков, тем меньше толку вышло из нашего разговора.

...Главное, он выражает большой восторг от тех двух рассказов Л. Н-ча Толстого, которые я вам привозил, и говорит, что за них простил Толстому его "Изложение".

"В рассказах, — говорил Ив. Серг., — обнаруживается, что Л. Н-ч стоит к святой Истине в таких чистосердечных, любовных отношениях, тайна которых не подлежит нашему анализу и которые ставят его, автора, вне суда нашего. Очевидно, у него свой конто-курант с Богом".

Окончив исследование Евангелия, извлеки из него существенные основы христианства, Л. Н-ч получил огромное удовлетворение своих стремлений, и его умственная и душевная деятельность направилась, с одной стороны, на изложение в положительном смысле своего мирозерцания и, с другой стороны, на проведение этого мирозерцания в свою личную жизнь.

Оглянувшись вокруг себя, он ужаснулся перед той пропастью, которая отделяла усвоенные им и его окружающими формы жизни от того идеала, который предстал перед ним во всей своей ослепительной чистоте.

Общественная и политическая жизнь также поразила его резкими контрастами с тем учением, которое на словах исповедуется так называемым христианским обществом.

В России наступило смутное время, и гром грянул 1 марта 1881 года. Отношение Л. Н-ча ко всем этим явлениям составит содержание следующих глав.

460

Часть V. ОБНОВЛЁННАЯ ЖИЗНЬ

ГЛАВА 17. Событие 1 марта 1881 года

«Сегодня, 1 марта 1881 года, согласно постановлению Исполнительного комитета от 26 августа 1879 г., приведена в исполнение казнь Александра II двумя агентами Исполнительного комитета» (1).

(1) "Былое", No 2. "Историко-революционный сборник", Лондон.

Таковыми словами начиналась прокламация Исполнительного комитета 1 марта 1881 года.

Смертная казнь как высшее, жесточайшее проявление насилия человека над человеком всегда была ненавистна Л. Н-чу. Одна мысль о ней возбуждала в нем отвращение и ужас. Вспомним, как он описывает свое чувство при виде смертной казни в Париже, о которой несколько раз вспоминает в своих произведениях.

"Я не политический человек" — записывает он знаменательную фразу в своем дневнике 1857 года, после беспокойно проведенной ночи, во время которой воспоминание о виденной им утром гильотине не давало ему спать.

Он действительно никогда не был и до сих пор не стал "политическим человеком". Именно потому-то он и может с одинаковым беспристрастием и одинаковым обличением говорить о казнях, производимых обеими сторонами.

Но в 1881 году Л. Н-ч находился ещё в исключительных обстоятельствах. Как видно из предыдущих глав, в нем только что закончился душевный кризис, и была им окончена большая, радостная для него работа над изучением Евангелия, в котором ему удалось схватить самую сущность учения Христа, учение о любви, смирении и прощении, и сознание этого открывшегося ему света делало его особенно чувствительным к страданиям людей и ко всем отступлениям людей от божеских законов. Он смотрел на весь окружающий его мир с высоты Нагорной проповеди.

Находясь в таком настроении, конечно, он не мог сочувствовать казни, совершённой над Александром II. Но последующая за ней казнь убийц Александра II произвела на него несравненно сильнейшее впечатление.

Вот что писал Л. Н-ч в ответ на наш запрос по этому поводу:

"О том, как на меня подействовало 1-ое марта, не могу ничего сказать определённого, особенного. Но суд над убийцами и готовящаяся казнь произвели на меня одно из самых сильных впечатлений моей жизни. Я не мог пере-

стать думать о них, но не столько о них, сколько о тех, кто готовился участвовать в их убийстве, и особенно об Александре III. Мне так ясно было, какое радостное чувство он мог бы испытать, простив их. Я не мог верить, что их казнят, и вместе с тем боялся и мучился за их убийц. Помню, с этою мыслью я после обеда лег внизу на кожаный диван и неожиданно задремал и во сне, в полусне, подумал о них и о готовящемся убийстве и почувствовал так ясно, как будто это все было наяву, что не их казнят, а меня, и казнят не Александр III с палачами и судьями, а я же и казню их, и я с кошмарным ужасом проснулся. И тут написал письмо" (1).

(1) Архив П. И. Бирюкова.

Письмо было адресовано Александру III. Оно дошло до нас в первоначальном виде, о котором сам Л. Н-ч отзывается, что в этой редакции "письмо было гораздо лучше, потом я стал переделывать, и оно стало холоднее".

Мы приводим его целиком:

"Ваше императорское величество!

Я, ничтожный, не призванный и слабый, плохой человек, пишу русскому императору и советую ему, что ему делать в самых сложных, трудных обстоятельствах, которые когда-либо бывали. Я чувствую, как это странно, неприлично, дерзко, и все-таки пишу. Я думаю себе: ты напишешь, письмо твоё будет не нужно, его не прочтут или прочтут и найдут, что это вредно, и накажут тебя за это. Вот и все, что может быть. И дурного в этом для тебя не будет ничего такого, в чем бы ты раскаялся. Но если ты не напишешь и потом узнаешь, что никто не сказал царю то, что ты хотел сказать, и что царь потом, когда уже ничего нельзя будет переменить, подумает и скажет: "если бы тогда кто-нибудь сказал мне это", — если это случится так, то ты вечно будешь раскаиваться, что не написал того, что думал. И потому я пишу вашему величеству то, что я думаю.

Я пишу из деревенской глуши, ничего верного не знаю. То, что знаю, знаю по газетам и слухам, и потому, может быть, пишу ненужные пустяки о том, чего вовсе нет, тогда, ради бога, простите мою самонадеянность и верьте, что я пишу не потому, что я высоко о себе думаю, а потому только, что, уже столь много виноватый перед всеми, боюсь быть еще виноватым, не сделав того, что мог и должен был сделать.

Я буду писать не в том тоне, в котором обыкновенно пишут письма государю, — с цветами подобострастного и фальшивого красноречия, которые только затемняют и чувства, и мысли. Я буду писать просто, как человек к человеку.

Настоящие чувства моего уважения к вам, как к человеку и к царю, виднее будут без этих украшений.

Отца вашего, царя русского, сделавшего много добра и всегда желавшего добра людям, старого, доброго человека, бесчеловечно изувечили и убили не личные враги его, но враги существующего порядка вещей: убили во имя какого-то блага всего человечества.

Вы стали на его место, а перед вами те враги, которые отравляли жизнь вашего отца и погубили его. Они враги ваши, потому что вы занимаете место вашего отца, и для того мнимого общего блага, которого они ищут, они должны желать убить и вас.

К этим людям в душе вашей должно быть чувство мести, как к убийцам отца, и чувство ужаса перед тою обязанностью, которую вы должны были

взять на себя. Более ужасного положения нельзя себе представить, более ужасного, потому что нельзя себе представить более сильного искушения зла. "Враги отечества, народа, презренные мальчишки, безбожные твари, нарушающие спокойствие и жизнь вверенных миллионов, и убийцы отца. Что другое можно сделать с ними, как не очистить от этой заразы русскую землю, как не раздавить их, как мерзких гадов? Этого требует не мое личное чувство, даже не возмездие за смерть отца, этого требует от меня мой долг, этого ожидает от меня вся Россия".

В этом-то искушении и состоит весь ужас вашего положения. Кто бы мы ни были, цари или пастухи, мы люди, просвещённые учением Христа.

Я не говорю о ваших обязанностях царя. Прежде обязанностей царя есть обязанности человека, и они должны быть основой обязанности царя и должны сойтись с ними.

Бог не спросит вас об исполнении обязанности царя, не спросит об исполнении царской обязанности, а спросит об исполнении человеческих обязанностей. Положение ваше ужасно, но только затем и нужно учение Христа, чтобы руководить нас в тех страшных минутах искушения, которые выпадают на долю людей. На вашу долю выпало ужаснейшее из искушений. Но как ни ужасно оно, учение Христа разрушает его: все сети искушений, обставленные вокруг вас, как прах разлетятся перед человеком, исполняющим волю бога.

Мф. 5, 43. "Вы слышали, что сказано: люби ближнего и возненавидь врага твоего; а я говорю вам: любите врагов ваших... благотворите ненавидящих вас... да будете сынами отца вашего небесного".

Мф. 5, 38. "Вам сказано: "Око за око, зуб за зуб, а я говорю: не противься злему".

Мф. 18, 22. "Не говорю тебе до семи, но до седмижды семидесяти раз.

Не ненавидь врага, а благотвори ему, не противься злу, не уставай прощать". Это сказано человеку, и всякий человек может исполнить это. И никакие царские, государственные соображения не могут нарушить заповедей этих.

Мф. 5, 19. "И кто нарушит одну из сих малейших заповедей, малейшим наречется в царствии небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в царствии небесном".

Мф. 7, 24. "И так, всякого, кто слушает слова мои сии, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне (25). И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот: и он не упал, потому что основан был на камне (26). А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке (27). И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое".

Знаю я, как далек тот мир, в котором мы живем, от тех божеских истин, которые выражены в учении Христа и которые живут в нашем сердце. Но истина — истина, и она живет в нашем сердце и отзывается восторгом и желанием приблизиться к ней. Знаю я, что я, ничтожный, дрянной человек, в искушениях в 1000 раз слабейших, чем те, которые обрушились на вас, отдавался не истине и добру, а искушению, и что дерзко и безумно мне, исполненному зла человеку, требовать от вас той силы духа, которая не имеет примеров, требовать, чтобы вы, русский царь, под давлением всех окружающих, и любящий сын, после убийства отца простил бы убийц и отдал бы им добро за зло: но не желать этого я не могу, не могу не видеть того, что всякий шаг ваш к прощению есть шаг к добру, всякий шаг к наказанию есть шаг ко злу, не

видеть этого я не могу. Но как для себя, в спокойную минуту, когда нет искушения, надеюсь, желаю всеми силами души избрать путь любви и добра, так и за вас

желаю и не могу не надеяться, что вы будете стремиться к тому, чтобы быть совершенными, как отец ваш на небе; и вы сделаете величайшее дело в мире — поборете искушение; и вы, царь, дадите миру величайший пример исполнения учения Христа — отдадите добро за зло.

Отдайте добро за зло, не противьтесь злу, всем простите. Это, и только это надо делать. Это воля бога. Достанет ли у кого или неостанет силы сделать это, это другой вопрос. Но только этого одного надо желать, к этому одному стремиться, это одно считать хорошим и знать, что все соображения против этого — искушения и соблазны, и что все они ни на чем не основаны, шатки и темны.

Но, кроме того, что всякий человек должен и не может ничем другим руководиться в своей жизни, как этим выражением воли божией, исполнение этих заповедей божьих есть вместе с тем и самое для жизни вашей (и вашего народа) разумное действие.

Истина и благо всегда истина и благо и на земле, и на небе.

Простить ужаснейших преступников против человеческих и божеских законов и воздать им добро за зло — многим это покажется в лучшем смысле идеализмом, безумием, а многим злонамеренностью. Они скажут; "не прощать, а вычистить надо гниль, задуть огонь". Но стоит вызвать тех, которые скажут это, на доказательства их мнения, и безумие, злонамеренность окажутся на их стороне.

Около 20 лет тому назад завелось какое-то гнездо людей, большего частью молодых, ненавидящих существующий порядок вещей и правительство. Люди эти представляют себе какой-то другой порядок вещей или

даже никакого себе не представляют и всеми безбожными, бесчеловечными средствами — пожарами, грабежами, убийствами — разрушают существующий строй общества. 20 лет борются с этим гнездом, и до сих пор гнездо это не только не уничтожено, но оно растёт, и люди эти дошли до ужаснейших по жестокости и дерзости поступков, нарушающих ход государственной жизни.

Те, которые хотели бороться с этой язвой внешними, наружными средствами, употребляли два рода средств: одно — прямое отсечение больного, гнилого, строгость наказания, другое — предоставление болезни своему ходу, регулирование ее: это были либеральные меры, которые должны были удовлетворить беспокойные силы и утишить напор враждебных сил.

Для людей, смотрящих на дело с материальной стороны, нет других путей — или решительные меры пресечения, или либеральные послабления. Какие бы и где бы ни собирались люди толковать о том, что нужно делать в теперешних обстоятельствах, кто бы они ни были, знакомые в гостиной, члены совета, собрания представителей, если они будут говорить о том, что делать для пресечения зла, они не выйдут из этих двух воззрений на предмет: или пресекать — строгость, казни, ссылки, полиция, стеснения цензуры и т. п., или либеральные потачки — свобода, умеренная мягкость мер взысканий и даже представительство — конституция, собор.

Люди могут сказать много ещё нового относительно подробностей того и другого образа действий; во многом многие из одного и того же лагеря будут не согласны, будут спорить, но ни те, ни другие не выйдут — одни из того, что они будут отыскивать средства насильственного

пресечения зла, другие — из того, что они будут отыскивать средства нестеснения, давания хода затеяв-

шемуся брожению. Одни будут лечить болезнь решительными средствами против самой болезни, другие будут лечить не болезнь, но будут стараться поставить организм в самые выгодные гигиенические условия, надеясь, что болезнь пройдет сама собою. Скажут много новых подробностей, но ничего не скажут нового, потому что та и другая мера уже были употреблены, и ни та, ни другая не только не излечили больного, но не оказали никакого влияния. Болезнь шла дальше, постоянно ухудшаясь. И потому я полагаю, что нельзя так сразу называть исполнение воли бога, по отношению к делам политическим, мечтанием и безумием. Если даже смотреть на исполнение закона бога, святыню святынь, как на средство против житейского мирского зла, и то нельзя смотреть на него презрительно после того, как, очевидно, вся житейская мудрость не помогла и не может помочь.

Больного лечили и сильными средствами, и переставали давать сильные средства, а давали ход его отправлениям: ни та, ни другая система не помогли, больной всё больше. Представляется еще средство — средство, о котором ничего не знают врачи, средство странное. Отчего же не испытать его? Одно первое преимущество средство это имеет неотъемлемое перед другими средствами — это то, что те употреблялись бесполезно, а это никогда еще не употреблялось.

Пробовали во имя государственной необходимости блага масс стеснять, ссылать, казнить, пробовали во имя той же необходимости блага масс давать свободу — все было то же. Отчего не попробовать во имя бога исполнять только закон его, ни думая ни о государстве, ни о благе масс? Во имя бога и исполнения закона его не может быть зла.

Другое преимущество нового средства — и тоже несомненное — то, что те два средства сами в себе были нехороши: первое состояло в насилии, казнях (как бы справедливы они ни казались, каждый человек знает, что оно зло); второе состояло в не вполне правдивом допущении свободы. Правительство одной рукой давало эту свободу, другой — придерживало ее. Приложение обоих средств, как ни казались они полезны для государства, было нехорошее дело для тех, которые прилагали их. Новое же средство таково, что оно не только свойственно душе человека, но доставляет высшую радость и счастье для его души.

Прощение и воздаяние добром за зло есть добро в самом себе. И потому приложение двух старых средств должно быть противно душе христианской, должно оставлять по себе раскаяние, прощение же доставляет высшую радость тому, кто творит его.

Третье преимущество христианского прощения перед подавлением или искусным направлением вредных элементов относится к настоящей минуте и имеет особую важность. Положение ваше и России теперь — как положение больного во время кризиса. Один ложный шаг, прием средства ненужного, вредного может навсегда погубить больного. Точно так же теперь одно действие в том или другом смысле — возмездия за зло жестокими

казнями или вызова представителей — может связать все будущее. Теперь, в эти две недели суда над преступниками и приговора, будет сделан шаг, который выберет одну из трех дорог предстоящего распутия: путь подавления зла злом или путь либерального послабления — оба испытанные и ни к чему не приводящие пути, и еще новый путь — путь христианского исполнения воли божией царем как человеком.

Государь! По каким-то роковым, страшным недоразумениям в душе революционеров запала страшная ненависть против отца вашего, — ненависть,

приведшая их к страшному убийству. Ненависть эта может быть похоронена с ним. Революционеры могли — хотя несправедливо — осуждать его за гибель десятков своих. На руках ваших нет крови. Вы — невинная жертва своего положения. Вы чисты и невинны перед собою и перед богом. Но вы стоите на распутии. Несколько дней, и если восторжествуют те, которые говорят и думают, что христианские истины только для разговоров, а в государственной жизни должна проливаться кровь и царствовать смерть, вы навеки выйдете из того блаженного состояния чистоты и жизни с богом и вступите на путь тьмы государственных необходимостей, оправдывающих все и даже нарушение закона бога для человека.

Не простите, казните преступников, вы сделаете то, что из числа сотен вы вырвете трех, четырех, и зло родит зло, и на место трех, четырех вырастут 30, 40, и сами навеки

потеряете ту минуту, которая одна дороже всего века, — минуту, в которую вы могли бы исполнить волю бога и не исполнили ее, и сойдете навеки с того распутья, на котором вы могли выбрать добро вместо зла, и навеки завязнете в делах зла, называемых государственной пользой (Мф. 5,25).

Простите, воздайте добро за зло, и из сотен злодеев десятки перейдут от дьявола к богу, и у тысяч, у миллионов дрогнет сердце от радости и умиления при виде примера добра с престола в такую страшную для сына убитого отца минуту.

Государь! Если бы вы сделали это, позвали этих людей, дали бы им денег и услали их куда-нибудь в Америку и написали бы манифест со словами вверху: «а я говорю: любите врагов своих», не знаю, как другие, но я, плохой верноподданный, был бы собакой, рабом вашим. Я бы плакал от умиления, как я теперь плачу всякий раз, когда бы я слышал ваше имя. Да что я говорю: «не знаю, что другие»! Знаю, каким бы потоком разлились бы по России добро и любовь от этих слов.

Истины Христовы живы в сердцах людей, и одни они живы, и любим мы людей только во имя этих истин.

И вы, царь, провозгласили бы не словом, а делом эту истину. Но, может быть, это все мечтание, ничего этого нельзя сделать. Может быть, что хотя и правда, что 1) более вероятности в успехе от таких действий, никогда еще не испытанных, чем от тех, которые пробовали и которые оказались негодными, и что 2) такое действие наверно хорошо для человека, который совершит его, и 3) что теперь вы стоите на распутье, и это единственный момент, когда вы можете поступить по-божьи, и что упустив этот момент, вы уже не вернете его, — может

быть, что все это и правда, но скажут: "это невозможно; если сделать это, то погубишь государство".

Но, положим, что люди привыкли думать, что божественные истины — истины только духовного мира, а не приложимы к житейскому; положим, что враги скажут: мы не принимаем ваше средство, потому что оно и не испытано, и само по себе не вредно, и правда, что теперь кризис, мы знаем, что оно сюда не идет и ничего, кроме вреда, сделать не может. Они скажут: христианское прощение и воздаяние добром за зло хорошо для каждого человека, а не для государства. Приложение этих истин к управлению государством погубит государство.

Государь! ведь это ложь, злейшая, коварнейшая ложь. Исполнение закона Бога погубит людей? Если это закон Бога для людей, то он всегда и везде закон Бога, и нет другого закона, воли Его. И нет кощунственнее речи, как ска-

зять: закон Бога не годится. Тогда он не закон Бога. Но положим, мы забудем, что закон Бога выше всех других законов и всегда приложим, мы забудем это. Хорошо: закон Бога не приложим и если исполнить его, то выйдет зло ещё хуже. Если простить преступников, выпустить всех из заключений и ссылок, то произойдёт худшее зло. Да почему же это так? Кто сказал это? Чем вы докажете это? Своею трусостью, другого у вас нет доказательства. И, кроме того, вы не имеете права отрицать ничьего средства, так как всем известно, что ваши не годятся.

Они скажут: выпустить всех, и будет резня, потому что немного выпустить, то бывают малые беспорядки, много выпустить — бывают большие беспорядки. Они рассуждают так, говоря о революционерах как о каких-то бандитах, шайке, которая собралась, и когда ее переловить, то она кончится. Но дело совсем не так: не число важно, не то, чтобы уничтожить или выслать их побольше, а то, чтобы уничтожить их закваску, дать другую закваску. Что такое революционеры? Это люди, которые ненавидят существующий порядок вещей, находят его дурным и имеют в виду основы для будущего порядка вещей, который будет лучше.

Убивая, уничтожая их, нельзя бороться с ними. Не важно их число, а важны их мысли. Для того, чтобы бороться с ними, надо бороться духовно. Их идеал есть общий достаток, равенство, свобода: чтобы бороться с ними, надо поставить против них идеал такой, который бы был выше их идеала, включал бы в себя их идеал. Французы, англичане теперь борются с ними и также безуспешно.

Есть только один идеал, который можно противопоставить им, — тот, из которого они выходят, не понимая его и кощунствуя над ним, — тот, который включает их идеал, идеал любви, прощения и воздаяния добра за зло. Только одно слово прощения и любви христианской, сказанное и исполненное с высоты престола, и путь христианского царствования, на который предстоит вступить вам, может уничтожить то зло, которое точит Россию. Как воск от лица огня, растает всякая революционная борьба перед царем-человеком, исполняющим закон Христа.

Лев Толстой" (1).

(1) Архив В. Г. Черткова.

Письмо это долго странствовало. Л. Н-чу пришло сначала на мысль передать письмо через Победоносцева. К этому его побудило воспоминание о добром отношении Победоносцева к одному замечательному человеку, временно бывшему близким по духу Л. Н-чу, именно к А. К. Маликову.

Л. Н-ч передал Победоносцеву письмо к царю через их общего знакомого Н. Н. Страхова, сопроводив это письмо своей личной просьбой об исполнении этого важного поручения.

И вот горячие слова любви о прощении ударились о холодную каменную стену духовного чиновника, уже истратившего на своей служебной карьере остатки человеческого чувства.

Победоносцев прочёл письмо Л. Н-ча к Александру III и возвратил Страхову с отказом передать его. На письмо же Л. Н-ча к нему Победоносцев отвечал, через очень долгое время, уже после казни, следующим характерным письмом.

"Не взыщите, достопочтеннейший граф Лев Николаевич, во-первых, за то, что я оставил до сего времени без ответа письмо ваше, врученное мне Н. Н. Страховым. Это произошло не из неучтивости или равнодушия, а от невозможности спознаться вскоре в той

суете и путанице мыслей и забот, которая одолевала и не перестает еще одолевать меня после 1 марта.

Во-вторых, не взыщите за то, что я уклонился от исполнения вашего поручения. В таком важном деле все должно делаться по вере. А прочитав письмо ваше, я увидел, что ваша вера одна, а моя и церковная другая, и что наш Христос — не ваш Христос.

Своего я знаю мужем силы и истины, исцеляющим расслабленных, а в вашем показали мне черты расслабленного, который сам требует исцеления. Вот почему я по своей вере и не мог исполнить ваше поручение.

Душевно уважающий и преданный вам
К. Победоносцев".

Петербург, 15 июня 1881 года.

Получив обратно письмо Л. Н-ча к царю, Н. Н. Страхов сделал ещё попытку довести его до сведения государя и через профессора Константина Бестужева-Рюмина передал его великому князю Сергею Александровичу для передачи Александру III.

Л. Н-чу известно, что оно было передано царю, но о дальнейшей судьбе он ничего не знает.

ГЛАВА 18.

Личная и семейная жизнь Льва Николаевича начала восьмидесятых годов

Л. Н-ч вступил в 80-е годы обновлённый душою, с новым жизнепониманием, с новым взглядом на свой внутренний и на внешний, окружавший его мир. А мир

этот оставался все тот же, и потому столкновение с ним стало неизбежно, и последующая жизнь Л. Н-ча представляет целый ряд этих столкновений; эпизодов борьбы с миром, часто победы над ним и иногда отступления; но он всегда с самообладанием переживает эти удары и возвращается в свое религиозное спокойствие духа, с течением времени все менее и менее нарушаемое.

Прежние друзья его, члены его семьи и многие общественные деятели не могли следовать за ним по пути его развития и продолжали относиться к нему с прежними интересами и требованиями и, видя равнодушие его или отрицательное отношение к ним, чувствовали боль, не находя участливого отклика в любимом человеке, и, смотря по высоте их нравственного уровня, или внимательно прислушивались к новым тонам его души, или переносили на него свою горечь и обвиняли его в бессердечии, безразличии, квиетизме, а более легкомысленные и злонамеренные поднимали вопрос о состоянии его психики и о том, не следует ли оградить общество от его вредного влияния?

Эта начертанная нами схема может дать ключ к пониманию многих событий из жизни Л. Н-ча и его окружающих в 80 годах и в последующее за ними время.

Тургенев был одним из тех, которые труднее многих других могли понять происшедшую перемену во Льве Николаевиче, и когда он узнал, что Л. Н-ч написал сочинение на религиозную тему, он так выразился, между прочим, в письме к Полонскому:

"Мне очень жаль Толстого, а впрочем, как говорят французы, «Chacun a sa maniere tuer ses puces» (*).

(1) «Каждый по-своему убивает своих блох». Собрание писем И. С. Тургенева, с. 368.

И Тургенев продолжал заботливо (как старая нянька, как он сам называл себя) распространять художественные произведения Льва Николаевича.

В своём письме от 12 января 1880 г. Тургенев спешит сообщить Льву Николаевичу восторженный отзыв своего друга Флобера о его произведении:

"Любезнейший Л. Н-ч, переписываю для вас с дипломатической точностью отрывок из письма г. Флобера ко мне; я ему посылал перевод "Войны и мира" (к сожалению, довольно бледноватый):

"Merci de m'avoir fait lire le roman de Tolstoi. C'est de premier ordre! Quel peintre et quel psychologue! Les deux premiers volumes sont sublimes; mais le troisieme degrengole affreusement. Il se repete! et il philosophe! Enfin on voit le monsieur, l'auteur, et le Russe, tandis que jusque la on n'avait vu que la Nature et l'Humanite. Il me semble qu'il y a parfois des choses a la Shakespeare! Je poussais des cris d'admiration pendant cette lecture... et elle est longue! — Oui, c'est fort, bien fort" (2). Полагаю, что en somme вы будете довольны.

(2) Благодарю вас за то, что дали мне прочесть роман Толстого. Это — вещь первого сорта. Какой живописен и какой психолог! Два первые тома великолепны, но третий ужасно слабеет. Он повторяется и философствует! Одним словом, виден он сам, автор,

да ещё русский, тогда как до этого была видна природа и человечество. Мне кажется, что есть шекспировские места. Я вскрикивал от восторга во время чтения, а ведь оно долгое... Да, сильно, очень сильно.

"Война и мир" роздана мною здесь всем главным критикам. Отдельной статьи еще не появлялось... но уже 300 экземпляров продано (всех прислано 500)".

Однако успех "Войны и мира" на французском языке далеко не оправдал ожидания. Слава Толстого во Франции создавалась постепенно и совершенно другими путями. Сам И. С. Тургенев подробно рассказал причины малого успеха "Войны и мира" в Париже на одном вечере в Петербурге, 4 марта того же 1880 года. Рассказ Тургенева был кем-то записан и напечатан в "Русской старине", откуда мы и заимствуем его.

"Вы спрашиваете, проник ли во французское общество и сделан ли ему известен роман гр. Льва Толстого "Война и мир".

Сочинение это, действительно, переведено и переведено вполне хорошо на французский язык одною личностью здешнего высшего круга, но оно напечатано, к сожалению, в небольшом количестве экземпляров. Переводчица обратилась к известному издателю в Париже Гашету, чтобы тот позволил поставить его издательскую фирму на этом издании. Это сделано было, конечно, хорошо, но затем Гашет указал переводчице на необходимость, "с целью сделать успех изданию", распорядиться так, как обыкновенно распоряжаются во Франции с прочими книгами: экземпляров полтора ста надо разослать в разные газеты, журналы и обзоры и несколько десятков развезти более известным критикам,

затем до 2 тысяч франков израсходовать на объявление на последней странице крупным шрифтом в более распространенных газетах и 40% уступки сделать книгопродавцам–издателям. Всё это самые

обыкновенные приёмы издательского дела во Франции, и только при выполнении их, при весьма точном выполнении, делается успех.

Переводчица романа "Война и мир" нашла для себя стеснительным принять все эти условия, и все ограничилось тем, что я экземпляров 30 развез более знакомым мне критикам и приятелям, участвующим в разных изданиях. Сомневаюсь, чтобы кто–нибудь из них целиком прочел это произведение нашего славного писателя.

Дело в том, что французы не могут ныне себе представить роман более одного тома, а роман "Война и мир" — представьте себе их ужас — в три или четыре тома.

Флобер, прочитав два тома "Войны и мира" и приступив к третьему, объявил мне, что он бросил, так как недоумевает, откуда явилась вся эта странная философия графа Льва Толстого. Тэн, человек весьма серьезный, труженик, имеющий большое количество работы у себя, конечно, года через два, через три, пожалуй, и даст отзыв об этом романе, но вообще из них, французских писателей и публицистов, ни один с достаточным вниманием не прочитал да и не прочтет это превосходное сочинение" (*).

(1) "Русская старина", 1883, октябрь, с. 210.

Мы, со своей стороны, убеждены, что известность Л. Н-ча Толстого за границей создана не художественными его произведениями, а религиозно-философскими, что и надеемся показать в дальнейшем изложении.

В апреле 1880 года Тургенев приехал в Россию и написал Л. Н-чу из Москвы, что намерен посетить его в Ясной на Фоминой неделе. Кроме желания просто повидаться со Л. Н-чем, у Тургенева было важное дипломатическое поручение. В этом году литературная Россия праздновала открытие памятника Пушкину в Москве, и Тургенев, поклонник Пушкина, приехал ради этого торжества в Россию и принимал деятельное участие в его устройстве.

Зная отрицательное отношение Л. Н-ча ко всякого рода торжествам и юбилеям, комитет по устройству празднеств порешил обставить как-нибудь особенно приглашение его на открытие памятника Пушкину. И было предложено Тургеневу лично пригласить Льва Николаевича. Тургенев согласился, будучи убежден, что миссия его увенчается успехом.

Конечно, он был принят в Ясной Поляне с обычным радушием, его угощали охотой, и Иван Сергеевич не ожидал, что надежда его не оправдается.

Но Л. Н-ч наотрез отказался участвовать в торжестве.

Зная душевное состояние Л. Н-ча в то время, мы легко можем понять причину этого отказа.

Но Тургенева этот отказ так поразил, что, когда после Пушкинского праздника Ф. М. Достоевский собирался приехать из Москвы к Л. Н-чу и стал советоваться об этом

с Тургеневым, тот изобразил настроение Л. Н-ча в таких красках, что Достоевский испугался и отложил исполнение своей заветной мечты. И другого случая посетить Л. Н-ча Достоевскому не представилось, а в следующем году его не стало (2).

(2) Литер, приложение «Нивы», 1906 г. "Тургенев и Толстой". П. А. Сергеенко.

В июле того же года Л. Н-ч писал, между прочим, Фету:
"...Теперь лето, и прелестное лето, и я, как обыкновенно, ошалеваю от жизни и забываю свою работу. Нынешний год долго я боролся, но красота мира победила меня. И я радуюсь жизни и больше почти ничего не делаю".

Осенью его критическая работа возобновилась. В августе его посетил Н. Н. Страхов и так сообщает своему другу Данилевскому об этом посещении:

"...В Ясной Поляне, как всегда, идет сильнейшая умственная работа. Мы с вами, вероятно, не сойдемся в оценке этой работы, но я удивляюсь и покоряюсь ей, так что мне даже тяжело. Толстой, идя своим неизменным путем, пришел к религиозному настроению; оно отчасти выразилось в конце "Анны Карениной". Идеал христианина понят им удивительно, и странно, как мы проходим мимо Евангелия, не видя самого прямого его

смысла. Он углубился в изучение евангельского текста и многое объяснил в нем с поразительной простотой и тонкостью. Очень боюсь, что, по непривычке излагать отвлеченные мысли и вообще писать прозу, он не успеет изложить своих рассуждений кратко и ясно; но содержание книги, которую он составит, истинно великолепно".

В сентябре Л. Н-ч коротко извещает Фета:

"...Что ваш Шопенгауэр? (перевод). Я жду его с большим интересом. Я очень много работаю".

Серьёзное религиозное настроение Л. Н-ча того времени не совпадало с настроением его семьи.

Зимой 3 февраля 1881 г. Соф. Андр. пишет своей сестре:

"...Лёвочка совсем заработался, голова всё болит, а оторваться не может. Его и всех нас ужасно поразила смерть Достоевского. Только что стал так известен и всеми любим, как умер. Лёвочку это навело на мысль о его собственной смерти, и он стал как-то сосредоточеннее и молчаливее" (1).

(1) Архив Т. А. Кузминской.

В тот же день Соф. Андр. пишет своему брату:

"...Если бы ты знал и слышал теперь Лёвочку. Он много изменился. Он стал христианин самый искренний и твёрдый. Но он поседел, ослаб здоровьем и стал тише, унылее, чем был. Если бы ты теперь послушал его слова, вот когда влияние его было бы успокоительно твоей измученной душе".

Дневник Л. Н-ча того времени, или, вернее, записная книжка, наполнен беглыми заметками о разных посетителях Ясной Поляны, а также встречаемых им на своих прогулках странниках, богомольцах, просителях о разных нуждах соседних крестьян и изредка о посетителях круга его знакомых. Эти заметки перемежаются личными рассуждениями и мыслями Л. Н-ча, отзывами о газетных статьях. Вот образцы этих заметок.

1 мая. Солдат-старик из кантонистов, портной. "Бог привел двух расстрелять. — Значит, закон есть. Прежде засекали насмерть, а теперь нельзя. Такой закон нашли".

5 мая. Вчера разговор с В. И. о самарской жизни. Семья — это плоть. Бросить семью — это второе искушение — убить себя. Семья — одно тело. Но не поддавайся третьему искушению, служи не семье, но единому богу. Указатель того места на экономической лестнице, которое должен занимать человек. Она плоть, как для слабого желудка нужна легкая пища, для избалованной семьи нужно больше, чем для привычной к лишениям.

6 мая. Старик Рудаковский. Улыбающиеся глаза и беззубый милый рот. Поговорили о богатстве. Недаром пословица: "деньги — ад". Ходил спаситель с учениками. "Идите по дороге, придут кресты, налево не ходите, там ад"... Посмотреть, какой ад. Пошли. Куча золотая лежит. "Вот, сказал ад, а мы нашли клад". Пошли добывать подводу. Разошлись и думают: делить надо.

Один нож отточил, другой пышку с ядом испек. Сошлись, один пырнул ножом — убил, у него пышка выскочила, — он съел, оба пропали.

10 мая. Был в Туле. В остроге 2-й месяц сидит 15 человек калужских мужиков за бесписьменность. Их бы надо переслать в Калугу и по местам. 2-й месяц не посылают под предлогом, что в калужском замке завозно.

15 мая. Острог. Пашет один весело. Смотритель на своей земле. Партию готовят. Бритые, в кандалах. Воробьёвский, муж распутной жены. Старик 67 лет, злобный, "за поджог". Больной, чуть живой, хромой мальчик. За бесписьменность. 114 человек. "Костюм плох и высылают". Есть по 3 месяца. Есть развращенные, есть простые, милые. Старик слабый, вышел из больницы. Огромная вошь на щеке. — Ссылаемые обществами. Ни в чем не судимы два — ссылаются. Один по жалобе жены, на 1500 р. имения. Маленький, был в сумасшедшем доме, кривой, в припадках. При нас упал и стал биться. Высокий солдат, сидит 4 года. Год судился; на 1,5 года присужден, 1 г. 3 мес. набавка за то, что сказался мастеровым. Общество отказалось, и с тех пор ожидает партии 2 года. Каторжные двое, за драку и убийство. "Ни за что пропадаем". Плачет. Доброе лицо.

Вонь ужасная.

Вечером. Писарев и Самарин. Самарин с улыбочкой: "надо их вешать". Хотел смолчать и не знать его, хотел вытолкать в шею. Высказался. "Государство". Да мне всё равно, в какие игрушки вы играете, только чтобы из игры зла не было.

21 мая. Спор. Таня, Серёжа, Иван Михайлович. "Добро условное", т. е. нет добра. Одни инстинкты.

22 мая. Продолжение разговора об условности добра. Добро, про которое я говорю, есть то, которое считаешь хорошим для себя и для всех.

24 мая. Ив. Ив. Рычагов, боцман — ранен в плечо в 29 году, в ногу, под Севастополем. Теперь хромает, 46 лет. Пошло их 15 партий из Тульской губернии по 500 человек, а вернулось 40 человек. Пороли на пушке, линьками по 500. На мачте в 35 сажен. Лестниц уж нет, ногу завернешь, а руками работаешь. Когда буря — нам отдых. Волна с колокольню. Туда уйдет — опять лезет, как таракан наверх. — Теперь ходил с товарищем. "Пойдем вместе, зайдем к брату". Зашли, а они голее его. Дала сестра рубаху, портки, холста. А он, как был в моей рубахе, так и пропал. Дал рубаху к брату идти. И еще другая рубаха пропала.

28 мая. Целый день Фет.

29 мая. Разговор с Фетом и женой. Христианское учение не исполнимо, так оно глупость? Нет, но не исполнимо. Да вы пробовали его исполнять? Нет, но не исполнимо.

8 июня. Ходил гулять. Плотники одоевские. Рассказ о переселении, имение Крассовского — Бобошино. Не хотел брать по 60 р. на двор. Согнали с 4-х волостей 700 мужиков с топорами, ломами, вилами. Велели ломать. — "Грех. — Что же делать? велят; не станешь — прибьют. Пускай прибьют, на них, а не на тебе грех будет. Бог велел терпеть. — Оно так. Я, положим, не ломал".

Расставили по слободам, принялись ломать. Кто крышу роет, стропила. Косяки, окна косят. Печи ломают. Мужики, человек 40, ушли на гору, смотрят. Старшина сам перевез. Другие, как начали ломать, сами взялись, чтобы не дуром ломали. В одном доме баба только в ночь

родила, да еще двойню. Оставили дом. Начальство было: 1) член, 2) исправник, 3) становой, 4) урядники. Пуще всех урядники, так и снуют — ломай. И старшина".

Мы видим из этих кратких выписок, какое разнообразие типов проходило перед глазами и перед душою Л Н-ча. Вот где он черпал материал для свода бытовых картин.

Религиозные сомнения еще не улеглись в нем. Народная вера все еще привлекает его внимание, и он с увлечением изучает народ, ходит в остроги, на постоялые дворы, на волостные суды. Беседует подолгу с просителями, вникая в самые мельчайшие подробности их жизни и нужды. Многим из них он оказывает посильную нравственную и материальную помощь.

Одной из таких экспедиций для изучения народной жизни было новое путешествие в Оптину пустынь, совершенное пешком в сопровождении своего слуги, Сергея Петровича Арбузова, рассказавшего об этом в своих воспоминаниях. К сожалению, в его описании есть много неточностей, и потому мы можем привести оттуда только наиболее вероятные выдержки, пополняя эти сведения из других, более достоверных источников.

В простой одежде, в лаптях и с сумками за плечами вышли три странника 10 июня 1881 года из Ясной Поляны: Л. Н-ч, его слуга Сергей Петрович Арбузов и Дмитрий Федорович, яснополянский учитель.

На другой день из Крапивны Л. Н-ч писал графине Соф. Андр.:

"Дошёл хуже, чем я ожидал. Натёр мозоли, поспал и здоровьем чувствую лучше, чем ожидал. Здесь купил чуни пенечные, и в них пойдется легче. Приятно, полезно и поучительно очень. Только бы дал бог нам свидеться здоровым всей семьей и чтобы не было дурного ни с тобой, ни со мной, а то я никак не буду раскаиваться, что пошел. Нельзя себе представить, до какой степени ново, важно и полезно для души (для взгляда на жизнь) увидеть, как живет мир божий, большой, настоящий, а не тот, который мы устроили себе и из которого не выходим, хотя бы объехали вокруг света. Дмитрий Федорович (яснополянский учитель) идет со мной до Оптиной. Он тихий и услужливый человек. Ночевали мы в Селиванове у богатого мужика, бывшего старшины, арендатора. Из Одоева напишу и из Белева напишу. Я очень берегу себя и купил нынче винных ягод для желудка. Если бы ты видела вчера на ночлеге девочку Мишиных лет, ты бы влюбилась в нее: ничего не говорит и все понимает и на все улыбается, и никто за ней не смотрит. Главное, новое чувство — это сознавать себя и перед собою, и перед другими только тем, что я есмь, а не тем, что я — вместе со своей обстановкой. Нынче мужик в телеге обгоняет. "Дедушка, куда бог несет?" — "В Оптину". — "Что ж, там и жить останешься?" — И начинается разговор.

Только бы тебя не расстраивали и большие, и малые дети. Только бы гости не были неприятны, только бы сама была здорова, только бы ничего не случилось, только бы... я делал все хорошее и ты тоже, и тогда все будет хорошо". Следующее письмо было уже 12 июня из села Мананки:

"Хотел писать из Одоева, но мы свернули на Мананки, оттуда я пишу теперь, от Владимира Акимыча. Он нас отлично принял. Я сейчас был у раскольников. Менее

интересно, чем я думал. Шли мы очень хорошо. Здоровье моё совсем укрепилось. Сплю и днём, и ночью. Влад. Аким. настоял на том, чтобы подвезти нас. Я пишу, у него полна комната народа, и потому письмо нескладно и коротко. Припишу еще в Белеве, коли успею. Дай бог, чтобы было у вас все хорошо".

Описание пребывания Л. Н-ча в Оптиной пустыне мы заимствуем из рассказа С. П. Арбузова как единственное дошедшее до нас свидетельство и

записанное с достаточною, по нашему мнению, достоверностью и с наивным юмором.

"Часов в шесть вечера пришли в Оптину пустынь. Звонил колокольчик на ужин; мы с котомками за плечами вошли в трапезную; нас не пустили в чистую столовую, а посадили ужинать с нищими. Я посматривал на графа, но он нисколько не гнушался своими соседями, кушал с удовольствием и пил квас, который ему очень понравился.

После ужина пошли на ночлег в гостиницу третьего класса. Монах, видя, что мы обуты в лапти, номера нам не дает, а посылает в общую ночлежную избу, где всякая грязь и насекомые.

— Батюшка, — говорю я монаху, — вот вам рубль, только дайте номер.

Он согласился и отвел нам номер, причем сказал, что нас будет трое, третий — сапожник из Волховского уезда. Я достал из котомки простыню и подушечку, приготовил графу постель на диване; сапожник лег на другом диване, а я для себя постелил постель на полу недалеко от графа.

Сапожник вскоре заснул и сильно захрапел, так что граф вскочил с испуга и сказал мне:

— Сергей, разбуди этого человека и попроси его не храпеть.

Я подошел к дивану, разбудил сапожника и говорю:

— Голубчик, вы очень храпите, моего старичка пугаете: он боится, когда в одной комнате с ним человек спит и храпит.

— Что же, прикажешь мне из-за твоего старика всю ночь не спать?

Не знаю почему, но после этого он всё-таки не храпел.

На другой день мы встали часов в десять, напились чаю. Я пошел к обедне, а граф — посмотреть, как монахи косят, пашут и как занимаются ремеслом. Одет он был в кафтан и лапти.

Вскоре откуда-то монахи узнали, что в стенах их обители находится гр. Лев Николаевич Толстой. Они от имени архимандрита и отца Амвросия начали разыскивать его. Случайно встретив меня, они спросили, кто со мной стоит в гостинице.

— А вам кого нужно?

— Графа Льва Николаевича.

— Я его человек.

Узнав от меня, во что он одет, они пошли разыскивать его, отыскали и просили к архимандриту и отцу Амвросию. Граф пришел в гостиницу третьего класса, где мы ночевали, и говорит мне:

— Сергей, коли меня узнали, делать нечего, дай мне сапоги и другую блузу, я переоденусь и тогда пойду к архимандриту и отцу Амвросию.

Но не успел граф переодеться, как приходят два монаха, чтобы взять вещи графа и просить его в

первоклассную гостиницу, где все обито было бархатом. Граф долго отказывался идти туда, но под конец все-таки решился. Прежде чем пойти в первую классную гостиницу, он пошел посетить отца архимандрита. Я ждал его недалеко от кельи о. архимандрита. Граф пробыл там часа два или три. О чем они разговаривали с о. архимандритом, я не знаю, но, вероятно, о монастырской жизни. По выходе из кельи о. архимандрита граф направился в скит к о. Амвросию. Я старался не выпускать Льва Николаевича из глаз, чтобы сказать ему, что после него я тоже пойду к о. Амвросию. Я видел шагов за 200, как Лев Николаевич вошел в его келью. Он пробыл там часа 4. Я же, подойдя к келье, остановился у крыльца и видел, что здесь ожидают увидеть о. Амвросия человек двадцать или тридцать. С некоторыми богомольцами я разговорился и спрашивал, сколько они здесь дней. Некоторые

говорили, что они здесь дней пять или шесть, каждый день бывают в скиту у кельи о. Амвросия и не могут его видеть и получить благословение. Я спросил, почему же о. Амвросий не может их принять. Говорят, это происходит не от отца Амвросия, а что о них не докладывает келейник.

"Мы видим здесь богатых купцов, приезжих из Воронежа, Москвы, Петербурга, которые подойдут к келье, позвонят, келейник сейчас же отпирает дверь; они спрашивают, можно ли им видеть о. Амвросия. Келейник расспрашивает их, кто они такие. Они отвечают, что они,

например, только что приехавшие воронежские купцы. И келейник сейчас же просит их к о. Амвросию".

Я разговорился с одним человеком из Тулы, каким-то сыном диакона, окончившим пятый класс семинарии. На нем были худые сапоги и какая-то казинетовая поддевочка. Он говорил, что хочет просить у о. Амвросия помощи, так как не на что дойти до Тулы и купить сапоги. Я старался не упустить, когда выйдет Лев Николаевич, не решаясь звониться во время его беседы с о. Амвросием. Лев Николаевич вышел из кельи и, раздав милостыню всем подошедшим богомольцам и нищим, пошел по направлению к той гостинице, где ему был отведен номер. Я сейчас же позвонил в дверь кельи. Келейник спросил, что мне нужно. Я ответил ему, что пришел получить благословение от о. Амвросия.

— А вы кто будете?

— Человек графа Льва Николаевича Толстого.

Он доложил старцу, который меня сейчас же принял" (1).

(1) С. П. Арбузов. "Воспоминания о Л. Н. Толстом", М., 1904, с. 90.

Сам Л. Н-ч вспоминал, как он подошел к книжной лавке и поинтересовался узнать, какой духовной пищей снабжают народ оптинские монахи. Он застал у прилавка старушку, которая спрашивала Евангелие. Монах отвечал, что у него есть гораздо лучше книжки, и подсовывал ей описание монастыря и чудеса угодников. Л. Н-ч вмешался в разговор, добыл Евангелие и отдал старухе.

От этого посещения пустыни Л. Н-ч вынес более отрицательных впечатлений, чем в первый раз. Беседа со старцем Амвросием его не удовлетворила. Старец, слышавший о его антицерковном направлении, убеждал его покаяться и подтверждал свои доводы текстом св. писания: "егда согрешишь, повеждь церкви". Л. Н-ч возражал, что такого текста нет, а есть другой: "если брат твой согрешил тебе..." Старец стоял на своем, и Л. Н-ч вынул из кармана Евангелие, указал старцу его ошибку. Старец нимало не смутился и перевел разговор на другое.

Только старец Пимен, как и в первый раз, тронул Л. Н-ча своею простотою и наивною: он был действительно человеком не от мира сего. К нему также лезли богомольцы, прося благословения, и он, видимо, тяготился этим. Утром ему нужно было служить обедню. Воспользовавшись некоторым промежутком в притоке богомольцев, он стал собираться в церковь. Но, выйдя из своей кельи, он заметил вновь приближавшуюся к его келье партию богомольцев, тогда старец подобрал полы своей рясы и бегом через сад бросился удирать от посетительниц.

Л. Н-ч после этого также вскоре собрался в обратный путь.

Возвращался Л. Н-ч другой дорогой, через Жиздру на Калугу, где сел на железную дорогу и доехал до Тулы, откуда уже на своих лошадях приехал домой.

В Ясной Поляне снова потекла прежняя жизнь.

21 июня он записывает в дневнике о своих гостях:

"Бестужевы, два брата. Профессор — испорченный наукой. Был добрый. Теперь профессор, чиновник, писатель-славянофил и воспоминание о человеке. Беседа о вере, об убийстве на войне. "Я не могу убить, но освободить народ может", т. е. сказать "пурдик" и потом логика необязательна.

Статья Хавэ поучительна. Ложная точка зрения Ренана доведена Хавэ-де-Лор до абсурда".

25 июня. "10 человек странников. Старик 68 лет, слепой, со старухой. Высокий, тонкий, живой. Похожа на слепого Болхина. Жалуется на мужиков — отняли землю, дом (чтобы похоронить его) и долю в проданном лесе. Рассказ про хохлов. От деревни до деревни 40, 30 и 20 верст обыкновенно. Через улицу кричат: "Заходи ночевать". Напоят, накормят и постелят. И на дорогу дадут. Продавать кусочки некому. Наши набрали, слепые, да раздвинули коноплю и бросили. У нас нищеты страсть. Некому подавать. Я не продаю — сирот кормлю — не в похвальбу сказать. Даром отдавать — жалко. Продай. Не продаю, вчера не ели и нынче не ели и нынче дело к ужину. Плачет. Давай безмен. Денег не взял. Рассказ про хохла. Узнал, что я темный, снял Пантелеймона. На колена, сам плачет. Целуй. В глаза..."

26, 27 июня. "Очень много бедного народа. Я больнешенек. Не спал и не ел сухого 6 суток. Старался чувствовать себя счастливым. Трудно, но можно. Познал движение к этому".

28 июня. "С Серёжей разговор, продолжение вчерашнего, о Боге. Он и они думают, что сказать: я не знаю этого, это нельзя доказать, это мне не нужно, что это признак ума и образования. Тогда как это признак невежества. "Я не знаю никаких планет, ни оси, на

которой вертится земля, ни эклиптик каких-то непонятных, не хочу это брать на веру, а вижу — ходит солнце, и звезды как-то ходят". Да ведь доказать вращение земли и путь ее, и нутацию, и предварение равноденствия очень трудно и остается еще много неясного и, главное, трудно вообразимого, но преимущество то, что все сведено к единству. Так же и в области нравственной и духовной — свести к единству вопросы: что делать, что знать, чего надеяться. Над сведением их к единству бьется все человечество. И вдруг разъединить все сведенное к единству представляется людям заслугой, которой они хвастаются. — Кто виноват? Учили их старательно обрядам и закону божьему, зная вперед, что это не выдержит зрелости, учили множеству знаний, ничем не связанных. И остаются все без единства, с разрозненными знаниями и думают, что это приобретение.

Серёжа признал, что он любит плотскую жизнь и верит в неё. Я рад ясной постановке вопроса.

Пошёл к Константину. Он неделю болен, бок, кашель. Теперь разлилась желчь. Курносенков был в желчи. Кондратий умер желчью. Бедняки умирают желчью. От скуки умирают. У бабы грудница есть, три девочки есть, а хлеба нет. За ягодами пошли. Печь топлена, чтобы не пусто было и грудная не икала. Константин повез последнюю овцу.

Дома ждет Городенский, косой, больной мужик. Его довез сосед. Стоит на прищепке.

У нас обед огромный с шампанским. Тани наряжены. Пояса 5-рублевые на всех детях. Обедают, а уж телега едет на пикник, промежду мужицких телег, везущих измученных работой народ.

Пошёл к ним, но ослабел".

На тех же днях получилось письмо от И. С. Тургенева, который писал:

"Любезнейший Л. Н-ч, надеюсь, что вы благополучно совершили ваше паломничество, и рассчитываю на исполнение вашего обещания навестить меня. Я неделю тому назад вернулся из Москвы, дом приведен в порядок, и я теперь никуда с места не тронусь. Не забудьте ваши сочинения.

Кланяюсь всем вашим и дружески жму вашу руку".

Вероятно, Л. Н-ч сейчас же ответил на это письмо согласием, так как через несколько дней получилось другое письмо от Тургенева такого содержания:

"Любезнейший Л. Н-ч, вчера получил ваше письмо и очень порадовался вашему близкому посещению, а также тому, что вы говорите о вашем чувстве ко мне. Оно потому и хорошо, что общее, т. е. одинаковое и в вас, и во мне. Надеюсь, что поездка графини будет удачная и что здоровье ваше скоро восстановится. Известите меня о дне и часе вашего прибытия в Мценск, чтобы выслать лошадей, и не забудьте привезти с собой обещанные сочинения. Жму вашу руку".

3 июля. Л. Н-ч записывает в дневнике:

"Я с болезнью не могу справиться. Слабость и лень и грусть. Необходима деятельность — цель — просвещение, исправление и соединение. Просвещение я могу направлять на других. Исправление — на себя. Соединение — с просвещенными и исправляющимися".

6 июля. "Разговор с К., В. И. и И. М. Революция экономическая не то, что может быть, а не может не быть. Удивительно, что её нет".

9 июля, исполняя свое обещание, Л. Н-ч отправляется в Спасское к Тургеневу.

Заимствуем описание этого посещения из статьи П. А. Сергеенко: "Тургенев и Толстой".

"Получивши телеграмму о приезде Л. Н-ча Толстого, Тургенев заволновался. Он был необыкновенно гостеприимный хозяин, и приезд гостей всегда наполнял его душу молодым оживлением. Распорядившись о высылке лошадей на станцию Мценск, согласно полученной телеграмме, Тургенев и жившие в Спасском Полонские ждали автора "Войны и мира" на другой день. Но произошла ошибка.

Был поздний час ночи, и в доме уже все спали. Я. Полонский, писавший за своим столом, услышал на дворе лай собак, свист и чьи-то шаги.

"Я поглядел в окно, — рассказывает он, — но в безлунном мраке, с черными призраками чего-то похожего на кусты, ничего нельзя было разглядеть. Я опять сел писать и слышу, что кто-то мимо дома прошел по саду. Прислушиваюсь — топот лошади. Удивляюсь и недоумеваю. Затем в доме послышался чей-то неясный голос. Я подумал, это бредит кто-нибудь из детей моих. Иду в детскую — опять слышу голос, но уже явственный, и узнаю голос Ивана Сергеевича. Вижу — горит свеча, и какой-то мужик, в блузе, подпоясанный ремнем, седой и смуглый, рассчитывается с другим мужиком. Всматриваюсь и не узнаю. Мужик поднимает голову, глядит на меня вопросительно и первый подает голос: "Это

вы, Полонский?" Тут только я признал в нем графа Л. Н-ча Толстого".

Оказалось, что Л. Н-ч спутал дни, принял среду за четверг и послал телеграмму, которая вовсе не обязывала Ивана Сергеевича посылать за ним экипаж. Л. Н. Толстой по железной дороге приехал в Мценск, не нашел турге-

невских лошадей и нанял ямщика свезти его в Спасское. Ямщик долго ночью плутал и только к часу ночи кое-как добрался до Спасского.

Тургенев тоже еще не ложился спать. Удивление и радость его были велики. Началась оживленная беседа и продолжалась до 3-х часов пополуночи.

Тургенев иногда до того волновался, что весь как бы наливался кровью. Особенно краснели у него уши и шея. Но Л. Н. Толстой на этот раз хотя и отстаивал свои взгляды с твёрдостью, но и в тоне его, и в манере держать себя было уже нечто новое для Я. Полонского, не встречавшегося с автором "Войны и мира" более 20 лет. Полонского поразила в Л. Толстом какая-то особенная мягкость и подкупающая простота в обращении.

"Я видел его, — говорил Полонский, — как бы перерожденным, проникнутым иною верою, иною любовью".

Л. Н. Толстой перед этим ходил пешком на богомолье в Оптину пустынь в крестьянском платье. И он много рассказывал в Спасском о своем путешествии. Был, между прочим, Л. Н-ч и у раскольников и видел одну раскольничью богородицу, причем в ее работнице нашел,

к немалому своему удивлению, очень подвижную, грациозную и поэтическую девушку, бледно-худощавую, с маленькими белыми руками и тонкими пальцами.

"Никому из нас, — говорил Я. Полонский, — граф не навязывал своего образа мыслей и спокойно выслушивал возражения Ивана Сергеевича. Одним словом, это был уже не тот граф, каким я когда-то в молодости знавал его".

В Спасском Л. Н. пробыл около двух суток.

После отъезда Л. Н. Толстого в Спасское приехала М. Г. Савина. И хотя Тургенев, как почитатель Савиной и как любезнейший из хозяев, охвачен был заботами о своей гостье, но образ Л. Н. Толстого, видимо, не рассеивался в его душе. Тургенев часто говорил о нем с кротким и любовным чувством, а как о писателе отзывался даже с восторженностью. Однажды он вышел к своим гостям с книгой в руке и мастерски прочел вслух из "Войны и мира", как мимо Багратиона шли в сражение с французами два батальона 6-го егерского полка.

"...Они еще не поравнялись с Багратионом, а уже слышен был тяжелый, грузный шаг, отбиваемый в ногу массой людей..."

Тургенев дочитывал всю эту главу до конца с видимым увлечением иногда кончил, поднял голову и проговорил:

— Выше этого описания я ничего не знаю ни в одной из современных литератур. Вот это — описание. Вот как должно описывать...

Все согласились с ним. Но Тургенев все еще восторженно доказывал, как высокохудожественно это описание..."

Л. Н. в своем дневнике делает такую заметку о своем пребывании у Тургенева:

9, 10 июля. "У Тургенева. Милый Полонский, спокойно занятый живописью и писанием, не осуждающий и бедный — спокойный. Тургенев боится имени Бога, а признаёт Его. Но тоже наивно-спокойный. В роскоши и праздности жизни".

Поводом к поездке в самарское имение были хозяйственные дела. Но Л. Н-ч уже не мог заниматься ими со спокойной совестью. Он постоянно видел контраст богатства и бедности, праздности и труда. И, не будучи в состоянии отдаться второму, он не мог с увлечением продолжать и первого, и томился, и искал исхода. Это настроение часто проглядывает в его заметках и письмах того времени. Напр.:

16 июля. "Ходил и ездил смотреть лошадей. Несносная забота. Праздность. Стыд".

17 июля. "Нынче хочу писать и работать".

2 августа. "Павловской бабы муж умер в остроге и сын от голода. Девочку отпоили молоком. Патровский бывший пастух, нищета. Белый и седой.

Разговор с А. А. о господах, тех, которые за землю стоят, и тех, которые за раздачу. Орлова—Давыдова крестьянин. По десятине на душу. На квас не хватает, а у него 49 тысяч десятин".

Графине С. А. он пишет 24 июля:

"...Ожидания дохода самые хорошие. Одно было бы грустно, если бы нельзя было помогать хоть немного, это то, что много бедных по деревням, и бедность робкая, сама себя не знающая".

На это С. А. отвечала ему 30 июля:

"Хозяйство там пусть идет, как налажено, я не желаю ничего переменять. Будут убытки, но к ним уж не привыкать; будут большие выгоды, то деньги могут уйти и не достаться ни мне, ни детям, если их раздать. Во всяком случае ты знаешь мое мнение о помощи бедным: тысячи самарского и всякого бедного народонаселения не прокормишь, а если видишь и знаешь такого-то или такую-то, что они бедны, что нет хлеба или нет лошади, коровы, избы и пр., то дать все это надо сейчас же, удержаться нельзя, чтобы не дать, потому что жалко и потому что так надо".

По-видимому, взаимного понимания у них по этому вопросу не было.

Духовный интерес А. Н-ча во время его пребывания в Самарской губернии удовлетворялся сближением с самарскими сектантами, молоканами, субботниками и другими.

20 июля он пишет графине С. А.:

"...Нынче я с Василием Ивановичем (воскресенье) провёл целый день в Патровке, на молоканском собрании, обеде, и на волостном суде, и опять на молоканском собрании. В Патровке мы нашли Пругавина (он пишет о расколе). Очень интересный и степенный человек. Весь день провел очень интересно. На собрании была беседа о Евангелии. Есть умные люди и удивительные по своей смелости".

А в дневнике своём он делает такую заметку об этом дне:

20 июля. "Воскресенье. У молокан моление. Жара. Платочком пот утирают. Сила голосов, шеи карие, корявые, как терки. Поклоны. Обед: 1) холодное, 2)

крапивные щи, 3) баранина вареная, 4) лапша, 5) орешки, 6) баранина жареная, 7) огурцы, 8) лапшинник, 9) мед.

Утром бедная женщина, грубая, плачет с ребенком, гавриловская.

Волостной суд. 1) Сапоги снял с татарина. 2) Молокан ищет на работнике пшеницу.

"Я тебе туда затру", хохот. Присудили православные в пользу молоканина. Староста пьяный. Магарычи губят. Молоканская беседа. О пяти заповедях, "Спаси господи". Живое участие".

Молокане приезжали ко Льву Н-чу, и он о них записывает:

22 июля. "Молокане. Я читал своё. Горячо слушают. Толкование 6-ой главы прекрасно. Чудо хананеянки: беснующаяся — заблудная. Истиной исцелял".

Об этом же он сообщает в письме к С. А. 24 июля:

"Интересны молокане в высшей степени. Был я у них на молении, присутствовал при их толковании Евангелия и принимал участие, и они приезжали и просили меня толковать, как я понимаю; и я читал им отрывки из моего из-

ложения; и серьезность, и интерес, и здравый, ясный смысл этих полуграмотных людей — удивительны. Был я в Гаврилове у субботника. Тоже очень интересно. Вообще впечатлений за эту неделю даже слишком много".

В следующем письме он пишет С. А.:

"...Вчера был у меня старик пустынный, он живет в лесу по Бузулукской дороге. Он сам малоинтересен и приятен. Но интересен тем, что он был один из мужиков, которые

40 лет тому назад поселились в Бузулуке на горе и завели тот огромный монастырь, который мы видели. Я записал его историю".

В то же время Л. Н-ча берет забота о доме, о жене, о трудах, несомых ею в его отсутствие, и вот 24 июля он пишет ей нежное письмо:

"Ты нынче выезжаешь в Москву. Ты не согласишься, как меня мучает мысль о том, что ты через силу работаешь, и раскаяние в том, что я мало (вовсе) не помогал тебе.

Вот уже на это кумыс был хорош, чтобы заставить меня спуститься с той точки зрения, с которой я невольно, увлеченный своим делом, смотрел на все. Я теперь иначе смотрю. Я все то же думаю и чувствую, но я излечился от заблуждения, что другие люди могут и должны смотреть на все, как я. Я много перед тобой был виноват, душенька, бессознательно, невольно виноват, ты знаешь это, но виноват.

Оправдание мое в том, что для того, чтобы работать с таким напряжением, с каким я работал, и сделать что-нибудь, нужно забыть все. И я слишком забывал о тебе и каюсь. Ради бога и любви нашей как можно береги себя. Откладывай больше до моего приезда, я все сделаю с радостью и сделаю недурно, потому что буду стараться".

Еще интереснее следующее письмо 6 августа:

"...Хозяева наши так же неусыпно и естественно добры. Сейчас (утро) вошла Лиза. "Что ты?" — "А, вы тут? А я хотела подмести, убрать". А у них еще и нянька ушла, бросила их, и одна кухарка на все дела. Что ты пишешь в одном письме, что мне верно так хорошо в этой среде, что о доме и своем быте я буду думать с неудовольствием. Это как раз наоборот. Все больше и лучше думаю о вас. Ничто не может доказать яснее невозможности жизни по идеалу,

как жизнь Бибикова с семьей и Василия Ивановича. Люди они прекрасные и всеми силами, всей энергией стремятся к самой лучшей, справедливой жизни, а жизнь и семья стремятся в свою сторону, и выходит среднее. Со стороны мне видно, как это среднее хотя и хорошо, как далеко от их цели. То же переносишь на себя и поучаешься довольствоваться средним. То же среднее в молоканстве, то же среднее в народной жизни, особенно здесь. Только бы бог донес нас благополучно ко всем вам благополучным, и ты увидишь, какой я в твоём смысле стану паинька".

А в Ясной между тем шла своя жизнь, как всегда, мешая горе с весельем.

Вот что пишет С. А. об одном странном посетителе:

"У нас живет какой-то казак чудной, приехавший из Старогладовской станицы, Федор, Епишкин племянник, ровесник тебе. Он приехал с Кавказа верхом, на рыжей лошади, в красном башлыке и меховой шапке, с медалями и орденами, седой, сухой и страшный болтун, ломается, рисуется и несимпатичный. Он говорит, что едет к государю проситься на службу в конвой. "Где одного нашего убили", как он выражается. "Хочу третьему царю служить, я двум служил". Он ходил к Алексею Степановичу, и у них шел оживленный разговор о разных кавказских воспоминаниях и общих знакомых.

Вчера ездили мы кататься и две Тани верхом, а казак в красном башлыке их кавалером, на своей лошади. Станный был *сюр d'oeil*.

Лошадь смирная, ручная, как собака, и он на нее поочередно всех детей сажал".

Должно быть, Л. Н-ч остался в Самарской губ. дольше, чем думал, так как терпение С. А. истощилось, и в следующем письме ее ко Л. Н-чу от 6 августа слышится уже упрек.

Но вот С. А. узнает, что Л. Н-ч задумал новое художественное произведение, и тон письма становится нежный и радостный.

"Каким радостным чувством меня охватило вдруг, — пишет С. А., — когда я прочла, что ты хочешь писать опять в поэтическом роде.

Ты почувствовал то, чего я давно жду и желаю. Вот в чем спасенье, радость, вот на чем мы с тобой опять соединимся, что утешит тебя и осветит нашу жизнь. Эта работа настоящая, для нее ты создан и вне этой сферы нет мира твоей душе.

Я знаю, что насиловать ты себя не можешь, но дай Бог тебе этот проблеск удержать чтобы разрослась в тебе опять эта искра Божия. Меня в восторг эта мысль приводит".

Получив предыдущее строгое письмо, Л. Н-ч немедленно выехал из самарского хутора, чтобы скорее вернуться в Ясную Поляну. Дорогой он, между прочим, записывает:

16 августа. «В Ряжске убит машиной. Каждый месяц — человек. Все машины к чёрту, если "человек"».

17 августа он вернулся домой, и мечты его об участии в общей семейной жизни сразу разлетелись. Самарская жизнь всегда была дорога Л. Н-чу своей первобытной простотой, и, окунувшись в нее, снова испытал ее прелесть, Л. Н-ч ещё сильнее почувствовал тот

невыносимый ему тон праздности и роскоши, который охватывал порою Ясную Поляну. Там был в это время съезд гостей и готовился любительский спектакль. И в дневнике Л. Н-ча появляется мрачная запись:

18 августа. "Театр. Пустой народ. Из жизни вычеркнуты дни 19, 20, 21".

22 августа Л. Н-ча снова посетил Тургенев, который, увлекшись общим бесшабашным весельем собравшейся молодежи, к удивлению всех, протанцевал в зале парижский канкан.

В этот день в дневнике Л. Н-ча появилась краткая запись:

"Тургенев — сапсан. Грустно.

Встреча народа на дороге радостная".

Всё это время у Л. Н-ча было тяжело на душе. Семья его собиралась на зиму в город, и это очень беспокоило его, но противиться этому он не чувствовал в себе силы.

1 сентября он поехал в Пирогово к брату. 2-ого вернулся оттуда и пишет в дневнике:

"Умереть часто хочется. Работа не забирает".

В половине сентября 1881 года вся семья Толстого переехала в Москву и поселилась в Денежном переулке. Для Л. Н-ча это было большое испытание.

5 октября он пишет в своем дневнике:

"Прошел месяц. Самый мучительный в моей жизни. Переезд в Москву. Все устраиваются, когда же начнут жить? Все не для того, чтобы жить, а для того, что так все люди. Несчастные. И нет жизни.

Вонь, камни, роскошь, нищета, разврат. Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргии, и — пируют. Народу

больше нечего делать, как, пользуясь страстями этих людей, выманивать у них назад награбленное. Мужики на это ловчее. Бабы дома, мужики трут полы и тела в банях и ездят извозчиками".

Читатель, прочтя этот крик наболевшего сердца, быть может, спросит: как же относились к этому близкие, любящие его люди?

Вот выписка из письма графини Софьи Андреевны, человека, несомненно, близкого и любящего его, к ее сестре:

14 октября 1881 года, Москва.

"...Завтра месяц как мы тут, и я никому ни слова не писала. Первые две недели я ежедневно плакала, потому что Лёвочка впал не только в уныние, но даже в какую-то отчаянную апатию. Он не спал и не ел, сам а la lettre плакал иногда, и я думала просто, что я с ума сойду. Ты бы удивилась, как я тогда изменилась и похудела. Потом он поехал в Тверскую губ., виделся там со старыми знакомыми, Бакуниными (дом либерально-художественно-земско-литературный), потом ездил там в деревню к какому-то раскольнику, христианину, и когда вернулся, тоска его стала меньше. Теперь он наладился заниматься во флигеле, где нанял себе две маленькие, тихие комнатки за 6 руб. в месяц, потом уходит на Девичье поле,

переезжает реку на Воробьевы горы и там пилит и колет дрова с мужиками. Ему это здорово и весело".

Мы приводим здесь эти факты и эти документы, воздерживаясь от комментариев и от суда над людьми живущими, не считая себя вправе делать это и предоставляя это истории.

К этому же времени относится следующее замечательное письмо, написанное им своему другу В. И. Алексееву, оставшемуся в Самаре:

"Спасибо вам за хорошее письмо, дорогой В. П.! Мы как будто забываем, что любим друг друга. Я не хочу этого забывать — не хочу забывать того, что я вам во многом обязан в том спокойствии и ясности моего мирозерцания, до которого я дошел. Я вас узнал, первого человека (тронутого образованием), не на словах, а в сердце исповедующего ту веру, которая стала ясным и непоколебимым для меня светом. Это заставило меня верить в возможность того, что смутно всегда шевелилось в душе. И поэтому вы как были, так и останетесь всегда дороги. Смущает меня неясность, непоследовательность вашей жизни, смущает ваше предпоследнее письмо, полное забот мирских, но я сам так недавно был переполнен ими и до сих пор так плох в своей жизни, что мне пора знать, как сложно переплетается жизнь с прошедшими соблазнами, и что дело не во внешних формулах, а в вере. И мне радостно думать, что у нас с вами вера одна.

О моих предположениях собирать долги и на эти деньги учредить что-нибудь для пользы людей должен сказать, что все это пустяки, даже хуже, чем пустяки, это — дурное тщеславие. Одно смягчающее мою вину и объясняющее

обстоятельство это то, что я делал это для своих, для своей семьи. Из денег, разумеется, кроме зла (как и вы пишете), едва ли что-нибудь выйдет, но для моей семьи — это начало того, к чему я тяну постоянно, — отдать то, что есть, не для того, чтобы сделать добро, а чтобы быть меньше виноватым.

То, что мои доводы малоубедительны, я очень хорошо знаю. Ошибаюсь ли я или нет, но я думаю, что я могу сделать их неопровержимыми для всякого человека логического, рассуждающего; но я убедился, что убеждать логики-

чески не нужно. Я пережил уже эту эпоху. То, что я писал и говорил, достаточно для того, чтобы указать путь: всякий ищущий сам найдет, и найдет лучше и больше и свойственное себе доводы, но дело в том, чтобы показать путь. Теперь же я убедился, что показать путь может только жизнь, — пример жизни. Действие этого примера очень небыстро, очень неопределенно (в том смысле, что, думаю, никак не можешь знать, на кого оно подействует), очень трудно. Но оно одно дает толчок. Пример — доказательство возможности христианской, т. е. разумной и счастливой жизни при всех возможных условиях; это одно двигает людей, и это одно нужно и мне, и вам, и давайте помогать друг другу это делать. Пишите мне, и будемте как можно правдивее друг перед другом. Обнимаю вас и всех ваших".

С переездом семьи в город начинается новый образ жизни Л. Н-ча, являются новые связи с людьми. Мы расскажем об этом в следующей главе.

ГЛАВА 19.

Жизнь Льва Николаевича в Москве в начале 80-х годов

В последнем приведённом нами отрывке из письма графини к ее сестре она говорит, что Л. Н-ч посетил "какого-то раскольника-христианина". В дневнике его того времени есть короткая запись:

"Был в Торжке у Сютаева. Утешенье".

Мы полагаем, что читателю известна эта замечательная личность (1). Мы ограничиваемся здесь некоторыми сведениями, сообщенными нам самим Л. Н-чем об этом посещении. Узнав еще в Самаре от Пругавина о Сютаеве и его сыне, отказавшемся от воинской повинности и отбывавшем наказание в шлиссельбургском дисциплинарном батальоне, Л. Н-ч задумал посетить отца.

(1) Мы отсылаем желающих познакомиться с нею к прекрасному очерку А. С. Пругавина "Сютаевцы", помещенному в книге "Религиозные отщепенцы", вып. 1. М., 1906. Издание "Посредника".

Он поехал к тверским помещикам Бакуниным, своим давнишним знакомым, от имения которых деревня Сютаева — Шавелино — находится в 8–9 верстах. Бакунины мало интересовались сектантством и едва слышали о Сютаеве. Л. Н-ч поехал к нему и застал его

дома. Сютаев тогда устраивал "общину" из своей семьи. Он рассказывал, что у них не только неделимое хозяйство, но даже бабьи сундуки общие. На невестке Сютаева был надет платок. Л. Н-ч спросил: "Ну, а платок у тебя свой?", желая провести границу между общим и личным имуществом. "А вот и нет, — отвечала невестка, — платок не мой, а матушки, свой не знаю куда задевала". Сютаев водил Л. Н-ча к своему единомышленнику, бывшему солдату, за которого он выдал свою дочь. Вот как рассказывают Сютаев о свадьбе своей дочери: "Когда порешили и собрались вечером, я им дал наставление, как жить, потом постлали им постель, положили их спать вместе и потушили огонь, вот и вся свадьба".

Сютаев пас деревенское стадо. Он добровольно избрал эту должность, потому что жалел скотину, и говорил, что у других пастухов скотине бывает плохо, а он водил ее по хорошим местам и наблюдал, чтобы она была и сыта,

и напоена. Сютаев запряг лошадку в телегу, чтобы проводить Л. Н-ча до Бакунина. Кнута для понукания лошади Сютаев не употреблял. Они ехали и разговаривали и так были увлечены мечтами о наступлении царства божия на землю, что не заметили, как лошадь завезла их в овраг, телега опрокинулась, и они оба вывалились, к счастью, без большого вреда для обоих. Нам придется еще раз вернуться к рассказу об этом крестьянине-мудреце.

В это время Л. Н-ч познакомился ещё в Москве с одной замечательной личностью, Николаем Фёдоровичем

Фёдоровым, библиотекарем Румянцевского музея, теперь уже умершим. Л. Н-ч записывает о нем в дневнике:

"Николай Фёдорович — святой. Каморка. "Исполнять? это само собою разумеется". Не хочет жалованья. Нет белья, нет постели".

Николай Фёдорович, по рассказам близко знавших его, спал на пачках старых журналов. Потребности его были доведены до минимума, работоспособность необыкновенная. Обладая сильной памятью, он был живой каталог и всегда с особенной любезностью и старанием давал библиографические указания всем обращавшимся к нему, участливо вникая в самую суть работы занимавшихся в библиотеке.

Особенность его христианских, религиозных взглядов состояла в вере в какое-то научно-мистическое бессмертие.

Эта личность заслуживает внимательного изучения, и мы очень советуем лицам, близко знавшим его, собрать о его жизни возможно больше материала.

Ещё укажем на близкого тогда ко Л. Н-чу человека, учителя железнодорожного училища Владимира Федоровича Орлова, поражавшего Л. Н-ча своим духовным, художественным толкованием евангельских текстов в самом радикальном христианском духе.

Обо всех этих людях Л. Н-ч с радостью сообщает своему другу В. И. Алексееву, и это письмо, давая краткую характеристику первых друзей Л. Н-ча по вере, вместе с тем изображает в ярких красках и душевную борьбу, которую он переживал в Москве:

"Спасибо вам, дорогой Василий Иванович, за письмо ваше. Думаю я о вас беспрестанно и люблю вас очень. Вы недовольны собой, что же мне-то сказать про себя? Мне

очень тяжело в Москве. Больше двух месяцев я живу и все так же тяжело. Я вижу теперь, что я знал про все то, про всю громаду соблазнов, в которых живут люди, но не верил им, не мог представить их себе, как вы знали, что есть Кавказ по географии, но узнали его только, когда приехали в него. И громада этого зла подавляет меня, приводит в отчаяние, вселяет недоверие, удивляет меня, — как же никто не видит этого? Может быть, и мне нужно было это, чтобы яснее найти свой честный путь в жизни. Представляется прежде всего одно из двух: или опустить руки и страдать бездейтельно, предаваясь отчаянию, или помириться со злом, затуманивать себя винтом, пустомельем, суетой. Но, к счастью, я последнего не могу, а первое слишком мучительно, и я ищу выхода. Выход представляется мне один: проповедь печатная и изустная. Но тут тщеславие, гордость и, может быть, самообман, и боишься его. Другой выход — делать добро людям, но тут огромность числа несчастных подавляет. Не так, как в деревне, где складывается кружок естественный. Единственный выход, который я вижу из этого, — жить хорошо, всегда ко всем поворачиваться доброй стороной, но этого я все еще не умею делать, как вы. Вспоминаю о вас; когда обрываюсь на этом. Редко могу быть таким — я горяч, сержусь, негодую и недоволен собою. Есть и здесь люди. И мне дал бог сойтись с двумя: Орлов один, другой, и главный, — Николай Фё-

дорович Федоров. Это библиограф Румянцевской библиотеки. Помните, я вам рассказывал. Они составили

план общего дела всего человечества, имеющего целью воскресение всех людей во плоти. Во-первых, это не так безумно, как кажется. Не бойтесь, я не разделяю его взглядов, но я так понял их, что чувствую себя в силах защитить эти взгляды перед всяким другим верованием, имеющим внешнюю цель; во-вторых, и главное, благодаря этому верованию он по жизни самый чистый христианин. Когда я ему говорю об исполнении Христова учения, он говорит: "да, это разумеется", и я знаю, что он исполняет его. Ему 60 лет, он нищий, все отдает, всегда весел и кроток. Орлов — пострадавший, 2 года сидел по делу Нечаева, и болезненный, тоже аскет по жизни и кормит 9 душ, и живет хорошо. Он учитель в железнодорожной школе. Соловьев здесь, но он головной. Еще был я у Сютаева, тоже христианин и на деле. Книгу мою — "Краткое изложение" — читал и Орлов, и Федоров, и мы единомышленники с Сютаевым во всем, до малейших подробностей. Ну, казалось бы, хорошо. Кроме того, пишу рассказы, в которых хочу выразить мои мысли. Казалось бы хорошо, но нет спокойствия. Торжество равнодушия, приличия, привычность зла и обмана давят. Сижу все дома, утром пытаюсь работать, плохо идет. Часа в 2–3 иду за Москву реку пилить дрова. И когда есть сила и охота подняться, это освежает меня, придает силы, видишь жизнь настоящую и хотя прыжком в нее окунешься и освежишься. Но когда не хожу (тому назад недели три я ослабел и перестал ходить, и совсем было опустился), раздражение, тоска. Вечером сижу дома и одолевают гости. Хоть и интересные, но пустые разговоры, и теперь хочу затвориться от них. Перечел письмо и вижу, что оно ужасно бестолково, но боюсь, не сумею написать лучше, и

посылаю. Напишу непременно получше в другой раз. Пишите, пожалуйста, почаще".

В то же время Л. Н-ч продолжает сношение и со своим старым другом Н. Н. Страховым. К сожалению, мы не могли достать писем Л. Н-ча к Страхову за этот период. Но в нашем распоряжении есть письмо Страхова ко Л. Н-чу, которое интересно и само по себе, а также и по тому отношению Л. Н-ча к Страхову, которое легко выясняется из этого письма. Вот это письмо, от 29 ноября 1881 года:

"Получил ваше письмо, бесценный Лев Николаевич, и нашел в нем то самое, что ожидал, тот упрек, который мне слышался в вашем молчании и который я так часто сам делаю. Этот упрек смущает меня перед вами и тревожит мою совесть постоянно. Почему я понимаю ваши чувства, но не разделяю их? Буду говорить, как на исповеди. Потому, что у меня нет такой силы чувства, как у вас, не хочу и насиловать себя пли прикидываться, а где же я возьму ту беззаветность, ту горячность, с которою вы чувствуете, которыми одарено ваше сердце? Будьте снисходительны ко мне, не отталкивайте меня из-за этой разницы. Ваше отвращение к миру — я его знаю, потому что и сам испытываю его, но испытываю в той легкой степени, в которой оно не душит и не мучит, но и привязанности к миру у меня никакой нет; если же есть какая, то я стараюсь теперь уничтожить ее, оборвать последние ниточки. Постоянно я думаю об этом, и мне кажется, сделал некоторые успехи; не буду вам рассказывать, так они еще малы и, может быть, и те обманчивы. На усилия, на крутые повороты я не способен, но знаю, что, постоянно держась одной мысли, одного пути, могу дойти до чего-нибудь хорошего. Я стал

несравненно спокойнее, чем был, и все благодаря вам и чтению монашеских книг. Правда, это

спокойствие беспрестанно нарушается, и опять приходится бороться, но колебания эти далеко не так мучительны, как бывало.

Любить людей — боже мой, как это сладко! И в слабой степени я испытываю это чувство, я знаю его по опыту, но нет у меня силы и в этом, как и во всем другом. И все лучшие чувства, какие я нахожу в себе, я все их берегу, воспитываю в себе, держусь за них, но не в моей власти дать им порыв и огонь. Такова моя натура и такова моя судьба, жизнь сложилась сообразно с этими свойствами. Не будьте же строго требовательны ко мне, я вам обязан, вероятно, лучшими минутами своей жизни, смотрите не на то одно, что во мне дурное, а и на то, что можно найти хорошего. А впрочем, наставляйте меня, я вас охотно слушаюсь, вы сами знаете.

Ваш всей душою *Н. Страхов*".

В январе 1882 года Москва готовилась к трехдневной переписи, назначенной на 23, 24 и 25 января. Льву Николаевичу пришло на мысль воспользоваться переписью, при которой счетчиками и их руководителями будет обнаружена вся московская нищета, и предложить этим людям из московского интеллигентного общества не прерывать завязанного таким образом общения, а

продолжать его и увлечь других для братской любовной помощи городской нужде.

И он написал известную статью "О переписи". Все, что он испытал, распространяя, читая и печатая эту статью, он сам рассказал в своей книжке "Так что же нам делать?", откуда мы и заимствуем этот вполне автобиографический рассказ.

"Составив себе этот план, — говорил Л. Н-ч, — я написал об этом статью и прежде еще, чем отдать ее в печать, пошел по знакомым, от которых надеялся получить содействие. Всем, кого я видел в этот день (я обращался особенно к богатым), я говорил одно и то же, почти то же, что я написал в статье: я предлагал воспользоваться переписью для того, чтобы узнать нищету в Москве и помочь ей и делом, и деньгами и сделать так, чтобы бедных не было в Москве и мы, богатые, со спокойной совестью могли бы пользоваться привычными нам благами жизни. Все слушали меня внимательно и серьезно, но при этом со всеми без исключения происходило одно и то же.

Все соглашались, но соглашались, как мне казалось, не вследствие моего убеждения и не вследствие своего желания, а вследствие какой-то внешней причины, не позволявшей не соглашаться. Я заметил это уже и по тому, что ни один из обещавших мне своё содействие деньгами, ни один сам не определил сумму, которую он намерен дать, так что я сам должен был определить ее и спрашивал: "так я могу рассчитывать на вас до 300, или 200, или 100, или 25 руб.?" и ни один не дал денег. Я отмечаю это потому, что когда люди дают деньги на то, чего сами желают, то обыкновенно торопятся дать деньги. На ложу Сары Бернар сейчас дают деньги в руки, чтобы закрепить дело. Здесь же, из всех тех, которые

соглашались дать деньги и выражали свое сочувствие, ни один не предложил сейчас же дать деньги, но только молчаливо соглашались на ту сумму, которую я определил".

Л. Н-ч описывает далее посещение одного великосветского салона и продолжает так:

"Вернувшись домой в этот день, я лёг спать не только с предчувствием, что из моей мысли ничего не выйдет, но со стыдом и сознанием того, что целый этот день я делал что-то очень гадкое и стыдное. Но я не оставил это-

го дела. Во-первых, дело было начато, и ложный стыд помешал бы мне отказаться от него; во-вторых, не только успех этого дела, но самое занятие им давало мне возможность продолжать жизнь в тех условиях, в которых я жил; неуспех же подвергал меня необходимости отречения от своей жизни и искания новых путей жизни. А этого я боялся бессознательно. И я не поверил внутреннему голосу и продолжал начатое.

Отдав в печать свою статью, я прочел ее в корректуре в думе. Я прочел ее, краснея до слез и запинаясь: так мне было неловко. Так же неловко было, я видел, и всем слушателям. На вопрос мой, по окончании чтения, о том, принимают ли руководители переписи мое предложение оставаться на своих местах для того, чтобы быть посредниками между обществом и нуждающимися, произошло неловкое молчание. Потом два оратора сказали речи. Речи эти как бы поправили неловкость моего предложения: выражено было мне сочувствие, но указано было на неприложимость моей всеми одобряемой мысли.

Всем стало легче. Но когда я потом, все-таки желая добиться своего, спрашивал у руководителей порознь, согласны ли они при переписи исследовать нужды бедных и оставаться на своих местах, чтобы служить посредниками между бедными и богатыми, им всем опять стало неловко. Как будто они взглядами говорили мне: ведь вот смазали из уважения к тебе твою глупость, а ты опять лезешь с нею? Такое было выражение их лиц, но на словах они сказали мне, что согласны, и двое из них, каждый порознь, как будто сговорились, одними и теми же словами сказали: "Мы считаем себя нравственно обязанными это сделать". То же самое впечатление произвело мое сообщение и на студентов-счетчиков, когда я им говорил о том, что мы во время переписи, кроме целей переписи, будем преследовать и цель благотворительности. Когда мы говорили про это, я замечал, что им совестно смотреть мне в глаза, как совестно смотреть в глаза доброму человеку, говорящему глупости. Такое же впечатление произвела моя статья на редактора газеты, когда я отдал ему статью, на моего сына, на мою жену, на самых разнообразных людей. Всем почему-то становилось неловко, но все считали необходимым одобрить самую мысль, и все тотчас после этого одобрения начинали высказывать свои сомнения в успехе и начинали почему-то (но все без исключения) осуждать равнодушие и холодность нашего общества и всех людей, очевидно, кроме себя.

В глубине души я продолжал чувствовать, что все это не то, что из этого ничего не выйдет, но статья была напечатана, и я взялся участвовать в переписи; я затеял дело, и дело само уж затянуло меня".

В своей книге, озаглавленной "Так что же нам делать?", Л. Н-ч с неподражаемой искренностью рассказывает свои неудачные опыты благотворительности.

Чтобы не приводить целиком всех этих глав, составляющих страницы из жизни самого Л. Н-ча, мы расскажем вкратце их содержание.

Ему был назначен по его просьбе участок Хамовнической части, у Смоленского рынка, по Проточному переулку, между береговым проездом и Никольским переулком. В этом участке находятся дома, называемые вообще Ржаное дом, или Ржановская крепость.

В первый раз Л. Н-ч пошел туда за несколько дней до переписи один, чтобы лучше ориентироваться потом. Он сразу окунулся во всю нужду, царствовавшую там, и тогда же ясно сознал, как трудно исполнимо задуманное им дело.

"Я, как ни странно сказать, — говорит Л. Н-ч, — в первый раз ясно понял, что дело, которое я затевал, не может состоять в том только, чтобы накорм-

мить и одеть тысячу людей, как бы можно было накормить и загнать под крышу 1000 баранов, а должно состоять в том, чтобы сделать доброе людям. И когда я понял, что каждый из этой тысячи людей такой же точно человек, с такими же страстями, соблазнами, заблуждениями, с такими же мыслями, такими же вопросами, такой же человек, как и я, то затеянное мною дело вдруг

представилось мне так трудно, что я почувствовал свое бессилие. Но дело было начато, и я продолжал его".

Затем, в назначенные дни переписи, Л. Н-ч со студентами-счетчиками, назначенными в его распоряжение, внимательно и добросовестно обошел все грязные углы ужасной Ржановской крепости, и в то время, как счетчики делали свое дело, опрашивая и записывая нужные им статистические данные, Л. Н-ч старался расспросами со своей стороны разузнать степень и подробности нужды и делал заметки о возможной и предполагаемой помощи.

Собранный им таким образом материал дал возможность ему разделить всех нуждающихся на три разряда, именно:

Люди, потерявшие свое прежнее положение и ожидающие возвращения к нему (такие люди были и из низшего, и из высшего сословия), потом распутные женщины, которых очень много в этих домах, и третий отдел — дети. Больше всех он нашел и записал людей первого разряда. Пришлось бы перепечатывать здесь всю книгу, если бы желать рассказать все яркие картины, переданные в ней Л. Н-чем. Мы скажем только, что все его попытки помощи ни к чему не привели, лишь раскрыли перед ним во всем своем ужасе язвы нашего общественного строя.

Последний обход был ночью. Л. Н-ч так рассказывает о нем:

"Мы приехали в темный трактир, подняли половых и стали разбирать свои папки. Когда нам объявили, что народ узнал об обходе и уходит из квартир, мы попросили хозяина запереть ворота и сами ходили на двор уговаривать уходивших людей, уверяя их, что никто не

спросит их билетов. Помню странное и тяжелое впечатление, произведенное на меня этими встревоженными ночлежниками: оборванные, полураздетые, они все мне казались высокими при свете фонаря в темноте двора; испуганные и страшные в своем испуге, они стояли кучкой около вонючего нужника, слушали наши уверения и не верили нам: очевидно, они готовы были на все, как травленный зверь, чтобы только спастись от нас. Господа в разных видах: и как полицейские, городские и деревенские, и как следователи, и как судьи, всю жизнь травят их и по городам, и по деревням, и по дорогам, и по улицам, и по трактирам, и по ночлежным домам, и теперь вдруг эти господа приехали и заперли ворота только затем, чтобы считать их; им этому так же трудно было поверить, как зайцам тому, что собаки пришли не ловить, а считать их. Но ворота были заперты, и встревоженные ночлежники вернулись, мы же, разделившись на группы, пошли. Впереди нас, во мраке, шел Ваня в пальто и белых штанах с фонарем, а за ним и мы. Шли мы в знакомые мне квартиры. Помещения были мне знакомы, некоторые люди тоже, но большинство людей было новое, и зрелище было новое и ужасное, еще ужаснее того, которое я видел у Ляпинского дома. Ужасно было зрелище по тесноте, в которой жался этот народ, и по смешению женщин с мужчинами. Все женщины, не мертвецки пьяные, спали с мужчинами. Многие женщины с детьми на узких койках спали с чужими мужчинами. Ужасно было зрелище по нищете, грязи, оборванности и испуганности этого народа. И, главное, ужасно по тому огромному количеству людей, которые были в этом положении. Одна квартира и потом другая такая же, и

третья, и десятая, и двадцатая, и нет им конца. И везде тот же смрад, та же духота, теснота, то же смешение полов, те же пьяные до одурения мужчины и женщины, и тот же испуг, покорность и виновность на всех лицах, и мне стало опять совестно и больно, как в Ляпинском доме, и я понял, что то, что я затевал, было гадко, глупо и потому невозможно. И я уже никого не записывал и не спрашивал, зная, что из этого ничего не выйдет".

Приведём здесь ещё один эпизод из переписи, по словам самого Л. Н-ча, имевший большое влияние на ход его мыслей и чувств.

В конце января в Москву приехал Василий Кириллович Сютаев и посетил Л. Н-ча. Об одном из посещений его так рассказывает графиня С. А. в письме к своей сестре от 30 января 1882 года:

"...Вчера был у нас чопорный вечер: была кн. Голицына и дочь ее с мужем, была Самарина с дочерью, Мансуров молодой, Хомякова, Свербеевы, и пр., и пр. Вечера подобные очень скучны, но помогло присутствие мужика-раскольника Сютаева, о котором вся Москва теперь говорит, и возят его повсюду, а он проповедует везде. О нем есть статья в "Русской мысли" Пругавина. Действительно, он замечательный старик. Вот он начал проповедовать в кабинете, все и переползли из гостиной туда, и вечер тем закончился.

...Какая бездна и какое разнообразие народа бывает у нас, — пишет Соф. Андр. в том же письме: — и литераторы, и живописцы" (Репин писал одновременно с

Таней в кабинете портрет Сютаева), le grand monde, нигилисты и кого-кого еще я не выдаю!"

А сам А. Н-ч рассказывает об одном из свиданий с Сютаевым в Москве следующее:

"Это было в самый разгар моего самообольщения. Я сидел у моей сестры, и у нее же был Сютаев, и сестра расспрашивала меня про мое дело. Я рассказывал ей и, как это всегда бывает, когда не веришь в свое дело, я с большим увлечением, жаром и многословием рассказывал ей и то, что я делаю, и то, что может выйти из этого; я говорил все: как мы будем призывать сирот, старых, высылать из Москвы обедневших здесь деревенских, как будем облегчать путь исправления развратным, как, если только это дело пойдет, в Москве не будет человека, который бы не нашел помощи. Сестра сочувствовала мне, и мы говорили. Среди разговора я взглядывал на Сютаева. Зная его христианскую жизнь и значение, которое он придает милосердию, я ожидал от него сочувствия и говорил так, чтобы он понял: я говорил сестре, а обращал свою речь больше к нему. Он сидел неподвижно в своем черной дубки тулупчике, который он, как и все мужики, носил и на дворе, и в горнице, и как будто не слушал нас, а думал о своем. Маленькие глазки его не блестели, а как будто обращены были в себя. Наговорившись, я обратился к нему с вопросом, что он думает про это.

— Да все пустое дело, — сказал он.

— Отчего?

— Да вся ваша эта община пустая, и ничего из этого добра не выйдет, — с убеждением повторил он.

— Как не выйдет? Отчего же пустое дело, что мы поможем тысячам, хоть сотням несчастных? Разве дурно по-евангельски голого одеть, голодного накормить?

— Знаю, знаю, да не то вы делаете. Разве так помогать можно? Ты идешь, у тебя попросит человек 20 коп. Ты ему дашь. Разве это милостыня? Ты дай ему духовную милостыню, научи его. А это что же ты дал? Только, значит, отвяжись.

— Нет, да ведь мы не про то. Мы хотим узнать нужду и тогда помогать и деньгами, и делом. И работу найти.

— Да ничего этому народу так не сделаете.

— Так как же, им так и умирать с голода и холода?

— Зачем умирать? Да много ли их тут?

— Как много ли их? — сказал я, думая, что он так легко смотрит на это потому, что не знает, какое огромное количество этих людей.

— Да ты знаешь ли? — сказал я. — Их в Москве, этих голодных, холодных, я думаю, тысяч 20. А в Петербурге и по другим городам?

Он улыбнулся.

— Двадцать тысяч. А дворов у нас в России в одной сколько? Миллион будет?

— Ну, так что же?

— Что ж? — И глаза его заблестели, и он оживился. — Ну, разберем их по себе. Я не богат, а сейчас двоих возьму. Вон малого-то ты взял на кухню: я его звал к себе, он не пошел. Еще десять раз столько будь, всех по себе разберем. Ты возьмешь, да я возьму. Мы и работать пойдем вместе: он будет видеть, как я работаю, будет учиться, как жить, и за чашку вместе за одним столом сядем, и слово он от

меня услышит и от тебя. Вот это милостыня, а то это ваша община совсем пустая.

Простое слово это поразило меня. Я не мог не признавать его правоту, но мне казалось тогда, что, несмотря на справедливость этого, все-таки может быть полезным и то, что я начал. Но чем дальше я вел это дело и чем больше я сходил с бедными, тем чаще мне вспоминалось это слово и тем больше оно получало для меня значения" (1).

(1) "Так что же нам делать?". С. 71, изд. "Посредника".

Увидав всю несостоятельность своих благотворительных планов, Л. Н. решил прекратить эту деятельность.

Раздав оставшиеся у него на руках деньги, Л. Н-ч уехал в Ясную Поляну, "раздраженный на других, как это всегда бывает, за то, что я сам делал глупое и дурное дело, — говорит он в своей книге. — Благотворительность вся сошла на нет и совсем прекратилась, но ход мыслей и чувств, который она вызвала во мне, не только не прекратился, но внутренняя работа пошла с удвоенною силой".

В Ясной, в уединении, Л. Н-ч продолжал свою критическую работу.

Он пишет оттуда С. А-не:

"...Я думаю, что лучше, спокойнее мне никогда бы не могло быть. Ты вечно в доме и в заботах семьи не можешь чувствовать ту разницу, которая составляет для меня город и деревня.

Впрочем, нечего говорить и писать в письме; я об этом самом пишу теперь, и ты прочтешь яснее, если удастся

написать. Главное зло города для меня и для всех людей мысли (о чем я не пишу) — это то, что беспрестанно приходится или спорить, опровергать ложные осуждения, или соглашаться с ними без спора, что еще хуже. А спорить и опровергать пустяки и ложь — самое праздное занятие и ему конца нет, потому что лжей может быть и есть бесчисленное количество. А занимаешься этим и начинаешь воображать, что это дело, а это самое большое безделье. Если же не спорить, то что-нибудь уяснишь себе, так что оно исключает возможность спора. А это делается только в тишине и уединении — я знаю, что нужно и общение с подобными себе очень нужно, и мои три месяца в Москве, с одной стороны, мне дали

очень много, не говоря уже об Орлове, Николае Федоровиче, Сютаеве; ближе узнать людей, общество даже, которое холодно осуждал издалека, — мне дало очень много. И я разбираюсь со всем этим материалом. Перепись и Сютаев уяснили мне очень многое. Так не беспокойся обо мне. Случиться все может и везде, но я здесь в условиях самых хороших и безопасных".

Софья Андреевна в своем дневнике так говорит об этой поездке:

"28 февраля 1882 г...Мы в Москве... жизнь наша в Москве была бы очень хороша, если бы Левочка не был так несчастлив в Москве. Он слишком впечатлителен, чтобы вынести городскую жизнь, и, кроме того, его христианское настроение слишком не уживается с условиями роскоши,

тунеядства, борьбы — городской жизни. Он уехал в Ясную вчера с Ильей (сыном) — заняться и отдохнуть".

Л. Н-ч вернулся в Москву, но ненадолго. В начале марта мы видим его опять в Ясной Поляне.

Настроение его в Москве, по-видимому, было тяжелое, и не было семейного согласия.

Мы думаем, что этот 1882 год был один из самых тяжелых для Л. Н. и его семьи. Слишком разные были их интересы, стремления их были противоположны.

Мы видим отражение этих отношений в их переписке.

Приехав в Ясную, Л. Н-ч, вероятно, выразил в письме к Софье Андреевне новое неодобрение ее городской жизни, так как она в ответ писала ему 3 марта:

"...Первое, самое унылое и грустное, когда я проснулась, было твое письмо. Все хуже и хуже. Я начинаю думать, что если счастливый человек вдруг увидел в жизни только все ужасное, а на хорошее закрыл глаза, то это от нездоровья. Тебе бы полечиться надо. Я говорю это без всякой задней мысли, мне кажется это ясно, мне тебя ужасно жаль, и если бы ты без досады обдумал и мои слова, и свое положение, ты, может быть, нашел бы исход.

Это тоскливое состояние уже было прежде давно: ты говоришь: "от безверья повеситься хотел"? А теперь? Ведь ты не без веры живешь, отчего же ты несчастлив? И разве ты прежде не знал, что есть голодные, больные, несчастные и злые люди? Посмотри получше: есть и веселые и здоровые, счастливые и добрые. Хоть бы бог тебе помог, а я что же могу сделать".

А Л. Н-ч между тем наслаждался деревенским уединением, живя в гармонии с природой.

Вот выписки из его двух писем:

"...Читал старые "Revue" — прекрасные статьи по религиозным вопросам — и много думал. Потом поехал верхом и еще больше думал...

...Здесь все ручьи налились, так что проехать трудно. Но нынче морозит и выдуло так, что я топлю другой раз. Нынче смотрю на дом К. и думаю: зачем он себя мучает, служит, где не хочет? И они все, и мы все взяли бы да жили все в Ясной и лето, и зиму, воспитывали бы детей. — Но знаю, что все безумное возможно, а разумное невозможно...

...Очень бы хотелось написать ту статью, которую я начал, но если бы и не написал в эту неделю, я бы не огорчился. Во всяком случае мне очень здорово отойти от этого задорного мира городского и уйти в себя, читать мысли других о религии, слушать болтовню Агафьи Михайловны и думать не о людях, а о боге...

...Чтение у меня превосходное. Я хочу собрать все статьи из "Revue", касающиеся философии и религии, и это будет удивительный сборник религиозного и философского движения за 20 лет. Когда устану от этого чтения,

беру "Revue Etrangere" 1834 г. и там читаю повести, тоже очень интересно. Письма твоего в Туле вчера не получил, вероятно, не умели спросить. Но зато я получил твое на Козловке. И очень оно мне было радостно. Не тревожься обо мне и, главное, себя не вини. "Остави нам долги наши, якоже и мы". Как только других простил, то и сам прав. А ты по письму простила и ни на кого не сердишься. А я

давно перестал тебя упрекать. Это было только вначале. Отчего я так опустился, я сам не знаю. Может быть, года, может быть, нездоровье... но жаловаться мне не на что. Московская жизнь мне очень мало дала, уяснила мне мою деятельность, если еще она предстоит мне, и сблизила нас с тобой больше, чем прежде... Я нынче думал о больших детях. Ведь они, верно, думают, что такие родители, как мы, это не совсем хорошо, а надо бы много лучше, и что когда они будут большие, то будет много лучше. Так же, как им кажется, что блинчики с вареньем это уже самое скромное и не может быть хуже, а не знают, что блинчики с вареньем это все равно, что 200000 выиграть. И потому совершенно неверное рассуждение, что хорошей матери должны бы меньше грубить, чем дурной. Грубить — желание одинаково — хорошей и дурной; а хорошей грубить безопаснее, чем дурной, потому ей чаще и грубят.

...Боюсь я, как бы мы с тобой не переменились ролями: я приеду здоровый, оживленный, а ты будешь мрачна, опустишься. Ты говоришь: "я тебя люблю, а тебе этого теперь не надо". — Только этого и надо... И ничто так не может оживить меня, и письма твои оживили меня. Печень печенью, а душевная жизнь своим порядком. Мое уединение мне очень нужно было и освежило меня, и твоя любовь ко мне меня больше всего радует в жизни" (1).

(1) Архив гр. С. А. Толстой.

Возвращение Л. Н-ча в Москву на этот раз ознаменовалось радостным событием. Ко Л. Н-чу приехал художник-живописец Николай Николаевич Ге.

Про это событие своей жизни Ге рассказывает довольно подробно в своих "Записках". Он говорит:

"В 1882 году случайно попалось мне слово великого писателя Л. Н-ча Толстого "О переписи в Москве". Я прочел его в одной из газет. Я нашел тут дорогие для меня слова. Толстой, посещая подвалы и видя в них несчастных, пишет: "Наша нелюбовь к низшим — причина их плохого состояния..."

Как искра воспламеняет горючее, так это слово меня всего зажгло. Я понял, что я прав, что детский мир мой не поблекнул, что он хранил целую жизнь и что ему я обязан лучшим, что у меня в душе осталось свято и цело. Я еду в Москву обнять этого великого человека и работать ему.

Приехал, купил холст, краски — еду: не застал его дома. Хожу три часа по всем переулкам, чтобы встретить, — не встречаю. Слуга (слуги — всегдашние мои друзья), видя мое желание, говорит: "Приходите завтра в 11 часов, наверно он будет дома". Прихожу. Увидел, обнял, расцеловал. "Лев Николаевич, я приехал работать, что хотите. Вот дочь ваша, хотите, напишу портрет?" — "Нет, уж коли так, то напишете жену". — Написал. Но с этой минуты я все понял, я безгранично полюбил этого человека, он мне все открыл. Теперь я мог назвать то, что я любил целую жизнь, — он мне это называл, а главное, он любил то же самое.

Месяц я видел его каждый день. Я видел множество лиц, к нему приходивших, и между ними одну, которая воскресила воочию то высокое, то дорогое, что вместе и самое высшее, самое лучшее в человеке.

Я сидел, обернувшись к окну, и слезы мешали мне слушать эту женщину. Она пришла в истинный восторг, узнав, что он так думает. Я стал его другом. Все стало мне ясно. Искусство потонуло в том, что выше его неизмеримо. Это была бесконечная радость, но тут же началось то, что всегда преследует уже не художника, а человека, и преследует до смерти" (1).

(1) В. В. Стасов. «Н. Н. Ге, его жизнь и сочинения», с. 283.

Последствия этого знакомства были для Н. Н. Ге неисчислимы.

Подходя к этому факту жизни знаменитого художника, его биограф В. В. Стасов говорит:

"И вот немного спустя после катастрофы 1880 года его ожидало такое необыкновенное событие, какого он никогда и отгадать вперед не мог, но которое перестановило всю его жизнь на новый рельс и поставило перед ним колоссальный паровоз, уже увлекавший вперед, в могучем разбеге, десятки и сотни тысяч людей, а на этот раз увлекший и его.

В 1882 году Н. Н. Ге познакомился со Львом Николаевичем Толстым".

Графиня С. А. так пишет сестре своей об этом первом знакомстве:

"...Теперь знаменитый художник Ге ("Тайная вечеря" на полу, говорили про него, что он нигилист) пишет мой портрет масляными красками, очень хорошо. Но какой он милый, наивный человек, прелесть! Ему 50 лет, он плешивый, ясные голубые глаза и добрый взгляд. Он приехал познакомиться с Левочкой: объяснялся ему в

любви и хотел для него что-нибудь сделать. Взошла моя Таня, он говорит Левочке: "Позвольте мне написать вашу дочь". Левочка говорит: "Уж лучше жену". Вот я сижу уже неделю, и меня изображают с открытым ртом, в черном бархатном лифе, на лифе кружева мои d'Alençon, просто, в волосах, очень строгий и красивый стиль портрета" (2).

(2) Этот портрет был уничтожен самим художником.

Интересные сведения об этом знакомстве сообщает Т. А. Сухотина, урожденная Толстая, старшая дочь Л. Н-ча, в своих воспоминаниях о Н. Н. Ге:

"Во время сеансов Ге много разговаривал со всеми нами. Он рассказывал, между прочим, о том впечатлении, какое произвела на него статья моего отца "О переписи в Москве", и о том, как она совершенно перевернула все его мирозерцание и из язычника сделала его христианином.

Он до конца жизни поминал это и сохранил к отцу самую нежную благодарность, которую он часто высказывал ему и еще чаще нам, его детям и моей матери, боясь быть неприятным отцу слишком частым повторением своих чувств.

Трудно сказать, насколько мой отец был причиной того нравственного переворота, который произошел в душе Ге. Я была слишком молода во время их первого знакомства, чтобы тогда быть в состоянии составить себе об этом ясное представление. Но теперь мне кажется, что пути, по которым шла душевная работа Ге и моего отца, вначале шли независимо друг от друга, но в одинаковом направлении. Оба они были художники, за обоими были в прошлом крупные художественные произведения,

сделавшие их славу как художников, и оба они, пресытившись славой, увидали, что она не может дать смысла жизни и счастья. Мой отец провел несколько лет в мучительных исканиях и сомнениях. Насколько я знаю, то же было и с Ге. Несколько лет его жизни прошло, в которые он не написал ни одной картины. Он жил у себя в Малороссии и тосковал без дела и без цели в жизни.

Он был на перепутье, и как только он увидал по статьям отца, что отец переживает ту же душевную работу, которая и в нем происходила, он узнал

себя и с радостью и восторгом бросился к отцу, в надежде, что он поможет ему выбраться из той темноты, в которой он пребывал в победное время. Это так и случилось. И хотя изредка нападало на него чувство раздражения и одиночества среди людей, не разделяющих его взглядов, он тем не менее всегда умел себя побороть и стал опять спокойным и радостным". (1)

(1) Т. А. Сухотина. "Гости Ясной Поляны". В. Е. 1904, No 11.

В том же 1882 году Л. Н-ча посетил Николай Константинович Михайловский, который так рассказывает сам в своих воспоминаниях о знакомстве со Л. Н-чем.

"В 1881 г. гр. Толстой сделал новую честь "Отечественным запискам", еще раз предложив свое сотрудничество. У меня нет письма графа, в котором он

делал нам это лестное предложение; но вот что в своем обыкновенном, шутливо-ворчливом тоне писал по этому поводу Салтыков Елисееву, бывшему тогда за границей:

"Я получил от Льва Толстого диковинное письмо. Пишет, что он до сих пор пренебрегал чтением русской литературы и вдруг, дескать, открыл целую новую литературу, превосходную и искреннюю, в "Отечественных записках". И это так его поразило, что он отныне намерен писать и печатать в "Отечественных записках". Я, разумеется, ответил, что очень счастлив, и журнал счастлив, и сотрудники счастливы, что будем ждать с нетерпением, а условия предоставляем определить ему самому. Но покуда еще ответа от него нет".

Сколько я помню, ответа так и не последовало. В 1882 г. мне нужно было быть в Москве, и Салтыков просил меня заехать к гр. Толстому и напомнить ему его собственное предложение. Тогда в петербургских литературных кружках ходили слухи о какой-то повести, которую гр. Толстой уже написал или пишет. Это была, вероятно, "Холстомер", а может быть "Смерть Ивана Ильича"; я был очень рад случаю явиться к гр. Толстому с делом, а не просто с желанием познакомиться.

Граф жил тогда еще не в собственном доме в Хамовниках, а где-то на Арбате, равным образом и сапог еще не шил, и "Исповеди" не писал (2). Это не мешало ему производить впечатление простого, искреннего человека, несмотря на светский лоск. Как ни странным может показаться это последнее выражение по отношению к гр. Толстому, но оно вполне уместно. Настоящая светскость состоит ведь не в перчатках и не во французском языке. Светский человек сказался прежде всего в том непринужденном и уверенном спокойствии, с которым

граф отклонил деловую часть нашего разговора. Когда я сказал ему, что так, мол, и так, слышали мы, что вы повесть написали или пишете, так не дадите ли ее нам, он ответил: "О нет, у меня ничего нет, это просто Н. Н. Страхов нашел в моих старых бумагах рассказ и заставил его отделать и кончить, ему уже дано назначение". И затем граф легко и свободно перешел к разговору об "Отечественных записках", сказал много приятных для нас вещей, ни одним словом, однако, не упоминая о своем предложении и тем как бы приглашая и меня не говорить о нем. Я, разумеется, последовал этому невыраженному приглашению. Так для меня и до сих пор остаются невыясненными как мотивы вышеупомянутого письма гр. Толстого к Салтыкову, так и мотивы его уклонения от исполнения собственного обещания или предложения. По-видимому, и то и другое сделалось просто вдруг, как многое у гр. Толстого. В этот раз мы беседовали с графом о литературе и о кое-

(2) В этом Н. К. ошибается: "Исповедь" написана в 1879 году.

каких житейских делах, между прочим, об одном приватном, но имевшем общественное значение, в высокой степени симпатичном поступке графа в тот страшный 1881 г. Я рад был выслушать рассказ об этом деле от самого графа и ещё более рад был тому, что рассказ этот своею простотою и задушевностью вполне

соответствовал тому представлению о гр. Толстом, которое я себе заочно составил.

Тогда мне довольно часто случалось бывать в Москве, и я всякий раз доставлял себе удовольствие заезжать к гр. Толстому. Это был один из приятнейших собеседников, каких я когда-либо встречал. Нам случалось много и горячо спорить, и как теперь слышу голос графа: "Ну, мы начинаем горячиться, это нехорошо, давайте выкурим по папироске, отдохнем". Мы закуриваем папиросы, и это, конечно, не прекращало спора, но, действительно, самим фактом приостановки на несколько секунд придавало ему спокойный характер" (1).

(1) Н. К. Михайловский. "Литературные воспоминания и современная смута".

Верный друг и ценитель Л. Н-ча Н. Н. Страхов продолжал писать Л. Н-чу, и по нижеприводимому письму мы ясно видим, в чем было сходство и в чем различие этих двух друзей. Они сходились на отрицании. Но отрицание Л. Н-ча было гораздо шире, а Страхова уже. И Л. Н-ч при своем широком отрицании давал огромный положительный идеал и требовал того же от Страхова, а тот при своем узком отрицании, по своему собственному сознанию, не мог дать ничего положительного. Это чистосердечное признание значительно искупает недочеты в проповеди Страхова, и, вероятно, эта искренность и была тою нитью, которая привязывала его ко Л. Н-чу, не терпевшему никогда никакой фальши. Вот это интересное письмо:

"1882 г. 31 марта. Как я обрадовался вашему письму, бесценный Лев Николаевич! Как горячо захотелось мне отвечать вам, спорить против вашего упрека, но я вдруг заболел и с неделю был ни к чему не способен. Теперь поправляюсь и все же прошу извинить мое писание. Ваше возражение мне давно и не раз приходило в голову (есть даже у меня статья на эту тему). Все это движение, которое наполняет собою последний период истории, — либеральное, революционное, социалистическое, нигилистическое, — всегда имело в моих глазах только отрицательный характер; отрицая его, я отрицал отрицание. Часто я задумывался над этим и был изумляем, видя, что свобода, равенство, эти идеалы для многих, эти знамена битв и революций, в сущности, не содержат в себе ни малейшей привлекательности, никакого положительного содержания, которое могло бы дать им настоящую цену, сделаться положительными целями. Начиная с реформации и раньше и до последнего времени, все, что люди делают (как вы говорите), — не вздор, а постепенное разрушение некоторых форм, сложившихся в средние века. Четыре столетия идет это расшатывание и должно кончиться полным падением. В эти четыре века положительного ничего не явилось, да и теперь нет нигде в целой Европе. Самое новое в Америке и состоит в том, что голоса продаются, места покупаются и т. д. Общество держится старыми элементами, остатками веры, патриотизма, нравственности, мало-помалу теряющими свои основания. Но так как эти начала были воспитаны христианством до неслыханной силы, то человечество неизгладимо носит их в себе, и их еще долго хватит для его поддержания. Но живет оно не ими, а против их или помимо их. Все новые принципы — прямое

признание мирской, земной жизни, и вот отчего так пышно нынче развилась жизнь. Есть простор для всего, для всякого рода

деятельности, и для науки и искусства, и для служения Марсу, Венере и Меркурию.

В таком странном положении живут люди. Нынешняя жизнь носит противоречие внутри себя. Она возможна только потому, что человек вообще может жить, не имея внутреннего согласия и останавливаясь на какой-нибудь одной мысли, напр., свободы, национальности, обязательного обучения и т. п.

И вот я отрицаю самые крайние из отрицаний и говорю, что если люди в них живут и действуют, то только в силу каких-нибудь положительных начал, обманывая сами себя, принимая призраки за действительность, любя и злобствуя, но без настоящего предмета для любви и злобы.

Я давно смотрю и вглядываюсь, но не вижу ясного идеала.

И вам ли меня упрекать? Не вы ли видите одно лишь безобразие и обман в самых огромных сферах и в самых распространенных формах человеческой жизни? Если у вас одно отрицаемое, а у меня другое, то ваше шире по объему и труднее для объяснения, чем мое. Всемирная история есть повесть безумия и в том и другом случае, но по-вашему безумия более повального и жестокого, чем по-моему. И разве в "Коммуне" и в "Ренане" я уж нисколько не объясняю, почему люди это делают?

В сущности, ваша правда (только не ловите меня на слове), такие критические очерки, как мои, непременно требуют положительного изложения начал и без этого изложения легко могут быть употреблены на подпору самых дурных начал. Но, боже мой, это свое фальшивое положение я чувствую с тех пор, как пишу: я им мучусь, я знаю, что лучше бы прямо проповедовать цельную систему, ясную мысль. Но я делаю, что могу, и много, много молчу, и говорю осторожно и ясно, не пошлет ли бог других, которые скажут лучше и полнее?" (1).

(1) Архив В. Г. Черткова.

В начале апреля Л. Н-ч снова отправился в Ясную Поляну, откуда вскоре писал С. А.:

"Нынче утром вышел в одиннадцать часов и опьянел от прекрасного утра. Тепло, сухо, кое-где с глянцем тропинки, трава везде то шпильками, то лопушками лезет из-под листа и соломы, почки на сирени, птицы поют уж не бестолково, а уже что-то разговаривают, и в затишье на углах домов везде и у навоза жужжат пчелы. Я оседлал лошадь и поехал.

...Читал днём, потом обошёл через пчельник и купальню. Везде трава, птицы, медунчики, нет ни городских, ни постовых, ни извозчиков, ни вонь, и очень хорошо. Так хорошо, что мне очень жалко вас стало, и думаю, что тебе непременно надо с детьми уезжать раньше, а я останусь с мальчиками. Мне с моими мыслями везде одинаково хорошо или дурно, а для моего здоровья влияния город иметь не может, а для твоего и детского большое. Обедал, доедал те роскоши, которые ты тогда

прислала и Марья Афанасьевна сохранила. И потом только посидел с книгой, уже солнце за Заказ стало красное заходить. Я скорее делать заряды, седлать лошадь и поехал за Митрофанову избу. Летали вальдшнепы, далеко от меня и мало, ни разу не выстрелил, но много, как всегда, религиозно думал и слушал дроздов, тетеревов, мышей по сухим листьям, собачий лай за Засекой, выстрелы ближние и дальние, филина даже, Булька на него лаяла, песни на Грумонте. Месяц взошел с правой стороны из-за туч, дождался, пока звезды видны, и поехал домой".

Немного погодя, он пишет:

496

"...Нынче был "городовой", урядник с саблей, этот не доставил мне удовольствия, — какие-то сведения ни ему и никому не нужные, и "ваше сиятельство", и ложь, и вздор. Нынче день теплый с дождичком, трава так и лезет, зелены стали такой яркой зеленой краски, какой не найдешь и у Аванцо".

21 апреля Страхов писал А. Н-чу:

"Получивши ваше письмо, бесценный Лев Николаевич, я сейчас же готов был отвечать вам, но все ждал хорошего духа. Мне до сих пор нездоровится, а хотелось бы хорошенько сказать свою мысль. Я не отрицаю вашего отрицания, а отрицаю другое отрицание, совершенно противоположное вашему. Что говорит христианин? Я не хочу имущества, не хочу власти над другими, не хочу судить, не хочу убивать, брать подати. Это святые желания, и их запретить невозможно. А что говорят те

отрицатели, которых я отрицаю? Я не хочу, чтобы у кого-нибудь было имущества больше моего, не хочу, чтобы кто-нибудь имел власть надо мною, не хочу быть судимым, не хочу быть убитым, не хочу платить податей. Разница большая, и как возможно смешать тех и других? Источник одних желаний есть отречение от себя, источник других — чистый эгоизм. Сходство заключается только в том, что, по-видимому, отрицаются одни и те же предметы; в сущности, отрицание имеет не одинаковый смысл, и это тотчас видно на последствиях. Христианские желания всегда возможно исполнить, ибо в них дело идет о перемене в нас самих; желания эгоиста неисполнимы, ибо требуют перемены целого мира и перемены для мира невозможной. Я могу никого не убивать, но ручаться, что меня никто не убьет, нельзя будет никогда. Когда же те и другие принимаются действовать, тогда разница начал обнаруживается всего яснее. От христианина нельзя ждать никакого насилия и разрушения, эгоисты же против суда ставят суд, против казни — убийство, против поборов — грабеж, против власти — измену, бунт, разрушение. Они последовательны, потому что их принцип тут не нарушается. Если не хочу неравенства в имуществе, то отниму у богатого; если не хочу имущества, то отдаю своё.

Характер эгоиста в высшей степени ясен у всех отрицателей, т. е. не то, что они сами великие эгоисты, а то, что признают эгоизм священным принципом. Они пылают негодованием против неправды, а неправдою называют нарушение чьего-нибудь эгоизма. Тогда как грех вовсе не в том нарушении, а в нечистом желании, в неправде душевной. В сущности, когда мы щадим чужой эгоизм, обходимся с ним осторожно, мы поступаем как воры, не выдающие других врагов, или распутники,

считающие долгом чести не выдавать женщин, с которыми блудят. Во всем направлении современных умов, во всех толках и стремлениях вы не найдете и намека на самоотречение как на коренной принцип; всякое душевное благородство рассматривается только как средство для эгоистического земного благополучия. Эта черта нынешних умов и душ отвратительна, и самые эти души гораздо лучше своего исповедания.

Государство и церковь действуют иначе. Они выставляют своею целью общее благо и прямо требуют для этого блага ограничения эгоизма, пожертвования некоторою его долею. Это понятно, это логично и достижимо и выполняется в огромных размерах. Злоупотребления не вытекают из самого принципа государства и церкви, точно так же, как и добрые чувства отрицателей не вытекают из принципа эгоизма. Государство в известном смысле требует от каждого, чтобы он отчасти отрекался от своего имущества, от своей воли и иногда от своей жизни. Вот почему против него восстают отрицатели. Это некоторый положительный принцип, и отрицать его труднее,

чем отрицать эгоизм, который в самой сущности есть отрицание, отвержение всяких связей.

Итак, мир и мирские для меня имеют такое же низшее значение, как и для вас, но вы, отвергая мир, находите что-то подобное своему отвержению в том, в чем я вижу только крайнее выражение мирского начала. Вы думаете, что мир добивается жизни, а я думаю, что он идет к

смерти, что он доводит развитие своих начал до того, что сам себя убьет, и только этим убедится в ложности этих начал. Мечты человеколюбия, обновления, благополучия не имеют правильного источника, правильной цели и потому приведут в убийству, хаосу и страданию. Весь вопрос, как вы справедливо говорите, заключается в том, какое безобразие больше: то ли, которое вы отрицаете, или то, которое я; но я твердо убежден, что то, что я отрицаю, есть несомненное безобразие.

Чувствую, что много бы нужно еще сказать, и сказать лучше, чем говорю, и прибавляю только, что грусть мучит меня ужасная, и что я почти прихожу в негодование при виде людей спокойных и в хорошем духе. Простите, что я так навязчиво спорю с вами, мне дорого ваше хорошее мнение, и я не хотел бы, чтобы вы меня неправильно понимали. Еще раз простите меня. Ваш душевно

Н. Страхов".

Здесь, как мы видим, Страхов уже защищает перед Л. Н-чем принципы церкви и государства, и расхождение их делается гораздо заметнее.

Страхов до конца жизни остался другом Л. Н-ча, потому что личная преданность его ко Л. Н-чу была безгранична.

В одном из следующих писем, сетуя на упреки Л. Н-ча, он пишет ему:

"Когда я уезжал от вас в Крым, я часто припоминал ваши выражения о том, что "кто не со мною, тот против меня", и слова в письме, что я "хуже позитивистов", и я думал: он отлучает меня от церкви. Ну, что же делать! Я ведь потому держусь своих мыслей, что не могу иначе, и не лукавлю перед собою. Но пусть он отвергает меня, я

останусь ему верен. Простите, что мне все хочется высказать вам свою нежность; но я почти готов молчать и воздавать вам почтение втайне от вас".

Разумеется, при таком отношении он не мог далеко отойти от Льва Николаевича.

В начале мая 1882 года С. А. с маленькими детьми и дочерьми уехала в Ясную Поляну, а Л. Н-ч на этот раз остался в городе со старшими мальчиками, учившимися в гимназии. Ему это было тем более удобно, что он задумал напечатать в журнале "Русская мысль" свою "Исповедь" и ему нужно было держать корректуры. Отдавая в печать "Исповедь", написанную им еще в 1879 г., Л. Н-ч приписал заключение к ней в виде рассказа о сне, виденном им недавно и давшем ему полное религиозное спокойствие. В рассказе об этом сне Л. Н-ч описывает свое фантастическое положение на помочах над пропастью, символически изображая свое неустойчивое душевное состояние. Когда "Исповедь" появилась, вероятно, в плохом французском переводе, этот рассказ о сне дал повод одному горячему испанскому публицисту написать восторженную статью о Л. Н-че, причем публицист говорит, что Л. Н-ч предается аскетическим опытам и опрощению. И так упростил свою постель, что спит головой на столбе, а тело и ноги подвешены на ремнях.

"Исповедь" была запрещена и вырезана цензором из книжки "Русской мысли". Вскоре она была напечатана за границей, в Женеве, Эльпидиным, а затем переведена на все европейские языки.

Это было первое сочинение Л. Н-ча, запрещённое русской цензурой и разошедшееся по всей России в тысячах копий, рукописных, гектографиях, литографиях и разных других тайных воспроизведениях.

По просьбе Тургенева Л. Н-ч послал ему с одной дамой "Исповедь", прося Тургенева прочесть эту книгу, не сердясь на него, а стараясь стать на его точку зрения. Тургенев отвечал ему так:

"Я прочту вашу статью так, как вы желаете, — об этом речи быть не может. Я знаю, что ее писал человек очень умный и очень искренний; я могу с ним не соглашаться, но прежде всего я постараюсь понять его, стать вполне на его место. Это будет для меня поучительнее и интереснее, чем примеривать его на свой аршин или отыскивать, в чем состоит его разногласие со мной. Сердиться же совсем немислимо, — сердятся только молодые люди, которые воображают, что только и света, что в их окошке... а мне на днях минет 64 года. Долгая жизнь научает не сомневаться во всем (потому что сомневаться во всем значит в себя верить), а сомневаться в самом себе, т. е. верить в чужое, и даже нуждаться в нем. Вот в каком духе я буду читать вас".

По прочтении же он сообщил такой отзыв о нем в письме к Д. В. Григоровичу от 31 окт. 1882 года:

"Я получил на днях через одну очень милую московскую даму ту "Исповедь" Л. Толстого, которую цензура запретила. Прочел ее с великим интересом, вещь замечательная по искренности, правдивости и силе убеждения. Но построена она вся на неверных посылках и, в конце концов, приводит к самому мрачному отрицанию всякой человеческой жизни... Это тоже своего рода

нигилизм. Удивляюсь я, по какому поводу Толстой, отрицающий, между прочим, и художество, окружает себя художниками, и что могут они вынести из его разговоров? И все-таки Толстой едва ли не самый замечательный человек современной России" (1).

(1) Собрание писем И. С. Тургенева, с. 510.

Очень ошибались те люди, которые полагали, что новое, религиозное настроение Л. Н-ча выражается в нем мрачностью и грустью. Таковы были лишь минуты обострявшейся борьбы с окружающими его соблазнами. Но как только восстанавливалось его душевное равновесие, Л. Н-ч принимал добродушный, веселый, жизнерадостный тон, заражавший всех окружающих его неудержимым весельем:

Одним из таких веселых дел, в которые Л. Н-ч вдувал свой жизнерадостный дух, был так называемый "почтовый ящик" в Ясной Поляне.

Заимствуем описание этого интересного учреждения, появившегося на свет как раз осенью 1882 года, из письма к нам Т. А. Кузминской, одной из участниц "почтового ящика".

Вот как было дело:

"Так как обе семьи наши были многочисленны и молодежи от 15–20 лет было много, а событий разных — еще больше, то часто хотелось и подсмеяться над чем-нибудь, и вывести секреты наружу, и похвалить, и осудить, то и был заключен договор между молодежью, что пускай в течение недели всякий пишет все, что ему угодно, не подписывая, конечно, своего имени. А в

воскресенье вечером за чайным столом один кто-нибудь будет читать вслух все труды за неделю. Читал всегда один из нас трех: Лев Никол., сестра или я. Писано все было на листках бумаги, часто и на обрывках. Писали длинно и коротко, писали прозой и стихами. Темы самые разнообразные: печальные, поэтические, юмористичные; секреты выходили наружу. Описывались собы-

тия. Иногда писали целый лист в виде газеты. Писали и передовые статьи, был параграф о приезжих. Но больше сочинений выходило отдельными клочками. Сестра почти всегда писала стихами. Лев Ник. тоже иногда писал нам, очень интересовался "почтовым ящиком", всегда слушал все со вниманием. У меня сохранились некоторые его произведения, как-то "Лист прискорбно больных". Он описал всех нас сумасшедшими, именуя каждого номером. Начиная с самого себя. Уморительно, с латинскими названиями болезни и пр.

Почтовым ящиком называлось это оттого, что в передней повесили ящик с прорезом, запертый на ключ, и туда опускались в течение недели все произведения. Писали все: и дети, и учителя, и гувернантки, и большие, и часто живущие подолгу в Ясной. Цензуры предварительной не было. А читающий, если было что обидное или нецензурное, пропускал по усмотрению" (1).

(1) Архив П. И. Бирюкова.

До нас дошло одно шуточное стихотворение Л. Н-ча, написанное им для почтового ящика. Мы восстанавливаем его по нескольким вариантам:

При погоде, при прекрасной
Жили счастливо все в Ясной.

Жили веселясь.

Вдруг пришло на мысль Татьяне,
Что во Ясной во Поляне

Нельзя вечно жить.

Говорит себе Татьяна:

Нужно поздно или рано

Детям аттестат.

Отдам девочек в науку.

Произведу во всяку штуку.

Будут за мамзель.

Накупили книг, тетрадей,

Рады девочки, не рады,

Стали обучать.

И учили без печали.

Но, когда закон начали,

Дело не пошло.

Никак Маша не усвоит.

А уж Вера в голос воет:

Не люблю закон.

И бедняжка, разбирая

Смысл изгнания из рая,

Вера говорит:

Нам велят учить закон.

Как Адама выгнал вон

Вместе с Евой Бог.

А учить это обидно,

Потому что ясно видно,
Que ce n'est pas vrai [всё это брехня].
Ведь за что изгнан Адам?
Говорит сама madame
За curiosite [любопытство],
Так за то их и прогнали.
Что они много узнали.
А я не хочу.

И не знает теперь мать,
Что на это отвечать.
Точно, мудрено!

Осенью вся семья Л. Н-ча стала собираться в Москву. Вероятно, видя неизбежность ежегодных переездов семьи в Москву, в видах хозяйственной экономии, чтобы не платить за дорогую квартиру, Л. Н-ч решил приобрести в Москве свой дом. Выбор его пал на Долго—Хамовнический переулок, где и был куплен дом с садом. В доме для переезда семьи Толстых был сделан капитальный ремонт, которым руководил сам Л. Н-ч, и при переезде в октябре в Москву всей семьи он был уже раньше там, встретил их на вокзале и привез в новый дом.

Вот что пишет об этом переезде гр. С. А. своей сестре:

"14 октября 1882 года... Приехали мы с Москву 8 октября. Поехали в Бибиковой карете на Козловку. Ехали благополучно, в Москве Левочка нас встретил с двумя каретами; дома был и обед, и чай, и фрукты на столе. Но я от дороги и недельной укладки до того устала и

пришла в свое раздражение, и ничего меня не радовало, а напротив. Дома тут все устроено удобно и хорошо; сад всех нас приводит в восторг; верх, т. е. парадные комнаты, еще не совсем готовы и, пожалуй, раньше месяца так и не устроиться. Но мы без них совершенно свободно обходимся, сидим больше в моей и Таниной комнате. Левочка был очень весел и оживлен сначала; теперь он учится по-еврейски и стал что-то мрачнее".

Н. Н. Страхов, находившийся в постоянных сношениях со Л. Н-чем, пишет в это время (5 ноября 1882 г.) своему другу Н. Я. Данилевскому:

"...Лев Николаевич Толстой в хорошем духе. Купил дом в Москве, устроился и, как он пишет, успокоился. Изучает еврейский язык. Я очень радуюсь за него, мне все страшно о нем думать; так горячо он живет, с напряжением, с волнением".

К этому же времени относится следующее интересное письмо Л. Н-ча к его другу В. И. Алексееву:

"Милый друг!

Только что видел вас во сне и хотел писать вам, как получил ваше письмо. Я скучаю по вас часто, но радуюсь, что вам хорошо, никогда не думая, что вам не хорошо. Ваш удел очень, очень счастливый. Разумеется, счастье все в себе. Но по внешним условиям — можно жить и в самых тяжелых условиях, в самой гуще соблазнов, можно в средних и в самых легких. Вы почти в самых легких. Мне бог никогда не давал таких условий, завидую вам часто, любовно завидую, но завидую...

У нас в семье были нездоровы, но теперь все хорошо и более или менее по-старому. Сережа много занимается и верит в университет. Таня полудобрая, полусерьезная,

полуумная, — не делается хуже, скорее делается лучше. Илюша ленится, растет, и еще душа его не задавлена органическими процессами. Леля и Маша мне кажутся лучше, они не захватили моей грубости, которую захватили старшие, и мне кажется, что они развиваются в лучших условиях и потому лучше и добрее старших. Малыши славные мальчики, здоровые. Я довольно спокоен, но грустно часто от торжествующего самоуверенного безумия окружающей жизни. Не понимаешь часто, зачем мне дано так ясно видеть их безумие, а они совершенно лишены возможности

понять свое безумие и свои ошибки, и мы так стоим друг против друга, не понимая друг друга и удивляясь и осуждая друг друга. Только их legion, а я один; им как будто весело, а мне как будто грустно. Все это время я очень пристально занимался еврейским языком и выучил его почти, читаю уж и понимаю. Учит меня раввин здешний, Минор, очень хороший и умный человек. Я очень много узнал благодаря этим занятиям, а главное, очень занят. Здоровье мое слабеет и очень часто хочется умереть, но знаю, что это дурное желание — это второе искушение. Видно, я не пережил еще его.

Прощайте, мой друг, дай вам бог того, что у меня бывает в хорошие минуты, вы это знаете, лучше этого ничего нет".

Раввин Минор, о котором пишет Л. Н-ч в предыдущем письме, так рассказывал об этом уроке немецкому биографу Л. Н-ча, Лёвенфельду:

"Пять или шесть лет тому назад, — точно я вам не могу сказать, — ко мне пришел гр. А. Толстой. Он попросил меня рекомендовать ему кого-нибудь для обучения его еврейскому языку. Мысль изучить еврейский язык была навеяна ему его изучением Библии. Для меня он был, конечно, не первый встречный, и я сам предложил быть его учителем. Толстой с большим усердием принялся за работу. Я обучал его по методу восточных евреев. Следовательно, он читал не как испанские, а как мы, русские евреи. Толстой схватывал необыкновенно быстро. Но он читал только то, что ему было нужно. То же, что его не интересовало, он проходил мимо. Мы начали первыми словами Библии и дошли с такого рода пропусками до Исаяи. Здесь обучение прекратилось. Предсказание о Мессии в известных местах этого пророка было для него достаточно. Грамматикой языка он занимался только постольку, поскольку это казалось ему необходимым. Также в самое короткое время изучил он и греческий язык и вполне может читать Новый Завет в подлиннике.

Он знает также и Талмуд. В своем бурном стремлении к истине он почти за каждым уроком расспрашивал меня о моральных воззрениях Талмуда, о толковании талмудистами библейских легенд и, кроме того, еще черпал свои сведения из написанной на русском языке книга "Мировоззрение талмудистов", изданной петербургским обществом для поднятия образования среди евреев.

Около получаса мы работали как ученик и учитель, один раз в неделю я ездил к графу, другой раз он приходил ко мне. Через полчаса обучение превращалось в разговор.

Я отвечал ему на вопросы, которые занимали его. Однажды мы пришли к его пониманию существования мира любовью. "Об этом, — сказал он, — нет ни одного слова в Библии". Я указал ему на третий стих псалма 89-го, который я перевел ему так: "Мир существует любовью". Он был очень удивлен таким переводом известного места".
(1)

(1) Лёвенфельд. "Разговоры с Толстым и о Толстом".

Сын Минора передавал мне, что он помнит эти уроки, когда он был еще мальчиком. Он помнит споры отца со Львом Николаевичем о том или другом понимании еврейского текста. Он помнил также удивление отца его, когда после немногочисленных уроков Л. Н-ч стал настолько хорошо читать и понимать прочитанное и с такой проницательностью вдумываться в смысл текста, что иногда в спорах с ним ученый раввин должен был соглашаться с мнением своего ученика.

Н. Н. Страхов сообщает свое мнение об этой работе Л. Н-ча своему другу Н. Я. Данилевскому.

19 июля 1883 г. он пишет ему из Ясной Поляны:

"...Л. Н. Толстой (может быть, вы слышали) выучился за эту зиму по-еврейски, и это уже помогает ему в понимании писания, главном его занятии.

Иные из его открытий в этом деле и поразительны своею верностью, и приводят к важным, глубоким

результатам. Не подозревайте меня в пристрастии, я, вы знаете, не легко отдаюсь новым взглядам. Но напрасно я ищу у его ведомых и неведомых противников какого-нибудь основного возражения. Положительная сторона его понимания христианства несомненна, но в отрицательной есть много слабых мест и преувеличений".

Не так сочувственно относится к этой грандиозной работе Л. Н-ча его супруга.

Изучение Л. Н-чем еврейского языка ей казалось какою-то физической и духовною погибелю.

Она пишет сестре в том же 1882 г.:

"Лёвочка учится по-еврейски читать, и меня это очень огорчает; тратит силы на пустяки. От этого труда и здоровье, и дух стали хуже, и меня это еще более мучит, а скрыть своего недовольства я не могу".

И потом в одном из следующих писем:

"...Лёвочка — увы! — направил все свои силы на изучение еврейского языка, ничего его больше не занимает и не интересует. Нет, видно, конец его литературной деятельности, а очень, очень жаль".

К этому же времени относится интересное письменное знакомство Л. Н-ча с революционером М. А. Энгельгардом, который прислал Л. Н-чу свою статью в христианско-революционном духе.

В своей книге "В чём моя вера?" Л. Н-ч так говорит об этом:

"Недавно у меня в руках была поучительная переписка православного славянофила (Аксакова) с христианином-революционером. Один отстаивал насилие войны во имя угнетенных братьев, славян, другой — насилие революции во имя угнетенных братьев, русских мужиков.

Оба требуют насилия и оба опираются на учение Христа".

На письмо к нему Энгельгарда Л. Н-ч ответил длинным письмом с изложением своего мировоззрения и, главным образом, своего отношения к насилию и своего понимания заповеди о непротивлении злу насилием.

Мы приведём здесь только начало и конец этого письма, которые прибавляют несколько драгоценных черт к характеристике тогдашнего душевного состояния Л. Н-ча:

"Дорогой мой N. N! Пишу вам "дорогой" не потому, что так пишут, а потому, что со времени получения вашего первого, а особенно второго письма чувствую, что вы мне очень близки, и я вас очень люблю. В чувстве, которое я испытываю к вам, есть много эгоистичного. Вы, верно, не думаете этого, но вы не можете себе представить, до какой степени я одинок, до какой степени то, что есть настоящий "я", презираемо всеми, окружающими меня. Знаю, что претерпевый до конца спасен будет, знаю, что только в пустяках дано право пользоваться плодами своего труда или хоть видеть этот плод, а что в деле божьей истины, которая вечна, не может быть дано человеку видеть плод своего дела, особенно же в короткий период своей коротенькой жизни. Знаю все это и все-таки часто унываю, и потому встреча с вами и надежда, почти уверенность, найти в вас человека, искренно идущего по одной дороге со мной и к одной и той же цели, для меня очень радостна".

В кратких, сильных и искренних выражениях излагает ему Л. Н-ч смысл учения Христа и со свойственной ему прямоотой ставит в конце своего письма столь многих людей смущающий вопрос:

"Ну, а вы, Лев Николаевич, проповедовать вы проповедуете, а как исполняете?"

И тотчас же, не щадя себя, с неподражаемою, до дна души идущею искренностью он так отвечает на этот вопрос:

"Я отвечаю, что я не проповедую и не могу проповедовать, хотя страстно желаю этого. Проповедовать я могу делом, а дела мои скверны. То же, что я говорю, не есть проповедь, а только опровержение ложного понимания христианского учения и разъяснение настоящего его значения. Значение его не в том, чтобы во имя его насилием перестраивать общество, значение его в том, чтобы найти смысл жизни в этом мире. Исполнение пяти заповедей даст этот смысл. Если вы хотите быть христианином, то надо исполнять эти заповеди, а не хотите их исполнять, то не толкуйте о христианстве вне исполнения этих заповедей. Но, говорят мне, если вы находите, что вне исполнения христианского учения нет разумной жизни, а вы любите эту разумную жизнь, отчего вы не исполняете заповедей? Я отвечаю, что виноват и гадок и достоин презрения за то, что я не исполняю. Но при этом не столько в оправдание, сколько в объяснение непоследовательности своей говорю: посмотрите на мою жизнь, прежнюю и теперешнюю, и вы увидите, что я пытаюсь исполнять. Я не исполнил и 1/10000 — это правда, и я виноват в этом, но я не исполнил не потому, что не хотел, а потому, что не умел. Научите меня, как выпутаться из сети соблазнов, охвативших меня, помогите

мне, и я исполню; но и без помощи я хочу и надеюсь исполнить. Обвиняйте меня, я сам это делаю, но обвиняйте меня, а не тот путь, по которому я иду и который указываю тем, кто спрашивает меня, где, по моему мнению, дорога. Если я знаю дорогу домой и иду по ней пьяный, шатаюсь из стороны в сторону, то неужели от этого неверен путь, по которому я иду? Если неверен, покажите мне другой; если я сбиваюсь и шатаюсь, помогите мне, поддержите меня на настоящем пути, как я готов поддержать вас, а не сбивайте меня, не радуйтесь тому, что я сбился, не кричите с восторгом: вот он говорит, что идет домой, а сам лезет в болото. Да не радуйтесь же этому, а помогите мне, поддержите меня.

Ведь вы не черти из болота, а тоже люди, идущие домой. Ведь я один и ведь я не могу желать идти в болото. Помогите мне: у меня сердце разрывается от отчаяния, что мы все заблудились, и когда я бьюсь всеми силами, вы, при каждом отклонении, вместо того, чтобы пожалеть себя и меня, суете меня и с восторгом кричите: смотрите, с нами вместе в болоте.

Так вот моё отношение к учению и к исполнению. Всеми силами стараюсь исполнить и в каждом неисполнении не то что только каюсь, но прошу помощи, чтобы быть в состоянии исполнить, и с радостью встречаю всякого, ищущего путь, как и я, и слушаюсь его" (1).

(1) Собр. соч. Л. Н. Толстого, запрещенных в России. Изд. "Свободн. слово". Т. 10, с. 31 и 45.

Мы видим из этого, какой борьбой, какими страданиями сопровождалось для Л. Н-ча рождение к его

новой жизни, как был он порою одинок и с какою радостью встречал он ищущих света на том же пути, на котором стоял и он.

К сожалению, Л. Н-чу пришлось скоро разочароваться в этом друге, так как он пошёл по другому пути.

Московская жизнь скоро дала себя знать и снова легла тяжелым камнем на душу Л. Н-ча, но он умел уже справляться с собою и так записывает в своем дневнике 22 дек. 1882 г.:

"Опять в Москве. Опять пережил муки душевные, ужасные, больше месяца. Но не бесплодные. Если любишь божье добро (кажется, я начинаю любить его), любишь, т. е. живешь им — счастье в нем, жизнь в нем видишь, то видишь и то, что тело мешает добру истинному. Не добру самому, но тому, чтобы видеть его, видеть плоды его. Станешь смотреть на плоды добра, перестанешь его делать, мало того, тем, что смотришь, портишь его, тщеславишься, унываешь. Только тогда то, что ты сделал, будет истинным добром, когда тебя не будет, чтобы портить его. — Но заготовляй его больше. Сей, сей, зная, что не ты, человек, пожнешь. Один сеет, другой жнет. Ты, человек, Л. Н., не сожнешь. Если станешь не только жать, но полоть, испортишь пшеницу, — сей, сей. И если сеять божье, то не может быть сомненья, что оно вырастет. То, что прежде казалось жестоким, то, что мне не дано видеть плодов, теперь ясно, что не только не жестоко, но благо и разумно. Как бы я узнал истинное благо божье от неистинного, если бы я, человек плотский, мог

пользоваться его плодами? Теперь же ясно: то, что ты делаешь, не видя награды, а делаешь любя, то, наверное, божье — сей и сей, и божье возрастает, и пожнешь не ты, человек, а то, что в тебе сеет".

ГЛАВА 20.

«В чём моя вера?»

Зиму 1882–1883 года Л. Н-ч проводил в Москве, со своей семьей, уезжая иногда для отдыха в Ясную Поляну. По-видимому, отношение его к окружающему стало смягчаться, он овладел собой и становился спокойнее. Это не замедлило отразиться на отношении к нему семьи. Вот что пишет С. А. своей сестре 30 января 1883 года:

"Лёвочка очень спокоен, работает, пишет какие-то статьи, иногда прорываются у него речи против городской и вообще барской жизни. Мне это больно бывает: но я знаю, что он иначе не может. Он человек передовой, идет впереди толпы и указывает путь, по которому должны идти люди. А я, толпа, живу с течением толпы, вместе с толпой вижу свет фонаря, который несет всякий передовой человек и Левочка, конечно, тоже, и признаю, что это свет. Но не могу идти скорее, меня давит и толпа, и среда, и мои привычки" (1).

(1) Архив Т. А. Кузминской.

Эти "какие-то статьи" была "В чем моя вера?", которую тогда Л. Н-ч с увлечением писал.

Мы вернемся еще к этому, быть может, наиболее сильному произведению Л. Н-ча, завершившему, так сказать, развитие его религиозного мирозерцания.

Рано весной, в апреле, он уезжает в Ясную Поляну и там становится свидетелем народного бедствия, к сожалению, так часто посещающего русские деревни. В Ясной Поляне был большой пожар, уничтоживший большую часть деревни. Вот как пишет Л. Н-ч об этом С. А., очевидно, принимая самое горячее участие в помощи погорелым и приглашая семью к участию в этой помощи.

Апрель 1883 года.

"Очень жалко мужиков. Трудно представить себе все, что они перенесли и еще перенесут. Весь хлеб сгорел. Если на деньги счесть потерю, то это больше 10000. Страховых будет тысячи две, а остальные надо все заводить нищим и заводить все то, что нужно, необходимо только для того, чтобы не умереть с голоду. Я еще никого не видал, кроме Филиппа, Митрофана и Марьи Афанасьевны. Пошли Сережу в Государственный банк узнать, какую нужно бумагу или доверенность, чтобы получить билеты, если они понадобятся.

...Сейчас ходил по погорелым. И жалко, и страшно, и величественно — эта сила, эта независимость, и уверенность в своей силе, и спокойствие. Главная нужда теперь — овес на посев.

Скажи Сереже брату, если его это не стеснит, не может ли он мне дать записку в Пирогово на сто четвертей овса.

Цена пусть будет та самая высшая, за какую он продает. Если он согласен, то пришли эту записку или привези. Даже ответ телеграммой, даст ли Сережа записку на овес, потому что, если он не даст, надо распорядиться купить".

В мае Л. Н-ч отправляется в свое самарское имение, и в его письмах оттуда к С. А. уже чувствуется перемена, происшедшая в нем.

1883 года, май.

"Погода здесь прекрасная. Степь зеленая и веселая, и ожидания урожая хорошие. Я хожу помногу, и когда сижу дома, читаю библию *toujours avec un nouveau plaisir* (1).

(1) Всегда с новым удовольствием.

Я в серьёзном, не весёлом, но спокойном духе и не могу жить без работы. Вчера проболтался день, и стало стыдно и гадко, и нынче занимаюсь.

...Не знаю, как дальше, но мне теперь неприятно мое положение хозяина и обращение бедных, которых я не могу удовлетворить. Мне хоть и совестно и противно думать о своем поганом теле, но кумыс, знаю, что мне будет полезен, главное, тем, что мне справит желудок, и потому нервы и расположение духа, и я буду способен больше делать, пока жив, и потому хотелось бы пожить дольше, но боюсь, что не выдержу. Может быть, перееду на Каралык, там я буду независимее.

...Мне интересно было себя примерять к здешней жизни. Кажется, я недавно был, а ужасно изменился, и

хоть ты и находишь, что к худшему, я знаю, что к лучшему, потому что мне покойнее и что мне приятнее быть с таким человеком, какой я теперь, чем я был прежде. Дорогой видел много переселенцев. Очень трогательное и величественное зрелище".

Сношения его с самарскими молоканами продолжаются. 12 июня он пишет:

"...Нынче ездил с Вас. Ив. в Патровку и Гавриловку по делу сдачи земли и долго беседовал с молоканами, разумеется о христианском законе. Пускай доносят. Я избегаю сношений с ними, но сойдясь, не могу не говорить того, что думаю".

Интересна беглая характеристика лиц, составлявших население соседнего хутора Б., которую дает Л. Н-ч в своем письме к С. А. 8 июня:

"...Последнюю неделю я все возился с мужиками, а теперь эти последние дни другое. Кроме всех жителей, здесь наехали еще гости к Бибикову: два человека, бывшие в процессе 193, и вот последние дни я подолгу с ними бе-

седовал. Я знаю, что им этого хочется, и думаю, что не имею права удаляться от них. Может быть, им полезно, а мне тяжелы эти разговоры. Это люди, подобные Б. и В. И., но моложе. Один особенно, крестьянин (крепостной бывший) Лазарев, очень интересен. Образован, умен, искренен, горяч и совсем мужик и говором, и привычкой работать. Он живет с двумя братьями-мужиками, пашет и жнет и работает на общей мельнице. Разговоры, разумеется, вечно о насилии, им хочется отстоять право

насилия; я показываю им, что это безнравственно и глупо. Они вот все эти дни ходят табуном то к Б., то к В. И. Я удаляюсь от них; но два раза подолгу беседовали".

27 июня С. А. пишет:

"Я все читаю твою статью или, лучше, твоё сочинение. Конечно, ничего нельзя сказать против того, что хорошо быть совершенными и непременно надо напоминать людям, как надо быть совершенными и какими путями достигнуть этого. Но все-таки не могу сказать, что трудно отбросить все игрушки в жизни, которыми играешь, и всякий, и я больше других, держу эти игрушки крепко и радуюсь, как они блестят и шумят и забавляют.

А если не отбросим, не будем совершенны, — не будем христианами, не отдадим кафтана, и не будем любить всю жизнь одну жену, и не бросим оружия, потому что за это нас запрут".

В этом искреннем сознании приверженности своей к мирской жизни С. А. забыла одну важную, характерную черту христианского учения, так ясно выраженную Л. Н-чем в его произведениях. Христианство не есть временное состояние человека (как бы низко или высоко оно ни было по сравнению с окружающими), а путь, движение от низшего к высшему, бесконечное развитие духовных сил человека. Поэтому-то величайший праведник и пророк, умирая на кресте за провозглашенную им истину, мог сказать умирающему рядом с ним презренному преступнику, в котором блеснул луч сознания: "днесь будешь со мною в раю".

А в это время вдали от родины угасала жизнь другого великого художника, тонкого, искреннего, хотя и строгого ценителя Л. Н-ча, — Ивана Сергеевича Тургенева.

Чувствуя приближение смерти, он думал и болел душою о своем великом современнике, которого "нянжкой старой" когда-то считал себя.

В конце июня он пишет Л. Н-чу письмо, хорошо знакомое русской публике по многочисленным его перепечаткам, в котором И. С. Тургенев в первый раз дает Л. Н-чу с тех пор оставшийся за ним титул "великого писателя русской земли". Вот это замечательное письмо:

"Толстому, гр. Л. Н-чу. Буживаль. 27 или 28 июня 1883 г.

Милый и дорогой Лев Николаевич! Долго вам не писал, ибо был и есмь, говоря прямо, на смертном одре. Выздоревать я не могу, и думать об этом нечего. Пишу же я вам, собственно, чтобы сказать вам, как я был рад быть вашим современником, и чтобы выразить вам мою последнюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности. Ведь этот дар ваш оттуда, откуда все другое. Ах, как я был бы счастлив, если бы мог подумать, что просьба моя так на вас подействует!.. Я же человек конченный, доктора даже не знают, как назвать мой недуг, *nevralgie stomacale gouteuse*. Ни ходить, ни есть, ни спать, да что! Скучно даже повторять все это. Друг мой, великий писатель русской земли, внемлите моей просьбе. Дайте мне знать, если вы получите эту

бумажку, и позвольте еще раз крепко, крепко обнять вас, вашу жену, всех ваших... Не могу больше... Устал".

Письмо это было последним из дошедших до нас писем И. С. Тургенева. Оно пришло в начале июля, когда Л. Н-ч еще был на кумысе. Для Л. Н-ча вопрос о возвращении и невозвращении к литературной деятельности или вовсе не существовал, или был гораздо глубже и шире и не мог вписаться в узкую рамку исполнения дружеской просьбы, и потому, вернувшись с кумыса и прочитав письмо Тургенева, он не в состоянии был скоро ответить ему. Ему пришлось бы пересказать все те мучительные пережитые им перипетии, которыми он дошел до теперешнего сознания и которые, в сущности, знал, но не мог или не хотел понять Тургенев.

22 августа И. С. Тургенева не стало. Смерть эта сильно поразила Л. Н-ча и духовно приблизила к нему.

В сентябре семья Л. Н-ча переехала в Москву, а он остался в Ясной Поляне один и в своем уединении готовился к совершению важного шага.

Он получил повестку о назначении его присяжным заседателем в Крапивну в предстоящую сессию окружного суда.

Об этом назначении своем он не сказал никому из семейных, боясь, что волнения их нарушат ту работу сознания, которая должна была решить тот или другой его поступок.

Но когда решительный шаг был совершен, Л. Н-ч вкратце сообщил об этом С. А-не в следующем письме:

"...Сегодня приехал из Крапивны. Я ездил туда по вызову в присяжные. Я приехал в третьем часу. Заседание уже началось, и на меня наложили штраф в 100 р. Когда меня вызвали, я сказал, что не могу быть присяжным. Спросили: почему? Я сказал: по религиозным убеждениям. Потом другой раз спросили: решительно ли я

отказываюсь? Я сказал, что не могу, и ушел. Все было очень дружелюбно. Нынче, вероятно, наложат еще двести рублей, и не знаю, кончится ли все этим. Я думаю, что да. В том, что я именно не мог поступить иначе, я уверен, что ты не сомневаешься, но, пожалуйста, не сердись на меня за, то, что я не сказал тебе, что я был назначен присяжным. Я бы тебе сказал, если бы ты спросила или пришлось; но нарочно говорить тебе мне не хотелось. Ты бы волновалась, меня бы встревожила, а я и так тревожился и всеми силами себя успокаивал. Остаться или вернуться в Ясную я и так хотел, а тут и эта причина была, так ты, пожалуйста, не сердись. Мне можно было совсем не ехать. Тогда были бы те же штрафы, а в следующий раз опять бы меня потребовали. Но теперь я сказал раз навсегда, что не могу быть. Сказал я самым мягким образом и даже такими выражениями, что никто мужики не поняли. Из судебных я никого не видал".

Этот скромный поступок еще мало оценен современниками. А между тем его следует почитать днем объявления войны всему старому строю, державшемуся на насилии, объявления войны насилию со стороны Разума и Любви. Это произошло 28 сентября 1883 г.

В это время умственный интерес Л. Н-ча сосредоточивался на двух вещах: на писании своего основного сочинения "В чем моя вера?" и на чтении сочинений И. С. Тургенева. Редактор "Русской мысли" Юрьев обратился ко Л. Н-чу от имени Общества любителей российской словесности с просьбой прочесть на готовящемся торжественном заседании общества что-нибудь о недавно умершем писателе. Л. Н-ч сердечно отозвался на эту просьбу и принялся за

чтение произведений Тургенева, чтобы осветить в своей памяти впечатление от его творчества.

Как проводил это время в Ясной Л. Н-ч, мы узнаём из его письма к С. А.:

"Жизнь моя как заведенные часы. Проснусь в 9, пойду в Заказ, вернусь, напьюсь кофею, сяду за работу часов в 11. И сижу до половины 4-го и опять пойду на Заказ до обеда. Обедаю, читаю Тургенева. Придет Агафья Мих., пью чай, пишу тебе, погуляю при лунном свете и ложусь спать. И это самое дурное время. Долго не могу заснуть"

В следующем письме он пишет:

"...О Тургеневе все думаю и ужасно люблю его, жалею и все читаю. Я все с ним живу; непременно или буду читать, или напишу и дам прочесть о нем, скажи так Юрьеву. Но лучше 15-го.

...Сейчас читал тургеновское "Довольно". Прочти, что за прелесть".

С. А. сообщает своей сестре о предполагавшемся публичном чтении Л. Н-ча:

"23 октября Лёвочка будет публично читать о Тургеневе, это теперь уже волнует всю Москву, и будет толпа страшная в актовой зале университета в Обществе любителей русской словесности. Мне готовят 4 почетных места в самой середине 1 ряда".

Но — увы! — темные силы неусыпно работали и совершали новое злодеяние. Публичное свидетельство Толстого о Тургеневе, вызванное в нём самым сердечным воспоминанием об умершем, было запрещено.

Графиня С. А. в письме к сестре своей от 24 октября отражает возмущенное общественное мнение по поводу этого запрещения:

"Милая Таня, как ты это, верно, видела из газет и знаешь из слухов, чтение в память Тургенева запретили из вашего противного Петербурга. Говорят, что это Толстой (министр) запретил; ну да что от него может быть, как не бестактные, неловкие выходки. Представь себе, что это чтение должно было быть самое невинное, самое мирное; никто не только не думал о том, чтобы выстрелить какой-нибудь либеральной выходкой, но даже все страшно удивились, что же могло быть сказано? Где могла бы быть противоправительственная опасность? Теперь, конечно, всё могут предположить. Публика взволнована, подозревают чуть ли не замысел целой революционной выходки. Юрьев был у нас как-то, и я слышала, как он рассказывал, что и как будет читаться. Лёвочка говорит, что ему писать речь некогда, но что он будет говорить, и то, что он хотел сказать, так же невинно, как сказка о Красной Шапочке.

Но мне и всей Москве было ужасно досадно. Озлоблены все без исключения, кроме Лёвочки, который даже рад, что избавлен явиться в публичке, это ему так непривычно. Он на днях едет на неделю в Ясную; хочет порошу застать. Он все пишет, но печатать не придется".

А между тем писание "В чем моя вера?" подвигалось к концу и после многих переделок переписывалось набело.

С. А. пишет своей сестре 9 ноября 1883 года:

"...Только насчет рукописи я от Левочки ее не добила. Он говорит: напиши Саше, что двух слов подряд не осталось из старой рукописи — все переделано. Что в настоящее время переписывается она в двух экземплярах,

что он желает ее тебе прислать в настоящем исправленном виде. Кроме того, книга эта печатается, и если будет возможно, мы вам пришлем печатный экземпляр. Теперь, вероятно, скоро все будет готово. Левочка уехал в Ясную Поляну на неделю. Он там будет охотиться и отдыхать".

Из Ясной Поляны Л. Н-ч писал своей жене:

"...Здесь через князя получил письмо от одной Смирновой и маркиза St. Ives Парижского. Очень интересно. Он член общества вечного мира и пишет книгу против войны и революции, *la mission des Souverains* и кажется, что настоящий.

...Я читаю и Стендаля, и Энгельгарда. Энгельгард — прелесть. Это нельзя достаточно читать и хвалить. Контраст нашей жизни и настоящей жизни мужиков, про которую мы так старательно забываем. Для меня это одна из тех книг, которые освобождают меня от части того, что я чувствую себя обязанным сделать. Но он сделал, и никто не читает. Или читают и говорят: "Да что, он социалист". А он и не думал быть социалистом, а говорит, что есть.

...Нынче я один. Был только Дм. Фед. (Разговаривали о том, как он живёт сам-семь на 11 руб. в месяц. Живёт!)

...Читаю Стендаля "Rouge et Noir". Лет сорок тому назад я читал это, но ничего не помню, кроме моего отношения к автору: симпатия за смелость, родственность, но неудовлетворенность. И страшно, то же самое чувство теперь, но с ясным сознанием отчего и почему".

Н. Н. Страхов в 1883 году написал биографию Ф. М. Достоевского и послал ее при письме своем Л. Н-чу. Тот ответил ему следующим интересным письмом:

"Дорогой Николай Николаевич! Я только начинал скучать о том, что давно не имею от вас известий, как получил вашу книгу и письмо и книги. Очень благодарен вам за все и за еврейскую Библию, которую я с радостью получил давно и, мне кажется, уже благодарил вас за нее. Сколько я вам должен? Когда увидимся? Не приедете ли вы в Москву? Книгу вашу прочел. Письмо ваше очень грустно подействовало на меня, разочаровало меня. Но я вас вполне понимаю и, к сожалению, почти верю вам. Мне кажется, вы были жертвой ложного, фальшивого отношения к Достоевскому не вами, но всеми — преувеличения его значения и преувеличения по шаблону возведения в пророки и святого — человека, умершего в самом горячем процессе внутренней борьбы добра и зла. Он трогателен, интересен, но поставить на памятник в поучение потомству нельзя человека, который весь борьба. Из книги вашей я в первый раз узнал всю меру его ума. Книгу Пресансе я тоже прочитал, но вся ученость пропадает от загвоздки. Бывают лошади-красавицы: рысак цена 1000 руб., и вдруг заминка; и лошади-красавице, и силачу цена грош. Чем я больше живу, тем больше ценю людей без заминки. Вы говорите, что помирились с Тургеневым. А я очень полюбил. И забавно, за то, что он был без заминки и свезет, а то рысак, да никуда на нем не уедешь, если еще не завезет в канаву. И Пресансе, и Достоевский — оба с заминкой. И у одного вся ученость, у другого ум и сердце пропали ни за что. Ведь Тургенев и переживает Достоевского и не за художественность, а за то, что без заминки. Обнимаю вас

от всей души. Ах, да, со мной случилась беда, задевшая и вас. Я ездил на недельку в деревню в половине октября и, возвращаясь от вокзала до дому, выронил из саней чемодан. В чемодане были книги, рукописи и корректуры. И книга одна пропала ваша: 1-й том Гризбаха. Все объявления ни к чему не привели. Надеюсь еще найти у букинистов. Я знаю, что вы простите мне, но мне и совестно, и досадно лишиться книги, которая мне всегда нужна".

В числе рукописей, пропавших в потерянном чемодане, было несколько глав из "В чем моя вера?", которые Л. Н-чу пришлось написать вновь. Внутренняя сила, побуждавшая его писать эту книгу, была так велика, что эта про-

пажа была почти не замечена, пропавшие главы были восстановлены, и печатание шло своим порядком, без перерыва.

Лев Николаевич, сознавая, что его писание не будет одобрено "взявшими себе ключи царства небесного", рискнул все же печатать "В чем моя вера?" без предварительной цензуры, в количестве 50 экз., назначив большую цену, чтобы ясно показать, что книга эта печатается не для всеобщего употребления, и тем спасти ее. Но все было напрасно.

29 января 1884 года С. А. сообщает Л. Н-чу, жившему тогда в Ясной Поляне:

"Маракуев сказал, что книгу твою новую цензура светская передала в цензуру духовную, что архимандрит, председатель цензурного комитета, ее прочел и сказал, что

"в этой книге столько высоких истин, что нельзя не признать их, и что он, со своей стороны, не видит причины не пропустить ее". Но я думаю, что Победоносцев со своей бестактностью и педантизмом опять запретил; пока она запечатана у Кушнерева и решения никакого нет".

Через три дня она к этому сообщению прибавляет:

"Дядя Костя в твоей комнате все читает твое сочинение, о котором, между прочим, еще ничего не слышать. Хвалил же его, как я тебе писала, наверное, отец Амфилохий, может быть, ты его знаешь".

Вопрос вскоре разъяснился: Победоносцев запретил эту книгу. Но вызванный ею интерес не дал ему возможность уничтожить, сжечь ее, как то следовало по закону. Все издание было вытребовано в Петербург и роздано по рукам различным сановникам и их приближенным, где и читалось с большим интересом. Нам вполне понятно опасение Победоносцева. Он сделал все, что мог, чтобы затушить возгоревшееся священное пламя. Но сил на это у него не хватало. "Дух дышит, где хочет" и не подчиняется указам обер-прокурора. Сочинение это стало быстро распространяться в многочисленных копиях, литографиях и гектографиях. Вскоре оно было издано за границей на русском языке, было переведено на все европейские языки, а через 20 лет появилось в печати и в России.

Это сочинение, едва ли не самое сильное из написанных Л. Н-чем за последнее время, подобно многим его другим произведениям, о которых мы уже говорили; оно не есть только литературное произведение, а есть огромной важности жизненный факт. И с этой точки зрения мы и рассмотрим его.

Вот что он говорит во введении:

"Я прожил на свете 55 лет и, за исключением 14 или 15 детских, 35 лет я прожил нигилистом в настоящем значении этого слова, т. е. не социалистом и революционером, как обыкновенно понимают это слово, а нигилистом в смысле отсутствия всякой веры.

Пять лет тому назад я поверил в учение Христа, и жизнь моя вдруг переменилась: мне перестало хотеться того, что прежде хотелось, и стало хотеться того, чего прежде не хотелось. То, что прежде казалось мне хорошо, показалось дурно, и то, что прежде казалось дурно, показалось хорошо. Со мной случилось то, что случается с человеком, который вышел за делом и вдруг решил, что дело это ему совсем не нужно, и повернул домой. И все, что было справа, стало слева, и все, что было слева, стало справа: прежнее желание — быть как можно дальше от дома — переменилось на желание быть как можно ближе от него. Направление моей жизни — желания мои стали другие: и доброе, и злое переменилось местами. Все это произошло оттого, что я понял учение Христа не так, как я понимал его прежде.

Я не толковать хочу учение Христа, а хочу только рассказать, как я понял то, что есть простого, ясного, понятного и несомненного, обращённого ко

всем людям в учении Христа, и как то, что я понял, перевернуло мою душу и дало мне спокойствие и счастье.

Я не толковать хочу учение Христа, а только одного хотел бы: запретить толковать его.

Разбойник на кресте поверил в Христа и спасся. Неужели было бы дурно и для кого-нибудь вредно, если бы разбойник не умер на кресте, а сошел бы с него и рассказал людям, как он поверил в Христа?

Я так же, как разбойник на кресте, поверил учению Христа и спасся. И это не далекое сравнение, а самое близкое выражение того душевного состояния отчаяния и ужаса перед жизнью и смертью, в котором я находился прежде, и того состояния спокойствия и счастья, в котором я нахожусь теперь.

Я, как разбойник, знал, что жил и живу скверно, видел, что большинство людей вокруг меня живет так же. Я так же, как разбойник, знал, что я несчастлив и страдаю и что вокруг меня люди также несчастливы и страдают, и не видал никакого выхода, кроме смерти, из этого положения. Я так же, как разбойник к кресту, был пригвожден какой-то силой к этой жизни страданий и зла. И как разбойника ожидал страшный мрак смерти после бессмысленных страданий и зла жизни, так и меня ожидало то же.

Во всем этом я был совершенно подобен разбойнику, но различие мое от разбойника было в том, что он умирал уже, а я еще жил. Разбойник мог поверить тому, что спасение его будет там, за гробом, а я не мог поверить этому, потому что, кроме жизни за гробом, мне предстояла еще и жизнь здесь. А я не понимал этой жизни. Она мне казалась ужасною. И вдруг я услышал слова Христа, понял их, и жизнь и смерть перестали мне казаться злом, и вместо отчаяния я испытал радость и счастье жизни, ненарушимые смертью.

Неужели для кого-нибудь может быть вредно, если я расскажу, как это сделалось со мною?"

После многих тщетных исканий истины, о которых мы уже упоминали при описании его душевного кризиса, Л. Н-ч, как он сам говорит в своей книге "В чем моя вера?", остался опять один со своим сердцем и с таинственной книгою пред собою.

"Я не мог дать ей того смысла, который давали другие, и не мог придать иного, и не мог отказаться от нее. И только изверившись одинаково и во все толкования ученого богословия и откинув их все, по слову Христа: если не примете меня как дети, не войдете в царствие божие... я понял вдруг то, чего не понимал прежде. Я понял не тем, что я как-нибудь искусно, глубокомысленно переставлял, сличал, перетолковывал; напротив, все открылось мне тем, что я забыл все толкования. Место, которое было для меня ключом всего, было место из 5-й главы Мф. ст. 39: "Вам сказано: око за око, зуб за зуб. А я говорю вам: не противьтесь злему". Я вдруг в первый раз понял этот стих прямо и просто. Я понял, что Христос говорит то самое, что говорю. И тотчас не то что появилось что-нибудь новое, а отпало все, что затемняло истину, и истина восстала предо мною во всем ее значении. "Вы слышали, что сказано древним: око за око, зуб за зуб. А я вам говорю: не противьтесь злему". Слова эти показались мне вдруг совершенно новыми, как будто я никогда не читал их прежде".

Это открытие и составляет главный, центральный предмет содержания книги.

Простоту, непосредственный смысл этих слов и неожиданность открытия их Л. Н. уподобляет библейскому сказанию о явлении бога пророку Илье:

"Илья-пророк, убегая от людей, скрылся в пещере, и ему было откровение, что бог явится ему у входа пещеры. Сделалась буря — ломались деревья. Илья подумал, что это бог, и посмотрел, но бога не было. Потом началась гроза, гром и молния были страшные. Илья вышел посмотреть, нет ли бога, но бога не было. Потом сделалось землетрясение: огонь шел из земли, трескались скалы, валялись горы. Илья смотрел, но бога не было. Потом стало тихо, и легкий ветерок пахнул с освеженных полей. Илья смотрел, и бог был тут. Таковы и эти простые слова бога: не противиться злему".

Приняв так просто слова Христа, Л. Н-ч снова стал еще с большим вниманием, проникновением и увлечением читать Евангелие, прилагая к нему найденный ключ. Читая и перечитывая Нагорную проповедь, Л. Н-ч был поражен прежде ускользавшим от его внимания противопоставлением, которое делает Христос между старым и новым законом. "Вы слышали, что сказано древним... а я говорю вам". Для него стало очевидным, что в этом противопоставлении и заключается то новое слово, "новый завет", который был дан людям Христом. И вот, освобождая эти слова Христа от прибавок и искажений, сделанных в них церковными учителями с очевидным намерением скрыть от людей режущую им самим глаза истину, Л. Н-ч сгруппировывает эти слова в пять заповедей Нагорной проповеди: "Не гневись, не блуди, не клянись, не противься злему и не воюй".

"И, поняв таким образом, — говорит он, — эти столь простые, определенные, не подверженные никаким перетолкованиям заповеди Христа, я спросил себя: что бы

было, если бы христианский мир поверил в эти заповеди не в том смысле, что их нужно петь или читать для умилоствления бога, а что их нужно исполнять для счастья людей? Что было бы, если бы люди поверили обязательности этих заповедей хоть так же твердо, как они поверили тому, что надо каждый день молиться, каждое воскресенье ходить в церковь, каждую пятницу есть постное и каждый год говеть? Что было бы, если бы люди поверили в эти заповеди хоть так же, как они верят в церковные требования? И я представил себе, что всем нам и нашим детям с детства словом и примером внушается не то, что внушается теперь, что человек должен соблюдать свое достоинство, отстаивать перед другими свои права (чего нельзя сделать иначе, как унижая и оскорбляя других), а внушается то, что ни один человек не имеет никаких прав и не может быть ниже или выше другого; что ниже и позорнее всех тот, который хочет стать выше других; что нет более унижительного для человека состояния, как состояние гнева против другого человека; что кажущееся мне ничтожество или безумие человека не может оправдать мой гнев против него и мой раздор с ним. Вместо всего устройства нашей жизни от витрины магазинов до театров, романов и женских нарядов, вызывающих плотскую похоть, я представил себе, что всем нам и нашим детям внушается словом и делом, что увеселение себя похотливыми книгами, театрами и балами есть самое подлое увеселение, что всякое действие, имеющее целью украшение тела или выставление его, есть самый низкий и отвратительный поступок. Вместо устройства нашей жизни, при которой считается необходимым и хорошим, чтобы молодой человек распутничал до женитьбы, вместо того, чтобы

жизнь, разлучающую супругов, считать самой естественной, вместо узаконений сословия женщин, служащих разврату, вместо допускания и благословения развода, — вместо всего этого я представил себе, что нам словом и делом внушается, что одинокое безбрачное состояние человека, созревшего для половых сношений и не отрекшегося от

них, есть уродство и позор, что покидание человеком той, с какою он сошелся, перемена ее для другой, есть не только такой же неестественный поступок, как кровосмешение, но есть и жестокий, бесчеловечный поступок. Вместо того, чтобы вся жизнь наша была установлена на насилии, чтобы каждая радость наша добывалась и ограждалась насилием, вместо того, чтобы каждый из нас был наказываемым или наказывающим с детства и до глубокой старости, я представил себе, что всем нам внушается словом и делом, что месть есть самое низкое животное чувство, что насилие есть не только позорный поступок, но поступок, лишаящий человека истинного счастья, что радость жизни есть только та, которую не нужно ограждать насилием, что высшее уважение заслуживает не тот, кто отнимает или удерживает свое от других и кому служат другие, а тот, кто больше отдает свое и больше служит другим. Вместо того, чтобы считать прекрасным и законным то, чтобы всякий присягал и отдавал все, что у него есть самого драгоценного, т. е. всю свою жизнь в волю сам не зная кого, я представил себе, что всем внушается то, что

разумная воля человека есть та высшая святыня, которую человек никому не может отдать, и что обещаться клятвой кому-нибудь в чем-нибудь есть отречение от своего разумного существа, есть поругание самой высшей святыни. Я представил себе, что вместо тех народных ненавистей, которые под видом любви к отечеству внушаются нам, вместо тех восхвалений убийства — войн, которые с детства представляются нам как самые доблестные поступки, я представил себе, что нам внушается ужас и презрение ко всем тем деятельности — государственным, дипломатическим, военным, — которые служат разделению людей, что нам внушается то, что признание каких бы то ни было государственных особенных законов, границ, земель есть признак самого дикого невежества, что воевать, т. е. убивать чужих, незнакомых людей без всякого повода, есть самое ужасное злодейство, до которого может дойти только заблудший и развращенный человек, упавший до степени животного. Я представил себе, что все люди поверили в это, и спросил себя, что бы тогда было?"

И сам Лев Николаевич отвечает на этот так широко поставленный вопрос:

"При исполнении этих заповедей жизнь людей будет то, чего ищет и желает всякое сердце человеческое. Все люди будут братья, и всякий будет всегда в мире с другими, наслаждаясь всеми благами мира тот срок жизни, который уделен ему богом. Перекуют люди мечи на оралы и копья на серпы. Будет то царство Бога, царство мира, которое обещали все пророки, и которое близилось при Иоанне Крестителе, и которое возвещал и возвестил Христос, говоря словами Исайи: "Дух господа на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня

исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым — прозрение, отпустить измученных на свободу. Проповедовать лето господне благоприятное" (Лук. 4, 18–19. Исайи 61, 1–2).

Отчего же люди не следуют этому учению? Главных причин этому две: церковные самозванные учителя сознательно и бессознательно скрывают и искажают это учение, лишают его силы и привлекательности.

А люди науки, большей частью лишённые религиозного чувства, справедливо считая церковное учение вредной и пустой ложью, ставят на его место свое, научное мировоззрение, уже лишённое того духа жизни, которым жило и живет человечество.

И жизнь остается та же, со всею ее нелепостью, грызней и вечной угрозой смерти".

И затем он такими словами резюмирует эти два взаимоисключающие, ложные мировоззрения, несмотря на противоположность свою, сводящиеся, в сущности, к одному:

"Церковь говорит: учение Христа неисполнимо, потому что жизнь здешняя есть образчик жизни настоящей; она хороша быть не может, она вся есть зло. Наилучшее средство прожить эту жизнь состоит в том, чтобы презирать ее и жить верою, т. е. воображением, в жизнь будущую, блаженную, вечную, а здесь жить, как живется, и молиться.

Философия, наука, общественное мнение говорит: учение Христа неисполнимо, потому что жизнь человека

зависит не от того света разума, которым он может осветить самую эту жизнь, а от общих законов, и потому не надо освещать эту жизнь разумом и жить согласно с ним, а надо жить, как живется, твердо веруя, что по законам прогресса исторического, социологического и других после того, как мы очень долго будем жить дурно, наша жизнь сделается сама собою очень хорошей".

И он снова взывает к людям:

"Только бы люди перестали себя губить и ожидать, что кто-то придет и поможет им: Христос на облаках с трубным гласом, или исторический закон, или закон дифференциации и интеграции сил. Никто не поможет, коли сами себе не поможем. А самим и помогать нечего. Только не ждать ничего ни с неба, ни с земли, а самим перестать губить себя".

Но люди продолжают губить себя. В ярких, неподражаемых картинах изображает Л. Н-ч бедственность жизни не только темного рабочего люда, но и людей высшего, привилегированного сословия. И всех их называет мучениками мира в отличие от мучеников за исполнение учения Христа:

"Одна жизнь за другою бросаются под колесницу этого Бога: колесница проезжает, раздирая эти жизни, и новые и новые жертвы со стонами и воплями и проклятиями валятся под нее".

И это происходит все от непринятия истинного учения Христа. И Л. Н-ч опять с новой стороны излагает, резюмирует учение Христа как единственный разумный выход из бедственности нашей жизни:

"Учение Христа как религия, определяющая жизнь и дающая объяснения жизни людей, стоит теперь так же, как оно 1900 лет тому назад стояло перед миром. Но

прежде у мира были объяснения церкви, которые, заслоняя от него учение, все-таки казались ему достаточными для его старой жизни; а теперь настало время, что церковь отжила, и мир не имеет никаких объяснений своей новой жизни и не может не чувствовать своей беспомощности, а потому и не может теперь не принять учения Христа.

Христос прежде всего учит тому, чтобы люди верили в свет, пока свет еще в них. Христос учит тому, чтобы люди выше всего ставили этот свет разума, чтобы жили сообразно с ним, не делали бы того, что они сами считают неразумным. Считаете неразумным идти убивать турок или немцев — не ходите; считаете неразумным насилием отбирать труд бедных людей, для того чтобы надевать цилиндр и затягиваться в корсет, или сооружать затрудняющую вас гостиную — не делайте этого; считаете неразумным развращенных праздностью и вредным сообществом сажать в остроги, т. е. в самое вредное сообщество и самую полную праздность — не делайте этого; считаете неразумным жить в зараженном городском воздухе, когда можно жить на чистом, считаете неразумным учить детей прежде всего и больше всего грамматикам мертвых языков — не делайте этого. Не делайте только того, что делает те-

перь весь наш европейский мир: жить и не считать разумным свои дела, не верить в свой разум, жить несогласно с ним.

Учение Христа есть свет. Свет светит, и тьма не обнимает его. Нельзя не принимать света, когда он светит. С ним нельзя спорить, нельзя с ним не соглашаться. С учением Христа нельзя не согласиться, потому что оно обнимает все заблуждения, в которых живут люди, и не сталкивается с ними, и, как эфир, про который говорят физики, проникает всех их. Учение Христа одинаково неизбежно для каждого человека нашего мира, в каком бы он ни был состоянии. Учение Христа не может быть не принято людьми не потому, что нельзя отрицать то метафизическое объяснение жизни, которое оно дает (отрицать все можно), но потому, что только оно одно дает те правила жизни, без которых не жило и не может жить человечество, не жил и не может жить ни один человек, если он хочет жить как человек, т. е. разумною жизнью".

"Я верю в учение Христа, — торжественно заявляет Л. Н-ч в заключительной главе своей книги, — и вот в чем моя вера:

Я верю, что благо мое возможно на земле только тогда, когда все люди будут исполнять учение Христа.

Я верю, что исполнение этого учения не только возможно, но легко и радостно.

Я верю, что и до сих пор, пока учение это не исполняется, что если бы и был один среди всех неисполняющих, мне все-таки ничего другого нельзя делать для спасения своей жизни от неизбежной гибели, как исполнять это учение, как ничего другого нельзя делать тому, кто в горящем доме нашел дверь спасения.

Я верю, что жизнь моя по учению мира была мучительна и что только жизнь по учению Христа даст мне в этом мире то благо, которое предназначил мне отец жизни.

Я верю, что учение это дает благо всему человечеству, спасает меня от неизбежной гибели и дает мне наибольшее благо. А потому я не могу не исполнять его.

И вера эта налагает на меня обязанности:

Я верю, что разумная жизнь — свет мой на то только и дан мне, чтобы "светить перед человеками не словами, но добрыми делами, чтобы люди прославляли отца" (Мф. 5, 16). Я верю, что моя жизнь и знание истины есть талант, данный для работы на него, что этот талант есть огонь, который только тогда огонь, когда он горит. Я верю, что я Ниневия по отношению к другим Ионам, от которых я узнал и узнаю истину, но что и я — Иона по отношению к другим ниневитянам, которым я должен передать истину. Я верю, что единственный смысл моей жизни — в том, чтобы жить в том свете, который есть во мне, и не оставить его под спудом, но высоко держать его перед людьми так, чтобы люди видели его".

Не оставив камня на камне своей критикой от прежней церкви, он в заключение всей книги говорит:

"Но церковь, составленная из людей не обещаниями, не помазанием, а делами истины и блага, соединенными воедино, — эта церковь всегда жила и будет жить. Церковь эта, как прежде, составляется не из людей, взывающих "господи, господи" и творящих беззаконие (Мф. 7, 21, 22), но из людей, слушающих слова сии и исполняющих их.

Люди этой церкви знают, что жизнь их есть благо, если они не нарушают единства сына человеческого, и что благо это нарушается только неисполне-

нием заповедей Христа. И потому люди этой церкви не могут не исполнять этих заповедей и не учить других исполнению их.

Мало ли, много ли таких людей, но эта та церковь которую ничто не может одолеть, и та, к которой присоединятся все люди.

"Не бойся, малое стадо, ибо отец благоволит дать вам царство" (Лк. 12, 32).

Этимися словами кончается книга.

И этой книгой закончился во Л. Н-че тот религиозный процесс, который сделал из него последователя Христа.

ГЛАВА 21.

Заключительная

В то время, когда Л. Н-ч кончал "В чем моя вера?", он приобрел первого друга по близости понимания учения Христа и нашел в нем сильную поддержку в деле распространения этого учения. В конце 1883 года Л. Н-ч познакомился с В. Г. Чертковым.

По нашей просьбе В. Г. Чертков сообщил нам следующие свои воспоминания о своем знакомстве со Л. Н-чем.

"Не только духовное моё рождение, но и главный перелом в моей внешней жизни произошли до моего знакомства со Л. Н-чем или какими-либо из его религиозных писаний. В 1879 году я решил оставить военную службу, но по желанию отца взял 11-месячный отпуск, который провел в Англии. Потом 80-й год, опять по настоянию отца, я еще провел на службе в конной гвардии и как раз после 1 марта уехал в имение родителей

в Воронежскую губернию для сближения с кормящим нас крестьянским населением и деятельности в его интересах. Там я прожил подряд несколько лет, изредка навещая моих родителей в Петербурге. И вот во время этих поездок я стал все чаще и чаще слышать от встречаемых мною собеседников, что Толстой, автор "Войны и мира", стал исповедовать точь-в-точь такие же взгляды, какие высказываю я. Это, разумеется, возбудило во мне потребность лично познакомиться с ним, что я и сделал проездом через Москву в конце 1883 г.

Мы с ним встретились как старые знакомые, так как оказалось, что и он, со своей стороны, уже слышал обо мне от третьих лиц. Он в то время кончал свою книгу "В чём моя вера?" Помню, что вопрос об отношении истинного учения Христа к военной службе уже был тогда в моем сознании твердо решен отрицательно и что, будучи тогда очень одинок в этом отношении (о квакерах и других антимилитаристах я тогда еще не знал), я при каждом новом знакомстве на религиозной почве спешил предъявить этот пробный камень. Во Л. Н-че я встретил первого человека, который всецело и убежденно разделял такое же точно отношение к военной службе. Когда я ему поставил свой обычный вопрос, и он в ответ стал мне читать из лежащей на его столе рукописи "В чем моя вера?" категорическое отрицание военной службы с христианской точки зрения, то я почувствовал такую радость от сознания того, что период моего духовного одиночества, наконец, прекратился, что, погруженный в свои собственные размышления, я не мог следить за дальнейшими отрывками, которые он мне читал, и очнулся только тогда, когда, дочитав последние строки

своей книги, он особенно отчетливо произнес слова подписи: "Лев Толстой".

Насколько мне известно, он также нашёл во мне первого своего единомышленника. Понятно, что при этих условиях сразу завязавшаяся между нами тесная духовная связь должна была иметь совсем особенное для нас обоих значение: для него — в смысле оценки и поддержки в нем со стороны другого того, что он признавал в себе наилучшего и высшего, а для меня — еще и в том отношении, что я в нем обрел ничем не заменимую помощь в моем дальнейшем внутреннем развитии".

Говоря далее о своей переписке со Л. Н-чем на первых порах знакомства своего с ним, В. Г. Чертков добавляет:

"Его удивительно чуткое, внимательное отношение к ходу духовного развития в его молодом и почти единственном друге-единомышленнике; его скромность и опасения, мешающие ему давать просимые советы; его уважение и внимательность ко всякому мнению, хотя бы и критическому, если только оно исходит из христианской точки зрения; его преклонение перед христианским учением, выраженным в Нагорной проповеди, заставляющее его считать кощунством всякое прибавление к ней; его терпимость и боязнь прозелитизма, зарождение в нем и развитие проекта литературы для народа; его страдания от непонимания его окружающей его средою и мучительное сознание греховности той обстановки, в которой он жил... Все это и многое другое,

обрисовывающее его тогдашний душевный облик, ярко выступает в этих интимных письмах".

В январе 1884 года Льва Николаевича посетил снова художник Н. Н. Ге, уже ставший его близким другом.

Отношения между ними стали настолько просты, что Л. Н-ча не стесняло присутствие старика Ге в его кабинете во время его письменных занятий, — время, которое Л. Н-ч всегда проводил в уединении, тщательно оберегая его не только от посторонних, но даже и от своих семейных. И жена его, и все в доме всегда строго соблюдали и охраняли в это время его спокойствие. Н. Н. Ге воспользовался разрешением Л. Н-ча присутствовать при его писании и написал прекрасный портрет Л. Н-ча в позе пишущего. Как многие вещи Ге, он написал с тою любовью, которая улавливает самые драгоценные черты оригинала и делает это изображение особенно дорогим для тех, кому дорог самый оригинал.

Портрет этот находится в Третьяковской галерее и в нескольких копиях у друзей Л. Н-ча.

Между тем борьба Льва Николаевича с "миром" продолжалась. Не будучи в силах изменить тяжелую для него городскую обстановку жизни, он часто уезжал в деревню и там жил так, как требовала его совесть, доводя до крайней простоты свою обстановку и проводя время в труде, общении с народом, чтении, размышлении и писании.

Лето 1884 года проходит без особых перемен, и к осени семья Л. Н-ча снова тянется на обычную зимовку, в Москву.

В октябре Л. Н-ч поехал навестить своего друга Н. Н. Ге к нему на хутор, в Черниговскую губернию, пробыл там

неделю и снова вернулся в Ясную, прожив там до глубокой осени; семья же без него переехала в Москву.

В это своё пребывание в Ясной Л. Н-ч сделал последнюю попытку руководства своей семейной жизнью. Видя, какую нежелательную для него форму принимает домашняя жизнь и деревенское хозяйство, когда он стал отстраняться от него, он решил сам стать во главе его и так пишет об этом С. А-не:

Октябрь 1884 года.

"...Славно прошелся и много хорошего думал на обратном пути о том, что мне надо, пока мы живем, как мы живем, самому вести хозяйство. Начать с Ясной. У меня есть план, как его вести сообразно с моими убеждениями. Может быть, это трудно, но сделать это надо. Общее мое рассуждение такое: не говоря о том, что если мы пользуемся ведением хозяйства на ложных основаниях собственности, то надо вести его все-таки наилучшим образом в смысле справедливости, безобидности и, если можно, доброты; не говоря об этом, мне стало ясно, что если что я считаю истиною и законом людей, должно сделаться этим законом на деле в жизни, то это делается только тем, что мы, богатые, насилующие, будем произвольно отказываться от богатства и насилия. И это произойдет не вдруг, а медленным процессом, который будет вести к этому. Процесс этот может совершаться только тогда, когда мы сами будем заведовать своими делами и, главное, сами входить в сношение с народом,

работающим на нас. Я хочу попытаться это сделать. Хочу попытаться совершенно свободно, без насилия, а по доброте, сам вести это дело с народом в Ясной. Ошибки, потери большой, даже никакой, я думаю, не будет, а, может быть, будет хорошее дело. Хотелось бы в хорошую минуту, когда ты слушаешь, рассказать тебе, а описать все трудно. Я думаю начать сейчас же принять все от Митрофана и наладить. И зимой приезжать изредка, а с весны постоянно заниматься. Может быть, тут, незаметно для меня, меня подкупает желание чаще бывать в деревне, но я чувствую, что моя жизнь была поставлена неправильно этим отвертыванием, игнорированием дела, которое делалось и делается для меня и совершенно противное всем моим убеждениям. В этом игнорировании — то и было то, что я по принципу, не признавая собственности перед людьми из *fausse honte*, не хотел заниматься собственностью, чтобы меня не упрекнули в непоследовательности. Теперь мне кажется, что я вырос из этого; я знаю в своей совести, насколько я последователен, но, душа моя, пожалуйста, имей в виду, что это дело очень для меня душевное, и необдуманно и сгоряча не возражай и не нарушай моего настроения. Я уверен, что вреда от этого никому не будет, а может выйти очень хорошее и важное".

В том же письме далее он описывает свои наблюдения во время путешествия в Тулу пешком:

"...Самое хорошее впечатление нынешнего дня, это — встреченные на дороге два старика, два брата из Сибири, идут без копейки денег из Афона и Старого Иерусалима. Вместе им 150 лет. Оба не едят мяса. Был у них дом с имуществом, который стоил 1100 руб.; когда они в первый раз ушли, прошел слух, что они умерли, и дом передали в

опеку. А опека разорила. Они пришли и подали прошение. Потом монах им сказал, что это грех, что по их прошению люди могут попасть в острог, что им лучше бросить, чем идти в Иерусалим. Они бросили, и вот остались ни с чем. У одного есть сын, и опять построил дом. Очень величественные и умильные старики. Я не видал, как от Рудакова дошел с ними до Тулы".

Сколько сил безвестных таится в народе русском! И кто учителя его! Монах сказал — и послушали. Не потому послушали, что монах, а потому что они сами знали, что так нужно, и когда услышали это от монаха, то так и сделали. Конечно, в общении с этими людьми А. Н-ч находил больше удовлетворения, чем в общении с московской знатью.

В следующем письме С. А-не он снова говорит о своем намерении заняться хозяйством и еще определеннее высказывает, в каком направлении будут идти занятия:
Октябрь 1884 года.

"...Я затеваю очень трудное. — Именно заниматься хозяйством, имея в виду не главное хозяйство, а отношения с людьми в хозяйстве. Трудно не увлечься, не пожертвовать отношениями с людьми делу, а надо так, чтобы вести дело хозяйственно; но всякий раз, как вопрос: выгода или человеческие отношения? — избирать последнее. Я так плох, что чувствую свою неспособность к этому; но вышло так, что это нужно, и сделалось само собой, и потому испробую".

В том же письме он пишет далее:

"...Нынче ходил по хозяйству, потом поехал верхом, собаки увязались за мной. Агафья Михайловна сказала, что без своры бросятся на скотину, и послала со мной Ваську. Я хотел попробовать свое чувство охоты. Ездить, искать по сорокалетней привычке очень приятно. Но вскочил заяц, и я желал ему успеха. А главное, совестно".

Таким образом, Л. Н-ч порывает с едва ли не самой сильною страстью, увлекавшею его в жизни, — с охотой.

И опять в том же письме он высказывает важные мысли, могущие служить руководством жизни всякому человеку. Обращаясь к С. А., он говорит:

"...Не могу я, душенька, не сердись, приписывать этим денежным расчётам какую-либо важность. Все это не событие, как например, болезнь, брак, рождение, смерть, знание приобретенное, дурной или хороший поступок, дурные или хорошие привычки людей нам дорогих и близких, а это наше устройство, которое мы устроили так и можем перестроить иначе и на сто разных манер. Знаю я, что это тебе часто, а детям всегда невыносимо скучно (кажется, что это все известно), а я не могу не повторять, что счастье и несчастье всех нас не может зависеть ни на волос от того, проживем ли мы что или наживем, а только от того, что мы сами будем. Ну, оставь Костеньке миллион, разве он будет счастливее? Чтобы это не показалось пошлостью, надо пошире, подальше смотреть на жизнь. Какова наша с тобою жизнь с нашими радостями и горестями, такова будет жизнь настоящая у наших детей, и потому важно помочь им избавиться от того, что нам принесло несчастье, а ни языки, ни дипломы, ни свет, ни еще меньше деньги не принимали участия в нашем счастье и несчастье. И потому вопрос о том, сколько мы

проживем, не может занимать меня; если приписывать ему важность, он заслонит то, что точно важно".

Но эти благие намерения и благие советы не всегда принимались и одобрялись теми, к кому были обращены.

23 октября, вероятно, отвечая на одно из последних вышеприведенных писем, С. А. пишет Л. Н-чу:

"Вчера получила первое письмо; мне стало грустно от него. Я вижу, что ты остался в Ясной не для той умственной работы, которую я ставлю выше всего в жизни, а для какой-то игры в Робинзона. Отпустил Андриана, которому без памяти хотелось дожить месяц, отпустил повара, для которого тоже это было удовольствие не даром получать свою пенсию, и с утра до вечера будешь работать ту неспорую физическую работу, которую и в простом быту делают молодые парни и бабы. Так уж лучше и полезнее было бы с детьми жить. Ты, конечно, скажешь, что так жить — это по твоим убеждениям и что тебе так хорошо; тогда это другое дело, и я могу только сказать: "наслаждайся", и все-таки огорчаться, что такие умственные силы пропадают

в колонье дров, ставленье самоваров и шитье сапог, что все прекрасно как отдых и перемена труда, но не как специальное занятие. Ну, теперь об этом будет. Если бы я не написала, у меня осталась бы досада, а теперь она прошла, мне стало смешно, и я успокоилась на фразе: "чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало".

И в тот же день, как бы спохватившись в нанесении Л. Н-чу боли, С. А. спешит исправить свою ошибку и пишет ему теплое слово:

"...Я вдруг себе ясно представила тебя, и во мне вдруг такой наплыв нежности к тебе. Такое в тебе что-то есть умное, доброе, наивное и упорное и все освещено только тебе одному свойственным светом нежного участия ко всем и взглядом прямо в душу людям".

Тем не менее намерение Л. Н-ча взять в свои руки хозяйство не осуществилось. И у нас нет достаточно данных, чтобы выяснить причины этого. Будем ждать, что время осветит нам этот важный момент в жизни Л. Н-ча.

В ноябре Л. Н-ч снова в Москве.

В конце этого месяца в моей жизни произошло событие, круто изменившее мою жизнь. 21 ноября 1884 года я познакомился со Л. Н-чем Толстым. Меня привез к нему мой друг В. Г. Чертков, с которым я познакомился и подружился несколько раньше. От него я впервые узнал и полюбил писания Л. Н-ча и в нем я в первый раз в моей жизни узнал человека, душевным согласием откликнувшегося на мое понимание сущности христианской религии, которая еще в юности моей представлялась для меня несовместимой ни с каким насилием. И это юношеское убеждение мое сложилось без всякого влияния Толстого, которого я тогда еще и не читал, да и вообще помимо влияния светской литературы. Оно сложилось под влиянием просто чтения Евангелия и размышления о его истинном смысле в приложении к жизни. Когда-нибудь я расскажу подробно о том, как и куда завело меня это убеждение, а теперь скажу только, что В. Г. Чертков был первым человеком в моей жизни,

прямо и категорически признавшим вместе со мною ту же истину, которая и связала нас узами дружбы.

Вот он-то и познакомил меня тогда с произведениями Л. Н-ча как человека (второго для меня), который так же, как и мы, понимал христианство. И когда я по своим личным обстоятельствам жизни освободился настолько, что мог отлучиться из дома, он меня повез ко Л. Н-чу в Москву, и вечером 21 ноября 1884 года мы посетили его и провели у него целый вечер. В дневнике моем того времени сохранилась краткая запись этого вечера, и я привожу из нее существенные места:

22 ноября 1884 года.

"...Вчера я посетил графа Л. Н-ча Толстого. Я ожидал встретить угрюмого старика, погруженного в свои занятия исследования древних памятников христианской литературы. Меня встретил добрый, радушный человек, простота которого сразу очаровывает и привлекает к себе. Семейство его сидело за чайным столом. Мы сели туда же, т. е. я и В. Г. Чертков. Разговор сразу стал общим. Предметом его отчасти был я как кончивший морскую академию, как изучавший астрономию (Л. Н-ч тогда интересовался этой наукой) или, наконец, просто как новый человек.

Разговор коснулся Лизиновки (1), её учреждений и, наконец, перешёл-таки на вопрос о христианстве. Когда я в первый раз взглянул на графа, передо мной восстали

"Война и мир" и "Анна Каренина". Вот, говорил мне внутренний голос, вот та голова, то сердце, которые создали все эти чудные образы, которые так мощно волновали твои юные чувства. И только тогда, когда я справился с этим чувством, я вспомнил, что я пришел сюда не для "Анны Карениной", а для гораздо более важного дела, для разрешения вопроса жизни.

(1) Имение Чертковых.

И в этой простой, задушевной беседе, которая продлилась за полночь, действительно решался вопрос жизни: не знаю, решился ли? Быть может, скоро решится, быть может, никогда. Никогда или скоро, на днях.

Ах, что это за сила! Чувствуешь, что она тянет и увлекает тебя и увлекает по наклонной плоскости, катишься все скорее и скорее, и сам помогаешь себе, потому что впереди светло.

И в это же время какая-то другая сила, мрачная, холодная, цепляется и шепчет: куда ты, опомнись, похоже ли это на все тобою пережитое, передуманное тобою самим и твоими мыслящими и чувствовавшими предками?

Господи, перенесу ли я это? Не разорвут ли меня эти две силы пополам и не останусь ли я на всю жизнь раздвоенным?

А. Н-ч рассказал нам о новом, недавно найденном памятнике христианской литературы "Учение двенадцати апостолов" и рассказал чудную аналогию, которая приводится там. На вопрос, как узнать: ложный пророк или истинный, "истинный пророк тот, — говорится там, —

который поступает по словам своим, делает то, что проповедует, подобно тому как хозяин сам вкушает от той трапезы, которой угощает гостей".

Нет возможности, конечно, да, пожалуй, и необходимости передавать весь наш разговор вчерашний.

Я упомяну еще об одной мысли, высказанной Львом Николаевичем. Он вспомнил мысль профессора Бугаева о нравственных и физических законах. Я сделал слабое возражение, сказав, что многие выводят законы нравственные из законов физических как их ближайшее следствие.

Л. Н-ч, немного повысив голос, заметил: "Да ведь нам нужны те нравственные законы, которые учат нас, как поступать с каждым отдельным лицом, с вами, с женой, с извозчиком, с мужиком, а разве те господа касаются этих законов? Они выводят те общие законы, которые нам никогда и применять-то не придется в жизни, до которых нам и дела-то нет. А вот эти-то законы и освещаются светом христианства".

Когда теперь, через 24 года, я перепечатаваю эти строки, я живо восстанавливаю в моей памяти этот знаменательный вечер. Я вспоминаю, с какой деликатностью Л. Н-ч отнесся ко мне. Разговор зашел о несовместимости некоторых человеческих профессий со званием христианина. Лев Николаевич очень мягко и широко говорил о том, как можно быть "христианином" во всевозможных профессиях.

"Конечно, — оговорился он, — я должен исключить из этого числа по крайней мере две профессии: военную и судейскую". И, посмотрев на меня, прибавил: "Простите, что я говорю это в вашем присутствии". А на мне был

тогда военно-морской сюртук. Л. Н-ч знал уже, как я отношусь к военной

службе, и я знал, что он это знает, и что я носил эту форму уже лишь по инерции, готовясь перейти на гражданскую службу. Но как мне было тогда стыдно за свою военную форму!"

Вскоре после нашего свидания Л. Н-ч снова уехал в Ясную Поляну. Он написал оттуда С. А. письмо; мы заимствуем из него прелестную поэтическую картинку:

Декабря 8, 1884 года.

"Вчера, когда я вышел и сел в сани и поехал по глубокому, рыхлому, в поларшина (выпал вновь) снегу, в этой тишине, мягкости и с прелестным зимним звездным небом над головой, с симпатичным Мишей, я испытал чувство, похожее на восторг, особенно после вагона с курящей помещицей в браслетах, с доктором, перорирующим о том, что нужно казнить, с какой-то пьяной ужасной бабой в разорванном салопе, бесчувственно лежавшей на лавке и опустившейся тут же, и с господином с бутылкой в чемодане, и со студентом в пенсне, и с кондуктором, толкавшим меня в спину, потому что я в полушубке. После всего этого Орион, Сириус над Засекой, пухлый, беззвучным снег, добрая лошадь и добрый воздух, и добрый Миша, и добрый Бог" (1).

(1) Архив гр. С. А. Толстой.

С этого времени мое отношение ко Л. Н-чу меняется, он уже перестает быть для меня высоким, но далеким учителем и литературным гением, он становится для меня близким и горячо любимым другом. На этом я и кончаю свой второй том. Следующий, третий том я буду уже писать по личным воспоминаниям, добавляя и проверяя их другим материалом и описанием главнейших событий из жизни Л. Н-ча, в большей части которых мне самому приходилось принимать участие.

Поэтому литературный характер третьего тома будет несколько иной. Но одна и та же руководящая нить должна связать все три тома: правда и любовь к тому, кого я изображаю.

П. Бирюков

Кострома,
с. Ивановское,
7 августа 1908 г.

Y.P. LEONET

